



Ленин и молодежь,
доклад А. В. Луначарского.
Что вспомнилось,
Корней Чуковского.
Фотографии
Александра Родченко
и статья о нем
Виктора Шкловского.
И. А. Кашкин. Хемингуэй.

**Историко-
биографический
альманах
серии
„Жизнь
замечательных
людей
том первый**

Воспоминания
Н. Розенель
о Луначарском,
М. Галлаи
о Лавочкина.
Рассказы Г. Гулиа,
В. Сафонова,
Р. Стивенсона,
Ю. Тышнова.

**Очерки. Статьи.
Портреты.
Дневники.
Воспоминания.
Литературное
наследство.
Письма. Документы.
Забывшие страницы.
Повести. Рассказы.
Критика. Библиография.
Смесь.**

Письма: В. В. Стасова,
Н. Г. Гарина-Михайловского,
Максима Горького,
А. П. Карпинского,
К. С. Станиславского,
Стефана Цвейга.
Неизвестные портреты
Н. И. Новикова и И. А. Крылова
и другие материалы.

Издательство
ЦК ВЛКСМ
**„Молодая
гвардия”**

9
Б 81

От редакции

Выпуском в свет первого тома «Прометей» редакция серии «Жизнь замечательных людей» начинает издание историко-биографического альманаха. К этому побуждает обилие документальных и литературных материалов, непрерывно поступающих в редакцию. В то же время издание альманаха — ответ на желание молодежи о расширении тематики и жанрового разнообразия биографических книг.

Страницы «Прометей» познакомят молодого читателя с биографиями и отдельными эпизодами из жизни множества людей — великих и обыкновенных, широко известных и совсем забытых; они сделают доступными массовому читателю новые архивные документы, неопубликованные или затерявшиеся в старых журналах произведения, редкие гравюры, портреты и фотографии. Деятели науки и культуры, политики и революционеры всех времен и всех народов находятся в поле зрения «Прометей». Отдельные тома альманаха будут посвящаться специальным темам и заменят собой тематические сборники, выходившие ранее в серии «ЖЗЛ».

В альманахе найдут место не только научно-художественные биографии или главы из них, но и автобиографические записки, мемуары, эпистолярные монтажи. Основное внимание

уделяется малым формам: литературному портрету, документальному очерку, историческому рассказу, эссе. Редакция намерена печатать короткие научные исследования, а также хроникальные заметки о наиболее интересных находках, открытиях и гипотезах. Намечается публикация произведений из литературного наследия писателей. «Прометей» будет помещать преимущественно оригинальные материалы, еще не появлявшиеся в печати или никогда не переводившиеся на русский язык.

По замыслам редакции, «Прометей» должен способствовать разработке и совершенствованию биографического жанра. В специальном отделе выступают с теоретическими и критическими статьями и заметками советские и зарубежные мастера исторического романа и биографии; будут печататься рецензии и библиографические обзоры историко-биографической литературы.

«Прометей» формально не входит в серию «ЖЗЛ». Он имеет другой формат, иные принципы составления и оформления. Но он примыкает к серии, являясь ее дополнением и лабораторией. Альманах заручился согласием ведущих советских писателей и критиков, историков и литературоведов, искусствоведов и историков науки сотрудничать с ним.



А. В. Луначарский

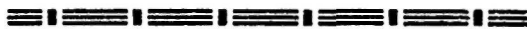
Ленин и молодежь

Публикуемый доклад — один из первых непосредственных откликов А. В. Луначарского на смерть Владимира Ильича. Он был прочитан в День революционного студенчества, 25 января 1924 года, для слушателей Коммунистического университета имени Свердлова в Москве. В первой публикации (брошюра А. В. Луначарского «Ленин». М., «Красная новь», 1924) стенографическая запись, ввиду спешности выпуска в свет, была плохо отредактирована. В настоящей публикации сделано несколько стилистических уточнений — там, где сущность описки не вызвала сомнений. Публикацию подготовил И. А. Сац.



Товарищи! Я охотно следую вашему желанию припомнить вместе с вами основные взгляды Ильича на молодежь и ее задачи. Сделать это сейчас не очень трудно, так как большая часть идей Владимира Ильича — тех, по крайней мере, которые он сумел изложить письменно, — большая часть идей его, касающихся молодежи, выражена в тех его работах, которые посвящены вопросам просвещения и которые изданы издательством

«Красная новь» в сравнительно небольшой книжке¹. Надежда Константиновна по моей просьбе недавно проделала дополнительную работу: она отыскала некоторое количество резолюций, пунктов программ и решений ЦК, автором которых был Владимир Ильич. Но это прибавляет немного к тому, что в этой книжке имеется.



¹ В. Ленин, Социалистическая революция и задачи просвещения. М., 1924.

Владимир Ильич вообще не любил тратить слов попусту и в большинстве случаев давал формулы яркие и простые при всей их огромной глубине. Часто то, что высказывал Владимир Ильич, казалось необычайно легким. Правда, это не обманывало его большую народную и международную аудиторию. Все понимали, что за этой простотой, сквозь эту прозрачность сияет большая мудрость, хотя эта общественная мудрость и выражалась в таких общедоступных формах; тем не менее мудрость есть всегда мудрость, и только путем постоянного обдумывания, проникновения в ее недра можно полностью ею овладеть. Я не хочу сказать этими словами, чтобы мне казалось, что мысли Ленина о молодежи мало распространены или дурно поняты. Я этого не знаю и предполагаю обратное. Я хочу только сказать, что на немногих относительно цитатах из сочинений т. Ленина мы должны построить последовательное,

по возможности исчерпывающее изложение его взглядов на молодежь. Вот их-то я и постараюсь теперь перед вами изложить.

Конечно, естественно, что молодежь и образование — это два понятия, неотделимые друг от друга. Говоря о взглядах Владимира Ильича на молодежь, мне придется постоянно обращаться к его взглядам на народное образование. С этого я и должен начать.

Владимир Ильич, разумеется, не принадлежал к числу тех либералов-идеалистов, которые полагали, что степень культурного развития народа определяет близость его к революции. Вы помните, конечно, эти вульгарные положения, которыми богат был русский либерализм: сначала необходимо, чтобы массы достигли известного культурного уровня, а потом уже можно думать о свободах, хотя бы и вырванных путем протеста народных масс. Владимир Ильич стоял на совершенно

обратной точке зрения. Он считал, что образования массам эксплуататорское правительство не даст. И он нисколько не видел противоречия в том, что буржуазные демократии, будучи обществами эксплуататорскими, тем не менее дают известное образование массам: он понимал, что это образование — по объему своему недостаточное, по составу своему отравленное такими специфическими примесями, которые должны были задержать развитие критической мысли в народе, и вовсе не имеет своей целью превратить ложную демократию, дающую возможность удерживать власть в руках десятков тысяч эксплуататоров, в подлинную, т. е. в действительную, власть огромного большинства, в действительное творчество политических, хозяйственных и культурных линий судьбы всего народа, определяемой всем массивом этого народа. Ленин прекрасно понимал, что народное образование в буржуазных странах слу-

жит для того, чтобы, пуская в глаза массам пыль внешней, декоративной демократичности, задерживать их на уровне довольства своей конституцией.

В особенности же, когда дело шло о такой стране, как Россия, было ясно для Владимира Ильича, что не через двери народного образования можно было продвигаться вперед. Хотя развитие капитализма в России должно было толкать ее по крайней мере к минимальному осуществлению тех сторон народного образования, которые развертывал капиталистический строй Запада, но самодержавие создало, что для его существования и для существования той формы союза между помещиками и капиталистами, каким была наша самодержавная власть, даже эта степень образования вредна.

В душе нашего помещичьего государства боролись два начала: с одной стороны, сознание того, что без на-



родного образования нельзя развернуть капитализм, а с другой стороны, сознание, что если от этой отсталости отчалить, если начать систематическую работу по подъему образования народных масс, то рискуешь моментально вызвать в представлении массы сознание чудовищности гнета, а тем самым вызвать и осуждение, могущее назавтра перейти в борьбу против тебя. Если было на свете такое правительство, которое должно было употребить все свои силы к тому, чтобы тормозить дело народного образования, то это, конечно, было самодержавное правительство.

Но как же быть? Если требуется известное самосознание для народа вообще и в частности для пролетариата, чтобы поставить революционные проблемы и найти правильные пути к их решению, а этого просвещения никак не добьешься без революции и и, — не есть ли это змея, кусающая свой хвост? Не есть ли это неразре-

шимая проблема: без сознания нет революции, без революции нет самосознания? Этот вопрос разрешался, очевидно, в некоторой степени «аристократически», т. е. путем постановки проблемы в такую плоскость: народные массы выдвигают — хотя бы туго, хотя бы через страдания, хотя бы путем жертв — известный авангард, конечно, главным образом, из пролетариата, из наиболее передовой части своей. Вся масса не может еще стоять на высоте этого самосознания; поэтому, предоставленная сама себе, она неизбежно наделает ошибок. Этот авангард, обладающий всей полнотой сознания, — это коммунистическая партия. Это будет орган сознания масс, предваряющий ее развитие орган. И масса сможет действовать — потому что никакой авангард за нее действовать не может — и будет действовать правильно как масса, ибо революция есть действие массовое, — в том случае, если будет питать доста-

точное доверие к своей передовой партии и если передовая партия будет достаточно крепка и последовательна, чтобы руководить массой. Вот это и было предварительное, первое разрешение проблемы: выдвигается авангард, революционное меньшинство, совершается революция.

Вы скажете, что это похоже на синдикализм? Ни капельки не похоже. У синдикалистов, которые в этом отношении восприняли бланкистскую идею, выходит так, что это меньшинство творит революцию само, при инертном отношении масс. Владимир Ильич в такую революцию не верил; у него это меньшинство творит революцию, как бесконечно героический, самоотверженный командный состав масс. Нельзя требовать от армии, чтобы каждый отдельный из рядовых в ней сознавал весь план сражения и чтобы можно было полагаться на их инстинкт в ведении какой-нибудь стратегической операции. Конечно, еще

более безумно думать, что командный состав может сражаться один. И третьим безумием было бы предполагать, что командный состав может держаться насилием. В революции командный состав командует только потому, что ему верят. Он не может победить, если вся масса или огромная ее часть не втянута в битву, но и масса не может победить, если у нее нет хорошего командного состава. При такой постановке вопроса образование, как предварительное условие, не необходимо. И темная страна, отсталая, невежественная страна при таких условиях может сделать революцию, если массы страдают, если назрел революционный кризис и если имеются налицо массовые руководители, т. е. тысячи, если не десятки тысяч людей такого командного состава.

Но вот революция происходит. Что же дальше? Первое положение Владимира Ильича: нужно быть ребенком,

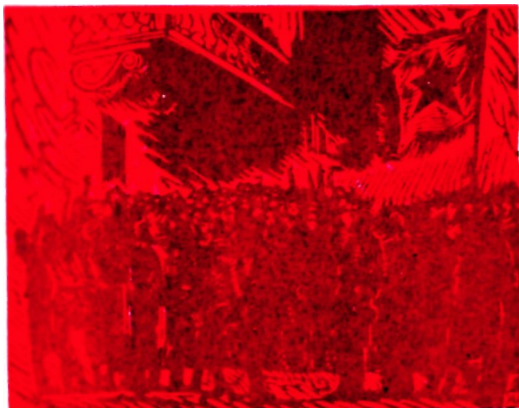


чтобы думать, что коммунисты своими руками могут построить коммунизм. Коммунисты — капля в море. Исходя из этого тезиса, Владимир Ильич формулирует и другие: необходимо опираться на силы вне партии, привлечь их к работе государственной, хозяйственной, культурной; по образцу Красной Армии, где мы перемалывали и подчиняли себе офицерство, надо привлечь административное, техническое, торговое, просветительское, врачебное и т. д. «офицерство» — то самое, которое служило буржуазии, с его правым флангом, уходящим в черносотенство, и с его левым флангом, эсеровским и меньшевистским. Надо это «офицерство» к нам приблизить, контролировать его и принудить работать в нужном нам направлении. И Владимир Ильич говорит: тот коммунист является действительно заслуженным в области вверенного ему дела, кто сумел высмотреть, приблизить и как следует

использовать возможно большее количество некоммунистических «спецов».

Совершенно отчетливо сформулированная мысль, но эта отчетливо сформулированная мысль сейчас же натывается на внутреннее противоречие.

Хорошо, конечно, если коммунистам удастся таких спецов действительно переделать, хорошо, если коммунисты найдут достаточную опору в некоторой части некоммунистических пролетариев, всю свою жизнь полностью готовых отдать коммунистическому делу! Но пролетариат, как Владимир Ильич много раз подчеркивал, в течение революции является еще классом в достаточной мере невежественным и уже классом в достаточной степени истощенным, пожертвовавшим так много жизнью для революции, что он перестал быть неисчерпаемым резервуаром сил; да и трудно черпать из не-



го силы квалифицированные, в смысле всякого рода специалистов.

Владимир Ильич систематически и постоянно требовал привлечения спецов. Он совершал в этом отношении целые перевороты. Он создал Коллегию ВСНХ, в которую входит целый ряд профессоров, он создал Госплан. Он боролся, иногда с крайней степенью ожесточенности, против политики коммунистических ячеек в вузах, которые вели свою борьбу с профессорами. Он говорил: если мы не сумеем этих людей использовать, чтобы у них выучиться и чтобы дать им возможность приложить свои силы к строительству по нашему плану, то мы никуда не годимся, ибо мы без них никак не можем продвинуться вперед. И с этой точки зрения всякого рода буржуазные и полубуржуазные спецы сейчас готовы молиться на гроб Владимира Ильича, и они чуть не со слезами на глазах рассказывают (их вожди, по крайней мере), как Владимир

Ильич их принимал, как он умел войти в их нужды, как он интересовался судьбами науки в России и т. д.

Но это не мешало Владимиру Ильичу сознавать, что мы ведем нашу строительную борьбу плохим оружием. Конечно, среди этих спецов есть блестящие умы, блестящие таланты, есть и такие, которые целиком переходят на нашу сторону. Но в общем-то и целом, в особенности, если вы к ним прибавите всех этих бесчисленных мелких спецов, техников канцелярского труда, которые составляют толщу, так сказать, естественно вдвинувшуюся между административными верхами и народными массами, — тогда вы, конечно, поймете, что это в значительной степени негодный материал. И Владимир Ильич не впадал с собою ни в малейшее противоречие, говоря: мы можем пользоваться старым царским командным составом в своей армии, но мы должны вырабатывать свой, потому что среди тех, конечно,

есть изменники и враги, есть, конечно, и равнодушные люди, которых тянет назад к мясным котлам Египта, а есть и такие люди, которые и хотели бы, да не могут — не имеют наших сноровок, не умеют понять того, что нам нужно. Есть же и просто люди халатные, все дело для которых заключается только в том, чтобы как-нибудь около нашего аппарата прокорчиться.

Если к этому прибавить то, что Владимир Ильич постоянно подчеркивал известную неопытность самих коммунистов во многих отраслях их работы, подчеркивал наличие того факта, что слишком часто коммунист может быть комиссаром, но не может быть специалистом того дела, около которого стоит, — то вы поймете, в какой огромной мере вновь построенный нами государственный аппарат должен был отдавать старой отрыжкой, в какой мере здесь мертвый хватал живого, какое внутреннее трение этот ме-

ханизм развивал. Как неподмазанные колеса, все это вопило, визжало и не двигалось с места. Все винты и гайки нашей государственной машины представляли из себя набор, который фигурировал прежде в совершенно другом механизме и который пришлось случайно коммунистическому молотку пригнать и набить друг на друга. Когда эту чудовищную машину из старых чиновников тот или другой коммунист пускает в ход, она, конечно, болтается, она гремит, она стучит и пускает пыль, она ломается на каждом шагу и дает весьма мало результатов. Это Владимир Ильич с полной ясностью видел.

Две задачи рисовал Владимир Ильич с этой точки зрения. Во-первых, необходимо как можно скорее поднять культурный уровень масс, и не только масс пролетарских, но и масс крестьянских. Путем к этому подъему является грамотность. С этой точки зрения, Владимир Ильич часто ожес-

точно высказывался против введения «пролетарской культуры» в высших формах образования. Он сравнивал защитников такой точки зрения с людьми, стремящимися построить четвертый этаж в то время, как не готов еще фундамент. Он с удивительной трезвостью мысли обращал нас, часто довольно жестко, к тому, чтобы мы смотрели на землю, и говорил: первейшей задачей является грамотность. Буржуазная вещь грамотность или пролетарская — я не знаю, но знаю, что она нам нужна. Читать, писать, считать — вот этому нужно научить необъятное количество людей. А без грамотности, он говорил, граждане будут гражданами десятого сорта, которые питаются баснями, слухами и не могут проверить, что делает их правительство. Они окажутся слепыми людьми.

На I съезде по ликвидации неграмотности¹ Владимир Ильич говорил речь и много смеялся. Ликвидация негра-

мотности! — восклицал он. — Это значит, что мы, как бы помягче выразиться, вроде дикарей, потому что у недикарей кто ликвидирует безграмотность? Не чека, особо для этого придуманная, а школа. Но мы дикари. Школа у нас этого, видимо, и сейчас еще не может полностью сделать и сейчас не охватывает всех



¹ Здесь неточность: Ленин говорил об этом на II съезде политпросветов 17 октября 1921 года: «У нас комиссия по ликвидации безграмотности создана 19 июля 1920 года. Я нарочно, перед тем как приехать на съезд, прочел соответственный декрет. Всероссийская комиссия по ликвидации безграмотности... Мало того — чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. <...> уже то обстоятельство, что пришлось создать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, доказывает, что мы — люди (как бы это выразиться помягче?) вроде того, как бы полудикие, потому что в стране, где не полудикие люди, там стыдно было бы создавать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, — там в школах ликвидируют безграмотность» (В. И. Ленин, Новая экономическая политика и задачи политпросветов. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 169—170).

«Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика» (Там же, стр. 174).

вновь вступающих в жизнь. Нам надо нагнать то, что они пропустили, и, приходится в чрезвычайном порядке учить грамоте. Но раз уже это так, давайте в чрезвычайном порядке учить грамоте. И Владимир Ильич, как вы знаете, очень серьезно об этом думал.

Голод шарахнул по всей нашей борьбе с неграмотностью и разрушил почти по всему лицу нашей страны все ликпункты. Но когда голод прошел, Владимир Ильич — уже, можно сказать, коснеющим языком, уже в то время, когда страшный недуг очень и очень давал себя знать после первой болезни — поторопился написать недвусмысленную, яркую статью и подчеркнуть, что наша прямая обязанность — ликвидировать неграмотность населения до 35-летнего возраста к 10-летнему юбилею. Это очень трудно. 17 миллионов людей надо обучить — это очень трудно. И Владимир Ильич прекрасно знал, что это трудно. Он был боль-

шой реалист, и эти трудности чувствовал лучше, чем кто-либо другой из нас, знал и количество неграмотных, и сколько приблизительно это будет стоить, и сказал, что можно. И я был бесконечно рад, что, по крайней мере, съезд Советов РСФСР одобрил этот план. Сейчас его приняла и Украина. И мы имеем, таким образом, уже волеизъявление в советском порядке наивысших учреждений, что это должно быть проведено в жизнь.

Конечно, точно так же интересовали Владимира Ильича и вопросы школы и вопросы массовых библиотек. И понятно почему. Потому, что он, будучи в полной мере демократом, в самом святом и светлом значении этого слова, хотел всячески приблизить сроки, когда народные массы, не только рабочие, но и крестьянские, будут во всей полноте осознавать свои нужды и пути к своему избавлению не только в плоскости политики, но и в плоскости всего своего

повседневного хозяйствования и быта.

В момент, когда нам грозил катастрофический отрыв от крестьянской массы, Владимир Ильич дал многозначительный клич. Задержимся, сказал он, в нашем порыве и даже отступим назад, если это необходимо для смычки с крестьянской массой. Зацепим эту крестьянскую массу покрепче и пойдем с нею вместе вперед, может быть, гораздо медленнее, чем шли бы без нее. Но зато верней! Мы пойдем вместе с нею, неразрывно с нею. Только тогда это движение вперед будет непобедимым.

Это так. Но из этого не следует, что мы можем целиком уйти в низшее образование, что к этому-то и сводится вся основная задача: школы для ликвидации безграмотности, массовые библиотеки.

Владимир Ильич прекрасно понимал, что мы школы как следует не поставим, и массовой библиотеки не по-

ставим, и неграмотность не ликвидируем, если у нас в то же время не будет развиваться хозяйство, если сама государственная администрация будет той вечно дающей перебои и в корне испорченной машиной, какую он перед собою видел. Ведь он говорил прямо: у нас, за исключением, может быть, Наркоминдела, который еще на что-нибудь похож, ни один комиссариат ни на что не похож, все из рук вон плохо работают. Он это заявлял со всей суровостью. Построили мы государственный механизм, который выдержал бой, который оказался жизнеспособным, — но смотрите, какие он перебои дает, какой он бестолковый, какой он нелепый, какой он варварский... Надо его перестроить, надо научить людей управлять, и управлять хорошо, в удобных формах, ясных, четких и простых.

Да, надо научиться хозяйствовать — торговать в том числе. Надо научиться просвещать, просвещать так, что-



бы все три стороны — общее образование, начиная с грамоты, техническое образование и политическое просвещение — были бы перевиты в один жгут, превращены были бы в один железный канат единой системы образования. Но для всего этого надо, чтобы были налицо сами просветители, чтобы были хозяйственники, чтобы были администраторы. А их мало.

Ждать, пока маленькие дети, после того как мы построим для них удовлетворительную школу, вырастут и превратятся в хороших хозяйственников? Но мы не можем организовать удовлетворительной школы, потому что мало учителей.

Ждать, пока неграмотный крестьянин и рабочий, получивший только сейчас первый букварь, дорастет до марксизма, также нельзя. Это бы значило стараться капля по капле поднимать уровень целого моря.

Чтобы поставить самый вопрос о под-

нятии народного образования на должную высоту, нужно весь руководящий аппарат, верхушкой которого была коммунистическая партия, обновить. Обновить как? Так, чтобы вышибить из него старые элементы, чтобы остатки этих старых элементов снизу, сверху, с боков закрепить нашими собственными людьми.

Какой из этого выход? Выход один: апеллировать к молодежи. К какой молодежи? К нашей молодежи, конечно, не к молодежи буржуазной.

Известно, что мы и из числа интеллигенции средней, даже высшей, из числа даже родовитой аристократии или крупных капиталистов имели социалистических деятелей в России и вне России. Но это были «белые вороны», основная же масса таких людей только и мечтает о своих привилегиях и может превращать науку в ту доктрину, прикрываясь которой можно, сидя на шее у народа, закрепить свою образованность, как источник

привилегии. Такие люди обычно заинтересованы не в том, чтобы поднимать как можно скорее уровень развития народных масс, а в том, чтобы задерживать этот подъем.

Мы апеллируем к нашей собственной молодежи, к рабоче-крестьянской молодежи. Она невежественна? Да. Надо ее образовать — дать ей то образование, которое и ей и нам нужно. Высоких специалистов можно получить через высшие учебные заведения; но эта наша молодежь еще неспособна в них учиться. Первым жестом Владимира Ильича был приказ отворить двери университета для всех, кто жаждет образования. Хлынули эти люди в университет, заполнили его. Пока были только лекции — ничего: отдавят друг другу бока, но слушают. Но когда дело дошло до лабораторий, до анатомического театра, дело пошло хуже. Пришлось вернуться к тому, чтобы отбирать, потому что само-то лукошко российского

высшего образования довольно мелкое, и в него не насыплешь сразу всех, желающих получить это образование. Стало быть, нужно было выбирать тех, кто сейчас нужнее, кто способнее, и устраивать проверку. А для тех, кто представляет из себя прекрасный материал, но еще неподготовленный, — для тех надо было создать формы подготовки. Так выросли идея рабфака и классовый принцип приема в высшие учебные заведения.

Сейчас же после этого встали новые проблемы, которые Владимир Ильич превосходно знал, о разрешении которых очень заботился, о которых беспрестанно с нами беседовал, хотя, может быть, в его трудах особенно обильных следов его размышлений в этой области мы не найдем.

Прежде всего — принципиальный вопрос. Ясно, что рабоче-крестьянская молодежь существовать за свой счет не может, что надо придумать

какое-то соединение учения и заработка — а это очень трудно при незначительном количестве оплачиваемого труда у нас, — или же давать учащимся государственные стипендии. Конечно, наиболее рационально было бы содержать эту молодежь за счет государства. Потребность в образовании в стране огромная, наплыв желающих гигантский, потребность страны в людях уже образованных не меньшая, а трубочка, через которую приходится пропускать эту волну жаждущих знания в резервуар, который должен быть наполненным, узенькая, средств мало, и эта трубочка всегда будет недостаточной, вплоть до того счастливого момента, когда у нас будет такое время, что мы скажем: мы можем содержать столько-то сотен тысяч студентов за государственный счет более удовлетворительно и привольно, чем сейчас. Это будет значить, что мы государственную и хозяйственную задачу на три чет-

верти разрешили. А разрешить-то мы ее можем только путем «накачивания» этой самой молодежи. Значит, самый этот процесс пройдет болезненно, будет сопровождаться нужно, разочарованиями, усталостью, заболеваниями, возможно, и смертями. Это будет в настоящем смысле слова боевой фронт, на котором люди ставят на карту свою жизнь. «Даешь науку!» Вот она... И чтобы ее взять, нужно с такой же отвагой, с такой же готовностью ставить свою жизнь на карту, как на войне.

Я не хочу этим сказать, чтобы все доступные нам методы были исчерпаны. Мы еще и еще раз обдумываем со всех сторон вопрос о государственных ассигнованиях. Может быть, придется подумать и о сужении приема студентов с будущего года, об уменьшении количества стипендий при их укрупнении, о всякого рода хозяйственных улучшениях, о привлечении

студенчества к работам, которые были бы одновременно и более или менее педагогическими и более или менее хлебными. Я не говорю, чтобы все эти проблемы перед нами не стояли, но говорю, что, если даже мы их разрешим удачно, они облегчат положение, но полностью устранить материальный кризис не смогут. Мы бьемся именно за такое государство, которое сделалось бы в полной мере способным проводить культурную политику, и пока мы его еще не добились, должны будем, в точном смысле слова биться.

Второй вопрос — вопрос о том, чему учить и как учить. Вы знаете, что Владимир Ильич посвятил именно этому вопросу свою блестящую и бездонно-глубокую речь к комсомольцам. В общих принципиальных контурах он на этот вопрос с исчерпывающей ясностью ответил. Коммунист часто останавливается с содроганием перед той наукой, в которую он со-

бирается нырнуть, перед тем кубком знаний, который ему своею рукой протягивает «господин профессор», ибо он не знает, не ныряет ли он в омут, и не знает, не протягивают ли ему яду? Он говорит: я марксист, и я знаю, что каждая идеология есть отражение классового бытия. А наука — идеология? Да. Какой класс ее создал? Буржуазно-помещичий. Значит, эта наука мне не нужна, она мне даже враждебна. Но все же идеология мне нужна, мне нужна наука... Какая же мне наука нужна? Та, которая выражает мое бытие, пролетарское. Значит, мне нужна пролетарская наука! Где она? Нет ее, за исключением марксизма... В остальных областях ее нет. Как же быть? Надо ее придумать. Тогда, значит, надо не учиться, а сразу учить, надо не искать науки, которую нужно одолеть, а создать свою собственную. Но пока ведь мы ровным счетом ничего не знаем. Откуда же мы приобретем



знания? Из бытия нашего, из нутра нашего, от себя самих. И когда нам самим покажется, что жидковата наша пролетарская наука, то стоит только познергичнее поплевывать на эти ученые лысины и говорить: ну, вы там, буржуи, со всеми вашими сокровищами, что вы стоите перед одним росчерком моего пролетарского пера, — раззудись, плечо, размахнись, рука! Я такую пролетарскую науку выведу, что в одной брошюре в 33 страницы дам разрешение всех вопросов бытия.

Вот такая возможность страшно пугала Владимира Ильича. Я несколько юмористически изложил ее. Но какое из этих изложенных положений можно игнорировать? Что идеология отражает бытие — это всякий марксист знает, и усомнившись в этом лучше свой партийный билет отдать. А что же, идеология, которая до сих пор существовала, разве она не отражала буржуазного бытия? Как же

можно в этом сомневаться... Так зачем же она нам нужна? Вот как ставится вопрос.

В чем тут ошибка? В чем заблуждение? В том, что идеология отражает не только отрицательные стороны бытия данного класса, а отражает бытие во всем его объеме, т. е. и в его прогрессивных сторонах. Буржуазия, капитализм имели в себе прогрессивные стороны? Конечно, имели. В чем заключалась эта главная прогрессивная сторона? В том, что буржуазия, например, была организатором машинной техники. Машинная техника — это основа новейшего буржуазного общества. Для того, чтобы придумать машину, которая работала бы правильно, необходимой предпосылкой является знание математики, физики, химии, ботаники, зоологии и т. д. Для миллионов задач, связанных с торговлей, с мореплаванием, строительством, обработкой металлов, горных пород, земли и т. д., для всего этого



нужна масса положительных знаний. Буржуазии нужна прибыль, а чтобы была прибыль, нужно дешевое и рациональное производство. Для этого нужна машина: построй-ка мне ее! Но инженер скажет: я бы построил, но для этого нужно иметь правильное представление о материальном мире, который нас окружает, для этого нужно стать материалистами, для этого надо изучать законы природы, изгнав бога и всех его родственников, а затем на основе такого изучения приступить уже к чертежам и выкладкам. Хочет этого капиталист или нет? Капиталист говорит: «Конечно, бог мне для себя не очень-то нужен, можно и без него, но для подлого народа он необходим. Сделаем так: ты в своей лаборатории действуй, как материалист, и на фабрике действуй, как материалист, и на рынке действуй, как материалист, и я буду действовать, как материалист, — брать толстые пачки вполне материальных би-

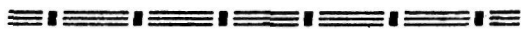
летов и совать в толстые карманы моих вполне материальных брюк. Но рядом с этим мы дадим профессоров-идеалистов, которые будут делать свое дело. И не только они будут говорить о боге и идеализме в философии, не только будут запоганивать идеализмом промежуточные сферы естественных наук, но и в самих естественных науках будут, пожалуй, говорить: а что такое материя? Если подойти к вопросу «глубже», тут можно найти и соллипсизм, и «совокупность человеческих ощущений», и все что угодно другое... Но ты, инженер, этим всем не смущайся и сам работай, как материалист». Таким образом создается двулика, фальшивая, отвратительная культура.

Так вот, когда мы подходим к этой культуре, мы, несмотря на все ее пороки, должны понять, что в ней накоплено изумительное богатство подлинного опыта — ведь буржуазия хотела получить барыш-то реальный и

реальными путями! Она не хотела этот барыш ни с кем разделить, поэтому она была заинтересована в народной глупости, отсюда и ее стремление распространять дурман. С дурманом нужно бороться, а огромную сокровищницу реальных знаний и их применения нужно взять из рук буржуазии. Правда, их нужно переработать. Буржуазный НОТ¹ — не то, что наш НОТ, буржуазная фабрика — не то, что наша фабрика. Но следует ли из этого, чтобы мы сказали: к черту все локомотивы — они буржуазные, и пока не выдумаем своих, по своему фасону, пусть не будет железных дорог? Нет, мы этого не хотим. Владимир Ильич высказывал свою мысль со всею резкостью: печален будет тот коммунист, который воспитывается только на коммунистических брошюрах и книгах; если мы не усвоим себе всей культуры прошлого, мы вперед не двинемся никоим образом.

Если вы перечитаете его речь на съезде комсомола, то увидите, что Владимир Ильич бесстрашно доводит эту мысль до конца. Он говорит: учись всему, всю буржуазную культуру усвой, а после этого разберись, что тебе ко двору, а что нет. К полученным знаниям прибавляй свой пролетарский инстинкт, прибавляй свою пролетарскую философию, свою марксистскую школу, и они тебе осветят весь материал по-новому. Тогда ты разберешься и изгонишь ненужное. Но помни, что учить и строить ты сможешь только тогда, когда в течение длительного времени будешь учиться.

Конечно, я понимаю, товарищи, что из этого заявления Владимира Ильича можно сделать неверный вывод. Неверный вывод сделает прежде всего торопыга из враждебного нам ин-



¹ НОТ — научная организация труда — система рационализации производства.

теллигентского лагеря. Там, пожалуй, найдутся умники, которые скажут: «Вот это умный человек, Ильич! Он предписал своим ребятам — усваивай, а нам, людям науки, сказал — учи, и так дело продлится всерьез и надолго. Чего же лучше, если они будут усваивать то, чему мы их будем учить! По всей вероятности, они, наконец, так доусваиваются, что очень далеко от Владимира Ильича отойдут. Дайте им, в качестве педагогов, старых опытных гувернеров, и они скоро этих молодых орлят превратят в телят, а то и в поросят...»

Но этот торопливый вывод был бы, конечно, неумным. Владимир Ильич прекрасно знал, что опасность того, чтобы буржуазная наука отравила бы и сбילה бы с толку рабоче-крестьянскую молодежь, при существовании пролетарского контроля, не очень велика, хотя борьбу по этому фронту вести нужно неуклонно. А вот обратная опасность: оттолкнуть от себя

буржуазную науку и ввергнуться целиком в ересь комчванства, — эта опасность огромна. А это создало бы ту атмосферу верхоглядства, дилетантства, всяких фантазмагорических легковесных выдумок, которые могли бы в корне испортить все дело. Вот почему Владимир Ильич говорил комсомольцам: учишься без страха! Тут ты получишь огромный и нужный для тебя материал, и не бойся, что при этом ты «оторвешься от марксизма». Ну, ро у тебя здоровое, и ты прекрасно разберешься потом, где тебе нужно, а где ненужное. Черпай из того, что тебе пришлось зачерпнуть из моря так называемого всечеловеческого знания, которое в значительной мере было детерминировано до сих пор буржуазным миром. И когда ты это сделаешь, тогда ты детерминируешь науку своей пролетарской мыслью и придашь ей совершенно новое направление и небывалый размах.

Как учить? Этот вопрос — о том, как учить, — Владимир Ильич ставил так. Он говорил: учиться нам нужно для того, чтобы сломить класс буржуазии и чтобы добиться коммунизма, и эта задача должна быть незыблемой полярной звездой, которая указывает путь. Поэтому нужно учить в непосредственной связи с жизнью. Школа — даже низшая, а тем более высшая, — не должна быть замкнутой в себе. Она должна быть волнуема всеми великими бурями социальной жизни, она должна на них откликаться, принимать в них живейшее участие. Студент есть гражданин, а не «академист». И не только студент, даже подросток в школе 2-й ступени или фабзавуча, даже ребенок должны быть в эту сторону дела посвящены.

Надо позаботиться, говорит Владимир Ильич, о том, чтобы, по возможности, всякое знание усваивалось в порядке реальной трудовой проблемы. Это

очень трудная, с точки зрения педагогической, задача, но чисто марксистская и глубоко верная. Тебе нужно дать задачу по вычислению — возьми какое-нибудь вычисление, необходимое для твоего района, для кооператива, который рядом работает, для ремонта, который производится в том же здании, возьми, по возможности, пример из реальной жизни, чтобы каждая задача была разрешением задачи, поставленной окружающим миром труда. Надо учить механику, или химию, или астрономию, входя, внедряясь в те органы общественной жизни, которые этим и для этого живут, где все это применяется, как отдельные элементы общественного строительства. Это трудно, мы все это знаем. Но это нужно. Мы считаем, что может быть в широком смысле сельскохозяйственный уклон обучения или промышленный, которые несколько будут отличаться, что мы можем опираться на муниципальное хозяйство, на

общественную жизнь города с его больницами, почтой и телеграфом, пожарными командами, канализацией и водопроводами, всякого рода городской статистикой и т. д. Мы знаем, что людям, которые займутся постановкой такого обучения, придется у нас встретиться с массой препятствий в части учебно-практической, лабораторной. Занятия, продуманные и вытекающие из хода дидактического плана, им придется заменять рассказом, книгой, диапозитивом, говорящими о том, что дает или должна дать жизнь. И чем больший круг у нас, в нашей педагогике займет трудовой метод, метод целесообразного и общепольного труда, как воспитательного импульса, тем мы будем ближе к тому, что, изучая все стороны буржуазной науки в глубокой связи с практическими задачами времени и с размахом революции, мы будем застрахованы от восприятия лжи за истину. Ложь будет отпадать, потому

что она будет проверяться практикой, а Маркс говорил: схоластичен вопрос о том, что такое истина сама по себе, ибо единственная проверка истины есть практика. И Ленин, конечно, на этой марксистской точке зрения целиком стоял.

Таким образом, вы видите, что эта сторона мыслей Владимира Ильича о молодежи может быть резюмирована так. Не покладая рук, надо работать над общим подъемом уровня масс как в школьном, так и во внешкольном порядке, но в то же время надо выдвигать из массы — или, вернее, выпускать оттуда — десятки, по возможности, сотни тысяч молодых людей, которых мы должны в ускоренном порядке, с помощью рабфаков, вести ко всеоружию знаний, через усвоение старой культуры, причем усвоение этой культуры должно происходить трудовым порядком, в связи с общественной практикой и при постоянном освещении каждого при-

обретаемого данного общей идеей коммунистической революции.

Чего же мы можем ждать, если эта программа будет выполнена? Не будем, возвращаясь к уже сказанному, говорить об опасностях и о положительных сторонах, мы скажем так: победит «нэпман» или мы — это зависит от того, создаст ли рабочий класс свою собственную интеллигенцию.

Мы видим перспективу чрезвычайно обнадеживающую и важную, но и чреватую опасностями — смотря по тому, на каком слове этой фразы мы поставим ударение.

«Победит нэпман или мы — это зависит от того, создаст ли рабочий класс свою интеллигенцию». Под интеллигенцией в данном случае приходится разуметь орудие пролетариата и орудие совершенное, людей талантливых, людей знания. Какие перспективы у нас в этом отношении? Если мы пойдем по пути, указанному Лениным, если мы будем брать мо-

лодежь, преимущественно рабочую и во вторую очередь крестьянскую, если ее будем учить тому, чему оказал Ленин, и так, как он сказал, то мы, несомненно, интеллигенцию получим, несмотря на нашу бедность, на узость той «трубочки», о которой я вам говорил, — трубочки, через которую сейчас в резервуар нашей будущей интеллигенции напирает волна жаждущей знания молодежи. Несмотря на все это, эта проблема разрешима.

Но мы можем ту же фразу прочесть с другим ударением. «Победит ли нэпман или мы — это зависит от того, создаст ли пролетариат свою интеллигенцию». Может быть, он создаст чуждую ему интеллигенцию? В грубых чертах можно сразу отрицать эту возможность: мы не станем заботиться о том, чтобы давать образование детям нэпманов, мы поставим их на самый задний край, мы дадим огромное преимущество рабоче-



крестьянской молодежи. Значит, мы, конечно, свою интеллигенцию будем воспитывать. Но не может ли эта интеллигенция, по мере того, как рабочие-крестьянские парни и девушки будут превращаться в интеллигенцию, перестать быть своею? Вот тут есть проблема, о которой нужно подумать.

Владимир Ильич многократно говорил и о комчванстве, и о возможности со стороны командного состава понять свою роль как господствующую. В своей последней статье о РКИ и ЦКК, говоря о том, что у нас самый метод администрации неправильный, он, между прочим, такую бросает мысль: в сущности говоря, администрирование — дело простое, если научиться управлять по упрощенному и четкому способу. Впоследствии окажется, что это дело такое, при котором всякое начальствование может быть отброшено; мы идем к тому, чтобы государство совсем убить, что-

бы послать его вместе с каменным топором в музей. По пути к этому мы будем отбрасывать «комчванство» и всякое излишнее «начальствование». Ленин был человеком огромной авторитетности, и он умел достаточно пользоваться суковатой «дубинкой Петра Великого».

Физически он нас не колотил, но пробирал довольно неласково, и почти каждый, конечно, имеет на своей духовной спине соответственные почетные синяки. Авторитет этого человека был большой, ни единицам, ни массам он не потворствовал, но тем не менее «начальственности» в нем не было никакой. Какая уж там начальственность? Более простого обращения, решительно со всяким, нельзя себе вообразить. Если бы это было что-то искусственное, если бы человек находил тон, каким можно с самым простым мужичком поговорить, это было бы не такое чудо, как то, что этот человек, Ленин, не чувствовал себя

начальником никак и ходил, как все, по той же самой земле, по которой все ходят. Это был человек в поношенном пальто, который разговаривает с другим человеком без малейших гримас, без малейшего тона чванства. Всегда он мог признать: ах, какую я глупость сделал! И скажет он это, может быть, почтальону или подростку, если тот перед ним откроет что-то новое, скажет какое-нибудь новое соображение, укажет какой-нибудь неизвестный ему факт. Ни малейшей начальственности! И ему страшно хотелось, чтобы ни у кого ее не было. Он часто это высказывал, и какому-нибудь советскому сановнику было обидно слышать, когда Ленин в Совнаркоме начинал об этом распространяться. И хотя у нас там сановничества очень мало, но перед лицом кристального антисановничества Ильича любому приходило в голову: а в самом деле, не сановник ли я?

С этим, пожалуй, «на верхах» дело

еще сносно обстоит. Но начальственной дури немножко пониже можно встретить сколько угодно. Если нарком любезен, то секретарь его обыкновенно груб. И если в Москве разговаривают по-человечески, то в губернии уже помалкивают и мычат, а в уезде рычат. Начальственности изрядно даже в среде самих коммунистов.

Так вот начальственность эту Ильич хотел отбросить совершенно. И вот вопрос: если мы будем иметь так называемый командный состав, прошедший через рабфаки и вузы, не может ли случиться так, что он вырождается в «начальственный» командный состав? Это очень большой вопрос.

Вообразите такую вещь. Россия освобождается от помещиков и буржуазии, выгоняет их вон. Страна остается главным образом мелкобуржуазной и находится под сильным давлением и контролем пролетариата, но по отношению ко всей стране он

очень малочислен. На всем этом мелкобуржуазном молоке поднимаются новые сливки, новый командный состав. Выдвинулся, получил орден Красного Знамени, назначен на такой-то пост из уезда — в губернию, затем в центр и т. д. Мы людей ищем, повышаем, фиксируем на известных местах, это естественный процесс, иначе и быть не может. Но не получают ли все-таки из них «совбуры» — «советские буржуи» и сановники? Сливки-то эти не скиснут ли? Не может ли получиться так, что эта публика, рядом с нэпманами, которые тоже поднимаются вверх, превратится в зачатки нового командного класса?

С точки зрения марксизма, существует не только вероятность, но и неизбежность того, что мелкобуржуазная страна стихийно выделяет из себя крупную буржуазию. При этом, что касается нэпмановских «сливков», то их можно собирать и употребить на

пользу государства, а если они уж очень горчат, то можно и куда-нибудь в Нарым скинуть. Это не так опасно, как другое. Не случится ли так, что свой человек, который хозяйственно, административно, культурно вырос и который, по всем правам — потому что он действительно талантливый, знающий, опытный, — руководит страной, не превратится ли он в «совбура»?

При каких условиях он останется коммунистом и слугой народа?

Во-первых, это будет при условии, если мы уже сейчас будем вырабатывать у него верное понимание того, что отрыв от масс для него гибель, что так же губительно неумение дать массе то, что он от нее и за ее счет взял. Когда Лавров (Миртов) писал свои письма к интеллигенции и укорял интеллигенцию дворянскую, буржуазную и в лучшем случае разночинскую в том, что она имеет долг перед народом, — это был навязыва-

аемый извне долг. А когда мы теперь это повторяем рабоче-крестьянской молодежи, то остаемся в согласии с вашим собственным инстинктом, идем по тому направлению, которое дала вам жизнь. И только против таких пересекающих ваш путь сил, которые могут заставить вас уклониться от этого прямого пути, надо бороться.

Молодежь уже биологически — это те люди, которым предстоит решать судьбы человечества на завтрашний день, это основная сила, коренная мощь человечества на завтрашний день. Молодежь вместе с тем переживает такое время своей жизни, когда она особенно восприимчива и к дурному и к хорошему. В это время на ее гибкую, мягкую, как воск, душу можно положить пятно, наложить изъян, который потом затвердеет, закостенеет и станет пороком; но в это же время можно положить на нее священную печать преданной любви

к человечеству, которая жила в сердце Владимира Ильича и о которой свидетельствовала нам Надежда Константиновна в день торжественных поминок его Съездом Советов СССР. Вы являетесь той частью молодежи, которая в наибольшей мере определит судьбу всех ваших сверстников и в значительной степени следующие за вами поколения.

Какая печать ляжет на вас — та печать станет наиболее возможной и для всех ваших сверстников, не попавших в число счастливых, приобретающих знания, являющихся кандидатами на командные посты. Повторяю: не только для них, но отчасти и для последующих поколений, для ваших братьев и сестер, сынов и дочерей. Вы сейчас находитесь в центре борьбы двух сил — растущего социализма и огромной крестьянско-мещанской, мелкобуржуазной стихии, в которой говорит голос эгоизма, голос честолюбия, которая находит

подкупающие, льстивые ноты для того, чтобы прокрасться в ваше сердце. Поэтому, кроме той тяжелой материальной борьбы, которую вы ведете, и борьбы за специальные знания, вы должны будете вести также борьбу за свою душу и за душу своего соседа по койке, по столу, за которым вы учитесь, — вести борьбу за скорейший подъем к свету законченного коммунистического сознания, внедренного в плоть и кровь вашу до самых костей и мозга костей, чтобы оказаться раз навсегда отрезанными от всякой возможности подпасть мелкобуржуазным тенденциям.

Эта борьба за молодежь есть одна из важнейших именно потому, что поскольку молодежь будет завоевана и не выпадет из рук у рабочего класса, постольку она будет мощным оружием в предстоящей борьбе. И она гарантирует нам победу, поскольку мы с нею вместе сможем развернуть несравнимую с нынешним

масштабом борьбу за просвещение масс.

Вот тогда, когда на ваши молодые рабоче-крестьянские плечи, на десятки и сотни тысяч молодых плеч перенесется в значительной своей мере тяжесть по решению наших социальных вопросов, — вот тогда мы сможем сказать, что мы могучи по-настоящему, тогда мы сможем сказать, что задача наша нам по плечу. Сейчас же она обременяет плечи уже рedeющей старой гвардии коммунизма и плечи часто неприспособленных и сравнительно редкой сетью разбросанных понимающих наши задачи работников, партийных и внепартийных. Она, эта задача, тяжела сейчас, но она будет облегчаться и становиться все более радостной по мере того, как вы, пройдя ваш путь образования, будете вставать в ряды деятелей нового государства и нового общества.

Не для того, конечно, я указываю на

эти опасности, чтобы напустить на ваше небо какие-то темные облака. Наоборот, я именно для того говорю, чтобы эти облака никак не могли сгуститься в тучу. Я лично целиком разделяю тот титанический оптимизм, которым проникнут марксизм вообще. В частности, Владимир Ильич в смысле оптимизма идет много дальше, чем большинство марксистов его поколения. Марксисты эти исходили априорно из того, что социалистическую революцию могут сделать страны с многочисленным пролетариатом. Когда Владимир Ильич говорил, что мы сделаем марксистскую революцию в России, что отвечали на это марксисты-меньшевики? — У тебя слишком много оптимизма, Ленин, — говорили они. — Ты забыл, что Россия страна отсталая, ты забыл, что пролетариата в ней мало, что он не организован и не образован, что рабочий класс, как муха в молоке, плавает в огромном крестьянстве. При

таких условиях и сам Маркс, — так говорили марксисты-меньшевики, — никогда не посмел бы помыслить о марксистской революции: хорошо, если будет более или менее приличная буржуазная революция, а остальное мы отложим до тех пор, пока пролетариат созреет... А Владимир Ильич думал, что не только в России, но и в Персии, в Китае, на Индостане и на Яве возможны руководимые марксистским учением революции. Они не выльются, конечно, сразу в коммунистические формы, но несомненно, что революции в мелкобуржуазных странах, революции мужицкие, революции бедняцкие могут получить закваску, фермент, окраску от своего пролетариата и через свой пролетариат, как бы он ни был малочислен сравнительно с пролетариатом Западной Европы и Америки. Смычка с крестьянством — это центральная идея Ленина. Пролетариат заражает своими идеями и настроени-

ем мелкую буржуазию, притягивает ее к себе, двигает ее за собою. На этом базируется Владимир Ильич. Вот почему он не боялся того, что коммунисты — капля в море. Вот почему он призывал: используйте всякого рода спецов! Он знал, что эта все притягивающая сила, вот эти пролетарские дрожжи так мощны, что могут заставить взойти очень большую опару. Это позволяло ему предполагать, что все бесчисленное море крестьянское может быть поднято пролетариатом.

Все эти мысли меньшевики, конечно, слушали с трясущимися коленками. Большевики припомнили, что они «рабочедельцы», что у них «настоящая пролетарская, рабочая душа», и они заныли: что ты делаешь, Ленин? Ты потопишь пролетариат во всей этой неразберихе. Это эсеровщина, это ересь! Но они ныли так не потому, что у них, меньшевиков, пролетарская душа, а потому, что у них

короткая интеллигентская кишка, и они, воспринимая идею пролетариата как передового класса, не понимают ее с той точки зрения, что этот класс — одновременно слуга и водитель человечества.

Никто в такой мере, как Ленин, не подчеркнул эту идею. Когда мы, первые поколения русских марксистов, изучали Маркса, мы его понимали таким образом: пролетариат в передовых странах делает пролетарскую революцию и после этого протягивает руку отсталым братьям, заботится о них, а не эксплуатирует их. А что сказал Ленин? — Пролетариат не сможет освободиться сам, не опираясь на крестьянство и в том числе крестьянство колониальных стран. Он должен еще до своего освобождения втянуть их в свою орбиту. Мог ли при таких условиях Владимир Ильич испугаться того, что наша молодежь, если она не будет исключительно пролетарской по своему составу,

свихнется в другую сторону, что эта молодежь пойдет не по тому пути, на который зовет ее голос мировой истории и на который направляет ее своею верной рукой наша испытанная коммунистическая партия? Он этого бояться не мог. Когда он указывал нам на опасности нэпа, когда он указывал на опасность комчванства, он делал это не для того, чтобы сеять среди нас уныние, а для того, чтобы мы знали, с какой действительностью мы имеем дело, чтобы мы все это приняли во внимание и сказали себе: наш путь чреват опасностями, но мы их избегнем, мы их преодолеем.

«Ленин и молодежь» — так назван мой сегодняшний доклад. Вот эта отвага Ильича — она была молода. Он был молод в свои 53 года и остался бы молод, сколько бы ни прожил на свете. Молод и ленинизм — от него веет мировой молодостью, веет колоссальным будущим впереди

и безудержной молодеческой отвагой.

И если Ильич молод, то и молодежь должна быть «ильичевой» молодежью. Она должна проникнуться не только этой его заразной и родной для нее молодостью, но и мудростью Ленина, и осмотрительностью, и умением делать выводы из седой культуры, приобретенной столетиями. И когда это все в ней соединится, когда она станет достойной Ильича, когда она десятками тысяч зеркал отразит в себе этот сияющий образ и сделается, насколько кто может это вместить, подобной нашему вождю, — тогда это будет уже поистине богатырская молодежь. Тогда, само собою разумеется, ни внутренние, ни внешние опасности не будут для нас ничего значить.

Сегодня мне передали одно смешное письмо. Его написал какой-то француз.

«Ваш Ленин, по крайней мере, втрое



большой вождем и водителем людей, чем Магомет. Ваш СССР в десять раз больше, чем Аравия Магомета. Поэтому, по моим вычислениям, к 1944 г. вы должны завоевать три четверти мира». «Я не сомневаюсь, — говорит он, — что все откажутся от принципа частной собственности, и ваш новый Коран — марксизм будет принят повсюду. Одни идут путем насилия, другие путем мелких уступок, но несомненно положено начало гигантскому мировому движению. И та кипучая энергия, которая в вас имеется, должна, — говорит он, — потом разлиться по всему миру. Важно только то, чтобы, как у Магомета оказался хороший наследник — Абубекр, который мог всех конкурирующих Али и Османов устранить со своего пути и превратить внутреннюю

моральную энергию Магомета в завоевательную энергию, так нужно, чтобы и у вас нашелся Абубекр». И он кончает свое письмо такими словами: «Мир просит у тебя, Россия: дай ему вслед за твоим Магометом твоего Абубекра».

И вот, может быть, Абубекра мы и не дадим, и он не очень нам нужен. Владимир Ильич, стоя над гробом своего друга Свердлова, сказал: таких людей заменяет только коллектив. И мы также скажем: Магомета, может быть, Абубекр заменить мог, а Ильича никаким Абубекром не заменишь, его заменишь только коллективом.

Старайтесь же, товарищи, чтобы каждый из вас стал элементом этого великого, неслыханного, победоносного коллектива.

В. Сафонов**Звонок в дверь****1**

Заседание длилось долго, началось рано — коллегия сельскохозяйственного отдела Московского Совета решала, как засеять, засадить, превратить в огороды участки вблизи города и на пустырях в городе. Их перебирали один за другим, по номерам, сверялись с планами, обсуждали, где взять посадочный материал, записывали сроки.

Дважды устраивали перерыв для курящих. Председатель постукивал карандашом. Обменивались репликами. Пошучивали. Конец войны казался несомненно близким, у всех в памяти звучали февральские слова Ленина: «Сделано то, что может быть названо чудом, потому что в борьбе против международного капитала удалось одержать такую неслыханную невероятную победу, которой не видывал мир». И другие его слова: «Теперь очередь за войной бескровной».

Отовсюду долетали вести о первых победах в этой бескровной войне. Товарищ, приехавший из Воронежа, в перерыве с жаром рассказывал, как подняли сброшенную в реку ферму и восстановили мост. По рукам ходили газеты: пущены заводы во всероссийской кузнице — на Урале, в Донбассе...

— А вот в Подмосковном бассейне добыча (и говоривший об этом сделал резкое ударение на ●, по-шахтерски), добыча достигла уровня семнадцатого года. Да что достигла — превосходит!

Все знали о плане — всю Россию, и промышленную и земледельческую, сделать электрической.

Скупой солнечный луч из окна перемещался по комнате, потом померк. Председатель постучал карандашом.

— Ну что, хватит на сегодня, товари-

щи? Хорошо посидели. Закругляемся? — Нет, необходимо все взвесить до конца. Без этого мы не имеем права расходиться. Время не терпит.

То раздался голос Тимирязева, знаменитого профессора Тимирязева, негромкий, старческий, с особенным плавным изяществом произносивший каждую фразу.

Мгновенный говорок прокатился вдоль длинного стола. О чем подумали люди? Что кровавая война еще не до конца уступила место бескровной? Что еще ждут испытания? Не сегодня-завтра... Именно сейчас идут тревожные дни. Антанта... Зловещее слово! Давила удавкой блокады. Не вышло. Интервенция? Разбита вдребезги. Но еще раз она вот-вот попытается прощупать крепость Страны Советов. Через Польшу Пилсудского, через панскую Польшу. Все время об этом предупреждает Ленин. Выдержим! Теперь-то знаем, что выдержим! Но надо быть готовым. Готовым ко всему. И тем более — работать, работать. Время не терпит!

— Земля начнет быстро просыхать, в нашем деле решат не недели, а сутки, часы! — спокойно пояснил Тимирязев.

— Ну что ж, продолжим, — сказал председатель.

Сосед справа наклонился к уху:

— В Тверской губернии, в сельскохозяйственной коммуне предпринимается полная очистка семенного фонда. Слышали? Триеры, горки. Магнитные сортировки. Змейки. Чтобы вплотную добиться высочайших кондиций зерна. Многопольный севооборот, с точным выбором предшественников. Для вас любопытно. Помещикам в «экономик» и не снилось бы, а?

Тимирязев поймал себя на том, что что-то мешает ему сосредоточиться. «Устал за день. Много выступал.

Сдаю... Старость не радость», — с привычной усмешкой подумал он.

Когда все поднялись, застучали отодвигаемыми стульями и враз заговорили, прощаясь друг с другом, председатель остановил Тимирязева.

— Климент Аркадьевич, куда же вы? Сообразим что-нибудь, доставим вас.

— Совсем в инвалиды определяете? Мне тут два шага. Позаботьтесь о тех, кому в Сокольники.

— Все же, Климент Аркадьевич, принимая во внимание...

— Что через полтора месяца стукнет семьдесят семь? Юноша! Вон Илья Ильич Мечников считал, что нормальный срок — полтора года. Я же вот потратил жизнь, доказывая, что живое на земле — и человеческий мозг также — сгусток солнечных лучей. Да, да, лучистой энергии солнца. И не надо забывать время от времени подставлять голову... первоисточнику. Так что увольте — пройдуся.

— Помните, вы очень дороги и нужны нам, Климент Аркадьевич.

2

Позади, за Триумфальной, бледнела жидкая полоска заката. Он увидел ее в пустынно-сизых, почти всюду без огней глазницах окон. Как прибавились дни! Кажется, чуть не вчера в этот час была глухая ночь, тьма, черные улицы — и вот вдруг...

Точно впервые в жизни он глядел на это чудо прилива света — свою семьдесят седьмую весну. А она подошла холодная, слякотная, промозглая, в лохмотьях облаков.

Он поехал, ощутив озноб, поднял воротник. Напрасно не послушался жены, вылез из шубы. Старость не радость...

Шел медленно, опираясь на палку с широким крючком ручки, одна нога плохо слушалась — древняя история... В последние годы его борода клинышком отросла узко и длинно, седым лезвием она еще удлиняла лицо, встречные на Тверской смотрели вслед прохожему с необычайным обликом рыцаря.

Остановился. Окинул взором прекрасных голубых глаз мокрые тротуары, людей, ручные тележки, верхи домов, матово застывшие в негаснущем, неубывающем свете. Точно впервые в жизни... Как в детстве, как в юности.

На стене висел плакат. Свежий, только что наклеенный. Изображена группа силачей, похожих на васнецовских вятязей, но в рабочих блузах, один с курвалдой, за ними паровоз, трубы, дома, каупера, террикон. Надпись: «1-е МАЯ. Всероссийский субботник».

По середине тесной искривленной улицы, задорно притопывая как бы в какой-то дружной игре, чеканил шаг разномастно одетый отряд. Очень молодые. Комсомольцы. Мальчишки... Лица их были чрезвычайно серьезны. Чистым высоким голосом выводил передний:

Слушай, товарищ:
Война началась —
Бросай свое дело,
В поход собирайся.

А все подхватили:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

И старик снова остановился, стоял и смотрел, пока они проходили.

На углу Газетного зияли во весь кварталы кирпичные руины. Что-то затевали строить при царе Горохе...

Сейчас над руинами иногда курится дымок — говорили, тут ютятся беспризорные.

От зоологического музея, постукивая палкой, перебрался через улицу в Шереметьевский и сразу — налево, во двор нового здания университета. Оттуда кратчайший проход в соседний двор, забора-преграды нет — разобран, сожжен.

И вот он дома. Шагнул в кабинет, повесил палку на край конторки, заказанной лет двадцать назад, чтобы работать стоя.

И сегодня палка Тимирязева так и висит там — с того самого вечера 20 апреля 1920 года. Дома царила привычная, важная тишина. Звуки извне не проникали. Окружили любимые вещи. Портреты великих старцев, которых уже нет в живых, — он все еще ощущал на ладони тепло их рукопожатия. Рама с фотографиями-диапозитивами — на Всероссийской выставке 1896 года ей присудили серебряную медаль. И еще фотография, похожая на живопись, море, дорожка бликов, облака. Левитан восхищенно замирал перед ней («Уж не прикажете ли мне после этого бросить свои кисти?!») — ее так и прозвали в семье «Левитановским морем». И еще — сосны в Мерекюле, некогда отдыхали вместе с Шишкиным, Шишкин их писал, он — снял... Приборы, им изобретенные, книги. Среди них редчайшие, таких нет ни в Румянцевке, ни в Петербургской Публичке. Репродукции — Рафаэль, Тициан, — привезенные из Лейпцига, маленькое полотно — Венеция, он всю жизнь считал его оригиналом Тернера, своего любимца, волшебника света и воздуха, воды и тумана.

За столом несколько раз перехватывал настороженный взгляд жены. Не столько поел, сколько поковырял, залпом,

обжигаясь, выпил стакан бурого чая-суррогата, чтобы прогнать озноб. И быстро встал из-за стола.

— Ляжешь? Отдохнешь?

— Не время. — Еще раз отрубил: — Не время. — Махнул рукой: — Успею наотдыхаться...

Александра Алексеевна проводила его глазами. Перед работой умолкало все. То был строгий заведенный порядок всей жизни.

Было сумрачно. По квартире, казалось, гулял ветерок. Накинул плед. «За делом согреюсь», — подумал он. В кабинете тускло горела лампа. Он любил свет, цветы. Прежде ставили вторую лампу, свечи в канделябрах. Он шел сюда как на праздник. На стене белели два прямоугольника: диплом почетного доктора Женевского университета, хартия, провозглашающая по-латыни *dominum Timiriaseff* членом Лондонского королевского общества. Кому-то он сказал, что это не право, а требование. Напоминание о долге — каждый день, каждый час, всегда перед глазами.

Ему стало спокойно, и он сел в жестковатое кресло, машинально взял в руки крошечное, с ноготок, лейпцигское издание первой части «Фауста» — он знал ее почти наизусть, не раз цитировал в собственных переводах. И открыл папку с материалами к новой своей книге. «Солнце, растение и хлорофилл» — так предполагалось ее назвать. Он зачеркнул «растение» и твердо написал: «жизнь». «Солнце, жизнь и хлорофилл». Главное, что он сделал. Пути к разгадке величайшей, основной тайны: сотворение живого из неживого с помощью солнечных лучей в зеленом растении. Солнце — начало жизни. Всякой жизни. Солнце, преломленное в чудесном зернышке хлорофилла...

Он работал над предисловием. Хотелось добиться предельной ясности. Сказать не просто о физическом свете, но и о позорной, чудовищной борьбе мрака с небывалым светом, зажегшимся в человеческих делах... Внушить читателю непреклонную уверенность в победе света.

В который раз он принимался за страницы предисловия? В восьмой? В десятый? И снова педантически вписывал французский, немецкий, английский текст аккуратными, чуть подымающимися вверх строчками (знал за собой эту особенность — для беловика приготовлен транспарант; пошучивал: «строчки направо вверх — не меланхолик! оптимист! Спросите графологов»).

Заведенный порядок работы был таков: два часа за столом, затем двери настезь — перерыв; шумно, мурлыкая что-то под нос, выбегал в другую комнату. В давние времена, когда сын был еще мал, жена уверяет — будто прыгал с ним на одной ножке, — не знаю, не знаю, не помню...

Нет, сегодня придется отступить от всякого порядка. Так и не согрелся. Вдруг потряс кашель. Что ж, утро вечера мудренее...

3

Утром он не встал. Кашель сух и болезнен. Александра Алексеевна поднесла к глазам градусник, сияясь улыбнуться, изменилась в лице и выбежала из комнаты.

Квартира в первом этаже была темной, в окна, в двух шагах, лезли чужие стены, бело-красным крутым боком наваливалась церковка 17-го столетия, родовая шереметевская, поколения Шереметевых с тех пор входили в мир и уходили из мира через эту

церковь — «зато нарышкинское барокко! Единственный памятник!» — бывало, утешал домашних и друзей Тимирязев.

Сейчас в верхнем стекле Тимирязев видел за двухэтажным строением желтый карниз университета.

Слышались приглушенные голоса, крутили ручку телефона.

Вошла жена, он сказал:

— Сашенька, я там у себя приготовил... «Наука и демократия». Прошу тебя — немедленно отослать.

Взял в руки принесенную книгу, перечитал надпись на титульном листе — крупно написанными, все так же слегка «восходящими» строками.

«Глубокоуважаемому

Владимиру Ильичу Ленину
от К. Тимирязева, считающего
за счастье быть его современником
и свидетелем его славной деятельности».

По старой орфографии — новой не овладел...

Звякнул звонок. Вошедший потопывал, снимая в прихожей калоши, верно, придерживал задник носком другой ноги. Быстро и негромко что-то спросил. И прямо с порога:

— А где тут член Социалистической академии? Это что же такое? В необычной, необычной позиции застаю! — В руке выдавший виды саквояжик. И тот самый «докторский», балагурный голос, с каким испокон веков входили доктора в комнату больного.

Он знал врача. О нем говорила вся Москва. Вейсброд, хирург-виртуоз. Вейсброд — большевик чуть не со студенческой скамьи, земский врач, ссыльный, потом эмигрант. Ординатор, который делал чудеса в Первой Градской. Доктор-комиссар, председатель

ЧК — только ЧК по борьбе с эпидемиями. Совсем молодежавый, почему-то думалось — в сапогах и френче, но эти совершенно штатские калоши, совершенно штатский голос...

— Борис Соломонович? Да, да, не ошибся. Память еще служит. Очень рад... Но к чему же это вы?.. Узнаю Александру Алексеевну. Из-за стариковской хворости! Не послушался, видите ли, ее, не то пальто надел — так во все колокола, обеспокоила сразу вас!

— Отлично сделала! Бастовать вам не позволим — не такие времена.

— И вздор, инфлюэнца. Завтра-послезавтра буду на ногах. Не впервой. Как соображу свою жизнь: непотопляемый корабль! Остойчивость!

И. закашлялся. Врач присел. Но Тимирязев опять сказал:

— Обо мне — не самое важное, пустяки. А вот вы ездили с эшелонам на юг. Что-с? Осведомлен. И что Ленин следил за вашей поездкой — тоже осведомлен. Как пробились? Дороги, мосты? С разрухой справляемся? За генералами и атаманами — вошь побеждаем? Вы же — командарм. Мне крайне интересно.

— Больной, способный задавать столько вопросов, поверьте мне, не внушает врачу никаких опасений.

Но, выслушивая, выстукивая, он нахмурился. Все так же хмурясь, писал рецепты. Негромко давал указания Александре Алексеевне. Вдруг до слуха больного донесся высокий голос врача — как будто доктор вспылит:

— Да, да, мне, именно мне, лично — в любую минуту дня и ночи!..

4

На другой день стало хуже.

— Пневмония? — спросил Тимирязев.

Заходили коллеги, ученики — много народу. Врачи брались дежурить. Но больной отсылал их. Пахло камфарой. Вейсброд говорил:

— К сожалению, мы не располагаем специфическими средствами борьбы с возбудителями крупозной пневмонии. Они появятся. Возможно, это будет сыворотка. Но хочу думать, что радикальное химическое оружие. Пробыть-ся сквозь оболочку пневмококка Френкель — Вексельбаума, диплобациллы Фридлендера — вот в чем трудность. Надо хитростью, что ли, обманом — сымитировать жизненно важное для микроба вещество... Троянский конь внутри бациллы — вы понимаете? Пока что мечты... Но ваш сын застанет время, когда районный врач социалистической Москвы в три-четыре дня справится с любым случаем. А сейчас наше дело — поддержать и умножить защитные силы организма. К счастью, у вас они велики...

Больной тревожно прислушивался к каждому звонку. Он приподымался.

— Звонят — не слышите? Отчего не отпираете? Я и здесь, за две комнаты... Александра Алексеевна уменьшила число визитов и число звонков.

— Нетерпение, нетерпение, никогда не признавал дня, часу лишнего... Ну, чего ты ждешь? — Она отлично понимала, чего он ждет. — Разве возможно так скоро? Ты представляешь, как он занят...

Больной понимал.

— Конечно. Невозможно. — И вдруг добавил: — Я должен дожидаться. У меня мало осталось...

Оборвал, не закончив, и она отвернулась к окну с покрасневшими щеками. — Что ты!..

Настало двадцать шестое.

— Доктор, со мной не надо играть в прятки. Я биолог.

Что такое смерть? Концентрат солнца, сгусток энергии возвращает ее природе. Уплата займа... Ничто не истребимо. Мысль... Она останется работать в человечестве. Служить людям, подхваченная ими. Если ты сделал свое дело. Если разжег факел, чтобы прибавить света идущему за тобой поколению.

Всю жизнь он привык смотреть в глаза правде, любой правде. Теперь он знал, что умирает.

Князь-воин де Марсильяк, премудрый герцог Ларошфуко учил, что смерть ужасна, лицо ее непереносимо для человека, и единственное, что советует шаткий разум, — это отворотить от нее взоры: вот секрет смельчаков.

Урок мудрости при дворе кардинала Мазарини и юного Людовика XIV...

Ларошфуко ошибался. Тимирязев ставил свой последний эксперимент.

Биологический страх? Что же — тот защитный механизм, без которого жизнь исчезла бы еще на самых первых порах...

Он казался совершенно спокоен.

— Борис Соломонович, я прошу вас, позовите всех. Всех, кто в доме.

И когда собрались, он заговорил медленно, законченными, отточенными фразами, так, как читал свои лекции, о которых говорили: «Стенограммы Тимирязева можно прямо отправлять в печать».

— Я всегда старался служить человечеству и рад, что в эти серьезные для меня минуты вижу вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики, проводящие ленинизм, — я верю и убежден — работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами и надеюсь, что мой сын, Аркадий Климентьевич, будет верным моим последователем и останется

только с вами — большевиками. Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет и пожелания дальнейшей успешной работы для счастья человечества.

Через несколько дней эти слова, записанные Б. С. Вейсбродом, были опубликованы в № 32 газеты «Коммунистический труд».

5

А вся жизнь его была приготовлением к этим словам.

Он слышал и читал, что в последнем воспоминании жизнь резко спрессовывается и предстает совсем коротенькой: только вчера родился...

И это было неправдой. Точно в безмерном отдалении грезилось ему начало. «Подумать: время Николая Первого. Николая Палкина. Мезозойская эра! Юрская эпоха!»

В те незапамятные времена у отца спросили:

— Какую карьеру готовите вы своим четверем сыновьям?

— А вот какую. Сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей, и пойдем с другими — на Зимний дворец.

Это был 1848 год, год революции во Франции, сбросившей Луи Филиппа.

А родился отец в 1789 году — году французской революции, которую называли «великой». О Робеспьере он говорил детям так:

— Честный это был человек, чистый, святой человек.

14 декабря 1825 года отец пришел на Сенатскую площадь — в толпу тех, кто из-за лесов будущего Исаакия швырял камнями в николаевских усмирителей. Карьера для отца закрыта. Таможенный чиновник, уволенный со службы. Семья еле сводила концы с концами. «С пятнадцатилетнего возраста моя левая рука не израсходовала ни одного гроша, которого не заработала бы правая». Климент учился, зарабатывая на жизнь уроками и переводами. «...занятие наукой было делом страсти в часы досуга, свободные от занятий, вызванных нуждой». Неистовым, неутомимым трудолюбием обладал этот мальчик.

Позднее, мировой ученый, он имел право говорить:

— Я взял науку с бою.

Семнадцать с небольшим лет он впервые вступил в знаменитый бесконечный, на полверсты, коридор Петербургского университета — петровского здания двенадцати коллегий.

Наступали шестидесятые годы.

Пало крепостное иго.

Из рук в руки переходили затрепанные книжки «Современника» со статьями Чернышевского. «Колокол» Герцена гудел в Лондоне, и через все полицейские кордоны прорывался набат. Из конца в конец России звучали стихи Некрасова, мощные, широкие, как песня...

В министерских канцеляриях все больше теряли голову — от страха и от бешенства.

Во время студенческой забастовки, разразившейся в ответ на полицейское требование выдать расписки в «благонравии», в пустую аудиторию прошел однокурсник, остзейский барончик. Тимирязев особенно запомнил его: чистенький, аккуратный, розовощекий. Надменно-пренебрежительно и вместе

трусливо он поглядел на забастовщиков. Он-то обеими руками подмахнул расписку-матрикулу. Он плевал на все, кроме своих тетрадок с формулами, и были они такие же чистенькие, аккуратные, розовенькие, как он сам. Он думал, что это наука и что он призван оставить в ней след, — прилежный ученик с этими своими прописями, — как все-таки, черт возьми, была его фамилия?

Едва ставши студентом, Тимирязев исключен. Всё? Разбитое корыто? Так хотели те, кто исключал.

Но он возвращается в университет. Кончает его — с золотой медалью за выпускную работу. Не студентом, а вольнослушателем. Для этого нужен был «только» двойной или тройной напор воли по сравнению с теми, кому суждена укатанная дорожка. «Наука не ушла от меня — она никогда не уходит от тех, кто ее бескорыстно и непритворно любит; а что случилось бы с моим нравственным характером, если бы я не устоял перед первым испытанием, если бы первая нравственная борьба окончилась компромиссом!»

6

Ему введома жгучая, самозабвенная радость работы ради познания мира. Но не в прописях была она, не в крохоборческом нанизывании еще одной формулы на уже существующие. Нет, то было чувство как бы стремительного полета сквозь расступающееся неведомое, радость открывания новых материков вселенной, гордая человеческая радость работника и хозяина мира.

Никогда прежде это ощущение не было так явственно, как в ту пору. Начиналась эпоха Дарвина.

От самого чудесного, что есть в природе, от мыслящего мозга, оказалось возможно протянуть нить к простейшим формам жизни. Где-то на заре геологической истории пронизательный взгляд исследователя угадывал и общие корни для обеих гигантских ветвей — животных и растений. Там скрыты первопредки всего живого мира — существа, подобные капелькам слизи. Еще шаг — и непрерывная ниточка приведет к последним пределам живого, к тому моменту, когда и сами эти первопредки силой неподкупных естественных законов возникли из неживой природы...

Все это было как находка архимедова рычага.

И словно сквозь прорванную тысячелетнюю плотину, хлынул в науку поток изумительных открытий. Настало время необычайных свершений, «завтра» сменяло «сегодня», чтобы отпраздновать новые победы человеческого разума.

С момента, когда на лекцию в одиннадцатую аудиторию старик профессор Степан Куторга принес толстую английскую книгу и мелом по-русски выписал на доске ее неуклюжее название: «Происхождение видов посредством естественного отбора или переживание благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», а затем, поглаживая ее рукой, чудаковато буркнул: «Книга новая, но хорошая», — с того момента юноша Климент, прочтя эту книгу, стал дарвинистом. И на всю жизнь... И как же неукротимо защищал он учение Дарвина, пропагандировал, двигал вперед! Всю силу, всю страсть свою, непоколебимую веру в торжество правого дела отдал защите идей Дарвина, обороне их от всяческих врагов. И по признанию самих врагов, величайшим дарвинистом мира («а

дарвинистов в науке столько, сколько истинных натуралистов», — замечал Тимирязев) был именно он, Тимирязев. Нет, он не просто даже развивал дальше дарвиновское учение, а поворачивал его по-своему, по-тимирязевски.

Там, где Дарвин делал зарубку: так происходило в природе, так случалось в истории домашних животных и культурных растений, Тимирязев утверждал: так должен, так будет поступать человек, чтобы изменить служащий ему живой мир в ту сторону, в какую найдет нужным.

В сторону человеческого могущества поворачивал Тимирязев Дарвина.

7

И вот тут-то появлялась на сцену эта загадка зеленого растения.

Это пленение и запасание впрок солнечных лучей с помощью зернышек хлорофилла и постоянное, ежеминутное превращение неживого в живое. Оно идет повсюду, повсеместно, кишит, обступая нас, — протяни руку и разотри листок; но непостижимо так, будто совершается на иной галактике! Он никогда не забывал слов, сказанных ему, молодому естествоиспытателю, самим Дарвином в его доме под Лондоном, в Дауне, с пристроенной теплицей, окруженном садом, с закатом, бьющим в высокие окна. Как жадно вглядывался он в черты седобородого патриарха! Патриарха? Нет. Ни с чем не сравнимое соединение почти мужицкой простоты, какой-то зоркой важности с львиной мощью, которое повторилось еще только один раз: в лице Льва Толстого.

Ручная белка взбежала по рукаву Дарвина. Он спросил, чем занимается

гость. И, выслушав ответ, помолчав, выговорил задумчиво:

— Да, хлорофилл — это, быть может, самое интересное из органических веществ.

Он тоже думал об этом!

Казалось невозможным найти даже подступы к цитадели зеленого листа, беззащитной и неуязвимой.

К самой глубокой тайне природы.

Все попытки проникнуть в секрет фотосинтеза, «светового созидания», приводили к сбивающим с толку результатам.

Классическим считался опыт Дрепера, показавший, что фотосинтез всего энергичнее идет при освещении листа лучами желтой части спектра.

Вероятно, физик Дрепер уже тогда готовился написать прославившую его позднее «Историю умственного развития Европы», где повествовалось, как без особых затруднений веком разума сменились века суеверий, и свой результат счел еще одним завоеванием разума.

Но удивительно то, что вовсе не желтые, а красные лучи солнечного спектра больше всего поглощаются хлорофиллом, и значит, по логике и здравому смыслу они и действовать на него должны больше всего.

Дрепер не заметил этого. Заметили те, кто вовсе не беспокоился о разуме.

— Итак, — возвестил ботаник Детмер, — свет может действовать в тени, вовсе не поглощаясь, то есть никак физически не действуя!

— Другими словами, — резюмировал его учитель, прославленный Сакс, — все эти спектральные анализы в применении к глубоким основам жизни растения — ненужная трата времени. Мы и без физиков столько же знали бы (или не знали бы) о фотосинтезе.

Уж не поторопился ли Джон Вильям Дрепер торжествовать победу над веками тьмы и хоронить их в безобидном прошлом?

Трудно даже оценить ту степень незнания, ту немощь точного исследования, которыми отмечена была тогда эта важнейшая область. Нынешние студенты не поверят. Ведь это было совсем недавно — по историческим масштабам. Каких-нибудь полвека... В юрскую эпоху. В мезозойскую эру. Вон что за путь прошла с той поры наука! И в сущности, это ему, Тимирязеву, она была бы обязана значительнейшей частью этого пути.

Хлорофилл... Вещество, которое и встречается-то раздробленным на такие малые крупички, что ни один из тогдашних методов химии не позволял даже собрать его в чистом виде. Ни физикам, ни химикам никогда не было никакого дела до крошечных пузырьков газа, которые может выделять чуть освещенный лист.

Как могло получиться у Дрепера то, что не могло получиться?

Приблизительность — значит физическая порочность: вот что скоро обнаружил в этом опыте придирчивый взгляд вовсе не физика, а биолога, дарвиниста, ботаника Тимирязева.

Пучок лучей, пропущенный через щель, разверстную на $\frac{3}{4}$ дюйма: иначе «ничего не проанализируешь». Но ведь и при гораздо более узкой двухмиллиметровой щели края спектра еще размыты!

Это наблюдение было уже кое-чем. Так сказать, первой ступенькой.

Всякая «примерность» причиняла Тимирязеву почти физическую боль. Такова была наиболее характерная черта склада его научного мышления. Он не выносил рассмотрения вопро-

сов «вообще», при котором все казалось «в основном ясно».

— Ясно? — переспрашивал он. — А что именно ясно — вы вот мне покажите и докажите. Ясно! — повторял он, и голос его начинал звенеть. — Словесам в науке грош цена. А по моему, эта «ясность» и есть туман, в коем безнаказанно плодятся пустые призраки, гнездятся чудовища метафизики!

Он пошел на выучку к физикам. И стал строить свои приборы, раз не было готовых. Один за другим.

Вскоре десятой доли кубического сантиметра газа уже было достаточно Тимирязеву, чтобы браться за анализ.

А через короткое время — уже одной тысячной кубического сантиметра.

На этом можно бы остановиться. Но он — так было с детства и до последних дней — никогда не останавливался, если задача не исчерпана. И считал это важнейшим жизненным правилом — не в одной науке.

Он изобретает микроэвдиометр. Достаточно выставить на свет на пятнадцать секунд листочек рдеста или веточку элодеи, — словно пинцет, прибор снимает с поверхности листка один-единственный пузырек с булавочную головку, в какую-нибудь стомиллионную долю грамма. И через две минуты состав ничего не весящей газовой пылинки определен.

Марселен Бертелло, блистательный экспериментатор, сказал Тимирязеву в Париже:

— Каждый раз, как вы приезжаете к нам, вы привозите новый метод газового анализа, в тысячу раз более чувствительный.

А физики пишут: «Мы вас считаем своим и учимся у вас». «Следя за вашими опытами, мы невольно вспоми-

нали работы великих созидателей физики».

8

Он навсегда запомнил малейшие подробности своего единоборства с блеклой радугой Дрепера.

Это произошло в невысоком угловом помещении, в нижнем этаже здания Петровской академии. Стены были толсты — и в летний зной там прохладно. Окно выходило на юго-восток. Перед окном на каменном столбе часовой механизм медленно, равномерно поворачивал за солнцем зеркало гелиостата. И яркий сноп лучей от него падал на чечевицу, вделанную в наглухо закрытые ставни. Он падал невидимо: приставленный к чечевице плоский глубокий раструб, выклеенный внутри черной бумагой, тотчас брал его в плен. Раструб суживался, на другом конце его лишь миллиметровая щель. Но опять чечевица и призма ловили за этой щелью лезвие луча — единственное, проникавшее в помещение и все еще остававшееся незримым.

И вот в глухой тьме возникло и стало видимо несколько стеклянных трубок. Кроме них, не было ничего. Казалось, они налиты живой огненной плотью. Крайняя красная — темнее всех; рядом с рубиновой горела золотая; огромный, с человеческий палец, изумруд сверкал возле хрусталя, полного жидким голубым сиянием.

Чувство никогда не испытанного, непреодолимого восторга охватило Тимирязева при этом видении повисших в воздухе трубок — вспыхнувшего в непроницаемой черноте созвездия драгоценных камней.

Он слышал тиканье часов в жилетном кармане, как биение собственного

сердца. Больше не было бесконечного пространства, зияющего между Землей и Солнцем! Сама солнечная сила вступала сюда — волоском луча. У Тимирязева явилось странное ощущение: будто тут, на расстоянии вытянутой руки, бьется перед ним обнаженное сердце природы.

Планеты и звезды. Живое и неживое. Жизнь растения и жизнь человека. С отчетливостью ясновидения он увидел их связанными в единый узел, открывшуюся, нагую сущность вещей — в невыразимо прекрасном радужном сиянии созидания жизни.

Он не заметил, как протекло время, потребное для опыта. Он был уверен в его результате. Этот результат был тот, что выделение кислорода энергичнее всего совершается в красных лучах спектра — в багряной, пурпуровой трубке! Кривая фотосинтеза соответствует кривой поглощения света хлорофиллом и кривой действия света!

9

Под микроскопом крупинка хлорофилла. Она прозрачно-зеленая в зеленых и желтых лучах, сквозная красная на их границе и вдруг теряет свою прозрачность и делается как уголь в той красной части, где пролегает главная полоса поглощения хлорофилла.

Некогда первым в мире Тимирязев произвел этот опыт.

Через много лет, уже подводя итоги всему, он снова вернулся к крошечному зернышку в микроспектре на своей «крунианской лекции», которая посвящалась Лондонским королевским обществом крупнейшему событию в естественных науках по завещанию доктора Круна, современника Галилея.

«Космическая роль растения» — так непривычно (особенно по тем временам) назвал он лекцию. И сказал словами совсем не академического обихода, словно залетевшими из другого ряда, иного простора:

— ...Мы действительно присутствуем здесь при таинственном процессе «превращения света и тела», благодаря которому этот ничтожный черненький комочек вещества является истинным звеном, соединяющим величественный взрыв энергии в нашем центральном светиле со всеми многообразными проявлениями жизни на обитаемой нами планете.

Он любил повторять изречение, вычитанное из французской книги: «Гений — это идея молодости, развитая зрелым возрастом».

Жизнью своей и работой он показал почти единственный пример в истории естественных наук: как программа поразительной смелости и ясности, написанная себе юношей, неуклонно выполнялась затем на протяжении десятилетий, сколько бы сотен, а может, тысяч опытов ни потребовалось для преодоления непреодолимого, какие бы ни раздавались угрозы, улюлюкающая ругань, злобные опровержения, издевки, схожие с доносами: «Тимирязев на казенный счет изгоняет бога из природы!»

10

Двадцатичетырехлетний ботаник — ближайший сотрудник Менделеева по первым в России широкопоставленным агрономическим опытам: заведует одним из трех полей — симбирским. Той осенью 1867 года молодой ботаник Тимирязев, приехав из Симбирска, увидел у П. А. Ильенкова, профес-

сора недавно открытой в Москве Петровской академии, новый немецкий том, разрезальный нож еще был положен в него. «Карл Маркс. Капитал» — стояло на титульном листе.

Проходит девять лет.

Среди будущих агрономов — волнения. Трех арестовывают, в их числе студента Владимира Галактионовича Короленко. Товарищ министра земледелия и государственных имуществ князь Ливен «сам» председательствует на совете академии. И в лицо ему один голос, лишь один голос раздается в защиту студентов: голос молодого профессора Тимирязева.

Ну что ж, надо расплачиваться. Его еле терпят: известность его растет. В Петровскую академию едут к нему ботаники, агрономы, работники редких еще русских сельскохозяйственных опытных станций — паломничество!

Чтобы его отстранить, воспользовались реорганизацией — способ не новый... А что же в Московском университете? (Он уже прочно и навсегда москвич.) Студенты объявляют годовщину смерти Чернышевского днем траура. Без лекций. Он совершенно согласен с ними. Его аудитория закрыта. На следующей лекции входит декан математик Н. В. Бугаев (любовно изображенный во многих книгах своим сыном, Андреем Белым). Он смущен, бумага в его руке вибрирует. Тимирязев ждет. Потянувшись на цыпочках к его уху, Бугаев зашептал. Что? Да, он обязан объявить выговор профессору — и перед студентами именно — за явное участие в демонстрации, бунте и мятеже.

Только-то? Тимирязев улыбается. Он выручает бедного декана. Берет бумагу и громко, своим размеренным голосом («90 слов в минуту» — сосчитал на лекции один из слушателей),

особенно старательно выговаривая все концы слов, читает выговор самому себе. Бурю в аудитории останавливает движением руки:

— У нас с вами более серьезные вопросы на очереди.

1901 год. Семьдесят один профессор подписывает воззвание об успокоении к студентам. А он — нет. Легко ли это — пойти против семидесяти? Сейчас рассказать об этом легко. А вот сделать? И повторять затем многократно в жизни?

Сколько студентов прошло затем через темную квартиру в Шереметевском, он не считал. Приходили в одиночку, гурьбой. Свои, чужие.

А уже против него затеяли «дело». Не первое, не последнее. «Дело о..?» — иронически надписал он папку, заведенную по такому случаю дома. Но уход Тимирязева стал бы теперь европейским скандалом.

И затеявшие дело отступили.

Когда он вернулся к чтению лекций, студенты аплодировали, подняв руки над головой: так полна была громадная аудитория. Были цветы. Адреса от естественников, от медиков всех курсов. Он сказал:

— Я исповедую три добродетели: веру, надежду, любовь. Я люблю науку как средство достижения истины, верю в прогресс и надеюсь на вас. — И вдруг странно сморщился, голос его пресекся...

Уже давно его считали совестью русской науки.

Лет за двадцать до того на чествовании Тургенева в Эрмитаже никого иного, как профессора Тимирязева, попросили взять слово от имени русского студенчества. Какого студенчества? — задал он вопрос. Нынешнего? Восьмидесятников? Нет, он хочет приветствовать автора «Отцов и детей»

от студентов-шестидесятников. Поколения Базаровых. Поколения будущих Боткиных и Сеченовых.

И несколько дней спустя на торжественном обеде Тургенев подошел к нему.

— Вы пролили бальзам на мои старческие раны, — сказал он с несколько старомодной церемонностью, вручая на память свою фотографию.

Она висит сейчас, с надписью «Клименту Аркадьевичу Тимирязеву от автора «Отцов и детей», в тимирязевском кабинете, в простенке, за его рабочим креслом.

Когда собрался в Москве девятый съезд естествоиспытателей и врачей, стало ясно, что на «празднике русской науки» (как сам Тимирязев назвал съезд) председательствовать ему, Тимирязеву.

Шереметевский навестил Лев Толстой.

Короленко говорил о Тимирязеве: «учитель». Книги его были одним из «университетов» Горького. «К Вам обращается человек, очень многим обязанный в своем духовном развитии Вашим мыслям, Вашим трудам, — так начал Горький первое письмо свое ученому (а всех было не один десяток, некоторые приносила Екатерина Павловна Пешкова, — однажды ее поразили во дворе на Шереметевском стремительная походка, порывистость движений человека, к которому она шла).

Значит, его наука не была «просто» наукой.

Боевым оружием, даже в глубочайших и самых тонких ответвлениях, — вот чем он сделал свою науку.

Исследователь наиболее сложных и «трудных» явлений природы, он требовал: «Наука должна сойти со своего

пьедестала и заговорить языком народа».

Неслышанно он определил ее: «Борьба со всеми проявлениями реакции — вот самая общая, самая насущная задача естествознания».

Он перевел большой отрывок из «Грамматики науки» Пирсона ради содержащегося там утверждения, что точная современная наука — лучшая школа гражданственности.

Флобер мечтал укрыться от житейской суеты в башне из слоновой кости: место, которое Тимирязев ни за что не признал бы подходящим для великих открытий.

«Творчество поэта, диалектика философа, искусство исследователя — вот материалы, из которых слагается великий ученый», — у кого еще найдем такое определение, сразу отрицающее возможность себе довлеющей, в себе замкнутой ученой касты?

Он говорит об этом много раз — и подробнее.

«С первых же шагов своей умственной деятельности я поставил себе две параллельные задачи: работать для науки и писать для народа, то есть популярно».

Впервые и, быть может, единственный раз в истории науки была сформулирована равноценность этих двух задач. И сказано, что это необходимо самой науке: «Делая все общество участником своих интересов, призывая его делить с ней радости и горе, наука приобретает в нем союзника, надежную опору дальнейшего развития».

Постоянно, по-разному возвращается Тимирязев к мысли простой, важной — и так часто забываемой: кто ясно думает, тот ясно пишет.

Он владел огненным словом. Не снижались высокомерно к «профанам».

Не вещал. Не изображал науку в виде храма, где облеченные чудесным всезнанием жрецы вершат таинственные обряды, приподняв лишь краешек завесы. Не храм — мастерская! Руки в мозолях. Прежде всего работать. Никакого жречества. «Великие мыслители достигали высоких результатов не потому только, что верно думали, но и потому, что много думали и многое из передуманного уничтожали без следа».

Его собственная жизнь была трудовым подвигом. Изумляет неисчерпаемая огромность того, что он успел сделать. Сотни опубликованных работ. Несколько десятков книг. Педагог, воспитавший несколько поколений замечательных исследователей. Публичный лектор, впервые в России выступивший перед «вольной аудиторией» со связными курсами целых дисциплин. Один из организаторов «народного университета».

Ему зажимают рот. Отправляют «на покой». Пусть отдохнет! Из ординарного профессора превращают во внештатного. Наконец, в 1911 году он сам уходит из университета вместе со 124 учеными, среди них физик П. Н. Лебедев, открывший давление света, Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин. Они ушли в знак протеста против разгрома, которому подверг московское средоточие русской науки царский министр Кассо.

Но Тимирязев уходит не затем, чтобы почти семидесятилетним — почитать на лаврах. (В свое время другой министр, Ванновский, справедливо писал: «Я не сомневаюсь, что он учеными занятиями и трудами с лихвой вознаградит то материальное положение, которое ему дает профессура...») Министры, даже просвещения, как видим, бывали мало просвещены русской гра-

мотой, а уровню их понимания более соответствовала лишь одна сторона вопроса: «материальное положение»). Страстное горение не угасало. И кличка «неистовый Климент», кем-то данная еще в восьмидесятых или девяностых годах, так же пристала к Тимирязеву, как «неистовый Виссарион» пристало к Белинскому.

11

1905 год. Тимирязев печатает статью, о которой ему говорят ядовитым шепотком:

— Ого, батенька, да вы намекаете на республику!

Постепенно все яснее он видит не только, от чего следует отвращаться, но и к чему надо стремиться.

Жизнь его была ожесточенной борьбой за то, что он считал правдой-истиной и правдой-справедливостью: борьба учила.

Исследователь, он знал, что многое в прошлом науки совершалось не так, как пишут в учебниках, познание мира не слетало к человеку во время безмятежных прогулок по садам Аркадии, самых смелых духом некогда жгли, позднее пытались сломить и перемолоть по-своему, травили ядом клеветы, преследовали и в могиле, подкладывал потомству искаженный, препарированный, подмалеванный образ, — и не всегда разбиралось потомство.

История учила.

Наступил четырнадцатый год. Началась страшная школа войны. «Ученику» Тимирязеву — семьдесят второй. И шовинистический угар с последующим похмельем вовсе не коснулся его.

С 1915 года он стал сотрудником горьковской «Летописи». Прошло пол-

века, как он узнал о «Капитале» Маркса. Теперь все чаще мысль его останавливалась на имени Ленин. Вождь партии большевиков. Глуховатым своим баском, неспешно, окая, роняя слова в сивые усы мастерового, Горький рассказывал о нем.

За месяц до Февральской революции Тимирязев пишет статью «Наука, демократия и мир». «...с войной водворяется царство лжи, лжи вынужденной и доброхотной, лжи купленной и даровой, лжи обманывающих и обманутых...» Десятки веков были в распоряжении религии, философии, этики — учения о нравственности. Что вышло? Возвестители божьих велений договорились «до тождества креста и меча». Философы жонглировали словами, «пахнувшими кровью». Последняя война? Война за уничтожение войн? «Нет, войны войной не уничтожают». Жадность к барышам вырастает в «манию всемирного владычества». «Синдикат капиталистов... может раздавить капиталиста, но не уничтожить зло капитализма».

И он уже прямо называет «тех, чья специальность — спускать с цепи этого демона войны». Врагов человечества. Тех, кто толкает народы — и свой собственный народ — в пропасть, завязав им глаза.

«Перед леденящим ужасом совершающегося» старый рыцарь истины восклицает:

— Долой ложь!

Теперь он до конца знает свой путь. Знает, у кого и какую искать правду. Царь сброшен.

Поля большевистской газеты «Правда» с Апрельскими тезисами Ленина испещрены восторженными тимирязевскими пометками.

Он отдавал себе отчет, что все это означает разрыв с «коллегами», це-

лым кругом людей, с которыми он привычно общался в течение десятилетий. Решение, более серьезное, более ответственное, чем тогда, во времена «Дела о..?», — он принял его.

Решение, как дальше наново строить жизнь.

«Я «впал в разбойники», окружен кадетской сволочью...»

Но есть и другие люди. Он идет к ним.

Семидесятичетырехлетний старик выходит на первомайскую демонстрацию. Очередную статью озаглавливает «Красное знамя». «Воспряньте, народы, и подсчитайте своих утеснителей, а подсчитав — вырвите из их рук нагло отнятые у вас священнейшие права ваши: право на жизнь, на труд, на свет и прежде всего на свободу, и тогда водворится на земле истина и разум, производительный труд и честный обмен их плодами».

Тогда будет сметено «царство золота и лжи, железа и крови».

В июне, на выборах в Московскую думу, он голосует за список № 5 — список большевиков.

Когда он читает «профессорские» «Русские ведомости», руки его дрожат, кровь приливает к лицу. Александра Алексеевна тревожно качает головой. И начинает скрывать газету: «не принесли».

Вопроса принять или не принять Октябрь для Тимирязева не возникает: пришла его Революция.

Дни полным-полны работой. Особенно полны. Член Государственного учебного совета. «Социалистический академик». Председатель ассоциации натуралистов-рабочих.

Выходят большие, основоположные его книги.

Теперь он нужен всем.

Пусть голодно, холодно ему — как

всем. А как же? Привилегий бы он не потерпел. Страну душат блокада, интервенция, рвут на части белогенералы.

Меньшевик Суханов, болтавший о разрухе по вине большевиков, «горошком выкатился» из его кабинета.

«Вы, из вашего далека, — адресует Тимирязев одну из страстных отповедей тем, за рубежом, — можете обвинить большевиков в утопизме... но всякий беспристрастный русский человек не может не признать, что за тысячелетнее существование России в рядах правительства нельзя было найти столько честности, ума, знания, таланта и преданности своему народу, как в рядах большевиков».

Избранный рабочими вагоноремонтных мастерских Московско-Курской железной дороги, он становится (вместе с Горьким) членом Московского Совета. И пишет замечательное письмо, оглашенное на пленуме Моссовета, следом напечатанное в «Правде» и «Известиях»: «...передо мной встает вопрос: а чем же я могу оправдать оказанное мне лестное доверие, что могу я принести на служение нашему общему делу?» «Все мы — стар и млад, труженики мышц и труженики мысли — должны сомкнуться в эту общую армию труда... Война с внешним врагом, война с саботажем внутренним, самая свобода — все это только средства: цель — процветание и счастье народа, а они создаются только производительным трудом. Работать, работать, работать!» «Нет в эту минуту труда мелкого, неважного, а и подавно нет труда постыдного. Есть один труд — необходимый и осмысленный. Но труд старика может иметь и особый смысл. Вольный, необязательный, не входящий в общенародную смету, — этот труд старика может подо-

гравать энтузиазм молодого, может пристыдить ленивого».

«...моя долголетняя научная опытность могла бы найти применение в школьных делах или в области земледелия... Когда-то мое убежденное слово находило отклик в ряде поколений учащихся: быть может, и теперь оно при случае поддержит колеблющихся, заставит призадуматься убегающих от общего дела.

Итак, товарищи, все за общую работу не покладая рук, и да процветет наша Советская республика, созданная самоотверженным подвигом рабочих и крестьян и только что у нас на глазах спасенная нашей славной Красной Армией!»

11 апреля 1920 года выходит однодневная газета «Коммунистический субботник». Ее сделали накануне, на субботнике, московские журналисты, набрали печатники типографии ВЦИК. Передовую написал Ленин — «От разрушения векового уклада к творчеству нового». О коммунистическом труде. «Это — важнейший вопрос строительства социализма».

И на первой же полосе помещена статья Тимирязева «Два воззрения на труд». Он был горд этим: «вместе с Лениным!»

Два воззрения. Клерикально-буржуазное. На труде — проклятие. Еще библейское проклятие. Он только удел рабочего. Капиталисты же и «умственники» освобождаются от проклятого труда.

И другое воззрение: равенство и братство перед святым законом труда. «Каждому русскому человеку необходимо определить, где его место — в общих ли рядах Красной Армии труда или в избранных рядах тунеядцев и спекулянтов».

Значение слов меняется. «Избранные» тут означает — ничтожное меньшинство.

Это были последние прижизненные печатные строки Тимирязева.

12

Утром 27 апреля воспаление перешло на другое легкое.

Он впал в полузабытье. Но странно — то не было просто полузабытье тяжелобольного, но как бы еще напряженное вглядывание в себя, какой-то пересчет, собиравание того, что было в нем. Закрыв глаза, он словно отгораживался от помех извне.

Дышал трудно.

А через краткие промежутки времени он точно пробуждался. Был беспокоеен. Беспокоейство его возрастало. И было это тоже не простое беспокоейство человека, мучимого беспощадной болезнью, но нетерпеливоупорное ожидание. Все более страстно ждал тот, у кого не оставалось времени и кто должен дожидаться.

— Звоня! — крикнул он. — Звонок в дверь!

Он крикнул изо всех сил. Губы его еле шевелились. Это был невнятный шепот.

Александра Алексеевна бежала в прихожую.

Вернулась с белым конвертом. — Тебе!

Мелькнул печатный штамп. Она приготовилась надорвать конверт.

Он резко, сердито мотнул головой, протянул руку. Нервно сам рванул.

Так и хранится этот конверт, неровным, торопливым зигзагом разорванный по краю Тимирязевым.

Вытащил сложенную бумагу. Буквы плясали. Некоторое время смотрел на нее. И покорно отдал: «читай».

**«Российская
Федеративная
Советская Республика
Председатель Совета
Рабочей и Крестьянской
Оборонь.
Москва, Кремль.
27.IV.1920**

Дорогой Клементий Аркадьевич! Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!

Ваш В. Ульянов (Ленин)».

Он дождался — великой радости своего последнего дня.
И, снова уходя в себя, он улыбнулся.

Физические мучения, смерть...

Он думал о своей смерти, как о жизни людей, которые остаются после него на земле.

Он думал о смерти, как о последнем, высшем долге отдать людям все, что еще можешь. Что не успел отдать раньше.

И когда свершилось, в сердцах близких сквозь горе, сквозь скорбь пробилось поражающее ощущение: что не он был побежден ею, а победил ее.



Т. Г. Цявловская

Мария Волконская и Пушкин

(Новые материалы)

Рисунки А. С. Пушкина.

«Вот самая удивительная женщина, какую я знал», — произнес умирающий генерал Раевский, указывая на портрет дочери своей, Марии. Княгиня Мария Николаевна Волконская прославилась своим жизненным подвигом. Она последовала добровольно на каторгу за своим мужем, декабристом С. Г. Волконским. Ей было всего двадцать лет, когда она приняла это решение. Пришлось ей преодолеть длительное и настойчивое сопротивление всей семьи и самого царя. Любимый отец грозил ей про-

клятием. Но она не отступила от выполнения своего долга.

Волконской не разрешили взять с собой годовалого сына. Он умер год спустя после отъезда матери.

Когда еще через год отец Марии Николаевны, приехав в Петербург, стал хлопотать о постановке памятника на могиле внука, Пушкин написал для надгробия стихи:

В сияньи, в радостном покое,

У трона вечного творца,

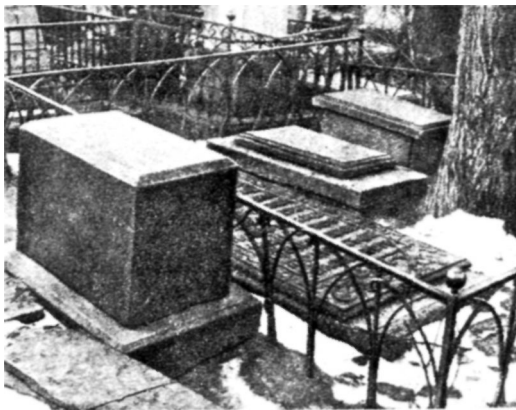
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Н. Н. Раевский тотчас же переслал эпитафию дочери в Сибирь. «Хотя письмо мое, друг мой Машенька, — писал он ей 2 марта 1829 года, — несколько заставит тебя поплакать, но эти слезы будут не без удовольствия; посылаю тебе надпись надгробную сыну твоему, сделанную Пушкиным; он подобного ничего не сделал в свой век». Письмо заканчивалось словами: «Это будет вырезано на мраморной доске»¹. Волконская отвечала отцу (11 мая 1829 года): «Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию моему дорогому ангелочку. Она прекрасна, сжата, полна мыслей, за которыми слышится столь многое². Как же я должна быть благодарна автору; дорогой папа, возьмите на себя труд выразить ему мою признательность». Осиротевшая мать услышала в словах поэта оправдание и поддержку тому, что она оставила сына ради страдающего мужа. (Многие корили Волконскую за это.)

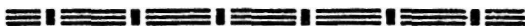
И еще раз пишет она с глубоким чувством о том же брату Николаю (28 сентября 1829 года): «В моем положении никогда нельзя быть уверенной, что доставишь удовольствие, на-

помяная о себе. Тем не менее скажи обо мне А<лександр> С<ергеевичу>. Поручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию Николино. Слова утешения материнскому горю, которые он смог найти, — выражение его таланта и умения чувствовать».

Все помнят, что подвиг Марии Волконской изображен Некрасовым в знаменитой поэме «Русские женщины». Но менее известно, что Мария Волконская сыграла немалую роль в творчестве Пушкина. Образ ее проходит



в ранних романтических поэмах его. Впервые появляется он в «Кавказском пленнике». «У нас теперь гостят Раевские, — писал 5 декабря 1823 года из Одессы во время жизни там Пушкина



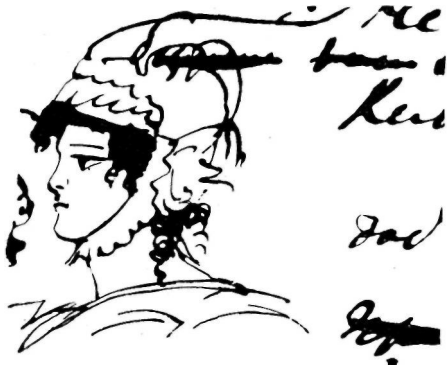
¹ Надгробный памятник маленькому Волконскому был недавно разыскан в Александровской лавре в Ленинграде. Небольшой гранитный саркофаг был обнаружен повалившимся набок, глубоко ушедшим в землю. Когда его откопали, оказалось, что на гробнице не было ни имени, ни годов жизни похороненного; на камне был высечен один лишь текст пушкинской эпитафии, без подписи. (См.: Н. И. Удимова. Стихотворение Пушкина памяти сына С. Г. Волконского. — «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, 1956, стр. 405—410.)

² Подчеркнуто мною. — Т. Ц.



В. И. Туманский. — Мария — идеал пушкинской черкешенки (собственное выражение поэта), дурна собой, но очень привлекательна остротой разговоров и нежностью обращения» (идеал значит здесь — прототип).

Сама Волконская дает понять в своих «Записках», что ее глаза воспел поэт, изображая «пленительные очи» Заремы в «Бахчисарайском фонтане», что о ней вспоминает он в одной из строф «Евгения Онегина» — «Я помню море пред грозю...» (глава первая). Страдания Марии Волконской, образ и облик ее присутствовали в сознании поэта, когда создавал он героиню



ню поэмы «Полтава»¹. Он назвал ее Марией (дочь Кочубея звали Матреной)². «I love this sweet name» — Я люблю это нежное имя, — записал Пушкин неведомый стих английского поэта возле чернового текста «Посвящения» «Полтавы».

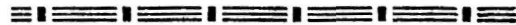
О «высоком стане» ее, «стройности», «гордой, но плавной походке», «грациозных движениях, которые как будто сливаются в мелодию», хором говорят ее современники. Пластичность, мягкость движений Марии Раевской угадывается во многих портретах ее, нарисованных Пушкиным, а в самом раннем из них, где изображена она еще угловатым подростком, запечатлена ее порывистая стремительность.

Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья, —

читаем мы в «Полтаве». О «черных кудрях» Волконской, об ее «горящих очах» пишут современники, говорят ее портреты.

Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блещет ее глаза, —

пишет поэт. Локоны героини «Полтавы» вызвали замечание одного из критиков поэмы: локонов в петровскую эпоху на Украине не носили. Но на



¹ Ситуация политическая в «Полтаве» не имеет, разумеется, ничего общего с движением декабристов. В полном соответствии с историей в поэме изображена измена мазепинцев.

² Марией назвал до Пушкина дочь Кочубея и Егор Аладьин — в повести «Кочубей» (в «Невском альманахе» на 1828 год), но имя героини в поэме Пушкина вызвано, конечно, иными ассоциациями.



портретах Марии Волконской — и юной девушкой и скорбной женщиной — везде видим мы тучи локонов. Но главное, что узнаем мы в образе Марии Кочубей, — это характер Волконской — лирический, страстный, волевой. Мучительный вопрос, терзавший Волконскую в роковые дни ее жизни, — отец или муж? — развернут поэтом в трагический диалог Мазепы и Марии¹.

Все эти такие очевидные аналогии и объясняют, почему посвятил Пушкин свою поэму Марии Волконской².

Посвящение

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, не признанное вновь?

Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей —
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

И Татьяна, любимая героиня Пушкина, тоже восходит, быть может, к личности Марии Волконской. Прощаясь в заключительных строфах «Евгения Онегина» со своим «живым и постоянным» трудом, поэт вспоминает о первых слушателях романа, декабристах, о женщине, черты которой запечатлены в образе героини романа. Судьба отвела и ее столь же далеко от поэта, как отвела она декабристов.

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.



¹ См. кн.: Б. М. Соколов, М. Н. Раевская — кн. Волконская в жизни и творчестве Пушкина. М., 1922.

² Поэт не раскрыл, кому посвятил он «Полтаву». Это сделано исследователем. См.: П. Е. Щеголев. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина. — В кн.: «Из жизни и творчества Пушкина». Издание 3-е, исправленное и дополненное. М.—Л., 1931, стр. 252—254.



А та, с которой образован
Татьяны милый Идеал...
О много, много Рок отъял!

Гипотеза о том, что «Татьяны милый Идеал» (художественный образ идеального характера) образован с Марии Раевской, как будто подтверждается и отрывком из письма Пушкина его старому знакомому, князю Николаю Борисовичу Голицыну. Поэт отвечает ему на письмо из Крыма, которое нам неизвестно. Пишет Пушкин 10 ноября 1836 года, отрываясь от



тяжелейшей действительности (анонимное письмо, полученное 4 ноября, вызов Пушкиным Геккерена, ожидание дуэли с Дантесом). Поэт уносится мечтой в давно прошедшие времена: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату: письмо ваше разбудило во мне множество воспоминаний всякого рода. Там колыбель моего «Онегина»: и вы, конечно, узнали некоторых лиц» (подлинник на французском языке).

Эти строки следует сопоставить и с признанием Пушкина брату в письме от 24 сентября 1820 года: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посередине семейства почтенного Раевского <...>. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив».

Образ М. Н. Волконской интимнее раскрывается в неопубликованных письмах¹ этой исключительной женщины. Новыми штрихами обогащаются и ее взаимоотношения с Пушкиным.

Письма обращены к княгине Вере Федоровне Вяземской, жене писателя Петра Андреевича Вяземского. С ними обоими связан был Пушкин многолетней дружбой.

Письмо 1-е
Дорогая княгиня, вот и Ваша душегрейка, принимаю ее с благодарностью. Что скажете Вы о Провидении? Не приют ли это страждущих душ? Не могу Вам передать, с каким

1 Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 135 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 3262 (письма М. Н. Волконской к В. Ф. Вяземской), лл. 5—6 (письмо 1-е), лл. 7—8 (письмо 3-е), лл. 1—2 (письмо 4-е), лл. 3—4 (письмо 5-е); ед. хр. 3501 (письма неустановленных лиц к В. Ф. Вяземской), л. 20 (письмо 2-е). — Письма написаны по-французски. Перевод мой.

чувством признательности я вижу этот снегопад. Помогите мне, ради бога, уехать сегодня ночью, дорогая и добрая княгиня. Совести покоя нет с тех пор, что я вижу этот благодатный снег.

До свиданья, дорогая, добрая и сочувствующая княгиня.

Пойду подготовить сестру, чтобы она легче перенесла мой отъезд.

Сердечно преданная Вам

Мария Волконская.

Письмо написано в Москве, в конце 1826 года, 27, 28 или 29 декабря. Из письма становится понятным, почему, вместо того чтобы пробыть в Москве еще десять дней, как Волконская предполагала, она внезапно уехала. Понятно, почему не застал ее Пушкин, придя к ней после прощального вечера 26 декабря, устроенного для проводов Марии Николаевны перед ее отъездом в Сибирь невесткой ее Зинаидой Волконской.

Пушкин «хотел передать мне свое «Послание узникам»¹ для вручения им, — рассказывает сама Волконская в своих «Записках», — но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой»².

Мария Николаевна ошиблась — она уехала не «в ту же ночь», а три дня спустя. Прощальное письмо родным она писала 29 декабря, в 11 часов вечера: «Дорогая, обожаемая матушка, я отправляюсь сию минуту; ночь — превосходна, дорога — чудесная...» «Сестры мои, мои нежные, хорошие, чудесные и замечательные сестры, я счастлива, потому что я довольна собой»³.

Как видно из письма к Вяземской, Волконская решила ехать немедленно, как только увидела, что санный путь устанавливается.

Сестра, о которой она говорит в пись-

ме, — это Екатерина Николаевна. «Моя сестра Орлова, — пишет М. Н. Волконская в «Записках», — приехала в Москву проститься со мной. Ее муж, один из главных деятелей Тайного общества, в это время спокойно жил в деревне: он был спасен своим братом графом Орловым, отчасти при помощи ответов, которые он заставлял его давать на вопросы, присылаемые в тюрьму, а отчасти благодаря благосклонности, которую он пользовался у его величества».

Письмо 2-е

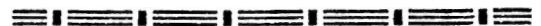
6 января. Пермь

Дорогая княгиня. Вот я и в Перми без приключений, послезавтра в Екатеринбург, а затем и в дорогой Сибири. Я не очень страдаю от холода; что же до буранов, то я видела только один. Это было чудной лунной ночью; я была очень рада видеть метель; это великолепное зрелище — поднимающиеся ввысь огромные горы снега; я не боялась, что меня занесет, потому что уже виднелась почтовая станция.

Простите бессвязность моей записки. Я разбита от усталости. Я не чувствую этого совершенно, пока приближаюсь к цели, но на стоянках я в полном изнеможении, и хочется скорее вернуться в свою кибитку.

Я встретила Пушина, Коновницына и кого-то третьего около Оханска; они едут на Кавказ; передайте это тому, кто интересуется первым из них.

В последних словах Волконская имеет в виду, конечно, Пушкина. Ей хочется



¹ «Во глубине сибирских руд...»

² Александрина Муравьева — жена декабриста Никиты Михайловича Муравьева, выехавшая в Нерчинск через несколько дней после Волконской.

³ См.: О. И. Попова, История жизни М. Н. Волконской. — «Звенья», кн. 3—4. М.—Л., 1934, «Academia», стр. 60.

N15. Le 6^e Janvier 1.
 Rome
 Chère Principesse Ma Sœur
 Rome sans accident attendu
 demain à Cratunbourg et
 puis dans la chère Sibirie
 Je ne souffre pas beaucoup
 du froid de peur de tomber
 cinquante-deux degrés et
 si en ce lieu qu'un seul
 d'habit peut se faire
 de l'eau; Je n'ai bien
 rien de voir celui qui
 est un superbe spectacle et que
 de voir s'élever dans les airs
 d'immenses tourterelles de
 neige, Je me réjouissais
 de te rassurer et la
 maison de poste est en
 vue

Автограф письма
 М. Н. Волконской
 к Вяземской.

успокоить его — Пущин жив, везут его не в Сибирь, а на Кавказ. Но назвать Пушкина она не решается — из конспирации, так же как из конспирации не подписала она своего имени под этим письмом, посланным с дороги, почтой.

Значит, Пушкин говорил ей о Пущине, о своем беспокойстве за друга, говорил, вероятно, о приезде Пущина к нему в Михайловскую ссылку, может быть, читал ей написанные две недели назад, в канун годовщины восстания, стихи Пущину — «Мой первый друг, мой друг бесценный...». Рамки последних разговоров Пушкина с М. Н. Волконской, на вечере перед ее отъездом из Москвы в Сибирь, раздвигаются. Мы знали из ее «Записок», что Пушкин говорил ей тогда: «Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на места, перевалю через Урал, проеду дальше и приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках». «Он написал свою прекрасную книгу, которая привела всех в восхищение, но в наш край не попал», — заключала она этот рассказ о своей последней беседе с Пушкиным. «...во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения», — с благодарностью вспоминает Мария Николаевна. Как видим, Пушкин говорил ей и о своей тревоге за Пущина.

Однако Мария Николаевна ошиблась — она встретила не того Пущина, не Ивана, с которым она впоследствии так подружилась в Сибири, а брата его Михаила, тоже декабриста, приговоренного к лишению чинов и дворянства и к отдаче в солдаты до выслуги. Он был определен в Красноярский гарнизонный батальон, а оттуда переведен на Кавказ. Это его



встретил Пушкин на Кавказе в 1829 году, о нем пишет он в «Путешествии в Арзрум». Пущин же подробно и живо рассказал об этих общениях с поэтом в своей «Встрече с А. С. Пушкиным за Кавказом». Мемуарист вручил эту рукопись молодому Льву Толстому, с которым они дружески общались в Швейцарии в 1857 году.

«Кто-то третий», кого везли с М. И. Пущиным и гр. П. П. Коновницыным, был один из переправлявшихся в те же дни из Сибири на Кавказ четырех декабристов: Ал. Вас. Веденяпин (2-й), Ф. Г. Вишневецкий, Н. П. Кожевников или Н. Н. Оржицкий.

Оханск — уездный город Пермской губернии, в 67 верстах от Перми, не доезжая ее, на пути из Москвы.

Письмо 3-е

20 января¹. Красноярск

Дорогая княгиня, как только я приехала сюда, я позаботилась об отправке обоих писем и посылки на канцелярию губернатора: князя Федора здесь уже нет, тем не менее все будет ему передано непременно. Его место на-



¹ В подлиннике описка: 20 декабря.

значения — окончательно Туруханск, где и хлеб не родится.

Дорогая княгиня, еще четыре дня, и я буду у цели. Удача еще сопутствует мне, несмотря на все мои неосторожности. Признаюсь, что я наделала их достаточно и непростительных; теперь, когда мне осталось совершить лишь одну прогулку до Иркутска, могу Вам рассказать об них. Чтобы сократить путь, я схватила вожжи, которые были плохо сделаны, лед вздувался все время под копытами лошадей; я ведь выбирала среди них самых резвых, чтобы скорее добраться; но когда мы три раза опрокинулись, я излечилась от своего нетерпения; кибитка моя разлетелась вдребезги, целый злосчастный день ее чинили.

Вот расписка господина Степанова, он показал себя очень человеческим по отношению ко мне и предложил мне очень обязательно услуги через городского голову. Я воспользовалась этим, чтобы получить конвой до первой почтовой станции. Говорят, что в округе действует шайка разбойников; лекарствами, чаем и табаком не отделаешься. Покидаю Вас, дорогая княгиня, простите бессвязность моего письма, мои каракули. Руки, пальцы, мысли мои окоченели.

Сердечно и душевно преданная Вам М. В. Тысячу и тысячу нежностей нашей очаровательной Зине от той, которая заставила ее проливать слезы умиления.

Губернатором Енисейской губернии (с 1822 по 1831 годы) был упоминаемый далее Александр Петрович Степанов (1781—1839), известный чрезвычайно внимательным, доброжелательным отношением к проезжавшим декабристам. Писатель, автор произведений о Сибири — в стихах и в прозе, выпустивший первый в Сибири литературный альманах («Енисейский альманах», 1828), Степанов издал и двухтомный серьезный труд свой — «Енисейская губерния» (1835).

Князь Федор — декабрист Федор

Петрович Шаховской (1796—1829). Он был приговорен к ссылке «на поселение вечно». Пожизненная ссылка была заменена двадцатилетней. Поселен в Туруханске. Слова Волконской о том, что там «и хлеб не родится», отражали сведения о тяжелом урожае в 1826 году. Федор Шаховской дал местным жителям, пострадавшим от неурожая, на уплату недоимки 300 рублей из денег, полученных от жены. Этот факт вызвал беспокойство в III отделении и резолюцию начальника его Бенкендорфа о перемене Шаховскому жительства. Его перевели в Енисейск. А год спустя он заболел психически. Благодаря хлопотам жены Шаховского перевезли в Суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь, где он и умер 24 мая 1829 года.

Заботы Волконской о посылке Шаховскому объясняются ее словами в «Записках»: «Я должна была провести два дня в Москве, так как нужно было повидать родственников ссыльных; они принесли мне для них письма и столько посылок, что я принуждена была взять вторую кибитку, чтобы все захватить с собой».

В последних словах письма Волконская говорит о Зинаиде Александровне Волконской, жене брата декабриста, известной музыкантше и поэтессе, у которой Мария Николаевна провела на пути в Сибирь несколько дней в Москве и которая устроила для проводов невестки прощальный музыкальный вечер. В описании этого «незабвенного» вечера, сделанного на следующий день братом поэта Веневитинова, Алексеем, раскрываются те обстоятельства, на которые намекает Мария Николаевна. «Она чрезвычайно любит музыку». «Она в продолжение целого вечера все слушала, как пели, и когда один отрывок был отпет,



то она просила другого. До двенадцати часов ночи она не входила в гостиную, потому что у княгини Зинаиды много было <посторонних> <?>, но сидела в другой комнате за дверью, куда к ней беспрестанно ходила хозяйка, думая только о ней и стараясь всячески ей угодить. Отрывок из «Agnes» del Maestro Paer¹ был пресечен в самом том месте, где несчастная дочь умоляет еще несчастнейшего родителя о прощении своем. Невольное сближение злосчастия Агнессы или отца ее с настоящим положением невидимо присутствующей родственницы своей отняло голос и силу у княгини Зинаиды, а бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотела, чтобы это заметили в другой комнате: ибо в таком случае все бы ее окружили, а она страшно чуждается света, и это понятно. Остаток вечера был печален». «Когда все разошлись и осталось только очень мало самых близких и вхожих к княгине Зинаиде, она вошла сперва в гостиную, села в угол, все слушала музыку, которая для нее не переставала, восхищалась ею, потом робко приблизилась к клавибордам, смела уже гля-

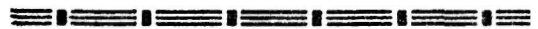
деть на тех, которые возле них стояли, села на диван, говорила тихим голосом очень мало, изредка улыбалась; иногда облако воспоминаний и ожиданий затмевало ее глаза, но она обеими руками закрывала тогда свое лицо и старалась победить свое чувство. Она всех просила ей спеть что-нибудь, простодушно уверяя, что память этого участия, которое принимают в ее положении, облегчит ей трудный путь в Сибирь».

Письмо 4-е

12 августа 1827.

Благодатский рудник. Нерчинск
Постоянное свидетельство Вашей дружбы ко мне глубоко трогает меня, дорогая и добрая княгиня; как Вы любезны, что переправляете мне посылки сестры моей Орловой, это доказывает, что я часто присутствую в Вашей памяти; но почему не доказать это мне более осязательно, письмом? Я с радостью узнала Ваш почерк, так же как и почерк нашего великого поэта на пакете, в котором находилась присланная Вами книга. Как я благодарна Вам за это любезное внимание с Вашей стороны. Как радостно мне перечитывать то, что так восхищало нас в более счастливые времена.

С тех пор как я уверена, что не смогу вернуться в Россию, вся борьба прекратилась в моей душе. Я обрела мое первоначальное спокойствие, я могу свободно посвятить себя более страдающему. Я только и думаю от той минуте, когда надо мной сжалются и заключат меня вместе с моим бедным Сергеем; видеть его лишь два раза в неделю очень мучительно; и верьте мне, что счастье найдешь всюду, при любых условиях; оно зависит прежде всего от нашей совести; когда выполняешь свой долг, и выполняешь его с радостью, то обретаешь душевный покой.



¹ «Агнесса», опера итальянского композитора Паэра.

Я не исполнила в Иркутске поручение добрейшего господина Дешана в отношении пяти сибирских растений, которое он мне дал; признаться, мне было не до ботаники, когда меня мучили все возраставшими препятствиями к моему отъезду в Нерчинск; к тому же ко мне относились, как к парии, что лишало меня смелости обращаться с этим делом к кому бы то ни было.

Покидая Вас, дорогая сестра (Вы позволили мне Вас так называть), умоляю Вас писать мне иногда, в пакете на имя Цейдлера, иркутского губернатора. Нежно целую Ваших прелестных малюток. Надеюсь, что Ваша маленькая успокоилась на мой счет и что она больше не думает, что меня ссылают в Сибирь за воровство.

Передайте мой почтительный поклон Вашему мужу; мой муж, Ваш верный почитатель, часто говорит мне о Вас Ваша сестра, преданная Вам сердцем и душою

Мария Волконская.

Это письмо написано спустя полгода после прибытия (8 февраля) М. Н. Волконской в Благодатский рудник под Нерчинском. Здесь отбывали каторгу декабристы.

Мы узнаем из этого письма, что Пушкин послал Марии Николаевне в Нерчинск книгу, написав лишь обертку. Он знал, что она узнает его по почерку. Какую же книгу послал ей поэт? Это была, вероятнее всего, поэма «Цыганы» (книга вышла 6 мая 1827 года). Из слов Марии Николаевны о перечитывании того, что «так восхищало нас в более счастливые времена», надо понять, что она знала «Цыган» в рукописи (до отдельного издания поэма была напечатана лишь в небольшой части — с начала по стих «Как песнь рабов однообразной»). Если Волконская читала «Цыган» в рукописи, то она имела ее не от Пушкина — во время создания поэмы

(1824 год) и после того Пушкин Волконской не видал — до декабря 1826 года.

Впрочем, быть может, Пушкин послал Волконской не «Цыган», а «Братьев-разбойников», которые вышли в свет через месяц после «Цыган». Эту поэму Мария Николаевна могла читать в ее первой публикации — в альманахе «Полярная звезда на 1825 год».

Препятствиями, возникшими в Иркутске, о которых говорит Волконская, было предложение подписаться под инструкцией, первый пункт которой гласил: «Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, делается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, т. е. будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ними участь, себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания».

В параграфе втором объявлялось: «Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне».

Продолжать писать приятельнице Волконская смогла, только когда она опомнилась после трех ударов судьбы, постигших ее — один за другим! — умер сын, оставленный в Петербурге, умер обожаемый отец, умерла рожденная в Сибири дочь.

Письмо 5-е

13 июня 1830. Читинский острог
Ваше любезное письмо от 20 марта доставило мне истинное удовольствие, дорогая княгиня, и если мне чего-то и не хватало, так это подробностей о Вас и Вашей семье. Прошу Вас быть моим представителем у Вашего мужа и у всех тех, которые Вам поручили передать мне их любезное и доброе воспоминание. Ваша неистощимая доброта служит мне порукой, что чувства моей благодарности и уважения к ним будут ими восприняты так, как я этого желаю.

Присылка «Литературной газеты» доставляет мне двойное утешение: вновь увидеть имена любимых писателей моей родины и получать некоторые сведения о том, что делается в мире, к которому я уже не принадлежу. Прошу их и впредь проявлять ко мне то же участие, продолжая присылать мне свои произведения, продлевать, могу сказать, счастливые мгновения, какие они мне уже доставили. Может быть, это с моей стороны и нескромно: но я хотела бы подписаться у Вас не только на этот год, но и на все время нашей ссылки. Поблагодарите тех, кто сумел принести дань уважения моему отцу, его памяти. Я разделяю их справедливое недовольство его биографом: он многое опустил или забыл. Я прочитала заметку с живейшей благодарностью и с глубоким чувством скорби, которое покинет меня лишь с последним вздохом.

Прошу Вас, добрая и дорогая княгиня, поклониться от меня в особенности Вашему мужу и Пушкину, умоляю Вас непременно передать им выражение моего глубокого уважения. Обязайте их, ради бога, посылать мне все их новые произведения и какие-нибудь другие литературные новинки, если это не будет им сколько-нибудь в тягость.

Примите, дорогая и добрая княгиня, выражение живейших чувств благодарности и дружбы на всю жизнь. Сергей Вам в ножки кланяется.

Мария Волконская.

Письмо В. Ф. Вяземской, на которое отвечает Волконская, не сохранилось. «Литературная газета» издавалась в Петербурге поэтом бароном А. А. Дельвигом, другом Пушкина. Выходила она с января 1830 года. Первые полтора месяца Дельвига заменил Пушкин. Он редактировал газету, и она была особенно интересной. Читатели находили на ее столбцах стихи Пушкина, отрывок из «Евгения Онегина». Неоднократно встречаются в первых номерах и произведения Вяземского.

Выражая желание получать «Литературную газету» «не только на этот год, но и на все время нашей ссылки», Волконская не могла, конечно, предвидеть, что газета просуществует всего полтора года и будет запрещена, как и некоторые другие, наиболее независимые журналы тридцатых годов.

Благодарность М. Н. Волконской за «дань уважения» ее отцу вызвана заметкой, напечатанной без подписи в первом же номере газеты от 1 января 1830 года. Автором ее был Пушкин: «В конце истекшего года вышла в свет Некрология генерала от-кавалерии Н. Н. Раевского, умершего 16 сент. 1829. Сие сжатое обозрение, писанное, как нам кажется, человеком, сведущим в военном деле, отличается благородною теплотою слога и чувств. Желательно, чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека. С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812-м году!.. Отечество того не забыло».

Анонимным автором брошюры с некрологом (или некрологией, как выражались в пушкинские времена) Н. Н. Раевского был зять покойного, декабрист Михаил Федорович Орлов, близкий знакомый Пушкина по Кишиневу.

Письмо 6-е¹. Отрывок

19 октября 1830

...Так как я обязана Вам несколькими литературными новинками, то я должна поговорить о них с Вами, предварительно поблагодарив Вас за них.

Вы сочтете меня слишком поспешной в моих суждениях, но «Литературная газета», содержащая в первых листах статьи, достойные Гизо и Вильмена, а также замечательные мысли, опустилась до отрывков из романов малоизвестных, или, вернее, мало достойных известности. Делаю исключение для «Монастырки», т. е. для трех писем, очень удачно включенных в «Газету». Я очень обязана Вам за аккуратность, с какой Вы мне пересылаете газету, равно как и за стихотворение нашего великого поэта. Признаюсь, что я злоупотребила Вашим доверием и сообщила его здешним. Первые два стиха — это стихи поэта, пробующего голос. Извлекаемые им звуки очень гармоничны, конечно, но не имеют никакого отношения к дальнейшим мыслям, столь достойным нашего великого поэта, и, судя по тому, что Вы пишете мне, достойным предмета его вдохновения. Эти мысли так новы, так привлекательны, они возбуждают в нас восхищение, но окончание — извините меня, милая Вера, за Вашего приемного сына, — это окончание старого французского мадригала, это любовный вздор, который нам доставляет большое удовольствие, потому что доказывает, насколько поэт увлечен своей невестой, а это для нас залог ожидающего его счастливого будущего. Передайте ему, пожалуйста, наши искренние, самые сердечные поздравления...

Прежде всего обращает на себя внимание в этом письме литературный вкус и ум Волконской. Поначалу в газете принимал живейшее участие Пушкин, печатая там во всех первых номерах свои статьи (без подписи), нередко по несколько. Так же точно и Вяземский был представлен почти во всех первых номерах статьями без подписи. Статьи этих двух писателей и напомнили Волконской статьи французских публицистов и историков Гизо (1787—1874) и Вильмена (1790—1870). В первую половину своей жизни эти будущие государственные деятели славились острым умом своих статей, острым словом, тонким вкусом и анализом исторических и литературных явлений.

Под отрывками из романов «мало достойных известности» Волконская разумеет главным образом произведения соиздателя Дельвига, Ореста Сомова — оригинальные и переводные, переполнявшие газету в апреле, мае, июле и августе. «Дельвиг ленив и ничего не пишет, — сообщал Пушкину из Петербурга в Москву 26 апреля 1830 года Вяземский, — а выезжает



¹ Письмо это в архиве В. Ф. Вяземской не известно. Отрывок этот был извлечен из архива С. Г. и М. Н. Волконских. Там, в «черновых журналах исходящих писем М. Н. Волконской», среди копий ее писем, отправлявшихся из Сибири, и сохранился этот отрывок (Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР). — Опубликовано М. П. Султан-Шах в статье «М. Н. Волконская о Пушкине» в сборнике «Пушкин. Исследования и материалы». Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). Т. I. М.—Л., изд. АН СССР, 1956, стр. 262—263. В этой же статье, на стр. 260, напечатаны впервые также и отрывки из письма 4-го (со слов «Я с радостью узнала» по «в более счастливые времена») и из письма 5-го (со слов «Присылка «Литературной газеты» по «если это не будет им сколько-нибудь в тягость»), а также и нижеследующие отрывки из письма 7-го и письма 8-го.

только sur sa bête de somme ou de Somoff»¹.

Первый отрывок из «Монастырки», романа Антония Погорельского (псевдоним гр. А. А. Перовского, близкого знакомого Пушкина), был помещен в № 14 «Литературной газеты» от 7 марта; второй «Отрывок» — в № 15 от 12 марта. Им предшествовало несколько строк, горячо рекомендующих это новое произведение автора «Двойника» (заметка Вяземского, напечатанная без подписи в № 11 от 20 февраля). Отрывок второй и заключал в себе три письма героини романа, написанные живо и талантливо. Не связано ли появление отрывков из нового романа Погорельского (как и отрывков из романа «Магнетизер» в № 1 и № 2 газеты) с пребыванием в Петербурге в это время Пушкина?

Пушкин восхищался этим писателем еще в 1825 году. «Душа моя, — писал он брату 27 марта из Михайловского, — что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр<и-фоном> Фал<алеичем> Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?» Погорельский очень дорожил лестным отношением к его прозе Пушкина и его замечаниями. Он писал Пушкину в начале 1833 года: «Вот тебе, моя прелесть, две главы Монастырки, которые прошу всепокорнейше рассмотреть поскорее, потому что мне бы желалось, буде можно, завтра отвезть их в Типографию. Продолжение последует в скором времени: одна глава у Вяземского, две переписываются, а последняя сочиняется. Вот и все! Посылаю и напечатанное начало 2-й части, чтоб мог ты видеть

связь. Прощай до свиданья: нежно целую тебя в мыслях».

Стихотворение Пушкина, которое Волконская получила от Вяземской, было «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (см. следующее письмо). Оно еще не было напечатано.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арага предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит — оттого,

Что не любить оно не может.

Суждения Волконской о стихотворении свободны и своеобразны. С большой художественной чуткостью отмечает она центральные стихи элегии — новизну мыслей их. Ее должен был поразить поэтический анализ противоречивых чувств, гармонически сочетающихся в душе поэта. Ночной пейзаж Грузии, вводящий в душевное состояние поэта, напротив, кажется ей не имеющим отношения к дальнейшим мыслям. А заключительных стихов она не принимает совсем.

Судя по словам Марии Николаевны, Вяземская писала ей, что стихотворение обращено к Н. Н. Гончаровой. Может показаться, что Волконская поверила этому, как поверили этому и некоторые современные пушкинисты. Однако этому утверждению противится текст стихотворения. Слова «сердце вновь горит» и тем более первоначальные варианты: «Я снова юн и твой», или: «Как было некогда, я вновь тебя люблю», не могут отно-



¹ «На своем выючном животном или Сомове» — каламбур, основанный на созвучии слов «выючный» и «Сомов» во французском языке.

ситься к Гончаровой, с которой поэт познакомился недавно и которой было всего шестнадцать лет (стихотворение написано 15 мая 1829 года)¹.

В стихах этих чувствуется воспоминание о прежней любви, возродившейся, когда поэт ступил на кавказскую землю, в места, вернувшие его к переживаниям 1820 года. Здесь был он с семьей Раевских. Справедливо отнесли исследователи стихотворение к М. Н. Волконской². Вспомним, что за год до этих стихов поэт вспоминал «черты далекой бедной девы», вспоминал Марию Волконскую — под впечатлением услышанных им «песен Грузии печальной». А за полгода до стихов «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» Пушкин написал ей свое «Посвящение» «Полтавы». Обратим внимание и на то, что через несколько дней после новых стихов он рисует в Тифлисе две женские головки — портреты Воронцовой и М. Н. Волконской (см. стр. 61).

Отметим, что черновик стихотворения не имеет еще признаков грузинского пейзажа. «Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла», — писал поэт 15 мая, как он сам пометил в автографе, в тот же день, когда он перед началом «Путевых записок 1829 года» (будущего «Путешествия в Арзрум») поставил дату: «15 мая. Георгиевск». Георгиевск — это Северный Кавказ. Обработывая стихи для печати, он внес в них пейзаж Грузии. Возможность биографических применений отпала: как известно, в первый свой приезд на Кавказ, в 1820 году, Пушкин дальше Северного Кавказа не ездил.

Обработав стихотворение, Пушкин дал его Вяземской. Это был 1830 год, лето. Поэт был уже объявленным женихом Гончаровой. Отсюда и утверждение, что стихи написаны невесте.

Мог ли Пушкин, считал ли он нужным раскрывать даже близким друзьям истинный смысл своего «нового» стихотворения?

А Мария Волконская? Что же — поверила она распространяемой легенде? Не поняла «душою скромной», что стихи говорят о любви к ней? Или почувствовала она правду, но не захотела этого проявить?.. И только несколько резковатый, раздраженный тон выдает ее подавляемые чувства?..

Письмо 7-е. К З. А. Волконской.
Отрывок

20 марта 1831

...Вера Вяземская перестала мне писать с тех пор, как я назвала стихи ее приемного сына, обращенные к его невесте, любовным вздором или же мадригалом, «что не любить оно не может».

«Борис Годунов» вызывает наше общее восхищение; по нему видно, что талант нашего великого поэта достиг зрелости; характеры обрисованы с такой силой, энергией, сцена летописца великолепна, но, признаюсь, я не нахожу в этих стихах той поэзии, которая очаровывала меня прежде, той неподражаемой гармонии, как ни велика сила его нынешнего жанра...

Волконская говорит в этом письме от имени декабристов («наше общее восхищение»). Сосланным на катор-

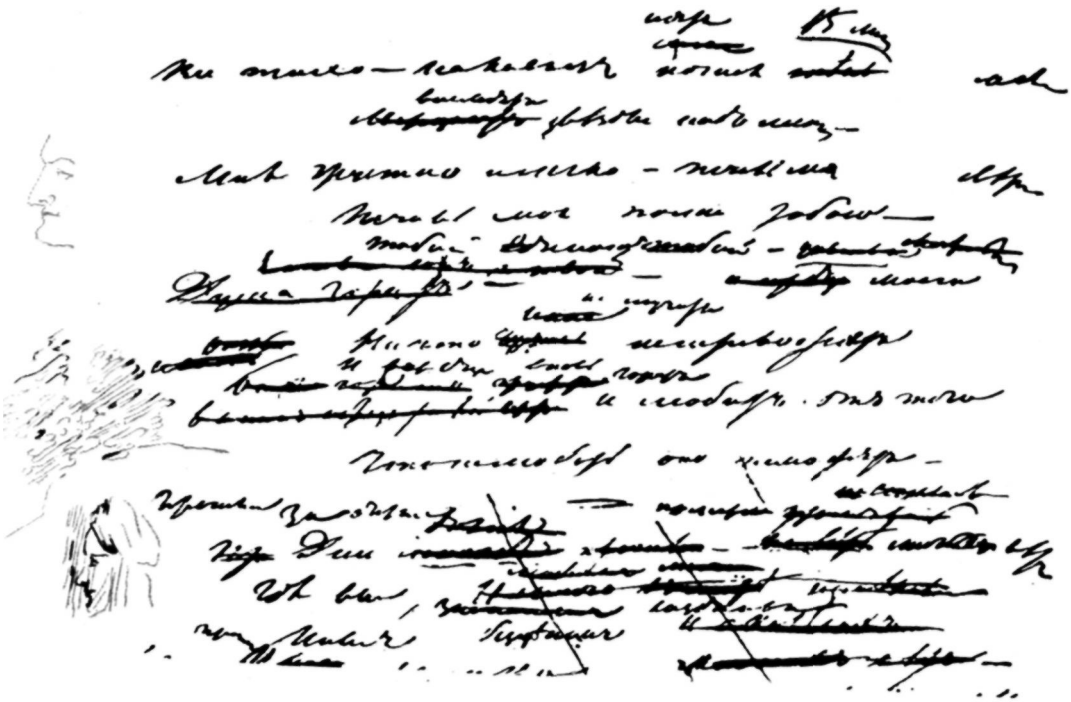


¹ Публикацию текста черновой рукописи стихотворения и анализ ее вариантов см. в кн. С. М. Бонди, Новые страницы Пушкина. М., 1931, стр. 9—29.

² Waclaw Lednicki, Puszkini i Marja Wolkońska. — В кн. Waclaw Lednicki, Aleksander Puszkini. Studja. Kraków. 1926, стр. 238.

С. М. Бонди — в указ. книге, стр. 27. П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., 1931, стр. 346.

М. А. Цявловский — в издании: Пушкин, Полн. собр. соч. в шести томах. Под редакцией М. А. Цявловского и Ю. Г. Оксмана. М.—Л., «Academia», т. I. 1936, стр. 768.



Черновой автограф А. С. Пушкина «На холмах Грузии...».

гу декабристам не разрешалось писать писем. Писали за них жены. «Борис Годунов», написанный еще в 1825 году, был напечатан лишь в конце 1830-го. Получившие трагедию декабристы воспринимали ее, как новое произведение Пушкина. «Литературные староверы и реакционеры приняли трагедию Пушкина в штыки», — пишет исследователь¹. «Безусловно положительных отзывов о «Борисе Годунове» было очень мало». «Современники Пушкина не сумели возвыситься в своих оценках «Бориса Годунова» до литературной и идейной высоты пушкинской трагедии». Таким образом, суждение декабристов, как ни кратко оно выра-

жено, выделяется своим безоговорочным восхищением трагедией.

Письмо 8-е. К С. Н. Раевской.
Отрывок

19 февраля 1832

...Повести Пушкина, так называемого Белкина, являются здесь настоящим событием. Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Всё в ней картина. Он открыл новые пути нашим писателям. Несколько новых романов и литературные журналы, вот что в настоящую минуту занимает Петровск, или, вернее, его заключенных...



¹ Г. О. Винокур, Борис Годунов. — В кн.: Пушкин, Полн. собр. соч. Том седьмой. Драматические произведения. Изд. Академии наук СССР, 1935, стр. 437, 455, 459.

Письмо обращено к младшей сестре М. Н. Волконской — Софье Николаевне. Оно завершает наши представления об отношении декабристов и М. Н. Волконской к произведениям Пушкина. Их прозорливый и умный отзыв резко отличается от критики — печатной и устной — повестей Белкина. Их не поняли. Вернее, поняли их очень немногие, в том числе — Баратынский. («Написал я прозой 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется», — сообщал Пушкин Плетневу 9 декабря 1830 года по приезде из Болдина в Москву.)

Напечатанные здесь письма М. Н. Волконской раскрывают разные грани этой необыкновенной личности.

Письма, написанные перед отъездом в Сибирь, с дороги и первое письмо из Благодатского рудника выражают силу и страстность натуры, высокий дух этой женщины, подчиняющей все непререкаемому чувству долга.

Огромное впечатление произвело на современников это неслыханное до тех пор «добровольное изгнание» жен декабристов. Но не всегда их понимали. Отец писал о Марии старшей дочери своей: «Ты не совсем справедливо судишь, мой друг Катенька. И ты также подвержена экзальтации, но энтузиазм в некоторых случаях, до некоторой степени, есть дар божий; преступая же черту, обращается в сумасшествие». (Потом, как мы видели, Раевский решительно изменил свое мнение о поступке Марии Николаевны.) Менее пристрастно и потому едва ли не справедливее судил Вяземский: «На днях видели мы здесь проезжающих далее Муравьеву-Чернышеву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное и возвышенное обречение!

Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них точно была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которое не думает о Славе, а увлекается, поглощается одним чувством, тихим, но всеобъемлющим, всеодолевающим...»

Письмо это отражает впечатление Вяземского от замкнутости жены декабриста и ее слез во время слушания музыки на прощальном вечере. Он не знал еще писем Волконской к его жене, в которых так искренне прорываются чувства, побудившие ее на подвиг. Нет! Не было в этом «покорности мученичества»! Ею двигало другое. Самонаблюдение молодой женщины о том, что ей легче в кибитке, чем на станции (хотя она и не скрывает, что «руки, пальцы, мысли» ее окоченели), слова «дорогая Сибирь» показывают, что ее решение было вызвано органической жаждой исполнения долга.

Едва дождалась она санного пути, как уже обрывает последние связи с родными. Мчась по неизведанным дорогам Сибири, она нетерпеливо вырывает у возницы вожжи. Не чувствует она облегчения на отдыхе — ей надо скорее в кибитку, ближе к вожделенной цели.

Ни в одном из писем на пути в Сибирь не говорит она о муже. Личное чувство ее поглощалось общественным сознанием, которое было ей важнее.

Это редчайшая в ту пору зрелость духовного мироощущения женщины. И вместе с тем чувство долга у Волконской не трезвая абстракция. Ее окрыляют романтическая мечта и горячий темперамент. (И как же подорвала ее жизнь! Вот как сама она на-

блюдала в дальнейшем перемену в себе: «...я совершенно потеряла живость характера, вы бы меня в этом отношении не узнали. У меня нет более ртути в венах. Чаще всего я апатична; единственная вещь, которую я могла бы сказать в свою пользу, — это то, что во всяком испытании у меня терпение мула; в остальном — мне все равно, лишь бы мои дети были здоровы. Ничто не может мне досаждать. Если бы на меня обрушился мир — мне было бы безразлично». (Письмо 1838 года к сестре Елене Николаевне Раевской¹).

«Наша ссылка», — пишет она уже с каторги, просто выражая свою полную слиянность с судьбой политических борцов. Это видно и в том, что она не может не поделиться с ними таким важным событием, как новые стихи Пушкина.

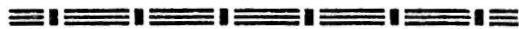
От имени декабристов сообщает она их общее суждение об этапных произведениях поэта, оговаривая иной раз свое расхождение с ними в некоторых частностях. По этим замечаниям Волконской ясно, что искусство ума и слова занимает в ее жизни место не меньшее, чем музыка, а известна она была как музыкантша.

В каждом письме говорит Волконская о Пушкине. Она называет его «нашим великим поэтом». Близость личного знакомства с ним не заслоняет гигантского масштаба гения. Ясная голова была у этой «русской женщины»!

Совершенно сознательно является она тем звеном, которое связывает политических каторжан с великим певцом свободы.

Она поддерживает в своих отношениях с Пушкиным то направление, которое он как бы наметил в свое последнее свидание с нею, сказав о том, что он явится к каторжным декабристам в связи со своим замыслом истории вождя крестьянского восстания («Историю Пугачева» задумал Пушкин еще в 1826 году!). «Приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках», — сказал он ей тогда. И она поняла, что поэт говорит здесь не столько, может быть, о ней лично, сколько о всей колонии политических заключенных.

Яснее и ближе становится нам теперь женщина, которую Пушкин любил совершенно особенной любовью.



¹ О. И. Попова. История жизни М. Н. Волконской, стр. 78.



И. А. Кашкин

Хемингуэй

«Я не знаю, какой он писатель, но я его слушаю, гляжу на него и все время улыбаюсь. Замечательный человек!» — говорил Хемингуэй о генерале Лукаче, и, зная, какой Хемингуэй писатель, можно отнести эти слова к нему самому — замечательному писателю и человеку.

Хотя Хемингуэй оставил много страниц и книг, основанных на личных переживаниях, впечатлениях и наблюдениях, но все это у него творчески претворено. Это вымысел, который правдивее правды, хотя и не вмещает всей фактической стороны правды. Однажды Гертруда Стайн в разговоре с Шервудом Андерсоном вздохнула: «Какой книгой была бы истинная история о Хемингуэе! Не те книги, которые он пишет, но исповедь истинно Эрнеста Хемингуэя». Такой исповеди Хемингуэй не написал, и нет у него связной автобиографии. Он либо слишком поглощен был работой над очередной книгой, либо слишком обескуражен тем, что такая книга не зарождается или работа над ней не идет на лад. Тогда он искал разрядки и самоутверждения в действии: охотился на крупную дичь, ловил большую рыбу, занимался любительским боксом, путешествовал, воевал. А в автобиографии и не было особой надобности, потому что все творчество Хемингуэя в той или иной мере преломляло его жизнь.

Однако бывали отдельные периоды вынужденного бездействия, когда он пристальней оглядывался на свою жизнь, почти не прикрывая этих воспоминаний дымкой вымысла. Так, в 1934 году в Африке, маясь от амебной дизентерии, надолго оторвавшей его от охоты и принявшей угрожающий характер, Хемингуэй просматривал, как в калейдоскопе, какие-то отрывочные куски собственной жизни, которые воспроизвел позднее в воспоминаниях умирающего писателя Гарри.

В 1950 году, умирая от заражения крови, полуслепой, беспомощный Хемингуэй вместе со своим полковником Кентуэллом мысленно побывал в Ита-

лии времен своей юности и отвел душу, выплывув в лицо генералам-политикам всю ту злость, что накопилась у него по отношению к ним за вторую мировую войну.

Если бы в 1960—1961 годах, тяжело и медленно умирая, уже не дома, а в клинике, Хемингуэй был бы в состоянии еще раз оглянуться на пройденный путь, ему в основном достаточно было бы лишь связать воедино то, что он долгие годы подавлял в себе и что все-таки то и дело проглядывало сквозь условность вымысла и фикции. Еще в 1952 году он сказал: «Я мог бы написать удивительный роман об Ок-Парке, но не пишу его, потому что не хочу делать больно живым людям». Или как он сформулировал ту же мысль в «Снегах Килиманджаро»: «Он так и не написал об этом, потому что сначала ему никого не хотелось обидеть, а лотом стало казаться, что и без того есть о чем писать». Роман этот, в сущности, наполовину написан, надо только внимательно взглядеться в намеренно раздерганные и перетасованные куски своего рода загадочной картинки. И как это ни тяжело, но приходится это сделать, потому что рассказ о жизни Хемингуэя вдобавок к тем намекам, которые он себе позволил, многое разъясняет и помогает лучше понять человека и писателя, жизнь которого была в творчестве, а творчество возникало из его собственной жизни.

1. Гнездо и вылет

Родился Хемингуэй 21 июля 1899 года в Ок-Парке. Жили его родители не в кипучем, шумном, грязном Чикаго, а тогда еще под боком у этого гиганта, в тихом городке, название которо-

го значит «Дубовая роща» и который одни шутя называли «самой большой деревней на свете» с 60 тысячами жителей, а другие величали «мелкобуржуазной столицей мира». Начинался этот пригород там, где кончались чикагские салуны и притоны и взамен на каждом шагу вставали церкви и молитвенные дома: методистов, универсалистов, конгрегационалистов и множества других вероисповеданий и сект. Здесь не было больших заводов, а были тихие, тенистые улицы, подстриженные лужайки перед домами-коттеджами и всюду масса садов.

По воскресеньям здесь не полагалось пирушек, танцулек, позднее в воскресные дни здесь не ходили даже в кинематограф. Здесь не было салунов и питейных на потребу гулякам и беднякам. Жили тут мелкие, но обеспеченные чикагские дельцы и клерки, а рядом обслуживавшие их торговцы, ремесленники, учителя, врачи. Все это были по большей части давние поселенцы, осевшие здесь еще со времен основания Чикаго. К таким старожилам принадлежали и семьи Хемингуэев и Холлов.

У каждого уважающего себя окпаркца был размером побольше или поменьше, но непременно собственный дом. Однако когда Хемингуэй и Холлы породнились, у молодых — начинающего врача Кларенса Хемингуэя, только что окончившего практику в Эдинбургском университете, и у недавней дебютантки Нью-Йоркской филармонии, начинающей певицы Грэйс Холл — ко времени их женитьбы собственного дома еще не было. И когда родился у них сын, то маленький Эрни, выйдя из пеленок, много времени проводил в доме то у одного, то у другого деда. А оба они были по-сво-

ему примечательны. Оба они прибыли сюда, в Чикаго, с восточного побережья еще в крытых фургонах середины XIX века и были в числе первых чикагцев. Но на этом их сходство кончается.

Дед с материнской стороны — Эрнест Миллер Холл — был типичным горожанином, солидным и обеспеченным совладельцем чикагской фирмы по продаже ножей и ножниц, столовых приборов и пр. Все четыре года Гражданской войны он служил в Айовском кавалерийском полку. Отличился, был ранен и до самой смерти ходил с невынутой пулей. От пенсии он отказался, заявив: «Я добровольно служил моей второй родине (первой он считал Англию, откуда привезен был еще ребенком), а не продавал ей свои услуги». Умер он в 1904 году, когда Эрни было всего пять лет, и внук знал его больше понаслышке и с восхищением глядел на кавалерийскую саблю деда, которая висела на почетном месте в гостиной их дома.

Дед со стороны отца — Ансон Тайлер Хемингуэй — был попроще и понепоседливее. Агент по продаже недвижимости, он был в постоянных разъездах и любил свое дело не только ради денег. Тягу к странствованиям унаследовали и его потомки. Один из его сыновей — Уильям — позднее работал в Китае в составе протестантской медицинской миссии и был награжден за свою работу Сунь Ят-сеном. Дед Хемингуэй опекал Эрни, когда он был уже в сознательном возрасте. Когда мальчику исполнилось двенадцать лет, дед подарил ему ружье и брал с собой на охоту. Хемингуэй позднее так вспоминал в «Снегах Килиманджаро» судьбу охотничьего домика деда:

«На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в который звонили, сзывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллея серебристых тополей. На мысу тоже росли тополя. Вдоль опушки леса шла дорога в горы, и по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, и все ружья, висевшие на оленьих ножках над камином, тоже сгорели, и ружейные стволы, без прикладов, с расплавленным в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших мыловаренных котлов, и ты спросил дедушку, можно взять эти стволы поиграть, и он сказал нет. Ведь это были все еще его ружья, а новых он так и не купил и с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса, и побелили его, и с террасы были видны тополя, а за ними озеро; но ружей в доме больше не было. Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на оленьих ножках, валялись в куче золы, и никто теперь не прикасался к ним».

Дед Хемингуэй тоже проделал Гражданскую войну — в рядах Иллинойского пехотного полка и, участвуя во многих сражениях, остался невредимым. Старый «смит-вессон» армейского образца перешел к Кларенсу Хемингуэю и позднее сыграл свою мрачную роль в судьбе доктора.

Жили обе семьи дружно, но характерно, что у обоих дедов-воjak верховодили в доме жены.

Воспоминания о дедах сопровождали Хемингуэя всю жизнь. Они были ему опорой в трудные минуты, и недаром, попав в беду, Джордан думает: «Хорошо бы рассказать обо всем этом дедушке». Изнемогая от боли, едва удерживаясь от самоубийства, Джордан говорит себе: «Послушай, если я

это сделаю сейчас, ты меня поймешь как следует? Да ты с кем говоришь? С дедушкой, что ли?» И этот мысленный разговор укрепляет Джордана в твердом решении — не смей умирать, пока ты способен на дело. Ведь «поступок, сделанный вовремя» и спасающий других, способен решить многое. Вспоминая деда, Роберт Джордан находит в себе силы умереть достойно, не сдаваясь до последней минуты. А в другом месте Джордан говорит: «Если с детских лет ты сидел над книгами о войне и изучал военное искусство, то это дедушка натолкнул тебя на это своими рассказами о Гражданской войне». Как это обычно бывает у Хемингуэя, в его творчестве образ обоих дедов как бы сливается воедино, и в воспоминаниях Джордана своей романтикой и яркостью верх берет легендарный облик лучшего командира иррегулярной кавалерии. Но когда Джордан вспоминает деда, в этих воспоминаниях уживаются и кавалерийская сабля, и армейский «смит-вессон», и пехотные атаки под Висксбургом, и кавалерийские рейды по тылам южан и против индейцев.

После смерти дедушки Холла его дочь, миссис Грэйс Хемингуэй, смогла, наконец, осуществить свою мечту и на оставленные ей в наследство деньги отца построить собственный дом. Приземистый и разлтый, но поместительный, он был построен по вкусу и по плану хозяйки. Все здесь затеяно было на широкую ногу. Дом двухэтажный, да еще с мансардой, всего на пятнадцать комнат, и, на чем особенно настаивала миссис Хемингуэй, с двухсветным музыкальным залом площадью 30 на 30 футов. Слов нет, трудно было обставить и отопить такой дом, но зато теперь полномостная



хозяйка не очень маленького дома миссис Хемингуэй могла развернуться вовсю. Она могла принимать неограниченное количество гостей, из которых составлялась аудитория ее концертов, тут устраивались спевки церковного хора и заседания приходского совета пресвитерианской церкви, где выборным дьяконом был ее муж, доктор Хемингуэй. Тут позднее она развертывала выставки собственных картин. Тут в музыкальном салоне она заставляла Эрни учиться игре на виолончели, а девочек на рояле. Тут же в салоне висел портрет предка со старой родины, ученика Паганини, Уильяма Эдварда Миллера, сына донкастерского органиста Уильяма Миллера, автора духовных гимнов, имевшего зва-

ние доктора музыки Оксфордского университета.

История с постройкой дома 600 на Норт-Кенильворт-авеню характеризует деловитость, практичность и амбициозность несостоявшейся певицы. Ведь, как дочь обеспеченных родителей, Грэйс Холл смогла получить сверх обычного и музыкальное образование, притом в Нью-Йорке. Она училась у преподавателя, обучавшего таких знаменитостей, как Зембрих, Решке и, как говорили, и Галли Курчи. Обладая хорошим голосом, она с успехом выступала от Нью-Йоркской филармонии в зале Мэдисон-сквер Гарден, и концерт дал тысячу долларов сбора. Наклеивался контракт в оперу, но подвела болезнь глаз, а потом и замужество. После свадьбы со всеми этими планами было покончено, хотя она всю жизнь сожалела о неудавшейся артистической карьере и старалась возместить это любительством в своем узком кругу. Она пела в церкви, в благотворительных концертах, обучала музыке детей и выступала вместе с ними, рассчитывая всем этим упрочить положение семьи в ок-парковском обществе. К старости, уже в возрасте пятидесяти двух лет, она стала заниматься и живописью и устраивала у себя в салоне выставки своих картин.

Дальше выяснится, как не похожи были друг на друга супруги Хемингуэй — муж поглощен своей работой, жена — музыкально-общественной деятельностью. Но в одном они были единодушны: в доме царили чисто викторианское добронравие и религиозность. Так, соблюдая церковную традицию, они окрестили всех четырех своих дочерей точно по святцам, и только старший сын был назван в честь деда Эрнестом Миллером.

Родило обоих Хемингуэев и чадолюбие. При постройке дома сыграла свою роль и забота о детях. А потом, когда они появились — в 1898 году дочь Марселина, а в 1899 году сын Эрнест, — возникли новые заботы: куда вывозить детей на лето? И это вызвало к жизни еще один дом, вернее, домик, на этот раз дачице и пристанище доктора Хемингуэя. В 1900 году они приглядели в 400 километрах к северу от Чикаго, на берегу озера Валлун, клочок земли и построили там летний домик. До ближайшего городка Петоски было больше десяти километров, никаких шоссе, и сообщение только катером. Природа привлекла отца своей нетронутостью, а мать — романтичностью. И прозвана была дачка романтично — вилла Уиндмир. Но эта лесная глушь отвечала интересам доктора Хемингуэя. Его, как и отца, издавна тянуло в просторы еще не обжитого Запада. Еще в студенческие годы он три месяца провел в штате Южная Дакота среди индейцев племени сиу, позднее поваром участвовал в геологических и археологических экспедициях. После стажировки в Эдинбурге он стремился попасть врачом на остров Гуам или в Гренландию. Но все эти порывы были решительно пресечены женой после их свадьбы в 1896 году.

Теперь это был уважаемый врач, по специальности хирург и акушер, впоследствии председатель местного медицинского общества, главный врач гинекологического отделения ок-паркской больницы. Энтузиаст своего дела, бессребреник, он никогда не отказывал пациентам в бесплатной медицинской помощи.

Доктор рад был вырваться из города на простор Северного Мичигана. Здесь он отдыхал от утомительной зимней

практики. Исключительная зоркость зрения, твердая рука хирурга помогли ему стать замечательным стрелком, а любовь к природе поддерживала его страсть к охоте и рыбной ловле в еще не тронутых лесах и непуганых водах Северного Мичигана.

«Первое, что вспомнилось Нику, — пишет Хемингуэй о своем двойнике Нике Адамсе, — были его глаза. Ни крупная фигура, ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему, — всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко, словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были основным даром, которым обладал его отец. Зрение у него было такое же острое, как у муфлона или орла, нисколько не хуже».

Из городских обязанностей он не забывал только врачебного долга. Докторов в округе не было, и Кларенс Хемингуэй лечил и соседних фермеров и особенно индейцев из поселка по ту сторону озера. В сложных условиях он принимал новорожденных, выполнял трудные операции, вроде описанной в рассказе «Индийский поселок». Родные считали доктора чудачком и часто не принимали всерьез даже то, в чем он был действительно мастер. Когда отец Ника делает операцию кесарева сечения охотничьим ножом и зашивает рану вяленой жилкой, дядя Джордж снисходительно роняет: «Ну еще бы! Ты у нас знаменитый хирург». У доктора были и широкие интересы краеведа и этнографа. Посещая резервации, он пополнял свои коллекции предметов индейского обихода, и привезенные с собою на ле-

то пачки медицинских журналов по долгу оставались нераспечатанными. А вообще легко жилось в Уиндмире. Маленький, дощатый, окрашенный в белое домик был виден издали с того берега. Рядом песчаная отмель, на которой весь день барахтались ребятишки. По берегу березы, сосны и кедры, повыше клены, буки, заросли можжевельника и лес, нескончаемый лес. Проходивший в Петоски катерок отец вызывал при необходимости охотничьим рожком или большим бараньим рогом, вывезенным из Швейцарии. Словом, все отвечало неприятельным вкусам отца и книжной романтичности матери, не говоря уже о восторге ребят, которые все лето могли бегать босиком, гулять, купаться.

Здесь доктор мог больше времени уделять детям, особенно сыну Эрни, который вплоть до рождения в 1915 году младшего сына, Лестера, был единственным братом своих четырех сестер. Когда Эрни исполнилось три года, отец подарил ему удочку, а позднее брал его с собой на охоту, рыбную ловлю и в индейские резервации. Впрочем, в ближних прогулках от них не отставали и девочки. Отец, естественник по образованию, приучал их любить природу, разбираться в зверях, птицах и растениях, приохочивал к работе, заставляя помогать и матери по дому и окрестным фермерам по уборке урожая. Дома, рядом с Эрни, были только девчонки-сестры, и он предпочитал играть в индейцев, охотиться, бродить с индейскими ребятишками соседних селений. Это были друзья его детства и не только детства — на всю жизнь запомнилась ему девушка-индианка и то, что вспоминает о ней Ник Адамс в рассказе «Отцы и дети».

Всем было легко в Уиндмире, кроме матери. Мать летом томилась без привычного ок-паркского общества, без привычного комфорта: не было водопровода, ванны, канализации, трудно было кормить семью вдалеке от услужливых мясников и бакалейщиков. На руках у нее была все разраставшаяся семья — ребят было уже пятеро, — а она тяготилась хозяйством. С годами она все больше переключивала хозяйственные заботы на плечи старших дочерей и сына, а сама все чаще отлеживалась в затененной комнате, где на столике возле кровати лежали библия, книга «Наука и здоровье» и журнал «Христианская наука».

Да, очень не похожи были друг на друга супруги Хемингуэи. Муж — высокий, поджарый, длинноногий, широ-



копечий, с маленькой темноволосой головой, острым взглядом и острым профилем, длинным носом и клинышком бородки — был порывист и нервен, временами хлопотлив, впечатлителен и доверчив, порой сентиментален и всегда склонен к наставлениям. Общительный и отзывчивый, он чем-то напоминал наших земских врачей чеховской поры. Он был членом Клуба оптимистов, что вовсе не свидетельствует о врожденном оптимизме. С фотографического снимка Кларенса Хемингуэя глядит типичный интеллигент. Подстриженная бородка скрывает слабый подбородок, и не удивляешься, что доктор Хемингуэй долгое время скрепя сердце мирился с респектабельностью и чинностью дома «жены доктора» и, так и не примирившись до конца с ее прямолинейным оптимизмом и не поборов одинокой тревоги, покончил с собой в 1928 году. А жена — плотная, большеголовая, с большим, плоским, четырехугольным невыразительным лицом, твердо стояла на своих крепких ногах. Она была несокрушимой оптимисткой по природе, что еще усиливалось и религиозностью. Спокойная уверенность в себе делала ее типичной американкой Среднего Запада, наследницей того послепионерского периода, когда немногочисленные женщины были окружены вниманием толпы грубоватых женихов и поклонников. А потом стали культуртрегерами в этой грубой среде и блюстительницами домашнего очага.

Эрни рос под перекрестным влиянием двух противоположных воспитательных систем. Отец хотел вырастить из своего первенца-сына настоящего мужчину, в традициях семьи врачей, этнографов и миссионеров. Хемингуэй вспоминает, что очень рано отец

давал ему читать Дарвина, а еще в три года Эрни получил от отца удочку, в двенадцать от деда — охотничье ружье, в четырнадцать — выпросил абонемент на уроки бокса. И все это сопровождалось наставлениями отца: «Стреляй ровно столько дичи, сколько нужно для утоления голода, и бей наповал». «Не может быть несчастных случаев у того, кто умеет обращаться с оружием, но оно не прощает небрежности». Отец не скрывал от сына жестокой и страшной стороны жизни, брал его с собой в индейский поселок, но по викторианской чопорности не терпел вольностей и ругательств. Если случалось Эрни обмолвиться грубым словечком, отец присоединялся к окрику матери: «Эрни, поди и вымой рот с мылом!»

А домом правила именно мать, и она стремилась воспитать из сына достойного члена ок-паркского общества. В частности, она обучала его музыке, Эрни часами просиживал за виолончелью, играл в трио, где мать садилась за фортепьяно, а сестра Марселина бралась за скрипку. Виолончелиста из Эрни не получилось, но матери не удалось отпугнуть сына от музыки виолончельными экзерсисами. Музыкальная артистическая атмосфера дома оказала свое влияние. Хемингуэй на всю жизнь сохранил любовь к хорошей музыке: Баху, Моцарту, он любил и ценил живопись Лувра, Прадо и итальянских галерей.

Однако в споре за его душу брал верх отец. «Пойди к маме, ты ей за чем-то нужен», — говорил доктор Адамс. «А я хочу с тобой», — отвечал Ник». И отец был с ним

«...осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запря-

женную в шарабан, когда он видел или слышал диких гусей или когда сидел в засаде на уток; или вспоминая о том, как однажды в сильную вьюгу орел упал на прикрытый полотном капкан и пытался взлететь, хлопая крыльями, но зацепился когтями за полотно. Отец вставал перед ним неожиданно в запущенных фруктовых садах, на свежевспаханном поле, в зарослях кустарника, на невысоких холмах или когда ой ходил по сухой траве, колот дрова, носил воду, возле мельниц, на плотинах и всегда у костра».

Ник был благодарен отцу за две вещи — охоту и рыбную ловлю:

«...нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтоб узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет. Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор был благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем». «Таких необыкновенных глаз, как у отца, Нику больше ни у кого не приходилось видеть, и Ник любил его очень сильно и очень долго».

Но годам к пятнадцати-шестнадцати ослабела и эта связь с семьей. Зимой Эрнеста всецело поглощала школа и ее интересы, но летом он уже не раз уходил из Уиндмира и подолгу бродил, охотясь, ловя рыбу, подрабатывая на попутных фермах.

Подрастая, Эрни начинал понимать то, что давно поняли более проницательные наблюдатели со стороны, которые, случалось, говорили: «Странная семья эти Хемингуэй». В ранних рассказах Хемингуэй пишет об идиллическом детстве Ника Адамса и вместе с тем о тягостной среде, которая отбросила густую тень недоговоренности и внут-



Эрнест с рюкзаком и удочкой.

ренного смятения на многие годы его жизни. В десятке рассказов цикла о детстве и юности Ника Адамса явственно проступают контуры автобиографического романа, который, однако, так и не был написан. Хемингуэй не только скуп на слова, даже сказанное он намеренно затушевывает, лишь вскользь упоминая в разных рассказах отдельные детали, по которым и приходится воссоздавать общую картину, атмосферу скучных серых будней и образ слабовольного мужа под башмаком у елейного деспота — жены.

Все было чинно в Доме Хемингуэев. Но эта чинность скрывала какую-то внутреннюю трещину. Особенно способствовал этому характер матери.

Ее энергия доходила до агрессивности, ее самоуверенность граничила с жесткостью, а оптимизм был зачастую слеп.

Теперь, когда вышли в свет воспоминания брата Лестера и старшей сестры Марселины, которые, естественно, сглаживают острые углы, все же видно, насколько близки к действительности были рассказы Хемингуэя о семье Адамсов.

Воспоминания старшей дочери Марселины подтверждают, что отец был страстный коллекционер, он собирал марки, старые монеты, заспиртованных гадов, минералы, но особенно гордился своими индейскими коллекциями. Долгие годы он собирал головные уборы, мокасины, трубки, луки и мушкеты, кожаные и плетеные изделия.

Сначала покончено было со змеями и ящерицами.

«Я вспоминал, как после смерти дедушки мы переезжали из старого дома в другой, выстроенный по указаниям моей матери. На заднем дворе жгли вещи, которые решили не перевозить, и я помню, как все банки с чердака побросали в огонь, и как они лопались от жары, и как ярко вспыхивал спирт. Я помню, как змеи горели на костре за домом».

Но в новом доме опять завелась нечисть.

«Помнишь шкаф в отцовском кабинете с полочкой, на которой были разложены наконечники стрел, и военные головные уборы на стене с понишками орлиными перьями, запах прокопченной оленьей кожи, исходивший от индейских штанов и рубашек, расшитые бусинками мокасины. Помнишь огромную дугу лука, с которым ходили на буйволов, он тоже стоял в шкафу, и два колчана с охотничьими и боевыми стрелами, и какое ощущение было в

ладони, когда ты забирал рукой сразу несколько таких стрел».

И все повторилось сызнова.

«Думая о новом доме, я вспоминал, как моя мать постоянно наводила там чистоту и порядок. Один раз, когда отец уехал на охоту, она устроила генеральную уборку в подвале и сожгла все, что там было лишнего. Когда отец вернулся домой и вышел из кабриолета и привязал лошадь, на дороге у дома еще горел костер. Я выбежал навстречу отцу. Он отдал мне ружье и оглянулся на огонь.

— Это что такое? — спросил он.

— Я убирала подвал, мой друг, — отозвалась мать. Она вышла встретить его и, улыбаясь, стояла на крыльце.

Отец всмотрелся в костер и ногой поддел в нем что-то. Потом он наклонился и вытащил что-то из золы.

— Дай-ка мне кочергу, Ник, — сказал он.

Я пошел в подвал и принес кочергу, и отец стал тщательно разгребать золу. Он выгреб каменные топоры, и каменные свежевальные ножи, и разную утварь, и точила, и много наконечников для стрел. Все это почернело и растрескалось от огня. Отец тщательно выгреб все из костра и разложил на траве у дороги. Его ружье в кожаном чехле и две охотничьи сумки лежали тут же на траве, где он их бросил, выйдя из кабриолета.

— Снеси ружья и сумки в дом. Ник, и достань мне бумаги, — сказал он. Мать уже ушла в комнаты. Я взял обе сумки и ружье, которое было слишком тяжелым и колотило меня по ногам, и направился к дому.

— Бери что-нибудь одно, — сказал отец. — Не тащи все сразу.

Я положил сумки на землю, а ружье отнес в дом и на обратном пути захватил газету из столки, лежавшей в отцовском кабинете. Отец сложил все почерневшие и потрескавшиеся каменные орудия на газету и завернул их. — Самые лучшие наконечники пропали, — сказал он. Взяв сверток, он ушел в дом, а я

остался на дворе возле лежавших в траве охотничьих сумок. Немного погодя я понес их в комнаты. В этом воспоминании было двое людей, и я молился за обоих».

Грэйс Холл по примеру старшего поколения жен и в этом поколении взяла верх над Кларенсом Хемингуэем.

«Мать целыми днями молилась о сыне и муже, зная, что мужчины слабы и подвержены искушениям».

Зимой в Чикаго это было еще терпимо. Каждый из супругов жил своими обособленными интересами. Но летом, на досуге, все всплывает на поверхность. Она то и дело внушает мужу: «Помни, тот, кто смиряет дух свой, сильнее того, кто покоряет города», — и по всякому поводу ровно зудит его с неизменным припевом «милый». После нескольких таких реплик у него руки опускаются.

«Ружье само стало в угол за шкафом — расхотелось даже на охоту идти» или распечатать кипу медицинских журналов, которая выросла на полу около его стола. А когда дверь за ним захлопнулась и раздался ее вздох, он говорит через окно: «Прости» и слышит в ответ елеиное: «Ничего, милый».

Кларенса Хемингуэя воспитывала в духе смиренномудрия еще его мать, продолжала это воспитание жена. Эрнест Хемингуэй не хочет быть судьей между родителями. В воспоминаниях Ника Адамса было двое людей, и он молился за обоих. Но сын не прощает отцу этого непротivления. И когда Джордан вспоминает о своем отце, он обвиняет его в трусости. «Иначе он не дал бы себя задержат этой настырной женщине». Но время, когда всякие семейные не-

урядицы коснулись и Эрни, было еще впереди, а пока, на приволье озера Валлун, он креп и рос настолько быстро, что, пробежав целое лето босиком, осенью уже не влезал в весенние ботинки. Ему мало было редких прогулок и охотничьих вылазок с отцом, он хотел повидать свет своими глазами и на каникулах не раз пускался в бега. Карманные деньги в семье Хемингуэев отпускались детям в обрез, так, восемнадцатилетний Эрни получал 25 центов в неделю. И вот в каникулярное время он подрабатывал на соседних фермах, а когда уходил далеко, тоже работал на фермах или мойщиком посуды в придорожных барах, а то нанимался тренером-ассистентом к профессиональным боксерам, и впечатления от этих странствий отразились в рассказах «Чемпион», «Свет мира» или в одном из эпизодов «Снегов Килиманджаро»:

«А ранчо и серебристая седина шалфея, быстрая прозрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень люцерны? Тропинка уходила в горы, и коровы за лето становились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, и медленнодвигающаяся масса поднимает пыль, когда осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами ясная четкость горного пика, и едешь вниз по тропинке при свете луны, заливающей всю долину. Сейчас ему вспомнилось, как он возвращался лесом, держась за хвост лошади в темноте, когда ни зги не было видно».

Не миновало Эрни и то, чем и в те годы болела американская молодежь: сверххранная любовь в разных ее видах и привычка к спиртному. «С пятнадцати лет для меня нет лучшего развлечения, чем вино», — писал он много позднее в одном из писем. Если не факты, то атмосфера юношеских лет

отражена в таких рассказах, как: «Что-то кончилось», «Трехдневная непогода», «Десять индейцев», «Отцы и дети».

Благовоспитанные и состоятельные горожане Ок-Парка заботились о воспитании своего потомства. Большое просторное четырехэтажное здание городской школы было не только прекрасно оборудовано, но располагало штатом хороших преподавателей. Вторая ступень этой школы за четыре года давала подготовку, уравнивавшую выпускников с второкурсниками университетского колледжа гуманитарного уклона.

В 1958 году Хемингуэй вспоминал:

«Один год мне пришлось нанять репетитора по латыни, и отец потребовал, чтобы я сам заработал деньги на его оплату. Репетитор был необходим, потому что раньше я сидел на одной парте с очень хорошим учеником и у меня сразу катастрофически снизились отметки... Очень важно обеспечить себе соседа, который силен в латыни... Ведь латынь — отличная основа для изучения всех романских языков; благодаря ей мне гораздо легче дались французский, итальянский и испанский».

Эрни с успехом окончил эту школу, он много читал — не только своих любимых Гека Финна, Киплинга, капитана Марриета, но и по курсу литературы Шекспира, Чосера, Марло. Шекспира он перечитывал и потом. По его словам, каждый год, а «Лири» и чаще. Он участвует во всех литературных начинаниях школы, пишет в журналах «Табула» и «Трапедия», редактирует один из них. Он писал в них спортивные и бытовые заметки в духе популярного в то время чикагского фельетониста Ринга Ларднера или жесткие рассказы о пионерах и индейцах в духе Джека Лондона и Брет-Гарта. Участвовал он и во всех спортивных клубах школы: кружке плавания, атлетическом, как его староста, футбольном. Хотя Хемингуэй был на хорошем счету по основным предметам, но сам позднее не переоценивал свои успехи.

«Я в школе, — вспоминал он позднее, — больше всего играл в футбол, потом в баскетбол, а там начинался сезон на треке и бейсбол, и от всего этого я так уставал, что на занятия науками меня уже не хватало. Я больше учился потом, уже после школы».

305 Constance Long. 115 Helen Rogers.
307 Margaret Patch. 117 Gorin Smith.
310 Howard Vaughan. 104 Parker Hamilton.
307 Morris Musselman.

EDITORIAL STAFF

Editor Ernest Hemingway

Associate Editors

Earle Pashley LeRoy Huxham
Susan Lowrey Elliot Smeeth.
Marcelline Hemingway.

Airline Pilot Morris Musselman
Cartoonist Albert Dungan

Reporters

Arthur Thexton Florence Winder
Allen Speelman Edward Andresen
Laura Canode Helen Sinclair

CI

SENI

The
every
they
say?
very
right.

Особенно он увлекался боксом. Уже в четырнадцать лет он отправился в боксерскую школу в Чикаго, и в первый же день один из тренеров расквасил ему нос. Тренер этот, получив вперед за весь курс обучения, отваживал таким образом новичков с первого же урока, сохраняя при этом внесенные деньги. Но не таков был Эрни, чтобы сдаваться. Подлечив нос у отца, он продолжал курс обучения, и, хотя на следующем уроке ему сильно повредили глаз, бокс на всю жизнь остался для него любимым видом спорта.

Эрни быстро мужал. Вот на фотографии 1916 года он стоит высокий и худощавый на мощной дорожке осенней, уже облетевшей Норт-Кенильворт-авеню. Он в несколько напряженной полувоенной, полуспортивной стойке. У него широкие плечи, простоватая улыбка, коротковатые рукава. И видно, что он вырос не только из пиджака своего черного парадного костюма. Ему уже тесно и в стенах родительского дома и на улицах родного города.

В последние школьные годы Эрнеста отец поглощен работой, мать музицирует в двусветном зале, а на



мансарде, в комнатке Эрнеста, все чаще стучит машинка: он готовит материал для очередного номера школьного журнала.

Весной 1917 года Эрнест успешно окончил школу. Он стремится попасть на войну. Двенадцать раз пытается записаться в армию и неизменно получает отказ. Наследственная близорукость осложнена была повреждением глаза, полученным на занятиях боксом. Родители настаивали на поступлении в университетский колледж. Но Эрнест решил: если сегодня не удалось стать солдатом, то завтра надо пытаться счастье на дороге писательства. А на Среднем Западе путь в литературу чаще всего пролегал через газету.

С помощью родственников он устраивается подальше от дома репортером в канзасскую газету «Стар». Газетная работа столкнула его лицом к лицу с жизнью. Он был прикреплен хроникером к Пятнадцатому полицейскому участку, Центральному вокзалу и Главной больнице. Часто он выезжал с дежурной полицейской машиной или машиной «Скорой помощи» на место грабежей, убийств и пожаров. Всюду он старался быть впереди, и его нередко одергивали. На одном большом пожаре он полез в самое пекло. Искры прожгли ему костюм, но включенные им в счет производственные потери так и не были оплачены. «Рискуй только тогда, когда готов пожертвовать всем», — шутя говорил он позднее своему брату Лестеру.

Впечатления его репортерской работы отразились позднее в рассказе «С веселыми святками» и в таких миниатюрах книги «В наше время», как эпизод с венгерцами-грабителями:

«В два часа утра двое венгров забрались в табачную лавку на углу Пятнадцатой улицы и Грэнд-авеню. Древитс и Бойл приехали туда в «форде» из полицейского участка на Пятнадцатой улице. Грузовик венгров как раз выезжал задним ходом из тупичка. Бойл подстрелил сначала сидевшего в кабине, потом — того, который был в грузовике. Древитс испугался, когда увидел, что оба они убиты наповал.

— Стой, Джимми, — сказал он. — Что же ты наделал! Знаешь, какой теперь тарарам поднимется!

— Ворье они или не ворье? — сказал Бойл. — Итальяшки они или не итальяшки? Кто будет поднимать из-за них тарарам?

— Ну, может, на этот раз сойдет, — сказал Древитс, — но почему ты знал, что они итальяшки, когда стрелял в них?

— В итальяшек-то? — сказал Бойл. — Да я итальяшек за квартал вижу».

И описание казни Сэма Кардинелла, преступника, повешенного в 1918 году в канзасской тюрьме:

«Сэма Кардинелла повесили в шесть часов утра в коридоре окружной тюрьмы. Коридор был высокий и узкий, с камерами по обе стороны. Все камеры были заняты. Осужденные заранее были доставлены сюда. Пятеро приговоренных к повешению находились в первых пяти камерах. Трое из них были негры. Они очень боялись. Из белых один сидел на койке, опустив голову на руки. Другой лежал, вытянувшись на койке, закутав голову одеялом. К виселице выходили через дверь в стене. Всего было семь человек, считая вместе с обоими священниками. Сэма Кардинелла пришлось нести. Он был в таком состоянии с четырех часов утра.

Когда ему связывали ноги, два надзирателя поддерживали его, а оба священника шептали ему на ухо.

— Будь мужчиной, сын мой, — говорил один из священников.

Когда к нему подошли, чтобы надеть ему на голову капюшон, у Сэма Кардинелла началось недержание кала. Надзиратели с отвращением бросили его.

— Нет ли табуретки, Билл? — спросил один из надзирателей.

— Принесите, — сказал какой-то человек в котелке.

Когда все отступили за спускной люк, который был очень тяжел, сделан из дуба и стали и вращался на шарикоподшипниках, посреди помоста остался Сэм Кардинелл, сидевший на стуле, крепко связанный; священник отпрыгнул назад в самую последнюю минуту перед тем, как отпустили люк».

Надо сказать, что Хемингуэй попал в хорошие руки. Не в пример многим продажным журналистам столичных газет, здесь его наставляли газетчики доброй старой школы, которых интересовали прежде всего факты. Для Хемингуэя все это было в новинку, и он приобрел здесь много полезных профессиональных навыков. Вот некоторые из ста «Заповедей газетчика», которые были обязательны для работников «Канзас Стар»:

«Пиши короткими предложениями.

Первый абзац должен быть краток.

Язык твой должен быть сильным.

Утверждай, а не отрицай.

Бойся обветшалых жаргонных словечек, особенно когда они становятся общеупотребительными.

Воспринимается только свежий слэнг.

Избегай прилагательных, особенно таких пышных, как «потрясающий», «великолепный», «грандиозный», «величественный»...»

От всех репортеров здесь неукоснительно требовали соблюдения подобных заповедей, и заповеди эти пошли впрок Хемингуэю, научив его писать сжато и просто. Это, в сущности, бы-

ла для него первая школа литературной грамоты. Оглянувшись на штампованную гладкость школьных сочинений или наигранный ернический тон мальчишеских фельетонов, он понял теперь преимущества нагой прозы хорошего газетного текста.

II. Теняте Эрнесто Хемингуэй на фронте и дома

Семь месяцев Хемингуэй работал в газете горячо и добросовестно. Вернувшись с очередного выезда, он сейчас же отстукивал отчет на старенькой машинке, где каждая десятая буква выскакивала выше строчки, и старался не нарушать законов своей газеты. Но мечты о фронте он не оставлял, и в мае 1918 года ему удалось, наконец, записаться в автоколонну американского Красного Креста, отправляющуюся на итало-австрийский фронт. Как и на пожарах, Хемингуэй рвался быть поближе к огню. Попав в Париж в день обстрела города «Большой Бертой», он с товарищем нанял такси и рыскал по городу в погоне за разрывами тяжелых снарядов. Им повезло: при них снаряд расщепил фасад собора Маделен. Ну не чудесно ли!

В Милане им «посчастливилось» попасть в спасательную партию, направленную на место взрыва порохового завода. На значительном расстоянии они находили клочья человеческого мяса и обрывки обгорелого платья, застрявшего в проволочных ограждениях. Поразило его только одно обстоятельство: против ожидания это были остатки погибших женщин — работниц завода, — проволока была заплетена их длинными волосами.

Как ни спешил Хемингуэй на фронт, он, к счастью, опоздал к памявному

отступлению из-под Капоретто и попал со своей автоколонной на уже закрепившийся участок по реке Пиаве. Недовольный будничной работой санитара, он напросился в летучку: развозить по передовой привезенные фронтовые подарки. Сохранилась фотография — на ней на фоне развороченного здания местечка Фоссальты, оседлав свой велосипед с притороченным к нему карабином, виден рядовой доброволец Хемингуэй. Сумка и заплечный мешок набиты папиросами, открытками, шоколадом, но на голове шлем ударника-берсальера.

Нет снимка того, что произошло в ночь на 8 июля 1918 года, на седьмой день пребывания Хемингуэя на фронте. Хемингуэй пробрался на передовой пост к трем дежурившим там слухачам и



тут их накрыла австрийская мина, начиненная металлическими обрезками. Один из итальянцев был убит наповал, второму оторвало обе ноги, третьего сам жестоко пострадавший Хемингуэй поволок по направлению к окопам. Их поймал луч австрийского прожектора. Хемингуэя задела по ногам пулеметная очередь, итальянец был прикончен.

Очнулся Хемингуэй в госпитале, где установили ранение в колено и в другую ногу и извлекли до тридцати из двухсот с лишним осколков, которые продолжали выходить еще в сороковых годах.

«Дорогие мои!

Наверное, у вас было много шума, когда меня подстрелили? Сегодня я получил газеты и подумал, что родственники, пожалуй, не ценили меня по заслугам, когда я пребывал в лоне семьи. Это почти так же здорово, как быть убитым и читать свой собственный некролог.

Знаете, говорят, что в этой войне нет ничего веселого. Так оно и есть. Я не хочу сказать, что это ад, потому что эти слова порядком заездили с тех пор, как их произнес генерал Шерман. Но было по крайней мере восемь случаев, когда я не отказался бы от ада — потому что это вряд ли было бы хуже тех заварух, в которые я попадал.

Например, в траншее, во время атаки, когда в ту самую точку, где ты стоишь, попадает мина. Вообще мина — это не так уж плохо, если это не прямое попадание. Но после прямого попадания ты весь оказываешься забрызган тем, что осталось от твоих приятелей. «Забрызган» — это буквально.

За те шесть дней, что я провел на передовой, в 50 метрах от австрийцев, я приобрел репутацию заговоренного от пули. Эта репутация сама по себе не многого стоит, если ты на самом деле не заговорен. А я, кажется, заговорен. Вы слышите стук? Это я по-

стучал по деревянному подносу, чтобы не сглазить.

Теперь я могу поклясться, что меня обстреливали фугасами, шрапнелью и газовыми снарядами, в меня стреляли из минометов, снайперских винтовок и пулеметов, а в качестве дополнительного развлечения — с самолета, обстреливавшего передовую. В меня еще ни разу не бросали ручной гранаты, но это, вероятно, мне еще предстоит. И после всей этой кутерьмы в меня попали только осколки мины и пули из пулемета, когда я продвигался в тыл. Мне здорово повезло, как говорят ирландцы. Правда, родственники?

От 227 ран, которые я получил при взрыве, мне тогда совсем не было больно. Только на ногах у меня как будто были надеты резиновые сапоги, полные горячей воды, и было что-то неладно с коленной чашечкой. Пулю из пулемета я почувствовал, как будто меня сильно ударили по ноге мерзлым снежком. Правда, она сшибла меня с ног. Но я снова поднялся и втащил моего раненого в окоп. Там я свалился.

Итальянец, который был со мной, истекал кровью. Моя рубашка и штаны выглядели так, как будто кто-то варил в них кисель из красной смородины и потом проткнул дырки, чтобы он вытекал. Капитан — большой мой приятель (это был его окоп) — сказал: «Бедный Хем, скоро ему покоиться с миром». Видите ли, они думали, что у меня прострелена грудь — вся рубашка у меня была в крови. Но я заставил их стащить с меня китель и рубашку (сорочки на мне не было), и оказалось, что мое старое доброе туловище цело и невредимо. Тогда они сказали, что я, возможно, останусь жив. Это меня ужасно обрадовало.

Я сказал им по-итальянски, что хотел бы увидеть свои ноги, хотя и боялся на них смотреть. Они сняли с меня штаны — и мои конечности оказались на месте, но на что они были похожи! Никто не мог понять, как я прошел 150 метров с таким грузом, с простреленными коленями, с пробитой в двух

местах правой ступней — а всего было больше двухсот ран.

— О мой капитан, — сказал я по-итальянски, — это ничего. В Америке все так делают. Считается, что так и надо — не дать противнику заметить, что ты рассердился. — Эта речь потребовала большого лингвистического искусства, но я осилил ее и потом заснул на пару минут.

После того как я пришел в себя, меня на носилках доставили на перевязочный пункт в трех километрах от передовой. Санитарам приходилось тащить меня по обочинам, потому что вся дорога жестоко обстреливалась. Когда приближался большой снаряд —

вые — пролетали над нами в сторону австрийцев с шумом, как от поезда. Потом были слышны разрывы за линией фронта. Потом слышался визг большого австрийского снаряда, а потом — треск разрыва. Но наши снаряды были крупнее, и мы стреляли чаще. А из-за конюшни стреляла батарея полевых орудий — бум-бум! бум-бум! — и 75-миллиметровые и 149-миллиметровые снаряды с воем летели к австрийским позициям. И все время взлетали ракеты и трещали пулеметы, как будто забивали заклепки — тат-а-тат-тат. Проехали пару километров, итальянская санитарная машина сгрузила меня на перевязочном пункте, где у меня было много прияте-



«уи-и-и-и-у-у-ш-ш-бум!», они опускали меня и ложились на землю.

К этому времени мои раны уже болели, как будто 227 маленьких дьяволов забивали гвозди в живое тело. Оказалось, что перевязочный пункт эвакуировали на время атаки, и я два часа лежал в конюшне, крыша которой была снесена снарядом, и ждал санитарной машины. Когда она приехала, я приказал ей ехать дальше, где лежали другие раненые. Взяв их, она на обратном пути захватила и меня.

Канонада была все еще очень сильной. Наши батареи сзади нас все время стреляли, и большие снаряды — 350- или 250-миллиметро-

лей-офицеров. Они сделали мне уколы морфия и противостолбнячной сыворотки, побрили мне ноги и вынули из них 28 осколков. От такого до такого вот размера (обозначено рисунками). Потом они как следует перевязали меня, пожали мне руку и хотели меня расцеловать, но я не дался. После этого я оставался в полевом госпитале 5 дней, а потом меня перевели сюда, в тыловой госпиталь.

Я послал вам телеграмму, чтобы вы не беспокоились. Я лежу здесь уже месяц и двенадцать дней и надеюсь еще через месяц выйти. Итальянский хирург замечательно оперировал мое правое колено и ступню, нало-

жил 28 швов и уверяет меня, что я смогу ходить так же хорошо, как и раньше.

Все раны затянулись, и заражения не было. Моя правая нога сейчас положена в гипс, чтобы все было в порядке.

У меня осталось несколько прекрасных сувениров, которые он извлек во время последней операции. Теперь я чувствую себя не в своей тарелке, если у меня ничего не болит. Через неделю хирург собирается снять гипс, и через 10 дней он позволит мне взять костыли. Мне теперь нужно будет снова учиться ходить.

Это самое длинное письмо из всех, которые я написал за свою жизнь. Передайте привет



всем, кто будет про меня спрашивать. Как говорит мамаша Петтинджилл, «пусть наши домашние очаги продолжают гореть»...»

Как и положено младшему лейтенанту, Хемингуэй пробыл на передовой недолго, всего с неделю. И как водится, выбыл из строя, хорошо еще, что не совсем. После госпиталя, уже перед окончанием войны, к его фронтовому опыту прибавилась служба в ардитти — так назывались в Италии ударные части. Вот и все. Но недаром говорил сам Хемингуэй, что писателю нужно

знать войну, но не окунается в нее надолго. Может быть, именно краткость не дала притупиться первому впечатлению, а ранение еще заострило его. Потом за месяцы, проведенные в госпитале, Хемингуэй проверил и расширил охват своих переживаний, слушая свидетелей катастрофы под Капоретто.

И вот не только самые факты, но и приложенная к ним художественная догадка, а в известной степени и разгадка происшедшего, сделали неделю на фронте достаточной для того, чтобы через десять лет развернуть широкое полотно романа «Прощай, оружие!».

Следующая фотография. Совсем юный Хемингуэй на высоко взбитых подушках госпитальной койки рассматривает журнал с эффектной сестрой милосердия на развороте страницы; на голове у него пилотка, губы сложены колечком. В чем дело? А дело в том, что отец учил его: если больно — свисти, легче станет. И вот Эрнест свистит — видимо, ему очень больно. Свистит и, видимо, повторяет любимшее ему место из «Генриха IV» Шекспира: «Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем». (Мысль, выраженная в знакомом русском варианте: «Ведь колья придется в землю лечь, так это только раз».) Это стало для Эрни девизом всей его дальнейшей «опасной» жизни. А свистеть, перемогая боль, пришлось ему в жизни еще много раз.

Эвакуированный в Милан, Хемингуэй перенес несколько операций — ему поставили серебряную пластинку на место раздробленной коленной чашечки, извлекали все новые осколки,

потом он долго посещал ортопедический кабинет, учась ходить. Он был произведен в лейтенанты и награжден итальянским военным крестом. А вот еще фотография. На ней девушка с довольно ординарной внешностью, одетая сестрой милосердия, — Агнеса фон Куровски, сестра американского госпиталя в Милане, — широко улыбается стоящему рядом лейтенанту с орденской планкой, а в нем мы узнаем улыбающегося Эрнеста Хемингуэя, которого она выхаживала после ранения.

Агнессу скоро перевели в базовый госпиталь в Падую, а Хемингуэй, едва поправившись, добился назначения в полк ардитти. Но вскоре было заключено перемирие, и Хемингуэй вернулся домой.

Кроме множества видимых ранений, больших и малых, Хемингуэй привез домой еще один подарок войны — последствия контузии. А это было очень серьезно.

«...Уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому».

И хотя Ник уверяет других, что чувствует он себя превосходно и все в полном порядке, но он и спать в темноте не может и то и дело чувствует, что вот оно, опять начинается. Он чувствует, что надо поменьше говорить, но не может, и то и дело заговаривается.

«— Меня только что призвали в эту войну. Мой разряд слишком стар.

— Еще не так давно я был слишком молод, — сказал Ник. — А теперь я уже готов, не гожусь больше.

— А что же вы здесь делаете?

— Демонстрирую американскую форму, — сказал Ник. — Что, по-вашему, это не дело? Она немного жмет в вороте, но вы увидите, скоро миллионы одетых в эту форму налетят сюда, как саранча. Кузнецик — вы знаете, то, что мы в Америке называем кузничиком, — это та же саранча. Настоящий кузнецик — маленький, зеленый и довольно слабенький. Его не надо смешивать с саранчой или цикадой, которая издает характерный, непрерывный звук, сейчас только я не могу вспомнить какой. Стараюсь вспомнить и не могу. Мне уже кажется, что я его слышу, а потом он ускользает. Вы меня извините, но я прерву наш разговор.

— Поди-ка отыщи майора, — сказал сержант одному из ординарцев. — Видно, вы были серьезно ранены, — сказал он Нику.

— В разные места, — сказал Ник. — Если вас интересуют шрамы, я могу показать вам очень интересные, но я предпочитаю поговорить о кузничиках».

Словом, и тененте Генри и тененте Эрнесто, Ник Адамс и Эрнест Хемингуэй в той или иной мере поражены этим попаданием мины. Хемингуэй долго не признается в этом, хотя сам чувствовал себя таким, какими они, не пережившие этого, никогда не будут. И только много лет спустя, в 1932 году, он закрепил переживания Ника в рассказе «Какими вы не будете». Хемингуэй, как и его Ник Адамс, отдался еще сравнительно только. В конце концов они оказались только «крепче на изломе». С другими бывало хуже. Вот, например, Гарри Кросби — это реально существовавший, благополучный меценат, поэт-солнце-

поклонник. Племянник самого Пирпонта Моргана, молодой, богатый, удачливый. В 1917 году под Верденом на «Священной дороге» он попал со своим санитарным автомобилем под германский заградительный огонь. Автомобиль уперся в разбитый грузовик, и Кросби пришлось ждать, пока по обе стороны дороги метлоу проходила стена разрывов. Его товарищ был ранен, сам он через десять лет записал в своем дневнике:

«Холмы Вердена, и красное солнце, садившееся за холмами, и исковерканные скелеты деревьев, и Мёза, и черные разрывы вдоль дороги на Бра, и рев заградительного огня, и раненый, и рывок сквозь красные разрывы, и внезапное превращение из мальчика в мужчину».

Товарищи Кросби остались на полях под Верденом, а он уцелел только для того, чтобы почувствовать, что внутри у него что-то родилось и сейчас же умерло, и дальше, через ряд лет, за видимостью внешнего успеха, личного счастья, меценатства, создания издательства «Черное Солнце», проходит сумасшедшая идея о смерти как мистическом приобщении к солнцу, безумный дневник и самоубийство на пароходе, по пути домой, в объятиях убитой им любовницы. Один лишь вид смерти потряс Гарри Кросби, а Хемингуэй испытал на фронте ее приближение.

А вот другой образ — последняя жертва империалистической войны. Испытанный фронтовик, вставший 4 ноября 1918 года под одну из последних немецких пулеметных очередей на дороге из Бапома в Камбрэ, Джордж Винтерборн из «Смерти героя» Олдингтона. Пожалуй, единственным освежающим

впечатлением для этих переутонченных или неоперившихся юнцов была встреча с простыми, бездумными, цельными, мужественными людьми, которых отбирала и ставила в первый ряд война. Олдингтон — один из самых талантливых представителей английской ветви «потерянного поколения» — так говорит о впечатлении, которое произвела на новобранца Джорджа Винтерборна первая его встреча на пароходе с обстрелянными солдатами:

«В первый раз со дня объявления войны Винтерборн почувствовал себя почти счастливым. Вот это люди! Было в них что-то напряженно-мужественное, что-то целомудренное, удивительно дружелюбное и бодрящее... Эти люди казались измученными и постаревшими, но кипели энергией, какой-то своеобразной, медлительной и терпеливой энергией... Это были люди!»

Для тех из «потерянного поколения», которые «становились крепче на изломе», которым было доступно фронтовое братство, такая встреча в значительной мере определила всю дальнейшую жизнь. Именно так поняли многие из них общность своего поколения. Вот как пишет об этом в 1936 году А. МакЛиш в своем «Слове к тем, кто говорит: Товарищ!»:

Тот мне брат, кто со мною в окопах
Горе делил, невзгоды и гнев.
Почему фронтовик мне роднее, чем брат?

Потому что мыслью мы оба шагнем через море
И снова станем юнцами, что бились
Под Суассоном, и Мо, и Верденом, и всюду.

Французский кларет и подкрашенные ресницы

Возвращают одиноким сорокалетним мужчинам

Их двадцатое лето и стальной запах смерти;

Вот что дороже всего в нашей жизни —
Вспоминать с неизвестным тебе человеком
Пережитые годы опасностей и невзгод.

Так возникает из множества — поколение —
Людская волна однокашников, однолотов.

Но это фронтовое братство создавало своего рода тыловое отчуждение.

Еще один двойник автора — это Гарольд Кребс из рассказа «Дома». Он уже немного подлечился, но и он из тех, какими они — его домашние и знакомые — никогда не будут, и они никогда не поймут его. Встретили и Хемингуэя и Кребса, как героев войны, торжественно. Сами эти юнцы поддались такому настроению. Стоит посмотреть на фото Хемингуэя, снятое в феврале 1919 года где-то поблизости от родного дома в Ок-Парке. В подбитой мехом куртке ардитти, в лихо сбитой набок пилотке, бриджах в обтяжку и высоких шнурованных ботинках Хемингуэй, широко улыбаясь, позирует перед объективом, и только небрежно зажатая под мышкой палка напоминает о перенесенном. Если бы только палка! Но едва отгремели приветственные тосты и сняты были форменный френч и меховая куртка, как вместе с уже тесным для него пиджаком более чем двухлетней давности на плечи Эрни навалились заботы, знакомые каждому демобилизованному. Пережитое обострило восприимчивость, увеличило ранимость, а удары сыпались отовсюду. В армии — даже в чужой армии — все было просто и все были друзьями. А теперь приходилось вновь искать

себе места в сложном мире условностей и приличий респектабельной обывательщины. Здесь все было слишком сложно. Отголосок этих условностей долетел до него даже из покинутого им фронтового мира. Они с Агг договорились, что как только ее, в свою очередь, демобилизуют, она приедет к нему в Ок-Парк и выйдет за него замуж. Сестра Хемингуэя, Марселина, вспоминает, что он не мог дожидаться какого-то письма. И вот оно пришло. Когда он прочитал его, Марселина увидела, что ему плохо. «Что с тобой, Эрни?» Не отвечая, он сначала протянул ей письмо, потом вдруг скомкал и швырнул его в угол. Позже, когда прошел приступ болезни с жаром и бредом, сестра узнала от него, что Агг не приедет. Все это была детская влюбленность. Надо быть разумным. Она старше его. Она



помолвлена с итальянским майором и к Эрни не приедет. Агнесса фон Куровски не вышла за своего итальянского майора, не встречалась больше и с Хемингуэем. Но воспоминание о ней не ушло из его жизни и творчества. Вслед за негодующим письмом, посланным подруге Агг, он через год-два открестился от своей любви в намеренно огрубленном «Очень коротком рассказе». Потом, уже после женитьбы, посетив Италию и места, напомнившие ему Агг, написал ей грустное и умиротворенное письмо. О том, что было дальше, вспоминает писатель Гарри в «Снегах Килиманджаро»:

«Он думал о том, как было тогда в Константинополе — один, после ссоры в Париже перед самым отъездом... Когда он опомнился и чувство одиночества не только не прошло, а стало еще острее, он написал ей, первой, той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это... О том, как ему показалось однажды, что она прошла мимо Régence, и у него все заняло внутри, и о том, что, если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство, которое охватывало его при этом. О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви. Он писал это письмо в клубе, совершенно трезвый, и отправил его в Нью-Йорк, попросив ее ответить в Париж по адресу редакции. Казалось, это вполне безопасно...

...А потом снова в своей квартире, с женой, которую он теперь опять любил; ссоры как не бывало, безумия как не бывало, рад, что вернулся; почту из редакции присылают на дом. И вот однажды утром за завтраком ему подали ответ на письмо, которое он написал

тогда, и, узнав почерк, он весь похолодел и хотел подсунуть письмо под другой конверт. Но жена спросила: «От кого это, милый?» — и тут пришел конец тому, что только налаживалось у них».

А через десять лет, воскресив некоторые черты пережитого на страницах романа «Прощай, оружие!», он окончательно потерял Агг вместе с Кэтрин Баркли.

Воспоминания об Аггессе фон Куровски из жизни переходили в фикцию. В своем творчестве он тщетно изгонял ее из памяти, а она все возникала — то как изменившаяся, далекая и незабытая Люз (в первом издании — Агг); то как близкая, развенчанная и недоступная леди Брет; то как обретенная в воспоминаниях, ожившая на страницах «Прощай, оружие!» и окончательно потерянная Кэтрин Баркли. Так образ Агг годами живет в его воображении, видоизменяясь и обогащаясь впечатлениями от реальной жизни и вместе с тем завершаясь символической смертью. Так первая любовь Хемингуэя стала и для него самого легендой.

Хемингуэй — это один из тех писателей, у которых их личность является неотъемлемой частью, необходимой для сколько-нибудь полной оценки легендарного Хема Великого. И в биографии Хемингуэя без легенды не обойтись. Тем более неизбежно это для нас, потому что в СССР Хемингуэй не был и мы его не видели ни разу. А когда человек попадает в эту легендарную сферу, то о нем может сложиться не одна, а несколько чуть ли не взаимно исключающих легенд. Надо только разбираться в реальных противоречиях большого писателя и сложного человека, чтобы отделить от

легендарной правды облыжную «лыгенду», будь то злостная или даже доброжелательная выдумка. А в таких нет недостатка, и у нас нет оснований отдавать память дорогого нам писателя на потребу сочинителей подобных «лыгенд», которые отражают, как, скажем, фотография, столько же облик снимающего, как и облик снимаемого. Нам дорог огонь в Хемингуэе, а не зюла, которая есть в каждой топке и которая, скопившись, может пригасить самое пылкое пламя.

Как создается легенда? Надо, чтобы какой-либо факт поразил воображение своей необычностью или поступок выявил личное обаяние человека и стал тем зерном, из которого фантазия уже растит легенду в том или другом направлении.

Так родилась легенда о тененте Эрнесто Хемингуэе, фронтовом герое, первом американце на итальянском фронте, первом раненом сородиче, первом награжденном почетными орденами. В атмосфере военного и победного ажиотажа Хемингуэю в пору было стать своего рода Кузьмой Крючковым, и этому помешало только то, что он, простой обаятельный парень, был всем известным Эрни, сыном доктора Хемингуэя. Первое время Эрнест, несколько рисуясь, ходил в форме ударника ардитти, прихрамывая, с палочкой, а потом, когда форму снял, то оказался все тем же мичиганским парнем, только выросшим из своего штатского и еще школьного костюма. Фронтные впечатления все еще томили его, ему хотелось бы рассказывать о тяжелых переживаниях и испытаниях скромного добровольца американской санитарной колонны Ника Адамса, о своем разочаровании в войне, о том, как он заключил свой сепаратный мир и вышел из военной игры,

о злой судьбе, выпавшей на славных полях чести для рядовой пехотной кобылки, о которой он рассказал позднее в стихотворении с ироническим заглавием «Champ d'honneur»¹.

Как умрет в бою солдат —
В землю закопают,
И крестов дощатых ряд
Всех их отмечает.
А пока с забитым ртом,
Отползая в сторонку,
Всю атаку под огнем
Проторчит в воронке.

Хемингуэй видел и на себе испытал изнанку войны и всю лживость кликинаний о доблести и чести, несовместимых с лицемерными буднями войны за спасение займов Моргана. Писать и даже рассказывать о войне он мог только через силу, и недаром «Прощай, оружие!» могло быть создано только через десять лет.

А от него, хоть и не очень веря в его личные подвиги, ждали рассказов о подвигах, о «доблестных» союзниках-итальянцах, о немецких зверствах, о прикованных к пулеметам босняках и кроатах. И хотя противно было «преувеличивать и выдумывать», он, только бы ему выговориться, вынужден был «врать, чтобы тебя слушали». И вот помимо воли у слушателя все же создавался образ бравого лейтенанта ардитти, героя американца Хемингуэя. И что любопытно, не успела еще обрасти небылицами или развеяться эта легенда, как она получила подтверждение. В дом 600 на Норт-Кенильворт-авеню неожиданно-негаданно пожаловал итальянский генерал, выполнявший консульские функции в Чикаго, а с ним



¹ Поле чести (франц.).

ввалилась (и поместилась в концертном зале) целая орава (до полусотни) итальянцев с оркестром. Генерал торжественно вручил тененте Эрнесто Хемингуэю высший орден и медаль итальянской армии, и так неожиданно закрепилась первая из легенд о Хемингуэе.

А жизнь тем временем шла своим чередом. Неотступно вставал вопрос — что же ему делать? Родные настаивали на поступлении либо в университет, либо на службу в какую-нибудь из чикагских контор. Несколько месяцев он старался отдышаться в лесах Северного Мичигана. Но и тут лесное пожараще напоминало ему сведенные бомбардировкой леса в окрестностях Горицы, излучина Биг-Ривер приводила на память место его ранения на реке Пьяве. Хемингуэй уже осознавал себя писателем и много писал рассказов, стихов, но все попытки что-либо напечатать не удавались. Для родных это была затянувшаяся блажь — Эрни давно пора было образумиться.

В доме 600 на Норт-Кенильворт-авеню вернувшийся с фронта сын явно не пришелся ко двору. Едва оперившись, он уже не чувствовал себя дома здесь, в доме, где властвовала поглощенная своей общественно-музыкальной деятельностью мать, а невыдержанный, вспыльчивый отец вечно занят был своей врачебной практикой. Для возмужавшего Эрнеста несносны были чопорные шоры и гнет, а для родителей, особенно для матери, непонятно и нестерпимо было «безделье» сына, что-то отстукивавшего на машинке на своей мансарде. «В царстве божием не должно быть лентяев». И на возражения сына: «Я пока не в царстве божием», безапелляционное — «Все мы в царстве божием». А раз так — надо и молить-

ся, надо соблюдать раз навсегда установленный уклад дома, вставать когда положено, не мять отцовскую газету и т. п. А тут еще нет вестей, а потом плохие вести от Агг. Ожесточение. Попытка отвести душу «Очень коротким рассказом», и на вопрос: «Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?» — досадливое: «Нет!», и потом: «Я никого не люблю».

Эрнест пытался укрыться и работать в Уиндмире. Но и тут он бывал несносен. Еще в 1928 году он пишет родным: «Не зовите. Пока я не закончу книгу, я приятен для окружающих не более, чем медведь, страдающий карбункулом». А в двадцать лет он был, пожалуй, еще более крут, особенно поглощенный, вернее обуянный, работой над очередным рассказом. Родителей, особенно мать, раздражали и вызывающие выходы сына и орава его буйных друзей. Назревал взрыв. А когда его компаньоны по охоте и рыбной ловле, нагрянув на озеро Валлун, опустошили все запасы кладовой миссис Грэйс Хемингуэй, дело дошло до того, что 22 июля 1920 года, на другой день после отпразднованного в Уиндмире совершеннолетия, Эрни получил от матери письмо, в котором ему предлагалось без приглашения больше туда не показываться. В этот трудный для Эрни момент никто из родных, даже поддавшийся уговорам отец, не поддержал его. Покинув отчий дом, Хемингуэй больше никогда в него не возвращался.

Это довольно типичная для США история. На более мелком обывательском уровне она есть и в «Мальчике из Джорджии» Колдуэлла, но там больше теплоты и юмора, а тут, на Норт-Кенильворт-авеню, меньше юмора и больше чопорности и черствости.

Позднее Хемингуэй не раз вспоминал о происшедшем и еще в 1952 году заметил, что не написал об Ок-Парке романа, потому что не хочет делать больно живым людям. Его парижский друг Сильвия Бич вспоминает, что он с горечью говорил о своей юности. В 1949 году, глядя на орхидеи, присланные тещей его жене, он заметил: «Мне мать никогда не присылала цветов». Но в 20-м году он и не подумал хныкать, он снова ушел в люди. На этот раз он подался в Чикаго. Это был страшный город-спрут. Все здесь было огромно. Самые большие боины в мире, большие дельцы, большие аферы. Тут казнили Парсонса и его товарищей, тут бушевал большой пожар 1871 года, тут в 1919 году прокатились негритянские погромы. О Чикаго Карл Сэндберг писал:

Свинобой и мясник всего мира,
Машиностроитель, хлебный ссыпщик,
Биржевой воротила, хозяин всех перевозок,
Буйный, хриплый, горластый,
Широкоплечий — город-гигант.

Мне говорят: ты развратен, — я этому
верю: под газовыми фонарями я видел
твоих накрашенных женщин, зазывающих
фермерских батраков.

Мне говорят: ты преступен, —
я отвечаю: да, это правда, я видел, как
бандит убивает и спокойно уходит, что-
бы вновь убивать.

Мне говорят: ты скуп, и мой ответ:
на лице твоих детей и женщин я видел
печать бесстыдного голода.

И, ответив, я обернусь еще раз к ним, вы-
смеивающим мой город, и верну им насмешку,
и скажу им:

Укажите мне город, который так звонко поет
свои песни, гордясь жить, быть грубым, силь-
ным, искусным.

С крепким словцом вгрызаясь в любую ра-
боту, громоздя урок на урок, — вот он, рос-

лый, дерзкий ленивец, такой живучий среди
изнеженных городков и предместий,
Рвущийся к делу, как лес, с разинутой пени-
стой пастью, хитрый, словно дикарь, закален-
ный борьбою с пустыней,
Простоволосый,
Загребистый,
Грубый, —
Планирует он пустыри,
Воздвигая, круша и вновь строя.
Весь в дыму, полон рот пыли, смеясь
белозубой улыбкой,
Под тяжелой ношей судьбы, смеясь
смехом мужчины,
Смеясь беспечным смехом борца,
не знавшего поражений,
Смеясь с похвальбой, что в жилах его
бьется кровь, под ребром — бьется
сердце народа.

Смеясь.
Смеясь буйным, хриплым, горластым смехом
юнца, полуголый, весь пропотевший, гордый
тем, что он — свинобой, машиностроитель,
хлебный ссыпщик, биржевой воротила и хо-
зяин всех перевозок.

Правда, город Карла Сэндберга как раз в эти годы становился центром нарождавшейся литературы Среднего Запада. Уже получила мировую известность «Антология Спун-Ривер» Э. Л. Мастерса. Тут писал и работал в «Чикаго трибюн» Карл Сэндберг. К Среднему Западу тяготела демократическая поэзия Уэчела Линдзи, а из прозаиков, вслед за Фрэнком Норрисом и Хэмлингом Гарлендом, и Теодор Драйзер. Здесь выходил первый в США поэтический журнал «Поэтри» и уже назревало издание авангардистского журнала «Циферблат» (Dial). Но ростки эти были слабо связаны между собой, и Хемингуэй никак с ними не был связан. На первых порах своего пребывания в Чикаго он продолжал то, что делал в школьных жур-

на л а х, — писал фельетоны, спортивные заметки в духе Ринга Ларднера. Это был популярный в Чикаго писатель, которого здесь ценили прежде всего не как автора весьма грустных и беспощадных «юмористических рассказов», ниспровергавших викторианскую мораль («Гнездышко любви» и т. п.), но именно как фельетониста и обозревателя. Свои очерки и заметки Хемингуэю удавалось печатать в «Уикли Стар», еженедельной субботней газете канадского города Торонто по ту сторону озера Мичиган. В основе газеты был не информационный, а развлекательный материал. Пройдя в Канзасе школу репортерской дисциплины, тут Хемингуэй мог дать волю своим сатирическим наклонностям. Тут он писал о том, как посетил учебную парикмахерскую и побрился с риском, что ему перережут глотку, и о том, что лучшая гарантия долголетия — это воздерживаться от посещения американских курортов. Вот как описывает он порожденное рекламными проспектами одно из таких летних пристанищ:

«Прекрасное озеро Мухобойное гнездится как язва в самом сердце больших северных лесов. Вокруг него громоздятся величественные горы. А над ними высится величественное небо. Со всех сторон его окружают величественные берега. А берега усеяны величественной дохлой рыбой — заснувшей от скуки».

Но еще чаще он пишет о том, с чем сталкивается в неприглядной чикагской действительности: рекетиры, вымогающие взятки, бутлегеры, первозящие в «сухое» Чикаго контрабандный спирт из Канады; жульничающие боксеры и предлагающие свои услуги гангстеры, наконец, алчные кооператоры-аферисты. С последними он

встретился в лице Гаррисона Паркера. Этот делец и мошенник крупного масштаба затеял многомиллионную аферу по вовлечению средств в основанное им дутое «кооперативное» общество взаимного кредита и обеспечения. Афера эта всячески рекламировалась в издаваемом Паркером журнале «Кооперативное содружество». Вынужденный искать любой заработок, Хемингуэй некоторое время поставлял для этого журнала самый разнообразный бытовой материал, но скоро, поняв мошеннический характер предприятия, бросил эту работу.

Газетно-журнальная поденщина только усиливала неприязнь Хемингуэя к «американскому образу жизни», особенно в облике чикагского делячества и преступности. Сгусток этих настроений дан Хемингуэем позднее в рассказе «Пятьдесят тысяч» и особенно в рассказе «Убийцы». Там же сформулирован и вывод: «Уеду я из этого города!»

Но, проходя эту жизненную школу, Хемингуэй не переставал учиться писательскому мастерству. Отбив часы занятий в редакции «Кооперативного содружества», отправив очередной материал в «Торонто Уикли Стар», Хемингуэй, вернувшись к себе, заново записывал то, что видел, слышал, обонял и чувствовал за день в кабаках, барах, на ринге, на улице, в редакции. Этой стороне его жизни способствовало знакомство с гостеприимной и по чикагскому уровню культурной семьей Смитов, знавших Хемингуэя еще в Северном Мичигане. Обеспеченный работник рекламной фирмы приютил в своей просторной квартире целую колонию молодых людей, интересовавшихся искусством и литературой. К нему заходил известный американ-

ский писатель Шервуд Андерсон, и вечерами у Смитов часто беседовали о литературе и читали свои вещи. Уже тогда Андерсон высоко оценил первые опыты Хемингуэя, и уже тогда Хемингуэй сомневался в некоторых сторонах аффектированной манеры Андерсона.

У Смитов Хемингуэй встретился с другой младшей сестры хозяина дома — девушкой из Сент-Луиса. Звали ее Хэдли Ричардсон, она была одаренная пианистка, лет на восемь старше Эрнеста и носила очки. Она пробовала силы в журналистике и мечтала о поездке в Европу. Они быстро подружились. Хемингуэю нравились ее простота, непринужденность, пренебрежение ко всяким условностям и чопорности Ок-Парка. Собравшись как-то на концерт, она, чтобы не задерживаться, не сменила спортивную обувь на парадные туфли; окружающих это шокировало, а Хемингуэю было по душе. Через несколько месяцев — в сентябре 1921 года — они поженились. Хэдли горячо поддерживала намерение Эрнеста вырваться из Чикаго. Эрнест побывал в Европе, был ветераном войны, заметки его нравились редакции торонтской газеты, и вот ему предложили поехать в Европу в качестве парижского корреспондента газеты без гарантированной оплаты. Эрнест согласился, и 8 декабря 1921 года они уехали, перед этим занеся на холостяцкую квартиру Шервуда Андерсона все свои запасы консервов и увозя с собой рекомендательные письма Шервуда Андерсона к Гертруде Стайн и к Сильвии Бич. Так Чикаго и Торонто стали только ступеньками в Европу, а для Хемингуэя начинался новый, завершающий, этап на пути к мастерству и признанию.

III. Через заморский быт, конференции и войны

Чтобы нагляднее показать, насколько насыщенным и кипучим был для Хемингуэя двухлетний период 1922—1924 годов, может быть, надо на время отказаться от беглого изложения и проследить факты хронологически.

Экономя деньги, супруги Хемингуэи отправились в Париж не прямо на Шербур или Гавр экспрессным лайнером, а отплыли простым рейсовым пароходом через Испанию, и первой корреспонденцией Хемингуэя из Европы было описание порта Виго, где они высадились на европейскую землю.

Потом, в погоне за уже намеченным материалом, была краткая побывка в Швейцарии, где в курортных отелях Хемингуэй разглядел и описал для газеты молодых французских аристократов новой формации — активных и хищных, от которых курортная буржуазная публика шарахалась, как от волков.

Потом Париж. Остановились они на первых порах близ Монпарнаса на продолжении Университетской улицы, в старой гостинице под странным названием «Отель Жакоб и Англия». Позднее Хэдли говорила, что до сих пор запомнился ей запах старых ковров и дорожки на лестнице. Потом они нашли комнату над танцалькой Баль Мюзет на улице Кардинала Лемуана, неподалеку от площади Контрэскарп. Это был центр древних кварталов Левого Берега. На запад — Сорбонна, школы Политехническая и Нормальная, Люксембургский дворец и сад; на восток — винный рынок, больница общественного призрения, морг. А на границе между наукой с ее студенческой богемой и нищетой не-

имущих кварталов — рабочая беднота улиц Муфтар и Кардинала Лемуан. «Там было очень, оченьлюдно и труппоно, и Эрнест перезнакомился со всеми по соседству». А вот как вспоминал об этом сам Хемингуэй через пятнадцать лет в «Снегах Килиманджаро». Он вспоминает, как ему хотелось написать

«...о площади Контрэскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же на улице и краска стекала по тротуару к автобусной остановке; о стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода носами; о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках в Bal Musette, над которым они жили тогда. О консьержке, принимавшей у себя в каморке солдата республиканской гвардии — его каска с султаном из конской гривы лежала на стуле. О жилище по ту сторону коридора, муж которой был велосипедным гонщиком, и о том, как она обрадовалась в то утро в молочной, когда развернула L'Auto и прочла, что он занял третье место в гонках Париж — Тур, его первом серьезном пробеге. Она покраснела, засмеялась, заплакала и потом побежала к себе наверх, не выпуская из рук желтой спортивной газетки. Муж той женщины, которая содержала Bal Musette, был шофером такси, и когда ему, Гарри, надо было поспеть рано утром на аэродром, шофер постучался к нему и разбудил его, и они выпили на дорогу по стакану белого вина у цинковой стойки в баре. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота.

Люди жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Ком-

муны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или кепка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты и в этом квартале, наискосок от Boucherie Chevaline¹, в винной лавке он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю жизнь. Не было для него Парижа милее этого — развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, на улицу Кардинала Лемуан, а по другую сторону — узкий, тесный мирок улицы Муфтар. Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высокими узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Номер у них был двухкомнатный, и он снимал еще одну комнату в верхнем этаже этой гостиницы; она стоила шестьдесят франков в месяц, и там он писал, и оттуда ему были видны крыши, и трубы, и все холмы Парижа.

Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в Boucherie Chevaline, ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино; хорошее вино и дешевое. Дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типичной французской ivresse² — хотя принято уверять, что ничего подобного не существует, открывали окна, и до тебя доносились их голоса:



¹ Торговля кониной (франц.).

² Опыление (франц.).

— Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Пооди, спит с какой-нибудь консьержкой. Разыщите ажана. — Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают. — Что это? Вода. Правильно! Лучше и не придумаешь — И окна захлопываются.

Быть может, и тогда молодому Хемингуэю хотелось писать именно об этом, но его газету интересовала не жизнь бедного парижского люда, а «Маленькая Америка» в Париже, происхождения наших за границей, и в своих корреспонденциях Хемингуэй стал выполнять этот заказ, но опять-таки на основе непосредственных впечатлений.

«Наконец мы нашли маленькое помещение, — вспоминает Хэдли, — над Bal Musette — заведением, где танцуют, пьют вино и пиво и слушают аккордеониста; сидишь там за столиком, а тебя шлепают по ноге под столом, и идешь танцевать с ними и платишь самую малость. Было все это забавно, когда, случилось, к нам заходили важные персоны, мы водили их туда и им там нравилось».

Но сам Хемингуэй приехал в Париж не развлекаться, не кейфовать в кафе «Ротонда». Он приехал работать: смотреть и сообщать об увиденном. Он писал деловитые корреспонденции, и писал непредубежденно и беспощадно. Удар его сначала пришелся по американским туристам вообще. Когда отгремела война и наступило похмелье, когда полноценный доллар американского проспекита стал давить на падающие европейские валюты, то, пользуясь этим, в Париж хлынула орда американских толстосумов. О них и была послана Хемингуэем первая корреспонденция: «Вот он какой — Париж».

«После того как хлопнет третья бутылка шампанского и джаз-банд доведет американского галантерейщика до такой экзальтации, что у него закружится голова от всего этого великолепия, — он, может быть, изречет тупо и глубокомысленно: «Так вот он какой — Париж!»

В его замечании будет доля правды. Да, это Париж. Париж, ограниченный гостиницей галантерейщика, ревью Фоли-Бержер и Олимпиа, прорезанный Большими бульварами, увенчанный Максимом и густо заляпанный ночными кабачками Монмартра. Это показной, лихорадочный Париж, собирающий большие доходы с развлекающегося галантерейщика и ему подобных, которые после соответствующей выпивки готовы платить за все любую цену.

Галантерейщик требует, чтобы Париж был сверх-Содомом и ультра-Гоморрой, и как только алкоголь ослабит его врожденное скопидомство и цепкую хватку за бумажник, он готов платить за приобщение к своему идеалу. И это влетает ему в копеечку, потому что цены в парижских значных местах, которые открываются около полуночи, таковы, что только спекулянт военного времени, бразильский миллионер или загулявший американец может выдержать их.

Шампанское, которое повсюду можно купить днем по 18 франков за бутылку, после 10 часов автоматически повышается в цене до 85 и даже до 150 франков. И все цены соответственно. Вечер, проведенный в фешенебельном дансинге, может облежить бумажник иностранца по крайней мере на 800 франков. А если искатель удовольствий захочет еще и поужинать, то хорошо, если счет уложится в 1000 франков. И все это будет продано так изящно, что после первой бутылки он будет считать это для себя великой честью, пока утром не обнаружит, какой урон нанесен его банковскому счету. Начиная с шофера, который, подцепив американца у подъезда какого-нибудь фешенебельного отеля, автоматически подкручивает пять

франков на счетчике, до последнего официанта в последнем из посещаемых им ресторанов, у которого нет сдачи меньше пяти франков, — обирание богатого иностранца, ищущего удовольствий, доведено до совершенства и может соперничать с искусством. Но беда в том, что турист, сколько бы он ни заплатил, никогда не видит того, что хотел бы увидеть.

Ему хотелось бы поглядеть на ночную жизнь Парижа, а ему преподносят специально подготовленное представление, исполняемое узким кругом скучающих, но хорошо оплачиваемых статистов, которое идет уже тысячи ночей и может быть названо «Околпачивание туриста». В то время как он покупает шампанское, слушает джаз-банд, где-то рядом живет своей жизнью Баль Мюзет, куда апаши, тот самый народ, который, как ему кажется, он видит, заходят со своими подружками, сидят на длинных скамьях небольшой продымленной комнаты и танцуют под музыку аккордеониста, который отбивает ритм, притопывая подошвами.

В праздничные вечера в Баль Мюзет приходит барабанщик, но в обычные дни аккордеонист, который, прицепив к лодыжкам бубенчики и притопывая, сидит, раскачиваясь, на возвышении над танцевальной площадкой, сам по себе достаточно подчеркивает ритм танца. Посетителям Баль Мюзет не надо искусственного возбуждения в виде джаз-банды, чтобы заставить их танцевать. Они танцуют потехи ради, а случается, что потехи ради и оберут кого-нибудь, так как это и легко, и забавно, и прибыльно. А потому что они юные и озорные и любят жизнь, не уважая ее, они иногда наносят слишком сильный удар и стреляют слишком быстро, а тогда жизнь становится для них мрачной шуткой, ведущей к вертикальной машине, отбрасывающей тонкую тень и называемой гильотиной... Бывает, что туристу все же удается войти в соприкосновение с настоящей ночной жизнью. Спускаясь в винном угаре часа в два ночи с мирного холма по какому-нибудь пу-

стынному переулку, он видит, как из-за угла появляются два отчаянных молодчика. Они вовсе не похожи на ту лощеную публику, которую он только что покинул. Те двое оглядывают улицу, нет ли поблизости ажана, а потом они подходят ближе, и все, что он помнит, — это внезапный ошеломляющий удар.

Это его хватило по уху куском свинцовой трубы, завернутой в номер газеты «Матэн». И вот турист, наконец, входит в соприкосновение с настоящей ночной жизнью, на поиски которой он потратил столько денег.

— Двести франков? Экая свинья! — говорит Жан в темноте подвала при свете спички, которой Жорж чиркнул, чтобы обследовать содержимое бумажника.

— В Мулэн Руж его небось еще не так обчистили.

— Mais oui, mon vieux ¹. А голова у него утром все равно болела бы, — говорит Жан. — Пойдем потанцуем, что ли».

Так, с известной долей злорадства, пишет Хемингуэй о том, какой ценой иногда приходится расплачиваться посетителям кабачков Монмартра за «соприкосновение с реальностью». Работа для провинциальной газеты благоприятствовала формированию в Хемингуэе писателя. В Канзасе он прошел школу репортерской четкости и деловитости — теперь он тренирует свою писательскую наблюдательность. Маленькая торонтская газета ждала от Хемингуэя не новостей — новости она получала от крупных телеграфных агентств, — ждала не политической и экономической информации, от него ждали наблюдений, бытовых особенностей, и писал он заметки, письма собственного корреспондента и о французах и о наших за границей. Все



¹ Вот именно, дружище (франц.).

это требовало повседневного общения с американцами в Париже и, в частности, с более опытными коллегами-корреспондентами. А где их можно было встретить, как не в кафе «Ротонда», излюбленном рандеву международной артистической и литературной богемы.

Как в чеховской провинциальной России силен был зов «В Москву! В Москву!», так после первой мировой войны по всем культурным центрам США прокатилась волна критической переоценки собственной культуры или бескультурья и лозунг «В Париж! В Париж!».

К 20-му году шел великий исход интеллигентов из благоденствующей и разжиревшей Америки в страну дешевой валюты и драгоценных созданий культуры. Конечно, были среди ехавших в Европу не только искатели прекрасного, но и люди, не знавшие, куда девать деньги и куда деваться от скуки.

И вот Хемингуэй сосредоточивает удар по осевшим в Париже американским бездельникам и дилетантам, завсегдадаям кафе «Ротонда». Эта достопримечательность Парижа, своего рода «пуп» Латинского квартала, пережила несколько этапов своего бурного существования. Был у этого кафе — еще до первой мировой войны — свой период расцвета, когда за его столиками можно было увидеть Кокто и Аполлинера, Модильяни и Леже, Диего Ривера и Пикассо, Эренбурга и Шагала. Штеренберг приводил сюда Луначарского, а Антонов-Овсеенко играл здесь в шахматы.

Теперь заокеанские пришельцы, заполнив столики кафе «Ротонда», на свои немногочисленные, но полноценные доллары имитировали полунищенский стиль настоящей богемы. Когда

среди них в 1922 году появился двадцатидвухлетний юноша-журналист Хемингуэй, то он оказался зорким и беспристрастным свидетелем, Свежесть и непосредственность восприятия, вера в настоящее искусства сделали его нечувствительным к знаменитостям и шедеврам «Ротонды» и непримиримым к их декадентским фокусам. Репортерствуя у себя в Чикаго, Хемингуэй привык многому не удивляться и обучался там правилам бокса. Но тут, в Париже, он, работая, бил наотмашь или прямо в лоб, посылая, например, в свою газету корреспонденцию под заглавием: «Американская богема в Париже. Чудной народ».

«Пена нью-йоркского квартала Гринич Вилледж была недавно снята большой шумовкой и перенесена в квартал Парижа, прилегающий к кафе «Ротонда». Конечно, на место старой пены там накопилась уже новая, но старая пена, плотная пена, самая пенистая пена перехлестнула через океан и своими вечерними приливами сделала «Ротонду» самым притягательным для туристов пунктом Латинского квартала.

Странно выглядят и странно ведут себя те, что теснятся за столиками кафе «Ротонда». Все они так добиваются небрежной оригинальности костюма, что достигли своего рода единообразной эксцентричности. Заглянув впервые в высокий, продымленный под самый потолок, тесно заставленный столиками зал «Ротонды», ощущаешь примерно то же, что входя в птичий павильон зоологического сада. Оглушает потрясающий, зычный, многотембровый, пронзительный гомон, прорезаемый лакеями, которые порхают сквозь дым как черно-белые сороки. За столиками полно — всегда полно; кого-нибудь отеснят, и вокруг него толпятся, что-нибудь смахнут со стола, в вертящуюся дверь прихлынет еще порция посетителей, еще один черно-белый лакей прошмыгнет между столами

к внутренней двери, и, выкрикнув заказ в его исчезающую спину, вы оглядитесь и начнете различать лица. За один вечер надо ограничиться лицезрением определенного числа посетителей «Ротонды». Набрав достаточную квоту, вы чувствуете, что вам надо уходить. Есть совершенно определенный момент, когда сознаешь, что ты нагляделся на завсегда-таев «Ротонды» и должен уйти. А чтобы в точности определить этот момент, попытайтесь одолеть кружку прокишей патоки. Одни поймут, что дальше не могут, уже с первого глотка. Другие будут упорствовать. Но для каждого нормального человека существует в этом предел. Потому что те, что теснятся вокруг столиков кафе «Ротонда», воздействуют совершенно определенным образом на средоточие всех чувств — на желудок.

В качестве первой дозы здешних индивидуальностей можно избрать низенькую плотную свежевыкрашенную блондинку с челкой, подстриженной на староголландский манер, с лицом, похожим на окорок, покрытый розовой эмалью, и толстыми пальцами из-под длинных шелковых рукавов платья, напоминающего китайский халат. Она сидит, изогнувшись, за столиком, курит сигарету в двухфуртовом мундштуке, и ее плоское лицо лишено какого бы то ни было выражения.

Она тупо взирает на свой шедевр, который висит напротив на побеленной стене кафе вместе с тремя приблизительно тысячами других шедевров, выставленных для обозрения посетителей «Ротонды». Ее шедевр — это нечто вроде розового расстегая, спускающегося по лестнице, и самовлюбленная, хотя и невыразительная, художница проводит обеденный и вечерние часы, сидя за этим столиком в благоговейном созерцании.

Окончив наблюдать художницу и ее творение, вы, слегка повернув голову, можете увидеть за столиком крупную пышноволосяную женщину с тремя молодыми людьми. У крупной женщины живописная шляпа времен «Веселой вдовы», и она шутит и истерически хохочет. Трое молодых людей каждый раз

подхватывают ее хохот. Официант приносит счет, крупная женщина платит, поправляет шляпу слегка дрожащими руками и уходит, сопровождаемая тремя молодыми людьми. В дверях она снова хохочет и исчезает. Три года назад она приехала с мужем в Париж из маленького городка в Коннектикуте, где они жили и где муж ее занимался живописью уже десять лет и со все возрастающим успехом. В прошлом году муж вернулся в Америку один.

Это всего две из тысячи двухсот индивидуальностей, теснящихся в «Ротонде». Здесь, в «Ротонде», вы найдете все, что ищете, — кроме серьезных художников. Беда в том, что посетители Латинского квартала, придя в «Ротонду», считают, что перед ними собрание истинных артистов Парижа. Я хочу во весь голос и с полной ответственностью внести поправку, потому что настоящие артисты Парижа, создающие подлинные произведения искусства, не ходят сюда и презирают завсегда-таев «Ротонды».

Их, как и многих других туристов, привела сюда обменная ставка 12 франков за доллар, и, когда восстановится нормальный обмен, им всем надо будет возвращаться в Америку. Почти все они бездельники, и ту энергию, которую художник вкладывает в свой творческий труд, они тратят на разговоры о том, что они собираются делать, и на осуждение того, что создали художники, получившие хоть какое-то признание. В разговорах об искусстве они находят такое же удовлетворение, какое подлинный художник получает в самом творчестве. Конечно, это приятное занятие, но они претендуют, что они-то и есть настоящие художники.

С того доброго старого времени, когда Шарль Бодлер водил на цепочке пурпурного омара по улицам древнего Латинского квартала, немного написано хороших стихов за столиками здешних кафе. Даже и тогда, кажется мне, Бодлер сдавал своего омара там, на первом этаже, на попечение консьержки, отставлял закупоренную бутылку хлоро-

форма на умывальник, а сам потел, обтачивая свои «Цветы зла», один, лицом к лицу со своими мыслями и листом бумаги, как это делали все художники и до и после него. Но у банды, обосновавшейся на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай, нет на это времени, они весь день проводят в «Ротонде».

Время показало, что Хемингуэй хорошо расценивал перспективы «Ротонды». Прошло несколько лет. Отчасти и на материале увиденного в «Ротонде» написана была «Фиеста». В «Ротонде» побывал и отметил ее Маяковский. Потом отшумело проспекти, грянул кризис 1929 года, и потерявшая «Ротонда» в значительной степени лишилась даже своего мишурного блеска двадцатых годов. А потом ее и вовсе перестроили под кино.

Тем временем рекомендательные письма открыли Хемингуэю двери салона Гертруды Стайн, богемной берлоги Эзры Паунда и не только двери книжной лавки Сильвии Бич, но и доступ к ее дружбе. Это вводило Хемингуэя в круг деятелей настоящего искусства. Узнав Париж американских туристов и богемы, приглядываясь к трудовому люду улицы Муфтар, Хемингуэй мог теперь, наконец, сказать: «Вот он какой — настоящий Париж!», напряженный и богатый интеллектуальной жизнью. Он с головой окунулся в этот новый для него мир, который радовал и бодрил его. Рыская повсюду в поисках материала для корреспонденций, Хемингуэй находил время, чтобы подолгу засиживаться у Гертруды Стайн, пока еще почтительно выслушивая ее вещания; забегая к Эзре Паунду, поражался как его эрудиции, так и сумасбродству, без устали рылся в богатом собрании книг Сильвии Бич, беседовал, а то и

спорил с талантливыми посетителями ее лавки.

Напоминая своим газетным шефам, что он не только корреспондент, но и писатель, он заставляет их напечатать рецензию на только что вышедший роман негритянского писателя Рене Марана «Батуала». В ней он пишет:

«Когда читатель берет эту книгу, перед ним раскрывается жизнь африканской деревни, увиденная широко открытыми глазами негров, ошупанная их бледными ладонями, исхоженная их босыми широкими плоскими ступнями. Вы едите пищу негров, вы обоняете запахи деревни, вы относитесь к белому пришельцу с точки зрения черного обитателя деревни, и, пожив в ней, вы там же и умираете. Вот и все, что есть в этой книге, но, читая ее, вы сами были Батуалой, а это значит, что это хорошая книга».

Газета была довольна первыми его корреспонденциями настолько, что напечатала и этот материал о негритянском писателе. А убедившись, что Хемингуэю уже удалось установить широкие связи, газета затребовала не только бытовой, но и дипломатической информации. В апреле 1922 года, на четвертый месяц пребывания Хемингуэя в Европе, в Генуе открылась экономическая конференция, и редакция направила Хемингуэя туда специальным корреспондентом с обязательством давать информацию уже не в еженедельник, а в ежедневную «Дейли Стар». Хемингуэю доверяли, таким образом, освещение не только парижского быта, но и высокой политики. В газете было анонсировано, что «наш специальный корреспондент» «осветит красную опасность в связи с присутствием в Генуе советской делегации». Однако Хемингуэй не оправдал

этих ожиданий. В то время как большинство западных корреспондентов писало о кознях красных агитаторов, Хемингуэй сумел разглядеть действительное положение вещей. Он приехал в Геную за несколько дней до открытия конференции и свободное время употребил на то, чтобы ознакомиться с настроением народа Италии. Там недавно сорвана была реакцией попытка рабочих Севера национализировать крупнейшие предприятия Милана и Турина. А навстречу этому прологу к революции по всей стране поднималась волна мелкобуржуазного фашизма. Хемингуэй трезво оценивал обстановку и силы, боровшиеся в тогдашней Италии: как назревавшую в 1920 году революцию, так и возобладавший фашистский контрреволюционный террор. Хемингуэй слегка иронически относился к «революционности» профсоюзных и умеренных красных в Генуе. При этом он склонен был скорее преувеличивать их мирный характер, но зато никак не преуменьшал грубую агрессивность фашистов. Об этом он и говорит в первой корреспонденции, напечатанной 13 апреля 1922 года под заглавием «Революция и контрреволюция»:

«...Некоторые области Италии, особенно Тоскана и северные провинции, уже пережили в последние месяцы кровавую борьбу, убийства, репрессии и напряженные бои для подавления коммунистов. Итальянские власти поэтому боятся того воздействия на красную Геную, которое может оказать появление восьмидесяти представителей Советской России, их дружелюбный прием и проявленное к ним уважение.

Можно не сомневаться, что красные генуэзцы — а они составляют примерно треть населения — встретят красных русских слеза-

ми, приветствиями, объятиями, будут угощать их вином, ликерами, плохими сигаретами, будут парадировать, кричать «ура» и на все лады выражать друг перед другом и перед всем светом свои симпатии, как это свойственно итальянцам. Они будут обниматься и целоваться, устраивать сборища в кафе, пить за здоровье Ленина, кричать в честь Троцкого, каждые две-три минуты три-четыре красных вожака будут пытаться сколотить демонстрацию, и будет поглощено неимоверное количество кьянти под дружные крики «Смерть фашистам!».

...На этом все кончается, если, конечно, они не встретят фашистов. В этом случае дело принимает совсем другой оборот. Фашисты — это отродье зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевистской... Набраны они из молодых экс-ветеранов с целью защитить существующее правительство от всякого рода большевистских заговоров и агрессий. Короче говоря, это контрреволюционеры, и в 1920 году это они подавили красных бомбами, пулеметами, ножами и щедрым применением керосиновых бидонов, чтобы поджигать места красных митингов, и тяжелыми окованными железом дубинками, которыми они мозжили головы красных, когда те пытались выскочить.

Фашисты действовали с совершенно определенной целью и уничтожали все, что могло грозить революцией. Они пользовались если не активной поддержкой, то молчаливым одобрением правительства, и не подлежит никакому сомнению, что именно они сломили красных. Но они привыкли к безнаказанному беззаконию и убийству и считали себя в праве бесчинствовать, где и когда им вздумается. И теперь для мирной Италии они представляют почти такую же опасность, какой когда-то были красные...

...Фашисты не делают различия между социалистами, коммунистами, республиканцами или кооператорами. Для них все они — красные и опасные смутьяны.

Так вот, фашисты, прослышав про митинг красных, натягивают на голову свои длинные черные фески с кисточками, опоясываются окопными кинжалами, запасаются в своей фасции гранатами и боеприпасами и направляются на место митинга красных, распевая фашистский гимн «Джовенецца». Фашисты — это по преимуществу молодежь, они энергичны, грубы, пылки, подчеркнута патриотичны, по большей части красивы юношеской красотой южан и твердо убеждены в своей правоте. Они в избытке обладают доблестями и нетерпимостью молодости.

Маршируя строем, фашисты наталкиваются на трех красных, малюющих мелом свои лозунги на одной из высоких стен узкой улочки. Четверо юнцов в черных фесках хватают красных, и в свалке одного из фашистов закалывают. Тогда остальные приканчивают своих пленных и, разбившись на тройки и четверки, начинают обшаривать весь квартал в поисках красных. Если красный подстреливает одного фашиста из окна верхнего этажа, тогда фашисты начисто сжигают весь дом. Каждые две-три недели в газете публикуются сводки. Обычно бывает от 10 до 15 убитых красных и от 20 до 50 раненых. А фашистов не более 2—3 убитых и раненых. Уже более года идет в Италии эта беспорядочная партизанская война. Очередное крупное сражение произошло несколько месяцев назад во Флоренции, но с тех пор были вспышки помельче».

Дальнейшие корреспонденции из Генуи показывают работу Хемингуэя с разных сторон. Едва ли можно считать отчет-коротышку о встрече с советской делегацией в Рапалло полноценной корреспонденцией, предвещающей открытие конференции. Но ведь от Хемингуэя ожидали разоблачения «красных ужасов», а он писал о заинтересовавшем его «красном дипломате» Чичерине. Такие неугодные корреспонденции в «Торонто Стар» или

совсем бросали в корзину, или безжалостно резали, что, возможно, произошло и в данном случае. В следующих двух корреспонденциях Хемингуэй как бы наверстывал относительную сухость этого формального интервью. В первой он дает чисто зрительную картину открытия конференции, которую мы словно сами видим глазами зоркого и наблюдательного свидетеля. При этом Хемингуэй позволяет себе импрессионистические наброски начала самого зала заседаний, который украшен мраморной доской в память о Макиавелли. Хемингуэй по этому поводу замечает: «Макиавелли в свое время написал книгу, которая может быть руководством для проведения всех конференций, и, судя по их результатам, изучается она весьма тщательно». Он иронически отмечает, что британские делегаты одеты лучше всех, а что германский канцлер Йозеф Вирт «напоминает оркестранта, играющего на трубе». Он с волнением говорит о пока еще не занятых местах советской делегации, что «таких пустых кресел я еще не видывал в жизни».

«Галерея прессы постепенно заполняется, британские и американские корреспонденты закуривают и называют друг другу имена запоздавших делегатов, которые, кланяясь, спешат на свои места от входной двери. Первыми появляются поляки и сербы, потом валит целая толпа с ведерными цилиндрами в руках...

Киношники пристроили камеру под носом одного из генуэзских героев, который взирет на нее из своей ниши с ледяным, мраморным неодобрением. Архиепископ Генуэзский в рясе винного цвета и красной шапочке беседует со старым итальянским генералом, лицо у генерала как печеное яблочко и на груди пять нашивок за ранение. Старик — это

генерал Гонзахо, командир кавалерийского корпуса.

Со своими свисающими усами, сморщенным личиком он смахивает на добродушного Атилу. В зале шумно, как на приеме. Журналисты набились на галерею: мест здесь всего 200, а желающих попасть 750, и опоздавшие стараются как-нибудь устроиться на ступеньках. Зал уже почти полон, когда входит британская делегация. Они прибыли в автомобилях, мимо выстроенных вдоль улиц солдат, и входят эффектно. Это лучше всех одетая делегация...

Вальтер Ратенау, человек с лицом ученого и лысее которого нет никого на конференции, входит сопровождаемый доктором Виртом, германским канцлером, у которого вид музыканта, играющего на тубе в каком-нибудь немецком оркестре. Они размещаются чуть пониже за тем же длинным столом. Ратенау — типичный социалист из богатей и считается самым способным человеком в Германии...

Все в сборе, не хватает только русских. Зал переполнен и изнемогает от жары, а четыре кресла советской делегации все еще пусты, и кажется, что таких пустых кресел я еще не видывал в жизни. Все гадают, придут ли они вообще. Наконец они входят и начинают пробираться сквозь толпу. Ллойд Джордж пристально вглядывается в них, придерживая пальцем свои очки.

Впереди Литвинов, у него большое ветчиннокрасное лицо. На груди большой красный прямоугольный значок. За ним идет Чичерин — неопределенное выражение лица, непонятного вида борода и нервные руки. Они моргают, ослепленные люстрой. За ними Красин. Ничем не примечательное лицо, тщательно подстриженная вандейковская борода и вид преуспевающего дантиста. Последним Иоффе. У него длинная узкая лопатобразная борода и очки в золотой оправе. Русских сопровождает масса секретарей, среди них две девушки. У них чудесный цвет лица, стрижка по моде, введенной Ирэн

Касл, и элегантные костюмы. Они без всякого сравнения самые привлекательные девушки во всем зале.

Русские занимают места, кто-то свистом призывает к тишине, и синьор Факта начинает скучнейший тур речей, которыми открывается конференция».

В третьей, последней из генуэзских телеграмм Хемингуэй выделяет самый драматический момент конференции, когда Чичерин от имени Советской России призвал народы к разоружению, а Барту «от имени Франции» наотрез отверг этот призыв. Хемингуэй показывает это на слух, заставляя прозвучать голоса Чичерина, Барту и сладкоречивого Ллойд Джорджа.

«При открытии Генуэзской конференции имела место сенсация, которая превзошла вашингтонскую речь государственного секретаря Хьюза о нормировании морских вооружений. Но произошло это, когда все запланированные речи уже были отбарабанены и большинство газетчиков покинуло зал, чтобы передать на телеграф свои заранее подготовленные отчеты об открытии.

Внезапно надышанный толпою воздух зала, где в продолжение четырех часов не смолкали речи, прорезал словно электрический разряд. Глава советской делегации Чичерин с его наружностью деревенского бакалейщика, встрепанной непонятной бородой и свистящим мурлыканьем в голосе, которое почти невозможно было понять с галереи для прессы, — так вот, Чичерин только что вернулся на свое место за зеленым прямоугольником столов.

«Есть еще желающие выступить?» — спросил по-итальянски синьор Факта, председательствующий на конференции...

Возглавляющий французскую делегацию мосье Барту вскочил и разразился кипучим потоком слов. Барту ходит вразвалку, но гово-

рит он со страстной силой и горячностью французского оратора.

Внезапно скучную, сонную атмосферу этого душного зала словно прорезала летняя молния. Корреспонденты, которые осовело сидели на галерее, вдруг бешено заработали карандашами. Делегаты, которые ждали, откинувшись в креслах, закрытия заседания, напряженно вытянулись, стараясь не упустить ни слова. Рука Чичерина на столе задрожала, а Ллойд Джордж начал что-то машинально чертить на листе бумаги.

Все газетные «умники» уже покинули зал сразу после речи Чичерина. Остались те немногие, которые считают, что видели игру, только если оставались до последнего судейского свистка.

Барту кончил говорить, и переводчик, который обслуживал все конференции, начиная с первой сессии Лиги наций, начал звонким голосом перевод на английский язык: «Если этот вопрос о разоружении будет поднят, Франция абсолютно, категорически и окончательно отказывается обсуждать его как на пленарных заседаниях, так и в любом комитете. От имени Франции я заявляю этот решительный протест».

Переводчик продолжал переводить речь. Вот и конец.

Чичерин встал, руки у него дрожали. Он заговорил по-французски своим странным свистящим выговором, последствием несчастного случая, стоившего ему половины зубов. Толмач звонким голосом переводил. В паузах не слышно было ни звука, кроме позвякивания массы орденов на груди какого-то итальянского генерала, когда тот переступал с ноги на ногу. Это не выдумки. Можно было различить металлический звяк орденов и медалей.

«Что касается разоружения, — переводил толмач, — то Россия понимает позицию Франции в свете речи мосье Бриана в Вашингтоне. В ней он заявил, что Франция должна остаться вооруженной из-за опасности, соз-

даваемой большой армией России. Я от имени России хочу снять эту опасность.

По вопросу о преемственности конференций я только цитирую речь Ллойд Джорджа в Британском парламенте. Мосье Пуанкаре сказал, что цели Генуэзской конференции не были четко ограничены. Здесь поднято несколько вопросов для дискуссии, которых не было в повестке, выработанной в Каннах. Если коллективная воля конференции решит, что вопрос о разоружении не должен обсуждаться, я склонюсь перед волей конференции. Но разоружение — это капитальный вопрос для России».

Переводчик сел, поднялся Ллойд Джордж. Конференция была взбуроражена. Казалось, что французы могут в любой момент покинуть зал. Ллойд Джордж, величайший мастер компромисса, старался протянуть время. В своей вкрадчивой манере он убеждал Чичерина не перегружать корабль Генуи чрезмерным грузом дискуссионных вопросов. «Если Генуэзская конференция не приведет к разоружению — это будет ее неудачей, — сказал он. — Но надо подготовиться. Сначала надо решить другие вопросы. Пусть мистер Чичерин не беспокоится. Но приведем сначала наш корабль в гавань, прежде чем пускаться в новое путешествие. Я предлагаю пока не поднимать вопроса о всеобщей конференции». И так в ожидании перерыва он говорил долго, пытаясь этим спасти конференцию от срыва.

«Повестка Генуэзской конференции была выпущена на двух прекраснейших языках мира — английском и французском!» — сказал он по ходу своей клочковатой и примирительной речи, мастерски проливавшей бальзам на умы большинства делегатов. Но при этой обмолвке итальянцы нахмурились, и результат предыдущих изысканнейших комплиментов Ллойд Джорджа по их адресу был в значительной мере подорван.

И вот, наконец, синьор Факта закрывает заседание, решительно прерывая Барту и Чичерина, которые попытались говорить.

«Кончено. Вы уже выступали. Надо кончать!» И конференция была спасена от того, чтобы быть сорванной в первый же ее день.

Но и последующие дни конференции, а она тянулась еще около полутора месяцев, свелись, в представлении Хемингуэя, к бесплодной говорильне. Торгашеское вымогательство, с которым от Советской России добились признания царских долгов, вызывало у него отвращение. Сухо и коротко информировав об окончательном провале этих попыток после заключения Рапалльского соглашения между Советской Россией и Германией, Хемингуэй, как только дождался гонорара за гемузские корреспонденции, сейчас же отправился ловить форель на Роне близ Женевского озера и 10 июня 1922 года посылает в газету почти вызывающее по тону описание этого мирного занятия, которое начинается так:

«К вечеру с Женевского озера тянет по Роне бриз. Тогда ты удишь вверх по течению спиной к бризу, солнце печет тебе затылок, по обоим берегам зеленой долины встают белые горы, и муха закидывается далеко и проплывает под крутыми откосами горного ручья шириною не больше ярда, но быстро и полноводного».

Это была не информация дипломатического обозревателя, а скорее заготовка писателя для многих будущих описаний рыбной ловли.

В июне Хемингуэй с женою снова возвращается в Италию, посещает Милан и другие памятные места. Именно здесь и теперь складывается отправленное немного позднее письмо к Агнессе фон Куровски. Здесь ему удается получить интервью у Муссолини, но пока еще он только пригля-

дывался к нему и давал о нем в газету лишь внешние, фактические данные.

На август пришлось первая поездка Хемингуэя в побежденную Германию. Из Парижа в Страсбург он летит на одном из первых самолетов одной из первых линий гражданской авиации. С привычной точностью Хемингуэй отмечает в своей корреспонденции, что перелет этот занял два с половиной часа, тогда как экспрессом он доехал бы за десять часов. И тут же он точно фиксирует момент взлета:

«Чемодан наш поставили под кресло рядом с креслом пилота. Мы вскарабкались в душную маленькую кабину, механик дал нам ваты заткнуть уши и запер дверь. Пилот уселся на свое место позади нашей закрытой кабины, механик раскрутил пропеллер, и мотор заревел. Я оглянулся на пилота. Это был приземистый человек, кепку он надел козырьком назад, его меховая куртка и большие рукавицы были в масляных пятнах. Потом аэроплан побежал по земле, подскакивая, как мотоцикл, а потом медленно поднялся в воздух».

Германию он застал в пору брожения и смуты. Это не было непосредственно революционной ситуацией, для подавления которой в Германии неизменно находились готовые к услугам палачи (от кровавой собаки Носке до бесноватого ефрейтора Гитлера), топившие революцию в потоках крови. В то межеумочное время 1922 года, после разгрома «Спартака» и до Гамбурга и Дрездена, смутное брожение толпы прорывалось в жестоких эксцессах вроде описанного Хемингуэем в корреспонденции из Кельна:

«Охрана британскими частями эвакуации французских частей из Силезии предупредила взрыв, но немцы так ненавидят французов, что они жестоко преследуют тех своих сородичей, которые сколько-нибудь дружелюбно относились к оккупантам. Немецких женщин, которые встречались в общественных местах с французскими офицерами, ловили, брили им головы и с гиканьем гоняли по улицам. А с тех немецких девушек, которых обвиняли в более тесных отношениях с французскими офицерами, с них срывали платья, брили головы и прогоняли из города. Огромная конная статуя Вильгельма Гогенцоллерна, стоящая возле красивого Гогенцоллернского моста через Рейн, носит на себе следы того, на что все еще способны немцы. Обе шпоры на гигантских чугунных сапогах отломаны, также клинок его сабли. Это произошло при попытке некоторых граждан Кельна опрокинуть большую статую во время беспорядков, как будто выращавших в революцию, но закончившихся мелким бунтом.

В самый разгар нападения на статую появился шуцман и попробовал утихомирить толпу, а толпа кинула шуцмана в реку. Очутившись в холодном, быстром, бурлящем потоке Рейна, шуцман, прижатый к одному из устоев моста, уцепился за выступ контрфорса и стал кричать, что он знает всех, кто его скинул, и постарается, чтобы все они были наказаны. Тогда толпа ринулась вниз к устью и попыталась столкнуть шуцмана в воду. Но для шуцмана это значило потонуть, и он отчаянно цеплялся. Тогда был пущен в дело топор, который предназначался для уничтожения статуи, и топором ему отрубили пальцы».

Отмечая эти характерные для него мелочи, Хемингуэй не закрывает глаза и на более глубокие социально-экономические причины кризиса. Он видит, например, сговор французских и немецких монополистов:

«Спекулянты обеих сторон стараются не упустить ни гроша из любых затрат правительства и граждан. Герр Стиннес и группа французских дельцов и подрядчиков договорились, что все материалы, доставляемые французам в счет репараций, должны проходить только через герра Стиннеса.

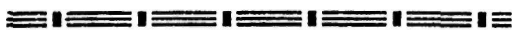
Стиннес по этому соглашению должен получать шесть процентов со всего, что проходит через его руки... Спекулянты обеих сторон объединяются в своего рода спекулянтский трест... И об этой гигантской спекуляции на разрушение-восстановление уже начинают шептаться в народе, как о назревающем взрыве, который затмит и панамский крах и знаменитое дело Маркони».

В заключение поездки Хемингуэй с женой завернули в Шварцвальд. Однако это прославленное место разочаровало Хемингуэя. В одной из корреспонденций он жалуется:

«Здесь нельзя сделать и двадцати шагов по самой уединенной и дикой дороге без того, чтобы не встретить шестерых-восьмерых немцев, бритоголовых, с петушиным пером в шляпе, с кислой капустой в дыхании, с Weltschmerz¹ в глазах и с целой коллекцией алюминиевых кухонных принадлежностей, которые лязгают о их ляжки на каждом шагу».

Здесь все было строго организовано. Ручей, в котором водилась форель, надо было снимать в аренду. Но жизнь в целом организована была так же плохо, как и во всем капиталистическом мире. Писатель Гарри вспоминает в «Снегах Килиманджаро»:

«У хозяина отеля в Триберге в тот год выдался удачный сезон. Там было очень хоро-



¹ Мирная скорбь (нем.).

шо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля, и он повесился».

На обратном пути в Париж, в Эльзасе, Хемингуэю посчастливилось, как газетчику, получить интервью от обычного скупого на слова Жоржа Клемансо. Интервью «молчаливого тигра» содержало горькие и мрачные предвидения грядущих судеб Европы. Однако газета не напечатала этого интервью, объясняя это тем, что «Клемансо может говорить, что ему вздумается, но не на страницах нашей газеты». В августе 1922 года греческая армия, вторгшаяся в Малую Азию, была наголову разгромлена войсками Кемаль-паши. В сентябре очищена была Смирна, и Кемаль стоял на пороге Константинополя и Фракии. Хемингуэй получил от своей газеты почетное поручение освещать события на греко-турецком фронте. И к началу октября он уже был в Константинополе.

Даже в своих корреспонденциях он отдает дань впервые увиденному им восточному городу с кричащими контрастами пышной экзотики, блошиных гостиниц и взрывчатой еды, контрастами проливов и Золотого Рога, омраченных военными судами союзников, и пленительного Босфора, о котором он позднее вспоминал, как писатель:

«Едешь на рассвете вдоль Босфора, смотришь, как встает солнце, и, что бы ты ни делал до этого, ты чувствуешь, что, общаясь с этим, ты утверждаешься в решенном. Словно это какое-то естественное, целительное завершение прожитого дня».

Но зорким глазом газетчика он различает в пестрой толпе разнокалиберную форму сорока тысяч белогвардейцев, пребывающих в различной степени разложения, и не меньшее число переодетых в штатское кемалийских солдат, введенных в город в виде гарантии от новой интервенции.

Хемингуэй понимал, в какую скверную игру втянули Грецию английские и французские дипломаты в стремлении руками греков взять под контроль побережье Малой Азии и оградить от турок моссульскую нефть. Он понимал, что после первых же успехов Кемаль-паши союзники, особенно французы, повернули на 180 градусов и теперь уже добивались компромисса от обеих воюющих сторон. Хемингуэй трезво оценивал разочарование реакционно настроенных турок, ждавших от Кемалья объявления «газавата» — священной войны — и скрепя сердце вынужденных поддерживать его реалистическую политику.

Хемингуэй не поспел к разгару военных действий. Но и со слов очевидцев, особенно английских наблюдателей, он сумел описать и то, как греки покидали Смирну, и то, как они тщетно пытались остановить турок на подступах к Стамбулу.

Писатель Гарри вспоминает, как...

«В тот же вечер он выехал в Анатолию... где проводили наступление с участием только что прибывших греческих офицеров, которые были форменными болванами, и артиллерия стреляла по своим, и английский военный наблюдатель плакал как ребенок. В тот же день он впервые увидел убитых солдат в белых балетных юбочках и в туфлях с загнутыми кверху носками и с помпонами. Турки валили стеной, и он видел, как солдаты в юбочках бросились бежать, и офицеры

стреляли по ним, а потом сами побежали, и он тоже повернул следом за английским наблюдателем и бежал так быстро, что у него заломило в груди, во рту был такой привкус, точно там полно медяков, и они укрылись за скалами, а турки все валили и валили. Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях себе не мог представить; а потом он видел и гораздо худшее».

А по корреспонденции Хемингуэя от 3 ноября ясно виден источник этих «воспоминаний» писателя Гарри:

«В одном деле в Анатолии, — рассказал мне капитан Уиттол, — греческая пехота успешно атаковала, а своя же артиллерия накрыла наступающих. Майор Джонсон (другой английский наблюдатель, который был позднее офицером для связи в Константинополе) был тоже артиллерист. И хороший. Так он плакал при виде того, что делали свои же пушки. Он порывался принять команду. Но не мог. У нас были указания соблюдать строгий нейтралитет — и он был бессилён».

И в той же корреспонденции Хемингуэй пишет уже о том, что он видел своими глазами:

«Когда я пишу эти строки, греческие войска начинают отступление из Восточной Фракии. В своей плохо пригнанной американской форме они идут по равнине, впереди них кавалерийские патрули, солдаты шагают, по временам угрюмо улыбаясь нам, когда мы обгоняем их беспорядочно растянувшиеся колонны. За собой они перерезали все телеграфные провода, и те свисают со столбов, как ленты с майского шеста. Они оставили свои соломенные шалаша, замаскированные огневые позиции своих батарей, свои пулеметные гнезда и все густо заплетенные, растянутые, укрепленные рубежи, на которых они собирались дать последний отпор туркам... Залпанные грязью буйволы с прижатыми к спи-

не рогами тянут по пыльным дорогам тяжело нагруженные обозные фургоны. Некоторые из солдат взгромоздились на горы поклажи, другие погоняют буйволов. А впереди и позади обозных телег тянутся войска. Вот он, конец великой греческой военной авантюры... Целый день я проезжал мимо них, грязных, усталых, небритых, обветренных, бредущих вдоль дорог коричневой, волнистой, голой Фракийской равнины. Никаких оркестров, питательных пунктов, организованных привалов, только вши, грязные одеяла и москиты ночью. Вот остатки той славы, которая именовалась Грецией. Вот он, конец второй Осады Трои».

В этих частях корреспонденции Хемингуэй еще не отказался от броских штампов и аналогий: «великая греческая военная авантюра», «конец второй осады Трои». Но вот он тут же начинает разбираться в причинах происходящего и приходит к выводу, что...

«Вину за все это нельзя возлагать на греческого солдата. Даже в отступлении греческие солдаты сохраняли воинский дух и вид. В них была та упорная стойкость, которая еще дала бы себя знать, если бы кемалистам пришлось драться за Фракию, а не получать ее в подарок по договору в Мудании. Капитан Уиттол, который был военным наблюдателем при греческой армии в Анатолии, рассказал мне о тех закулисных причинах, которые привели к разгрому греческой армии. «Греки первоклассные солдаты, — сказал Уиттол, — и у них был хороший офицерский состав, обладавший опытом совместных действий с англичанами и французами в Салониках. Греческая армия по своей подготовке превосходила кемалистскую. Я считаю, что она могла бы захватить Анкару и закончить этим войну, если бы не предательство. Как только король Константин пришел к власти, все офицеры действующей армии были смещены — от главнокомандующего до взвод-

В Париже. 1924.



ного командира. А они, в значительной части выдвинутые из рядовых, были хорошими солдатами и испытанными командирами. Их сместили, а на их место назначили новых офицеров из сторонников Константина, которые по большей части провели войну в изгнании — в Швейцарии или Германии и ни разу не нюхнули пороха. Они-то и развалили армию и несут ответственность за ее разгром». Капитан Уиттол рассказывал мне, как неопытные артиллерийские офицеры принимали команду над батареями и расстреливали собственную пехоту. Он говорил о пехотных офицерах, которых интересовал не запас пороха, а запас пудры и губной помады.

О штабных офицерах с их преступным невежеством и беспечностью.

Вот как король Константин предал свою армию, и в этом причина революции в Афинах, вовсе не подстроенная кем-то, как это кому-то казалось. Это было восстание армии против человека, который ее предал. Старые вензелосские офицеры вернулись в строй и реорганизовали армию Восточной Фракии. Греция считала Фракию своей Марной, где она должна была выстоять или погибнуть. Сюда были стянуты войска, все было накалено до предела. Но тут союзники в Мудании отдали Восточную Фракию туркам, а греческой армии предоставили три дня на под-

готовку к отходу. Армия ждала, не веря, что правительство подпишет Муданское соглашение, но оно было подписано, и армия — ведь она состоит из солдат — отступает по приказу».

И, разобравшись, в чем дело, Хемингуэй озаглавил эту корреспонденцию: «Предательство, разгром... и восстание».

Читая эту корреспонденцию, видишь, что это и материал для обобщающих воспоминаний писателя Гарри и ключ к двум миниатюрам из книги «В наше время».

Следующую корреспонденцию Хемингуэй пишет уже в комфортабельном вагоне экспресса, уносящего его от ужасов эвакуации Фракии, которая теперь начинает казаться ему сном. Но и из вагона он оглядывается, и все ему действительно представляется как во сне, вперемежку: ночной вокзал в Адрианополе, ночевка во вшивом отеле спокойной хорватки мадам Мари, приступы малярии и киношники, рассказавшие ему поутру о горящих деревнях Фракии и о революционных событиях в Афинах. Все это еще дано импрессионистически, рыхло и клочковато, но зато все так же неотступно мерещится ему людской поток беженцев, тоже еще вперемежку, — тут и греки, и турки, и уже не только солдаты, сохранявшие воинский вид, а толпы фракийских крестьян, и уже не на пыльных дорогах, а в грязи, под дождем. Киношники подвезли его к потоку беженцев, стремившихся к Адрианоплю, и вот он идет, включась в этот поток.

«Медлительные, запряженные волами и буйволами арбы и телеги, возвышающиеся над ними караваны верблюдов, пешая толпа —

все это двигалось по дороге на запад. Но был и жидкий встречный ручеек пустых повозок с турками на козлах. В лохмотьях, насквозь промокших плащах, грязных фесках они старались пробиться через главный поток. За каждым возницей сидел греческий солдат с винтовкой между колен и нахлобученным от дождя капюшоном. Это были реквизированные греческим командованием повозки турок, которые должны были помочь эвакуации, вывозя имущество беженцев. Возницы-турки были угрюмы и напуганы. Для этого у них были основания.

На развилке мощеной дороги в Адрианополь весь поток направлялся налево единственным греческим кавалеристом с карабином, закинутым за спину, который выполнял свои обязанности бесстрашно, хлеща своей плеткой по морде любой лошади или буйвола, намеревающегося свернуть вправо. Вот он таким же образом направил одну из пустых турецких повозок направо. Турок вывернул повозку и стрекалом подогнал своих волов. Толчок разбудил сидевшего рядом с ним греческого солдата, и, заметив, что турок свернул с главной дороги, он привстал и прикладом наподдал ему в поясницу.

Турок, изможденного вида оборванный крестьянин, вывалился из повозки, лицом в грязь, в страхе вскочил и пустился вдоль дороги, словно заяц. Один из греческих кавалеристов заметил его, пришпорил коня и сшиб турка. С помощью двух греческих солдат он поднял его на ноги, раза два двинул его по лицу. Тот завопил во весь голос, а его, раскровяненного, обезумевшего, не понимающего, в чем дело, притащили к его повозке и приказали ехать дальше. А в потоке беженцев никто, казалось, и не заметил того, что случилось.

Я прошел по дороге с беженцами около пяти миль, увертываясь от верблюдов, которые, пофыркивая и раскачиваясь, шагали напрямик мимо огромных цельных колес арб, верхом груженных постелями, зеркалами, мебелью, притороченными свиньями, матерями,

укутанными одеялами вместе с грудными детьми, стариками и старухами, цепляющимися за задок телеги и еле перебирающими ногами, склонив голову и упершись глазами в дорогу; а с ними вместе вьючные мулы, мулы с двумя охапками винтовок, связанных словно два снопа, одинокий помятый «фордик» с греческими штабными офицерами, неряшливыми и красноглазыми от бессонницы; и опять тяжело шагающие, насквозь промокшие, едва волочащие ноги, истомленные фракийские крестьяне, продирающиеся сквозь дождь все дальше от своих покинутых домов. Когда я пересек мост через Марицу, — там, где вчера было сухое русло, забитое телегами беженцев, сегодня на четверть мили шириной несся кирпично-красный поток... Как бы долго ни шло это письмо до Торонто, вы можете быть уверены, что это ужасное, ковыляющее шествие людей, согнанных с насиженных мест, все еще течет непрерывным потоком по топким дорогам к Македонии. Их четверть миллиона, и они не скоро дойдут».

Таковы были непосредственные впечатления, а вот как те же дни отложились в памяти писателя Гарри:

«Сейчас он видел перед собой вокзал в Карагаче. Он уезжал тогда из Фракии после отступления и стоял с вещевым мешком за плечами, глядя, как фонарь экспресса Симплон — Ориент рассекает темноту. А потом утренний завтрак и то, как они смотрели из окна и видели снег на горах в Болгарии, и секретарша Нансеновской миссии спросила шефа, неужели это снег, и старик посмотрел туда и сказал: нет, это не снег. Для снега слишком рано. И секретарша повторила, обращаясь к другим девушкам: вы слышали? Это не снег, и они хором: это не снег, мы ошиблись. Но это был снег, самый настоящий снег, и шеф заслал туда, в горы, уйму народу, когда начался обмен населения. Людям пришлось пробираться по глубоким за-

носам, и они погибли в ту зиму все до одного».

Этого Хемингуэй в своих корреспонденциях не написал. Да и то сказать, такого про Нансеновский комитет не напечатала бы в 1922 году не только его газета «Торонто Стар».

Еще в одной корреспонденции все тот же людской поток опять возникает, но только более крупным планом:

«Нескончаемый, судорожный исход христианского населения Восточной Фракии запрудил все дороги к Македонии. Основная колонна, переправляющаяся через реку Марицу у Адрианополя, растянулась на двадцать миль. Двадцать миль повозок, запряженных коровами, волами, заляпанными грязью буйволами; измученные, ковыляющие мужчины, женщины и дети, накрывшись с головой одеялами, вслепую бредут под дождем вслед за своими жалкими пожитками. Этот главный поток набухает от притекающих из глубины страны пополнений. Никто из них не знает, куда идет. Они оставили свои дома, и селения, и созревшие, бурующие поля и, услышав, что идет турок, присоединились к главному потоку беженцев. И теперь им только и остается, что держаться в этой ужасной процессии, которую пасут забрызганные грязью греческие кавалеристы, как пастухи, направляющие стада овец.

Это безмолвная процессия. Никто не ропщет. Им бы только идти вперед. Их живописная крестьянская одежда насквозь промокла и вываляна в грязи. Куры спархивают с повозок им под ноги. Телята тычутся под брюхо тягловому скоту, как только на дороге образуется затор. Какой-то старый крестьянин идет, согнувшись под тяжестью большого поросенка, ружья и косы, к которой привязана курица. Муж прикрывает одеялом роженицу, чтобы как-нибудь защитить ее от проливного дождя. Она одна стопами нару-

шает молчание. Ее маленькая дочка испуганно смотрит на нее и начинает плакать. А процессия все движется вперед».

И наконец, кадр самым крупным планом, как обобщающий и законченный художественный образ:

«За топкой низиной виднелись сквозь дождь минареты Адрианополя. Дорога на Карагач была на тридцать миль забита повозками. Волы и буйволы тащили их по непролазной грязи. Ни конца, ни начала. Одни повозки, груженные всяким скарбом. Старики и женщины, промокшие до костей, шли вдоль дороги, подгоняя скотину. Марица неслась желтая, почти вровень с мостом. Мост был сплошь забит повозками, и верблюды, покачиваясь, пробирались между ними. Поток беженцев направляла греческая кавалерия. В повозках, среди узлов, матрацев, зеркал, швейных машин, ютились женщины с детьми. У одной начались роды, и сидевшая рядом с ней девушка прикрывала ее одеялом и плакала. Ей было страшно смотреть на это. Во время эвакуации не переставая лил дождь».

Если сравнить этот окончательный вариант, вошедший отдельной миниатюрой в книгу «В наше время», с предыдущей корреспонденцией, то видишь, что текст здесь сжат вдвое, снято две трети определений и тем самым ослаблено все непосредственно обращенное к эмоциям читателя. Внесена добавочная конкретизация. Вместо общего обозначения «все свои жалкие пожитки» введены «узлы, матрацы, зеркала, швейные машины». Чтобы дать глубину и перспективу, введен ориентир — минареты Адрианополя, а с другой стороны, как центральная группа первого плана, выделена роженица с молодой девушкой. Нет мужа, в первоначальном тек-

сте оберегавшего ее от дождя. Женщины одни и подчеркнута беззащитны.

Видно, что если вынужденна была фрагментарность газетных публикаций корреспондента, то целостный образ происходящего уже складывался в уме писателя. Пока что художественным итогом всей греко-турецкой кампании были для Хемингуэя три миниатюры книги «В наше время». Но в конечном счете ничто не пропало из этого опыта. Впечатления греко-турецкой войны впоследствии послужили материалом для описания невиденного Хемингуэем отступления при Капоретто и вообще помогли ему в работе над романом «Прощай, оружие!».

Легкость и естественность, с которой газетные корреспонденции нашли место среди миниатюр книги «В наше время», а позднее и в «Снегах Килиманджаро», а с другой стороны требовательность, которую проявлял Хемингуэй при их окончательной доводке, говорила о том, что он уже созрел как писатель-реалист, знающий цену и ответственность строгого отбора. Ему пора было думать о выходе на широкую литературную дорогу. Но до этого он еще год не оставлял журналистики.

Не успел Хемингуэй вернуться в Париж, как его направили освещать Лозаннскую конференцию, которая должна была развязать ближневосточные узлы, затянутые греко-турецкой войной. Западу надо было во что бы то ни стало сохранить контроль над мусульманской нефтью и над проливами, как постоянную угрозу для Советской России, надо было умиротворить Кемаль-пашу и по возможности удерживать его от дальнейшего сближения с Советами. Игра развернулась меж-

ду Западом, турками и русскими. На смену чересчур гибкому Ллойд Джорджу выдвинут был твердокаменный лорд Керзон, на смену пылкому Барту — уравновешенный Раймонд Пуанкаре. Советская Россия была представлена той же делегацией во главе с Чичериным. Основной торг шел с турецким представителем Исмет-пашой, спор по вопросу о безопасности Черного моря и закрытых проливах шел между Чичериным и лордом Керзоном. Шли секретные заседания и встречи, всю работу тайная дипломатия, и новостей для журналистов просачивалось очень мало. Естественно, что Хемингуэй сосредоточил свое внимание на людях конференции.

За прошедшее со времени Генуэзской конференции время еще явственнее определилась симпатия Хемингуэя к Чичерину. Теперь он уже не ограничивается внешними чертами: бордочкой, свистящим голосом. Он дает его внутреннюю характеристику:

«Это ходячий мозг, и кажется, что этот человек питает свое тело только, чтобы оно поддерживало его голову... Холодные руки и холодная голова, нечеловеческая работоспособность, неприязнь и недоверие к женщинам, безразличие к популярности, общественному мнению, деньгам, полная поглощенность работой для России рисуют Чичерина человеком без слабостей». (Правда, Хемингуэю позднее показалось, что он все же обнаружил в Чичерине одну слабость — его пристрастие к военной форме.)

И в поединке за проливы Хемингуэй был явно не на стороне Керзона — «этой долговязой ледышки, хладнокровно помахивающей вместо хлыста всем Британским флотом», а на стороне «дипломата царской России на

службе у Революции», который сражался до последней возможности — «сражался логическими аргументами, историческими аналогиями, фактами, статистикой и страстными доводами, а когда увидел, что все напрасно, то продолжал говорить уже просто для истории, фиксируя свои возражения для суда грядущих поколений».

Зато еще яснее определилась резкая неприязнь Хемингуэя по отношению к Бенито Муссолини, который присутствовал на конференции уже как полновластный владыка Италии. Сентябрьский поход на Рим и сопровождавшие его новые злодеяния фашистов открыли Хемингуэю истинное лицо будущего убийцы Матеотти и вдохновителя сотен и тысяч других убийств и вместе с тем всю фальшь надутого позера и демагога. Новоявленного диктатора Хемингуэй сравнивал не с Наполеоном, как это делало большинство западных журналистов, а с лондонским ура-патриотом, редактором шовинистического журнала «Джон Буль» Горацио Боттомли. Как член парламента, он известен был своими демагогическими речами, а как аферист крупного масштаба — незадолго до этого угодил на семь лет в тюрьму за растрату общественных денег.

«Муссолини — величайший шарлатан Европы. Хотя бы он схватил меня и расстрелял завтра на рассвете, я все равно остался бы при этом мнении. Самый расстрел был бы шарлатанством. Как-нибудь возьмите хорошую фотографию синьора Муссолини и попристальней взгляните в нее, вы увидите, что у него слабый рот, и это заставляет его хмуриться в знаменитой гримасе Муссолини, которой подражает каждый девятнадцатилетний фашист в Италии. Приглядитесь к его биографии. Вдумайтесь в компромисс между

капиталом и трудом, каким является фашизм, и вспомните историю подобных компромиссов. Приглядитесь к его способности облачать мелкие идеи в пышные слова. К его склонности к дуэлям. По-настоящему храбрым людям незачем драться на дуэли, но это постоянно делают многие трусы, чтобы уверить себя в собственной храбрости. И наконец, взгляните на его черную рубашку и белые гетры. В человеке, носящем белые гетры при черной рубашке, что-то неладно даже с актерской точки зрения.

Вот две достоверные зарисовки с Муссолини здесь, в Лозанне. Фашистский диктатор объявил, что примет журналистов. Пришли все и столпились в комнате. Муссолини сидел за столом, читая книгу, и на лбу его пролегли знаменитые морщины. Он разыгрывал Диктатора. Сам в прошлом газетчик, он знал, до скольких читателей дойдет то, что сейчас напишут о нем вот эти люди. И он не отрывался от книги. «Когда мы вошли, Чернорубашечный Диктатор не поднимал глаз от книги, так велика была его сосредоточенность...» и т. д.

Я на цыпочках зашел к нему за спину, чтобы разглядеть, какую это книгу он читает с таким неотрывным интересом. Это был французско-английский словарь, и держал он его вверх ногами. Другое проявление Муссолини-Диктатора имело место в тот же день: группа итальянок, проживавших в Лозанне, пришла в его резиденцию в отеле Бо-Риваж, чтобы вручить ему букет роз. Это были шесть крестьянок, замужем за лозаннскими рабочими, и они стояли у двери, дожидаясь, когда им позволят воздать честь новому национальному герою, каким для них был Муссолини. Он вышел в своем сюртуке, серых брюках и белых гетрах. Одна из женщин выступила вперед и начала говорить. Муссолини нахмурился, усмехнулся, обвел своими большими африканскими белками остальных пятерых женщин и ушел обратно. Неприглядного вида крестьянки, наряженные в свои воскресные платья, остались стоять с розами в руках,

Муссолини еще раз разыграл Диктатора. Через каких-нибудь полчаса он принял Клэр Шеридан, улыбка которой обеспечила ей много интервью, и нашел время, чтобы полчаса беседовать с ней.

И все же Муссолини не Боттомли. Боттомли был дурак. А Муссолини не дурак и хороший организатор. Но очень опасно организовывать патриотизм нации, если сам ты неискренен, особенно же опасно взвинчивать их патриотизм до такого накала, что они добровольно ссужают деньги правительству без всякого процента. Латиняне, раз уж они вложили деньги в дело, хотят получить определенный результат, и они еще покажут синьору Муссолини, что гораздо легче быть в оппозиции к правительству, чем самому возглавлять правительство».

Этой корреспонденцией, озаглавленной «Фашистский Диктатор», открывается многолетняя непримиримая, незатухающая борьба Хемингуэя словом и делом сначала против итальянского, а потом и против мирового фашизма.

Ко времени Лозанны Хемингуэй уже завоевал репутацию способного журналиста, но он никогда не упускал возможности поучиться, и для него большую ценность представляли встречи со старшими товарищами по журналистике. В их числе на Лозаннской конференции был Линкольн Стеффенс.

На пути Хемингуэя встречалось немало не просто хороших, но замечательных людей. Одним из них был Линкольн Стеффенс, признанный старейшина американских журналистов. Еще в девяностых годах он наглядился, как репортер на беззакония, продажность и коррупцию в отношениях между государством, муниципальным аппаратом, полицией и кругами дельцов, монополистов и гангстеров. Один

из последних могикиан либерализма XIX века, Стеффенс может быть принят за Дон-Кихота, но не в борьбе с ветряными мельницами, а в попытках, правда тщетных, очистить авгиевы конюшни. С непримиримостью Дон-Кихота он десятилетиями не покладая рук яростно разгребал в печати грязь этих конюшен, разоблачал позор городов. Это принесло ему широкую известность и популярность, но и привело к сознанию полной беспечности борьбы в одиночку. В самом начале революции он ездил в Советскую Россию и по возвращении говорил, что вернулся из будущего, которое прокладывает себе путь. Кончил он свою жизнь коммунистом.

В двадцатых годах он с интересом и любовью следил за первыми шагами Хемингуэя в журналистике, делился с ним своим опытом и многое сделал и словом и примером для того, чтобы укрепить в Хемингуэе чувство гражданской ответственности, «совесть писателя». Когда, возвратившись из Малой Азии, Хемингуэй показывал Стеффенсу свои телеграммы, старый журналист поражен был их изобразительной силой. Позднее Стеффенс вспоминал:

«Как-то вечером во время Лозаннской мирной конференции Хемингуэй показал мне свои депеши с греко-турецкого фронта. Он только что перед тем вернулся с театра войны, где наблюдал исход греческих беженцев из Турции, и его депеша сжато и ярко передавала все детали этого трагического потока голодных, перепуганных, отныне бездомных людей. Я словно сам их видел, читая строки Хемингуэя, и сказал ему об этом. «Нет, — возразил он, — вы читаете код. Только код. Ну разве это не замечательный язык?» Он не хвастал — так оно и было».

Правда, Хемингуэй показывал в тот раз Стеффенсу первую редакцию приведенного выше эпизода отступления из-под Адрианополя. А каков был этот код в его чистом виде, свидетельствует позднейший пример. То, что появлялось в газете на разжиженном языке общих мест и штампов примерно в такой редакции:

«В сегодняшнем конфиденциальном интервью, данном корреспонденту Монументал Ньюс-Сервис, Мустафа Кемаль категорически отрицал какую-либо причастность турецких войск к сожжению Смирны. Город, по заявлению Кемаля, был подожжен греческим арьергардом еще до того, как первые турецкие отряды вступили в предместье», —

на самом деле бывало передано Хемингуэем по три доллара за слово в таком виде:

«Кемаль утверждает не жег Смирны виноваты греки».

Не мудрено, что Хемингуэй уверял старого газетного волка, что стиль его, Стеффенса, корреспонденций так же стар, как и он сам. Стеффенс не обижался: ведь он тоже немало поозорничал на своем веку, и, кроме того, добавлял он: «Помню, как позже, много позже, Хемингуэй говорил: «Пришлось отказаться от репортажа. Очень уж меня затягивал язык телеграфа».

Не менее поучительной для Хемингуэя была встреча с опытным корреспондентом газеты «Манчестер Гардиан» Уильямом Болитзо Райалом, позднее более известным под именем Уильяма Болитзо. О нем, как о первоклассном журналисте и умнейшем человеке, вспоминают такие киты высшего репортажа, как Уолтер

Липпман и Вальтер Дюранти. Болитзо раскрыл Хемингуэю подоплеку международной политики и темную изнанку многих ее блестящих дел и грязных сделок. Он внушал Хемингуэю, что для способного человека репортерство — это лишь ступенька дальнейшей карьеры.

Обласканный Стеффенсом, вооруженный сарказмом Болитзо, Хемингуэй после Лозанны отправился на святки в Альпы: Позднее он вспоминает о подобных вылазках в «Снегах Килиманджаро»:

«Сколько зим он прожил в Альберге и Форарльберге? Четыре, и тут он вспомнил человека, который продавал лису, когда они шли в Блуденц покупать подарки, и славный кирш с привкусом вишневых косточек, вихрь легкого, как порошок, снега, разлетающегося по насту, песню «Хай-хо, наш Ролли!» на последнем перегоне перед крутым спуском и прямо вниз, не сворачивая, потом тремя рывками через сад, дальше канава, а за ней обледеневшая дорога позади гостиницы. Крепления долой, сбрасываешь с ног лыжи и ставишь их к деревянной стене, а из окна свет лампы, и там, в комнате, в дымном, пахнущем молодым вином тепле играют на аккордеоне».

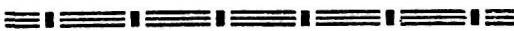
И в другом месте:

«В Гауэртале в тот год на рождество тоже шел снег. В тот год, когда они жили в домике дровосека с квадратной изразцовой печкой, которая занимала полкомнаты, и спали на тюфяках, набитых букowymi листьями. Тогда же в домик пришел дезертир, и на снегу от его ног тянулись кровавые следы. Он сказал, что за ним гонятся, и они дали ему шерстяные носки и отвлекали жандармов разговорами, пока следы не замело. В Шрунсе на первый день рождества снег так блестел, что глазам было больно смотреть из окна Weinstube¹ на прихожан, рас-

ходившихся после церковной службы по домам. Там же, в Шрунсе, они поднимались по укатанной санями, желтой от конской мочи дороге вдоль реки, мимо крутых гор, поросших сосновым лесом, — поднимались пешком, неся тяжелые лыжи на плече; и там же они совершили великолепный спуск на лыжах вниз по леднику над Мадленер-Хаус; снег был гладкий, как сахарная глазурь, и легкий, как порошок, и он помнил бесшумный от быстроты полет, когда падаешь камнем вниз, точно птица.

Они застряли в Мадленер-Хаус на целую неделю из-за бурана, играли в карты при свете дымящего фонаря, и ставки поднимались все выше и выше, по мере того как проигрывал герр Ленц. Наконец он проиграл все дочиста. Все деньги лыжной школы, доход за целый сезон, потом все свои сбережения. Он видел его как живого — длинноносый, берет карты со стола и ставит «sans voir»². Игра шла тогда круглые сутки. Снег валит — играют. Метели нет — играют. Он подумал о том, сколько времени ушло у него в жизни на карты».

Все было бы хорошо, если бы не два обстоятельства: действительное или мнимое облачко в личных отношениях с женой и вполне реальная беда, постигшая его рукописи. На первое он глухо намекает много лет спустя в «Снегах Килиманджаро». Можно сопоставить с этим указание брата Лестера на письмо Хемингуэя Агнессе фон Куровски, отправленное ей после посещения в Италии мест, связанных с их встречей во время войны. Было ли ответное письмо от Агг, о котором и брат, очевидно, не знает, или какая-нибудь другая причина — все равно; если с женой все уладилось или даже



¹ Кабачок (нем.).

² Втемную (франц.).

нечего было улаживать — все равно внутри назревал кризис. А тут еще, как на грех, стряслась и настоящая беда.

Наслышавшись по письмам мужа о восхитившем его старике Стеффенсе, Хэдли, собравшись на рождественский отдых к мужу в Швейцарию, захватила с собой чемодан с его рукописями в расчете, что он захочет показать их Стеффенсу. В чемодане были плоды четырехлетнего упорного труда, начиная с первых опытов 1919 года еще в Северном Мичигане и кончая неотделанной рукописью романа. На вокзале в Париже Хэдли отлучилась из вагона, и, когда вернулась, чемодана не было. Его так и не нашли. «Мне кажется, Эрнест никогда так и не оправился от этого удара», — вспоминала позднее Хэдли. Но горю не горю, а надо было начинать все сначала.

С потерей рукописей надежда на быстрое признание рухнула. Еще нельзя было отказываться от корреспондентских поручений, и в апреле 1923 года Хемингуэй едет в оккупированный французами Рур. Он серьезно готовится к поездке и сначала пишет в газету три вводные статьи о внутреннем положении Франции.

«Чтобы писать о Германии, надо сначала написать о Франции... Франция прекрасней всех мне известных стран. Невозможно без страстия писать о ее правительстве... Франция в 1917 году отказалась заключить мир без победы. И вот теперь получила победу без мира».

И вот что оставлял он за спиной, покидая победившую Францию:

«Революция была обречена во Франции тем, что страна кончила войну победительницей,

и тот, кто видел, как по приказу Клемансо республиканская гвардия в блестящих кирасах и хвостатых касках, на широкогрудых, тяжелоногих, крепко подкованных лошадях атаковала и Топтала шествие инвалидов войны, которые уверены были, что «старик» никогда не тронет их, любимых его *poilus*¹; тот, кто видел блеск сабель и рысь, переходящую в галоп, и опрокинутые кресла-каталки, и людей, выкинутых из них на тротуар и неспособных двинуться, сломанные костыли, мозги и кровь на камнях мостовой, железные подковы, выбивающие искры из булыжника и глухо топчущие безногих, безруких людей, и бегущую толпу, — кто видел все это, для того ничего нового не было в том, что Гувер направил войска, чтобы рассеять голодный поход ветеранов».

Хемингуэй в своих предварительных статьях хотел показать, как Пуанкаре «против воли» был втянут в рурскую авантюру и как странным образом роялисты оказывают влияние на тогдашнее французское правительство. Хемингуэй нападает на вожака роялистов Леона Доде и его ориентацию на Ватикан. Хемингуэй отмечает, что есть во Франции и роялисты, королевские молодчики, которых он без обиняков называет «монархо-фашистами». Хемингуэй разоблачает продажность французской прессы и говорит, что французская общественность дезинформирована о положении в Руре. И личное знакомство с этим положением на месте убедило Хемингуэя в скором провале оккупации Рура, в том, что Франция здесь увязла в атмосфере ненависти и саботажа. В заключительной из своих 10 корреспонденций из Рура он пишет:



¹ Солдаты (франц.).

«Выбираясь по дороге из унылых кирпичных предместий Дюссельдорфа на деревенский простор зеленых лугов, испещренных рощами и зажатых дымными городами Рура, встречаешь медленно продвигающиеся французские зарядные ящики, которыми правят маленькие спокойнотилицы азиаты в синей форме и со шлемами, сдвинутыми на затылок. Дорогу то и дело патрулируют французские кавалеристы. Двое широколицых вестфальских пудлинговщиков сидят под деревом и, пользуясь своим досугом безработных, следят, как за поворот дороги проходит кавалерия.

Я подхожу к одному из них прикурить. Это вестфальцы, крепкоголовые, мускулистые, грубоватые и дружелюбные. Им бы хотелось пострелять бекасов. Сейчас, весной, для этого самое время, но у них нет ружей. Они хохочут, глядя на маленьких индокитайцев, на их огромные смешные синие шлемы, сбившиеся на затылок, и одобрительно хлопают маленькому аннамиту, который отстал от колонны и бегом догоняет ее, ведя свою лошадь под уздцы. Шлем надвинулся ему на самые глаза, и пот ручьями струится по лицу, но маленький аннамит весело улыбается».

В этом наброске, кроме мастерства, видно и то, как рано пробудилась совесть писателя. Здесь характерно, что при всей неприязни Хемингуэя ко вчерашнему противнику — немцам эмоционально он тут не на стороне французских оккупантов, вовлекших в эту авантюру и свои колониальные войска, а на стороне двух вестфальских пудлинговщиков и подневольного угнетателя — веселого аннамита.

От этого завершающего этапа газетной работы осталось несколько заготовок, контрабандой включенных Хемингуэем в газетные корреспонденции. Это были уже не телеграммы, а беглые зарисовки, которые печатались не в ежедневной газете, а в ее вос-

кресном приложении. И в этих своих заметках Хемингуэй не позволял менять ни слова. Для него это была не просто газетная поденщина, а наброски для будущих полотен, и самого себя он все чаще рассматривал как писателя на этюдах. Правда, пока он ограничивал свою задачу. Он считал, что прежде всего «писатель должен видеть, чувствовать, обонять, осязать, слушать». И он с упорством спортсмена неутомимо тренировал все органы чувств.

О способах этой тренировки Хемингуэй позднее, в 1935 году, рассказывает в фельетоне «Монолог к маэстро». Он взял начинающего автора, скрипача (отсюда и его прозвище «Маэстро») ночным сторожем к себе на рыболовную яхту, чтобы тот мог наблюдать все стадии ловли. И вот он советуется своему «ночному сторожу»:

«Запоминайте все звуки и все, что было сказано. Установите, чем вызваны были ваши чувства, какое действие взволновало вас. А потом запишите так, чтобы читатель тоже увидел это и почувствовал то же, что и вы... Потом, для разнообразия, представьте себя на чьем-либо месте. Если я на вас наору, постарайтесь не только переживать это, но и представить себе, о чем я при этом думаю...»

Как ни тяжела была для Хемингуэя потеря рукописей, она оказалась, быть может, полезной для его литературной репутации. Потеряно было все сырое, еще незрелое, не впитавшее парижский опыт. Случайно из рассказов сохранились написанные уже в Париже «У нас в Мичигане» и «Мой старик», посланные Стеффенсом в американский журнал «Космополитен» и как раз в это время возвращенные автору. Сохранилось и не-

сколько стихотворений, шесть из которых были в январе 1923 года напечатаны в Чикагском журнале «Поэтри», что было, собственно, первым появлением поэта Хемингуэя в солидном печатном органе. К августу 1923 года в Париже вышла тиражом в 300 экземпляров книжка «Три рассказа и 10 стихотворений», изданная еще одним экспатрированным американским писателем Робертом МакАмоном. Кроме двух уцелевших рассказов, в нее вошел еще один рассказ — «Не в сезон», написанный весной по впечатлениям поездки в Италию, и почти все известные стихотворения Хемингуэя. Это была первая книга Хемингуэя. Книга обратила на себя внимание, но ее 300 экземпляров едва ли окупили расходы по напечатанию, хотя сейчас она ценится на вес золота.

Поездка в Рур была последним корреспондентским поручением Хемингуэю в Европе. Разделавшись с газетной работой, он с новой энергией принялся за отделку своих газетных материалов. Результатом этого были 18 миниатюр, впоследствии составившие первый вариант книги «В наше время», изданной в следующем, 1924 году и, конечно, тоже принесшей только расходы по напечатанию. А деньги Хемингуэю были как раз очень нужны.

Уже в начале лета обычно веселый и оживленный Хемингуэй помрачнел. На вопросы собеседников он отмалчивался, а потом, по словам Стеффенса, как-то ляпнул: «А ведь вот нет надежных противозачаточных средств». Хэдли ждала ребенка. Однажды он навестил Гертруду Стайн.

«Пришел он часов в 10 утра и сидел, сидел за завтраком, сидел до обеда, сидел обед

и сидел почти до 10 часов вечера, а потом вдруг объявил, что жена его беременна, а потом с большой горечью: «А я, я слишком молод, чтобы быть отцом». Мы утешали его как могли и отослали домой».

«Тебе хочется в Штаты?» — спрашивает приятель у Ника Адамса, жена которого ждет ребенка («Кросс по снегу»), и Ник отвечает: «Нет. И Элен не хочется». Не хотелось и Хемингуэю, но делать нечего, предстоят большие расходы, нужно сохранить фикс (а уже в Генуе ему положили 75 долларов в месяц). Надо на два года вернуться в Торонто, в ту газету, для которой он столько сделал за последние три года, поставить последнюю ставку на карьере газетчика. А Хэдли ехала рожать и растить ребенка на родине. 17 августа 1923 года они отбыли в Канаду.

Однако Торонто встретило их неожиданно. Фактическим главой газеты «Дейли Стар» стал некий Гарри Хайндмарш, женившийся на дочери владельца газеты. Хайндмарш был типичным дельцом и слыл «укротителем гениев». Он поставил себе целью выдрессировать избалованного заморского гостя. Хемингуэй годами воспитывал в себе честное и серьезное отношение к слову, а именно такого отношения и не было в этой газете и не этого от него требовал редактор. Хемингуэй, корреспонденции которого обычно шли на первой полосе под крупными заголовками и заранее анонсировались, попал опять на положение начинающего репортершики, посылаемого ночью на пожары, днем в приемные покои и морги. Известный писатель Морлей Каллахан, работавший тогда в той же газете и почитавший Хемингуэя как талантливого старшего товарища, вспоминает,

как Хемингуэй, найдя свою фамилию в самом конце платежной ведомости и увидев против нее смехотворную сумму, только чертыхнулся и махнул рукой.

Как-никак он был Хемингуэй, сумевший получить интервью у Клемансо, Муссолини, Чичерина; нерационально было не использовать его опыт, но и тут не обошлось без пакости. Хайндмарш послал его в Нью-Йорк встречать Ллойд Джорджа как раз когда Хэдли со дня на день ждала ребенка. Но последней каплей был случай с венгерским дипломатом графом Аппоньи, который доверил Хемингуэю официальные документы, разъяснявшие его миссию в США, обязав его вернуть их в тот же день. Хайндмарш, визируя интервью Хемингуэя с Аппоньи, несмотря на известные ему условия, швырнул документы в корзину, и они были, как полагается, сожжены. Узнав об этом, Хемингуэй сейчас же заявил о своем уходе из газеты, где ему становилось тесно, а главное — душно. В январе 1924 года он опять в Париже, почти на 4 года.

Даже теперь, после разрыва с «Торонто Стар», карьера журналиста оставалась для Хемингуэя открытой. Однако при одном неперемennom условии — «забывать то, что писал вчера», и забывать во всех смыслах. Иными словами, продать свое перо желтой прессе. А именно таковы были газеты Херста, куда его приглашали. Известно было, например, что газета «Рекорд Герольд энд Трибьюн» в среду выражает мнение республиканцев, а в пятницу является органом демократов. Хемингуэй не хотел и не мог работать в такой прессе: этого не позволяла ему совесть человека и писателя. А Хемин-

гуэй никогда не забывал своей основной цели — стать настоящим писателем.

IV. Уроки Парижа

Свободный характер газетной работы позволял Хемингуэю до поры до времени убивать сразу двух зайцев. Обеспечив себе несколькими фельетонами некоторый прожиточный минимум на месяц-другой, Хемингуэй либо отправлялся странствовать в Швейцарию, Испанию, Южную Германию, либо с головой уходил в то, ради чего, собственно, он и приехал в литературную Мекку — в Париж: в самообучение писательскому мастерству. Если весь Париж был для него общекультурным университетом, то существовали для него и специально литературные аудитории и семинарии. Не Сорбонна, нет, и ни Коллеж де Франс; он искал их ближе к жизни. Рекомендательное письмо Шервуда Андерсона привело его в книжную лавку и библиотеку, которую под вывеской «Шекспир и К^o» открыла в Париже молодая американка Сильвия Бич. Были, конечно, на ее полках редкие издания Шекспира, был на доске камина в качестве талисмана бюст Шекспира из цветной стаффордширской майолики, но главное было не в этом. Хемингуэй нашел здесь не только собрание книг — богатейшее, тщательно отобранное, но и собрание людей. Он перечитывал и жадно глотал впервые Стендаля, Флобера, Мопассана, Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Джорджа Мура, Томаса Манна. Здесь он встречал Джойса, МакЛиша, Скотта Фицджеральда, музыканта Джорджа Антейля, своего будущего издателя Роберта МакАмона и Уильяма Бёрда, Ф. М. Форда и Эрнеста

Уолша. Среди посетителей Сильвии Бич Хемингуэй был известен как ее «лучший клиент» и скоро стал общим любимцем.

Маленькая, сухая, энергичная, горячо преданная своему делу и своему литературному кумиру Джойсу, Сильвия Бич умело вела свою лавку, которая могла бы носить вывеску не «Шекспир и К⁰», а «Джойс и К⁰». Ведь это она на свой страх издала его роман «Улисс», отвергнутый коммерческими издательствами за непонятность и нецензурность. Помимо всех прочих причин, в лавку являлся за этой книгой каждый приезжий американец. Здесь, на тихой улице Одеон, 12, было место утренних встреч, сюда стекалась до востребования корреспонденция не только постоянных клиентов, но и вообще американцев, как-либо связанных с искусством.

Здесь Хемингуэй встречал и Джойса, он относился к нему с глубоким уважением, цenia его серьезное отношение к искусству и подвижнический труд. Но характерно, что вспоминал он его больше как милого и обаятельного собеседника или то, как Джойс ирландским тенором распевал ирландские песни и пил больше, чем позволяли ему его больные глаза.

Другое рекомендательное письмо Шервуда Андерсона ввело Хемингуэя в салон Гертруды Стайн, который был в это время своего рода литературным Парнасом Парижа. Там можно было встретить Джойса, Элиота, Пабло Пикассо, Кэммингса, Эзру Паунда и других.

Вот пародийное описание Кертисом Райдером одной из встреч небожителей парижского литературного Олимпа в салоне Гертруды Стайн:

«Я сказал Хемингуэю: — Поедем в город. И он сказал: — Ладно, поедем в город. И мы поехали в город.

— Поедем к Гертруде Стайн, — сказал Хемингуэй.

— О'кэй, Эрн, — сказала я.

И мы поехали к Гертруде Стайн. Вошли и сели. Пикассо сидел там и читал юмористические журналы.

— Где Герти? — сказал Хемингуэй.

— Она работает, — сказал Пабло.

— Это хорошо, — сказал я.

Потом, обернувшись, я увидел Герти. Она

Сильвия Бич.



входила в комнату. Медленно входила в комнату медленно Гертруда Стайн медленно входила медленно двигаясь в комнату медленно входила Стайн.

— Хэлло, — сказала она.

— Хэлло, — сказал Эрни.

— Хэлло, — сказал я.

Я сел. Эрни сел. Все мы сели.

— Сейчас придет Джим Джэм, — сказала Герти.

— Кто? — сказал я.

— Джимджэм Джойс.

— Замечательно, — сказал я.

— Замечательно, — сказал Эрни.

Потом Герти стала ходить взад и вперед по комнате. Спереди назад ступала Стайн сзади вперед двигаясь взад и вперед Стайн выступала.

— И товарищ Кэммингс придет, — сказала она.

— Замечательно, — сказал я.

— Замечательно, — сказал Эрни.

— А когда он придет? — сказал я.

— Скоро Кэммингс товарищ придет, — сказала Стайн.

— Замечательно, — сказал я.

И тут без стука вошел Джойс, за ним Стюарт Гилберт¹, Джойс на пороге споткнулся.

— Хуглеронгз ов румелтанг, — ругнулся он.

— Вы ушиблись, — сказал я.

— Хирозунг де зулунгунг, — сказал он.

— Садитесь, — сказала Герти.

— Я принесу арники, — сказал я.

— Нет, я принесу арники, — сказал Хемингуэй.

— Нет, я принесу арники, — сказал Пабло.

— Нет арники, — сказала Герти.

— Хирпой де зумбрунг, — простонал Джойс.

— Он говорит, что хочет чаю, — сказал Стюарт Гилберт.

— Чаю? — сказал я.

— Само собой, и чаю, — сказал Пабло.

— Эни бени трилетру, — сказал Джойс.

— Он говорит, что, пожалуй, лучше бы кофе, — сказал Стюарт.

— Само собой, кофе, — сказал Пабло.

Гертруда быстро вышла быстро на кухню быстро стремясь в быстроте своей быстроты. И —

ВДРУГ

дверь, открываясь, открылась (во что?) в доме Гертруды

И —

НА пороГе

СтОял

стояче устАвЯсь:: ;; СС !! ??

товарищ (ку) э) мингс.

Товарищу Мне

одно слово:

— ТАК!

— Ха! — сказал я.

— Твидлибум де румдум, — сказал Джойс.

— Хэлло, я сказал, Эрни.

— Какпожива?

— Прекрасно, — сказал я.

— Хумелькланг, — сказал Джойс.

— Превосходно, — сказал Эрни.

— Ну, мне надо идти, — сказал я.

— Не уходите, — сказала Герти.

— Мне надо идти, — сказал я. И ушел.

Я пошел в книжную лавку Франсуа на Рюде-ла-Пэ.

— Je veux un magazine, — сказал я.

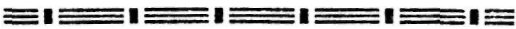
— Quel magazine? — сказал Франсуа.

— «The Saturday Evening Post»², — сказал я.

Потом я пошел домой.

— Уф! — сказал я».

К. Райдер очень хорошо показывает тут взаимоотношения литературных богов разного ранга, объединенных всеобщим почитанием Джойса. Он метко пародирует характерные черты их стиля: певучую жвачку Стайн, рубленные реплики Хемингуэя и словотворческую заумь Джойса и Кэммингса. Подмечено стремление простого смертного, вкусившего от пищи бо-



¹ Стюарт Гилберт — известный комментатор Джойса.

² — Мне нужен журнал. — Какой журнал? — «Субботняя вечерняя почта».

гов, прийти в себя от этой неудобоваримой снеди за привычным омлетом и беконом «Субботней вечерней почты».

Если вместо реплик молодого американского писателя Кэммингса подставить сюда не менее головоломную невнятицу уже маститого Эзры Паунда, то пародийные портреты тогдашних метров Хемингуэя будут недалеко от действительности.

Однако, как бы ни относился сам Хемингуэй к метрам модернизма, с почтением или с насмешкой, ясно одно — он, как и все «потерянное поколение», испытал на себе их большое и гнетущее влияние.

Но в то же время, если в подсознании его, может быть, уже и происходило ниспровержение кумиров, то пока он старался взять у них все то, что еще казалось ему достойным подражания. А и Джойс и Гертруда Стайн были каждый по-своему незаурядными фигурами.

Гертруда Штейн (в американском произношении Стайн), состоятельная, образованная (она была вольнослушательницей известного психолога Уильяма Джеймса в Гарварде), уже в начале века поселилась с братом Лео в Париже, стала ценительницей и пропагандисткой новой живописи, другом Пикассо и Матисса. Она написала и опубликовала несколько психологических портретов, доведя до абсурда аналитическую манеру Флобера, а потом долгие годы писала обширную книгу «Возвышение американцев». К началу двадцатых годов ее салон на улице Флерюс, 27 стал центром притяжения художников и мог бы носить вывеску «Пикассо и К^о». Здесь и лично и представленные своими картинами группировались вокруг Стайн и сам Пикассо, и Матисс, и Брак, и Дерен, и

Леже. Посещали Гертруду Стайн и писатели — Шервуд Андерсон, Фицджеральд, Кэммингс, Уильям Карлос Вильямс, Т. С. Элиот, Джойс, а теперь и Хемингуэй. Но их несколько ошеломлял своеобразный стиль Гертруды Стайн, не менее экспериментальный, чем в «Улиссе», но гораздо менее убедительный и располагающий. Продолжая в области слова эксперименты, которые она проводила в лаборатории У. Джеймса по темам моторного автоматизма, роли повторения в формировании памяти и т. п., она доби-



Скотт Фицджеральд.

валась в языке расщепления элементарных мыслей и чувств и мнимого их «обогащения» путем медленной их перегонки через бесконечные повторы, перестановки и пережевывания. Ее девизом стала пресловутая фраза: «Цивилизация началась с розы. А роза есть роза есть роза есть роза». Опыты ее были лишены всякого литературного обаяния, но она привлекала своей страстной убежденностью в правомерности своего аналитического подхода экспериментатора.

Хемингуэй умел слушать, и Стайн с благоволением отнеслась к новому

ученику. Она ознакомилась со всем, что он успел написать, в том числе с неоконченным и позднее утерянным романом. Она нашла, что во всем этом слишком много описаний, и не слишком хороших, и посоветовала начать все заново и сосредоточиться. Хемингуэй ценил критическое чутье Стайн, но знал его границы и не переоценивал. «Ее метод несравненен для анализа или для заметок о человеке или месте», — писал он Эдмунду Уилсону, но сам он не собирался ограничиваться только этим. И вот он почтительно слушал, иногда применял ее приемы в своих опытах, но далеко не всегда слушался. Соприкосновение с художниками-кубистами, окружавшими Стайн, тоже мало отразилось в его творчестве. Вспоминая о тех, кто оказал на него влияние, Хемингуэй называет из художников Тинторетто, Брейгеля, Гойю, Джотто, но из новых не идет дальше Сезанна, Ван-Гога и Гогена. Стайн чувствовала его тягу к классической простоте и как-то сказала о нем: «Да, Хемингуэй выглядит современным, но пахнет музеем». Но Стайн по заслугам оценила написанное еще в Чикаго в духе Шервуда Андерсона — рассказы «У нас в Мичигане» и «Мой старик», в которых были и черты, роднящие Андерсона с монотонными повторами самой Стайн. И следующим ее советом было бросить газетную работу и всерьез заняться литературой. Это подбодрило Хемингуэя и повысило в нем и без того сильное чувство ответственности перед собой, как писателем. Позднее, в 1952 году, он говорил: «В газетной работе надо научиться каждый день забывать то, что произошло вчера... и газетная работа ценна только до тех пор, пока она не начинает разрушать вашу память. И писателю надо бросать

эту работу до того, как это случится». Очевидно, с Хемингуэем в 1922 году этого еще не случилось, он еще накапливал материал жизненных наблюдений, и газетная работа ему в этом помогала. Но уже годом позже он пишет Стайн: «Я, должно быть, брошу газету. Прошлой зимой вы убили во мне газетчика. С тех пор я никакой репортер». И действительно, с ежедневным репортажем он после Генуи покончил, хотя и после этого не переставал посылать в еженедельную «Уикли Стар» свои наброски. Он позднее объяснял, что оставил газетную работу потому, что в конце концов она заставила бы его растрачивать сегодня те впечатления и слова, кото-



рые ему, как писателю, понадобились бы завтра.

Так или иначе, год назад, вернувшись из Малой Азии, он принял важное для себя решение:

«Помню, как я возвратился с Ближнего Востока... совершенно подавленный тем, что происходит, и в Париже пытался чем-то помочь делу, т. е. стать писателем... Холодный, как змий, я решил стать писателем и всю свою жизнь писать как можно правдивее».

Теперь пришло время это решение осуществить. Змий сбросил старую кожу. С газетной работой было покончено.

Многим, не только Гертруде Стайн, это решение Хемингуэя казалось правильным и принятым вовремя. Испытавший на себе многолетнюю мелкую газетную работу, Синклер Льюис в очерке «Я — бывалый газетчик» сказал в 1947 году:

«Впоследствии я стал весьма ответственным молодым нью-йоркским журналистом и приобрел унылую привычку к деловитости и пунктуальности. Какая это была ошибка! Будь во мне хоть несколькими каплями больше... бродяжьей закваски, — хотя бы столько, сколько ее было у Хемингуэя или По, — я мог бы стать великим писателем, а не добросовестным хроникером семейных дразг».

Все посторонние уговоры и соображения только подкрепляли внутреннее решение, к которому Хемингуэй пришел еще осенью 1923 года. «Чем я могу помочь как газетчик? — по-видимому, рассуждал Хемингуэй. — Мало чем, если бессильны воздействовать на общественное мнение такие гиганты журнализма, как Линкольн Стеффенс, а раньше и Марк Твен и Эптон Синклер. Попробую помочь

оружием художественного образа, помочь как писатель, пишущий правдиво». И снова упорный труд. Хемингуэй и раньше не прерывал работы над рассказами. Теперь же он работал с удвоенной энергией, наверстывая потерянное, продвигая в печать вновь написанное. В марте 1924 года еще в одном крошечном меценатском издательстве «Три горы» Уильяма Бёрда вышла, наконец, печатавшаяся в ручную тиражом в 170 экземпляров книжка «В наше время», содержащая 18 миниатюр. Денег она, конечно, не принесла, но открыла Хемингуэю дверь в литературу. Один из виднейших критиков США, Эдмунд Уилсон, оценил в «Дайал» эту крошечную книжку как «самую разумную книгу о войне».

А еще раньше, когда Хемингуэй совершали свой третий трансатлантический переезд в Париж, в январе 1924 года, родился новый журнал «Трансатлантик Ревью». Редактором его был пятидесятилетний немец Хюфер, он акклиматизировался в свое время в Англии и под литературным псевдонимом «Форд Медокс Форд» добился известности как романист. Между прочим, он помогал Джозефу Конраду укрепиться в английской литературной среде и был даже соавтором одного из романов Конрада. В первую мировую войну он служил в английской экспедиционной армии и позднее обосновался в Париже. Форд очень любил возиться с молодыми писателями, и вскоре Хемингуэй добровольно и безвозмездно стал его ближайшим помощником по журналу. Обязанности его не были строго регламентированы, он вербовал одних авторов, читал и отвергал рукописи других, редактировал рукописи третьих. В частности, он заставил Г. Стайн

отряхнуть пыль с огромной ее рукописи «Возвышение американцев», которую она начала писать еще в 1903 году, а окончила в 1912-м. Хемингуэй сам переписал оттуда и отредактировал большой фрагмент в 50 страниц, который ему удалось продвинуть во второй, апрельский номер «Трансатлантик Ревью». В том же номере был напечатан отрывок из «Поминок Финегана» Джеймса Джойса и рассказ самого Хемингуэя «Индийский поселок», ставший первым камешком второго варианта книги «В наше время». Хемингуэй в то время с лихорадочной



Не успел закончить свое существование «Трансатлантик Ревью», как Хемингуэй стал помогать ирландцу Эрнесту Уолшу, начавшему в Милане издание журнала «This Quarter». В нем за 1925 год были напечатаны рассказ «На Биг-Ривер» и программная вещь «Непобежденный». Ее основной призыв — стоять до конца — был положен самим Хемингуэем в основу своей повести и на житейской арене. Учиться и победить во что бы то ни стало. Хемингуэй сжег корабли, рассчитывать он мог только на себя. И для него наступила страдная пора и литератур-

Гертруда Стайн.

**Студия Эзы Паунда в Париже.
Слева направо: Паунд,
Джон Куин, Форд Медокс Форд,
Джеймс Джойс.**

быстротой писал десяток новых рассказов.

Осенью 1925 года Ф. М. Форд отправился в лекционное турне по Соединенным Штатам. В его отсутствие Хемингуэй единолично вершил редакционные дела журнала и успел напечатать много произведений своих молодых парижских друзей-американцев, основательно потеснив более уважаемых авторов. До конца года, а с ним и самого журнала, Хемингуэй напечатал в нем еще два своих рассказа — «Доктор и его жена», «Кросс по снегу» и некролог о Джозефе Конраде.

ной и житейской борьбы.

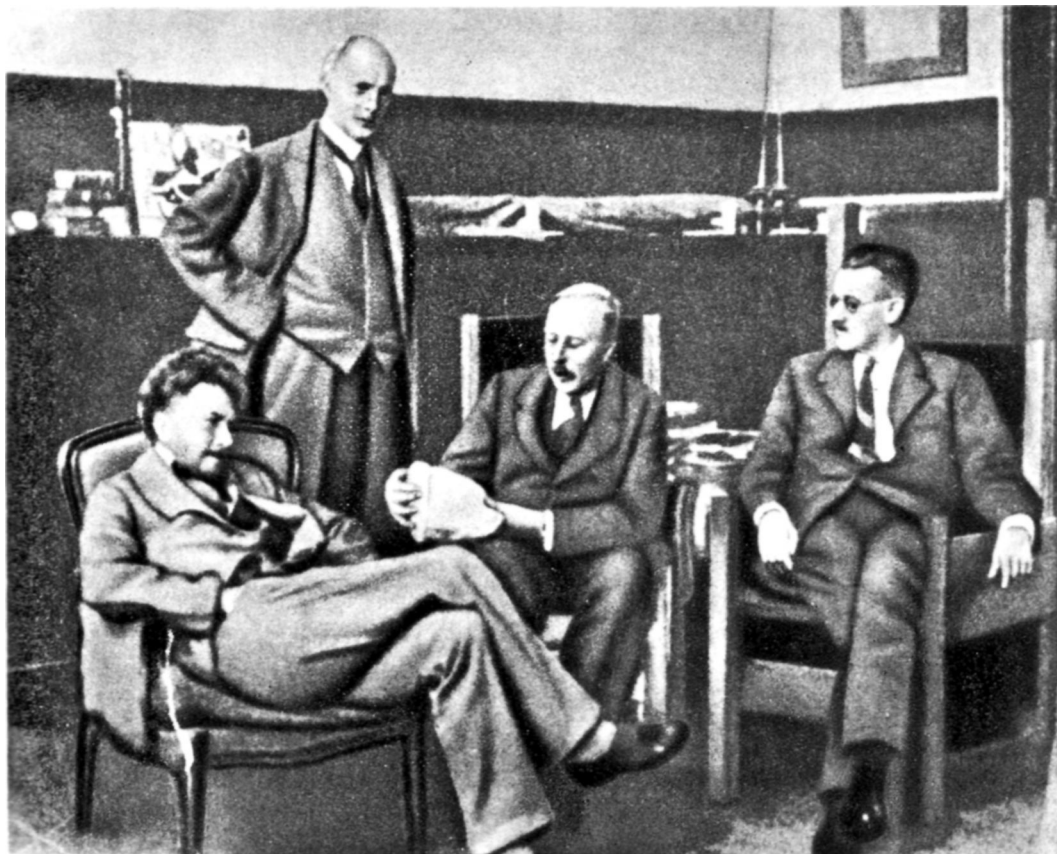
А тем временем на дрожжах личного обаяния Хемингуэя, его романтических странствий, его репутации у признанных авторитетов опять нарождалась и росла среди американцев в Париже новая молва о «легендарном Хеме». Всегда на людях, как и подобает газетчику, всегда оживленный, как и подобает юнцу, всегда доброжелательный, как и подобает хорошему товарищу, и личное обаяние его было так велико, что молва о человеке опережала известность писателя, а когда прибавилась к чисто литературным впечатлениям, то стала не только фак-

том биографии, но и фактором литературным. Хемингуэй всегда охотно помогал по мере сил своим наставникам — Гертруде Стайн, Форду Медоксу Форду; а теперь он уже и опекал молодых авторов, таких, как Натан Аш, Морлей Калахан, и отваживался даже на то, чтобы призывать Скотта Фицджеральда более серьезно относиться к своему таланту.

Едва ли кто-нибудь в литературном Париже мог бы тогда толком ответить, что, собственно, написал этот самый Хемингуэй. До кого дошли те 170 экземпляров тиража его первой

книжки? Кто в Париже читал его газету «Торонто Стар»? Однако мнения и отзывы о нем таких авторитетов, как Шервуд Андерсон, Гертруда Стайн, Линкольн Стеффенс, Форд Медокс Форд, немного позднее Эдмунд Уилсон, заставляли верить, что он действительно надежда американской литературы.

А кроме того, его окружал немеркнущий ореол ветерана мировой войны, военного корреспондента еще одной войны, обозревателя Генуи и Лозанны. Импонировала таинственность его молниеносных отлучек, триум-



фальные приезды, сразу приметное появление в узком парижском кругу американцев-экспатриантов.

Мы не парижане, которые в эти годы видели Хемингуэя воочию, и когда хочешь представить себе, какой он, жалеешь, что не присутствовал при той первой встрече с ним, о которой вспоминает Форд Медокс Форд. Было это в 1923 году в маленьком парижском кабачке «Динго», куда в самый разгар каких-то литературных споров упругой, балансирующей походкой вошел мужчина с выправкой студента-оксфордца, рано получившего нашивки капитана какого-нибудь из провинциальных гарнизонов Его Британского Величества. Эзра Паунд представил его, и вскоре, размахивая огромными, словно окорока, ручищами, он уже что-то выкрикивал в самое ухо оглушенного Форда. «В общем шуме и гаме, — вспоминает Форд, — я не разбирал, что он кричит, но отлично видел у себя перед носом его кулачища».

«Все мы знаем этих больших, плечистых, угловатых ребят, которые поднимают неистовый шум, как только очутятся под чужой крышей.

Когда они захлопывают входную дверь, то сидящим в гостиной кажется, что прибор перехлестнул через волнорез и с грохотом обрушился на порог дома. Приветственные вопли не прекращаются до тех пор, пока гость топотом при снятии калош, сокрушением вешалки, бесконечным раскуриванием трубки и горами раскрошенного при этом табаку и рассыпанных спичек не убедит всех с полной очевидностью, что он мужчина очень мужественный и, во всяком случае, очень неуклюжий».

Эти строки Дэвида Гарнета прекрасно передают впечатление, которое оставалось у многих от первой встречи

с Хемингуэем. И есть люди, которым подобная будада нравилась. Защитная маска по отношению к ним хорошо выполняла свое назначение.

Малькольм Каули вспоминает, что Хемингуэй не был присяжным завсегдаем модных богемных кафе и не засиживался там, если у него было рабочее место, но когда он появлялся там мимоходом, что бывало нередко, то все старались залучить его за свой столик.

«Вот на виду у всей террасы кафе «Ротонда» Хемингуэй идет к станции Монпарнас, озабоченный, очевидно кого-то встречая или провозжая. Он не обращает внимания на то, что его криками приглашают зайти в кафе. Потом вдруг лицо его расплывается в улыбку, которая заставляет улыбнуться и тех, кто за ним наблюдает; потом доброжелательно и горячо он протягивает руки, здоровается со знакомым, а тот буквально сияет и возвращается с Хемингуэем к своему столику, словно получив первый приз».

Развлечением и отдыхом Хемингуэя были посещения велодрома, гимнастических залов, состязаний по боксу. Он продолжал заниматься этим видом спорта, его часто можно было видеть приплясывающим на пустой улице, нанося удары воображаемому противнику. Но противники бывали и реальные. Так случилось в Зимнем Велодроме. Здесь вопреки всем правилам устроена была встреча чемпиона среднего веса с легковесом Траве. На десятом раунде разозленный упорной оборонной чемпион обрушил на Траве превосходство своего веса, и дело, вероятно, кончилось бы узаконенным убийством, но тут присутствовавший при этом Хемингуэй скинул пиджак, прыгнул на ринг и пустил в ход против чемпиона свой собственный тяжелый

вес и увесистые кулаки. Изувеченный Траве был спасен от смерти.

Одни искренне восхищались этим атлетом, который и за себя постоит и другого в беде выручит, а были люди, в основном потерпевшие, которые честили его грубияном, драчуном, забиякой, имея в виду его не литературный, а спортивный вес.

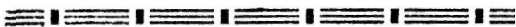
Когда в 1925 году он как-то появился в Париже с забинтованной головой, это многим, настроенным на легенду, показалось памяткой еще какого-нибудь героического подвига, хотя на самом деле все было гораздо проще: на мансарде была гнилая рама, он потянул не тот шнурок и обрушил на себя раму фонаря, заменявшего окно. Еще бы немного, и это могло окончиться катастрофой, но Хемингуэю повезло, рама скользнула так, что дело обошлось содранным лоскутом кожи и памятным шрамом. А временная повязка и неизгладимый шрам внесены были в актив легенды.

Самого Хемингуэя скорее забавляла вся эта шумиха. Он вовсе не пытался разоблачить легенду, наоборот, иногда, озорничая, еще подбавлял туману. Рассказывал, например, Сильвии Бич, что еще задолго до окончания колледжа, когда он был еще «мальчишкой в коротких штанишках», отец его умер при трагических обстоятельствах, оставив ему в наследство только ружье. И вот он, как глава семьи, должен был заботиться и о матери, и о сестре, и о братьях. Так что, будто бы пришлось ему оставить школу и зарабатывать на хлеб. Первый заработок был приз за выигранный матч бокса, но потом он бросил эту профессию¹. Позднее, когда приятель Хемингуэя Гай Хикок, будто бы с его слов, рассказывал уже совершенные небылицы о медовом месяце Хемингуэя в Хор-

тонс-Бэе или о том, как этот печальный, бледный, лысый юноша ходит с непокрытой головой по парижским улицам, заложив страницу книги пальцем, ни на кого не глядя и ни с кем не разговаривая, то жена его, Хэдли, только беспомощно улыбалась и безнадежно махала рукой: «Понимаете, ведь сочинение рассказов было средством заработать себе на хлеб, а он был хорошим сочинителем».

И все-таки весь этот легендарный туман был, конечно, не источником заработка, а защитной маской.

Вовсе не надо считать грубиянами, гостей, о которых выше говорилось в цитате из Гарнета. Когда, вдоволь пошумев, такой гость расположится в кресле и охотно согласится с вами выпить, он чаще всего оказывается очень милым, интересным и чутким собеседником. И на самом деле Хемингуэй был именно таков. «Когда, — вспоминает о нем Форд Медокс Форд, — он медлительно рассказывал нам о своих парижских домохозяйках, он обычно приостанавливался между словами и потом произносил их мягко, но решительно. Темперамент подсказывал ему, какие случаи рассказать, разум — какие слова выбрать. Он производил впечатление человека самодисциплинирующего, и это первое впечатление не обманывало». А рассказывал он, должно быть, о тех самых соседях с улицы Муфтар, о которых не написал еще ни сам он, ни позже его герой, писатель Гарри, или о той консьержке, на попечении которой оставался его сын Бумби-Хем во время лыжных вылазок родителей.



¹ Вообще все интервью Хемингуэя приходится расценивать по-разному: серьезные — Плимтону, Кочнеру, и откровенно озорные или даже издевательские, начиная с Бич и кончая Лилиан Росс.

Защитная маска скрывала легко уязвимую искренность и застенчивость человека, который пуще всего боится сантиментов и стремится быть подчеркнута сухим, человека с натянутыми до предела нервами, контуженного жизнью, готового разрыдаться от всякой малости или заслониться грубоватой шуткой. Все это так напоминает рассказы близких Маяковскому людей о застенчивости человека, с заносчивой шумливостью гулявшего в желтой кофте или громившего противников с эстрады Политехнического музея. Это напоминает и слова Льва Славина о Багрицком:

«Человек остроумия ошеломительного, он был, в сущности, скромным и застенчивым, о чем, впрочем, догадывались немногие. Цинизм Багрицкого был ненатуральным. Это была как бы маска, надетая на нежность. Он появлялся обыкновенно после или во время душевного раскрытия и как контраст к нему. Однажды, растворив окно, Багрицкий принялся выпускать на волю птиц, которых он очень долго и тщательно собирал. Он сделал это потому, что любил птиц и чтобы осчастливить их. Птицы улетали не сразу, они цепенели на секунду (их охватывал какой-то шок радости) и вдруг, что-то прошебев, исчезали.

— А что они щебечут, Эдуард Георгиевич? — осведомился мой красноармеец, малый чувствительный. — Они, наверно, поют вам благодарственный гимн?

— Они меня кроют по матери, — объяснил Багрицкий.

Больше всего он боялся показаться сентиментальным. Есть мода не только на костюмы, но и на чувства. Поколение 1919 года, огрубевшее в войнах, стыдилось быть уличенным в нежности. Мы стремились показать себя грубыми, решительными, хотя никогда, быть может, не было столько скрытых и явных примеров самопожертвования и нежности».

Так и у еще юного Хемингуэя под маской крутого драчуна таилась бескорыстная преданность своему писательскому делу и запас еще не растраченной нежности. Из не изжитых еще мальчишеских побуждений он не хотел, а то и не умел ее проявлять.

Мужская нежность — она стыдлива,
Как юный отрок с нежданным басом;
И слишком руки красны при этом,
Подобно рубленным котлетам.

Мужская нежность бурчит угрюмо,
У ней и брюки не от костюма,
У ней и галстук съезжает набок.

И даже в преломлении многих воспоминаний современников чувствуется этот еще ломающийся басок молодого Хемингуэя. Год назад в доме Гертруды Стайн это был наивный испуг юноши, который считает, что еще слишком молод, чтобы быть отцом, или угрюмая буркотня, о которой добродушно вспоминает Линкольн Стеффенс. А потом, немного погодя, он весело шагает по улицам ничему не изумляющегося Парижа и боксирует в воздух с воображаемым противником. Но вот через год с небольшим тот же Стеффенс говорит о нем, что Хемингуэй любит детей, посвящает им книги, с юмором пишет о ребятах. «И немного погодя миссис Хемингуэй уже носит на руках большущего, толстого Бумби-Хема, которого, по существу, воспитывает добродушная старая консьержка, а родители тем временем ходят на лыжах в Альпах или в Испании изучают бой быков».

А еще немного позже ни ребячий ор горластого Бумби, от которого Хемингуэй спасался в кафе или на велодроме, ни кровавые подвиги на ринге не мешали ему проявлять родительские

заботы. Он привык все делать как следует. Сильвия Бич поражалась сноровке, с которой он купал малыша, а Хемингуэй шутя просил ее рекомендовать его в няньки.

И чем труднее была обстановка, тем больше раскрывалась именно эта сторона — свойства мягкосердечного Хема. А обстоятельства после возвращения Хемингуэя в Париж были трудные. На этот раз супругам было уже не до отелей, хотя бы самых скромных, каким был отель «Жакоб и Англия». Хемингуэй, не только надежда американской литературы, но и признанная звезда международного журнализма, бросая газету, сознательно шел на большой риск, жертвы и испытания. Прощай, хотя бы ничтожный, фикс, которым обеспечивала его «Торонто Стар» со времени Генуи. Но его репутация была при нем, и были другие предложения, в том числе от агентов самого Херста, пожелавшего купить молодого журналиста на корню и связать контрактом, который мог обеспечить ему безбедное существование на много лет. Однако Хемингуэй отказался. Он, по любимому выражению Евгения Петрова, предпочитал быть «бедным, но честным». Его отличала, вспоминает Д. П. Бишоп, — «врожденная, естественная честность; он знал, что сохранить ее можно лишь активно оберегая, и купить его было нельзя». Были и другие заказы, но, как Хемингуэй писал отцу, он хотел писать как можно лучше, не думая о рынке и деньгах.

В этом упорном пренебрежении материальным успехом сказывались и натура самого Хемингуэя и здоровая демократическая закваска того штата Иллинойс на Среднем Западе, который был родиной и президента Линкольна, и Юджина Дебса, и губерна-

тора Альтгельда, и поэтов Мастерса, Сэндберга, Линдзи.

Однако упорство это не оставалось безнаказанным.

Как позднее вспоминал сам Хемингуэй в «Зеленых холмах Африки»:

«...мы сняли чердак на улице Notre Dame des Champs во дворе, где была плотничья пилорама (внезапное взвизгивание пилы, запах опилок, каштан поднимавшийся над крышей, и сумасшедшая в нижнем этаже) и где безденежье угнетало нас весь тот год (рассказы один за другим возвращались обратно с почтой, которую опускали в отверстие, прорезанное в воротах, и в сопроводительных записках редакции называли их не рассказами, а набросками, анекдотами, contes и т. д.). Рассказы не шли, и мы питались луком и пили кагор с водой...»

Действительно, оказавшись в Париже, Хемингуэй сняли во дворе дома № 113 на улице Нотр-Дам де Шан чердак над плотницкой мастерской, где работала пилорама. Помещение без горячей воды — ужасались гости-американцы, но, впрочем, не было и холодной, как не было и мебели. Матрасы расстилали на полу, и комнату украшала только роскошная детская коляска, в которой торжественно прогуливали маленького Бумби по Люксембургскому саду, а из посуды на почетном месте стояла серебряная чашечка для апельсинового сока, подаренная крестной — «тетей Герти» Стайн. Если не считать диеты Бумби, то диета супругов была не изысканна, им случалось подолгу сидеть на луке с хлебом и вине с водой. Отапливали чердак, когда был уголь, капризной чугунной печуркой, а когда угля не было, приходилось обогреваться чашкой кофе и булочкой в соседнем кафе. Впрочем, там, сидя за той же

чашкой кофе, можно было и работать до поздней ночи, когда Хэдли не могла унять плачущего малыша. Впрочем, приходилось иной раз работать даже и не за этим письменным столом. Иной раз бывало так туго, что Хемингуэй мог рассчитывать только на карточный выигрыш, если повезет, тут же, в бистро. А то случалось садиться за руль такси, чтобы оплатить кредит бакалейщика или молочной. Хемингуэй были гостеприимны и общительны, охотно принимали друзей, но даже это доставляло затруднения. Их мансарда была на проходе, на бойком месте, а ведь даже малознакомых, даже малоприятных посетителей надо было хоть чем-нибудь угостить. Рассчитывать на кредит у гостей было противоестественно, а перехватить денег у кого-нибудь из соседей было безнадежно. Вокруг них, в Латинском квартале, жило полунищее, многонациональное студенчество и богема, о чем пишет Хемингуэй в стихотворении «Монпарнас»:

В квартале не бывает самоубийств среди порядочных людей — самоубийств, которые удаются.

Молодой китаец кончает с собой, и он мертв. (Его газету продолжают опускать в ящик для писем.)

Молодой норвежец кончает с собой, и он мертв.

(Никто не знает, куда делся товарищ молодого норвежца.)

Находят мертвую натурщицу — в ее одинокой постели, совсем мертвую.

(Консьержка едва перенесла все эти хлопоты.)
Порядочных людей спасает касторовое масло, бенок, мыльная вода, горчица с водой, желудочные зонды.

Каждый вечер в кафе можно встретить порядочных людей.

А с «порядочными людьми», с почтенными буржуа Монпарнаса Хемингуэй предпочитали не знаясь.

Помогала Хемингуэям все та же их демократическая закваска. Хэдли и вообще-то не очень заботилась не только о модах, но и просто о наряде, а тут из нужды она сделала забаву. Зачем бегать по магазинам или заказывать платья у портнихи — лучше подождать, пока другие позаботятся об этом. И позднее Хэдли вспоминала, что «покупать платья и пр. мы не ходили. Просто ждали, когда кто-нибудь принесет нам. Это было гораздо интереснее, чем самим толкаться по магазинам». Интереснее или не интереснее, но и ждать иной раз приходилось так долго, что очевидцы вспоминают прожженный во многих местах берет Хемингуэя и протертую серую фуфайку с не менее щедрой вентиляцией.

Жилось трудно, но Хемингуэй не унывал и неустанно работал. Хэдли вспоминает, что когда ему удавалось работать дома, то снизу поднимались столбы древесной пыли от пилорамы, а наверху летели на пол рычаги «Короны». Это Хемингуэй за своей портативной машинкой превращал ее в своего рода пулемет, и слова летели, как длинные очереди.

К этой своей неизменной помощнице еще со школьных лет Хемингуэй относился нежно и увековечил ее в стихотворении «Пулемет»:

Мельницы богов мелют медленно;

Но эта мельница

Стрекочет механическим стаккато.

Мелкорослая, неприглядная пехота ума

С трудом наступает по пересеченной местности

Под прикрытием единственного пулемета —
Вот этой портативной «Короны».

Словом, жилось и работалось трудно, но даже хорошо знавший Хемингуэя Линкольн Стеффенс, вспоминая о своих парижских встречах с Хемингуэем, повторял: «Он был всегда веселый, всегда приподнятый и всегда за работой». Все это было так на людях, даже с близким ему Стеффенсом. Но видимая беззаботность была все же обманчива. И, вспоминая в «Зеленых холмах Африки» об этом парижском периоде, Хемингуэй писал:

«Работа — одна работа — вот после чего ты чувствовал себя хорошо, а в промежутках была твоя собственная треклятая жизнь, которую ты вел, где и как вздумается...»

Как бы субъективно тяжел ни был для Хемингуэя труд газетчика, он уже дал ему очень много: расширил кругозор, свел с интересными людьми, — словом, рано снабдил жизненным опытом. Хемингуэй уже понимал, что настоящим писателем может быть только зрелый человек, и Хемингуэй быстро созрел как писатель.

Внешне Хемингуэй старался не выделяться из окружавшей его среды литературной и прочей богемы, показанной им в «Фиесте». Он был общительный собеседник, выносливый собутыльник, надежный партнер во всех видах спорта; и вместе с тем в нем все время шла большая внутренняя работа, закалка того врожденного мягкосердечия, которое он в себе ощущал и с которым боролся, принуждая себя вглядываться в страшное и на войне, и на бое быков, и на охоте и вообще в жизни и стараясь этим преодолеть страх перед всем.

В приложении к чисто литературной сфере это было повышено ответственное, серьезное отношение к писательскому делу. «Серьезность в пи-

сателе — это одна из двух обязательных предпосылок (кроме таланта)», — говорил он немного позднее.

Однако у самого Хемингуэя это была серьезность, далекая от всякого зазнайства и чванства, и она вызывала к нему непринужденное, товарищеское отношение при самых высоких оценках. Именно так воспринимает его на свою мерку поэт и редактор журнала «This Quarter» Эрнест Уолш:

Папаша солдат боксер и торреро
Писатель гурман храбрец и эстет
Он здоровенный парнище из-под Чикаго
Где обувь шьют на номер больше
И хорошо что у него не ноги француза
Они с Наполеоном не ужились бы
Он расквасил бы нос Бонапарту
Непоправимо испортив историю Франции.
В разлитые дни царя Соломона
Он побывал бы у него при дворе
И царь сказал бы «Это парень что надо»
И чтобы мягче было ему возлежать
Уплетая упитанного тельца на второе
Царь приставил бы к нему двух пухлых танцовщиц

В те времена цари почитали не бизнес — искусство.

Было в этом дружеское подтрунивание над не по летам матерым юнцом, но было и искреннее, чуть боязливое восхищение тем, как быстро он растет, обретая свой полный спортивный и литературный вес.

А вот какую, уже более серьезную, ретроспективную оценку надежд и исполнений, связанных с юным Хемингуэем, дает его друг, известный американский поэт Арчибальд МакЛиш в стихотворении, написанном уже в 1943 году:

Юнец с улицы Notre Dame des Champs,
Из плотничьей мансарды дома слева
по взгорю,

Юнец с зорким глазом дремлющего барса —

Что с ним теперь? Его постигла, слава:

Ветеран войны в двадцать лет,

Прославленный в двадцать пять,

В тридцать — он мастер, —

Он выточил стиль эпохи из ореховой трости

В плотничьей мансарде этого весеннего
города.

Конечно, в свое время МакЛиш видел ту треклятую жизнь, о которой говорил сам Хемингуэй, видел и непрехотливые разрядки и тягостные надрывы. Но он понимал уже тогда, а тем более позже, что настоящая жизнь Хемингуэя — в творчестве. В этом смысле действительно еще ничего не напечатывавший репортер Хемингуэй уже тогда был одержим искусством, был «легендарным Хемом», любимым учеником Гертруды Стайн, надеждой таких людей, как Линкольн Стеффенс.

«Хемингуэй был тогда самым многообещающим американцем в Европе», — пишет он в своих воспоминаниях.

Читаешь и слушаешь эти и многие другие показания незнакомых нам очевидцев и начинаешь понимать, как создавался легендарный облик этого любимца писательской молодежи Парижа и Нью-Йорка. Образ жизнерадостного, сильного, немного неуклюжего атлета, превосходного теннисиста, первоклассного боксера, завязанного лыжника, рыболова и охотника, бесстрашного матадора-любителя, отмеченного наградами фронтовика и ко всему этому как бы между прочим всемирно известного писателя.

И рядом с ним почти в каждой книге Хемингуэя — от Ника Адамса в первом сборнике рассказов до Филипа в «Пятой колонне» — мы встречаем излюбленный образ большого, сильного,

смелого мужчины, способного на грубость и жестокость, но способного и на дружбу, и на большое чувство, и на большую нежность без сантиментов. «Внешне крутого, но мягкосердечного». Внешне беззаботного, но вдумчивого. Этот основной герой Хемингуэя разделяет с автором те симпатии, которые вызывает он в самых разнообразных читательских кругах, и эти симпатии способствовали литературной славе Хемингуэя едва ли меньше, чем исключительные художественные качества первой же его книги.

А легенда о «великом Хеме» оказалась прозорливее житейской полуправды и враждебных домыслов многих современников, в том числе и завистников и уязвленных. Хотя легенда и не соответствовала внутреннему содержанию Хемингуэя, и он только временами подогревал ее, разыгрывая «крутого» Хема, но сам масштаб легенды был оправдан созданием «Фиесты». Теперь налицо была не молва, а литературный факт. И трезвая, реальная сила творчества Хемингуэя была так сильна, что легендарная слава «великого Хема» сменилась не новой легендой о Байроне XX века, но просто реальной славой автора «Фиесты».

Когда оглядываешься на четыре или пять парижских лет Хемингуэя, с 1922 по 1926—1927 годы, то создается впечатление, что, несмотря на все трудности, блуждания, житейскую и другие неустроенности, — это было для Хемингуэя светлое время щедрой отдачи и обильного творческого накопления.

V. Труд, слава и заботы

Жизнь на доллары в Париже была тогда дешева, но в соседних странах

жизнь Хемингуэя не только из-за внешних затруднений, но и по гораздо более серьезным внутренним причинам. Одну из них, личную, отчасти вскрыл он сам в своем романе «И восходит солнце» («Фиеста»).

Вот газетная корреспонденция от последних чисел июля 1924 года из Памплоны о том, что американский писатель Дональд Огден Стюарт, Хемингуэй, Дос-Пассос, Р. МакАмон присутствовали на фиесте в Памплоне и приняли участие в любительском выступлении против быка, о том, как Огден Стюарт на пари вызвался оседлать быка, пустить ему в глаза дым сигареты и потом свалить его за рога. Но пока ему вручали традиционную мулету, бык сам успел подцепить его на рога, швырнул в воздух и попытался забодать. Хемингуэй тут же бросился на выручку приятеля, но тоже был поднят на рога, отделавшись одними только ушибами, потому что рога были обмотаны. У Стюарта же было сломано два ребра. Корреспонденты отмечали, что среди присутствовавших на корриде была и жена Хемингуэя. Словом, мальчики резвились, озорничали, и одного из следующих быков Хемингуэй буквально схватил за рога и прижал к земле.

Корреспонденты не разъясняли, правда, в какой степени трезвости или опьянения было заключено Стюартом его бесшабашное пари. Не упоминали они и о других участниках этой пьяной поездки, а среди них был Гарольд Лёб — сын богатейшего партнера нью-йоркского банкирского дома Кун, Лёб и К⁰, а по материнской линии отпрыск миллионеров Гугенхеймов, родственник Ротшильдов; он получил воспитание в привилегированном университете Принстон, а потом был известен как второстепенный писатель, издавав-

ший в начале двадцатых годов эстетский журнал «Метла» («Broom»). Впрочем, он недолго баловался литературой и после 1929 года, как экономист со связями, стал директором Службы изучения производительных сил и ресурсов. Была там и леди Даф Твизден — высокая, темноволосая шотландка лет тридцати, с большими, восточного типа глазами и мелодичным голосом, еще не осипшим от злоупотребления виски¹. Даф всегда окружали богатые поклонники, среди которых побывал и Гарольд Лёб, а теперь она была бескорыстно увлечена еще одним участником событий, подвизавшимся на арене уже в качестве профессионала. Это был юноша-матадор Ниньо де ла Пальма, или в Жизни Каэтано Ордоньес.

То, что было неясно корреспондентам или замолчано ими, было впоследствии показано с двух весьма различных точек зрения: почти по свежим следам самим Хемингуэем в романе «И восходит солнце»² и Гарольдом Лёбом много позднее в книге воспоминаний «Как это было» (The Way It Was)³. В последней Гарольд Лёб, который был вскоре брошен непостоянной Даф, не отрицая описанной Хемингуэем в романе памплонской поездки, оспаривает его оценку. Он признает, что выведен сам в неприглядной роли Роберта Кона, что Огден и некоторые черты Уильяма Смита дали фигуру



¹ Считают, что она была прототипом и Айрис Марч из нашумевшего романа Майкла Арлена «Зеленая шляпка».

² Для удобства упоминания ниже цитаты обозначаются подзаголовком «Фиеста».

³ То, как Лёб пишет о своих отношениях не с фиктивной Брет, а с ее живым прототипом Даф Твизден, вполне оправдывает неприязнь к нему других слутников по фиесте, закрепленную Хемингуэем в отношении его к фиктивному Роберту Кону, тогда как Лёб, например, украдкой инсинуирует «осторожность» самого Хемингуэя по отношению к быку.

Билла Гортон, а что леди Даф Твизден — это прототип леди Брет Эшли. Поскольку можно верить беспристрастно более всех пострадавшего в трагедии Хемингуэя лица, Лёб говорит, что и сам Хемингуэй не остался равнодушен к чарам новой Цирцеи. Ревнуя или мстя, он утверждает, что Даф, объясняя свои отношения с Хемингуэем, признавалась ему, Лёбу, что «даже если бы Хемингуэй мне и нравился, я не пошла бы с ним из-за Хэдли и ребенка. Даже если бы хотела — не пошла бы». Когда после опубликования «Фиесты» кое-кто намекал, что мужская неполноценность Джейка Барнса свойственна и самому Хемингуэю, Даф с улыбкой возражала: «Бессилие Хемингуэя — это его жена и ребенок». Верный своему обыкновению творчески преобразовать факты своей жизни и не желая впутывать в это «кружение сердца» свою жену, Хемингуэй в романе перенес всю вину и беду на бессилие Джейка, который, так сказать, принял огонь на себя, а благородный жест Даф перенес на ее нежелание губить юношу Ромеро. В пору написания романа уже назревал развод Хемингуэя с Хэдли, и Хемингуэй со свойственной ему прямоотой, но и щепетильностью сделал Джейка холостяком и тем самым устранил самую возможность присутствия в Памплоне его жены, как это было с самим Хемингуэем. Но для Хэдли это умолчание было, быть может, еще тягостнее.

Неизвестно, была ли когда-нибудь Даф Твизден сестрой милосердия на фронте, но характерно, что Брет выполняет по отношению к Джейку в военном госпитале те же заботы, что и Агнесса Куровски.

Нет упоминаний о позднейших встречах Хемингуэя с Даф. По-видимому,

и после Памплонны она продолжала свою неприканную бурную жизнь. Умерла она от туберкулеза в 1938 году в возрасте 43 лет в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где провела последние годы жизни.

А тогда, в августе 1924 года, отшумела в Памплоне фиеста, Даф Твизден, может быть, уехала с Ниньо де ла Пальма по корридам, а остальные вернулись в Париж, и Хемингуэй вступил в свои отцовские обязанности. Он был заботливым папашей. Иногда утрами, пока Хэдли убиралась на чердаке и стряпала, он приходил в лавку Бич



с Бумби на руках. Крепко придерживая его, хотя случалось и головой вниз, он проглядывал последние журналы, что требовало выработанной техники, замечает Сильвия Бич. И Бумби не отвлекал протестами своего обожаемого папу. Шло время. Бумби, взгромоздившись на стул, подолгу внимательно разглядывал своего старика, уткнувшегося в журналы. Потом они шли за угол в бистро, и каждый за своим стаканом — у Хемингуэя красное, у Бумби лимонад — важно обсуждали события дня. А еще позже, к зиме, Бумби уже сопровождал родителей

на лыжные вылазки даже в Альпы, или, когда теплело, оставался на печении их приходящей уборщицы Марии Кокот, которая была вовсе не котка, а добродушная бретонка, сзывавшая так своих кур и цыплят у себя на родительской ферме, где у нее гостил Бумби, отпустивший своих родителей в очередную поездку.

Все это так, но как раз в это время Хемингуэй писал такой рассказ, как «Кошка под дождем», о женщине, стосковавшейся о домашнем очаге и уюте. А вскоре сложились «Белые слоны» — о том, что все уже не наше, и «Канарейку в подарок» — о том, какие хорошие мужья получают из американцев, когда им не придется ехать оформлять свой развод, и «Посвящается Швейцарии» — о веселых забавах неприкаянного американца Джонсона. Хемингуэй пишет о кошке, слонах, канарейке, о забавах и заботах каких-то других американцев, а думает о своих заботах, о том, что и у него «*ca ne vas pas*» — семейная жизнь не налаживается. Не раз и позднее сказывалась все та же неспособность Хемингуэя наладить эту жизнь так, чтобы она не мешала его работе. Так было, когда Полина Пфейфер стремилась приучить его к комфорту или развлекать устройством африканских охот «сафари», так было и когда третья жена, Марта Гельхорн, тянула его к красивой жизни, и даже попытки Мэри Уэлш построить ему для работы кабинет на высокой башне неизменно наталкивались на то же «чтобы не мешало работе». И до конца Хемингуэй роскошному кабинету предпочитал работу у себя в спальне, стоя за своей верной конторкой.

Но как бы трудно ни складывалась жизнь с ее крутыми поворотами,

именно жизнь неизменно питала непрерывный творческий процесс.

Как некогда Агг, и Даф скрылась из жизни Хемингуэя, но как Агнессе Куровски еще суждено было возникнуть в образе Кэтрин Баркли, так в творческом подсознании Хемингуэя, очевидно, уже формировался образ Брет Эшли. И Хэдли не могла не чувствовать этого.

«Даф! — вспоминала она много позднее. — Она была красива. Смела и красива. Настоящая леди и очень во вкусе мужчин. Она пользовалась большим успехом, но и к женщинам относилась хорошо. Словом, хороша была во всех отношениях... Была ли у них связь? Возможно, но наверняка сказать не могу. Это не из таких тем, на которые мужья распространяются со своими женами, не правда ли? Думаю, что случаи всякие бывали, но в общем это женщины были от него без ума. Мне кажется, Даф была очень неравнодушна к Эрнесту... Так что, был ли у них роман? Не думаю. Но что может знать бедная жена?..»

И по человечеству можно понять и посочувствовать бедной жене большого Хема. Хэдли просто устала. Он рос и оставался большим ребенком. Он семимильными шагами шагает к признанию, а она невольно, но своими руками уничтожила возможность быстрого успеха, потеряв рукописи. У нее на руках маленький Бумби, а ее большой ребенок снова с головой ушел в свои литературные игрушки и забавы, лихорадочно создавая роман о том «кружении сердца», от которого у нее продолжала кружиться голова. Нет, с нее хватит все новых знакомых и друзей Хемингуэя; плотницкого чердака, лука с кагором.

«Эрнест не хотел разрыва, — вспоминает Хэдли, — он просто не хотел поступаться

своей дружбой. Но я сама шла на разрыв, я не попевала идти с ним в ногу. И к тому же я была на восемь лет старше. Я все время ощущала усталость и думаю, что именно это и было главной причиной... Все это развивалось медленно, и Эрнест переживал это трудно. Он относился ко всему очень глубоко. Он чувствовал — что-то не так, но я настаивала. Мы и потом продолжали хорошо и дружески относиться друг к другу. Вот так-то оно было!»

Летом 1925 года, на вилле Фицджеральда в Антибе, где Хэдли и Эрнест выдерживали в карантине Бумби, заболевшего коклюшем, появилась подруга Хэдли, американка Полина Пфейфер, работавшая в парижском журнале «Мода» («Vogue»). Она искала дружбы с Хемингуэем, и у них нашлись общие литературные и охотничьи интересы, и дружба постепенно перерастала в привязанность. Тем временем Хемингуэй лихорадочно писал «Фиесту», и ко времени окончания, осенью 1925 года, они с Хэдли расстались, а в январе 1927 года он оформил развод с Хэдли, оставив ей с сыном весь доход с «Фиесты», свой первый значительный авторский гонорар. Вскоре Хемингуэй женился на Полине Пфейфер. Четырежды связывал Хемингуэй свою судьбу с новой женой и каждый раз оформлял развод и новую женитьбу и обеспечивал оставляемые им семьи, причем все трое сыновей скорее тяготели к отцу. В 1925 году первая из книг Хемингуэя пробила, наконец, в солидное американское издательство. Хемингуэй объединил два рассказа, напечатанные в его первой парижской книге 1923 года, и 10 вновь написанных с 16 миниатюрами парижского издания «В наше время» 1924 года. Получился второй, расширенный вариант под тем же за-

головком — «В наше время». Ознакомившись с рукописью, уже популярный в США писатель Скотт Фицджеральд рекомендовал ее издательству Ливрайт. Ш. Андерсон, печатавшийся в этом издательстве, поддержал его рекомендацию, и вот книга вышла в издательстве Бони и Ливрайт в октябре 1925 года пробным тиражом в 1335 экземпляров. Хотя она была хорошо встречена такими критиками, как Эдмунд Уилсон и другими, повторный тираж в 3000 экземпляров вышел только в 1930 году и в другом издательстве. Книга эта по контрасту объ-



единяла зарисовки войны и жестокой жизненной прозы с рассказами о мирной жизни в США и в известной степени суммировала первый этап работы еще неизвестного в литературе подмастерья.

Хемингуэй был уже накануне признания, но чувствовал себя еще ребячливым учеником. Еще не изжито было юношеское молодечество и рисунок старого вояки. Можно представить себе, как этот большой парень в штатском демонстрировал Сильвии Бич шрамы своей израненной ноги и рассказывал небылицы о том, как он остался единственной опорой семьи.

А эта маленькая, но мужественная женщина, которая сама побывала на фронте водителем санитарной машины и могла оценить, каковы были эти раны, с уважением смотрела на «лучшего клиента» своей библиотеки.

Можно представить себе, как Хемингуэй сидел у ног большой буддopodobной Гертруды Стайн и почтительно внимал ее поучениям: «слишком много описаний, забудьте все написанное, сосредоточьтесь и начинайте все сначала». Или как Хемингуэй горячо убеждал Линкольна Стеффенса в преимуществах телеграфного языка и непочтительно квалифицировал стиль Стеффенса как устаревший, а старый орел американского журнализма, пощипывая свою донкихотскую бородку, с любовью смотрел на орленка, еще расправляющего крылья, и делился с ним опытом журналиста, разоблачавшего позор городов США. Или как большой рыхлый немец Хюфер с моржовыми усами, в не по-английски мешковатом костюме, с трудом говорил квакающим голосом человека, нюхнувшего на фронте газов, рассказывая о тех временах, когда он, как английский писатель Ф. М. Форд, встречался и сотрудничал с Джозефом Конрадом, Томасом Гарди, Джорджем Муром. Во всех этих случаях Хемингуэй был внимательным слушателем, но не слепым подражателем, а ревностным учеником, пробуящим на зуб и принимающим или отвергающим чужой опыт.

Хемингуэй и дальше не перестает учиться. «Учиться своему делу я буду до самой смерти... Зазнайки могут уверять, что овладели им до конца, но я не видел никого, кто бы овладел им до конца и не мог бы писать еще лучше». Но в его учебе наступила какая-то переломная грань. В 1925 го-

ду он уже понимал, что нужно писать «простую честную прозу без всяких фокусов и шарлатанства», и доказал, что сам на это способен, простым, абсолютно прозрачным стилем своей «Фиесты». Теперь он вправе был сбросить шелуху стилистических приемов Ш. Андерсона и Гертруды Стайн. И не только сбросить, но и отмежеваться от них и от собственных подражаний этой их манерной надуманности. Как-то осенью, уже закончив первый набросок «Фиесты», он после обсуждения с Дос-Пассосом очередной книги Ш. Андерсона «Темный смех» засел за стол и с маху, в шесть-семь дней написал повесть-памфлет «Вешние воды». Все в ней иронично, начиная с заглавия, заимствованного у Тургенева. В своей пародии Хемингуэй выражал общую оценку последних двух книг Ш. Андерсона, и эта оценка сходилась с мнением Дос-Пассоса и МакЛиша, давших на них резкую рецензию, и Фицджеральда, считавшего «Многие супружества» и «Темный смех» «ужасной, обскурантской дешевкой и шарлатанством».

Фигуры двух неприкаянных, неврастеничных, вконец спившихся интеллигентов американского провинциального городка, их мелкие заботы и «трагедии» и самая манера изложения ритмизированным и в то же время рубленым языком — все это пародировало Шервуда Андерсона. А отдельные, еще более явно спародированные пассажи, подзаголовок третьей части повести: «Возвышение и падение американцев», как пародия на заглавие книги «Возвышение американцев» Гертруды Стайн, имя которой прямо упоминалось в тексте, — все это было направлено против второго из его вчерашних наставников, мечтавших найти в нем послушного продолжателя и

ученика. Чтобы показать пародийность «Вешних вод», надо было бы сравнивать непереуведенные и малоизвестные у нас произведения. Для наших целей важнее понять, что, как бы остра и агрессивна ни была пародия, это было со стороны Хемингуэя не наступление, а скорее активная оборона. Он стремился, пока не поздно, ограничить воздействие и отгородиться от того, что было для него уже неприемлемо. Это было, возможно, последним из мальчишеских Хемингуэя, но и серьезным предупреждением зрелого писателя: «Мне не по дороге с вами». Как не по дороге оказалось Хемингуэю и с Гертрудой Стайн, которая, естественно, заступаясь и за себя и за Шервуда Андерсона, обвиняла Хемингуэя и в неблагодарности, и в расчете и расудочности, и многих прочих грехах. Хемингуэй, не вступая в открытую полемику, позднее тоже не раз давал мимоходом отповедь властолюбию и неуместным притязаниям Гертруды Стайн.

Как бы то ни было, «Вешними водами» Хемингуэй закрыл для себя путь в первое из крупных издательств, напечатавших его книгу. Ш. Андерсон был одним из основных авторов издательства Бони и Ливрайт, и естественно, что вторая из присланных Хемингуэем рукописей, вышучивающая их клиента, была издательством отвергнута.

Но у Хемингуэя была уже запасная позиция. Редактор одного из виднейших издательств США, «Скрибнерс», Макс Пёркинс еще с первых публикаций обратил внимание на Хемингуэя. Теперь он устроил «Вешние воды» в своем издательстве, и эта книга вышла уже в мае 1926 года, на несколько месяцев опередив «Фиесту». Этим было положено начало долголетнего

содружества Хемингуэя со своим редактором.

Макс Пёркинс — любопытнейшая фигура из окружения Хемингуэя. Пёркинс считал, что писателем можно стать, только накопив жизненный опыт, а накопив его, сам Пёркинс уже с головой ушел в поглотившую его целиком редакционную работу в крупнейшем издательстве «Скрибнерс», где он с 1910 года стал главным редактором. Пёркинс был культурным и талантливым человеком. Хорошо знавший и любивший его литературовед и критик Ван Вик Брукс отмечал как особые свойства Пёркинса сочетание чувства чести и широты взглядов былых «кавалеров» с требовательностью к себе и другим, чувством ответственности и скромности былых пуритан. Он во всем стремился идти по линии наибольшего сопротивления. В Торонто Хемингуэю привелось встретиться с ненавистным Хайндмаршем — «укротителем гениев», а вот Макса Пёркинса можно было назвать «открывателем талантов». В консервативном издательстве «Скрибнерс» он защищал новаторские вещи молодых писателей, а потом сам неистово, не жалея сил, работал с этими начинающими авторами. Причем это были люди самых разнообразных творческих индивидуальностей: Скотт Фицджеральд, Томас Вулф, Ринг Ларднер, Джон Маркенд, Эрскин Колдуэлл, наконец, Хемингуэй. У Пёркинса был настоящий редакторский талант.

Сам так и не став писателем, на что он имел все данные, Пёркинс получил шестьдесят восемь авторских книг с признанием того, что все эти шестьдесят восемь авторов поставлены им на дорогу в литературу. Ведущим принципом его редакторской работы было оценивать рукопись в меру соб-

ственных задач и возможностей автора. Самоотверженно и самозабвенно работая во славу литературы, он часто становился на сторону автора, а не только вкусов читателя и особенно издателя. Хотя сам он писал чистейшим эпистолярным языком XVIII века, с блестящими из застольных бесед Свифта, но молодых авторов он предостерегал от штампов английской классической литературы и величие автора учил видеть не только в техническом совершенстве. Он ценил непосредственность нестареющего сердца и прощал мальчишество литературных Геков Финнов. Он сам вносил в свою работу и требовал в ответ от автора таких не только литературных качеств, как лояльность, мужество и честь. В нем объединялась большая широта и внимательная чуткость к своеобразию авторского языка с непримиримой принципиальностью и требовательностью. Не жалея сил, он для каждого писателя находил свой стиль работы. Сотни часов, проведенные над рукописью совместно с автором, он потратил на то, чтобы разобраться в длиннотах и туманностях Т. Вулфа и хоть сколько-нибудь прояснить язык Вулфа без ущерба для его своеобразия. На первых шагах Эрскина Колдуэлла он помогал неопытному автору преодолевать эклектизм и отсеивать безвкусицу и вульгарности. Фицджеральда он просто заставлял работать. А с неуловимым Хемингуэем он сносился больше по почте и ограничивался наводящими соображениями. Однако для Хемингуэя очень много значила моральная поддержка Пёркинса и в ранних исканиях и в трудные годы, поскольку Пёркинс твердо отстаивал его от всяких наскоков за угловатость и сознательную грубоватость стиля. Вкусы их во многом

сходились, и Пёркинсу не пришлось открывать для Хемингуэя творчество Льва Толстого, как это он делал с другими авторами, предлагая им вновь и вновь перечитывать «Войну и мир». Начиная с «Фиесты» и до самой своей смерти в 1947 году Пёркинс был бессменным редактором, советчиком и другом Хемингуэя.

«Вешние воды» имели и в Париже и в США некоторый успех литературного скандала, но Хемингуэй по-прежнему еще оставался известным лишь немногим. Но вот в октябре 1926 года вышел, наконец, роман «И восходит солнце» («Фиеста»), и в одно прекрасное утро Хемингуэй, как некогда Байрон, проснулся знаменитостью. Пришел успех книги, большой тираж, переиздание в Англии. Тут уж речь шла не о скандале, хотя многие узнавали в персонажах романа знакомые им лица. Читателей поразила свежесть и новизна подачи и талантливый отклик на больную для послевоенных лет тему о людях, вышибленных войной из привычной колеи.

Правда, далеко не все поняли замысел автора. Некоторым читателям «Фиеста» показалась апофеозом бутылки и пьяной гульбы, а сюжетом они сочли любовные интриги Брет Эшли.

Судя о книге по первому эпиграфу, многие приняли Хемингуэя за пророка или глашатая «потерянного поколения». Хемингуэй отрекся от такого понимания и в самом романе, и в письмах Пёркинсу, и много позднее, вплоть до последних лет. Ведь уже в книге он вслед за Гертрудой Стайн говорит о «потерянном поколении» не «все мы», а «все вы», а дальше полемизирует с оценкой Стайн вторым эпиграфом о земле, которая пребудет вовеки и сыном которой он

себя чувствует. Он не раз повторял, что нельзя считать потерянным поколение, создавшее большие культурные и прочие ценности, давшее только в американской литературе таких писателей, как Дос-Пассос, Фицджеральд, Т. Вулф, М. Каули, Э. Уилсон, Эдна Миллей и пр. «Мы не потерянные», — могли бы сказать все эти люди, но действительно были они «опустошенные», как Брет, как ее жених Майкл в «Фиесте» и др. А в главном персонаже книги, в Джейке Барнсе, Хемингуэй показывает все обостряющееся чувство общности с землей. Джейк хочет воспринять и отобразить все — и этих потерянных людей, увиденных и через себя и со стороны, и краски корриды, и буковый лес, и басков, и Ромеро, и Бельмонте. Несмотря на свою слабость и уязвимость, Джейк в чем-то основном непоколебим, пока он, как Антей, ощущает под ногой землю.

Джейк — человек с явно артистическим восприятием мира, иначе он не мог бы так рассказывать и о себе и об окружающих; и «бессилие» Джейка, вернее неспособность пользоваться полнотой жизни, — это не жена и ребенок, как казалось Даф в случае с Хемингуэем, а специфический иммунитет, обуянность Джейка своим делом, опаленность искусством, как черты врожденного художника. Он может брать блага жизни лишь постольку, поскольку они не мешают его основному делу писателя.

Обыденное человеческое счастье невозможно для Джейка и Брет. Но жить все-таки надо. Для Брет впереди ее безрадостные утехи, а для Джейка маячит горькая радость творчества, он надеется рассказать людям о пережитом, как это сделал за него Хемингуэй. И если потерявшие себя люди

ровно ничего не различают в пьяном угаре и если оберегающий себя Кон видит прежде всего себя, то Джейк всматривается и в людей и в землю, чтобы творчески воссоздать и показать увиденное.

Не давая себе труда вдуматься в замысел Хемингуэя и трактовку им основной темы, а довольствуясь первым впечатлением, иные снобы из «хемингуэевцев» вообразили, что роман написан в прославление богемы, что главное в книге — это своего рода трезвучие: «бутылка, бокс и бой быков». Или еще уже — «ликер, перно и фундадор», вкушаемые попеременно или вместе в виде различных коктейлей. В таком «трехбутылочном» восприятии снобов все в книге заслонялось мельканием бездельников и прожигателей жизни. Даже Юрий Олеша в своей рецензии на русский перевод «Фиесты» в тридцатых годах недалеко был от такой оценки.

Однако чтобы понять, как честно, чисто и грустно подошел Хемингуэй к своей трудной и рискованной теме, достаточно сравнить с «Фиестой» прошлое, а местами и грязное описание тех же событий в автобиографической книге Г. Лёба («Как это было»).

А в книге, написанной с точки зрения Джейка, многое, как позднее в «Прощай, оружие!», оваяно отсветом любви к Агг и утратой счастья, которое было так возможно. Это как бы второе и после «Очень короткого рассказа» уже умиротворенное прощание с первой любовью.

Не следует забывать и того, что Джейк и его приятель Билл Хортон — гуляки на час. Если погибшие люди «потерянного поколения» проходят мимо призрачным хороводом, почти не замечая простых людей Испании и Парижа, живущих своей повседневной

жизнью и в будни и в праздники, то Джейк и Билл приглядываются к этой жизни и стремятся сблизиться с людьми из народа хотя бы с профессиональной целью — чтобы добыть материал для своего литературного труда. Величайшим и, кстати сказать, незаслуженным укором по адресу Джейка звучит обвинение Билла: «Ты экспатриант. Ты ничего не делаешь, только шатаешься по кафе», — тогда как Джейк, наблюдая там жизнь, как раз и делает этим свое дело газетчика и писателя.

Собутыльник праздных туристов и соглядатай в их стане, сам Джейк Барнс зарабатывает себе на жизнь нелегким трудом репортера в надежде когда-нибудь стать настоящим писателем. Если приглядеться к нему, видишь, что он работяга газетчик. «В газетном деле, этика которого требует, чтобы никто никогда не видел тебя за работой, очень важно изобретать непринужденные уходы со сцены», — думает Джейк, очевидно имея в виду сцену очередной попойки, где он собирал очередную порцию сплетен для своей газеты. Очевидно, Джейк выработал в себе эту способность и, вчитываясь в «Фиесту», то и дело слышишь его оговорку: «Мне нужно работать», и видишь за преднамеренным, сгущенным мельканием попок и письменный стол Джейка, за которым он часами усердно стучит на машинке, чтобы срочно сдать корреспонденции за всю неделю, видишь, как, усердно проработав все утро, он идет в министерство иностранных дел за информацией, видишь, как перед отъездом в Испанию, тоже ведь отчасти за материалом о бое быков, он очень много работает, чтобы наготовить загон; видишь, что и во время поездки он непрерывно держит связь

с редакцией. Наконец, узнаешь, что Джейк действительно работает не за страх, а за совесть, если утром, когда «по всей улице люди опешили на работу», и ему «приятно было идти на работу».

Хемингуэй не раскрывает работу Джейка по существу, но если корреспонденции Джейка хоть немного подходили на корреспонденции самого Хемингуэя, а его намечающаяся книга — на «Фиесту», то труд Джейка далеко не потерян. И недаром вторит Барнсу его создатель Хемингуэй: «Работа — одна работа — вот после чего ты чувствовал себя хорошо», и в другом месте: «Главное — работать и научиться этому». Ведь свидетельство напряженного труда — вдоль и поперек исчерканная рукопись «Фиесты», которая была недавно найдена и порадовала Хемингуэя тем, что и в молодости он трудился над рукописью не меньше, чем в последние годы.

Характерно, что в отличие от читателей-снобов редактор «Фиесты» Макс Пёркинс, самый пронизательный из американских критиков Эдмунд Уилсон, а потом и другие критики — Карлос Бэйкер, шотландец Сандерсон — обратили внимание на моральную точку зрения книги. Здоровые этические понятия присущи не только Джейку, Биллу, матадору Ромеро, не чужда им даже пропащая душа — Брет Эшли. Она не теряет способности трезво оценивать себя как «дрянь», и, покидая Педро Ромеро, чтобы не губить его, она говорит Джейку: «Знаешь, все-таки приятно, когда решишь не быть дрянью». А то, что именно добропорядочный Роберт Кон, полный эгоистической ревности и других вычитанных надуманных чувств и к тому же неспособный в них разобраться, оказывается самой отталкивающей

фигурой, подтверждает моральные критерии оценок книги.

По мере того как глаза читателей привыкали к блеску «Фиесты», который заслонял и свет и тень, они все более соглашались с автором, сходясь именно на такой этической основе. К этому пришел, надо сказать, и Юрий Олеша в своей последней предсмертной рецензии на двухтомник Хемингуэя, напечатанной в «Вечерней Москве».

Хемингуэй уже третий раз обращался к большой форме, но «Фиеста» была первым романом, в котором он показал себя зрелым мастером. «Единственный способ разделаться с этой штуковиной, — писал он Пёркинсу, — это писать роман единым духом от начала до конца».

Так Хемингуэй и сделал. «Фиеста» была начата 21 июля 1925 года, и за 48 дней отчаянной работы, к 6 сентября, первая редакция книги была закончена. Писал Хемингуэй до полного изнеможения и написанным остался очень недоволен. Еще несколько зимних месяцев он потратил на то, чтобы прочистить рукопись и на одну треть сократить ее. В печать рукопись была сдана в конце апреля, а всего на «Фиесту» ушло 9 месяцев напряженной работы.

Тем временем был оформлен развод с Хэдли и вскоре заключен брак с Полиной Пфейфер. Она была ревностной католичкой и потребовала если не формального перехода Хемингуэя в католичество, то по крайней мере соблюдения внешней обрядности. Обряды он, впрочем, соблюдал не слишком ревностно. Эрл Уилсон рассказывал, что приятели, обедая с Хемингуэем в пятницу, нарочно заказывали по бифштексу, а потом, в разгар еды, напоминали ему, что сегодня день постный.

Как-то, не выдержав, Хемингуэй бросил нож и вилку и рывкнул: «Ну к чему вы мне об этом говорите?», а потом стал прикидывать, чем бы оправдать нарушение поста. «Будь я матадор, все было бы ладно, — бормотал он, — им разрешено». — «Но вы не матадор», — сказал приятель. «Будь я испанец — тоже сошло бы, — продолжал размышлять Хемингуэй. — Им дана индульгенция за то, что они прогнали мавров из Испании». — «Но вы и не испанец», — настаивал приятель «Нашел! — воскликнул Хемингуэй. — Случилось мне быть в Тулузе, когда туда приехал какой-то епископ и в ресторане не нашлось ни рыбы, ни яиц. Тогда тот сказал: «Ничего, дайте мне мясного. В дороге можно не соблюдать постов». Понятно, ведь я тоже путешествую», — и Хемингуэй снова взялся за бифштекс.

Но по воскресеньям, по собственному признанию, Хемингуэй все-таки не работал. Не получалось. Впрочем, это уже скорее англосаксонская привычка к воскресному ничегонеделанью, а не католические культ всякого праздника.

Хемингуэй, которому импонировала художественная сторона католического культа — орган, картины, скульптура и пр., — и отчасти на этой почве пошла молва о его обращении в католицизм, — сам не мог бы ответить на вопрос, католик ли он, даже так, как отвечает его Джейк Барнс: «Формально, да». Едва ли можно считать даже формально католиком создателя молитвы «Отче Ничто» в рассказе «Там, где чисто, светло» и мистера Фрэзера, с добродушной усмешкой говорящего о сиделке, которая хочет стать святой, и считающего религию одним из главных опиумов для народа (в рассказе «Дайте рецепт, доктор»).

Но ни семейные перемены, ни религиозная обрядность, связанная с новым браком, не могли помешать Хемингуэю работать. Сразу же после «Фиесты» он взялся за книгу рассказов, и она вышла уже в октябре того же 1927 года. Само заглавие книги было программным — «Мужчины без женщин». Уже в «Фиесте» единственный просвет — это дни, когда, сбавив распаленного страстью и ревностью Кона, два приятеля — Джейк Барнс и Билл Хортон — ловят форелей в Бургете, одни в своей мужской компании, отдыхая от бешеной возни волокит, окружающих Брет. Основной пафос новой книги — мужская дружба, испытанная в совместном труде, закаленная фронтовым товариществом, и глухие отголоски на осложнения, вносимые в этот мир мужской трудов и забот вторжением женщин. Программный характер носил и большой рассказ «Непобежденный» — о том, как стареющий матадор держится за свое дело до последней возможности.

Вышла книга. От Парижа взято было столько, что нужно было осмотреться, чтобы идти дальше. Полина ждала ребенка. Все это вместе побудило Хемингуэя вернуться в Штаты. Однако ни большие города, ни любые замены Ок-Парка не привлекали его. Развод, женитьба на католичке, «ужасная» книга о Брет и Джейке не улучшили отношений Хемингуэя с родителями. И он обосновался в Ки-Уэсте на самой крайней южной оконечности Флориды. Тогда это был еще небольшой захолустный рыбачий поселок. И здесь, прерывая работу над новым романом, Хемингуэй уходил в море на рыбную ловлю, или, вернее, на охоту за крупной рыбой тарпаном, меч-рыбой, или, по-местному, марлином. С водворением в Ки-Уэсте началась

новая полоса жизни Хемингуэя. Приостановившись, он еще раз оглянулся и творчески воссоздал давно пережитое. «Фиеста» была написана по свежим следам, срыву, прозрачным, простым, сжатым языком. «Прощай, оружие!» появилось позже, но тем не менее впитало давние впечатления и чувства: войну, первую настоящую любовь.

Свой военный опыт Хемингуэй до сих пор отразил только в миниатюрах книги «В наше время» и в двух-трех рассказах. Конечно, неизвестно, что было написано о войне в потерянных Хэдли романе и рассказах. Но теперь все отстоялось, перегорело и отболело. Пора было закрепить это на бумаге. Так в марте 1928 года зародился роман «Прощай, оружие!».

В этот роман Хемингуэем вложено было многое из пережитого. Так же как и у других писателей — участников первой мировой войны Олдингтона, Ремарка, Роже Мартен дю Гара, — только теперь, через десять лет, ослабели гнет и травма войны. Только теперь у Хемингуэя отмерла его первая фронтовая любовь. Только теперь, закрепившись в издательстве «Скрибнерс», он получил возможность работать как следует, не думая о завтрашнем дне.

«Прощай, оружие!» — антивоенный роман. «Тененте Генри», как и его подчиненные, шоферы из рядовых итальянцев, уже видит, что война, на которую их послали, — чуждая народу, бессмысленная война, ее ведет правящий класс, «который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда». Антивоенная тема, впервые четко прозвучавшая в этом романе, пронизывает в дальнейшем все творчество Хемингуэя. В последующие годы он понял и то, что война войне рознь:

«Мы знаем, война есть зло, но иногда бывает необходимо драться», — писал он в 1939 году, после того как сам провел около двух лет на фронте в Испании; а в 1948 году, в предисловии к новому изданию того же «Прощай, оружие!», он сказал:

«Называется эта книга «Прощай, оружие!», а кроме первых трех лет после того, как она была написана, в мире почти все время где-нибудь да идет война. Многих тогда удивляло — почему это человек так занят и поглощен мыслями о войне, но теперь, после 1933 года, быть может, даже им стало понятно, почему писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война. Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе, надеюсь, даже очень пристрастен. Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто разжигает, затевает и ведет войну, — свиньи, думающие только о неприкрытой экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых те посылают сражаться».

Роман «Прощай, оружие!» впитал личные военные впечатления семи дней на фронте, многих месяцев в госпитале, многократно слышанные там рассказы об отступлении при Капоретто и лично увиденное отступление греков во Фракии. В роман вложено и более углубленное знание Италии и ее народа, а в формальном плане в него

вошли и собственные эксперименты и опыты в духе Гертруды Стайн. С другой стороны, роман психологически отразил трагичные переживания не только 1918, но и 1928 года, и страшные роды жены, и смерть отца. На рок, каким представлялась Хемингуэю война, наложен был следующий роковой пласт — судьба всякого человека и во всякое время. С нами должно случиться все самое ужасное. Все лучшее на свете обречено. Неминуема утрата друзей и любимой. Ты перед этим бессилён. Но если тебя самого еще не сломало, то надо крепиться, быть крепче на изломе.

«Если ты когда-нибудь по-настоящему любил, это никогда не уходит... совсем», — сказал много лет спустя Хемингуэй брату. По его собственному выражению, «Прощай, оружие!» — это современная повесть о Ромео и Джульетте, только ломает жизнь влюбленных не слепая, но преходящая вражда двух семей, а страшная машина войны, сведшая, а потом разлучившая Эрни и Агг, или слепой рок в виде биологической случайности, уносящей из жизни Кэтрин Баркли.

Если в 1923 году в «Очень коротком рассказе» Хемингуэй вытравлял из своей памяти отвергшую его девушку, то теперь он оживлял в Кэтрин любимый образ для того, чтобы еще раз проститься с ним. И это обусловило и за душу берущий лиризм книги и ее безрадостный колорит. Этому способствовали и тяжелые переживания 1928 года. Хотя в конце концов все обошлось благополучно: выжили и быстро поправились и мать и сын Патрик. Но роды Полины проходили трудно, потребовалось кесарево сечение, и жизнь ее была на волоске. А потом пришла и смерть близко-

го — в декабре покончил жизнь самоубийством доктор Кларенс Хемингуэй.

Беда назревала давно. А тут все сошло одно к одному, и окончательно сломилась пошатнувшаяся психика старого доктора, которому шел уже 68-й год. Незаметно подкралась тяжелая болезнь — диабет, которая и послужила официальным объяснением случившегося. А к этому надо добавить, во-первых, крах Флоридской земельной компании, в акции которой Кларенс Хемингуэй вложил все свои сбережения в расчете выйти на покой, получить клочок земли и доживать свои дни в благодатной Флориде. Но дело касалось не только сбережений, были и долги. Подошел срок оплаты крупного векселя. Родственник, ссудивший деньги, торопил с погашением: деньги есть деньги. Чек, высланный Эрнестом, пришел в самый день самоубийства и остался в нераспечатанном конверте на столе доктора Хемингуэя. Душила астма, грозный диабет напоминал о себе намечавшейся гангреной ноги. Но, может быть, горше всего было одиночество. Дети разлетелись кто куда. Жена была поглощена делами своего клуба и приготовлениями к рождеству. Так или иначе, в то пасмурное декабрьское утро Кларенс Хемингуэй остался в своем кабинете наедине с отцовским «смит-вессоном». Он сжег кое-какие бумаги и выстрелил себе в затылок. Тяжела была потеря, но не менее тяжелы и связанные с нею воспоминания, восходившие еще к детству и всплывавшие теперь, когда молиться можно было уже только за одного живого из тех двоих, что были тогда в мыслях Ника.

Отец был спутником детства и отрочества. Ник любил его сильно и очень

долго, и хотя с пятнадцати лет у него не осталось ничего общего с отцом, но теперь он опять всплывал в снах и проскальзывал намеками в рассказах. Он был сентиментальный и беззащитный, неспособный найти поддержку у близких людей. «Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают».

«Теперь уже ничем нельзя помочь, и он много раз передумал об отце все с начала и до конца. Тот облик, который гробовщик придал его отцу, еще не стерся из памяти Ника, и все остальное он помнил совершенно ясно, до долгов включительно. Он поздравил гробовщика с успехом. Гробовщик гордился своей работой и был явно польщен. Но не гробовщик придал ему этот облик. Он только внес смелой рукой кое-какие исправления сомнительного художественного Достоинства. Лицо сформировалось само собой в течение долгого времени. Оно приняло законченные очертания в последние три года. Из этого вышел бы хороший рассказ, но слишком многие оставались еще в живых, и написать его было нельзя».

«Теперь, когда он знал обо всем, не радостно было вспоминать даже самое раннее детство, до того как дела их семьи запутались. Если б можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие оставались еще в живых».

Но мысли все о том же тревожили, давили, намеками просились на бумагу не только через пять лет, когда был написан рассказ «Отцы и дети», из которого приведены эти цитаты,

но и через десять лет в романе «По ком звонит колокол». Мария, только что вырвавшаяся из рук фашистских палачей, разговаривает с Робертом Джорданом:

«— Мой отец был республиканцем всю свою жизнь, — сказала Мария. — За это его и расстреляли.

— И мой отец был республиканцем всю свою жизнь. И дед тоже, — сказал Роберт Джордан.

— А твой отец все еще служит республике? — спросила Пилар.

— Нет. Он умер.

— Можно спросить, отчего он умер?

— Он застрелился.

— Чтобы не пытали? — спросила женщина.

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Чтобы не пытали.

Мария смотрела на него со слезами на глазах.

— У моего отца, — сказала она, — не было оружия. Как я рада, что твоему отцу посчастливилось с оружием.

— Да, ему повезло, — сказал Роберт Джордан. — Может, поговорим о чем-нибудь другом?»

С другими он не хочет говорить об этом, но с собой он то и дело говорит все о том же, даже на страницах своих книг, говорит о револьвере деда, которым застрелился отец и который он — Ник Джордан — утопил в озере.

Джордан жалеет отца, но ему стыдно за него.

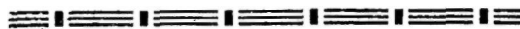
«Раздумывая над этим, он понял, что, доведись им действительно встретиться в загробной жизни, и он и дедушка чувствовали бы себя очень неловко в присутствии его отца. Каждый имеет право поступить так, думал он. Но ничего хорошего в этом нет. Я понимаю это, но одобрить не могу. *Lâche*¹, вот как это называется. Но ты на самом деле

понимаешь это? Да, конечно, я понимаю, но... Ага, но. Надо быть очень занятым самим собой, чтобы пойти на такую вещь...» «Мысли об отце выбили его из колеи. Он понимал своего отца и прощал ему все, и он жалел его, но чувства стыда в себе побороть не мог». «Просто он был трус, а это самое большое несчастье, которое может выпасть на долю человека. Потому что не будь он трусом, он не сдал бы перед ней и не позволил бы так задергать себя этой настырной женщине. Интересно, какой бы я был, если б он женился на иной женщине? Этого ты никогда не узнаешь, подумал он, и усмехнулся. Может быть, ее деспотизм дополнил то, чего не хватало в том, другом. И в тебе. Легче, легче. Нечего болтать о доброй породе и тому подобных вещах, пока ты не проживешь завтрашнего дня».

Очувтившись в безвыходном положении, под угрозой живьем попасть в руки мучителей, Джордан говорит себе: «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось».

Ни сын доктора Адамса, ни Роберт Джордан, ни сам Хемингуэй не могли простить отцу то, что до поры до времени считали только трусостью. Однако автор одной из посмертно изданных книжек о Хемингуэе приписывает ему слова: «Иду к тебе. Жаль, что называл тебя трусом». Это, конечно, нескромный домысел, но он имеет свои основания.

Так или иначе, самоубийство отца было для Хемингуэя еще одним жизненным ударом, от которого он никогда не оправился, хотя часто пытался сдержанно отводить душу намеками в ряде своих книг.



¹ Трус (франц.).

VI. Уединение Ю-Уэста, перепуля Испании и Африки

Роман «Прощай, оружие!» вышел в дни большого биржевого краха 1929 года. В Америке разразился кризис. Многие писатели переживали его тягостно вместе со всем народом. В это трудное время молодые прогрессивные писатели сплывались в так называемые «Джон-Рид-Клубы»; к этим взглядам примыкали и сближались с прогрессивными силами страны поэты МакЛиш, Сэндберг, начинающие прозаики Колдуэлл, Стейнбек. Другие, более маститые, по-прежнему разъединенные, все же хотя бы отчасти прозревали и откликались на вопросы, поставленные жизнью. Среди таких можно назвать Драйзера, Шервуда Андерсона, Дос-Пассоса, Уолдо Фрэнка.

Внешне кризис 1929 года — этот крах ненавистой Хемингуэю биржевой, денежной, деловой Америки — слабо задел Хемингуэя, сказавшего об этой Америке свое слово еще в «Вешних водах». Терять ему в США было, собственно, еще нечего. Творческое признание, да и кое-какие гонорары за перепечатки шли к нему в гораздо более широком, почти мировом масштабе, а в Нью-Йорке можно было положиться и в деловом отношении на Макса Пёркинса.

Хемингуэй, старавшийся как раз в это время как-то преодолеть свой внутренний кризис, замкнулся в себе. Но этот внутренний кризис — моральный и творческий, толкавший его к пессимизму и удрученности, к мыслям о смерти и о Ничто, конечно, питался отголосками общей подавленности кризисных лет, хотя переживал его Хемингуэй один, в своем кизустском уединении.

Кончив «Прощай, оружие!», Хемингуэй как бы подвел черту прожитым годам. О том, что потрясло или омрачило его молодость, было сказано, хотя бы намеком, все, что, по его мнению, можно было сказать вслух, не слишком обижая живых. Остальное приходилось теперь изживать про себя. Внешне и в эти кризисные годы у него все как будто обстояло благополучно. Он был признанным писателем. Многие взбаламученное жизнью уже осело на страницах его книг и хотя бы частично улеглось в архивах памяти. У него был, наконец, свой прочный семейный очаг, хорошая, преданная жена, о которой он уже после второй мировой войны говорил брату Лестеру: «Знаешь, я был женат три с половиной раза. И из всех из них лучше жены, чем Полина, никто не мог бы пожелать». И действительно, Полина Пфейфер при первом же знакомстве легко завоевывала симпатии. Она сумела расположить к себе и родителей Эрнеста и его брата. Росли дети, в 1932 году родился второй ее сын, Грегори. И многое коренным образом изменилось в жизни самого Хемингуэя. У него был новый дом, сложился новый образ жизни, а вот новые песни никак не складывались.

Поскольку гонорар с «Фиесты» был обращен на обеспечение Хэдли и сына, деньги к Хемингуэю пришли, собственно, только с выходом книги «Прощай, оружие!». Но и до этого Полина Пфейфер, в своем стремлении удержать Хемингуэя возле себя, приложила много стараний, чтобы изолировать его от старых друзей и найти ему местопребывание и занятия по душе и по вкусу.

Не в пример Хэдли Полина была хозяйственна и практична. В руках ее были деньги. Они присмотрели, каза-

лось, подходящее убежище на последнем из рифовых островов, вытянувшихся от Флориды к Кубе, и на самой оконечности этого острова, рядом с маяком и рыбацкой пристанью, на сравнительно пустом участке, поросшем пальмами, они, сменив несколько квартир, купили, наконец, двухэтажную виллу старой испанской постройки с галереей по второму этажу и с отдельно стоящей кухней и сараем.

Полина Пфейфер очень старалась устроить быт Хемингуэя и с головой ушла в улучшения и перестройки. Старую виллу вычистили, обновили, обставили в духе американского комфорта. В пристройке внизу оборудовали ванну, душ, прачечную, кухню; наверху надстроили рабочий кабинет, соединив его мостиком с верхней галереей основного дома. Не было тут назойливого визга пилы и древесной пыли чердака 113, Нотр-Дам де Шан. Но странное дело, вилла 907 по Уайтхед-стрит стала со временем чем-то напоминать дом 600 по Норт-Кенильворт-авеню, и даже отдушины озера Валлун здесь не было. Правда, был кабачок Джози Росса и моторка «Анита», которую он сначала сдавал, а потом и продал Хемингуэю. Условия для творчества, казалось, были созданы, но творческая работа не развертывалась. Поселившись на родине, пусть на самой ее окраине, Хемингуэй опять хотя бы краешком глаза увидел свой народ. Но какой? Выкинутых сюда в лагеря ветеранов, рыбаков, промышлявших контрабандой, и контрабандистов, ловивших рыбу, а со временем все больше и больше любопытных туристов, постепенно становившихся подлинным бичом Ки-Уэста. В одном из фельетонов для журнала «Эскуайр» — «Гости на Уайтхед-

стрит» — Хемингуэй с шутивным, но нескрываемым раздражением рассказывает, как он попал в осаду. Когда Ки-Уэст стал привлекать все больше туристов, то, стремясь удовлетворить их спрос на достопримечательности, муниципалитет будто бы включил в список достопримечательностей под № 18 и виллу Хемингуэя. Тогда Хемингуэй нанял старого, страдающего проказой негра Натаниэля, чтобы тот встречал посетителей у калитки и говорил: «Я самый и есть Хемингуэй». Нам это может показаться невероятным, но не все ли равно любопытному туристу, он готов выудить какую-нибудь сенсацию и у этого старого негра, плетущего всякие небылицы. В конце фельетона Хемингуэй говорит: «Натаниэль! Возьмите себе за правило всегда запирать парадную дверь». Но разве от любопытных запереться? И сквозь шутивный фельетон прорывается прямо-таки вопль отчаяния, словно в предвидении того, что много еще таких издевательских интервью придется давать уже не негру Натаниэлю, а самому Хемингуэю. Да и вообще, если дом на Уайтхед-стрит чем-то стал напоминать дом на Кенильворт-авеню в Ок-Парке, то спасение могло быть опять-таки только в работе. Но больших тем не всплывало, у Хемингуэя начиналась длительная творческая пауза.

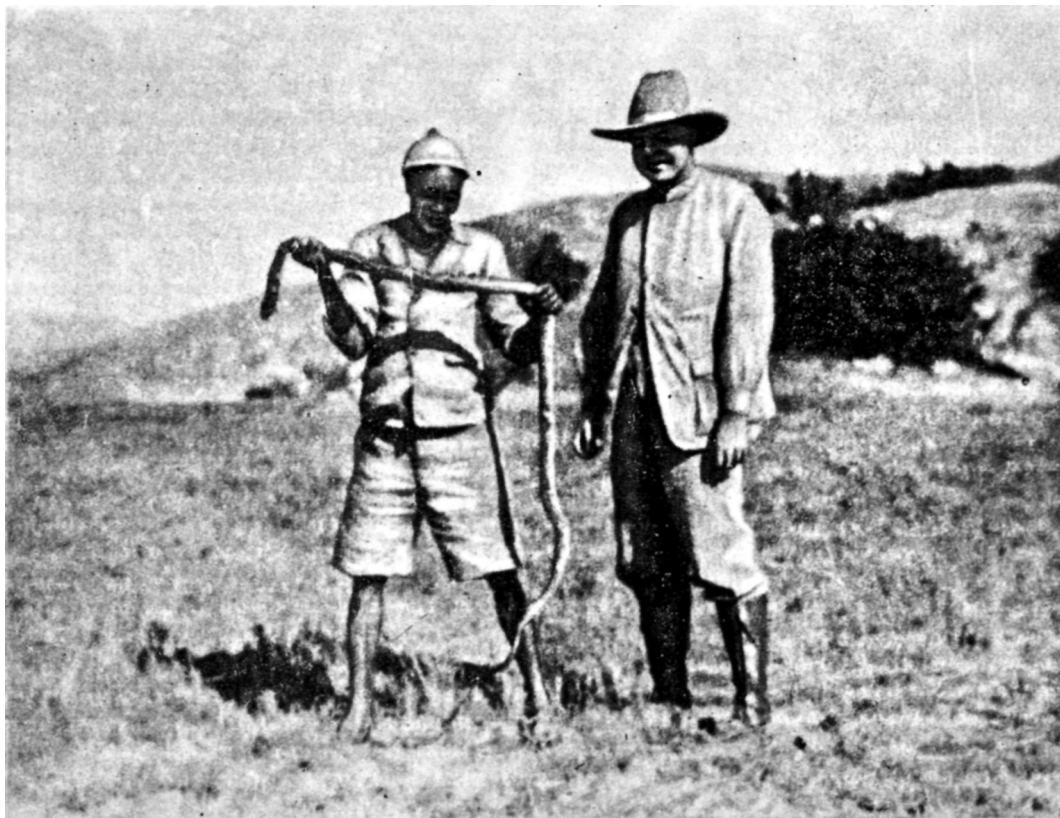
Бывали периоды, когда Хемингуэй заполнял ее мелкими забавами: площадка для бокса была за углом, лодку для рыбной ловли можно было взять на пристани, катерок «Аниту» — в кабачке Джози Росса. Но со временем заботы Полины распространились и на эти забавы. «Анита» уже стала уходить за большой рыбой подальше, под Кубу или на Багамские острова, где, соревнуясь с богатыми яхтсменами,

Хемингуэй ставил рекорды, вылавливая крупных тарпанов весом до 600 фунтов и больше. Через своих братьев — богатых охотников-любителей — Полина организовывала охоту в далекой Монтане или в Экваториальной Африке; сама ревностная католичка, заставившая Хемингуэя венчаться с нею церковным браком, исключавшим развод, она поощряла его интерес к католической Испании и частые поездки туда, во время которых

он, правда, главным образом изучал бой быков. Полина Пфейфер при этом была достаточно тактична и внимательна. То ловила рыбу и охотилась вместе с ним, то отпускала одного в море, то сопровождала его в Испанию и в Африку.

Нам неизвестен бытовой уклад Хемингуэя в эти годы, но ясно, что его обширная вилла в Ки-Уэсте совсем не похожа на мансарду улицы Нотр-Дам де Шан. Тут стараниями Полины Пфейфер мог бы быть создан дом — полная чаша, со своим серебром на своем столе со свечами. Тут уместны и длинные волосы и новое платье. Унылый

Носильщик ружей показывает Хемингуэю восьмифутовую танганьика, 1934.



дождь во Флориде в диковинку, но тут можно завести и без дождя не одну, а много кошек.

Тут Хемингуэй был дома и как бы не дома. Он хотел по-прежнему полной творческой отдачей и новых достижений, хотел писать правдивую прозу о человеке, но работа не ладилась, и он давал согласие на постылые киноинсценировки и посылал халтурные фельетоны в «Эскуайр» как своего рода вклад на содержание дорогостоящей виллы, на постройку и эксплуатацию своего личного мотобота.

Хемингуэй уже стал знаменитостью, в доме было полно гостей, часто завистливых и недоброжелательных. Во двор, несмотря на Натаниэля, рвались туристы и всякие любопытные. Дома не работалось, и щетны были попытки разного рода игрушками занять издевавший свою силу талант и неусыпную совесть бойца.

Вместо постоянных, якобы отвлекающих от письменного стола корреспондентских выездов в места больших событий, вместо общих интересов с иными из передовых людей Парижа и всей Европы — рядом за углом арены бокса, может быть, петушиных боев, и бар Джози Росса с его клиентами-контрабандистами, рыбаками, ветеранами из рабочих лагерей.

Из старого круга друзей приезжали ловить рыбу Дос-Пассос, МакЛиш, но теперь разговоры все чаще велись не о литературе, а о сноровке рыболовов, а на этой почве Хемингуэй был нестерпим, и дело кончалось ссорами. А кроме них, были богатые любители-яхтсмены — как он все больше убеждался, скучный народ.

В письмах проскальзывают нотки — надо же кормить и даже не маленькую, а большую семью. Как показала жизнь, у Хемингуэя было слишком

много протестантской закваски, чувства долга и ответственности, чтобы его могли удовлетворить хотя бы и рискованные мужские забавы или тем более положение временного полуналебника-рантье. Полина, как вдова Дуглас, всячески пыталась обломать и образовать своего великовозрастного Гека Финна. В этом смысле трудно было найти лучшую жену и ничего не могло быть хуже для него этой лучшей из жен. Не отсюда ли различные эскапады: охотничьи вылазки, крейсерство за рыбой на Багамы и эти добровольные поиски опасности на сафари в Африке или на арене боя быков взамен той неотвратимой опасности войны, которой он подвергался в молодости и которой ему, вместе с его боевыми товарищами, еще предстояло подвергаться в следующих войнах?

Легенда сопровождала и этот этап жизни Хемингуэя, но в ней не было уже фантастики военных подвигов, не было обаяния и свежести поры молодого расцвета, поры «Фиесты».

Как и прежде, легенда частично отражала действительное положение, а оно и самому Хемингуэю рисовалось туманно. После «Фиесты», «Прощай, оружие!», «Мужчин без женщин» сам Хемингуэй сознавал себя чемпионом американской литературы, однако чемпионом, долго не подтверждавшим этого звания. После «Прощай, оружие!» равноценных литературных достижений, новых шедевров он еще не создал. А сознание превосходства и желание сохранить его во что бы то ни стало чувствовалось в самой его угнетенности. Конечно, эта тяга к чемпионству прикрывала, как и шалопайство Ролингса в «Пятой колонне», нечто гораздо более серьезное.

Со стороны критики было признание

силы, не всегда направленной на достойные его таланта цели, и было много недоброжелательности и простой зависти по отношению к этому бирюку. И в самой легенде — меньше и дружеских надежд и пожеланий, больше враждебных домыслов. А в сфере анекдотов характерна, например, болтовня Дороти Паркер, которая в 1929 году писала, что Хемингуэй «так крут в обращении, что принял за правило ежедневно расквашивать нос своей матери-вдовы», что он диктует свои рассказы, потому что сам не умеет писать, а потом заставляет читать их себе вслух, потому что сам не умеет читать; что он настолько оторвался от родины, что рвет в клочья каждый американский флаг, который попадается ему во Франции... Что он был и бродягой, и взломщиком сейфов, и подручным на бойне, что его в любой час дня и ночи можно застать в кафе «Селект» полощущим десны абсентом, что полученная им в первую мировую войну рана не поддается описанию и что пишет он также под именем Морлея Калахана. Среди недоброжелателей и потерпевших шел шепоток об угрюмом инвазиве войны, стремящемся афишировать утерянное мужество, о грубияне, опасном во хмелю драчуне-тяжеловесе. А с этой обывательской молвой смыкалась концепция критиков о Хемингуэе как апостоле смерти и насилия. Достаточно посмотреть заглавия статей о нем начала тридцатых годов и даже позднейших лет: «Бык после полудня», «Канон смерти», «Факелы насилия», «Насилие и дисциплина», «Этот грубиян Хем», «Писатель, всецело поглощенный темами смерти и насилия» и т. д.

Все это критики писали, совершенно не считаясь с тем, что почти каждая

книга Хемингуэя пропитана сочувствием и пронзительной болью за человека. И в каждой книге мужественное преодоление этой боли и страха, и одна из двух масок автора — грубоватость или ирония, которые скрывали эту боль.

Но легенда вскрывала другое неблагополучие — какую-то внутреннюю неуверенность, что он перекроет свои прежние книги, а иначе стоит ли писать? «Я знаю, что я за сукин сын, но я знаю, на что я годен».

Когда человек собирается писать о ловле крупной рыбы, то он должен знать и теорию и практику этого трудного дела. Но тут экскурсии на Багамы, состязания, погоня за самой крупной меч-рыбой — рекорд.

Точно так же и бокс, непрменный матч с каждым из вновь появившихся в Ки-Уэсте боксеров, воспринимался и расценивался недоброжелателями как задиристость бойцового петуха, как стремление непоположенными средствами подтвердить свое первое место в литературе.

Все это признаки оглядки и сомнения — как будто он старается себе доказать, что он чемпион в области литературы, тем, что занимает первое место во всех остальных видах мужской деятельности. Он чемпион бокса, стрельбы, охоты на крупную дичь и большую рыбу, знаток боя быков, но, как это у него бывало, победитель ставил и побивал рекорды, опять-таки не получая ничего — по крайней мере в сфере литературы. Он, который в хорошее время проглядывал все на километр вокруг и на метр в землю, теперь, в угнетении, все упорнее и недоверчивее вглядывался в себя и в человека вообще (книга «Победитель не получает ничего»).

Ему все ненавистнее становится бур-

жуазный быт, от которого он так упорно отрывался (но к другому не пристал) и с которым теперь все же срастался через быт Ки-Уэста.

Прорывается болезненная ирония, иногда доходящая до нарочитого нигилизма. И самый облик его разменивался на мелкие рекорды. Рыбная ловля — да, поймал за самый короткий срок самую крупную меч-рыбу в 610 фунтов, — но что это меняет для него в литературных делах? Бокс — да, победил еще одного сфальшивившего профессионала, но это годится разве что на то, чтобы отпугивать любопытных от виллы на Уайтхед-стрит.

Вот и получается, к сожалению, что сейчас он давал пищу для легенды больше не о творческом человеке, а о житейском, который, впрочем, по-прежнему оказывался защитной маской. Причем очень разной. То это, с прической и бородкой à la Белинский, интеллигент в штате Монтана в 1932 году с рогом оленя (опростившийся Джордан или Макомбер), то улыбающийся, коротко подстриженный чернявый усач — из отличных стрелков учебных команд, растягивающий рога двух антилоп куду в Центральной Африке в 1933 году, больше похожий на егеря Уилсона, чем на его клиента Макомбера.

Несмотря на внешнюю экзотику поездок в Испанию, Африку, Монтану, биографическая сторона жизни Хемингуэя была теперь менее богата, но это не означает, что приостановились внутренняя творческая работа и морально-этические искания. Говоря словами писателя Гарри, по мере того как скапливался у него жирок души, нарастало и желание согнать его и росло такое знакомое Льву Толстому ощущение, что в известных обстоя-

тельствах спокойствие — это душевная подлость.

Не создав за семь лет ничего равного «Фиесте» и «Прощай, оружие!», Хемингуэй не переставал писать рассказы, в которых добирал или закруглял старые темы. «Отцы и дети» завершали воспоминания юности, «Свет мира» — рассказывал о раннем бродяжничестве, «Какими вы не будете» — раскрывал фронтовую травму, «Посвящается Швейцарии» — завершал так называемый супружеский цикл, «Вино Вайоминга» — обнаруживал скрытую чуткость и внимание к человеку. Но было и новое. Хемингуэю все труднее было, как это ему удавалось еще в недавней юности, кипучей работой отгонять и фронтовые травмы и послевоенные кошмары. В большинстве рассказов сборника «Победитель не получает ничего» (1933) все мрачнее становится умонастроение автора, все пристальнее его внимание к некоторым навязчивым темам, еще долго не находившим разрешения в его творчестве. Это тупик надежд, смерть, ничто.

И если раньше Хемингуэя интересовала смерть на войне как узаконенный государством процент смертности; если на арене боя быков сам Хемингуэй проводил, так сказать, лабораторный опыт наблюдения над красиво организованной внезапной насильственной смертью, с которой все же тореро боролись по всем правилам, — то вскоре он обнаружил, что и патристические лозунги войны и правила игры на арене — всего лишь фальшь.

А дальше — больше: самоубийство отца, вызывающая игра со смертью на охоте, вынужденный смертельный риск из-за куска хлеба заставили Хемингуэя вглядываться в эти тягостные

аспекты умирания и при этом взглянуть в ту пустоту великого Ничто, которое с такой силой показано им в рассказе «Там, где чисто, светло».

Но даже оставаясь в пределах земных, реалистических проблем, Хемингуэй теперь временами начинает ставить вопросы и требует ответов и лекарств, очевидно, от Докторов социальных наук. Ведь в рассказе «Дайте рецепт, доктор» его мучит не только нестерпимая боль сложного перелома, но и неотвязные вопросы: «Неужели наша свобода — это только заглавие журнала МакФадена?», «Неужели демократические блага, которыми так хвастается американская демократия, это всего лишь опиум для народа и один только катарсис революции может устранить болезнь?»

И нужно сказать, что вопросы, поставленные мистером Фрэзером, еще долго оставались для Хемингуэя не решенными.

Книгой «Смерть после полудня» (1932) завершена была еще одна линия в творчестве Хемингуэя. Еще с начала двадцатых годов Хемингуэй приглядывался в Испании к бою быков, даже сам, случалось, брал быка за рога на арене. Он писал тогда же «Непобежденного», «Фиесту». А с 1929 года началось пристальное, чисто профессиональное изучение боя быков, в котором ему помогал единственный, кажется, матадор американец Сидней Франклин, сопровождающий его по корридам Испании и Мексики. Теперь бой быков был для Хемингуэя уже не частицей жизни, а объектом наблюдения.

Готовя книгу, он ставил себе психологическую задачу показать, как матадор своим искусством преодолевает страх смерти и самое смерть. У лучших матадоров старшего поколения,

у Маэры, Бельмонте, у своего любимого Ордоньеса, Хемингуэй нашел некоторое подтверждение этой мысли, но в целом бой быков оказался просто коммерческим предприятием, а «искусство матадора» — декадентским вырождающимся ремеслом и обманом публики. С другой стороны, Хемингуэй твердо стоял на том, что, если матадор не фокусник, он настоящий боец, обнаруживающий в смертельный «момент истины» все хорошее и плохое в человеке.

И рассуждая в обильных экскурсах об общих вопросах искусства, Хемингуэй настаивает по аналогии, что если писатель не халтурщик и не надутый высокопарный сыч, то он должен каждую минуту глядеть в лицо вечности, и если ему удастся проникнуть в суть явлений и написать об этом так, чтобы это осталось действенным надолго, а может быть, даже и навсегда, то он победит смерть средствами искусства. Написан был трактат, кончились поездки в Испанию. Полина и ее родственники тут же позаботились устроить охотничью экспедицию в северо-западную Экваториальную Африку. Это было в стороне от больших экспрессных линий, и, добираясь туда на маленьком каботажном пароходе, Хемингуэй заразился амёбной дизентерией и после нескольких недель охоты вынужден был сделать перерыв для лечения.

«Зеленые холмы Африки» (1935) — это, собственно, путевой дневник. Прекрасные описания охоты, конечно, не поддаются пересказу, а довольно громоздкий и наигранный разговор об охотничьем быте едва ли достоин такого же пересказа. В «Зеленых холмах Африки» и в двух рассказах, возникших на том же материале, поставлены две параллельные темы: пре-

одоление страха перед зверем у охотника и преодоление страха перед жизненными условностями у писателя, который, наконец, решается сказать многое, не боясь обидеть живых. В африканских рассказах появляется образ богатой жены-погубительницы. Основной прототип — это Зельда Фицджеральд, погубившая не только талант мужа, но в известной степени и самую его жизнь (по аналогии с Маргот Макomber). Но по какой-то другой, далекой аналогии угроза или опасность того же ощущалась ближе, рядом, на Уайтхед-стрит.

А в «Снегах Килиманджаро» писатель Гарри вспоминает неиспользованные возможности и сурово оценивает упущенное время. «Холодный как змий», он еще в 1923 году принимал решение отказаться от малой и бороться оружием большой литературы. В конце «Смерти после полудня» писатель декларативно варьирует решения 1923 года: «Пусть те, кто хочет, спасают мир — если они видят его ясно и как единое целое... Самое важное работать и научиться этому».

Слов нет, создание «Фиесты», «Прощай, оружие!» по-своему помогло осмыслить влияние войны и ее последствия, и сам писатель в известной степени создал долговечные вещи. Но вот он наедине со своим собственным судом и сам представляет себе человеком, не выполнившим своего долга. Это уже не «холодный змий», принимающий мудрые решения, а «змея с перебитым хребтом».

И мистер Фрэзер, и писатель Гарри, и сам Хемингуэй не могут уйти или уклониться от гражданских публицистических оценок. Спокойствие душевное в известных обстоятельствах было бы действительно подлостью. Когда-то Кребса и Ника Адамса волно-

вало то, во что превращаются и люди и природа родной страны. Кребс задыхался в домашнем укладе, Ник Адамс возмущался выжженными, опустошенными лесами недавних охотничьих угодий. Теперь Хемингуэй опять не может уйти от этих гражданских оценок. Хорошая была страна Америка, но как же ее испакостили! В Монтане, там, где еще недавно был охотничий заповедник, — мотели, гостиницы, лыжные базы пресловутой Скво-Вэлли. А люди его родины? Писатели нью-йоркской ярмарки на площади, которых он сравнивает с червями, копошащимися и пожирающими друг друга в банке. Или рядом на рифах вчерашние фронтовые герои спиваются и теряют человеческий облик в лагерях для ветеранов. А там, в Экваториальной Африке, еще почти тронутые цивилизацией негры, красавцы как на подбор, приветливые и веселые масаи, которые, не теряя своей горделивой осанки, легко бегут рядом с их автомобилем. Куда бы ни проникала растлевающая струя американской цивилизации, поток ее туристов — всюду она порождает клоаку. И в большом экскурсе о Гольфстриме Хемингуэй особенно отмечает всеочищающую силу этого мощного порождения природы.

Хемингуэй разделяет взгляды о двух Америках, с большой силой выраженные Майклом Голдом, Сэндбергом, МакЛишем и недавно подтвержденные в таком заявлении Рокуэлла Кента:

«Есть две Америки, одну я люблю, другую — ненавижу. Одна — Америка простых людей, о которых пели Уитмен и Сэндберг, людей, чьими руками создавались и создаются материальные блага. Другая Америка — страна магнатов, промышленных и финансовых

королей, людей, которые в погоне за корыстью оскорбили своими гнусными поступками совесть Человечества и нанесли непоправимый вред стране Линкольна и Вашингтона».

К таким настроениям люди приходили от повседневного соприкосновения с тем, что стало привычной обыденщиной. Но жизнь столкнула Хемингуэя и с чрезвычайными обстоятельствами, где средства искусства были бессильны, а помощь нужна тотчас же.

Ураган захлестнул лагерь ветеранов на Матекумбе. Никаких мер предосторожности принято не было, произошла грандиозная катастрофа с сотнями человеческих жертв. Правительство долго раскачивалось, и первыми на помощь прибыли добровольцы, в их числе и Хемингуэй на своем катере. Когда первая действенная помощь была оказана, Хемингуэй вспомнил, наконец, что он может помочь и пером — не беллетриста, а публициста. Он тут же написал страстный, негодующий памфлет «Кто убил ветеранов во Флориде?», в котором обвинял правительство и самого президента в преступном попустительстве. Фельетон был им послан в прогрессивный журнал «Нью Массиз» и был перепечатан в коммунистической «Дейли Уоркер».

Узнав об этом, престарелый Линкольн Стеффенс отозвался следующими взволнованными строками:

«Эрнест Хемингуэй, который годами зарабатывал свой хлеб искусством, творя ради искусства, увидел, как заброшенные на рифах Флориды ветераны застигнуты и убиты здесь ураганом.

И детали и причины происшедшего обрушились на Хемингуэя, как буря, и подхватили

его — у Хемингуэя есть сердце, — и он решил написать на этот раз не ради искусства. А писать он, вы знаете, может; когда он скажет «к черту искусство», — этот человек творит искусство, как настоящий художник... И очень обдуманно, тщательно, с предельным уважением к деталям он написал, что наделал там ураган и чего не позаботилось сделать правительство. И не стал предлагать написанное в один из ведущих журналов, которые высоко оценивают его искусство. Эрнест Хемингуэй послал этот жизненный документ в красное коммунистическое издание.

И красные должны понять и навсегда запомнить, что, когда Эрнест Хемингуэй чувствует себя жизненным фактором, он пишет для настоящих живых людей и в настоящих журналах, и туда он пойдет, когда фашизм охватит весь мир. Туда пойдут все настоящие художники».

Не менее страстно отозвался Хемингуэй как публицист на вторжение фашистов в Абиссинию. В фельетоне «Крылья всегда над Африкой» он клеймил сынков Муссолини, безнаказанно расстреливающих абиссинцев с воздуха, и призывал итальянских рядовых пехотинцев понять, ради чего они станут пищей кондоров и грифов и кто их настоящий враг. Фельетон этот был напечатан в журнале «Эскуайр», который на несколько лет стал для Хемингуэя отдушиной. Наряду с безответственной и довольно поверхностной болтовней в этих фельетонах все чаще прорывались размышления Хемингуэя о действительности, о грядущей неизбежной войне, сопоставления с опытом журналистской юности и т. д.

Характерно, что в эти годы Хемингуэй налагал на себя обет объективного, а в «Зеленых холмах Африки» и фактографического изображения дей-

ствительности. Это оправдало себя как школа, но не принесло новых художественных достижений. И Хемингуэй возвращался в сферу высокого искусства, не добиваясь рекордов в стрельбе по большой дичи, не детально описывая их, а тогда, когда он критически, пристрастно оглядывался на свою жизнь. Была ли она такой на самом деле или нет — не так уж важно. Важно то, что он ощущал ее такую и возвел этим опять на уровень «Фиесты» и «Прощай, оружие!». Таковы были рассказы «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» и «Снега Килиманджаро».

Все это свидетельствовало, что, хотя Хемингуэй только в конце кризисного периода обрел настоящую творческую форму, в нем все время шла внутренняя творческая работа, проба новых жанров и осмысление своего отношения к ним. Хемингуэй много читал, продумывал, пересматривал, но писал мало. Если не было больших тем, оставалось поднимать малые до высокого желаемого уровня. Он в каждом жанре стремился добиваться высокого мастерства и написал, бесспорно, лучший трактат о бое быков, превосходное описание охоты и ловли меч-рыбы, несколько блестящих фельетонов в «Эскуайр». Так бой быков вырастал до трагедии и возвеличивания так называемого «момента истины», по сути дела мужественной игры со смертью. Ловля рыбы вырастала до эпоса моря и опять-таки единоборства человека с природой, неуклонного преследования намеченной цели.

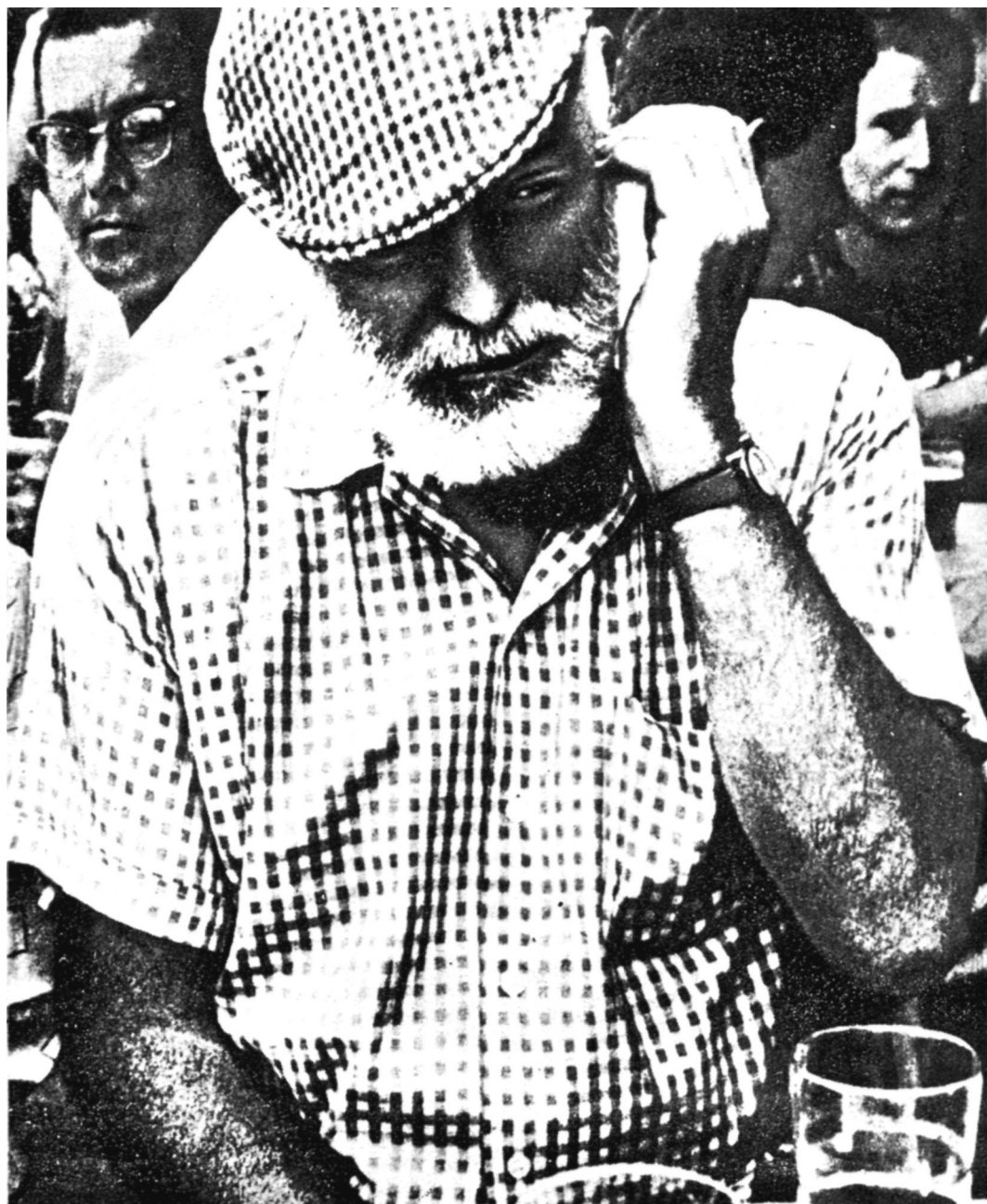
А охота вырастала в единоборство со смертью, в котором, обретая мужество, заново рождался человек. Хемингуэй всесторонне пересматривал отношение к страху, мужеству; предвидя большие испытания и большую борьбу с наглевшим фашизмом, упорно готовил себя к этой борьбе. Для того чтобы согнать жир с души, прорвать скованность долголетнего отчуждения и страха перед жизнью, нужно было бесстрашно сказать о себе и других в «Макомбере» и «Снегах». Для того чтобы правильно направить действительную помощь, нужно было решиться подать руку этим страшным красным из «Нью Массиз». И вот эта готовность безоглядно ринуться на помощь, назревшая готовность к большим решениям, объясняет непонятный для многих прыжок Хемингуэя в республиканскую Испанию, отказ от спасения мира бессмертными созданиями искусства и разрешение Джордану, да и самому себе, спасти мир через непосредственный подвиг.

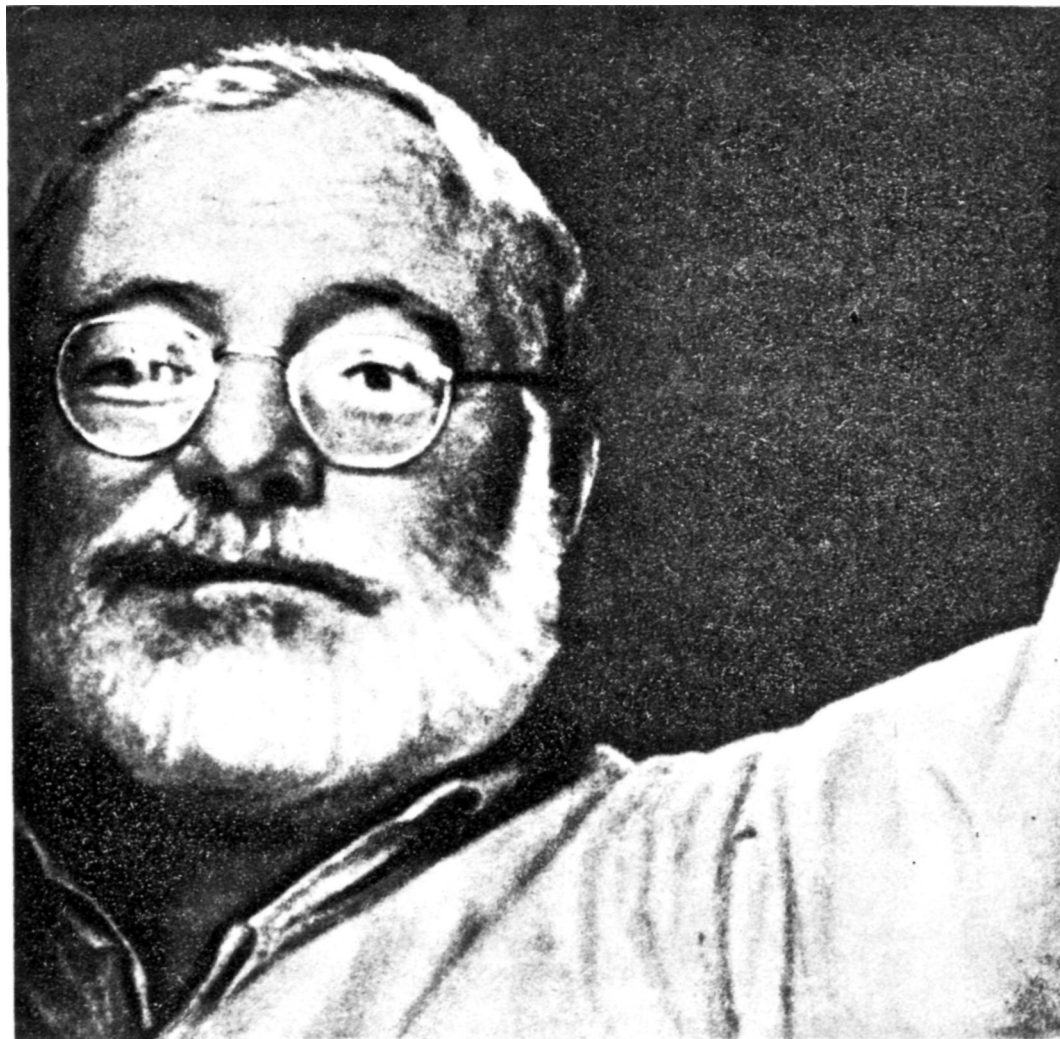
Многие боялись за Хемингуэя в семь его трудных кризисных лет, но на поверку оказалось, что не в пример Фицджеральду, который как раз к концу этого периода был на грани полного краха, Хемингуэй и после новых ломок оказался только крепче на изломе. В «Снегах Килиманджаро» змей с перебитым хребтом сменил кожу, и оказалось, что мнимо умерший человек готов к новым взлетам и что ко времени испанских событий и второй мировой войны у него оставался еще порох в пороховнице.















Об И. А. Кашкине

Биография Хемингуэя — последняя, незавершенная работа известного литературоведа, критика и переводчика Ивана Александровича Кашкина (1899—1963).

И. А. Кашкин был человеком талантливым и разносторонним. Своей литературной и общественной деятельностью он снискал себе заслуженное уважение в широких кругах советских литераторов. Почти сорок лет он изучал англо-американскую литературу и знакомил с нею советских людей. Он писал литературоведческие и теоретические работы, критические статьи, рецензии; он переводил многих полюбившихся ему писателей Англии и США — и прозаиков и поэтов; наконец, он был превосходным педагогом, увлеченным и умеющим увлечь других. Литературный талант органически сочетался в нем с эрудицией ученого, и всякое литературное явление он воспринимал одновременно и как писатель и как литературовед. Кашкин не мыслил себе возможности переводить писателя, которого он не изучил бы основательно, притом не изолированно, а на фоне его эпохи, его социального и литературного окружения. С другой стороны, изучение эпохи, литературных течений и более подробно

того или иного писателя неизбежно выливалось не только в статьи или книги, но и в переводы его произведений. Так, одной из самых крупных работ Кашкина остается его перевод большей части «Кентерберийских рассказов» поэта XIV века Чосера, родоначальника английской поэзии. Этому переводу предшествовали и сопутствовали углубленные литературно-исторические исследования, не только необходимые для самого перевода, но и составившие целую книгу, частично напечатанную в журнале «Литературный критик» (1940, № 9—10) под названием «Реализм Чосера». Или другой пример: в английской литературе XIX — начала XX века Кашкина особенно привлекало течение, которое можно назвать «неоромантизмом» (Стивенсон, Конрад, Честертон). Об этих трех писателях Кашкиным созданы интересные, к сожалению, до сих пор не напечатанные биографические статьи. И перевод рассказов Честертонна — одна из первых работ совсем еще молодого Кашкина-переводчика, а из Стивенсона он перевел сперва повесть «Дом на дюнах», а затем — свой любимый роман этого писателя «Владелец Баллантрэ», который был издан в одномомнике Стивенсона в издательстве «Молодая гвардия» (1957) с его же послесловием. В числе многих неосуществленных замыслов Кашкина было и собрание сочинений Стивенсона на русском языке¹.

И. А. Кашкин был также одним из виднейших теоретиков художественного перевода у нас в стране, одним из тех, чьими силами намечались пути и принципы советской переводческой школы. Он написал десятки статей, прочел десятки докладов о переводе. В этих статьях и докладах велась неустанная борьба с течениями, тормозившими развитие искусства художественного перевода, борьба за выработку подлинной теории перевода, подытоживающей и обобщающей лучшие до-

¹ Новелла Стивенсона «Ночлег Франсуа Вийона» в переводе И. Кашкина печатается в настоящем сборнике.

стижения в этой области, борьба за место переводчика в рядах писателей своей страны. Эта сторона деятельности Кашкина была в большой мере педагогической, однако Кашкин был педагогом и в более узком смысле. Он начал рано: еще в бытность свою в Красной Армии в 1918—1921 годах преподавал в военных школах русский язык, литературу, экономическую географию; с 1923 года, еще не окончив университета, был ассистентом по кафедре художественного перевода в Литературном институте имени Брюсова и вел там комплексный курс английской литературы, стилистики и художественного перевода, а затем много лет преподавал литературный перевод на специальных курсах иностранных языков и в Институте новых языков. Из слушателей Кашкина и образовался затем более узкий кружок — тот переводческий коллектив, которым он долгое время руководил и из которого вышли такие переводчики, как Н. Волжина, Н. Дарузес, Е. Калашникова, В. Топер, О. Холмская. В настоящее время учениками Кашкина в области художественного перевода могут считать себя не только те, с кем он непосредственно занимался, но и новое поколение — ученики этих его учеников.

Особое место в деятельности Кашкина занимает его многолетняя работа над Хемингуэем.

Началась она тридцать лет тому назад, когда в № 1 журнала «Интернациональная литература» за 1934 год был напечатан перевод двух новелл Хемингуэя: «Убийцы» и «Индийский поселок», и статья Кашкина о них. В том же году в журнале «Литературный критик» (№ 9) появилась статья Кашкина «Смерть после полудня», а в «Литературной газете» от 18 октября — его заметка «Помни о...». И в том же году вышла первая книга Хемингуэя на русском языке — сборник рассказов «Смерть после полудня» (Гослитиздат) с предисловием Кашкина, в переводах, сделанных членами его коллектива.

Так благодаря Кашкину Хемингуэй стал впер-

вые известен советским читателям. Уже в ранних его статьях был дан и социально-литературный фон, на котором возник Хемингуэй, и его эволюция вплоть до творческого тупика, в котором он оказался в начале тридцатых годов, и яркий анализ его стиля; а восхищение неподкупно честным и мужественным писателем сочеталось в них со строгим и открытым осуждением его за узость кругозора («добровольно надетые шоры»), за поиски выхода на путях сугубого индивидуализма и уход от острых вопросов современной действительности.

В последующие годы работа над переводом произведений Хемингуэя в Советском Союзе продолжалась. Журнал «Интернациональная литература» печатал его романы — «Фiesta» (1935), «Прощай, оружие!» (1936), «Иметь и не иметь» (1938). Романы эти вышли у нас и отдельными изданиями, а в 1939 году появился сборник «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов» с послесловием Кашкина. Таким образом, к 1939 году достоянием советских читателей стало все наиболее ценное, что было к этому времени создано Хемингуэем.

Собственных переводов из Хемингуэя у Кашкина немного — десяток рассказов и очерков, в том числе напечатанный посмертно рассказ «Ночь перед боем» («Иностранная литература» № 2, 1964). Но «русский Хемингуэй» неразрывно связан с именем Кашкина — и не только потому, что Кашкин знакомил с ним советского читателя, так сказать, теоретически, тем, что писал о нем. Кашкин, кроме того, был неутомимым организатором переводов Хемингуэя — львиная доля этой работы выполнена либо отдельными его учениками, либо коллективом переводчиков, о котором упоминалось выше. Он же был составителем всех русских сборников сочинений Хемингуэя — от самых первых до большого двухтомника, вышедшего в Гослитиздате в 1959 году. Благодаря Кашкину, под его руководством, родился стиль «русского Хемингуэя», которого

знают и любят миллионы читателей у нас в стране.

После 1934 года появились и новые статьи Кашкина о Хемингуэе. Одна из них была напечатана в английском издании советского журнала «International Literature» (№ 5, 1935), и Хемингуэй отозвался на нее длинным письмом Кашкину. Он писал: «Приятно, когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь. Каким я при этом кажусь, не имеет значения». Дальше речь идет о критике вообще, о писателе и государстве, о писательском труде (это письмо напечатано в журнале «Вопросы литературы» № 10, 1962), а заканчивается письмо так: «Надеюсь, я еще не надоел Вам. Я лишу Вам все это потому, что Вы так заботливо и тщательно изучили то, что я написал, и затем, чтобы Вы знали кое-что из того, о чем я думаю. Пусть даже, прочитав это. Вы окажетесь обо мне еще худшего мнения. Мне наплевать, знают ли наши американские критики, о чем я думаю, потому что я не уважаю их. Но Вас я уважаю и ценю, что Вы пожелали мне добра». В 1937 году, вернувшись ненадолго в США с испанского фронта, Хемингуэй писал в коротенькой записке в одно из московских издательств: «Надеюсь, что Кашкину еще довольно долго придется пересматривать окончательную редакцию моей биографии». И в 1939 году снова в письме к самому Кашкину: «Я очень, очень рад... что переводы моих вещей в СССР в руках того, кто писал на мои книги лучшие и наиболее поучительные для меня критические оценки из всех, какие я когда-либо читал, и кто, вероятно, знает о моих книгах больше, чем знаю я сам». А в 1946 году, уже после войны, Хемингуэй пишет в письме К. Симонову: «Есть в СССР один молодой человек (теперь уже, наверно, старый) по имени Кашкин... Это лучший критик и переводчик, какого я когда-либо имел. Если он жив, передайте ему привет». Это редкостный пример дружеского общения между писателем, да еще так мало прислушивавшимся к критике, как Хемингуэй, и челове-

ком, с которым он никогда не встречался, но в котором по двум-трем статьям распознал вдумчивого и понимающего критика. А Кашкин и вправду не переставал «пересматривать окончательную редакцию» жизненной и творческой биографии Хемингуэя. В своих статьях он как бы шел за ним следом, отмечая, а то и предсказывая новые этапы в его эволюции, предостерегая его от опасности одиночества, призывая обратиться к более широкому общественным проблемам, приветствуя приход Хемингуэя в лагерь антифашистов и его открытую борьбу в рядах защитников республиканской Испании.

В 1944 году, в трудных условиях военного времени, Кашкин защитил кандидатскую диссертацию (к сожалению, не опубликованную), в которой, как в фокусе, собралось все, что было им до тех пор написано о Хемингуэе. Здесь и развернутая социально-политическая картина США в начале нашего века, и обзор основных течений американской литературы того времени, и биографические данные о Хемингуэе, и оценка его с идейных позиций, и анализ его стиля, и большая глава о связях Хемингуэя с русской литературой — тема, затронутая Кашкиным еще в 1939 году в статье «Переключка через океан» («Красная новь» № 7). Приведенная библиография свидетельствует о том, как тщательно и полно Кашкин изучил все, что писалось о Хемингуэе и у нас, и в США, и в странах Западной Европы.

Большая статья «Перечитывая Хемингуэя» («Иностранная литература» № 4, 1956) не только охватывает новые этапы творчества писателя, но в большой мере обращена к новому поколению читателей. (Ее английский вариант «Alive in the Midst of Death». «Soviet Literature» № 7, 1956, был включен в сборник «Хемингуэй и его критики», изданный в США в 1961 году.) После этого до самой смерти Кашкина не проходило года, чтобы он не публиковал либо статьи, либо перевода из Хемингуэя, либо комментарии или предисловий к его книгам.

Кашкин всего на два года пережил своего героя. После смерти Хемингуэя в американской печати появилось много нового о нем. Издана посмертно и одна из его книг — «Праздник, который всегда с тобой» («Иностранная литература» № 7, 1964). Несомненно, что и советская критика еще много раз будет возвращаться к Хемингуэю. Да и раньше о нем писал не только Кашкин. Не говоря уже о наших литературоведах (которые, к слову сказать, порою расходились с оценками Кашкина), о нем в разное время и по разным поводам сказали свое слово такие несхожие между собою советские писатели, как И. Эренбург и П. Антокольский, А. Платонов и В. Каверин, К. Федин и Ю. Олеша, К. Тренев и К. Паустовский, К. Симонов и многие другие. Но выбрать Хемингуэя в постоянные свои спутники, следить за ним шаг за шагом, снова и снова пытаться осмыслить его творчество в целом и донести до советского читателя и эти свои оценки и самые произведения Хемингуэя — в этом исключительная заслуга И. А. Кашкина. Теперь никто, обращаясь к Хемингуэю, уже не сможет пройти мимо того, что им сделано. Своего рода итогом этой неутомимой, многолетней работы и должна была явиться наряду с монографией «Творчество Хемингуэя», принятой к изданию в издательстве «Художественная литература», биография писателя, начало которой опубликовано в настоящей книге.

Кашкин успел написать только первые шесть глав своего труда, охватывающие детство и юность писателя, итальянский фронт, годы журналистской работы и литературного ученичества в Чикаго и в Париже, выход первых

сборников рассказов и первых романов, принесших ему славу, творческий кризис начала тридцатых годов, короче говоря — первые тридцать пять лет из шестидесяти двух, прожитых Хемингуэем. Однако и по этим первым главам видно, как интересно задумана книга в целом. О чем бы ни писал Кашкин, он все время держит в поле зрения всю жизнь Хемингуэя (этим, между прочим, объясняются некоторые временные перебивки в повествовании). Ключом к этой работе может служить заявка, сделанная автором в конце вступления, — «человек и писатель, жизнь которого была творчеством, а творчество возникало из собственной жизни». Мы знаем, что в теоретических статьях о Хемингуэе Кашкин прослеживал последовательные обличья его «лирического героя» или «двойника» — Ник Адамс из ранних рассказов — тененте Генри из романа «Прощай, оружие!» — писатель Гарри из рассказа «Снега Килиманджаро» — полковник Кентуэлл из романа «За рекой в тени деревьев» — Роберт Джордан из романа «По ком звонит колокол». В этой же последней работе Кашкина жанр биографии предъясвляет свои требования, и мы видим обратный процесс: те или иные события и переживания в жизни Хемингуэя как бы проецируются в будущее — в те или иные мотивы его произведений. И как не мог бы Кашкин писать о жизни Хемингуэя, не зная до малейших подробностей всего его творчества, так и читатель этой биографии сможет полностью оценить ее, только если прочтет книги самого Хемингуэя.



**«Воды-то... воды-то... крови-то... вина-то...
слез-то что с тех пор ушло».**

(Из письма А. И. Герцена)

Н. Я. Эйдельман

Век нынешний и век минувший

В старину грамотные люди писали писем много больше, чем теперь: телефона не знали, путешествовать же не только из Москвы в Петербург, но даже с Арбата в Сокольники было долго и хлопотно. Возможно, впрочем, старых писем осталось так много оттого, что их просто больше берегли и собирали.

Так или иначе, но можно «загадать» любую пару известных современников прошлого столетия — скажем, Салтыкова-Щедрина и Островского или Щепкина и Шевченко, — и почти наверняка между ними была переписка. Естественно, что из десяти посетителей рукописного отдела Библиотеки имени В. И. Ленина девять заняты чтением чужих писем («Милостивый государь князь Александр Михайлович...», «Madame!..», «Мой генерал!..», «Ну и обрадовал ты меня, братец...» или что-нибудь в этом же роде). Разумеется, каждый из читателей умудрен опытом нескольких поколений любопытных предшественников. Если он интересуется Пушкиным, разыскивает неизвестные черточки биографии Достоевского или охотится за пропавшими строками Тургенева, Блока, он едва ли станет заказывать письма самих знаменитостей или послания, ими полученные: такие документы обычно давно известны, напечатаны и перепечатаны. Зато в переписке дальних родственников или друзей может вдруг встретиться неизвестное стихотворение, воспоминание или важный намек на еще не найденное. Поэтому пушкинист возлагает надежду, к примеру, на архив казанской писательницы А. А. Фукс или двоюродных братьев Натальи Николаевны Гончаровой, а толстовед (вот ведь слово какое придумали!) выясняет судьбу парагвайских корреспондентов писателя.

Я занимался Александром Ивановичем Герценом и посему копался в переписке его друзей, знакомых, их родни и друзей родни. Понятно, не мог я пройти мимо 193 писем, которые в течение 14 лет — с 1899-го по 1913-й — Мария Каспаровна Рейхель из Швейцарии отправила Марии Евгеньевне Корш в Москву.

Мария Каспаровна — близкий друг и помощник Герцена.

Мария Евгеньевна — дочь Евгения Федоровича Корша, старинного друга Герцена.

Однако даты переписки не обнадеживали: Герцен умер за 30 лет до ее возникновения, Рейхель уж очень стара, ее собеседница же представляет следующее поколение (ей около шестидесяти), Герцена никогда не видала и знает только по фамильным преданиям. К тому же с имени «нераскаившегося государственного преступника» Искандера — Герцена в начале XX столетия только начинают снимать табу, и М. К. Рейхель, адресуя письма в Москву, об этом, конечно, не забывает.

В общем научный улов в этих 193 письмах маловероятен. И все же я их заказываю и вскоре получаю.

Каждой пачке писем, как водится, предшествует лист использования: тот, кто затребовал рукопись, обязан расписаться и отметить, как он ее использовал: сделал выписки, скопировал или просто прочитал. Разумеется, я не первый, кто перелистывает плотные листочки, исписанные размашистым, но изящным почерком Марии Каспаровны Рейхель: на одном листе использования — фамилий десять, на следующем — поменьше, на третьем — еще меньше... Каждый помечает: «прочитал», «просмотрел», «смотрел», «читал»... Никто почти ни-

чего не выписывает. Просмотрев три-четыре пачки, за следующие уж не берутся. Каждому ясно, что тут нет ничего для статьи, диссертации или комментариев, касающихся Герцена. А время не ждет — есть дела поважнее, чем вчитываться в бесперспективную переписку двух старых женщин. Мне тоже некогда. Я тоже «просматриваю». Но по случайности в тот день запаздывают другие ожидаемые рукописи. Приходится ждать час, а то и больше. От нечего делать принимаюсь за чтение писем — так, для интереса, и продолжаю читать через час, когда приносят новые рукописи, и на другой день, и через неделю...

Ее превосходительству Марии Евгеньевне Корш в Москву на Плющиху, 7-й Ростовский переулок, дом 7, квартира 7. Из Берна.

20 февраля 1903 г.

Милая моя Маша!

Некрасова¹ прислала мне «Искру», где все действующие лица «На дне» изображены очень характеристическими цитатами. «Три сестры», «Дядю Ваню» Алекс² не оценил, и это понятно, я же с интересом читаю...

Представь, что Герцен хотел быть со мною на «ты», но я его слишком высоко ставила, чтобы решиться сказать ему «ты». В чайном ящичке прекрасной работы он начертал внутри на бархате: «Маше от брата». Теперь этот ящичек у Юши...³

Я тогда отдавала его на ее свадьбу. Теперь я вижу — это жаль, Юша вышла замуж за немца, дети вырастут немчурами, для них это не будет иметь цены. Я уже обдумываю поменяться с Юшей, дать ей другой ящичек, а этот взять обратно...

¹ Е. С. Некрасова — историк, литературовед, исследовательница биографии А. И. Герцена.

² Алекс — сын М. К. Рейхель.

³ Юша — знакомая М. К. Рейхель, родственница Т. Н. Грановского.

2 января 1904 г.

...Я всякий вечер стараюсь писать воспоминания. Не жди много от моих записок, никаких литературных заслуг в них не будет, просто что старухе в голову приходит, что еще в памяти осталось, а память уже очень изменяет. Я недовольна сама, но что будешь делать, когда недостает настоящего материала, и не делай мне комплиментов, которые я не могу заслужить. Уверяю тебя, что я очень простой человек. Вот ты меня любишь, ну и люби... Моя мать говаривала, что первое счастье, когда любят людей, этим счастьем я пользовалась, и это мое первое неоцененное богатство.

23 февраля 1904 г.

...Сегодня сижу за работой... Внук Ал. Ив. Герцена едет как врач в Манджурию, и я слышала, что и жена его хочет с ним поехать. Это подвиг. Ведь ты знаешь, что Петр Александрович Герцен ¹ в Москве живет, если не ошибаюсь, он при Екатерининской больнице. Он в числе тех врачей и хирургов, которых посылает Московская дума на свой счет на театр войны...

5 мая 1904 г.

...Макарова ужасно жаль, вместе с ним погиб и Верещагин... наш знаменитый живописец. Вообще это ужасное происшествие: сколько подобных придется еще слышать! Варварские орудия нашего времени, — вот куда ведет цивилизация — к скорейшему уничтожению себе подобных. Насколько прежде ужасались перед митральезами ², а теперь подводные мины почище. Страшно много убитых, раненых и взятых в плен японцами. Вот как казнится несправие. Зачем нам нужно было туда соваться?..

11 августа 1904 г.

...Представь, какое мне на днях было удовольствие — меня посетил один русский медик, урожденный сибиряк и очень симпатичный господин. Я ужасно была ему рада,

к сожалению, он приезжал на короткое время. Это тот, который уже не раз присылал мне сибирские газеты. Тебе такой народ не в диковинку, у тебя живут студенты, и тебе можно с ними говорить, а у меня подобного нет никого и главное — земляки и язык родной, это уж мне на редкость.

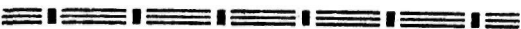
Во всех нумерах <«Русских ведомостей»>, которые просматривала, ужасно много участия к потере Чехова; в одном из последних его называют поэтом русской печали. У меня есть книжка его рассказов, во всех называется его чуткость, и, не указывая пальцами, он в поэтической форме кладет персты в раны... Слишком рано скосила его смерть... Благодарю тебя за описание похорон Чехова.

27 января 1905 г.

Да, моя Маша, будет тебе чего рассказывать на целые годы. Я в Париже была в 1848 в июньские дни, на горе были баррикады и лилась кровь. Пушечные выстрелы тоже слышались... Все это было в очень отдаленных от нас кварталах, но от ужасных впечатлений, от боли — отдаление нас не спасло. Это было, когда я еще не была замужем. От всего этого остается на душе осадок, которого никакими рассуждениями не выкуришь, а в обыкновенной жизни часто недостает нужных средств и никак не преодолеть чувства своей ненужности и немощи на какое-нибудь дело... Все такие негодные мысли можно только работой прогнать, а где ее старому человеку взять? Мое спасение — это разумная книга...

3 мая 1905 г.

...Мне минуло 82 года. Тата ³ сделала мне оригинальный подарок. Она поручила Алексу найти для меня русскую студентку, которая могла бы приходиться читать мне вслух, а из-



¹ П. А. Герцен — внук А. И. Герцена, известный врач.

² Митральезы — пулеметы.

³ Тата — Наталья Александровна Герцен, старшая дочь А. И. Герцена (1844—1936).

держки берет Тата на себя... Я очень буду рада иметь русский элемент и иметь возможность чаще говорить по-русски, что мне очень недостает... Во все время моей жизни я имела счастье не раз иметь близкие отношения к людям, теперь их мало осталось. Хороших людей знаю и теперь, и они ко мне любезны и родные... Ко мне хороши, но разница лет все-таки мешает, и не одни лета — я все-таки другой нации и другого времени...

Чехов, «Искра», Порт-Артур, Кровавое воскресенье, и при этом: «я в Париже была в 1848 в июньские дни!» Дальние десятилетия, разные века, различные тома исторических учебников вдруг сближаются и сходятся в одной биографии...

XIX век

На расстоянии 82 лет от 1905-го — 1823 год.

В 5000 верстах от Берна — сибирский город Тобольск.

В Тобольске живет большая семья — окружной начальник Каспар Иванович Эрн, родом из Финляндии, жена его Прасковья Андреевна, четверо сыновей и дочь.

Много лет спустя дочь напишет те письма, которые лежат передо мною в рукописном отделе, и будет вспоминать, как однажды во время прогулки «поднялся ветер и снес картузик с головы брата. Почти в том же возрасте мать моя водила меня два раза в церковь: один раз, когда присягали Константину Павловичу, а потом, когда присягали Николаю Павловичу. Она думала, что я запомню эти события, но они не были для меня так занимательны, как сорванный картуз брата, и потому не сохранились в моей памяти».

Провинциальное дворянское детство; двадцатые годы, тридцатые годы; континентальная, лесная, бездорожная Россия (Маша Эрн впервые увидит море 25 лет спустя, переезжая через Ла-Манш).

Ранняя смерть отца. Хлопотливое домашнее хозяйство.

Зимой день начинается при свечах. Мать заставляет детей оставаться в постелях, пока печи не согреют комнаты. В это время можно читать — Плутарха, Четьи-Минеи, басни Крылова. Братья постепенно разъезжаются «то куда. Один — учителем в Красноярск, другой — чиновником в Вятку, третий — в Казанский университет. Преподавателей географии, рисования, французского в Тобольске найти не трудно: семинаристы или ссыльные. Ссыльные — по-местному, «несчастные» — появляются оттуда, из России. За Уралом перед поселенцами не чинятся. По словам Герцена, здесь «все сосланные и все равны... Никто не пренебрегает ссыльным, потому что не пренебрегает ни собою, ни своим отцом».

Тут, в глуши, свои партии, свои прогрессисты и «реаки». (Прасковья Андреевна Эрн по доброте, конечно, за прогресс.) Почта из столицы доходит обычно за месяц, что, впрочем, не мешает толковать и спорить о новостях. В своем кругу надеются на реформы, улучшения. Прежде прогрессивные деды и прадеды восторгались указами Петра I, запрещавшими самоуничтожение «холоп твой Ивашка...» и разрешавшими форму «раб твой Иван». Теперь же видят доброе предзнаменование в запрещении сечь литераторов недворянского происхождения...

«Тогда начал выходить «Евгений Онегин», его читали с увлечением, и мне,

ребенку, часто приходилось слышать из него цитаты»¹.

Как водится в больших, добрых, беспорядочных семьях, однажды все снимаются с места и отправляются за счастьем.

С тех пор начинается в жизни Машеньки Эрн дальняя дорога, предсказанная еще карточными гаданиями в Тобольске; дальняя дорога, уводящая из пушкинских времен в чеховские и горьковские; от Иртыша и Сибири — в Париж, Дрезден, Берн. По зимней тысячеверстной дороге ездят обычно в больших санях, которые спереди плотно застегиваются, провизию везут под шубами, чтобы не дать ей замерзнуть, а на станциях согревают на спиртовых лампочках. Когда дорогу закладывает снегом, лошадей запрягают «гусем», а в метель привычные животные сами находят дорогу. Верст сто путешественники едут по замерзшей Волге, и при виде огромных трещин во льду делается жутко.

«У меня на коленях, в теплой коробке, ехал мой попугай. Останавливались часто в грязных избах, задымленные стены блестели, точно вылощенные, при свете горящей лучины. Попугай вынимался из коробки и возбуждал общее удивление...»

Сначала семейство переместилось из Тобольска в Вятку, к одному из сыновей, Гавриилу Каспаровичу, преуспевавшему более других (чиновник особых поручений при губернаторе).

«Рыбе — где глубже, человеку — где лучше».

Впрочем, и правительство и сосланный в Вятку за вольнодумство Александр Герцен с непонятным единодушием сходятся на прямо противоположном взгляде насчет мест, «поглубже» и «получше», чем Вятка.

Во второй части «Былого и дум» — несравненный рассказ о Вятке 1830-х годов, о чиновниках-завоевателях и завоеванном народе, о вятском губернском правлении, где хранятся «Дело о потере неизвестно куда дома волостного правления и о изгрызении плана онога мышами», «Дело о потере пятнадцати верст земли», «Дело о перечислении крестьянского мальчика Василия в женский пол»...

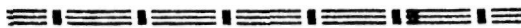
Герцен — 23-летний красавец, лев вятских гостиных, беспокойный, тоскующий, остроумный, порою сентиментальный до экзальтации — подружился с семьей Эрн. Гавриил Каспарович, его сослуживец, был, видно, неплохой малый, а Прасковья Андреевна всегда готова приголубить еще одного «несчастливого». Случалось, она жаловалась, что вот Машеньку учить негде и некому (Вятка не столь обильна семинаристами, как Тобольск). Герцен рекомендует Москву, пансион, дает рекомендательное письмо, и на исходе 1835 года еще одна тысячеверстная зимняя дорога доставляет двенадцатилетнего «сибирского медвежонка» во вторую столицу.

XX век

Мария Рейхель — Марии Корш. Из Берна — в Москву.

13 ноября 1905 г.

...Будет ли жизнь теперь другой, могут ли связанные члены раскрываться и насколько — это еще вопрос... Если только знать наверное, что в самом деле не только слово «свобода», но и самая жизнь будет ею проникнута, — какое приобретение!.. Надобно ста-



¹ Здесь и в дальнейшем цитаты, введенные в текст без объяснений, взяты из воспоминаний или писем М. К. Рейхель.

ратся не извлекать излишних требований, которые в настоящую минуту трудно возможны. Трудно и удерживаться, не желать достижения идеалов, но где эта мерка, чтобы идти, не споткнувшись. Действительность не шутит и часто грубо подавляет. Пиши, пиши — все хочется знать, и всякое слово дорого. Это для меня самый первый интерес и сердечная потребность. Читаю теперь Герцена, не все за раз, но просматриваю, а возьму в руки и не выпущу. Сколько здоровых мыслей, какое трогательное искание и познание истины. Это великий мыслитель и великий боец. Я теперь много читаю и другие книги. Не знаю, писала ли тебе, что была у глазного доктора, который долго мои глаза свидетельствовал и особенные очки прописал. Теперь я опять могу лучше видеть и даже при лампе немного писать и читать. Каждый вечер занимаюсь — английским. У меня еще есть желание многому поучиться и многих научить понимать... Вот опять взяла в руки Герцена и зачитываюсь, его мало читать, его надо изучать, какая бездна мыслей, мнений! Состарилась я, но еще остаюсь довольно теплой, чтоб удивляться, любить и учиться...

27 июня 1906 г.

...Ужасное время мы переживаем, милая Маша, меня сильно волнует и сильно печалит препятствие развитию русской жизни, а я уже начинала надеяться, что, наконец, попутный ветер подует для освободительного движения, не тут-то было... И какие везде симпатии к России!

31 августа 1906 г.

Милая моя Маша! У меня большое горе, брат Таты Александр Александрович¹ недавно скончался в Лозанне после необходимой, хотя и удавшейся операции: силы все-таки не вынесли, он скоро впал в беспамятство, из которого уже не вышел. А я видела его в Лозанне веселым и счастливым. Ему только что минуло 67 лет. Мы праздновали его рождение...

7 сентября

...Ты уже знаешь о смерти Саши. Да, Сашей я его до сих пор и в глаза называла, а для него осталась той же Машей...

25 ноября 1906 г.

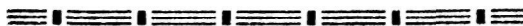
...Сегодня ночью так прыгало сердце, что я думала, конец приходит, но я уж с этой мыслью свыклась и не пугаюсь умереть... Что меня мучает — это невозможность сообщаться и, живя с другими, все-таки не жить с ними, потому что я не слышу, о чем говорят, и делаюсь все глуше и несообщительнее. Очень тяжелое чувство, зажаться, пережить через границу своей жизни. Я поэтому чувствую себя гораздо вольнее, когда одна, когда я занята, когда не обязана брать часть беседы, которой не понимаю...

9 декабря 1906 г.

...Представь, Юша привезла мой портрет молодой девушкой, который сохранялся у Юлии Богдановны². Я не имела понятия, кто мог нарисовать, у меня не осталось никакого воспоминания. Нарисовано очень хорошо, и я не совсем дурняшка, которой всегда была...

Чем старше человек, тем моложе воспоминания.

«Несмотря на много хороших, счастливых дней, прожитых мною позднее, то прошлое, озарившее духовным светом мою молодость, для меня драгоценно. Я уже не помню подробностей из того времени; я никогда не вела журнала, но влияние тех людей дало иное направление всей моей жизни, моим взглядам — оно взлоло в кровь и плоть, и поневоле просится слеза при воспоминании о тех людях, о их чистых стремлениях...»



¹ А. А. Герцен (1839—1906) — сын А. И. Герцена, профессор университета в Лозанне.

² Юлия Богдановна Мюльгаузен — сестра жены Грановского.

XIX век

Почти всю третью, четвертую и пятую части «Былого и дум» Маша видела своими глазами и пережила. Однако ее имя (большей частью скрытое инициалами) встречается только в тех главах, которые при жизни Герцена не могли появиться. Исключение — IV книга «Полярной звезды», где была помещена глава о смерти отца Герцена:

«Мы подняли умирающего и посадили. — Подвиньте меня к столу.

Мы подвинули. Он слабо посмотрел на всех.

— Это кто? — опросил он, указывая на М. К.

Я назвал...»

М. К. — это «Мария Каспаровна». Расшифровать ее имя в крамольной «Полярной звезде» было бы весьма опасно.

Иван Алексеевич Яковлев, der Herr, старый господин, чудной московский барин, мог не узнать М. К. только уж в забыти.

Когда мать и брат привезли Машу Эрн в Москву, поместили в пансион и возвратились в Вятку, отец Герцена вдруг велел девочке почаше приходить в его дом, опустевший и затихший со времени ссылки сына. Сентиментальности здесь не приняты, и тем удивительнее, когда старик вдруг говорит, что охотно поменялся бы с матерью Машеньки Эрн (намек на своего сына, который все — в Вятке)...

Унылые, душные залы старинного дома в арбатских переулках, где соседствуют европейское просвещение и азиатская старина. Однажды ищут воле среди дворни. Всем дают подержать соломинку — в руках у виноватого она «непрерменно удлинится».

Воришка испуган, тайком отламывает кончик соломинки и попадаетеся...

Неслышно, все как бы боясь чего-то, появляется и исчезает Луиза Ивановна Гааг. Мать Герцена, но отнюдь не хозяйка дома.

Иногда приезжает братец — сенатор. Молчаливый Иван Алексеевич оживляется и вдруг принимается вспоминать, как необыкновенно врал князь Цицианов лет сорок назад, будто на Кавказе видел в церкви такое огромное евангелие, что дьякон ездил на ослике между строками; будто один музыкант так дул в рог, что рог выпрямился...

Маша Эрн в старом доме музицирует, даже шалит, но der Herr к ней снисходителен и, случается, кисло улыбаясь, шутит: «А что, Маша, есть у вас в Сибири куры опатки?»

Меж тем старик один не посвящен в тайный заговор, о котором знают решительно все — и Луиза Ивановна, и гостящая Прасковья Андреевна Эрн, и дворня: Александр Герцен, которого перевели под надзор из Вятки во Владимир, готовится тайно обвенчаться со своею двоюродной сестрой Натальей Александровной Захарьиной. Старый барин, его братья и сестры, разумеется, помешали, если бы знали. В 1838 году романтический побег и свадьба состоялись. Старик надувается и долго не желает иметь дела с ослушниками. Однако многие (и Маша в их числе) навещают молодых: оба хороши, влюблены, все овеяно молодостью, радостью.

Романтическая литература вдруг оказывается правдивой, а жизнь — прекрасной...

Потом — после нескольких лет проволочек и новых гонений — чета Герценов окончательно возвращает-

ся в Москву, в круг друзей, и с виду беззаботно бегут сороковые года.

Веселые годы, счастливые дни...

Старый барин еще волен распоряжаться. Поэтому, случается, вечером, в его присутствии. Маша Эрн жалуется на головную боль и получает разрешение уйти спать пораньше. Прасковья Андреевна и Луиза Ивановна, конечно, все понимают: к подъезду поданы сани. Вместе с женой там дожидается, посмеиваясь, Аи (шутливое имя Герцена, образованное из его инициалов). Маша вскоре появляется, сани лихо несутся на Садовую — к Грановским. Там импровизируется ужин, гремит зычный глас Николая Кетчера, заикаясь, метко пускает остроты Евгений Корш; у Михаила Семеновича Щепкина готова, к случаю очередная история, сообщаемая с неподражаемым умением. Идет тост за здоровье Огарева, задержавшегося в далеких краях. Подъезжают еще Анненков, Боткин, иногда Белинский... на миг — за стенами этого дома будто нет николаевской замерзшей России, крепостных мерзостей, нет загубленных, засеченных, сосланных. Льет беседа, несетя шутка. Герцен вспомнит спустя много лет: «Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний... Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил; революция меня прибила к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я

по совести должен повторить то же самое...»

В этом кругу, конечно, и женщины — Елизавета Богдановна Грановская, Маша Эрн, Мария Федоровна Корш, Наталья Александровна Герцен. Они, разумеется, имеют свои мнения и симпатии, хотя за «быстрым обменом мысли» не всегда легко угнаться.

«Герцен читал нам вслух и одно время сердился на меня и Елизавету Богдановну, что мы при чтении считали петли. На это была особая причина: в августе должны быть именины Натальи Александровны, нам хотелось сделать ей маленький сюрприз... мы выписали шелку и принялись вязать ей пару шелковых чулок, каждая по одному, и нужно было иногда совещаться, чтобы не вышло разницы».

Веселые годы, счастливые дни,
Как вешние воды, умчались они...

А на дворе были и николаевская замерзшая Россия, и крепостные мерзости; были загубленные, засеченные, сосланные.

Вопрос — кто виноват? — был не слишком сложен.

Что делать? Ответ был слишком непрост.

Молодые люди взрослели — становились зорче, грустней, остроумней.

Герцен уезжал за границу. «Почем знать — чего не знать?» — была его любимая поговорка. Почем знать — чего не знать, на сколько едут: на сколько лет или дольше?

Оказалось — навсегда.

19 января 1847 года из Москвы выехали два возка. В одном — Герцен с женою и двумя детьми, Сашей и Та-той; в другом — Маша Эрн с сыном Герцена Колей и Луиза Ивановна. Друзья на девяти тройках провожают

до Черной Грязи — первой станции по петербургской дороге.

Маша Эрн не случайно вместе с маленьким Колей. После жандармского налета на дом Герцена здоровье его жены сильно расстроилось. Дважды она рожала мертвых детей, потом Колю — глухонемого. Мальчик был смышленным и добрым, быстро выучился читать и писать, даже шутил: однажды после прогулки в карете благодарит всех за руки и пытается пожать лошадиные ноги...

Была надежда, что опытные врачи и педагоги смогут, хотя бы частично, вернуть ему речь. Маша Эрн занимается с ним все время, а Коля так ее любит, что разлучить их совершенно невыносимо. Для мальчика она и вторая мать, и нянька, и главный авторитет.

Маша думает, что едет на полтора года. Если б знала, что больше не вернется (только через полвека, да и то погостить), что больше не увидит ни матери, ни братьев...

Но почему знать — чего не знать. «Меня пригласили ехать. В тогдашнее время ехать за границу равнялось почти входу в рай, и как же было противостоять этому приглашению».

Затем идут пять лет, окончательно определивших судьбу Герцена и его друзей.

Пятая часть «Былого и дум».

Сначала — счастливые главы: заграничный вояж, остроумные частые письма к друзьям.

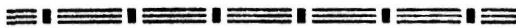
Конец 1847-го начало 1848-го застанет всех в Италии. «В Неаполе... Герцен бежит домой, торопит нас, говоря: «Собирайтесь, вам надобно это видеть». Мы идем... Это было такое внезапное торжество, такая национальная радость — это достижение конституции, что все были в высшей степени

одушевлены, все обнимались, жали руки, меня кто-то ударил в спину с возгласом: «evviva, evvivala costitutione»¹, и я ему в ответ: «evviva, evviva!». Женщины махали платками, которые от множества факелов чернели. Такого одушевления, такой наивной веры в лоскут бумаги, да еще данной деспотом, едва ли можно пережить опять. В то время верили так много, так легко предавались надеждам, зато как хорошо было это время, эта вера в возможность разом повернуть в более свободную колею!» Затем — революции, демонстрации; свергнутые или насмерть перепуганные монархи — в Париже, Вене, Берлине, Дрездене, Риме — всюду — «evviva!».

Но пир быстро превращается в тризну. Летом 1848 года в Париже русские путешественники слышат и видят расстрелы. Властвующий буржуа пускает кровь бунтующему пролетарию.

Потом год европейских расправ, арестов, казней, и страшнее казней — гибель старых иллюзий относительно западной свободы и идеалов.

Во Франции и Италии Герцен не скрывал своих взглядов, знакомился и сближался с революционерами. Вскоре о его речах и встречах узнают и III отделение и Николай I. На грозный приказ воротиться Герцен отвечает отказом вежливым и ироническим. Письмо это сохранилось до наших дней. На нем рукою шефа жандармов: «Не прикажете ли поступить с сим дерзким преступником по всей строгости законов?» Рукою Николая I: «Разумеется».



¹ Да здравствует конституция! (итал.).

Постановили: «За невозвращение из-за границы по вызову правительства подсудимого Герцена, лишив всех прав состояния, считать изгнанным навсегда из пределов государства».

Маша Эрн в это время берет в Париже уроки у Адольфа Рейхеля, немецкого музыканта и композитора — талантливого, доброго человека, решительного сторонника демократии, несмотря на аристократических предков с фамильным замком в Саксонии. Ученица вспоминает Россию и, смеясь, признается, что ее первый учитель музыки в Москве на вопрос Луизы Ивановны: «Есть ли у девушки способности?», отвечал: «Как будет приказано...» Рейхель же много рассказывает о своем русском друге Михаиле Бакуanine, который еще несколько месяцев назад приходил к нему и часами с какой-то ненасытной жадностью, непрерывно куря, слушал музыку и потом, заполняя комнату своей громадной фигурой, громовым голосом казнил тиранов, трусов, слюнтяев и болтунов.

Известия о Бакуanine были невеселы. Рассказывали, что он ехал через Германию, увидел: крестьяне штурмуют замок. Какой замок, чей — Бакунин даже не спросил, но построил, организовал толпу и быстро обеспечил ее победу. Затем вмешался еще в несколько революций, был схвачен австрийцами, приговорен к смерти, выдан Николаю I и отправлен в крепость. Последнее сообщение о нем, которое получили Герцен и Рейхель, — что на границе экономящие австрийцы сняли с Бакунина свои цепи и заменили их русскими.

Рейхель получил от друга несколько писем из крепости, пытался переслать ему деньги...

Адольф Рейхель и Мария Эрн подружились, а осенью 1850 года Герцен уж шутит, что девица Эрн вышла в дамки и сделалась мадам Рейхель.

Это была хорошая семья — два очень добрых человека, к тому же веривших в прогресс, просвещение, свободу и музыку.

Молодожены поселяются в маленькой парижской квартире. Жалко было только расставаться с воспитанником: восьмилетний Коля сделал к этому времени большие успехи — благодаря учителям и в первую очередь Марии Каспаровне. «Коля говорит по-немецки, читает, пишет, весел и здоров как нельзя больше, умен и сметлив поразительно и не изменил своей страсти к Машеньке...» (из письма жены Герцена в Москву).

Однако время не благоприятствует семейным идилиям. 1850 год — похмелье европейской реакции. Дурное не любит ходить в одиночку и просачивается из большого мира в миры небольшие — личные, семейные.

Я перелистываю страницы старых, давно напечатанных герценовских писем, печальную летопись того времени.

Парижская полиция высылает нежелательного иностранца. Герцены перебираются в Ниццу (тогда входившую в состав итальянского королевства Пьемонт).

В Ницце происходит разрыв Герцена с его прежним другом, немецким поэтом Гервегом. Наталья Александровна Герцен увлеклась Гервегом, но преодолела свое чувство и осталась с мужем. Герцен писал об их «втором венчании» после нескольких месяцев мучительного разлада. Однако Гервег повел себя подло, не останавливаясь перед угрозами, клеветой и оскорблениями...

9—11 июня 1851 г. Герцен — жене. Из Парижа, проездом
 Марья Каспаровна встретила с распростертыми объятиями и была просто вне себя от радости... Должно быть, Марья Каспаровна многое знает. Я это замечаю по тому, как она тщательно избегает малейший намек, малейшее воспоминание. Я ей душевно благодарен за эту пощаду, особенно в первые дни я был так беспокоен, взволнован. Ну, прощай, мой друг, дай руку, обними меня — моей любви «ни ветер не разнес, ни время не убелило...»

29 июня 1851 г. Герцен —
 М. К. Рейхель

А ведь вы, Мария Каспаровна, очень добро меня встретили и проводили, дайте вашу руку, старые друзья; смотрите, чтоб долгое отсутствие, иные занятия не ослабили (вы не сердитесь, натура человека слаба, изменчива, в ней ничего нет заветного) в вас вашей деятельной дружбы. Может, жизнь опять столкнет нас — все может быть, потому что все случайно.

В ноябре Коля с бабушкой и воспитателем Шпильманом отправлялся через Париж в Ниццу — к родителям.

11 ноября 1851 г. Герцен —

М. К. Рейхель. В Париж из Ниццы

Вот теперь-то у вас, вероятно, «сарынь на кичку» — Шпильман шумит, Коля кричит... Луиза Ивановна покупает, дилижанс свищет. И вот они, наконец, уехали. А у нас Наталья Александровна... в лихорадке, ветер, тишина...

Герцен отправляется встречать родных — они плывут на пароходе.

23 ноября 1851 г. Герцен — Адольфу и Марии Каспаровне Рейхель
 Дорогой Рейхель, ужасные события поразили мою семью, ужасные... Я пишу об этом Ма-

рии Каспаровне, однако передайте это письмо с предосторожностями¹...

Искренний, ближайший друг Марья Каспаровна, мне принадлежит великий тяжелый долг сказать вам, что я воротился в Ниццу один. Несмотря на свои старания, я не нашел нигде следа наших. Один сак Шпильмана достали из воды... Буду писать все подробно, не теперь только. Я даже боюсь вашего ответа. Наташа очень плоха, она исхудала, состарилась в эту проклятую неделю. Она надеется. Консул и все отыскивают по берегу — я не знаю, что может быть, но не верю. Два парохода столкнулись в тумане.

3 декабря 1851 г. Герцен —
 М. К. Рейхель

Я читаю и перечитываю ваше письмо и благодарю вас от души. Мы в самом деле близки с вами. Вы из любви к нам сделали то самое, что мы сделали для вас. Вы имели деликатность, нежность скрыть стон и умерить печаль...

Когда всякая надежда на спасение была невозможна, мы ждали, что по крайней мере тела найдут. Но и этого утешения нет...

Шпильман держал в руке веревку, брошенную из лодки, когда маменька, увлекаемая водой, закричала ему: «Спасите только Колю». Но было поздно... Видя, что вода поднимается, Шпильман бросил веревку и ринулся к Коле, он его взял, поднял на руки и бросился в воду. Далее никто не видел ничего.

В одно мгновение пароход был под водою. Лодка торопилась отъехать, чтобы не лопасть в водоворот...

8 декабря 1851 г. Герцен —
 М. К. Рейхель

Еще остается 23 дня 1851 года. 23 несчастья еще могут случиться... Едва мы стали оправ-



¹ М. К. Рейхель была в это время беременна.

латься и привыкать к ужасному лишению 16 ноября, вдруг уже не семья, а целая страна идет ко дну...¹

Помните ли вы, как в евангелии пророчится конец мира? Матери возьмут детей своих и разобьют об камень, — время это прошло.

5 января 1852 г. Герцен —
М. К. Рейхель

Наташа тяжело больна... Вчера ставили пивки, сегодня пивки, дают опиум, чтобы унять боль хоть наружно. Между тем силы уходят, и что из всего этого будет — не знаю. Как Байрон-то был прав, говоря, что порядочный человек не живет больше 38 лет...

Finita la comedia², матушка Марья Каспаровна. Укатал меня этот 1851 год — Fuimus — были.

На солнечных часах в Ницце Герцен находит надпись: «Я иду и возвращаюсь каждое утро, а ты уйдешь однажды и больше не вернешься».

На случай внезапной смерти (теперь всего можно ожидать) он завещает своих детей семье Рейхель.

20 января — 2 февраля 1852 г.
Герцен — М. К. Рейхель

Пустота около меня делается с всяким днем страшнее. Есть добрые люди — бог с ними, есть умные — черт с ними, те недопечены, эти пережжены, а все, почти все, готовы любить до тех пор, пока не выгоднее ненавидеть. Я за вас держусь не только из дружбы к вам, а из трусости... Последние могилы кане.

Во всей Европе (и Австралии) у меня нет человека, к которому бы я имел более доверия, как вы... Огарев в России, и вы здесь.

Жене Герцена — все хуже.

18 апреля 1852 г. Герцен —
М. К. Рейхель

Можете ли вы приехать? Я тороплюсь писать, боясь, что после не будет ни головы, ни сил. А между тем детей нельзя оставить...

27 апреля. Герцен — А. Рейхелю
Очень плохо. Все надежды исчезают. О господи, как она страдает...

2 мая 1852 года Наталья Александровна Герцен умерла, не прожив 35 лет, вместе с новорожденным сыном Владимиром.

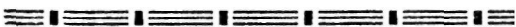
21 мая 1852 г. Герцен — А. Рейхелю
Дорогой Рейхель,

завтра уезжает Мария Каспаровна с моими детьми, оставляю их на ваше попечение — это предел доверия. Мария Каспаровна и вы будете заменять меня некоторое время. Для меня это благодетание. Любите детей. Сегодня исполнилось 14 лет со дня моей женитьбы — и вокруг лишь одни могилы. Я и сам уже не живу, однако еще держусь. Обнимаю вас.

15 июня 1852 г. Герцен —
М. К. Рейхель

Вчера было шесть недель...
Бедная, бедная мученица — последняя светлая минута был ваш приезд, помните, как она бросилась к вам: вы дружба тех юных святых годов, вы должны были представиться ей прошедшим...

Это был предел горя: сильного, энергичного и талантливого сорокалетнего человека отрешили от родины; друзья перепуганы, старые идеалы рухнули,



¹ 2 декабря 1851 года — окончательное крушение Второй республики, захват власти Наполеоном III во Франции.

² Представление окончено (итал.).

мать и сын погибли в океане, семейная драма заканчивается смертью жены.

Кто бы смог его упрекнуть, если б он тут сломился? В истории осталось бы тогда имя Герцена — оригинального мыслителя и литератора, написавшего интересные философские работы, статьи, разоблачительные повести. И никто бы не знал о Герцене — авторе «Былого и дум», издателе «Колокола» и «Полярной звезды»...

31 августа 1852 г. Герцен — М. К. Рейхель. Из Лондона

Все люди разделяются на две категории: одни, которые, сломавшись, склоняют голову, — это святые, монахи, консерваторы; другие наргируют¹ судьбу, на полу дрягают ногами в цепях, бранятся — это воины, бойцы, революционеры.

Герцен был из породы наргирующих, дрягающих, бранящихся. Он мечется, ездит с места на место, вдруг нелегально появляется на восемь дней в Париже — повидать детей, Рейхелей, некоторых знакомых из России. Потом снова возвращается в Лондон. В самый черный год своей жизни он не ломается, а переламинает — и начинает два лучших дела своей жизни: осенью задумывает воспоминания, зимой объявляет о Вольной русской типографии.

Как раз в это время (ноябрь 1852 г.) беда приходит и в дом Рейхелей: умирает их маленький сын, почти точно через год после гибели Коли и Луизы Ивановны (16 ноября 1851 г.).

12 ноября 1852 г. Герцен — М. К. Рейхель

Добрый, милый друг Мария Каспаровна, не мне вас утешать, свои раны свежи...

Вы решились быть матерью, вы решились

быть женой, за минуты счастья — годы бед. Жить могут княгини Марии Алексеевны² — надо было в цвете сил отречься от всего, жиром закрыть сердце, сочувствие свести на любопытство...

Вот вам, друг Марья Каспаровна, начало записок... Я переписал их для вас, чтобы что-нибудь послать вам к страшному 16 ноября и чтоб развлечь вас от своего горя.

Вот при каких обстоятельствах автор «Былого и дум» передал рукопись первому читателю.

XX век

1 мая 1907 г.

Дорогая Маша!

При такой старости, в 84 года, всякий лишний день — подарок судьбы...

Я несколько времени тому назад отправила маски и руки (Нат. Ал. Герцен) Тате, чтобы она отправила все в Румянцевский музей; я получила оттуда письмо, где желают иметь все герценовское. У меня Грановского ничего нет, был только портрет, который я давно Некрасовой послала, он находится в Румянцевском музее. У меня так много редкого чтения, что не знаю, как поспеть, а глаза надо очень беречь и читать надо, чтоб не застрял в еженедельности.

Теперь взялась за Радищева. Я читаю историю русской литературы Полевого, он хвалит Екатерину, — так чтоб не впасть в односторонность, не мешать из другого ключа напиток. У меня Радищев еще лондонского издания, и в той же книге — записки князя Щербатова, ярого поклонника старины, который возмущен до глубины души «вольными» нравами века Екатерины. Перед обоими предисловие написано Герценом великолепно.



¹ **Наргировать** — бросать вызов (от франц. «narguer»).

² **Намек на возглас Фамусова (из «Горя от ума»): «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»**

Ну, вот я и питаюсь этими, а то и в другие загляну, что под руку попадет... могу теперь чаще в Пушкина заглядывать; я ужасно люблю поэзию, хоть сама не в состоянии двух стихов сплести...

Каждый год все больше удаляет от незабвенных 1840-х и 1850-х. Солнце отсчитывает дни и десятилетия.

Я иду и возвращаюсь каждый день, а ты уйдешь однажды и больше не вернешься...

Очень далека старая глухая женщина от Тобольска, Вятки, Москвы. Ровесников почти никого не осталось, постепенно вслед за отцами уходят и дети.

Несчастный друг! Среди новых поколений Докучный гость и лишний и чужой...

Но откуда-то — по случайным русским газетам, письмам, обрывкам разговоров — она судит о том, что делается на родине, судит очень верно и понимает все как-то легко и просто.

21 октября 1907 г.

...Видно, ничего на свете не вырабатывается без борьбы, без насилия. Мне так тяжело, как в России теперь почти все вверх дном, и ни в какие думы не верится; это точно комедия с детьми, которыми позволяют потакать. Покуда наверху не поймут, что надобно дать больше инициативы и свободного обсуждения, одним словом — дать расти, ничего путного и из новой думы не вылезет...

Думаешь, думаешь, и под конец кажется безнадежным...

5 марта 1908 г.

Милейшая моя Маша!

Ты все о моем рожденье знать хочешь, оно не убежит, если сама не убеги, на что уже столько возможностей имеется. Рожденье

мое по русскому стилю 3 апреля, а здесь 15-го, и стукнет мне целых восемьдесят пять лет — пора честь знать, пора убираться. Силы очень плохи... И если это будет идти дальше, то я и знать не буду, как быть...

19 мая 1908 г.

...Ты все спрашиваешь, как я рожденье провела; я уже писала тебе, что Герцены все прибыли с Татой во главе, племянник ее профессор Николай с женой, Терезина, жена покойного Саши, с дочерью — всего пять человек. Я точно предчувствовала и заказала торт, который очень кстати пришелся...

Делаю каждый день немного гимнастики; из этого видишь, что я не поддаюсь, но с такой уже глубокой старостью трудно бороться...

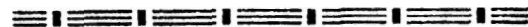
Пасха...

В тишине моего сердца, одна праздновала ее воспоминаниями.

Мария Каспаровна все работает, читает, пишет. Никакого героизма здесь нет: для нее героическим усилием было бы хныкать, брюзжать, перестать быть собою. Когда-то Герцен читал ей из Гёте:

Mut verloren —
Alles verloren.
Da wär'es besser
Nicht geboren¹.

Много говорят о том, как важно уметь удивляться — видеть необыкновенное в обыкновенном. С этого удивления начинается не только настоящая поэзия и наука, но и здравый смысл. Долголетним старикам удивляться легче, чем молодежи: той все новое не в новинку. Но многие, к сожалению,



¹ Потерять мужество — все потерять. Лучше тогда бы не рождаться.

слишком многие старцы, не удивившись ни разу в молодости, так и не пожелали удивляться позже: не удивлялись дилижансу — ворчат на самолет.

Мария Каспаровна же, наверное, удивлялась дилижансу еще в те времена, когда звалась мадемуазель Эрн. А теперь — а теперь — «Теперь стремятся завоевать воздух...»

«Читала хороший артикль против автомобиля в социальном смысле... Автомобиль исключительно для богатых людей и создает опять привилегированный класс». «Граф Цеппелин устраивает воздушное путешествие¹... и это необыкновенно интересно».

Вот и еще год прошел, а в таких летах, как шутит сама Рейхель, это сверхурочная служба, за которую начислять надобно.

Воспоминания ее закончены; отправлены в Россию и выйдут в 1909 году с приложением некоторых писем Герцена.

3 января 1909 г.

...Юша мне много рассказывала о русском житье-бытье и о новых отношениях между молодыми людьми. Прогресс ли это — не могу знать и сказать; я только вижу, что что-то перерабатывается и бродит.

Вот когда будешь читать письма А. И. ко мне, которые будут не в далеком времени печататься с несколькими и моими воспоминаниями, ты увидишь — он уже сомневался и сознавался в неготовности молодого поколения.

Я только несколько писем поместила, у меня их гораздо больше, со временем, может быть, и их печатать будет можно...

Старая мирная женщина и не публикует ни одного лишнего письма. У нее отличная конспиративная школа.

XIX век

25 июня 1853 г. Герцен — М. К. Рейхель. Из Лондона в Париж

Типография взошла в действие в... среду. Теперь было бы что печатать, «пожалуйста оригиналу-с». Ах, боже мой, если б у меня в России вместо всех друзей была одна Мария Каспаровна — все было бы сделано. Не могу не беситься, все есть, сношения морем и сушью — и только недостает человека, которому послать. На будущей неделе будет первый листок.

«Юмор» пришлите с оказией лучше.

Но я не знаю, можно ли его печатать...

Нельзя ли хоть через Трувилью что-нибудь переплавить? Хоть писемцо.

Всего несколько строчек, но за каждой — множество фактов, лиц, событий и секретов.

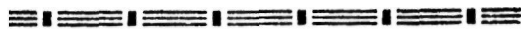
«Типография взошла в действие в среду»

Среда — это 22 июня 1853 года.

В тот день заработал станок Вольной русской типографии. На хлопоты ушло несколько месяцев: помещение, наборщики (помогли польские эмигранты), русский шрифт (добыли у парижской фирмы Дидо, у которой сделала заказ, а после отказалась петербургская академическая типография). Замысел Герцена прост и дерзок: печатать против власти и напечатанное посылать в Россию — звать живых и будить спящих.

Мария Каспаровна сначала забеспокоилась: друзья ведь остались в России, как бы Николай на них гнев не выместил.

Герцен ей объяснял, даже сердился:



¹ Первые опыты по созданию дирижаблей.

«Милые вы мои проповедницы осторожности... Неужели вы думаете, что я... хочу друзей под сюркуп¹ подвести?»

Необходимая конспирация соблюдалась, типография же принялась печатать. «Основание русской типографии в Лондоне, — объявлял Герцен, — является делом наиболее практически революционным, какое русский может сегодня предпринять в ожидании исполнения иных, лучших дел».

«Теперь было бы что печатать, «пожалуйста оригиналу-с»

Россия запугана. Николай свиреп, как никогда. Начинается Крымская война. Герцен печатает в Лондоне первые отрывки из «Былого и дум», а также суровые обвинения режиму — брошюры «Крещеная собственность», «Юрьев день, Юрьев день!», «Поляки прощают нас!» и другие. Но этого ему мало: хочет получить отклик из самой России и напечатать то, что от туда пришлют. Ведь он хорошо знает — во многих письменных столах, потайных ларцах или даже «в саду, под яблоней» хранятся рукописи, запретные стихи — те, что в юности перечитывали и заучивали. «Пожалуйста оригиналу-с...»

Но обладатели нелегальных рукописей боятся, не шлют. Старые московские друзья опасаются, не одобряют «шума», поднятого Герценом, не разделяют его решительных взглядов. Один, два, три, шесть раз просит он, например, прислать запретные стихи Пушкина («Кинжал», «Вольность», «К Чаадаеву» и др.), которые уже тридцать лет ходят в рукописях.

«Ах, боже мой, если б у меня в России вместо всех друзей была одна Мария Каспаровна — все было бы сделано»

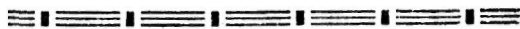
Хотя с друзьями он сильно разошелся, но все вспоминает «из дали и снега эти фигуры, близкие и родные: Кетчера, бранящегося за бокалом, и Грановского, плачущего мирясь... Корша, бессмертно заикающегося, и Боткина с эстетическим желудком». А больше всех не хватает Огарева. Но тот под строжайшим надзором в пензенской деревне.

Переписку с друзьями можно вести по-разному. Конечно, если посылать открыто, можно увеличить население российских тюрем. Но есть иные способы.

Способ первый: Иногда приезжает за границу родственник, или знакомый, или знакомый знакомых — привезет и увезет письмецо. Но во время Крымской войны ездят очень мало.

Способ второй: Посылать прямо из России — на адрес Николая Трюбнера, немца, живущего в Лондоне и взявшего на себя распространение герценовских брошюр и изданий. Или еще лучше — посылать на другой, весьма почтенный лондонский адрес: миллионеру Ротшильду, в банке которого хранятся деньги Герцена.

Но эти способы еще не освоены, и в Москве как-то побаиваются доверять опасные письма неизвестным людям. Остается главный путь: переписываться через парижский адрес Марии Каспаровны. За Рейхелями слежки нет: III отделение не столь уж дальнорозорко.



¹ Сюркуп — удар (франц.).

Москвичи и тут, однако, побаиваются (не боятся только Сергей и Татьяна Астраковы — старинные приятели, хотя и не из самых близких). Как раз летом 1853 года на парижской квартире Рейхелей ожидали из Москвы Михаила Семеновича Щепкина, который ехал уговаривать Герцена, чтоб оставил опасные затеи, замолчал, скрылся, а через несколько лет просил бы помилования...

«Не так ли, Александр Иванович?» — спросит Щепкин при встрече.

«Не так, Михаил Семенович», — ответит Герцен.

Обычный механизм тайной переписки был таким:

1. Герцен пишет письмо Рейхель (в те годы писал почти каждодневно: из 368 его писем, сохранившихся за 1853—1856 годы, ровно половина, 184, адресована Рейхелям). Иногда вкладывается «записочка» в Россию без обращения и лишних слов («Здравствуйте. Прощайте. Вот и все»), но чаще — чтоб «цензоры» не узнали по почерку — Герцен просит, чтоб то или другое передала в Россию сама Мария Каспаровна.

2. Мария Каспаровна пишет в Москву — Астраковым — и передает все, как надо.

3. Татьяна Астракова пишет Огареву — в Пензенскую губернию — или передает, что требуется, «москвичам». Ответ идет обратным порядком, причем Огарев тоже не рискует писать сам, но диктует жене.

Так, через восемь ступеней, идет оборот писем: Лондон — Париж — Москва — Пенза и обратно, но идет последовательно, регулярно.

Герцен: «Марья Каспаровна, записку Огареву доставьте, только со всеми осторожностями».

В другом письме: «Я думаю, вы бере-

те все меры насчет записок в Россию, будьте осторожны, как змий».

В третьем: «Послали ли вы в Москву мою записку? Если нет, прибавьте, что я Огарева жду, как величайшее последнее благо».

Иногда к одному письму в Париж добавлялось по 2—3 письма «туда». А из Пензы после полуторамесячного путешествия приходили ответы: «Теперь мы обдумались, брат, мы поняли, что надо взять на себя, чтоб увидеться с тобой; верь, мы работаем дружно; между нами сказано: если нельзя пробить стену, так расшибем головы».

Но М. К. Рейхель не только почтовый посредник. В Париже появляются русские, друзья и враги — обо всем Герцен вовремя извещается (письма самой Рейхель к Герцену почти не сохранились. Герцен, видимо, их уничтожил, чтобы они избежали недобрых рук, но по его ответам видно, что содержало каждое).

У Герцена немало издательских и прочих дел в Париже, куда ему въезд запрещен: «Марья Каспаровна, к вам придет поляк и попросит 9 франков, а вы ему и дайте, а он привезет (да и на извозчика дайте) ящик книг, зашедший у книгопродавца. Пусть они у вас, раздавайте кому хотите при случае, продавайте богатым...»

Детей спустя 11 месяцев Герцен забрал к себе в Лондон, но Маша Рейхель им уж давно родная, и они ей часто пишут, весело и трогательно.

«Не могу не беситься, все есть, сношения морем и сушью — и только недостает человека, которому посылать»

Польские эмигранты и контрабандисты доставляют брошюры, листовки Воль-

ной типографии в Россию, но нужен адрес, явка... Заколдованный круг. Вольная печать создана для того, чтоб будить, но как передавать напечатанное еще спящим?

«Юмор» пришлите с оказией лучше. Но я не знаю, можно ли его печатать»

«Юмор» — нелегальная поэма Огарева. Месяцем раньше Герцен написал, что она ему нужна. Рейхель передала в Москву, и поэму прислали — то ли Астраковы, то ли сам Огарев. Герцен опасается, что слишком толстый пакет привлечет внимание французских сыщиков («с оказией лучше»), но боится печатать: а вдруг российские жандармы догадаются, что это написано Огаревым, а Огарев — в ссылке.

«Нельзя ли хоть через Трувиллю что-нибудь переплавить? Хоть писемцо»

Екатерина Карловна Трувеллер (Трувилле) гостила в это время у Рейхель и выражала сочувствие деятельности Герцена. Позже ее сын, юнкер флотского экипажа, распространял герценовские издания, но был сослан в Сибирь.

«Переплавить» с нею письмо в Россию, возможно, удалось. Мы не знаем...

Вот сколько скрывалось за несколькими строчками письма, отправленного на лондонскую почту 25 июня 1853 года и через день полученного в Париже.

Прошло 5 лет. На новый 1858 год Герцен писал М. К. Рейхель:

Помните ли вы 10 лет тому назад встречали новый 1848 год в Риме?

Воды-то... воды-то... крови-то... вина-то... слез-то что с тех пор ушло.

А в 1838... В Полянах, на станции между Вяткой и Владимиром.

А в 1868... that is the question¹. Wer, wo??² Очень хорошо, что не знаем...

Многое изменилось за пять лет.

18 сентября 1858 г. Герцен — М. К. Рейхель. Из Путнея, близ Лондона. Представьте мое удивление, когда я получил из города из Дрездена письмо от Пав[ла] В[асильевича]³... Я потому пишу через вас, что не знаю, застанет ли мое письмо. Ну, а Мария Федоровна у вас еще? Ее рукой и вашей новости получил, а вот вам наши.

1-е. III отделение прислало сюда статского советника Гедерштерна присмотреть, как бы подкузьмить «Колокол», и узнать, кто доставляет вести... Я о его приезде напечатал.

2-е. Количество русских таково, что я, наконец, должен был назначить два дня в неделю: среду и воскресенье в три часа — для любезных незнакомцев...

23-й и 24-й «Колокол» выходят вместе в понедельник, я тотчас к вам пришлю, а вы, как будете писать, все-таки черкните.

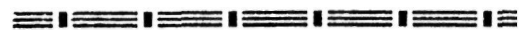
Наконец доставили вам Огарева стихотворения или нет?..

Прощайте.

Рейхелю старому и самому юному — поклонны сильные.

Еще скажите Анненкову и Марии Федоровне, чтоб они в Питере предупредили, что полковник генерального штаба Писаревский, бывший у меня, — очень дрянной человек. Он теперь возвращается...

Из 1853-го, переполненного тишиной и страхом, мы сразу переносимся в шумный, оптимистический 1858-й.



¹ «Вот в чем вопрос» (английская цитата из «Гамлета»).

² Кто, где?? (нем.).

³ В своих письмах Герцен из конспирации обычно указывал только инициалы русских друзей.

За 5 лет, их разделяющие, случилось немало событий: умер Николай I, началась и кончилась Крымская война, страна забурлила, ослабевшая власть дала кое-какие свободы, объявила о подготовке крестьянской реформы. Годы надежд, иллюзий.

Герцен — «Искандер» — в апогее силы, влияния, таланта, славы. Сначала альманах «Полярная звезда», затем газета «Колокол» признаны десятками тысяч читателей и по-своему признаны десятками запретов, циркуляров, доносов на русском, польском, немецком, французском, итальянском.

Россия — Лондон — Россия — вот «формула обращения» Вольной печати. Сначала в Лондон прибывают письма, тайные корреспонденции, вести, слухи с родины («любезных незнакомцев» так много, что им приходится назначить два дня в неделю).

Затем все обрабатывается, печатается и тайно — через друзей, книготорговцев, путешественников — идет сквозь границы в Россию.

Спрашивая М. К. Рейхель о стихотворениях Огарева, Герцен понимает уже не Пензенскую губернию. Огарев третий год, как перебрался в Лондон — пишет, печатает, издает вместе с Герценом.

Павел Васильевич — это Анненков, известный литератор, старинный знакомый, сообщавший в те годы Герцену ценные, часто весьма секретные известия. Той осенью он в Дрездене, саксонской столице, — там же, где Рейхели...

Да, они уж год, как перебрались из Парижа на родину Адольфа Рейхеля. Здесь было легче жить и растить трех сыновей. Герцен вначале был очень огорчен переездом — Саксония много дальше Франции, но потом выяснились и «плюсы»: Дрезден ближе

к России, у самой польской границы. Через него движется к немецким курортам, французским, итальянским и английским достопримечательностям множество русских путешественников (в то время из России за границу в среднем отправлялось 90 тысяч человек за год).

Вот и сейчас — в сентябре 1858 года, — кроме Анненкова, гостит Мария Федоровна, то есть Мария Федоровна Корш — сестра Евгения Корша, член московского кружка, женщина довольно храбрая и решительная.

«Ее рукой и вашей новости получил...» Очевидно, Герцен только что распечатал свежие письма из Дрездена с какими-то важными русскими новостями. Эти новости, понятно, должны появиться в ближайшем номере «Колокола», о выходе которого «в понедельник» Герцен извещает («Я тотчас к вам пришлю — а вы... все-таки черкните», — в переводе на «обыкновенный язык» означает: «Я пришлю вам по почте «Колокол», который вам особенно интересен из-за ваших новостей, но между Лондоном и Дрезденом много почт и много полиций, письма, случается, вскрывают — так что известите о получении»).

Что же за новости?

Передо мною двоянный 23—24-й номер (лист) газеты Герцена — на 16 тонких страничках. В конце сентября 1858 года он просочился в Россию, сначала в Петербург, Киев, Москву, Одессу, затем в провинцию, на Кавказ, за Урал.

Поскольку Мария Федоровна Корш только что из Москвы, новости «ее рукой» и рукой Марии Каспаровны должны быть прежде всего московскими.

Обращаю внимание на маленькую заметку (из раздела «Смесь»): «В 21-м

листе «Колокола» мы напечатали: «Правда ли, что московский полицмейстер... истязал мещанина?..» Нам пишут теперь в ответ разные подробности этого отвратительного поступка...» Затем следуют подробности, о которых через 10—20 дней узнают по всей России (а перепуганный полицмейстер начнет оправдываться — всенародно и по начальству).

Но между 21-м и 23:—24-м номерами газеты прошел только месяц. Значит, за месяц герценовское «правда ли?» достигло России, его прочитали, написали ответ, ответ достиг Лондона, его отредактировали и напечатали. Для тех лет — срок довольно малый. Обычно такой «оборот» длился минимум полтора-два месяца, а то и больше. Однако если тайная корреспонденция посылалась теми, кто уж посылал прежде, и двигалась по верным, давно проложенным каналам, тогда ее скорость, понятно, возрастала.

М. Ф. Корш — М. К. Рейхель — Герцен и Огарев; Москва — Дрезден — Лондон — такова, вероятно, скрытая история заметки.

Но это еще не все.

Герцен торопится известить Дрезден о прибытии в Лондон важного шпиона III отделения Гедерштерна, чтобы Рейхель предостерегла знакомых русских путешественников.

«Предостережения» — так называется статья, помещенная на первой странице 23—24-го «Колокола»: «Старший чиновник III отделения, действительный статский советник Гедерштерн путешествует по Европе со специально учеными целями».

Но в этой же статье помещено еще одно предостережение: «Закревский <московский генерал-губернатор> доставил в таможенно список лиц с стро-

жайшим предписанием по возвращении в Россию обыскать их и доставить их письма и бумаги в III отделение. Не смеем печатать имена, но просим, умоляем всех молодых москвичей, возвращающихся на печальную родину нашу, не брать с собой ничего запрещенного, никаких бумаг».

Но отчего же Герцен предупреждает Рейхель только о шпионе Гедерштерне и ни слова — о шпионе Закревском? Ведь тот угрожает москвичам — их надо максимально быстро известить. Это молчание Герцена можно, по-моему, объяснить только одним: сама Рейхель — из Москвы, вероятно, от М. Ф. Корш — получила это важное известие и переслала Герцену. «Новости получил», — отвечает Герцен, имея в виду Закревского и других. В Лондоне, понятно, имели копию тайного списка с лиц, подлежащих обыску, но «не смели печатать имена», чтобы нечаянно не скомпрометировать друзей.

Много лет спустя был опубликован один из списков «подозрительных лиц», составленный усердным московским губернатором. Там действительно были фамилии многих московских знакомцев — Щепкина, Корша, Аксакова и др. Список изготовили в августе 1858 года. Возможно, к Герцену отправилась копия именно этого документа.

Как «москвичи» добыли эту копию — пока что неизвестно...

Вот следы деятельности Марии Каспаровны только в одном (сдвоенном) выпуске «Колокола» (а их было 245!). Не исключено, что и другие корреспонденции для этого же, 23—24-го, номера были высланы из Дрездена (кстати, приведенное послание Герцена от 18 сентября 1858 года, как и многие другие конспиративные пись-

ма, М. К. Рейхель даже полвека спустя не публикует; кое-кто из «действующих лиц» еще жив. Как бы не скомпрометировать!..).

Лишь самым верным друзьям, посещающим Герцена и Огарева, доверяется адрес «дрезденской штаб-квартиры».

Предупреждение о «дрянном человеке полковнике Писаревском», о важных новостях за границей, важных шпионах, и т. п. М. К. Рейхель, конечно, передаст в Москву и Петербург и еще больше передаст оттуда — в Лондон.

«All right — все пришло благополучно и аккуратно», — так или примерно так извещает Герцен почти в каждом письме.

— Бумаг еще не получил... жду.

— Ваше извещение о поездке X. получил...

— Вы человек умный и потому не рассердитесь, получив по почте от Трюбнера фунтов пять денег. Эти деньги должны идти на франкирование¹ всяких пакетов к нам... Не возражайте — это же деньги типографии...

— Вы говорите: «Остаюсь с тою же собачьей верностью». Ну так я вам за эту любезность заплачу двойной: «Остаюсь с верностью подагры, которая никогда не изменяет больному и умирает с ним...»

Однажды он называет ее «Начальником штаба Вольного русского слова».

Сохранилось 337 писем Герцена к М. К. Рейхель, относящихся ко времени существования Вольной типографии. По ним можно судить, что почти в каждом из дрезденских (а прежде парижских) посланий Марии Каспаровны были важные новости. Однажды Герцен попросил М. К. Рей-

хель даже сделать каталог пришедшим к ней бумагам — так много их было.

Охранка очень старалась раскрыть, перехватить подпольные связи Герцена. Но почти ничего не удавалось.

В настоящее время известны 9 тайных и полулегальных адресов, по которым беспрепятственно двигалась информация для Герцена и Огарева. Прусская, саксонская, неаполитанская, французская, папская и другие полиции пытались помочь «царской охоте».

Но почти ничего не «подстрелили».

О том, какая почта приходит и уходит с respectable квартиры дрезденского музыканта Адольфа Рейхеля, никто из «тех» не догадался. Иначе бы понеслись в Петербург доносы, а таких доносов в архиве III отделения не обнаружено.

Когда спустя несколько десятилетий Мария Каспаровна пожелала посетить Москву, никаких препятствий от властей не последовало: мирная пожилая дама, жена немецкого музыканта, мать четырех детей...

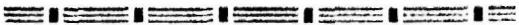
XX век

31 января 1909 г.

Милая моя Маша!

И вот 61 год, что мы оставили Москву², и никого нет из тех, с кем я ехала, — только Тата, которой тогда, кажется, и четырех лет не было, да я еще в живых.

Надеюсь, что Тата, ей теперь 64 года, еще долго проживет на радость ее семьи, в которой все ее любят, и не мудрено ей оставаться молодой, сообщаясь с молодым поколением. Не у всех ее племянников дети, но



¹ Франкирование — оплата почтовых расходов.

² М. К. Рейхель ошиблась: 31 января 1909 года минуло 62 года со времени ее отъезда.

все же есть наследники имени Герцена; вот и в Москве есть внучата...

25 февраля 1909 г.

Милая моя Маша!

Не удалось написать тебе побольше к твоему рождению, случилась такая работа, которую нельзя было отложить. Кое-что печатается из моих записок, и мне нужно было сличать с многими экземплярами и отмечать, что не так было, и нужно было поскорее возвратить. Ну вот ты и будешь в недалгом времени читать мой простой, не писательский рассказ, в котором я поместила несколько из писем Александра Ивановича. Последние и составляют главный интерес. Опять перечитывая и перечитывая или перевоспомяная, встают в памяти все обстоятельства и все горечи жизни обоих¹, и делается на душе тяжело и грустно.

26 февраля

...При моих записках будет даже мой портрет и моего незабвенного Коли, который был глухонемой и который несколько лет был на моих руках.

Ты права, что в некоторых годах нельзя быть целенькими, я это очень знаю, и если иногда и вырвется «ох!» — я не боюсь и уже давно привыкла к мысли, что надо быть готовой к концу.

Читала артикль о Дарвине, прекрасно написано и заставляет думать. Ты не поверишь, как я еще жадна на дельные вещи, как бы я до сих пор желала многому научиться и многое понять. А теперь приходится только крохами питаться, а это питание мне нужно — посмотришь то там, то тут, и только: ведь я глазами не много выдерживаю и вообще не люблю бегом наслаждаться, а так — «с чувством, с толком и расстановкой».

Мария Каспаровна работает, читает корректуру, учится по-английски. Книжечка ее выходит из печати. Воспоминания, где соединяются страницы ин-

тересные с наивными, иногда скучными. Она не писатель, не журналист и не политик. Обыкновенный человек, добрый и милый. Работа над книгой очень важна для нее самой.

Сыновья почти все разъехались, переженились. Среди восьми внуков тоже встречаются семейные люди. Двенадцать лет, как уж нет в живых мужа.

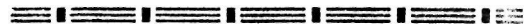
Не ко всему можно привыкнуть в этом новом, торопящемся мире, даже с ее головой и сердцем. Эти «новые музыканты» Чайковский, Римский-Корсаков, она жалуется, «как-то странны и непонятны...» Зато Моцарт, Бетховен напоминают незабвенные годы: Герцена, Бакунина, Рейхеля...

Я перелистываю страницы писем — в каждом примерно месяц ее жизни — и чувствую, как трудно проходят недели и годы для этой очень старой женщины.

5 августа 1909 г.

...Я тебе еще не сказала, что на старости лет в аутомобиль попала, к которому не питала ни малейшей симпатии... Не скажу, чтоб ощущение было приятным, и трясет порядочно. Теперь аутомобиль можно иметь, как извозчика, а вот в недавнем времени и летать можно будет. Очень мне страшным кажется, что все эти приобретения подвижности мечтают употреблять для военных целей, как будто для человеческого духа только и работы, чтобы достигать, как можно лучшим способом делать нападения. Мне кажется, что это извращение духовного направления...

А то, в самом деле, какие ошеломляющие изобретения, ну что бы ты сказала, если бы я вдруг прилетела к тебе в воздушном шаре? Но об этом нашему брату и мечтать нельзя; все идет к тому, чтобы богачам удача и



¹ А. И. и Н. А. Герцены.

спорт доставались, а нам только рты разевать от удивления, потому что не удивляться нельзя...

К этой же мысли возвращается через месяц и Мария Евгеньевна Корш, критикуя попутно «нынешнюю молодежь».

Но Мария Каспаровна и старше и мудрее...

30 сентября 1909 г. Берн

...Главная беда в настоящем — это жизнь внешности, любовь к деньгам, наживе и непроходимая роскошь... Но это одна сторона... а другая — те необыкновенные усилия техники, которые с такой быстротой идут вперед, что нельзя не удивляться и надо признать, что жизнь идет вперед и что ее сопровождает много такого, чего мы ни признать, ни понять не можем, и надо для этого время, чтобы или отвергнуть, или выработаться...

Ты мне уже писала, что в России много <молодых людей> живут в свободном соединении...

Впрочем, подобные вещи всегда бывали, и, вероятно, никогда не исчезнут, может быть, дальнейшее развитие найдет какую-нибудь для этого норму... Открыли же и полюс¹, к которому так долго стремились и гибли.

Вчера я получила из Петербурга письмо от одной русской дамы... Она пишет, что все молодые девушки, даже из высших кругов, учатся. Вот и дело света распространяется и, кажется, сорвет эту тину, эту паутину, в которых завязла наша русская земля; что за бессмыслица называть передовых людей инородцами и жидами? Ну их...

9 декабря 1909 г.

...Иногда на меня находят унынье, читая их <«Русские ведомости»> и видя, какой плоский состав большинства <думы>, как мелко плавают октябристы. Даже и плаваньем назвать нельзя этого — барахтаются в мелкой

воде. Как ведут себя крайние правые, просто площадные ругательства!..

Очень интересно ты пишешь о Художественном театре, — это в самом деле должно быть прекрасно, и едва ли есть такие театры где-нибудь.

Русский преследованный дух находит себе выход в искусстве.

Так бы хотелось о многом читанном поговорить с тобой, здесь же не с кем, никто не может иметь такой интерес к нашей родине, как я, и совсем другая жизнь и другая обстановка или другое содержание жизни. Как бы щей твоих хотела — их у нас хоть и делают, но этих щей пожиже лей...

Славная, умная старуха. Как жалко, что каждый перевернутый листок приближает меня к ее концу.

30 и 31 декабря 1909 г.

...Читала я в «Русских ведомостях» о чтении в художественном кружке...

Один говорил, что Леонид Андреев ищет тайны жизни.

Тайна эта существует и до некоторой степени достижима до разгадки, но в наше время — время охоты за наслаждениями жизнью, за новыми впечатлениями — она более и более неузнаваема. Побольше вникать в правду и побольше ей самой жить, — я думаю, это дало бы существенное сознание и помогло бы не гоняться за призраками.

А как теперь живут?

Пожалуй, живут полнее в общем, но дает ли это удовлетворение, не знаю...

27 января 1910 г.

...Конечно, ты права, что Герцен был необыкновенно умный, с сильными направлениями — наметить настоящую цель и настоящую правду. Я очень счастлива, что его теперь в России так ценят и так высоко ставят... Знаешь ли, в одном из писем ко мне он говорит:

═══════

1 Роберт Пири в 1909 году достиг Северного полюса.

«Вы последняя могижанка нашего круга». Он так страдал невольными отчуждениями от друзей. Я знаю, что я такого имени не заслуживаю, так как не могла быть равной в кругу по недостаточности воспитания, но я инстинктивно поняла, что это были за люди; в моей горячей к нему привязанности и их оценке я не поступлюсь ни перед кем, и теперь память о них и сочувствие к Герцену, к которому я ближе стояла, живет в сердце и оживляет меня тем, что я от них наследовала мою старость...

Все-таки Россия далеко, и даже язык несколько переменялся. «Что значит перебои сердца?» — спрашивает она у собеседницы. В ее годы таких слов не употребляли. Иногда в письме вдруг попадает старинный, пушкинских времен, период или явный «галлицизм»...

Ее мучит мысль о том, что она устарела, отстала, и — одновременно — ощущение, что в чем-то весьма важном как будто и не устарела и не отстала.

А меж тем XX век набирает скорость.

О чем машин немолчный скрежет?
Зачем пропеллер, воя, режет
Туман холодный и пустой?

М. К. Рейхель — М. Е. Корш (без даты). Видимо, конец 1910 г.)

...С авиатиками много несчастных случаев, то и дело летят вниз и убиваются... Нельзя не удивляться, сколько людей жертвуют жизнью, чтоб достичь возможности покорить себе воздух, и сколько успехов уже достигнуто, но нельзя не признать, что у прогресса страшный желудок.

21 ноября 1910 г.
Милая Маша!

Скончался наш великий писатель и наш великий боец за все человеческое¹. Это наш

общий траур... и я не могу и за тридевять земель не приобщиться к нему. И здесь в газетах были частые известия, а сегодня очень прочувственные слова... Мир славному труженику и вечная память в буквальном смысле слова...

29 ноября
Милая Маша!

Вчера прислал мне мой знакомый «Русские ведомости», которые ему прислали из Москвы. Какая великая скорбь идет на нашей земле, какой подъем всех сердец и какой свет во мраке... Пиши мне все, что переживаешь в это знаменательное время, у меня никого нет вблизи, кому это так к сердцу лежит, и я только мысленно несусь в родные стороны...

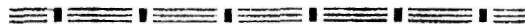
14 января 1911 г.

...Силы истощаются, и я не думаю, что еще долго проживу. Сегодня видела так живо во сне А. И. Г., еще довольно молодым, он много говорил, и я все старалась поближе быть к нему, чтоб все слышать, но ничего не удержала, когда проснулась...

Я мучаю тебя своими глупыми настроениями, видно, что человек под старость, как моя, теряет масштаб. Особенно когда не спится ночью, ползет всякая дрянь в голову. Если подумаешь, сколько переживают другие и сколько надо переносить, то не вправе требовать для себя больше...

XIX век. Последний раз

«Начальнику штаба Вольного русского слова» довелось видеть начало, расцвет и угасание Вольной русской типографии. Были сотни и тысячи «Колоколов», где «спрессовывались» письма, рассказы, слухи из России. Была злобная кличка Герцена в «вер-



¹ Л. Н. Толстой.

хах» — «Лондонский король» («кто у нас царь — Александр Романов или Александр Герцен?»).

Затем 1862-й, 1863-й, 1864-й. Расправы в России, в Польше. Резкий спад общественного движения.

Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою...

В конце шестидесятых годов в России затишье. Новый вихрь поднимется лет через восемь-десять. Совсем мало — в книжке по истории, и очень долго — в жизни.

Герцен из Лондона переезжает в Швейцарию, пробует одно, другое, третье, чтоб оживить, согреть дело. Житейские невзгоды заставляют и Рейхелей снова пуститься в путь, на этот раз из Германии в Швейцарию. В 1867 году Герцен и Рейхели встречаются в Берне. За 15 лет они обменялись сотнями писем, но не виделись ни разу (лишь Адольф Рейхель привозил из Парижа детей Герцена).

Снова, как и в 1852-м, в жизни Герцена черные месяцы:

«Колокол» в 1867-м прекращается.

Новая семья не приносит счастья.

Двое малышей от второго брака умирают в один день.

Тяжелая личная драма, душевная болезнь старшей, любимой дочери Таты.

Разрыв с большинством старых москвичей — на этот раз полный и окончательный.

Первый черный год, 1852-й, был болезнью сильной, но не смертельной, выработавшей иммунитет, сопротивление. С того года начался подъем — типография, «Былое и думы».

Новые испытания — теоретически, в принципе — могли бы перерасти

в новый апогей: впереди была Парижская коммуна, новый общественный подъем в России. К тому же Герцен до последнего дня все повторяет:

Mut verloren —
Alles verloren.
Da wär'es besser
Nicht geboren.

Но сколько же может вынести один человек?

22—23 ноября 1869 г. Последнее письмо Герцена — М. К. Рейхель (из Италии) За ваше доброе письмо обнимаю вас, старый друг, и еще больше: сообщу вам хорошие вести. Тату мы привели почти в нормальное состояние — мы ее отходили и отласкали от черной болезни... Только такое колоссальное здоровье, как мое, все вынесло.

Последняя запись в дневнике Герцена: 3 декабря 1869 г., Ницца: «Я думал, что новых ударов не будет... Жизнь, словно утомленная порогами, пошла покойнее — и вдруг новый обрыв — и какой...»

17 января 1870 г. — нестрашная болезнь, простуда.

21 января — смерть. Солнце ушло и опять пришло, а он ушел и больше не вернулся...

XX век. Последний раз

Больше сорока лет прошло. Уж началось второе десятилетие другого века, десятилетие 1914-го и 1917-го.

Мария Рейхель мыслит — значит существует.

В это время ее посетил один русский публицист, записавший: «Первое, что поражает в ней, — это прекрасная московская речь, речь Сивцева Враж-

ка, Плющихи, глухих переулков Арбата или Поварской, где еще доживают дворянские гнезда, но не Таганки, не Ильинки, где московский говор окраился типичной купеческой складкой...»

17 сентября 1911 г.

Мария Рейхель — Марии Корш
...Открывается много перспектив, особенно когда читаешь о дальнем Востоке; там только светает, так сказать, заря занимается, и меня эти описания очень интересуют. Было бы лишь там побольше свободы разумной для развития. Ты знаешь, что я родилась в Сибири и потому меня тянет в ту сторону... Был съезд для народного образования — и тут начатки будущего. Все это далеко, но все это будет. Не удивляйся, что это меня так занимает, я принуждена искать себе интересы, моя глухота не позволяет слышать, что другие говорят и в чем их жизнь... Теперь достала из моего шкапа моего Пушкина; мне подарил его Герцен и написал несколько строк, думаю все — кому завещать, чтоб он не пропал...

25 сентября 1911 г.

...Не бойся за мое здоровье, — которое дерево скрипит, то долее стоит. Но духовное настроение не годится, я очень борюсь и стараюсь найтись в той узкой полке, в которую меня поставили старость и мои узкие средства. Береги свою самостоятельность, милая Маша, не думай, что я тебя забываю... я теперь очень медленна... Но пока еще могу перо держать. Не беспокойся, если пишу неправильно, но привыкай к мысли, что уже ненадолго, — ведь это, наконец, в порядке жизненности...

22 января 1912 г.

...Если доживу до апреля, вступлю в 90-й год моей жизни... Хотелось бы еще дожить до свадьбы Мими¹ в апреле, чтоб ей до свадьбы не надевать черного...

Выходить недавно пробовала, прошла очень маленькое расстояние и до того утомилась, что несколько часов лежала, чтоб в себя прийти. Но дух еще жив и интересы еще живы.

30 января

Милая моя Маша!

Как благодарить тебя за твой чудный подарок, я еще мало читала, но и то, что читала, меня поразило. Я успела прочитать «Отца Сергия», что на меня подействовало — не спасли его все усилия уберечь себя от падения. Отчего ты думаешь, что конец скомкан? Другого конца не могло быть. И этот конец примиряет.

Естественность приятнее нежели натяжка, а Сергей все хотел быть выше всех и был страшно наказан тем, против чего всю жизнь боролся...

26 марта 1912 г. Лозанна

...Теперь собираются и в России чествовать день рождения Александра Ивановича, которому 25 марта по русскому стилю исполнится сто лет. Это и за границей откликается, где его личность так известна. Я счастлива, что доживаю до этого дня...

О Герцене — как о живом: ему «исполнится сто лет».

1912 год был герценовским годом, к его столетию выходят книги, сборники, газеты, воспоминания. Герцена чествуют — либеральная Россия по-своему, а революционная — по-своему: статьями Ленина и Плеханова.

15 апреля 1912 г. Лозанна

...Не могу тебе сказать, сколько я вижу здесь внимания, теплого отношения ко мне, и даже издали, из России, оказали мне честь быть выбранной почетным членом кружка имени



¹ Мими — внучка М. К. Рейхель.

Герцена в Петербурге. Я получила от него письмо с извещением моего выбора, подписанное президентом кружка Максимом Ковалевским. Оно писано по-французски. Вероятно, не предполагали, что я еще знаю по-русски. Я отвечала и благодарила по-русски. Я — забыть по-русски! Нет, не забыла и люблю мой язык страстно.

Вот что пишет Тата:

«Маша, дорогая наша! Мы все тебя любим и высоко ценим, как папаша, дедушка, Саша (покойный), словом, все 5 поколений и все, которые тебя знали и знают и сумели понять и ценить тебя...» Ты поймешь, как это меня глубоко тронуло. У Nicolas <внука Герцена> — Roland, ребенок — вот это уже пятое поколение семьи: Иван Алексеевич — 1-е, Александр Иванович — 2-е, Александр Александрович — 3-е, Николай Александрович — 4-е, маленький Роланд — 5-е поколение, которое я еще живая знаю.

Последние письма Марии Рейхель к Марии Корш... Мария Каспаровна «еще довольно тепла, чтобы удивляться». Редко-редко проскальзывает у нее, что-де наше время получше было, но тут же вспоминается Герцен и его круг: там не было вот этого — «вы, нынешние, нут-ка...».

А вести в газетах мрачные.

8 мая 1912 г.

Масса удручающих известий из родного края, все только запреты, непозволения, усмотрения... А вокруг — все захваты, и все хотят иметь больше владений, что и означает войны...

10 августа 1912 г.

...Теперь у меня большая работа, я взяла на себя переписать все письма Александра Ивановича ко мне... Если они когда-нибудь будут напечатаны, ты увидишь, как я, такая маленькая букашка, близко стояла к нему и пользовалась его доверием. Этих писем мно-

го писанных в Италии, где они переживали такое трудное время; потом из Англии — последние особенно в то время, когда дети, тогда девочки, были у меня почти год после смерти матери. И я теперь, читая, переживаю то прошедшее, полное нескончаемой печали... Твоими последними письмами ты так много порадовала меня, твое описание вида Москвы с Воробьевых гор так заманчиво, так бы взяла да и поехала бы в Москву и на Воробьевы горы. Должно быть, очень хорошо, я никогда не видала.

А теперь стара, плоха и ни на какие путешествия неспособна.

28 августа 1912 г. Лозанна,

...Читала некролог Александра Владимировича Станкевича¹ в «Ведомостях», видно, что и недаром прожил. Ну, вот и все из того старого времени, одних со мною лет: извольте приготовляться, мадам Рейхель. А я теперь переживаю старую дружбу и совсем переносюсь в давно прошедшее, точно оно недавно было. Переписываю письма ко мне А. И. и греюсь его дружбой ко мне и полным доверием, у меня много его писем. Правда, что мы много тяжелого, печального в одно время пережили, и оба на чужой стороне, и оба остались верными родине. Как он любил Россию и как люблю ее я до сих пор...

29 августа (продолжение)

...Я теперь так много пишу каждый день, то есть переписываю, что руки не совсем слушаются. Но, насколько могу, каждый день все прибавляется, — и так погружаюсь в прошедшее, что забываю, что оно уже давно-давно прошедшее. А. И. любил и моего Рейхеля и говорил о нем, как самом чистом человеке из многих, кого он знал. Вот между какими людьми проходили мои молодые годы — но уже более сорока лет, что умер

1 А. В. Станкевич — один из московских приятелей по «Кружку 40-х годов», брат Н. В. Станкевича.

один, и шестнадцать, что умер Рейхель... Между письмами читаю Достоевского... Достоевский удивительный психопат; конечно, только этому и можно удивляться, но если взять все вместе, что он описывает, — картина удручающая, и мне приходит в голову, как трудно нашей родине выпутаться из пут необразованности. Одно, на что я надеюсь, это то, что много доброго в нашей натуре... Перемелется — мука будет, только какая выйдет?

В наше время золотой телец здравствует, и деньги все растут в умелых руках.

Я рада, что мои дети не липнут к деньгам и не считают их одних к принадлежности счастья...

8 сентября 1912 г. Лозанна

...Я накануне отъезда в Берн, но не совсем. К октябрю я должна опять приехать — я тебе, кажется, писала почему: я единственная свидетельница прошлой русской жизни <Герцена> до границы, об которой желают от меня сведений, и мне нельзя отказаться, так как это касается А. И. и его семьи...

Письма, которые я переписываю, во многом интересны, а для меня — такое живое воспоминание дружбы и доверия ко мне, что я совсем погружаюсь в прошедшее... Я в то время была единственным близким человеком к нему после смерти Натальи Александровны, и он делился всеми впечатлениями со мною. Я же с детства была к семье близка. Он очень желал, чтоб я с Рейхелем переехала в Лондон, где он жил, мы же жили тогда в Париже. Через меня он имел известия о друзьях; сам он не мог переписываться, а он очень страдал от этого. Потом мы уехали в Дрезден, чем он был очень недоволен. Виделись мы только через несколько лет, и то незадолго до его смерти. Когда мы переехали в Швейцарию, он был в Женеве и, как только узнал, тотчас приехал в Берн и приезжал потом не раз. А с друзьями так и не видался. Я слышала, что Граничка¹ собирался, наконец, приехать, как его смерть

так скоро унесла. Лику² я видела потом в Берлине, где была проездом. Она ехала в Италию с Мавоненькой³, где и скончалась. Мавоненька приезжала потом с Еленой Константиновной⁴, и мы виделись. Потом малопомалу порвались все ниточки, и один за другим покоятся теперь на Пятницком кладбище... Sic transit gloria mundi...⁵ Не думай, что я расстраиваю себя мыслями о смерти; нимало. Я знаю, что она близка ко мне только как самое натуральное переставание. И вот теперь, при последнем, я так наслаждаюсь, читая и переписывая письма такого человека, который теперь так знаменателен и ценен и которого дружбой я долго пользовалась. Он раз прислал мне свою фотографию и подписал: «Марье Каспаровне от неизменного друга». Этот портрет я завещать буду для Румянцевского музея или для музея Герцена, если он осуществится... Больше писать не могу, у меня еще много переписывать, и я скупа на время для другого... А теперь, пока прощай, милая, дорогая Маша, будь здорова и пользуйся всеми возможностями, какие есть, и не забывай твою пока еще на земной поверхности старую Микасину⁶.

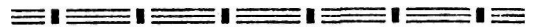
18 октября 1912 г.

...Чего бы я ни дала, чтоб иметь возможность ходить, но увы, надобно отказаться, а у меня вовсе нет такой разумности, чтоб покоряться. Ну и терпи казак — атаман не будешь...

Да, война теперь всех заполонит.

Меч обнажен и занесен, и все говорят об ужасной, жестокой войне.

Озвереют люди! Ты радовалась, что аэропланы не будут принимать участия, а я сегодня



¹ Граничка — Тимофей Николаевич Грановский.

² Лику — Елизавета Богдановна, жена Т. Н. Грановского.

³ Мавоненька — Мария Федоровна Корш (см. выше).

⁴ Е. К. Станкевич — жена А. В. Станкевича.

⁵ Так проходит слава мирская (лат.).

⁶ Дружеское прозвище М. К. Рейхель.

читала в наших газетах, что их будут употреблять...

С недостатком места все здесь ¹ отправляется на чердак, у меня, таким образом, много пропало, особенно из переписки. Сама я наверх лазить не могу. С трудом отыскались номера моего «Колокола», которого теперь и за деньги получить нельзя. Даже внук А. И. не имеет в целости. Вот я и везу ему теперь весь мой «Колокол» и очень рада, что могу доставить ему такое дорогое воспоминание. Он же сам относится ко мне с привязанностью. У него родился мальчик, и меня называют его бабушкой; вообще Герцены считают меня как принадлежащего к их семье...

1912, ноябрь. Лозанна

...Сюда я приехала потому, что у Таты гость, русский ², который непременно желал видеть меня. На днях он был у меня и уверял, что он хорошо знает меня, хоть я его и не знаю. Он собирает материалы для некоторого рода биографии. А у меня уже так плоха память, что многое улетучилось.

Научный сотрудник рукописного отдела кладет передо мной последнюю тоненькую пачку. Лист использования чист. Эти письма никто никогда не заказывал.

В апреле 1913 года Мария Каспаровна благодарит за поздравления с девяностолетием. И после — еще несколько писем и открыток.

12 июня 1913 г.

...Ты вот читала многое об Аи, так мы его называли; была ли у тебя в руках книга его «Прерванные рассказы»? Книгу с этим названием он посвятил мне, и вот теперь хочу переписать тебе посвящение его мне: «Марии Р...

Итак, вы думаете, что все-таки печатать, несмотря на то, что одна повесть едва начала, а другая не кончена... Оно в самом деле лучше, не напечатанная рукопись мешает, это

что-то неудавшееся, слабое, письмо, не дошедшее по адресу, звук, не дошедший ни до чьего слуха.

Позвольте же вам и посвятить эти поблекшие листья, захваченные на полдороге суровыми утренниками. Нового вы в них не найдете ничего; все вам знакомо в них, и оригиналы бледных копий, и молодой смех былого времени, и грусть настоящего, и даже то, что пропущено между строк. — Примите же их, как принимают старых друзей после долгой разлуки, не замечая их недостатков, не подвергая их слишком строгому суду.

И...

Лондон, 31 декабря 1853 г.

При книге портрет; внизу:

Будьте здорова.

А. Герцен.

1854

5 февраля.

И... — значит, Искандер.

14 июня 1913 г.

Милая Маша!

Читала я о всех ваших празднествах ³ и не знаю, почему у меня вертится на языке... «Жомини да Жомини, а о водке ни полслова» ⁴. Так и теперь: как будто никакого другого сословия, а только дворяне в земле русской.

Какой бы это случай, хоть несколькими несчастным облегчить судьбу. Я помню, что в Сибири, где я еще ребенком была, называли ссыльных несчастными. Ну вот и выходит: «Жомини да Жомини...»

На этом обрывается переписка Марии Каспаровны Рейхель с Марией Евгеньевной Корш. Смерть настигла младшую.



¹ В доме М. К. Рейхель.

² М. К. Лемке, издатель первого Полного собрания сочинений А. И. Герцена.

³ 300-летие дома Романовых (1913 г.).

⁴ Из стихотворения Дениса Давыдова «Песня старого гусара».

Марии Каспаровне на десятом десятке лет некому было больше писать по-русски.

Мы почти ничего не знаем о ней в 1914-м, 1915-м, 1916-м.

Мировая бойня — она ее предвидела. Ее родина и родина ее мужа посылают миллионы людей стрелять, кромсать, отравлять, ненавидеть друг друга. Но ее не обманули рассказы о «русском варварстве» или «немецких зверствах».

Ей было, конечно, очень грустно, этой глухой, умной женщине, родившейся у конца царствования Александра I и присутствующей при последних месяцах Николая II; читавшей свежие, только что вышедшие главы «Онегина» и свежие, только опубликованные сочинения Горького, Чехова, Леонида Андреева, Алексея Толстого.

Через ее квартиру шли пакеты для «Колокола» — и она толкует об Олимпийских играх и авиации.

Пишут о глубоких стариках: «Он мог бы видеть»... и далее идет список знаменитостей XIX века, которых он мог бы увидеть, «если б пожелал». Но — «мог бы», а не видел, и потому, может быть, и прожил так долго в родных горах, что «не видел», не волновался...

А она все видела на самом деле. На самом деле была посвящена в готовящееся похищение Герценом его невесты. На самом деле кричала «evviva!» на улицах Неаполя зимой 1848-го.

Она умерла 20 августа 1916 года, за

полгода до второй русской революции, на 94-м году жизни.

* * *

Я не верю в пропасть между молодостью и старостью в жизни отдельного человека («Ах, если б вы его видели молодым — орел, умница! А сейчас — жалок, глуп и нелеп...»).

Все, что есть в 60—80—100 лет, было и в 18—20, только в юности главное бывало иногда скрыто, неглавное — слишком очевидно, к старости же напластования уносятся — и открывается сущность, какой она была всегда.

Если «жил — дрожал», так и «умирал — дрожал». Из «жиром закрытого сердца княгини Марьи Алексевны» не выйдет мудрого сердца Марии Каспаровны. «На редьке не вырастет ананас», — как говаривал в свое время умнейший старец — адмирал Мордвинов.

У Начальника штаба Вольного слова была хорошая молодость в очень плохие для ее страны годы. Этой молодости хватило на всю почти столетнюю жизнь. Два века — XIX и XX — не состарили.

— Но отчего же она в таком случае не слишком известна, не знаменитость, не «гениальная женщина»?

«Гений — роскошь истории», — записал однажды Александр Иванович Герцен. Он полагал, что человечеству недостает обыкновенных, хороших и свободных людей.

М. Галлай

**Главный конструктор
приехал на аэродром...**

В 1965 году исполнилось 65 лет со дня рождения и 5 лет со дня смерти виднейшего советского авиационного конструктора — дважды Героя Социалистического Труда Семена Алексеевича Лавочкина.

В богатой славными именами истории отечественной и мировой авиации это имя — одно из самых ярких.

В годы Великой Отечественной войны без малого половина самолетного парка нашей истребительной авиации, в тяжелых боях добившейся полного господства над противником в воздухе, состояла из машин, созданных под руководством С. А. Лавочкина.

После окончания войны конструкторский коллектив, возглавляемый Семеном Алексеевичем, сыграл одну из ведущих ролей в создании советской реактивной авиации разных видов и преодолении так называемого звукового барьера.

Автор публикуемых заметок — летчик-испытатель по профессии — естественно, встречался с С. А. Лавочкиным главным образом во время летных испытаний созданных в его конструкторском бюро новых машин, когда Главный конструктор приезжал на аэродром... Но вряд ли это имеет значение: Лавочкин всегда и всюду оставался Лавочкиным, где бы и чем бы ни занимался...



1

Это было весной 1941 года, за несколько месяцев до начала войны.

Предгрозовая обстановка чувствовалась повсюду, а в авиации, пожалуй, острее, чем где бы то ни было. Срочно готовилось явно запоздавшее, но тем более необходимое перевооружение наших Военно-Воздушных Сил на современные образцы самолетов, в первую очередь — истребителей. На нашем аэродроме летало сразу три новых типа таких машин — узких, стремительных, тонкокрылых, по тем временам сверхскоростных: МИГ-3, ЯК-1 и ЛАГГ-3. Последний был создан коллективом, которым руководил С. А. Лавочкин совместно с В. П. Горбуновым.

Все три новых самолета сыграли свою роль в воздушных боях первых, самых тяжелых месяцев Великой Отечественной войны.

Но в дни, о которых идет речь, они еще только испытывались. И как всегда, от момента взлета первого в истории человечества самолета до нашего времени, в ходе испытаний выявлялись недостатки: мелкие и серьезные, явно бросавшиеся в глаза и до поры до времени скрытые, легкоустраняемые и требовавшие существенных переделок...

Не мудрено, что конструкторы виновников торжества буквально дневали и ночевали на аэродроме. Семен Алексеевич выделялся среди окружающих своим высоким ростом, распространенной среди высоких людей привычкой сутулиться, а главное — ровной, спокойной, очень интеллигентной манерой держаться, всегда одинаково, независимо от личности собеседника и места, занимаемого им на так называемой иерархической лестнице.

Тогда-то я и увидел его впервые. Он вошел в комнату, в которой производилась расшифровка записей самопишущих приборов и обработка результатов полета, снял свое длинное кожаное пальто и сел за стол. Перед ним положили несколько листов миллиметровки с только что нанесенными на них карандашом свежими, «тепленькими» эксперимен-

тальными точками, привезенными из полетов, после которых буквально не успели еще остыть моторы.

Семен Алексеевич неторопливо просмотрел графики, подумал и ровным голосом высказал несколько замечаний, которые еще нельзя было назвать выводами, но, так сказать, пунктирной дорожкой к ним.

— Так что же, Семен Алексеевич, — спросил один из стоявших вокруг стола инженеров, — вы думаете, что...

— Я еще ничего не думаю, — перебил его Лавочкин, — я только рассуждаю.

Впоследствии я не раз слышал эту фразу. Он не любил — во всяком случае, при анализе экспериментальных данных — того, что именовал «вольным полетом фантазии», которая сама по себе очень хороша и даже прямо необходима, но... на других этапах создания новой машины. А сейчас, в ходе испытаний, он хотел фактов — четких, бесспорных, не вызывающих ни малейших сомнений фактов. И выводов — столь же бесспорных, единственно возможных, логически вытекающих из этих фактов.

2

...Прошло всего несколько месяцев, и события огромного масштаба захлестнули всех нас — началась Великая Отечественная война. Наши новые истребители, еще не до конца доведенные и не до конца освоенные летчиками строевых частей, с ходу — прямо с конвейеров заводов — пошли в бой. Первые же воздушные сражения показали высокие качества и вполне современный уровень летных данных и ЯКов, и ЛАГГов, и МИГов.

Но — и это было весьма существенное «но» — одновременно выявилось то, что закономерно выявляется с началом массовой эксплуатации любой машины: многое в наших скоростных истребителях еще требовало улучшений. Часть этих новых требований — например, расширение обзора — была вызвана спецификой боевых полетов. Другая часть — повы-

шение устойчивости, смягчение срывных характеристик, улучшение некоторых других пилотажных качеств — обуславливалась тем, что в кабины новых самолетов сели строевые летчики, многие из которых по своему опыту и квалификации существенно отличались от людей, летавших на таких же самолетах во время их испытаний. Словом, машины надо было снова и снова доводить, испытывать каждое нововведение в полете и срочно внедрять его в серийное производство.

Дело дополнительно осложнялось еще тем, что любое, самое эффективное мероприятие не годилось, если его реализация хотя бы на минуту задерживала ход выпуска боевых машин с конвейера. Над полями сражений в те месяцы наших самолетов было во много раз меньше, чем неприятельских. Этот разрыв надо было во что бы то ни стало сокращать, а уж никак не усугублять. Поэтому в ходе доводки приходилось добиваться существенных результатов сравнительно малыми средствами.

Это была хорошая школа! Умение добиваться нужных изменений характеристик, не перевернув для этого всю конструкцию самолета вверх ногами, стало одним из обязательных элементов стиля работы наших авиационных инженеров и ученых даже в относительно спокойные времена, когда необходимость в этом уже не была столь острой.

Итак, начался второй тур испытаний скоростных истребителей. Полеты, проработки заданий, разборы результатов, как в калейдоскопе, сменяли друг друга.

Впрочем, среди сигналов, поступавших с фронтов, были не одни только огорчительные. Повторяю, в основном новые самолеты себя оправдали. Немало драгоценных свойств, облегчавших достижение победы в воздушном бою, было сразу же замечено в них фронтовыми летчиками. И среди этих свойств едва ли не на первом месте была исключительная «живучесть» ЛАГГа.

Живучесть! До войны мы нельзя сказать чтобы вовсе не знали этого слова, но как-то не

придавали ему должного значения. Отчасти это происходило оттого, что было совершенно неясно, как оценить наличие или отсутствие живучести у того или иного самолета количественно: цифрой, числом, коэффициентом.

Скорость, высоту, дальность полета, даже такие тонкие свойства летательного аппарата, как его устойчивость и управляемость, мы уже давно умели измерять.

Но какой мерой оценить живучесть — способность самолета продолжать действовать по своему прямому назначению или по крайней мере продолжать полет — «не падать», — несмотря на полученные тяжкие повреждения? И какие повреждения считать тяжкими? И что значит «не может продолжать полет»: снижается на вынужденную посадку или, взорвавшись, разваливается на куски? Разложить все это по полочкам было не легко. Да и как, кроме всего прочего, испытать самолет на живучесть в мирное время?

Последнюю трудность сняла война. Экспериментального материала по живучести стало хоть отбавляй. Наиболее заинтересованные в скорейшем разрешении этой технической проблемы люди — фронтовые летчики — очень быстро разобрались в существе дела и безошибочно определяли, какой самолет живуч, а какой — нет.

И все же оставалось неясным, как сделать самолет живучим. От каких конструктивных особенностей, неуловимых в обычных, благополучных полетах, зависит это драгоценное свойство? В общих чертах об этом можно было догадаться. Наверное, надо так располагать друг относительно друга бензиновые баки и выхлопные патрубки мотора, чтобы при повреждении баков искры из выхлопов не попадали в пелену бензиновых паров. Надо шире применять в конструкции самолета плохо горящие (а еще лучше — совершенно негорючие) материалы. Надо дублировать все жизненно важные агрегаты и системы. В общем, много чего надо — и почти все это в принципе доступно конструктору. Но,

повторяю, надежно проверить эффективность сделанного иначе как в условиях массовой боевой эксплуатации практически невозможно. Эта-то массовая эксплуатация в первые же месяцы войны и показала: ЛАГГ-3 живуч!

Не раз бывало: навалются на нашего одинокого ЛАГГ-третьего два, четыре, шесть «мессеров» — подавляющее большинство воздушных боев тех дней были по понятным причинам боями неравными, — клюют его со всех сторон, наделают в нем столько пробоин, что структурно живого места не остается, а машина держится, не горит, не падает, продолжает вести бой, да еще того и гляди завалит одного-двух из наседающих противников!

3

Именно такой бой — в одиночку против нескольких истребителей врага — провел в феврале сорок второго года известный советский летчик майор А. Н. Гринчик (впоследствии испытатель одного из первых отечественных реактивных самолетов).

Вечером Гринчик рассказывал, как все окружающее — снежные поля внизу и мутные, зимние облака вверх — все казалось ему многократно перечеркнутым дрожащей, неровной сеткой летящих со всех сторон огненных трасс. Впрочем, понятия о «ниже» и «верх» в данном случае можно было применять лишь весьма условно: приходилось непрерывно крутиться, чтобы уворачиваться от огня противника (оказывается, вопреки распространенному в то время среди летчиков мнению в умелых руках ЛАГГ-3 был способен показать вполне приличную маневренность!). Но Гринчик не только уворачивался. При каждой самой малой возможности он контратаковал! И не безрезультатно: за несколько минут боя (это довольно долгий срок — минуты в подобных обстоятельствах кажутся очень длинными) один «Мессершмитт» был сбит, а другой поврежден настолько, что вынужден был немедленно выйти из боя и,

оставляя за собой тонкий дымный след, спешно ретироваться восвояси.

Однако и самолет Гринчика тоже не оставался невредимым. Одно попадание следовало за другим. И вот вражеский снаряд разрывается в моторе ЛАГГа. Конвульсивная дрожь всей машины, грохот, скрежет и... внезапно наступившая тишина — мотор заклинен!

Продолжать бой было невозможно, да и в сущности, все стало невозможно, кроме одного — снижения, причем снижения прямолинейного и на умеренной скорости, так как бой незаметно переместился в глубь позиций врага и иначе было не дотянуть до своей территории.

Увидев это, обрадовавшиеся фашистские летчики устроили — нет, не бой, это слово в подобной ситуации не подходит, — а планомерное избиение незащищенной цели. Как на полигоне, один за другим заходили они на прямолинейно — будто по ниточке — плывущий в воздухе самолет и спокойно, прицельно, безнаказанно избивали его очередями из пушек и пулеметов. Сжавшись за бронеспинкой, раненный в руку и ногу, Гринчик мог только наблюдать, как от его машины буквально клочья летели. Крылья и фюзеляж были пробиты в нескольких местах, из перебитых трубопроводов били бензин, вода, масло, фонарь кабины сорвало, вместо приборной доски осталась какая-то каша, но... ЛАГГ-третий летел! Обозленные такой чуть ли не мистической живучестью, вражеские летчики стали бить в упор, с предельно малых дистанций. Один из них, увлекшись, не успел отвернуть после очередной атаки в сторону, проскочил вперед и оказался на какое-то мгновение впереди полуразрушенного ЛАГГа. И тут произошло нечто не влезющее ни в какие нормы ведения воздушного боя: используя запас скорости, Гринчик довернул едва слушавшуюся рулей машину, по-охотничьи — навскидку — прицелился (оптический прицел был, конечно, давно разбит) и одной длинной очередью, благо беречь стволы уже явно не приходилось, выпустил в за-

зевавшегося гитлеровца весь остаток боекомплекта. «Мессершмитт» взорвался и рассыпался на куски.

Этого нервы остальных немецких летчиков, по видимому, не выдержали. Во всяком случае, они отвалили от заколдованного советского истребителя и направились от греха подальше, домой.

Гринчик благополучно приземлился в расположении наших войск.

Конечно, это был бой настоящего аса! Но я, может быть, несколько уклонившись от темы повествования, так подробно рассказал о нем прежде всего потому, что при всем мастерстве и выдающихся волевых качествах летчика он, безусловно, закончился бы совсем иначе, не обладай машина такой исключительной живучестью. Излишне говорить, как ценили это свойство самолета ЛАГГ-3 наши летчики!..

Зашла о нем речь и на одном из многочисленных совещаний, связанных с работами по новым истребителям. И тут Семен Алексеевич задумчиво бросил:

— Это у нас получилось случайно...

Заметьте: так было сказано не в дружеской беседе с глазу на глаз с приятелем, а на достаточно широком, как говорят, «представительном» совещании. Далеко не всякий конструктор так естественно и легко отказался бы от возможности обыграть столь драгоценное свойство, обнаружившееся в его детище, и признался бы в том, что это свойство получилось «само», помимо сознательного замысла создателей машины. Тем более что на упомянутом совещании по адресу наших новых самолетов, в том числе и ЛАГГ-3, высказывались далеко не одни лишь комплименты.

— Это получилось случайно, — повторил Семен Алексеевич, — но теперь надо разобраться, чему мы обязаны таким подарком, чтобы не растерять его в будущем.

И он не растерял: все последующие самолеты, созданные под руководством С. А. Лавочкина — прославленный ЛА-5, ЛА-7 и другие, —

отличались такой же воистину непробиваемой живучестью, как принявший на себя первый удар врага ЛАГГ-3.

4

В дальнейшем мне не раз приходилось участвовать в так называемых облетах самолетов, созданных под руководством С. А. Лавочкина.

Облет — это нечто вроде консилиума летчиков-испытателей. Дело в том, что далеко не все свойства летательного аппарата поддаются объективной количественной оценке при помощи приборов. Многое и по сей день определяется чисто качественно — по заключению летчика, опробовавшего машину в полете. Разумеется, сами летчики прилагают все усилия к тому, чтобы их оценка была как можно более точной, всеобъемлющей, справедливой. Ими выработано множество специальных профессиональных приемов, применение которых способствует как бы объективизации субъективной оценки, уменьшает влияние личных вкусов, привычек, спортивной формы, даже настроения летчика. Но все же полностью отрешиться от всего этого трудно. Поэтому выполнение облета поручают обычно не одному, а нескольким испытателям. Кстати надо сказать, что в основном их оценки почти всегда совпадают, а споры по отдельным частностям только помогают надежнее сформировать общее мнение.

Особенно необходим облет в тех, увы, нередких случаях, когда с испытуемой машиной что-то не ладится. Тогда «к постели больного» слетается действительно целый консилиум. Летчики-испытатели один за другим уходят в воздух, обследуют поведение самолета на всех режимах (особенно же тщательно, конечно, на тех, при которых возникает какое-то ненормальности), а вернувшись на землю, пишут, каждый в отдельности, свои заключения и после этого — только после этого! — вместе с конструкторами, инженерами, учеными обсуждают существо дела.

Однажды — еще во время войны — в конст-

рукторском бюро С. А. Лавочкина, непрерывно работавшем над модификацией и усовершенствованием своих машин, была сделана попытка установить на знаменитый истребитель ЛА-5 более мощный мотор.

Результаты подобного нововведения далеко не столь бесспорны, как может показаться читателю.

Увеличенная мощность — это в то же время увеличенный вес силовой установки, увеличенное лобовое сопротивление, увеличенный расход горючего и многое другое. В результате может получиться, что весь прирост мощности целиком уйдет на «перевозку самого себя».

Словом, прежде чем выносить суждение о целесообразности такой модификации, ее надо было как следует испытать в полете. Эта работа и была поручена летчику-испытателю конструкторского бюро Г. А. Мищенко.

Не знаю, из каких соображений — возможно, в отличие от серийных боевых ЛА-5, — новая машина была выкрашена в какой-то странный цвет: кремовый с голубыми и фиолетовыми разводами. Механиков, работавших на этом самолете, столь необычная раскраска навела на ассоциации со... стиральным, так называемым «жуковским» мылом. Кличка пристала прочно, и вскоре на аэродроме можно было услышать странные реплики вроде:

— Что мыло — давно в воздухе?

— Уже почти час. Да вон оно — заходит на посадку.

Итак, «мыло» залетало. На малых и средних высотах его поведение никаких нареканий не вызывало и, во всяком случае, позволяло производить все предусмотренные программой замеры. Но на высотах более 5—6 километров (по понятиям того времени — больших) в самолете возникал какой-то противный зуд. По мере дальнейшего подъема зуд усиливался и вскоре переходил в такую здоровенную тряску, что о достижении потолка не могло быть и речи.

Как всегда в подобных случаях, широким строем повалили рабочие гипотезы (нехватка

гипотез — едва ли не самый редкий вид временных затруднений).

Решили на смесеобразование, на винт, на створки капота — словом, на что угодно. Наконец, выплыло на свет божий и дежурное предположение, что «летчику кажется». Это предположение с закономерной силой появляется всякий раз, когда с дефектом не удается справиться достаточно быстро.

Был назначен облет. Несколько летчиков, в том числе и я, полетали на «мыле» и пришли к единодушному мнению — тому самому, к которому еще раньше пришел Мищенко, а именно: в тряске виновато зажигание, которое на высоте работает с перерывами.

Всю систему зажигания еще раз досконально, с полной разборкой, проверили и, наконец, нашли грех — нарушение изоляции высоковольтных проводников.

Естественно, что Гриша Мищенко был очень доволен, — его диагноз получил решительное подтверждение. Но интересно, что не меньшие признаки полнейшего удовлетворения, не скрывая их, проявлял и Семен Алексеевич. Его радовало не только то, что расшито какое-то узкое место, задерживавшее ход испытаний. Он был глубоко удовлетворен самим фактом подтверждения позиции своего летчика-испытателя. Уже после облета я узнал, что именно он — Главный конструктор — с необычной для него резкостью обрушился на авторов гипотезы «летчику кажется», назвав ее техническим капитулянтством. Чтобы в полной мере оценить это заявление, надо знать, что Лавочкин, даже в состоянии самого сильного гнева на какого-нибудь серьезно проштрафившегося сотрудника, обычно говорил нечто вроде:

— Я вас очень ругаю!

Или — в порядке наивысшей степени разноса:

— Вы опасный человек!

Так что «техническое капитулянтство» в его устах следовало расценивать как ругательство весьма сильное.

5

Прошло несколько лет. Уже были построены и успешно залетали не только над испытательными аэродромами, но и в строевых частях первые отечественные реактивные истребители, созданные в конструкторских бюро, руководимых А. И. Микояном и М. И. Гуревичем, А. С. Яковлевым, С. А. Лавочкиным. Но прямые крылья этих первенцев нашего реактивного самолетостроения ограничивали возможность проникновения в глубь звукового барьера. Нужны были новые конструктивные формы летательного аппарата и прежде всего — стреловидное крыло.

В наши дни контуры самолета со стреловидным крылом хорошо знакомы всем — если не в натуре, то по фотографиям в газетах и журналах, плакатам, кинофильмам. Небезынтересно в связи с этим вспомнить, что первым в нашей стране обратилось к этой прогрессивной схеме конструкторское бюро С. А. Лавочкина. Первая же созданная им машина со стреловидным крылом успешно прошла летные испытания, но, как это часто бывает, послужила лишь для общей проверки схемы и накопления опыта. Зато один из последующих вариантов пошел, под наименованием ЛА-15, в серийное производство.

Летчики строевых частей полюбили ЛА-15. Это была удачная машина — легкая, маневренная, несложная в пилотировании. Кстати, на одной из ее модификаций у нас был осуществлен первый или, во всяком случае, один из первых полетов со сверхзвуковой скоростью. Говорю «один из первых» потому, что установление бесспорных приоритетов в этом деле довольно затруднительно: штурм звукового барьера проводился широким фронтом, и несколько летчиков-испытателей на самолетах нескольких разных типов ворвались в область сверхзвуковых скоростей почти одновременно.

Но все это было потом. А поначалу испытания первого опытного экземпляра ЛА-15 пошли не очень гладко.

Ведущий летчик И. Е. Федоров обнаружил

в поведении нового самолета некоторые странности. Это снова была тряска, но какая-то необычная, совсем другая по характеру, чем на «мыле» или каком-либо ином ранее известном нам самолете (хотя ассортимент знакомых летчикам-испытателям видов тряски и в те годы никак нельзя было назвать бедным). Здесь же странно было уже то, что вибрация машины не была закономерно связана с определенной скоростью, высотой, числом оборотов двигателя или иным параметром полета. Возникла она далеко не в каждом полете, причем всегда без каких-либо видимых причин. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы применить обычную методику исследования — сознательно вызывать вибрации, чтобы детально изучить их характер, а вслед за тем и причины (еще, если не ошибаюсь, Энгельс говорил, что овладеть явлением — означает научиться по своему желанию вызывать и прекращать его).

Снова был предпринят облет. Но на этот раз он результатов не дал — ни летчик-испытатель С. Н. Анохин, ни я, облетывавшие машину, ничего сказать о причинах тряски не смогли. Не смогли по той простой причине, что в наших полетах она, как назло... не возникала! Мы энергично переходили с режима на режим, резко отклоняли рули и элероны — словом, дергали машину как могли, но она не поддавалась на все наши провокации и вела себя так послушно и добродетельно, будто иначе и не умела. Бывает в испытательных полетах и так!

Надо сказать, что сам по себе этот полет — с точки зрения, так сказать, спортивно-эстетической — доставил мне большое удовольствие. Это была первая в моей летной биографии машина со стреловидным крылом и скоростью, вплотную приближавшейся к скорости звука. К тому же у нее была удобная, неожиданно просторная в таком небольшом самолете кабина, отличный обзор, удачно расположенное оборудование. Даже такие мелочи, как выполненные по форме руки красивые пластмассовые ручки на секторах и рычагах

управления, и те усиливали общее приятное впечатление от ЛА-пятнадцатого. Словом, хорошо было все, кроме... самого главного — того, ради чего, в сущности, и был предпринят облет. Я не только не разобрался в причинах, порождающих тряску, но даже попросту не сумел вызвать ее.

Все разговоры вокруг этого облета проходили без участия Лавочкина — он был занят в другом месте. Вместо него мы имели дело с заместителем Главного конструктора Леонидом Александровичем Заком и ведущим инженером машины — в прошлом нашим коллегой, летчиком-испытателем — Михаилом Львовичем Барановским. Казалось бы, вспоминая Семена Алексеевича, нечего и говорить об эпизоде, в котором он непосредственного участия не принимал.

Но его личное отсутствие на разборах наших полетов на опытном ЛА-15 не только не помешало, но, может быть, даже помогло с особенной ясностью ощутить то, что я назвал бы «стилем фирмы», — явно идущую от Семена Алексеевича и его ближайших сотрудников обстановку спокойствия, доверия, доброжелательности. В такой обстановке летчик-испытатель, даже оказавшийся в несколько конфузном положении человека, так сказать, не оправдавшего всеобщих ожиданий, не чувствует себя у столба позора и в меру своих сил участвует в общих попытках раскусить очередной крепкий орешек, подкинутый хитрым аэропланом.

Впоследствии причина таинственной нерегулярной тряски была найдена. При этом стало ясно, что установить ее в воздухе было принципиально невозможно. Но все это выяснилось впоследствии. А сидя на послеполетных разборах в маленьком, переделанном из самолетного ящика деревянном домике на краю аэродрома, мы, помнитса, чувствовали себя не очень уютно: судите сами — двух квалифицированных испытателей приглашают специально на «консилиум», а они пришли, полетали и... удаляются, не произнеся ничего сколько-нибудь членораздельного. Такое бы-

вает достаточно редко и отнюдь не способствует поддержанию в летчике должного оптимизма и бодрости духа! Но именно в подобной ситуации я особенно оценил ту специфически «лавочкинскую» атмосферу, которая безраздельно царила на этих разборах и прочно запомнилась мне.

6

Еще через несколько лет мне довелось проводить большие испытания на опытном двухместном реактивном истребителе-перехватчике, выпущенном конструкторским бюро С. А. Лавочкина. В сущности, испытания самой машины как таковой были уже проведены ранее летчиком-испытателем С. Ф. Машковским, а в мою задачу входило испытание специального оборудования, установленного на самолете, как на «летающем стенде».

Но, как известно, в ходе испытаний опытного экземпляра самолета выявляются не все возможные на нем дефекты.

Большая часть — но не все!

Многое вылезает при испытании малой серии, а кое-что — увы! — и в последующей массовой эксплуатации новой машины.

Преподносит, хотя, конечно, все реже и реже, свои сюрпризы и первый, опытный экземпляр, если продолжать летать на нем. В последнем я имел возможность убедиться на практике.

В одном из полетов при заходе на посадку у нас неожиданно вышел лишь один — правый — закрылок, и самолет над самой землей едва не перевернулся вверх колесами. Пришлось немедленно убирать этот несимметрично выпустившийся закрылок — иначе удержать машину от резкого крена не удавалось — и производить посадку, как выражаются летчики, «с гладким крылом».

Несмотря на все старания инженеров и техников, найти и устранить причину столь коварного дефекта в аэродромных условиях не удалось: в двух последующих полетах вся картина повторилась полностью во всей своей сомнительной красе.

Работали мы тогда не на своем основном аэродроме, от которого до нужного нам полигона было далековато. Поэтому проводить испытания оказалось удобнее «в гостях», вдали от своей базы, с которой мы поддерживали телефонную связь. Связь эта была не очень регулярной, и как-то получилось, что Семен Алексеевич узнал о происходящем у нас «цирке» лишь после того, как мы в трех полетах поломали три тяги, а я приспособился сажать машину с убранными закрылками так, будто оно иначе и не полагалось.

Не буду воспроизводить все высказывания Семена Алексеевича по нашему адресу дословно. Ничего сколько-нибудь лестного для нас в них не было. А после выдачи развернутой характеристики образа действий всех участников эксперимента последовало «организационно-техническое мероприятие»: к нам выезжала комиссия специалистов по системам управления с заданием — установить причину столь упорных поломок тяги.

— Пока не будет полной ясности, летать не разрешаю, — заявил Главный конструктор.

Однако ясности комиссия не внесла. Все вроде было в порядке, при многократных пробах на земле закрылки выпускались и убирались безукоризненно, однако... так же ведь было и при наших пробах перед каждым из последних полетов.

И тогда Лавочкин решил, что не остается ничего другого, как разобрать самолет, погрузить его на платформу и везти на завод для капитальных исследований.

Но это означало бы задержку хода испытаний не меньше чем на несколько месяцев, а объект, над которым мы работали, был очень нужен, причем не когда-нибудь, а как можно скорее (мне уже довелось как-то писать, что несрочных испытаний я лично не видел никогда и не вполне уверен, существуют ли они вообще в природе).

Поэтому мы с ведущим инженером М. Л. Барановским, обсудив положение дел, постановили, что без завода действительно не обойтись, но что доставлять туда машину сле-

дует не поездом, а своим ходом — по воздуху. На посадке закрылки и не пытаться выпускать: посадив машину без них три раза, посажу, безусловно, и в четвертый, тем более на свой родной аэродром, гораздо больший по размерам, чем тот, гостеприимством которого мы пользовались. Мнение ведущего инженера полностью совпадало с моим, и с ним можно было всерьез считаться — до перехода на инженерную работу за годы своей летной деятельности Михаил Львович сам испытал немало самолетов и разбирался в вопросах пилотирования никак не хуже меня.

Казалось бы, Главному конструктору остается только ухватиться за такое устраивающее все стороны решение. Нельзя забывать, что задержка испытаний по вине машины сулила лично ему немало неприятностей — полную порцию таких разговоров в соответствующих сферах, которые отнюдь не способствуют укреплению жизни и укреплению нервной системы.

И тем не менее Семен Алексеевич поначалу не проявил по поводу нашей идеи ни малейшего восторга. Он долго обсуждал все технические и пилотажные подробности задуманной операции, без конца выдумывал все новые и новые «а если...» и, когда никаких сколько-нибудь деловых возражений, наконец, не оставалось, ошарашил меня совершенно «не техническим», но очень человечным вопросом:

— А чего, положи руку на сердце, летчику больше хочется: лететь или отправить машину поездом? Только откровенно! И не от головы, а от души: лететь — или пусть едет сама?

Я — и от души и «от головы» — хотел лететь. Перелет был разрешен и прошел совершенно благополучно.

И лишь впоследствии, когда на заводе нашли причину и устранили дефект в управлении закрылками, испытания были продолжены и благополучно завершены, а оборудование, над которым мы работали, получило всеобщее признание, — лишь тогда я узнал, что Лавочкин все время, пока я перегонял машину, си-

дел у телефона и требовал выдавать ему что-то вроде непрерывного репортажа о ходе дела:

— Вырулил... Взлетел... Лег на курс... Пришел на аэродром посадки... Вошел в круг... Вышел на последнюю прямую...

И наконец:

— Сел, рулит на стоянку...

Все это я узнал, повторяю, лишь потом.

Но что я почувствовал сразу — это характерное для Лавочкина неумение отрывать технические аспекты дела от людей, которые это дело тянут, от их психологии, их настроений, их живой души. Деятель государственного масштаба, конструктор, руководитель не давил в нем Человека, что — увы! — встречается далеко не так часто, как хотелось бы.

7

Вскоре мне пришлось вновь наблюдать Семена Алексеевича в «аварийных» обстоятельствах, причем на этот раз я выступал в не очень приятном качестве члена аварийной комиссии.

Наш товарищ летчик-испытатель А. Г. Кочетков выполнял первый вылет на новой опытной машине, созданной под руководством С. А. Лавочкина. Сразу после отрыва от земли самолет начал резко раскачиваться. Летчику во избежание худшего исхода оставалось одно: выключить двигатель и приземлить машину прямо перед собой, в поле вне аэродрома. Так он и поступил. Всеобщее раздражение по поводу поломки искало выхода и уже готово было найти его, следуя в испытанном, можно сказать, традиционном направлении:

— Летчик не справился...

Но против такой постановки вопроса энергично восстал не кто иной, как Лавочкин, хотя его все происшедшее должно было огорчить (и, наверное, огорчило в действительности) больше, чем кого-либо другого.

— Отнести поломку на счет летчика проще всего, — говорил он, — для этого даже думать много не надо. А вот вы дайте мне конкретные, технические причины. Даже если летчик

виноват, покажите, что именно он сделал не так, как был должен и, главное, мог сделать. — Лавочкин произнес это с ударением на слове «мог». — Тогда все и запишем. А бездоказательных предположений нам не надо... И дальнейший анализ происшествия был поставлен по предложению Семена Алексеевича на уровне подлинных научных исследований. Был создан специальный электронно-моделирующий стенд, сидя в кабине которого можно было действовать рычагами управления, а на экранах осциллографов прямо наблюдать за ответными движениями самолета. Сейчас подобные стенды нашли самое широкое применение как у нас, так и за рубежом, но тогда это дело было в новинку.

Два члена комиссии — летчик-испытатель Г. М. Шиянов и я — поочередно садились в кабину стенда и «разыгрывали» взлет. Увы, почти все наши попытки закончились тем, что зеленый луч на экране осциллографа начинал ритмично прыгать от одного крайнего положения до другого, причем с такой частотой, что попасть в такт и погасить колебания никак не удавалось — машина раскачивалась. Короче говоря, за несколько минут работы на стенде мы с Шияновым «в дым разбили» самолет не менее чем по десять раз каждый! Управлять машиной при таких колебательных характеристиках оказалось попросту невозможным.

И лишь после существенных переделок, опробованных на том же электронно-моделирующем стенде (это, как легко догадаться, сразу же и прочно вошло в традицию), самолет снова — и на этот раз вполне благополучно — поднялся в воздух.

Впоследствии мне рассказали, что Лавочкин, заинтересовавшись электронным моделированием, начал с того, что задолго до случая, о котором идет речь, поехал в Академию наук к академику С. А. Лебедеву. Поехал не для того, чтобы на правах знатного экскурсанта «посетить» начинающее входить в моду научное учреждение, а с совершенно конкретной целью — учиться. И надо сказать,

учился он очень дотошно, причем не одной лишь теории: свой курс наук он завершил ознакомлением с работой оператора электронно-моделирующих устройств. А затем вызвал нескольких своих сотрудников, чтобы они обучились тому же.

Не мудрено, что в конструкторском бюро, возглавляемом С. А. Лавочкиным, электронное моделирование — как, впрочем, и многое другое, столь же новое и прогрессивное в смежных областях науки и техники — нашло широкое применение раньше, чем в большинстве других КБ.

Поэтому-то Лавочкин и мог позволить себе слова: «Отнести полонку на счет летчика проще всего...», в которых проявились не только его человечность и доброе отношение к своим сотрудникам, но и способность противопоставить этому «самому простому» пути надежные методы научного исследования...

8

Впрочем, не все наши разговоры с Лавочкиным неизменно носили идиллический характер взаимного согласия и благоволения. Бывало и иное. Так, однажды зашел у нас спор о том, как по мере развития авиации видоизменяется роль летчика на борту летательного аппарата. А надо сказать, что Семен Алексеевич был одним из крупнейших в Союзе знатоков проблемы автоматического пилотирования, чрезвычайно много сделавшим для ее успешного разрешения. Это-то, видимо, и натолкнуло его на полушутливые, полусерьезные рассуждения на тему о неминуемо предстоящей замене живого пилота машиной.

Мы — несколько летчиков-испытателей, с которыми он неосторожно завел такой разговор, — возражали ему с жаром, подогреваемым не только профессиональным самолюбием, но прежде всего нашим глубоким убеждением, что, сколь ни велики возможности машины, она никогда полностью не заменит носителя живого творческого разума — человека — ни на борту самолета, ни где-либо в другом месте, где такой разум потребен. В ка-

честве одного из последних аргументов мы предложили нашему оппоненту представить себе самую что ни на есть умную машину в роли... главного конструктора КБ. Семен Алексеевич посмеялся — чувство юмора изменяло ему очень редко, — и спор закончился, так сказать, вничью.

Так что бывали и споры. Впрочем, жалеть об этом никак не приходится, тем более что и спорил Лавочкин всегда подчеркнуто вежливо, спокойно, уважительно к собеседнику, а главное — очень интересно.

Сотрудники Семена Алексеевича до сих пор вспоминают его замечательное свойство — даже в самом горячем споре не терять способности слушать и обдумывать возражения. Уловив в них «рациональное зерно», он оборачивался к остальным участникам разговора со словами:

— А ведь он не совсем глупые вещи говорит!

Эта фраза означала многое: и признание правоты оппонента и, главное, предоставление возможности доказать ее на деле.

9

Среди наших бесед с Семеном Алексеевичем была одна, не имевшая прямого отношения к проблемам авиационной техники, но тем не менее очень хорошо запомнившаяся мне. Состоялась она при обстоятельствах для меня достаточно сложных и непривычных.

По различным, хотя и одинаково малоубедительным, поводам группа летчиков-испытателей организации, в которой я тогда работал, была освобождена от занимаемых должностей и разбросана по принципу «кто куда». И я удостоился сомнительной чести открыть своей персоной список опальных пилотов. Никаких сколько-нибудь убедительных претензий ни мне, ни кому-либо из моих товарищей не предъявлялось, но... по ряду причин доказывать свою правоту было в то время практически бесполезно: над всей проведенной операцией незримо витал дух таких трудноуязвимых (даже когда они совершенно превратно

истолкованы) категорий, как «очистка засоренных кадров» и даже «политическая бдительность». Какие уж тут доказательства!..

Впрочем, история моей «опалы», начавшейся в 1950-м и окончившейся после 1953 года, прямого отношения к теме этих заметок не имеет. И вспомнил я о ней лишь в связи с тем, что в длинном ряду разговоров, которые мне пришлось вести на тему о своем положении в пространстве, одним из первых был разговор с Лавочкиным. Тем не менее кое-какой опыт в малоприятном амплуа ходатая по собственным делам я уже успел приобрести. Это-то и позволило мне в полной мере оценить весь тон и стиль нашего разговора. Главное в нем заключалось в том, что Лавочкин не стал «крутить». Он с самого начала сказал, что ничем реально помочь мне не может (а если бы мог, то уже давно сделал бы это по собственной инициативе), и объяснил, почему именно лишен такой возможности. Он не пытался спрятаться за дымовую завесу обещаний о чем-то «подумать», с кем-то «поговорить» или как-то «иметь это дело в виду». Он не только не стремился «вселять в меня бодрость и оптимизм», но, напротив, нашел, что я смотрю на вещи легче чем следует и напрасно расцениваю случившееся только как частный случай, и постарался более широко обрисовать мне сложившуюся ситуацию. А ситуация была невеселой: немало черных дел творилось в те времена под флагом политической бдительности.

Словом, это был хороший, прямой, умный мужской разговор. То, что я вынес из него, представляло, может быть, не меньшую ценность, чем конкретная поддержка, и навсегда запомнилось мне.

10

Лавочкин уделял летным испытаниям много внимания. Он понимал их значение, ясно видел, что испытания (и неминуемо сопутствующая им доводка), в сущности, не что иное, как заключительный этап творческого процесса создания новой машины.

А кроме того — он явно любил это дело. Попросту, по-человечески любил живую — не нарисованную — летающую машину, любил бывать среди летчиков-испытателей, ведущих инженеров, механиков — всей аэродромной братии, любил саму обстановку действующего аэродрома: его шумы, запахи, подробности быта. Семен Алексеевич проводил много времени на испытательных аэродромах и полигонах.

На одном из них 9 июня 1960 года — за два с половиной месяца до шестидесятилетия — его и застигла неожиданная смерть...

...Как видит читающий эти строки, наше знакомство с Семеном Алексеевичем Лавочкиным протекало, если можно так выразиться, «пунктиром». От встречи до встречи проходили иногда дни, иногда недели, иногда многие месяцы.

Но среди этих разрозненных встреч трудно найти хоть одну пустую, которая не оставила бы никакого следа в памяти, ничему не научила, не заставила о чем-то призадуматься. Правда, последнее обстоятельство можно отчасти объяснить тем, что встречались мы почти всегда по какому-нибудь важному, животрепещущему делу, остро волнующему по крайней мере одного, а чаще обоих собеседников. Но, думается, дело не только в этом. Семен Алексеевич был человеком такого большого внутреннего содержания, такого духовного богатства, что пустых встреч или разговоров с ним быть просто не могло.

Перечитав написанное, я неожиданно для себя увидел, что, собравшись писать о Лавочкине, рассказал больше не о нем самом, а о его делах, его трудах, его самолетах. Впрочем, я думаю, в этом есть своя правда. Невозможно писать о художнике, не говоря ни слова о его картинах. Немыслима биография композитора без его музыки или жизнеописание педагога вне судеб его воспитанников.

Так же и биография конструктора неотделима от «биографий» созданных под его руководством машин. Этим она, наверное, и отличается от любой иной.



Н. А. Луначарская-Розенель

Последний год

В октябре 1962 года вышла в свет книга воспоминаний жены А. В. Луначарского Н. А. Луначарской-Розенель «Память сердца». Наталия Александровна не увидела своей книги — она умерла 22 сентября 1962 года. Не осуществила она и интереснейшие литературные замыслы: рассказать о многолетней дружбе Анатолия Васильевича Луначарского с Алексеем Максимовичем Горьким, Ромен Ролланом, Анри Барбюсом и другими. Ниже мы публикуем не вошедшую в книгу «Память сердца» главу, которая рассказывает о последнем годе жизни Анатолия Васильевича Луначарского. Главу подготовила к печати И. А. Луначарская.

Свои статьи на международные темы, в частности о Женевской конференции по разоружению в 1931—1933 годах, Анатолий Васильевич подписывал псевдонимом А. Д. Тур. Я не понимала, почему он выбрал этот странный псевдоним, а Анатолий Васильевич объяснил мне:

— «А. Д. Тур» — *Avant dernier tour*¹, то есть предпоследний период жизни.

Эта расшифровка псевдонима приоткрыла для меня на мгновение душевное состояние Анатолия Васильевича: очевидно, он сознавал, что жить ему осталось очень недолго. Обычно, когда речь заходила о его здоровье, он был оптимистичен и бодр, радовался малейшему хорошему симптому, не фиксировал внимания на плохих... И вдруг — «*Avant dernier tour*»! Я постаралась поскорее переменить тему разговора, отвлечь его внимание.

Только изредка, моментами прорывалось у него предчувствие близкого конца. Припоминаю один случай... В июне 1933 года, когда мы садились в вагон, уезжая в нашу последнюю поездку за границу, один провожавший нас драматург передал мне свою пьесу и настойчиво просил сегодня же в поезде прочитать ее вслух Анатолию Васильевичу. Рукопись была снабжена очень лестным отзывом писателя с мировым именем, отпечатана на роскошной бумаге и изящно переплетена.

Когда поезд отошел и мы устроились в купе, Анатолий Васильевич сам напомнил мне о пьесе и, видимо предвкушая удовольствие, приготовился слушать. Через десять минут я заметила, что он тяготится чтением. Через полчаса он прервал меня:

— Не надо. Я устал.

Автор умолял меня написать ему с дороги, какое впечатление произвела его пьеса, я обещала.

— Ну ладно. Отложим чтение до завтра. Ведь по первому акту трудно судить о пьесе.

Анатолий Васильевич ответил с не свойственной ему жесткостью:

— Нет, я ее вообще не буду читать. Мне осталось недолго жить, время мне дорого, и я не хочу его тратить на чтение пустых и халтурных вещей.

И снова от этих слов меня охватила леденящая тоска и тревога, а Анатолий Васильевич, заметив это, начал шутить, строить планы будущего, и мне казалось, что только мимолетное облачко омрачило эту солнечную натуру.

Теперь, спустя много лет, видишь все по-иному, и, когда я оглядываюсь на последние месяцы жизни Анатолия Васильевича, я повторяю вслед за ним: «*Avant dernier tour*». Вот об этом предпоследнем этапе его жизни я хочу кратко рассказать тем, кто его знал и любил, а также и нашей молодежи, читающей его книги.

Вся жизнь Анатолия Васильевича проходила на людях; он отнюдь не был кабинетным человеком.

«Я — мужчина публичный», — повторял он слова Пушкина.

Но именно этот, предпоследний период своей жизни он прожил за границей, встречаясь с очень ограниченным кругом людей, и, кроме меня, строго говоря, не существует свидетелей этого куска его биографии. К сожалению, я не вела записей, я не помню дат, помню только последовательность событий.

В октябре 1932 года профессор Крюкманн в Берлине произвел Луначарскому экстирпацию глаза. У Анатолия Васильевича на почве гипертонии сделалась вторичная глаукома, которая причиняла ему нечеловеческие страдания. Решиться на такую операцию было трудно. Каюсь, что Анатолий Васильевич медлил отчасти по моей вине: я все надеялась, что глаз удастся спасти. В этой надежде меня поддерживал известный московский



¹ Перед последним туром (франц.). И. А. Сац сообщил, что А. В. иначе объяснял ему значение этого псевдонима: перед последним туром, т. е. перед последними и решительными боями с капитализмом.

профессор Михаил Осипович Авербах, с которым я все время переписывалась. В сентябре 1932 года Авербах специально приехал к Анатолию Васильевичу в Königstein im Taunus, в Германию, где он тогда лечился.

Профессор Крюкманн, лучший в то время окулист в Европе, считал, что экстирпация неизбежна, и Луначарский принял решение оперироваться вопреки настойчивым уговорам Авербаха применить способы консервативного лечения.

Операция прошла хорошо. Крюкманн внушал Анатолию Васильевичу большое доверие и уважение. Это был крепкий, с резким голосом и манерами старик, чудаковатый ученый с добрым, отзывчивым сердцем и сильной волей. Анатолий Васильевич как-то сразу поверил в него.

На седьмой день после операции Анатолий Васильевич с забинтованной головой, в сопровождении медицинской сестры, отправился в концерт слушать из закрытой ложи музыку Моцарта. Крюкманн настоял на этом и почему-то советовал не брать меня с собою. — Я отпускаю вас на два часа из клиники, чтобы вы могли принять музыкальную ванну для души. А когда я сниму повязку и у вас будет искусственный глаз, тогда будете ходить на концерты с Frau Gemahlin¹.

Анатолий Васильевич буквально последовал этому совету.

Я стояла в подъезде филармонии и видела, как Луначарский прошел со своей медицинской сестрой, огромной седой пруссачкой с розовыми, гладкими щеками. Я не окликнула его и весь концерт просидела одна в партере, неотрывно глядя на ложу, где за опущенным бархатным занавесом, с забинтованной головой сидел Луначарский.

Он не ждал меня и очень обрадовался, когда мы встретились у входа и я отвезла его и сестру в клинику.

— Какая умница этот профессор! Мне нужен был именно Моцарт. Ты знаешь, профессор так верит в воздействие музыки, что

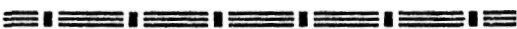
в университетской глазной клинике, которую он возглавляет, он на свои деньги покупает билеты на симфонические концерты для немущих пациентов.

Из глазной больницы Анатолий Васильевич вышел с хорошим, бодрым самочувствием: он избавился от страшных физических страданий, которые причиняла ему глаукома. В смысле зрения для него ничто не изменилось: за полгода болезни он привык обходиться одним глазом. На его внешности экстирпация глаза почти не отразилась: он носил очки в роговой оправе, и искусственный глаз был совсем незаметен.

— Какое это имеет значение? Ведь вы не кинозвезда! — своим обычным ворчливым тоном говорил ему профессор; и Анатолий Васильевич часто повторял эту фразу.

Профессор Бергман, знаменитый немецкий кардиолог, считал, что и общее самочувствие Анатолия Васильевича должно улучшиться после операции. Мы переехали в уютный маленький отель «Вилла Мажестик» в западной части Берлина, где было очень тихо, очень спокойно. Анатолий Васильевич продолжал интенсивно лечиться у профессоров Бергмана и Крюкманна, но по свойству своей природы не мог не работать. Он с утра уезжал в Публичную библиотеку, где подбирал материалы для своей будущей книги о Бэконе; он задумал книгу «Смех как орудие социальной борьбы» и с увлечением знакомился с политической сатирой XIX и начала нашего века.

Но особенно большое значение в этом периоде жизни Луначарского приобрела музыка. Музыка он всегда любил и был благодарным и тонким слушателем, но в этот период музыка заняла главное место в мире его эстетических переживаний. В этом смысле берлинский музыкальный сезон давал ему очень много: мы слушали концерты Фуртвенглера и Бруно Вальтера, Клемперера и



¹ С вашей женой (нем.).

Оскара Фрида, слушали скрипачей Губермана и Крейсера.

Берлин в это время жил тревожной и напряженной жизнью: по улицам маршировали штурмовики; то там, то здесь, главным образом на окраинах города, возникали настоящие уличные бои. По воскресеньям (характерно для немецких рабочих) происходили стычки между коммунистами и нацистами, с убитыми и тяжело ранеными. Во главе правительства был генерал Шлейхер; но все понимали, что это ненадолго: нацисты нагнали все больше и больше. Быть может, в противовес надвигающемуся мраку у немецкой интеллигенции ощущалась тяга к социально значимым произведениям искусства. Театры ставили пьесы прогрессивных авторов, и на спектаклях «Бог, император и мужик» Ю. Гая, «Газетные заметки» Эльвиры Кальковской, «Сказки Венского леса» Унгера и других нацисты устраивали настоящие скандалы и свалки, которые служили благовидным предлогом для запрещения этих спектаклей. Полиция занималась обычным в такой обстановке попустительством.

Немецкая передовая интеллигенция тянулась к Луначарскому, и, несмотря на пошатнувшееся здоровье, он встречался с прогрессивными писателями и деятелями искусства, в их числе с Бертольдом Брехтом, Александром Моисси, Эрнстом Толлером, Газенклевером, Кальковской, Вилли Мюнценбергом, Г. Гауптманом, М. Вассерманом, А. Голитчером и другими.

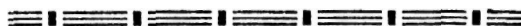
За несколько дней до поджога рейхстага мы вернулись в Москву.

После полутора-двух недель, проведенных в Москве с семьей и близкими, Анатолий Васильевич по требованию врачей поселился в доме отдыха Волынском под Москвой. Он приступил к работе в Ученом комитете¹, он был директором института ЛИЯ Комкадемии² и ИРЛИ Академии наук³, был редактором ряда изданий, но после работы не оставался в Москве и прямо уезжал на дачу. Когда у меня не было спектаклей, я остава-

лась с ним в Волынском; все время с Анатолием Васильевичем находился в Волынском Игорь Александрович Сац, мой брат, его литературный секретарь. Луначарский продолжал работать в Волынском, к нему приезжали стенографистка, сотрудники институтов, редакторы.

Больше всего мы, близкие люди, оберегали Анатолия Васильевича от публичных выступлений; о том, что при его состоянии здоровья это крайне опасно, нас настойчиво предупреждали врачи, и наши и немецкие. Для Анатолия Васильевича это было большим лишением. Непосредственное общение с аудиторией, живая речь, шутка, порой импровизация — это была, пожалуй, настоящая потребность его яркой, активной природы, его стихия.

Запомнился такой случай: после репетиции в Малом театре я приехала в Волынское и застала у Анатолия Васильевича поэта Василия Каменского. Он собирался праздновать свой юбилей в Большом зале консерватории, и Анатолий Васильевич дал ему слово выступить на этом вечере. Как я ни любила Васю Каменского, но тут энергично запротестовала; мне пришлось прибегнуть к авторитету Санупра Кремля. Тогда Каменский придумал следующий выход: Луначарский произнес свою речь по радио, находясь в своей комнате в Волынском, и это выступление транслировалось в Большой зал консерватории. В то время это была техническая новинка, которая произвела сильное впечатление на слушателей. Я сама участвовала в юбилейном вечере Каменского, но могла приехать только перед концом концерта, после спектакля в Малом театре; мое выступление было предпоследним номером про-



¹ Комитет при ЦИК СССР по заведению все-союзными научными учебными учреждениями, председателем которого Луначарский стал в 1929 году.

² Институт литературы и языка Коммунистической академии.

³ Институт русской литературы в Ленинграде (Пушкинский дом).



граммы. Речи Анатолия Васильевича я не слышала, но по общим отзывам все прошло очень хорошо технически и блестяще по содержанию¹.

Но на другом юбилее — А. С. Серафимовича в Комакадемии — мне не удалось удержать Анатолия Васильевича от участия в публичном чествовании. Он обещал мне, что в качестве председателя юбилейной комиссии только откроет вечер. Но аудитория Комакадемии, зная о тяжелой болезни Луначарского и впервые столкнувшись с ним после операции, встретила его какими-то неистовыми овациями. Все, как один человек, стоя без конца аплодировали ему. И Анатолий

Васильевич не удержался: вместо обещанных им «нескольких слов» он произнес одну из самых вдохновенных своих речей. Каждая мысль его вызвала восторженную реакцию публики. Когда он кончил, все, снова стоя, благодарили его долгими рукоплесканиями. Юбиляр был как-то отодвинут на второй план. Я с некоторой тревогой посматривала на Серафимовича. Но Александр Серафимович сам яростно хлопал, и у него на глазах были слезы — так глубоко и метко Анатолий Васильевич характеризовал его талант и его место в русской литературе².

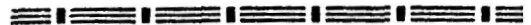
В антракте Анатолий Васильевич, виновато улыбаясь (ведь он не сдержал слова!), подошел ко мне — он ожидал упреков, но я только тихонько пожала его руку.

«Лебединой песней» Анатолия Васильевича было выступление в той же Комакадемии на тему о социалистическом реализме.

Накануне и утром ему было очень плохо — был сердечный припадок, сильно повысилось давление, его должны были в двенадцать дня перевезти в Кремлевскую больницу. Но он категорически заявил, что должен быть во что бы то ни стало на собрании в Комакадемии. К двенадцати часам приехали врачи, которые пытались отговорить его от выступления. Он обещал семье и врачам ограничиться несколькими словами и прямо из Комакадемии поехать в Кремлевку.

Эту речь о социалистическом реализме многие помнят — она была глубока, значительна, ярка и темпераментна. Трудно поверить, что такую речь произнес человек в момент обострения сердечной болезни.

Это было последнее публичное выступление Луначарского³.



¹ Статья А. В. Луначарского о Каменском была опубликована в «Известиях ЦИК СССР» 26 марта 1933 года.

² Речь в честь А. С. Серафимовича была опубликована 20 января 1933 года.

³ Заседания Оргкомитета происходили в феврале. Стенограмма выступления Луначарского впервые опубликована в № 23 журнала «Театр» за 1933 год.

Не заезжая домой, прямо из Комакадемии, Анатолий Васильевич отправился в больницу. Между прочим, Анатолий Васильевич не выносил больниц. Характерно, что он всегда оговаривался и вместо «палата» или «комната» говорил «камера».

Он недолго оставался в больнице, его отпустили на волю, но при условии, что он будет жить не в Москве, а в доме отдыха «Морозовка» (в Волынском начали ремонт).

Морозовка была значительно дальше от Москвы, чем Волынское, но природа там была гораздо красивее и дом был уютнее и комфортабельнее.

В Морозовке особенно проявилась та взволнованная любовь к природе, которая отличала последний период жизни Анатолия Васильевича. Он всегда тонко чувствовал красоту природы, живой жизни, но его личная судьба сложилась так, что с восемнадцати лет он главным образом соприкасался с природой яркой, живописной, эффектной — природой юга Франции, Швейцарии, Италии. Он восхищался грузинской природой; наши поездки на Кавказ были для него каким-то сплошным праздником. Но мне кажется, что русскую природу с ее «усталой нежностью» и мягкими полутонами он особенно почувствовал в эти последние годы. Он останавливался перед вековым дубом или раскидистой старой липой и любовно рассматривал все — кору, ветви, молодые побеги. Сидя на скамье в парке, подолгу смотрел, как из-под прелых листьев пробивается молодая травка. Его занимали белки с их острыми, любопытными мордочками и бусинами глаз. У Анатолия Васильевича в Морозовке даже завелась белка-любимица, почти ручная, которой он приносил орехи. Один из отдыхающих ни с того ни с сего пристрелил эту белку и в качестве трофея принес в столовую похвастать. Анатолию Васильевичу этот человек стал отвратителен; при его появлении Анатолий Васильевич уходил из комнаты.

В Морозовке Луначарский подолгу бывал на

воздухе, гулял в парке, в лесу, и в то же время он очень интенсивно работал.

Я проводила в Морозовке все свободные от театра дни; постоянно жил с нами мой брат Игорь Александрович; когда начались школьные каникулы, Анатолий Васильевич взял к себе дочь Ирину. Он охотно беседовал с нею и ее подругой Галей, дочерью В. В. Куйбышева.

Анатолия Васильевича мучили частые кровотечения из носа, начавшиеся застойные явления в легких, но, несмотря на это, общее его настроение было неплохим.

Однажды в Морозовку к Луначарскому приехали товарищи, что-то вроде делегации, и заговорили о том, что Анатолий Васильевич делает непростительную ошибку, не лечась у доктора К. Они возмущались консерватизмом Санупра Кремля, объясняя отрицательное отношение к этому врачу и его методам лечения простой боязнью конкуренции со стороны наших официальных медицинских светил. Говорили эти товарищи убедительно и веско. Оказалось, что они все были его пациентами и он при встречах повторял им:

— Я мог бы спасти Луначарского, но меня к нему не допускают.

Вскоре состоялось свидание Луначарского с доктором, который в моем присутствии сказал ему:

«Все врачи утверждают, будто бы склероз — процесс необратимый. Это вздор! Через четыре месяца, к августу, у вас не останется и следа склероза сосудов».

У меня, как говорится, «не лежала душа» к этому новоявленному чудотворцу; но Литвинов, Красиков, Гусев настойчиво советовали лечиться у него, так как он якобы значительно им помог. Что было делать?.. Этот по крайней мере обнадеживал, в то время как кремлевские врачи считали, что максимум успеха, к которому они стремились, — не дать прогрессировать болезни...

Сначала Анатолию Васильевичу стало несколько лучше, потом его состояние резко ухудшилось.



Это было невероятно тяжелым разочарованием для больного и для нас, его близких. Мы пытались объяснить это ухудшение тем, что для уколов ему приходилось ездить в Москву, дорога его утомляла, что сами по себе эти уколы были очень болезненны. Однако вскоре выяснилось, что дело обстояло гораздо плачевнее: К. явно хитрил и уклонялся от диагноза. Когда у Анатолия Васильевича начались мучительные приступы кашля, связанные с сердечной недостаточностью, К. договорился до того, что это... коклюш! Однажды Анатолий Васильевич сказал, что уличил его в обмане: он заметил, что тот вместо своих таинственных лекарств делает

ему уколы камфары. Пойманный с поличным, этот врач сознался, что последние дни отказался от своих разрекламированных инъекций и тайком делал уколы больших доз камфары.

Я немедленно сообщила это лечащим врачам Анатолия Васильевича из Кремлевской больницы. Решено было создать расширенный консилиум. Анатолий Васильевич, как всегда корректный и внимательный к людям, настоял на приглашении вместе с другими и доктора К.

У нас собрались виднейшие московские кардиологи и терапевты во главе с начальником и главным врачом Санупра; но К. на конси-

лиум не явился. Он телефонировал мне, что его срочно вызвали за город к В. Р. Менжинскому. Когда я передала это собравшимся профессорам, всех охватило чувство возмущения: это была наглая ложь — консилиум у Луначарского был назначен на двенадцать часов дня, а к Менжинскому К. вызывали к девяти часам вечера!

Консилиум отметил резкое ухудшение в здоровье Анатолия Васильевича, и его в тот же день снова перевели в Кремлевскую больницу. Было решено, что, как только его самочувствие позволит, он должен ехать во Францию, где лечат сердце какими-то новыми препаратами.

В начале июня 1933 года Анатолий Васильевич по настоянию врачей выехал со мной в Париж. Его сопровождал доктор К. Ф. Михайлов, который должен был его передать французским врачам и информировать Санитарное управление Кремля.

Дорога была трудная. В вагоне было душно и пыльно. В Берлине пришлось провести около двух суток, так как для сопровождающего врача, не имевшего дипломатического паспорта, потребовалась транзитная бельгийская виза.

После полугода гитлеровского режима Берлин производил тяжелое впечатление: жизнь в столице Германии замерла; хорошо знакомый город, где еще недавно культурная жизнь была ключом, стал чуждым и антипатичным. Анатолий Васильевич, проехав с Силезского вокзала в наше полпредство, больше не выходил в город: дорога утомила его и «мерзость запустения» Берлина раздражала. Кроме того, полпред не советовал «разгуливать» по нацистскому Берлину: могли быть эксцессы.

После Берлина в Париже намного легче дышалось, если не в буквальном, то в переносном смысле. Договорились с знаменитым парижским кардиологом профессором Данзелло о приеме.

Перед встречей с профессором мы долго катались по улицам, и Анатолий Васильевич

как-то особенно наслаждался своим любимым Парижем. Наш спутник, доктор Михайлов, никогда раньше не бывал за границей, и Анатолий Васильевич с увлечением показывал ему площади, статуи, парки. Наконец мы приехали на фешенебельную, спокойную, всю в зелени авеню Ош, близко от парка Монсо, и поднялись в кокетливую, нарядную квартиру профессора Данзелло. Навстречу нам быстрой походкой вышел молодой человек, на редкость элегантный. Я решила, что это какой-то юный ассистент профессора, а сам знаменитый профессор «для пущей важности» выйдет не сразу. Поздоровались... и оказалось, что это и есть сам профессор Данзелло и что этот «юноша» моложе Анатолия Васильевича всего на три-четыре года. С невольной горечью я подумала, что он так моложав, потому что не испытал ни царских тюрем, ни нечеловеческой нагрузки первых лет революции.

После осмотра решено было, что Анатолий Васильевич будет вместе со мною жить в санатории, принадлежащем профессору Данзелло, известному хирургу Суппо и какому-то третьему врачу, на улице Лиотэ в Пасси и пройдет там курс лечения по новому методу Данзелло. Лечение заключалось во внутривенных вливаниях нового препарата «Уобин» и всевозможных подсобных лекарств.

Через три дня Анатолий Васильевич переехал в клинический санаторий; Мы заняли две смежные комнаты, светлые, комфортабельные, обставленные в новом стиле. Но подъем, вызванный «встречей с Парижем», прошел, и самочувствие Анатолия Васильевича было неважное. Этот санаторий имел очень существенный недостаток: полное отсутствие зелени, сада, даже двора. Это был благоустроенный каменный мешок; летом, в жару, когда от зноя таял асфальт, это было несносно.

Кроме кашля, Анатолия Васильевича изводила бессонница. Обычные снотворные не достигали цели, и профессор попробовал сделать укол пантапона, но эффект от этого укола был самый неприятный.

Это лекарство вызвало у Анатолия Васильевича состояние мучительного бреда: он вскрикивал во сне, громко стонал и очень нервно произносил речь, почему-то по-итальянски. Сидя у его постели, я провела тревожную ночь; только под утро он заснул. Данзело сказал, что впервые за свою практику он встречает случай такой абсолютной идиосинкразии.

Постепенно вливания «Уобоина» стали благоприятно действовать, сердце все лучше и лучше справлялось со своей работой, почти прекратился кашель. Данзело сказал, что он очень доволен результатами; после шести недель лечения в санатории профессор заявил, что курс закончен, и посоветовал поехать на курорт. Он предупредил, что через год-полтора, возможно, придется снова повторить это лечение. Он рекомендовал Луначарскому поехать в Эвиан ле Бэн (Evian les Bains), считая, что жизнь на берегу озера успокаивающе действует на нервы. Он дал нам письмо к врачу в Эвиане, с которым был в постоянном контакте, и, кроме того, написал этому врачу другое письмо, которое отправил по почте: очевидно, в нем он писал более подробно и откровенно.

По совету Данзело в Эвиане мы остановились в отеле «Рояль», высоко над городом, куда можно было подняться на фуникулере или в автомобиле, делая бесконечные зигзаги по склону горы. Отель «Рояль» был окружен огромным парком, переходившим в опушку леса; перед отелем цвели великолепные розы и магнолии, а вверху по склону поднимались сосны и буки, за ними предальпийские луга, тонувшие в облаках. Самое очаровательное в «Рояле» была поразительно красивая, большая эспланада, на которую выходила огромная веранда отеля. Перед нами открывалось все Женевское озеро; в ясные дни видны были Лозанна-Уши, Монтрэ, Террите, Веве. Подолгу живя в Женеве, мы набаловались видом Альп и Монблана; отсюда, из Эвиана, видна была цепь Юры, далеко не такая живописная, но зато во время ужина

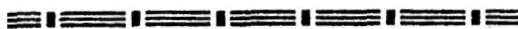
на веранде мы видели швейцарский берег Женевского озера, гирлянды огней, мерцающие сквозь вечернюю дымку.

Однако вскоре перед нами открылась обратная сторона медали: «Рояль» оправдывал свое название¹, в нем при нас жили пять коронованных особ, в том числе дон Карлос, сын короля Альфонса XIII, отрекшийся от испанского престолонаследия из-за женитьбы на молодой хорошенькой кубинке. Несмотря на отречение, он был окружен свитой из молодых испанских аристократов, изгнанных из Мадрида после революции. Кроме него, в отеле жили наследница голландского престола (нынешняя королева) и кто-то из скандинавских королев.

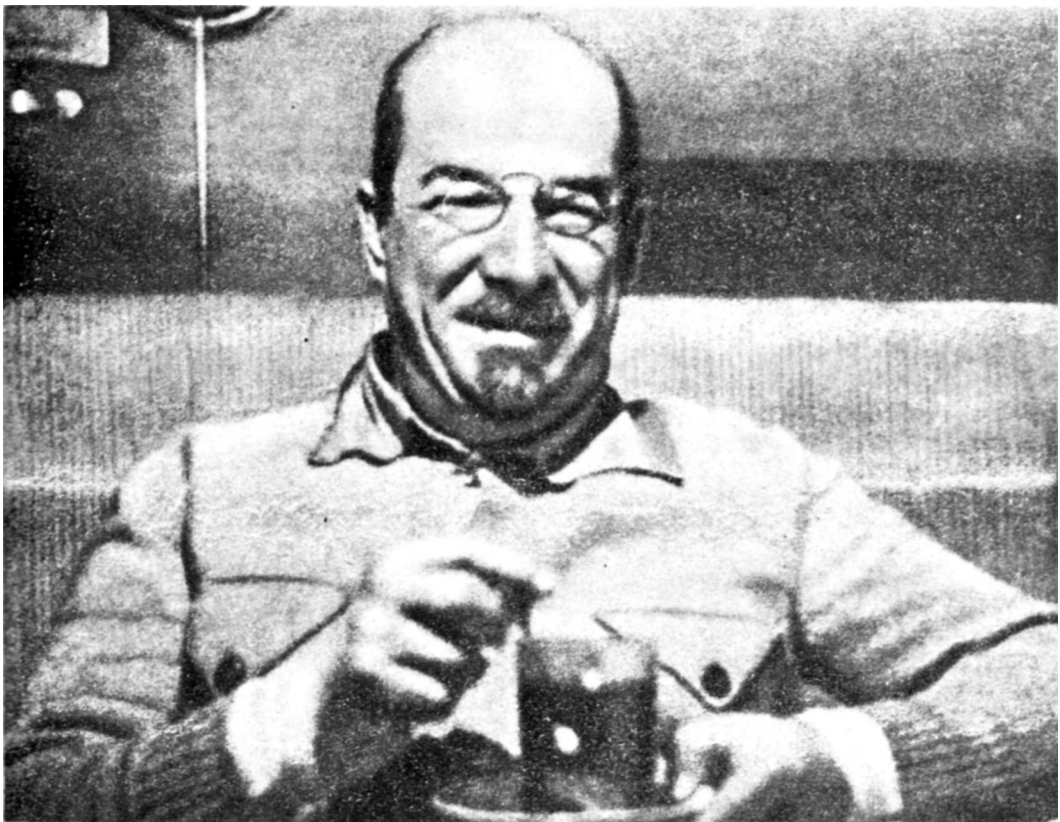
К обеду нужно было являться во фраке — смокинг считался большой вольностью. Обедать у себя в номере в эти дивные летние вечера было очень досадно, и, несмотря на мои уговоры, Анатолий Васильевич настаивал на выходе к табльдоту. Вскоре он и сам убедился, что ежевечерне надевать крахмальные пластроны с запонками при его состоянии здоровья слишком обременительная штука. Надевая воротничок, завязывая белую «бабочку», Анатолий Васильевич всю ругал буржуазию за бездарный и сложный костюм.

Мы решили бежать из «Рояля». Это было не так просто: был самый разгар короткого эвианского сезона, все гостиницы были переполнены. Но через несколько дней хождения по разным гостиницам мои поиски все же увенчались успехом: я нашла комнаты в отеле «Ambassadeurs» на самом берегу озера, с небольшим, но уютным и тенистым садом. Анатолию Васильевичу там понравилось, и мы в тот же день переехали в этот более скромный отель, где можно было выходить к обеду даже в пиджаке.

Целые дни мы проводили на воздухе, главным образом на пляже, по вечерам слушали



¹ Royal — королевский (франц.).



хорошую музыку в казино. Между прочим, там были концерты Корто и Тибо, знаменитой английской пианистки, фамилии которой не помню, были также гастроли известного Саша Гитри.

Эвианский врач оказался более консервативным, чем его парижский коллега профессор Данзелло: он больше настаивал на отдыхе, чем на лечении и лекарствах. Анатолий Васильевич пил местную минеральную воду, принимал дигиталис и строфантин, который он величал «Страфантий Иваныч».

В Эвиане Анатолий Васильевич продиктовал мне одну из самых своих вдохновенных и глубоких статей — «Гоголиана, или Николай Васильевич готовит макароны».

Весной в Морозовке Анатолий Васильевич много читал о Гоголе, в частности книгу В. Вересаева. Я читала ему вслух «Арабески», «Миргород», «Переписку»; очевидно, идея написать о Гоголе возникла у Луначарского еще тогда, но созрела эта статья только во время отдыха в Эвиане, и он продиктовал ее так, будто читал по готовому тексту; не пришлось сделать ни одного исправления, ни одной поправки.

Как-то вечером, когда Анатолий Васильевич уже был в постели, меня вызвали к телефону из Парижского полпредства. Поверенный в делах просил передать Анатолию Васильевичу, что состоялось его назначение послом в Мадрид, что письменное уведомление он

получит завтра. Это было совсем неожиданно для Анатолия Васильевича. Правда, Литвинов как-то заговаривал с ним на эту тему и Анатолий Васильевич в полушутливом разговоре дал свое согласие. Но так вдруг... Мы долго не засыпали в эту ночь, обсуждая все-сторонне эту большую перемену в нашей жизни. Анатолий Васильевич никогда прежде не бывал в Испании, кроме короткого пребывания в Сан-Себастьяне, куда мы ездили из Биаррица в 1927 году, но он горячо интересовался прошлым и настоящим этой страны, ее искусством, литературой, экономикой, людьми. Кроме того, нам обоим казалось, что другая обстановка принесет обновление и в смысле здоровья. К трем часам утра мы пришли к выводу, что это назначение пришло вовремя и кстати.

Через день о назначении Анатолия Васильевича послом в Испанию было сообщено в советских газетах, а затем в международной печати, и это сообщение вызвало большие отклики в прогрессивных европейских кругах. Ежедневно на имя Анатолия Васильевича приходили письма из молодой Испанской республики — от представителей передовой интеллигенции, от молодежи, от людей искусства. Кроме советских, французских, немецких, итальянских, английских газет, я должна была теперь покупать и испанские. Накупила словарей, учебников, книг, и Луначарский предложил мне пари, что через полгода будет свободно говорить по-испански. От пари я отказалась, так как, зная его лингвистические способности, сама не сомневалась в этом.

Седьмого сентября мы вернулись в Париж. Анатолий Васильевич собирался, показавшись профессору Данзелю, выехать в Москву, чтобы получить там необходимые инструкции, подобрать в Москве штат посольства и затем отправиться в Мадрид для вручения верительных грамот.

В приподнятом настроении, переполненный планами, заботами, мыслями о том, как сочетать свою литературную работу и научную



в Академии наук с дипломатической, да еще на далеком Пиренейском полуострове, — в таком душевном состоянии, несколько взволнованный, но оживленный, бодрый, прибыл Луначарский в Париж.

Наше полпредство решило использовать популярность и обаяние Анатолия Васильевича в дипломатических целях, и тут началось: прием у министра иностранных дел Поль Бонкура, завтрак у министра народного просвещения А. де Монзи, прием у испанского посла в Париже Мадарьяги, ответные приемы у нас в посольстве, пресс-конференция у Луначарского и т. д. и т. п.

Жили мы на авеню Клебер в отеле «Мажестик» — старом, пышном, но неуютном. Профессор Данзелю настойчиво советовал воздержаться от поездки в Москву, считая, что столько дней в вагоне слишком утомительны для Луначарского, а о самолете профессор не хотел и слышать.

В это время Анатолий Васильевич получил письмо от М. М. Литвинова. Максим Максимович сообщал, что он скоро будет в Париже по дороге в Америку, просил Анатолия Васильевича дожидаться его приезда, чтобы при встрече договориться обо всем, касающемся работы. Он писал, что в Мадриде уже приводят в порядок особняк, принадле-

жавший некогда царскому посольству. Когда дом подготовят, Луначарский выедет в Мадрид с советником и небольшим штатом для вручения верительных грамот, а через некоторое время после этого он может поехать в Москву для устройства всех дел, государственных и личных. Анатолий Васильевич телеграфировал Литвинову, что будет ждать его приезда.

По всей вероятности, эта чересчур интенсивная деятельность в Париже была уже не по силам Анатолию Васильевичу — ему сделалось хуже. Ночью у него был сердечный приступ, пришлось срочно вызывать Данзело, поставить кровососные банки; всю ночь у него дежурила медицинская сестра, и на следующий день мы были принуждены вернуться в клинический санаторий на улице Лиготэ, где мы были до поездки в Эвиан. Данзело решил повторить курс внутривенных вливаний «Уобоина». Он сознался, что рассчитывал на более длительный эффект предыдущего курса лечения — год-полтора, а прошло всего около двух месяцев.

На этот раз «Уобоин» не давал никаких положительных результатов; острый момент как будто прошел, но и улучшения не было заметно. Потянулись длинные, тусклые, осенние дни... В огромные окна санатория видно было серое, туманное небо, мокрая скучная улица, типичный новый квартал Парижа. Анатолий Васильевич ужасно томился, он тяготился жизнью в санатории и называл наши комнаты «аквариумом». Ему представлялось, что он по целым дням плавает в какой-то серой мути. Изредка, когда выпадали солнечные дни, ему разрешалась небольшая прогулка в Булонском лесу. В такие дни за нами заезжал наш посол В. С. Довгалевский, и мы медленно проезжали по оголенным, осенним аллеям. Но даже такие прогулки утомляли Анатолия Васильевича. Все же он верил в выздоровление, ему не терпелось поскорее попасть в Мадрид, начать там свою деятельность. «Гренадская волость в Испании есть», — повторяли мы стихи Светлова.

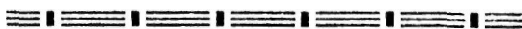
Часто он диктовал мне деловые письма в Академию наук, Комакадемию, в Наркоминдел и разные издательства. Иногда мы спорили — брать ли с собой в Испанию дочь Ирину; я находила, что она не должна прерывать учебу в Москве и может приезжать к нам только на время каникул, но Анатолий Васильевич с таким увлечением мечтал вслух, как он поведет ее на Прадо:

— Поверь, я заменю ей школу, я сам буду заниматься ее образованием.

И действительно, общение с ним могло бы заменить любую школу.

В санатории Анатолия Васильевича навещали писатели; в их числе Илья Эренбург, Виктор Финк, Е. Петров, Тристан Бернар, Шарль Раппопорт, Эльвира Кальковская, Люсьен Вофель. Бывали Михаил Кольцов и его брат художник Борис Ефимов (впоследствии они писали об этих посещениях). Михаил Кольцов очень удачно острил, был оживлен и весел, но мне его оживление показалось несколько искусственным. По счастью, Анатолий Васильевич не заметил этого, вспоминал шутки Кольцова и был очень доволен встречей. Навещал его также бывший рейхсканцлер доктор Вирт¹, академик Карро² и многие другие. Нашего дорогого друга Анри Барбюса в это время не было во Франции.

Максим Максимович Литвинов по дороге в Америку остановился на неделю в Париже. Он ежедневно бывал у Луначарского; иногда его сопровождал К. А. Уманский, к которому Анатолий Васильевич относился очень тепло и много с ним общался, когда бывал в Женеве. Приезжал Николай Александрович Семашко. При нем у Анатолия Васильевича



¹ Доктор Вирт — член партии центра, так называемой Веймарской германской республики. После второй мировой войны проживал в ФРГ, выступал в защиту мира.

² Академик Карро — германский химик и крупный промышленник. Так же как и многие другие ученые, отказался от сотрудничества с гитлеровской властью и эмигрировал во Францию.

случился тяжелый сердечный приступ. Он провел несколько часов у постели Анатолия Васильевича, говорил с профессором Данзелло и лечащим врачом. Семашко обнадеживал Анатолия Васильевича, рассказывал ему о недавних московских событиях. Старался успокоить и меня, но я видела, что он сам встревожен.

Между прочим, мне вспомнился еще один, весьма скромный посетитель — консьерж того дома, где Луначарский жил в начале первой империалистической войны, до своей высылки из Парижа. Старик консьерж приносил букетики фиалок и шептал мне, делая значительную мину:

— Я и тогда знал, мадам, что он будет министром.

Из ЦК партии через Санупр осведомлялись о здоровье Луначарского. Систематически навещала его врач полпредства доктор Хандрос; частым посетителем бывал наш полпред В. С. Довгалецкий. По их инициативе я попросила профессора Данзелло устроить консилиум. Он как будто несколько обиделся. Я объяснила, что у нас это принято и что в этом нет и тени недоверия к нему. Данзелло предложил пригласить своего учителя, знаменитейшего профессора Лобри, но предупредил, что Лобри уже оставил врачебную практику и если сделает исключение, то только из уважения к Луначарскому.

В назначенный день в клинику приехал Лобри, встреченный нашим профессором и всем персоналом больницы как высочайшая особа; это был огромного роста здоровяк, с седой копной волос и седыми свисающими усами, похожий на запорожца. Он измерил давление золотым тонометром, подаренным ему в юбилей медицинским факультетом Парижского университета.

— Сколько лет больному?

— Через месяц будет пятьдесят восемь.

Лобри выразил крайнее удивление: ему самому было семьдесят восемь! Прощаясь, он сказал, что Данзелло прекрасный врач, луч-

ший из его учеников и делает все, что возможно.

И в этот период, несмотря на болезнь, Анатолий Васильевич изучал испанский язык, занимался Монтескье, Бэконом, читал Марселя Пруста, Жан-Ришара Блока, Поля Валери, Т. Драйзера. Он продиктовал мне начало статьи о Прусте¹ и две прелестные одноактные пьесы: «Подкидыш» и «Ноктюрн на скрипке соло».

Однако постепенно, не замечая улучшения своего здоровья и видя, что лечение зашло в тупик, Анатолий Васильевич начал тяготиться Парижем, санаторной жизнью, оторванностью от работы и своей среды. Он с жадностью расспрашивал всех московских товарищей, навещавших его, о событиях культурной и партийной жизни в Москве. Даже в мелочах у него сказывалась тоска по московскому, русскому; ему «осточертели», как он говорил, отварные мозги и цветная капуста — его ежедневное меню в клинике (тогда врачи еще ничего не знали о холестерине); ему захотелось черного заварного хлеба, клюквенного киселя... Захотелось так сильно, что я, скрепя сердце и преодолевая робость, зашла в русский эмигрантский магазин-кафе, в нескольких кварталах от нашего санатория (как говорили русские, «у нас в Пассах»).

— Почему так давно не заходили к нам, сударыня? — спросил меня высокий с проседью человек, с военной выправкой и полковничьим басом, которого я видела в первый раз в жизни.

— Да так как-то, — пробормотала я; уж очень не хотелось, чтоб меня узнали.

— Милости просим... У нас большой выбор кавказских вин и консервов. Прямо из Совдепии... Это большевики здорово наловчи-

1 Это было предисловие к сочинениям Пруста, выпускаемым ленинградским издательством «Время»; статья осталась незаконченной, напечатана в томе I указанного издания после смерти Луначарского.

лись делать!.. Благодарствую, всегда к вашим услугам. Русское варенье, настоящее, летом я сам варил.

Я торопливо расплатилась и только на улице свободно вздохнула. Зато «дома», то есть в санатории, триумф был полный: я принесла круглый заварной хлебец, варенье, клюквенный кисель, белевскую яблочную пастилу, баранки и т. п. Анатолий Васильевич был очень доволен, у него даже появился аппетит. Зато дежурный врач, очень хорошенькая и неумная девушка, устроила по поводу моих покупок настоящую истерику и донесла Данзелю, что его пациент ест какие-то ужасные русские блюда, безусловно алкогольные. Я предложила профессору Данзелю отведать варенья и киселя; он съел по чайной ложечке, поморщился и заявил, что это не очень вкусно, но вполне безопасно. Анатолия Васильевича так тревожили его научные и литературные дела, что он обратился с просьбой к правительству командировать к нему в Париж его литературного секретаря. Мы ждали Игоря со дня на день. В это время приехал в Париж на медицинскую конференцию профессор Михаил Исаевич Неменов¹, с которым Анатолия Васильевича связывали давние дружеские отношения. Он приехал к нам в санаторий, беседовал с профессором и лечащими врачами и, очевидно, выяснил, что Анатолия Васильевича, в сущности, перестали лечить. Неменов стал очень настойчиво уговаривать Луначарского поехать на юг, к морю, лучше всего в Ментону. Он считал, что климат Парижа в ноябре и декабре, пребывание в опустылевшем санатории плохо отражаются на самочувствии Анатолия Васильевича. Данзелю против поездки в Ментону не возражал, обещал связать нас с хорошим врачом, постоянно практикующим в Ментоне. В последней декаде ноября из Москвы приехал Игорь; Анатолий Васильевич очень обрадовался ему — повеяло Москвой, домом, родными. Анатолий Васильевич наметил ряд работ на время пребывания на Лазурном Берегу; Игорь

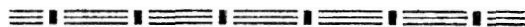
привез гранки статей, стенограммы речей, лекций и т. д. Решено было последовать совету профессора Неменова и выбрать для своего отдыха Ментону. Луначарский никогда там прежде не бывал; это странно, так как в юности он жил больше года вместе с заболевшим старшим братом, Платоном Васильевичем, на Французской Ривьере, а впоследствии со свойственной ему и в более позднем возрасте любознательностью и живостью повсюду разъезжал, часто гостил в Болье возле Ниццы у Максима Ковалевского, которого он впоследствии вспоминал с теплотой.

В 25—26-м годах мы, живя в Болье, объездили все побережье и не посетили только Ментону.

Существует поговорка «В Монте-Карло приезжают играть, в Ментону — умирать». Может быть, поэтому у меня было какое-то предубеждение, подсознательный страх при мысли о Ментоне. Но все — и доктора и знакомые — советовали выбрать именно этот курорт, самый тихий и теплый уголок Лазурного Берега.

Рядом с Ментоной, в бывшем владении принца Гримальди жил знаменитый профессор С. А. Воронов, родом из России, натурализовавшийся во Франции еще до первой империалистической войны. Мы встречались с ним на приемах в нашем посольстве; он был очень любезен и просил известить его о дне нашего приезда. В Ментоне С. А. Воронов и его младший брат Александр ждали нас на вокзале.

Я была приятно разочарована: против ожидания Ментона производила чудесное впечатление. Приехали мы двадцать девятого ноября; в Париже мокрый снег, слякоть, туман, а в Ментоне все цвело и благоухало,



¹ Возглавлял со дня организации Институт рентгенологии и рана в Ленинграде. Одним из первых, еще при жизни В. И. Ленина, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

днем все ходили в летних костюмах, без пальто. Мы поселились в отеле «Сесиль», в части города, называемой Гараван, в глубине бухты, на самой набережной. Наш балкон выходил на пальмовую аллею, за ее ажурной листвой синело Средиземное море. Было тихо и малоллюдно, сезон еще не начался. Анатолий Васильевич шутил, что Ментона — это «мировая завалинка», где на солнышке греются старики из разных стран — разумеется, старики со средствами. Гости в «Сесиль-отеле» были главным образом англичане, вернее пожилые англичанки. Анатолий Васильевич уверял, что это тещи, высланные сюда зятьями для сохранения домашнего мира.

Доктор де Бушаж, рекомендованный профессором Данзелло, сразу понравился Анатолию Васильевичу; он был похож на хорошего русского старого студента, несмотря на свое дворянское «де». Анатолий Васильевич охотно разговаривал с ним на литературные и политические темы, и вскоре я заметила, что врач смотрит на своего пациента глазами влюбленного ученика. Как-то Анатолий Васильевич сказал ему:

— Я хочу еще пожить, хотя бы для того, чтобы написать книгу о Ленине. Это мой долг. Эта книга будет самым значительным из всего, что я сделал в жизни.

Он увлекся и горячо говорил об этой будущей книге, и врач не остановил его — он сам затаив дыхание слушал Луначарского. Музыка... Эти последние дни Анатолия Васильевича были пронизаны музыкой. Несколько раз мы ездили на дневные концерты в Монте-Карло и слушали Горовица, Манухина¹, Пятигорского; слушали «Смерть и воскресение» Рихарда Штрауса. Я видела, как глубоко воспринимает эту симфонию Анатолий Васильевич.

После завтрака мы иногда вместо машины нанимали фиакр и на лошадке проезжали по набережной, по «карнизу», застроенному красивыми виллами, утопающими в вечнозеленых садах.

Нас часто навещал С. А. Воронов, он приглашал Анатолия Васильевича, Игоря и меня посмотреть его обезьян. Кроме человекоподобных, содержащихся в особом помещении, у него в огромном гроте, вырытом в горе, было около трехсот «собакоголовых», павианов. Воронов в тот период работал над проблемой рака, и павианы ему были нужны для опытов. Вокруг грота был глубокий ров с гладкими, покрытыми цементом стенами; через ров в грот можно было пройти по подъемному мосту; все это показалось мне интересным, но несколько жутким.

Анатолий Васильевич был только однажды в замке Гримальди: сердце не позволяло ему подниматься по дорожкам парка, а для машины они были чересчур узки.

— Даже это мне недоступно, — сказал Анатолий Васильевич с горечью.

Перед рождеством доктор Бушаж уехал: у него заболела scarлатиной дочь, которая училась где-то недалеко от Ментоны: на время отсутствия он передал Анатолию Васильевича своему коллеге. Мы были этим очень огорчены, особенно потому, что этот новый врач производил впечатление грубого и черствого человека. Возможно, что у него была неприязнь к Анатолию Васильевичу чисто политического, антисоветского характера. Несмотря на это, мы решили довериться рекомендации доктора Бушажа и приглашать его коллегу.

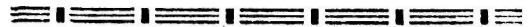
Газеты сообщили о смерти замечательного актера и деятеля французского театра Фирмена Жемье. Луначарский встречался с ним еще до революции, когда Жемье работал с Антуаном, а во время приездов Жемье в Москву и наших в Париж мы всегда виделись, и всегда общение с ним было интересным и непринужденным. Луначарского очень опечалило известие о смерти Жемье; он продиктовал мне статью «Фирмен Жемье», которая была помещена в «Известиях» чуть ли не за день до траурного объявления о кончине Анатолия Васильевича². В этой статье Луначарский пишет: «...у нас были действи-



тельно прекрасные отношения, и я горжусь этим. Я с великим удовольствием вспоминаю наши встречи как в Москве, так и в Париже...»

Все кругом готовились к рождественскому празднику. Я тоже купила маленькую елочку, а по здешнему обычаю повесила на люстре в нашей столовой ветку омелы, похожей на гнездо и переплетенной золотыми нитями. Я цеплялась за малейший повод, чтобы как-то расцветить жизнь Анатолия Васильевича в Ментоне. Мы решили в сочельник спуститься в ресторан, где готовился парадный обед, было много цветов и разукрашенных елок. Я отлучилась на час и, вернув-

шись, застала Анатолия Васильевича в очень плохом состоянии; он продолжал настаивать, что мы непременно должны выйти к табльдоту, но вскоре сам убедился в невозможности этого. Пришлось ему лечь в постель, медицинская сестра поставила банки, сделала укол камфары, и мы с Игорем сидели у его кровати и говорили о Москве, о близких, о друзьях. Двадцать пятого ему стало лучше, пришел врач, сделал ему внут-



¹ Здесь описка — следует: Мильштейна.

² Статья о Ф. Жемье была напечатана в «Известиях» 11 декабря 1933 г., за 15 дней до смерти Луначарского.

ривенное вливание и сказал, что не возражает против того, чтобы Анатолий Васильевич послушал дневной концерт в Монте-Карло двадцать шестого декабря.

Нас пригласил Воронов на обед в первый день рождества, но я позвонила ему и предупредила, что мы не сможем приехать. На второй день рождества, двадцать шестого, на два часа дня я заказала автомобиль для поездки в Монте-Карло. Я пыталась отменить эту поездку, но заметила, что Анатолия Васильевича это расстраивает, и скрепя сердце согласилась. В ночь на двадцать шестое я услышала, что в смежной с моей комнате Анатолий Васильевич, несмотря на принятое снотворное, не спит; я перешла в его комнату и устроилась на диванчике; мне казалось, что он заснул; вдруг он сказал мне:

— Будь готова. Возьми себя в руки. Тебе предстоит пережить большое горе.

Сердце у меня сжалось до боли, но я овладела собой и принялась уговаривать его и себя, что еще пять-шесть недель в Ментоне — и он сможет поехать сначала в Мадрид, а затем, к весне, в Москву. Я сама верила этому, вопреки всему хотела верить.

— Мне нужно три года, еще три года. Я многое успею сделать за эти три года. Я напишу книгу о Ленине, я не буду разбрасываться, как раньше.

Он заснул, успокоенный.

Двадцать шестого утром Анатолий Васильевич не захотел оставаться в постели; он надел пижаму и вышел в нашу маленькую столовую пить кофе. День был солнечный, сверкающий; с набережной в открытые двери балкона доносились веселые голоса праздничной толпы. У нас была елочка, над столом висела омела, в вазах благоухали туберозы и гвоздика. Но на душе у меня было тревожно и мрачно. Игорь, который по утрам сам делал Анатолию Васильевичу уколы камфары, потихоньку сказал мне, что пульс у Анатолия Васильевича очень плохой, особенно до приема строфантина.

После завтрака Анатолий Васильевич сидел в кресле, и я читала ему вслух утренние газеты. В них было сообщение о столкновении двух пассажирских курьерских поездов на пути Страсбург — Париж, сотни убитых, множество тяжелораненых. Я, принимая во внимание состояние Анатолия Васильевича, решила пропустить это печальное известие. Но оно было напечатано очень крупным шрифтом, и Луначарский заметил его:

— Что случилось? Почему ты не читаешь всего? — Он потянулся за газетой. Пришлось прочитать... Анатолий Васильевич ужасно близко принял к сердцу эту катастрофу: он решил немедленно послать телеграмму с соболезнованием в Париж Поль Бонкуру¹ и тут же продиктовал мне текст телеграммы.

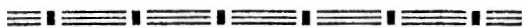
Едва я успела закончить переписывать набело телеграмму, как пришел врач, чтобы сделать вливание. Это было около полудня.

Врач и Игорь были около Анатолия Васильевича; я, чтобы не мешать им, отошла к балкону. Обычно вливания проходили совершенно безболезненно, но в этот раз врач очень долго возился, и я услышала, что Анатолий Васильевич застонал.

— Толя, что случилось?

— Этот болван расковырял мне руку. Он ни черта не умеет, — ответил Анатолий Васильевич и тут же любезно обратился к врачу: *Je vous en prie, docteur, continuez.* (Прошу вас, доктор, продолжайте.)

Но вливания так и не удалось сделать. У Анатолия Васильевича начался ужасный приступ стенокардии, его раздели, уложили... Камфара, горчичники, горячие компрессы на сердце — ничто не помогало. Боль была ужасающая, но он все время был в полном сознании. Он говорил со мной и с Игорем по-русски, по-французски с доктором и ни разу не ошибся, не оговорился. Он сказал: — Я не знал, что умирать так тяжело.



¹ Поль Бонкур — то время министр иностранных дел Франции.

Я умоляла доктора вызвать еще врачей, послать за кислородными подушками, я вспомнила, что слышала об уколах адреналина в тяжелых случаях. Этот самодовольный, равнодушный человек только пожимал плечами:

— Мы делаем все, что возможно.

Он велел подать шампанское и налил Анатолию Васильевичу ложку шампанского. Анатолий Васильевич отвел его руку:

— Нет, шампанское я пью только из бокала! Я налила бокал, он сделал глоток...

Я все время меняла ему горячие припарки на груди.

— Горячее! Горячее! Кипяток! — требовал врач...

Анатолию Васильевичу захотелось приподняться на подушках, и он попросил Игоря помочь ему. Я отозвала врача в сторону и умоляла, заклинала его позвать еще врачей.

— Доктор! — отчаянно закричал Игорь. Мы бросились к кровати...

Все было кончено. Анатолий Васильевич Луначарский скончался двадцать шестого декабря в половине шестого вечера.

Дальше — все как в тумане... Помню, что сияющая, праздничная, совсем летняя погода внезапно сменилась ливнем, бурей, такой редкой на Лазурном Берегу. Море бушевало, ветер гнул и рвал ветви пальм и бананов; снег и дождь слились в одну сплошную завесу, как будто и в природе было то же горе, тот же протест против нелепой, несправедливой смерти.

Игорь звонил в полпредство в Париж, телеграфировал в Москву. Какие-то люди хлопотали вокруг того, что еще час тому назад было Анатолием Васильевичем Луначарским. Тело Анатолия Васильевича увезли в кладбищенскую часовню на горе — в гостинице не разрешалось его оставлять.

В Ментоне сразу узнали о смерти Луначарского. Как ни странно, в этом фешенебель-

ном курорте тогда был коммунистический муниципалитет, и многие жители Ментоны присылали цветы и соболезнующие письма. Рано утром приехали двое сотрудников из Парижского полпредства; мы все поднялись в часовню. Каким-то непередаваемым трагизмом веяло от этой белой часовни, окруженной черными кипарисами: внизу синело море, а сверху по склону тянулись бесконечные кресты кладбища, города мертвых. «В Ментону приезжают умирать»...

Ночью мы выехали в Париж. Гроб с телом Анатолия Васильевича находился в особом вагоне.

Смутно помню встречу на вокзале в Париже. Смутно помню убранный черным траурным крепом зал полпредства. Знакомые лица сотрудников полпредства и торгпредства, товарищей: Кашена, Жака Садуля, Вайян-Кютюрье.

Речи искренние, горестные. Довгалеvскому после выступления сделалось дурно...

Тогда я не знала, что он сам обречен и переживет Анатолия Васильевича меньше чем на полгода.

Вечером вагон с гробом Анатолия Васильевича отправили в Москву; этим же поездом уехала я с Игорем и двумя товарищами из полпредства. На Северном вокзале собрались провожающие... Кто-то мне говорил слова участия и дружбы, кто-то успокаивал. Вдруг совсем близко, у самого лица, я увидела усатую краснощекую физиономию типичного парижского рабочего. Это был носильщик. Он крепко сжал мою руку:

— Courage, camarade! Il vous faut beaucoup de courage. Il a bien lutté pour la classe ouvrière, ce brave camarade Anatol.

(Мужайтесь, товарищ, вам нужно много мужества. Он отлично боролся за рабочий класс, славный товарищ Анатолий.)

Остальное — прощание в Колонном зале, похороны на Красной площади, статьи и речи — сохранилось в документах и в памяти многих советских людей.



1

В 1902 году польский символист Станислав Пшибышевский посетил ненадолго Одессу. Из его рассказов мне запомнился один, очень короткий — об Ибсене.

С Ибсеном его познакомили в Осло на каком-то официальном рауте. Ибсен пожал ему руку и, не глядя на него, произнес:

— Я никогда не слышал вашего имени. Я никогда не читал ваших книг. Но по вашему лицу я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы.

Пшибышевский был счастлив. Через неделю он увидел Ибсена на улице:

— Я Пшибышевский, здравствуйте!

Корней Чуковский

Что вспомнилось

Ибсен пожал ему руку и, не глядя на него, произнес:

— Я никогда не слышал вашего имени. Я никогда не читал ваших книг. Но по вашему яйцу я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы.

2

Запись в моем альманахе «Чукоккала»: «Было когда-то удивительное время. Входил в булочную нищий. Крестился на об-
раза.

Потом:

- Ситный есть?
- Есть.
- Теплый?
- Как же...
- Ну, тогда подайте милостыньку, Христа ради.

А. Куприн,
13 марта 1919».

Александр
 Это же когда удивительное время:
 Александр в булочную нищий. Крестился
 на образа. Потом:
 — Ситный есть?
 — Есть.
 — Теплый?
 — Как же...
 — Ну, тогда, подайте милостыньку, Христа ради...

Иеромонах Е. Шварц
 1919г.

3

В той же «Чукоккале» — на одной из даль-
нейших страниц:

«Федин уехал в Крым за неделю до земле-
трясения.

Слонимский сказал:

— Федин уехал встряхнуться.

Так и вышло.

Иеромонах Е. Шварц,
18 сентября 1927».

Миша-пророк
 Федин уехал в Крым за
 неделю до землетрясения.
 Слонимский сказал:

— Федин уехал встряхнуться
 Так и вышло.

Иеромонах Е. Шварц 18/27г.
 1X

4

Евгений Львович Шварц, драматург, автор
«Тени», «Дракона», «Обыкновенного чуда»,
До сих пор не вполне оценен современника-
ми. Это был большой и своеобразный талант,
со своим собственным обаятельным стилем,
один из самых остроумных людей, каких я
когда-либо знал.

Некоторые из его шуточных экспромтов сбе-
реглись в моем альманахе «Чукоккала». Один
из них воспроизводится здесь. Написан он по
поводу того, что некий администратор, чело-
век бестолково запальчивый, внезапно из пу-
стого упрямства отказался уплатить гонорар
ряду авторов (в том числе Юрию Тынянову).
Экспромт пародирует речь этого взбалмош-
ного деятеля, вскоре уволенного за само-
дурство.

Авторы и Ленинград

Все у нас идет гладко,
Только авторы ведут себя гадко.
Прямо сказать неприятно —
Не желают работать бесплатно.
Все время предъявляют претензии:
Плати им за рукописи, и за рецензии,
И за отзывы, и за иллюстрации,
Так и тают, так и тают ассигнации.

Невольно являются думы —
 Для чего им такие суммы?
 Может, они пьют пиво?
 Может, ведут себя игриво?
 Может, занимаются азартной игрой?
 Может, едят бутерброды с икрой?
 Нельзя допускать разврата
 Среди сотрудников Госиздата.

Евгений Шварц

5

Вот редкостный снимок: Василий Иванович Качалов сидит на диване и сладко зевает. Рядом с ним милая девочка с черными веселыми глазами.



в детях?
раз Корней



Этот снимок Василий Иванович вклеил собственноручно в «Чукоккалу» и тут же рядом поместил другой, изображающий двух артисток МХАТа — А. О. Степанову и К. Н. Еланскую, с дружеской лаской прильнувших к нему. Эти снимки служат иллюстрациями к такому экспромту Василия Ивановича:

— Вы любите ль детей? —
 Был спрошен раз Корней
 Чуковский.
 — Люблю, — он отвечал, —
 Уж я таковский, —
 Я б без детей пропал.

А я, как видите, с детьми зеваю.
 Детей постарше, вот хотя б таких,
 Как эти две, люблю и уважаю,
 Но всякий интерес ко мне у них затах,
 И в них уж я теперь зевоту вызываю.
 И подпись:

Другу детей от впадающего в детство Василия Качалова.

4 ноября 1939.

Приложенные к тексту иллюстрации полностью опровергают напраслину, которую в этих стихах Василий Иванович возвел на себя. Если всмотреться внимательно, можно заметить, что причина его зевоты отнюдь не ребенок, а та газета, которая простерта у не-

го на коленях. И если кого называть другом детей, то, конечно, раньше всего Василия Ивановича. «...Его никогда не чуждались и не боялись дети, — говорит С. Я. Маршак в своих чудесных воспоминаниях о нем. — С детьми Василий Иванович разговаривал так же серьезно и любезно, как со взрослыми. И дети надолго запоминали этого вежливо-большого человека, который низко склонялся, чтобы осторожно пожать маленькую, облепленную влажным песком ручонку...» Другой фотоснимок служит таким же опровержением текста: обе артистки так любовно и ласково смотрят на своего старшего дру-

7

Надеюсь, читатели уже успели заметить, что большим подспорьем для моей стариковской памяти служит мне мой альманах, носящий странное название «Чукоккала».

«Чукоккала» очень трудное слово. Я еще не встречал человека, который, впервые познакомившись с ним, произнес бы его без ошибок. Все дело в ударении. Оно не дается почти никому. И я с самого начала обращаюсь к читателям с просьбой: поставить ударение на О. И чтобы не сбиваться потом, повторить раз семь или восемь: «Чукоккала, Чукоккала...»

Название это составлено из начального слога моей фамилии: ЧУК, и последних слогов финского слова КуОККАЛА — так назывался поселок, в котором я тогда проживал. Слово «Чукоккала» придумано Репиным. Художник деятельно участвовал в моем альманахе и под первым же своим рисунком (от 20 июля 1914 года) сделал подпись: «И. Репин, Чукоккала».

К этой дате — к самому началу первой мировой войны — и относится зарождение «Чукоккалы».

Что такое «Чукоккала», сказать нелегко. Иногда это рукописный альманах, откликающийся на злободневные темы, иногда же — просто самый обыкновенный альбом для автографов. Вначале то была тощая тетрадка, наскоро считая из нескольких случайных листов, — теперь это объемистый том в 789 страниц с четырьмя филиалами, относящимися к позднему времени.

Таким образом, в прошлом году исполнилось ровно полвека со времени ее появления на свет. Перечень ее сотрудников огромен. Среди них — Леонид Андреев, Анна Ахматова, Андрей Белый, Ал. Блок, Ив. Бунин, Макс. Волошин, Сергей Городецкий, Горький, Гумилев, Евреинов, Зощенко, Вячеслав Иванов, А. Кони, А. Куприн, Осип Мандельштам, Федор Сологуб, Ал. Толстой и др. А также многие из советских писателей — Маргарита Алигер, Ираклий Андроников, А. Архангель-

ский, Михаил Кольцов, Э. Казакевич, В. Лебедев-Кумач, К. Федин, Леонид Леонов, В. Маяковский, С. Маршак, М. Пришвин, Ал. Толстой, Вячеслав Шишков, Виктор Шкловский и др.

9 февраля 1930 года Юрий Олеша записал в альманахе:

«Самым решительным образом в этой знаменательной книге утверждаю: стыдно сочинять. Нужно писать исповеди, а не романы. Важнее всех романов — самым высоким произведением тридцатых годов этого столетия будет «Чукоккала».

8

Слово «Чукоккала» давно уже успело войти в литературный обиход нашей эпохи. Оно встречается и в прозе и в стихах. В своем известном послании ко мне Маяковский писал:

Окно Сатиры ЧУКОККАЛА



Что ж ты в ладные песни | откопанные мои ж
будто бы исполнил я | самое прекрасное



ме мои мои мои мои | на сетках не выложу
Крыш не реви ты соковы | а фото Чукоккалы



окрыл его наждак уже | третий год выложу
я слово Корнелия | ах того раба

11

В настоящее время «Чукоккала» имеет весьма непрезентабельный вид. Она изодрана, измята, замусолена, так как за свою долгую жизнь пережила немало катастроф.

Последняя катастрофа была наиболее чувствительна. В 1941 году я жил (как и теперь) под Москвой — в Переделкине. На Москву надвигались фашисты. Среди тысяч неотложных забот о семье я забыл и думать про «Чукоккалу». Лишь за десять минут до отъезда, поспешно вытащив ее из комода, в котором она сохранялась, обернул ее несколькими клочками клеенки и решил закопать под знакомой березой в лесу. Сил у меня было мало, земля была мерзлая, лопата плохая, и я мог выкопать лишь очень неглубокую ямку. Уложил туда «Чукоккалу», засыпал ее комьями глины и, даже не успев притоптать их как следует, был вынужден мчаться без оглядки в Москву. Но эвакуация была отложена на день, и я решил снова побывать в Переделкине, чтобы захватить кое-какие книги и рукописи. Добраться туда было трудно, и я лишь к вечеру очутился в покинутом доме. Тоскливо побродив по его комнатам, я решил попрощаться с соседским сторожем и с его годовалым сынишкой Колькою. Колька был как всегда прелестен, я уходил от него с размягченной душой — и вдруг на лавке, на которой обычно стояло ведро, увидел мою «Чукоккалу».

Оказывается, сторож, подсмотрев, как я закапываю под березой какой-то увесистый сверток, решил, что там червонцы или драгоценные камни, и тотчас же после моего отъезда поспешил завладеть «Чукоккалой». В поисках брильянтов (или денег) он оторвал от нее переплет и раскрошил ее всю — можно представить себе, в какой бешеной ярости он шваркнул ее об пол, когда убедился, что в ней нет ничего, кроме каких-то стихов и рисунков (хотя стихи эти были написаны Блоком, Буниным, Куприным, Маяковским, а рисунки были сделаны Репиным, Добужинским, Кустодиевым, Анненковым.

Конечно, через день или два он выбросил бы весь том на помойку, вытащив из него предварительно несколько листочков папирсной бумаги, которые были вклеены туда для прокладки между рисунками.

Не сказав ему ни слова, я взял «Чукоккалу» и вышел из комнаты. «Чукоккала» была так исковеркана, что, несмотря на все мои попытки снова склеить и сшить ее, она все еще остается истерзанной...

12

Мало кому известно, что замечательный грузинский поэт Паоло Яшвили мастерски владел русским стихом. Я познакомился с ним на Первом съезде писателей. Внимательно перелистав мою «Чукоккалу», он мгновенно, с удивившей меня быстротой вписал в нее стихотворный экспромт по-грузински. Увидев, что я с тоскою всматриваюсь в непонятные строки, Паоло тотчас же перевел их — стихами! — на русский язык:

Какое чудное соседство:
Здесь Белый, Блок и Пастернак.
Я рядом занимаю место,
Как очарованный простак.

Перевожу вам эти строчки
На несравненный русский лад —
Поэт моей любимой дочки,
А для меня — весь Ленинград.

Паоло Яшвили
19 августа 1934. Москва

13

Говоря о стихотворных экспромтах, невозможно не вспомнить Самуила Яковлевича Маршака. Всюду — в театре, на даче, в гостях, в книжной лавке, в парикмахерской, в больнице — он при любых обстоятельствах легко и свободно, без малейшей натуги импровизировал озорные стихи, эпиграммы, пародии, восхищавшие меня своим блистательным юмором и прелестной лаконичностью формы.

В 1960 году, посылая мне свою книгу «Сатирические стихи», он сообщал, что издательство «изгнало» из нее около десятка экспромтов, —

Но, может быть, в Музее
Чуковского Корней —
В «Чукоккале» найдут
Изгнанники приют.

«Чукоккала», конечно, оказала изгнанникам самое радушное гостеприимство. Теперь, когда двери этого Музея распахнуты настежь, читателям нетрудно убедиться, какое почетное место занимают здесь экспромты Маршака.

Вот, например, с какими стихами Маршак обратился к своему «дорогому» портному:

Ах вы, разбойник, ах, злодей!
Ну как вы поживаете?
Вы раздеваете людей,
Когда их одеваете.

И вот его записка министру, заставившему его слишком долго дожидаться приема:

У вас, товарищ Большаков,
Не так уж много Маршаков.

Посылая вдове Алексея Толстого — Людмиле Ильиничне — сонеты Шекспира в своем переводе, он сделал на первой странице такую шутивную надпись:

«Счастье неразлучно с красотой», —
Скажешь, эту книжечку листая.
Не любил Шекспира Л. Толстой,
Но, надеюсь, любит Л. Толстая.

И вот его надпись на томике переведенного им Роберта Бернса:

Пускай мой Бернс милый,
Веселый и простой,
Беседует с Людмилой
Ильиничной Толстой.

16 Прометей, т. I

К. И. Чуковскому.

Мой друг, Корней Иванович,
Примите том сатиры,
Но не гоните на козв:
Сатира — не кефир.

Вы эту книгу с полки
Берните по утрам,
Когда видней иголки
Сатиры и эмиграции.

Вы здесь на переписке
(с обратной стороны)
Стихи мои прочтете,
Что в том не включены.

Решил издать томик,
Что в книге моего
Людмила из альбома
и сироткам из газет.

Но, может быть, в Музее
Чуковского Корней —
В «Чукоккале» найдут
Изгнанники приют. С. М.

28/12 1960.

Когда мы праздновали юбилей знаменитого историка Евгения Викторовича Тарле, я как-то сказал Самуилу Яковлевичу, что даже ему, Маршаку, не удастся подобрать рифму к фамилии юбиляра. Маршак мгновенно написал такие строки:

В один присест историк Тарле
Мог написать (как я в альбом)
Огромный том о каждом Карле
И о Людовике Любом.

В «Чукоккале» хранятся его давнишние строки о Демьяне Бедном:

Собес! Дела твои бесплодны,
Какой неслыханный позор!

Поэт труда, поэт народный
Остался Бедным до сих пор.

Строки написаны в 1924 году. Через десять лет во время Первого съезда писателей я (не называя фамилии автора) прочитал эти строки Демьяну. Он принял их с обычным своим благодушием. Услышавший их поэт А. Архангельский сразу по фактуре стиха догадался, что их автор — Маршак. Блистательно стихотворение Маршака, обращенное к Надежде Михайловне, жене профессора И. Р. Гальперина. Здесь он остроумно обыграл идиомы: «питать надежду» и «льстить себя надеждой» и другие.

Как прежде, я Надежде верен,
Не меньше верен, чем Илья,
Илья Романович Гальперин,
Надеждой выбранный в мужья.

Ну что ж, пускай Илья Гальперин
Надеждой избран, а не я, —
Стреляться с ним я не намерен:
Священна для меня семья.

В своих надеждах я умерен.
Питать Надежду должен он —
Илья Романович Гальперин,
Как обязал его закон.

Мне никогда не льстит Надежда
И безнадежен мой роман,
Поскольку я — профан, невежда,
А он — профессор и декан.

Но все же пламенно, как прежде,
Я обращаюсь вновь и вновь
К моей единственной Надежде,
Уж не надеясь на любовь.

Не сомневаюсь, что этим стихам уже не долго оставаться «изгнанниками». Каждая строка большого мастера представляет для читателей значительный интерес, и в собра-

Из альбома
Надежды Михайловны,
жены профессора Гальперина.

Как прежде, я Надежде верен,
Не меньше верен, чем Илья,
Илья Романович Гальперин,
Надеждой выбранный в мужья.

Ну что ж, пускай Илья Гальперин
Надеждой избран, а не я, —
Стреляться с ним я не намерен:
Священна для меня семья.

В своих надеждах я умерен.
Питать Надежду должен он —
Илья Романович Гальперин,
Как обязал его закон.

Мне никогда не льстит Надежда
И безнадежен мой роман,
Поскольку я — профан, невежда,
А он — профессор и декан.

Но все же пламенно, как прежде,
Я обращаюсь вновь и вновь
К моей единственной Надежде,
Уж не надеясь на любовь.

нии сочинений С. Я. Маршака, хотя бы в виде приложения к одному из томов, следовало бы собрать воедино все его стихотворные послания, эпиграммы, надписи на книгах и пр.

Посылая свои переводы сонетов Шекспира нашему общему другу — писателю и книговеду Халтурину, Маршак сделал на книге такую шутовскую надпись:

Вам сочинения Шекспира
Дарю в залог любви моей.
Пусть непохожи Вы на Лира
За наименьшем дочерей,

Пусть на Отелло не похожи, —
Не задушили Вы жены.
При том Отелло — чернокожий,
А Вы нисколько не черны,

Пусть на Ромео непохожи,
Поскольку думают, что он
Стройней, прекрасней и моложе
Да и в Уланову влюблен,

Пусть Вы не принц, не Гамлет датский
(Теперь не Гамлетовский век!);
Зато Вы мой приятель вятский
И очень милый человек!

14

Во время 15-летия Кабардино-Балкарии мы оба выступали со своими стихами в Доме художественного воспитания детей. Дети устроили небольшой концерт, и, конечно, главным номером программы была лезгинка. В тот день в праздничном Нальчике лезгинка звучала везде: на площадях, на улицах, из всех окон домов. Маршак до такой степени проникся этой неотразимой мелодией, что стал разговаривать со мной в ритме лезгинки и, присев к столу, набросал и тут же спел такие строчки:

Чуковскому Корнею
Пишу я ахинею.
Чуковскому Корнею —
Почтенье и привет.
Прими, Корней Чуковский,
Привет мой Маршаковский,
Прими, Корней Чуковский,
И здравствуй много лет.

С чувством сердечной признательности перечитываю я светлые строки, обращенные покойным поэтом ко мне.
Когда мне исполнилось 75 лет, я получил от него длинное послание в стихах:

Пять лет, шесть месяцев, три дня
Ты прожил в мире без меня,
А целых семь десятилетий
Мы вместе прожили на свете и т. д.

Ивану Ивановичу Халитурину

*Вам соименный Шекспира
Дарю в залог любви моей.
Ах, если не похожи Вы на Лира
За неимением дочерей,*

*Ах, если на Отелло не похожи, —
Не задушили Вы жены.
При том Отелло — чернокожий,
А Вы нисколько не черны,*

*Ах, если на Ромео не похожи,
Поскольку думают, что он
Стройней, прекрасней и моложе
Да и в Уланову влюблен,
Ах, если Вы не принц, не Гамлет датский
(Теперь не Гамлетовский век!), —
Зато Вы мой приятель вятский
И очень милый человек!
Москва.*

-19-1955-

Это обстоятельство бывало не раз темой его шуточных стихов:

Вижу: Чуковского мне не догнать.
Пусть небеса нас рассудят!
Было Чуковскому семьдесят пять,
Скоро мне семьдесят будет.

Глядь, от меня ускакал он опять,
Снова готов к юбилею.
Ежели стукнет мне тысяча пять,
Тысяча десять — Корнею!

Впрочем, мой возраст далеко не всегда казался ему столь преклонным. Одно из его посланий кончается такими словами:

Карш (31 х 3)
СЕКРЕТАРЬ

Кабардино-балкарского областного Дома
 ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

193 г.

(на мовь Курмеш)

Тувешему Курмеш
 Пишу я ахмешо.
 Тувешему Курмешо —
 Кургеше и кривешо.
 Трими, Курмеш Тувешеш,
 Тривешо мах Маршановеш,
 Трими, Курмеш Тувешеш,
 И здравешит много лет!

С. Маршан

Мальчик,
 Кабардино-Балкарский,
 Дворец искусств.
 Ст. Тучковская.

Пусть пригласительный билет
 Тебе начислил много лет.
 Но, поздравляя с годовщиной,
 Не семь десятков с половиной
 Тебе я дал бы, друг старинный.
 Могу я дать тебе — прости! —
 От двух, примерно, до пяти...
 Итак, будь счастлив и расти!

Большинство его шуточных стихов отличались язвительной колкостью. Но его голос всегда становился дружелюбным и мягким, когда речь заходила о детях. Посылая мне третий том собрания своих сочинений, он написал на его первой странице:

С приветом дружеским дарю вам том свой
 третий.

Мы — братья по перу, отчасти и родня.
 Одна у нас семья: одни и те же дети
 В любом краю страны у вас и у меня.

Особенно тронула меня концовка одного из его последних обращений ко мне:

Тебя терзали много лет
 Сухой педолог-буквоед
 И буквоед-некрасовед,
 Считавший, что науки
 Не может быть без скуки.

Кощеи эти и меня
 Терзали и тревожили,
 И все ж до нынешнего дня
 С тобой мы оба дожили.

Могли погибнуть ты и я,
 Но, к счастью, есть на свете
 У нас могучие друзья,
 Которым имя — дети!

15

Почти все записи, которые сделал в «Чукоккале» А. М. Горький, уже приводились в печати. Вот еще одна:

«Осенью, мокрым вечером в Москве, около Сухаревки в одном из гнилых переулков остановил меня золоторотец, опухший, рваный, грязный, как ему и надлежало быть.

— Господин! Третьи сутки не емши, не пимши... подайте страдальцу!

— На, страдай на полтинник!

— Пок-корнейше благодарю! Вот — сразу видать понимающего человека... а другие, обыкновенно, дадут копейку и думают, что я за эту цифру в самом деле страдать буду...»

16

Как-то мы проходили с Михаилом Михайловичем Зоценко по Литейному в сторону Невского. К нам подошел какой-то незнакомый субъект и накинулся на него с упреком:

— Где вы видели такой омерзительный быт, который вы живописуете в рассказах? Теперь, когда моральный уровень...

Он не договорил — потому что в эту минуту случилось небольшое событие, которое, как это ни странно, послужило косвенным ответом на его укоризны. Жизнь, как будто нарочно, постаралась создать «ситуацию», удивительно схожую с теми, какие Зоценко избражал в своих сатирах.

Мы в этот миг проходили мимо большого четырехэтажного дома, и вдруг прямо к нашим ногам упала откуда-то с неба ошипанная, обезглавленная, тощая курица. И тотчас из форточки самой верхней квартиры высунулся кто-то лохматый, с безумными от ужаса глазами, и выкрикнул отчаянным голосом:

— Не трожьте мою куру! Моя!

Прохожих на Литейном было много. Время стояло уже не слишком голодное, но каждый прохожий глядел на курицу с таким вождением, что мы оба сочли своим долгом защищать ее до последней минуты, чтобы она могла благополучно вернуться к своему обладателю.

Вот, наконец, и он. Выбегает из подворотни без шапки. Хватает курицу и, даже не взглянув на толпу, вскакивает, к нашему изумлению, на подножку трамвая и мгновенно исчезает вместе с курицей, потому что как раз в этом месте трамвай круто сворачивает на Семеновский мост.

Не успели мы догадаться, что сделались жертвой обмана, что схвативший курицу вовсе не тот человек, который кричал из окна, как этот человек налетел на нас ястребом, непоколебимо уверенный, что мы-то и есть похитители курицы и что мазурик, так ловко надувший и нас и его, на самом-то деле наш сообщник.

В толпе выразили такое же мнение, особенно те, что хотели сами похитить курицу.

Вся сцена была словно выхвачена из зоценокских «Уважаемых граждан».

Когда, наконец, нам удалось ускользнуть от раздраженной толпы, обвинявшей нас в похищении курицы, Зоценко усмехнулся своей медленной, томной, усталой улыбкой и тихо сказал своему обличителю:

— Теперь, я думаю, вы сами увидели...

В голосе его не было ни торжества, ни злорадства. Лицо у него странно потемнело, и походка стала еще более похожа на чаплинскую — трудная и грустная походка обиженного жизнью человека.

17

В музыкальной жизни старого Петербурга играли заметную роль дирижеры Черепнин и Направник, певцы Касторский, Алчевский, Шаронов, Шкафер, балерина Легат, певицы Куза и Збруева, музыкант Вольф-Израэль, не говоря уже о композиторах Бородине, Цезаре Кюи, Глазунове.

Из этих фамилий два других композитора создали интересный рассказ, который и приводится здесь в несколько сокращенной редакции:

«Стоит Пальчик-Направник в аптеку, а в аптеке Шкафер и много Буткевичей — Гладких и Шароновых... Приходит Куза, у ней Пуччини, ей дают Касторского. Приходит некто Глазуновый, ему дают Мазини на Черепнине... Вот едет карета, запряженная настоящей Жеребцовой-Евреиновою, на ней Збруева, правит Кучера, с большим рыжим Бородиным. Вот из лесу выбегает Вольф-Израэль, страшно Алчевский и бросается на Жеребцову-Евреинову, а та его Легат.

Мораль.

Кюи железо, пока горячо».

Эту забавную мозаику из музыкальных имен составили в веселую минуту Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Лядов. Лядов сообщил ее мне, когда я, больше полувека назад, пришел к нему на Николаевскую улицу просить, чтобы он дал для редактируемого

мною детского альманаха какую-нибудь музыкальную пьеску.

К сожалению, у него болела рука, и он не мог записать этот текст. Записала его в «Чукоккалу» через несколько лет художница В. П. Шнейдер, у которой этот текст сохранился в автографе Лядова.

18

В 1907 году Всеволод Эмильевич Мейерхольд поставил в театре Комиссаржевской «Жизнь человека» Леонида Андреева. Пьеса в его постановке имела огромный успех. По этому случаю в редакции издательства «Шиповник», где печатались произведения Леонида Андреева, состоялся банкет, на котором присутствовало около ста человек.

Художник Петр Троянский изобразил начальную стадию этого пиршества — тот торжественный миг, когда в комнате, наконец, появился долгожданный Леонид Николаевич. Этот рисунок находится ныне в одном из филиалов «Чукоккалы».

Некоторые фигуры здесь изображены артистически — например, сидящий за столом в самом центре поэт Михаил Алексеевич Кузмин, жеманно угощающий яблочком своего очередного любимца, фамилию которого я сейчас позабыл.

За ними на заднем плане увядающая, но все еще пышная красавица Тэффи беседует с Максимилианом Волошиным. Волошин нарисован чудесно: шевелюра Юпитера, могучие плечи — и манера вытягивать шею во время изысканно-любезной беседы.

За спиной у Волошина сиротливо стоит одинокий, неприкаянный Алексей Михайлович Ремизов, с застывшим выражением ужаса, словно он увидел привидение. Таким он запомнился мне на всех тогдашних писательских собраниях: всему чужой, оцепенело испуганный.

Пожалуй, наиболее выразительна фигура художника Зиновия Гржебина, стоящего на первом плане у вазы с шиповником. Он главный заправила издательства, вид у него

счастливого собственника. Он сделал ставку на Леонида Андреева и теперь чувствует себя триумфатором.

Рядом с Гржебиным владеец «Шиповника» Соломон Юльевич Коппельман (отец советского писателя Юрия Крымова, который в ту пору еще не родился), человек мечтательный, деликатный и несколько вялый, совершенно лишенный издательской хватки, встречает почетных гостей — Леонида Андреева и жену его Анну Ильиничну.

Хотя Леонид Андреев в ту пору был наверху своей славы, хотя он во всей этой группе самая импозантная фигура, но и в его походке и в выражении лица есть что-то неуверенное, даже беспомощное, какая-то затаенная грусть, словно он предвидит тот неизбежный конец своей победительной славы, так трагически изображенный им самим в той самой «Жизни человека», за которую его сейчас собираются чествовать.

Навстречу ему бросается с выражением нежнейшей любви профессор-фольклорист Евгений Васильевич Аничков, усердный посетитель всех литературных диспутов, лекций, похорон, юбилеев, красноречивый оратор, преданный модернистам до страсти. За ним Александр Блок, за Блоком — я (в очень отбурханной бедной одежде), а за мною Илья Василевский («Не Буква»).

Как известно, в «Жизни человека» большую роль играет Некто в сером, выходящий на сцену со свечою в руке. Здесь, в «Шиповнике», тоже есть Некто в сером, но вместо свечи у него жандармская шапка с высоким султаном — ведь многие революционные издания «Шиповника» были незадолго до того конфискованы.

Позади за спиной Леонида Андреева, как бы догоняя его, шагают два карикатуриста — Цербов в широких штанах и автор этой панорамы Троянский...

Из всех этих людей остался в живых только я.

Фадеев был тогда шестилетним ребенком, Маяковскому шел пятнадцатый год, а Ев-



тушенко родился через двадцать шесть лет после этого литературного праздника.

19

В Ленинграде в голодные годы распространился среди писателей слух, что откуда-то с юга в Дом литераторов скоро прибудет целый вагон яиц. О яйцах мы в то время забыли и думать, но теперь многие из нас, и наши жены, и дети только и жили мечтою о них.

Наконец они прибыли, и все, схватив кошельки, кинулись на Бассейную, в Дом литераторов.

Но яйца от долгого пребывания в пути совершенно испортились и стали непригодны для пищи. Даже сквозь скорлупу от них шел агрессивный запах. Надежды наши рухнули, и мы наотрез отказались от этой зловонной тухлятины. Но один старичок, Белавенец, составитель каких-то учебников, обратился к нам с жалобной просьбой — подарить ему все эти негодные яйца, авось он найдет среди них хоть одно не совсем протухшее. Мы охотно исполнили просьбу почтенного старца, а Гумилев совместно с Мандельштамом тут же сочинили для «Чукоккалы» такие стихи:

Полковнику Белавенцу
Каждый дал по яйцу.

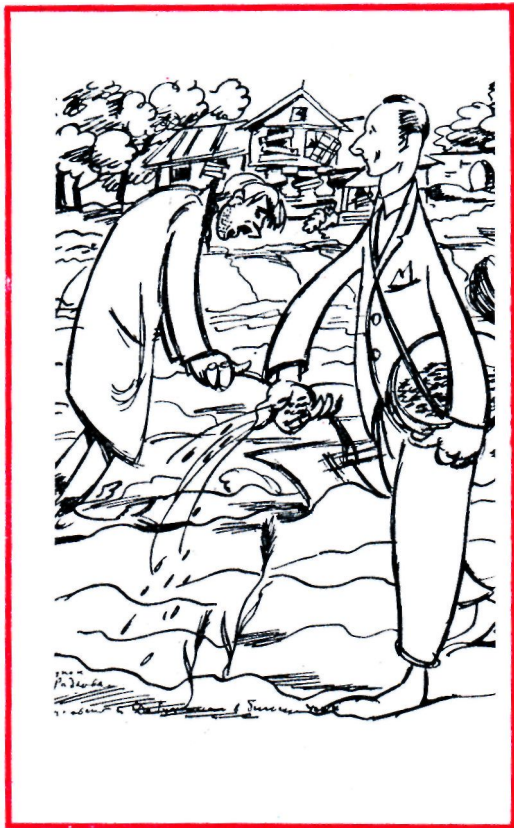
Полковник Белавенец
Съел много яиц.

Пожалейте Белавенца,
Умеревшего от яйца!

Слово умеревший использовано здесь неспроста: незадолго до того поэт Оцуп напечатал стихи, где фигурировало это несуразное слово.

20

Мстислав Валерианович Добужинский — художник «Мира искусств» — долгое время казался мне очень надменным и важным. Осанка у него была горделивая, жесты медлительные. Я часто встречал художников этой группы и на литературных вечерах Сологуба, и на средах у Вячеслава Иванова, и на редакционных собраниях журнала «Аполлон», альманаха «Шиповник». Они всегда приходили все вместе — замкнутые, с неподвижными лицами, в высоких накрахмаленных воротничках и сами как будто чуть-чуть накрахмаленные, — усаживались поближе друг к другу и заговорщицки молчали весь вечер — Константин Сомов, Бакст, Лансере, Бенуа, Кустодиев, Добужинский. Впрочем, Бенуа был более говорлив и общителен, но все остальные держались среди нас отчужденной, обособленной кастой.



Самым неприступным казался мне тогда Добужинский.

Но в 1921 году мы вместе с ним, объединенные голодом, организовали в Псковской губернии близ города Порхова (под эгидой Петроградского дома искусств) колонию для изголодавшихся писателей и художников. В колонии поселились Н. Радлов, Мих. Зощенко, Мих. Слонимский, Леткова-Султанова, В. Милашевский и многие другие, и тут я увидел, что Добужинский вовсе не такой, каким он представлялся мне в старые годы, — очень мягкий, покладистый, дружески расположенный к людям, ничуть не повинный в том, что у него такая внушительная, вели-

чаявая внешность. Оказалось, что он пишет украдкой стихи, любит сказки и что все его отношения с близкими окрашены очень уютным, незлобивым, незатейливым юмором. Наша работа в основанной нами колонии изображена на страницах «Чукоккалы» художником Николаем Эрнестовичем Радловым в нескольких карикатурных рисунках. Один из них воспроизводится здесь. Я изображен пахарем. Мстислав Валерианович — сеятелем.

В 1924 году мы бродили с ним по Петроградской стороне. Он нежно любил Петербург, о чем свидетельствуют его поэтические иллюстрации к «Белым ночам» Достоевского и многие другие рисунки.

Гуляя, мы вышли на Бармалееву улицу.

— Почему у этой улицы такое название? — спросил я. — Что это был за Бармалей? Любимик Екатерины Второй? Генерал? Вельможа? Придворный лекарь?

— Нет, — уверенно сказал Добужинский. — Это был разбойник. Знаменитый пират. Вот напишите-ка о нем сказку. Он был вот такой. В треуголке, с такими усищами.

И, вынув из кармана альбомчик, Добужинский нарисовал Бармалея.

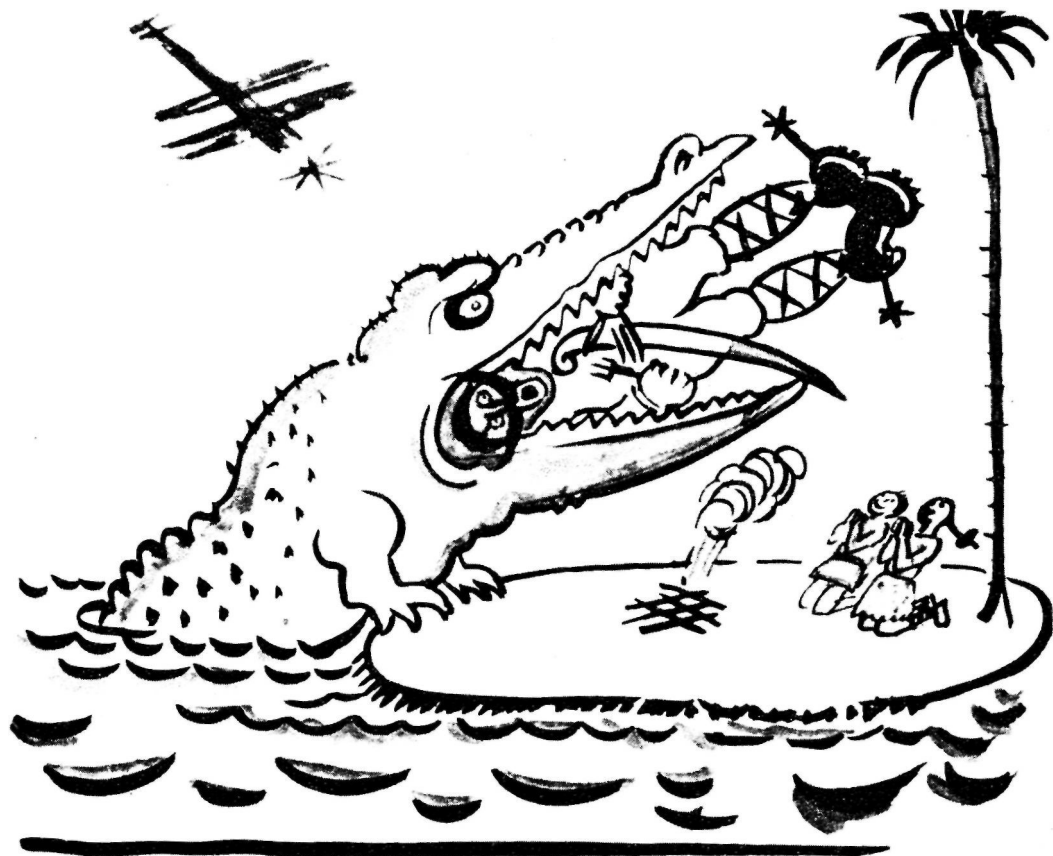
Вернувшись домой, я сочинил сказку об этом разбойнике, а Добужинский украсил ее прелестными своими рисунками. Сказка вышла в издательстве «Радуга», и теперь это издание редкость.

Вот один из первоначальных рисунков М. В. Добужинского, сделанный еще до того, как была написана сказка.

Но я до сих пор так и не узнал, откуда взялась Бармалеева улица.

21

Впрочем, не все же цитировать «Чукоккалу», не все же вспоминать только о тех замечательных людях, которые уже закончили свой жизненный путь! Есть и теперь среди нас необыкновенные личности, люди огромного сердца, могучего таланта, неиссякаемых твор-



ческих сил. К их числу несомненно принадлежит знаменитый Ираклий Андроников. В справочнике Союза писателей кратко сказано, что Андроников Ираклий Луарсабович — прозаик, литературовед, и только. Если бы я составлял этот справочник, я раньше всего написал бы без всяких покушений на эксцентрику: Андроников Ираклий Луарсабович — колдун, чародей, чудотворец, кудесник. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него. Из разных литературных преданий мы знаем, что в ста-

рину существовали подобные мастера и искусники. Но их мастерство не идет ни в какое сравнение с тем, каким обладает Ираклий Андроников. Дело в том, что едва только он войдет в вашу комнату, вместе с ним шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Алексей Толстой, и Отто Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Тарле. Всех этих знаменитых людей во всем своеобразии их индивидуальных особенностей художественно воссоздает чудотворец Андроников.

Люди, далекие от искусства, невежественные, называют это его мастерство имитатор-

ством. Неверное, поверхностное слово! Точнее было бы сказать: преобразование. Андроников весь с головы до ног превращается в того, кого воссоздает перед вами. Сам он при этом исчезает весь без остатка.

Как-то вскоре после смерти Алексея Толстого он сидел у меня в комнате и голосом Алексея Николаевича говорил о различных новейших событиях — то самое, что оказал бы о них покойный писатель. Стемнело. Андроников продолжал говорить, и, пока не зажгли огня, я проникся жутким до дрожи чувством, что в комнате у меня за столом сидит Алексей Николаевич. И даже удивился, когда зажгли свет и обнаружилось, что это не Алексей Николаевич, а Иракий.

Мало того, что он точно передал голос писателя, его тембр, его интонации, — он воспроизвел самую манеру его мышления, самый стиль, самый характер его колоритной речи.

В том-то и дело, что, преображаясь в того или иного из достопамятных и достославных современников наших, Андроников не только воскрешает его внешние признаки — его жесты, его походку, его голос. Нет, он воссоздает его внутренний мир, его психику, методы его мышления и силой своей проникновенной фантазии угадывает, что сделал бы и сказал бы изображаемый им человек при тех или иных обстоятельствах. Например, какую лекцию прочитал бы академик Евгений Викторович Тарле, если бы на нашу планету напали, например, обитатели Марса.

Среди созданных его творческим воображением образов есть Борис Пастернак. Здесь Андроников весь до последнего волоска, до мизинца преобразуется в Бориса Леонидовича — со всеми внезапными взрывами его густого, гудящего баритона с множеством смысловых и эмоциональных оттенков, со всей его причудливой манерой обрушивать на собеседника целую лавину признаний, откровений, размышлений, предчувствий, догадок, надежд. Восхищаясь магическим искусством

Андроникова, я всякий раз убеждался, что он-то и есть главный Химик в той волшебной мастерской, о которой некогда мечтал Маяковский. Вы помните эту Мастерскую Человечьих Воскрешений в поэме «Про это»:

рассиявшись,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.

Все ушедшие от нас, незабвенные, навеки умолкнувшие поэты, композиторы, актеры, ученые — и Остужев, и Качалов, и Щерба, и Щидри и Пастернак, и Соллертинский — все они магией творчества вновь встают из могил, и дышат, и беседуют с нами, живые, обаятельно милые, во всем своеобразии своих мельчайших духовных примет, и я, знавший их, могу засвидетельствовать, что воскрешенные Иракием Андрониковым люди в точности такие, какими они были в жизни.

Подумайте только: я знал несколько лет и любил замечательного нашего ученого и романиста Юрия Николаевича Тынянова. Что могу я сделать, чтобы почтить его память? Написать о нем статью? И только. Но ведь из этой статьи читатель получит приблизительное, смутное представление о нем, а Иракий Андроников, идучи со мною по нашей деревенской дороге, вдруг дернул шеей, взглянул на меня по-тыняновски и до такой степени превратился в Тынянова, что я чуть не закричал от испуга: это был живой Юрий Николаевич, пронзительно умный, саркастичский, грустный и гордый, словно я и не присутствовал при его погребении.

Все эти редкие качества сказались и в произведениях Андроникова.

Я ничего не говорю о книгах Андроникова. Андроников-писатель — это особая тема. Скажу только, что и здесь его Мастерская Человечьих Воскрешений действует во всю свою мощь. Так он не только разыскал и воскресил для всех нас загадочную Н. Ф. И. — женщину, которую воспел в та-

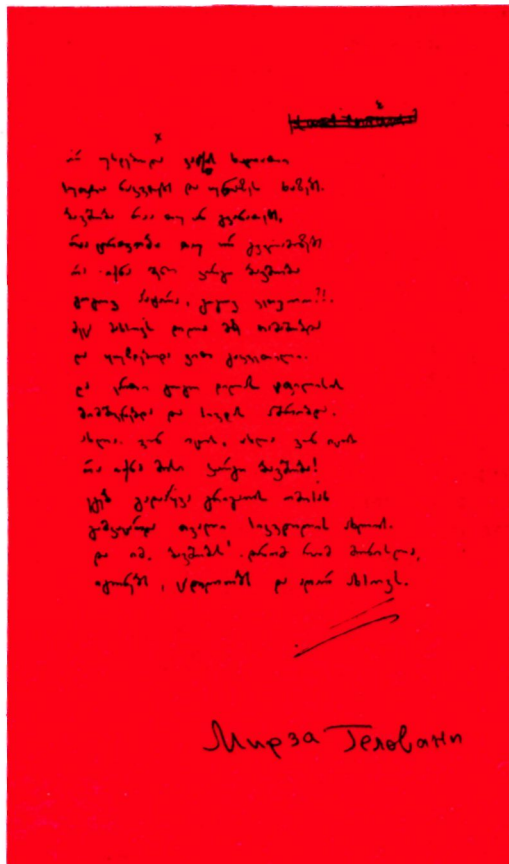
ких страстных стихах М. Ю. Лермонтов, любивший ее испуганной и надрывной любовью. Вместе с нею Андроников воскресил целую вереницу людей, встречавшихся ему на каждом этапе его длительных розысков. Так возник новый жанр литературной науки. До сих пор литературоведы сообщали читателям лишь результаты своих разысканий. Андроников именно потому, что он портретист и художник, первый решился поведать о самих разысканиях и о тех персонажах, с которыми ему в это время довелось познакомиться.

А так как эти подвиги и приключения Андроникова рассказаны им очень бравурно, занятно, художественно, со свойственными ему блестящими юмора, превосходным живым языком, ему посчастливилось — при помощи главным образом телевизора, радио (и отчасти кино) привлечь внимание широких читательских (и не только читательских) масс к трудной и богатой приключениями работе литературных следопытов, разведчиков, которая до того, как ее проиллюстрировал в сво-

их выступлениях Андроников, всегда оставалась где-то за кулисами, во тьме, в неизвестности.

Мне тоже в свое время привелось заниматься литературными розысками: я нашел и обнародовал несколько тысяч никому не известных некрасовских строк, отыскал одну из страниц Достоевского, письма молодого Льва Толстого, письма Василия Слепцова и т. д. Я испытал этот ни с чем не сравнимый азарт — искать, находить и спасать от неминуемой гибели потерянные литературные ценности, — но до Андроникова мне и в голову не приходило рассказывать о тех приключениях — порою тревожных и бурных, — с которыми были сопряжены мои поиски. Теперь, когда по стопам Андроникова идут другие следопыты (Георгий Шторм, Николай Раевский и мн. др.), мне хочется примкнуть к их отряду и рассказать, насколько у меня хватит умения, о своих скромных походах за драгоценными литературными кладами.

Но об этом как-нибудь потом.



Н. М. Минава

**"Вы слышите мой клич,
другья?.."**

В начале зимы 1942 года фашистские захватчики стояли у предгорий Кавказа. На Военно-Грузинскую дорогу падали бомбы. Город готовился к обороне.

24 декабря был небывалый для Тбилиси снегопад. Городской транспорт перестал работать, прервалась телефонная связь. Я сидел в штабе усталый. Думал. Вспоминал. Давно не приходили письма-треугольники от моих лучших друзей: Коля Протопопов летал по берегу Черного моря, Костя Раузе лечил моряков на крейсере Балтфлота, Како Бохуа защищал Ленинград, который давно стал его родным городом. А вот о самом младшем

из них, о поэте Мирзе Геловани, я очень давно не имел вестей.

Тревожный звонок вывел меня из раздумья. Я лихорадочно схватил трубку и услышал далекий голос жены: «Скорее приезжай, тебя ждет сюрприз!» Потом какое-то шипенье, хрип и полная тишина — связь снова прервалась. Часам к семи вечера пешком я добрался до дому. Там меня ждал подтянутый морской офицер. Это был Костя Раузе!.. Костя торопился, в его распоряжении было всего несколько часов. Он рассказал мне о том, как два месяца пробирался из осажденного Ленинграда. А потом достал из внутреннего кармана пакет и передал мне. Я обомлел от удивления. Это были стихотворения Мирзы Геловани.

Он, оказывается, жив! И даже в окопах пишет стихи... Но как и где встретились мои друзья?.. Костя что-то рассказывал, но я ничего не слышал. Я читал стихи:

Выстрелы, кровь и стенанья... Едва ли
я позабуду их вечером мирным...
Как замерзали, о, как замерзали
зори вечерние во поле минном!..
Прерваны мысли. Раскиданы роты.
Вечер похож на кровавую рану.
Финским ножом, перерезавшим тропы,
стужа звенит на путях к Ленинграду...
Пули устали к победному часу.
Пушки охрипли. И танки застыли.
Мы подымали победную чашу —
ты был так близко, но ты был — в могиле.
Десять ранений. И возле кювета
братский ваш холмик, неровный и голый.
Все было немом... И только у ветра
был твой негромкий и медленный голос¹.

Мы простились без слов — да и о чем мы должны были говорить в те страшные дни? Только на прощанье Костя со свойственной ему бодростью сказал:

— Ничего, Коленка, кончится война, соберемся и будем читать стихи...

Война кончилась... Но больше не вернулись домой Костя Раузе, Мирза Геловани, Николай Протопопов и Како Бохуа...

Проходили месяцы. С Мирзой у меня наладилась переписка. Почти с каждым своим письмом он присылал мне одно-два новых стихотворения.

Первое письмо датировано 24 декабря 1942 года.

«Брат мой, Коля! — писал Мирза. — Пришла зима. Принарядились, оделись в белое зеленые сосны. Невидимая рука срывает снежные хлопья, так же как я, бывало, срывал по лепестку хризантемы, гадая по ним... Как я любил эти пышные цветы и желтизну осенних дней!

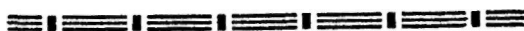
...Очень часто я шел по кромке леса и ждал наступления вечера, чтобы увидеть красивейшее зрелище — когда под лучами солнца, обескровленные, светлеют горы, укрываются в матовое, непрозрачное покрывало. Сумерки начинаются от корней дерева, будто выползают из-под земли, поднимаются вместе с высотой, как дикая лоза — усурвази, как дума, тяжелая и темная, и дрозды шумят под ветвями, оплакивая ушедший день.

Я люблю горы. Как-то по-своему украшали они мою детскую мечту. Иногда мне хотелось испытать сладкую боль расставания с горами...

У меня старая мать в горах: она лаской воспитывала меня, будущего строителя и бойца. А теперь она готовит мне теплые вареники. Она каждый день, каждую ночь думает обо мне, о победе. Глядит она сверху на Арагви, на ее берега и вспоминает меня, своего удачливого рыбака. Она смотрит на снегом убеленные горы и вспоминает меня, своего удачливого охотника... Трудятся в поте лица, стараются девушки, и морщинистые губы моей матери шепчут имя: зовут меня, труженника и любимца девушек.

Теперь моя мать в опасности!.. Враг стоит у Кавказа.

И возлюбленная ждет меня в горах... Ждет моя любовь! Она трудится вместо меня. Огрубели ее нежные руки. Но она ждет с надеждой. Хочет увидеть меня победителем, с улыбкой на лице.



¹ Стихи Мирзы Геловани перевел для настоящего очерка Юрий Ряшенцев. Стихи о Ленине перевел Юрий Полушкин.

Сотни лет тому назад, возвращаясь с войны, герой, мой предок, строил Вардзию, Сиони, Алаверди. На высокую гору на собственной спине поднимал он тяжелые глыбы мрамора и создавал храмы с выразительными фресками. В этих храмах он писал «Витязя в тигровой шкуре», «Мудрость лжи». Он строил, творил и оставлял мне свои творения, чтобы я мог гордиться.

Дом моего деда, труд моих предков сейчас в опасности.

Но как можно согнуть вершину Казбеги?.. Он никогда и ни перед кем не унижался. Прямо и чисто он, тянущийся к небу. А небо начи-



нается с белой вершины, и земное существо не в силах принизить ее... Вот какие мысли, мой друг, бродят у меня в голове... Посылаю тебе мое последнее стихотворение. Твой Мирза».

Фашист зарылся в темноту. А в наши лица
и превращается в мечту желание убить врага.
Какая мокрая метель на неприкаемой земле!
И верная моя шинель отказывает мне в тепле.
Сырой неумолимый снег — как будто серая
стена.
И я не закрываю век, но явь не заспляет
сна...
...Я вижу снег, но он иной, и щепки яркие
на нем.
Соседский мальчик озорной готовит санки
под окном.
Мой брат в заснеженном саду шагнет то
вправо, то влево, освобождая на ходу от снега
черточки ветвей.

Камин вздыхает, как всегда, когда душа его
в огне...
С воробышком струсилась беда — он так
лищит... И обо мне
горюет мать. И мой отец, добряк, умелец
и шутник,
замучен думами вконец, над верстаком
своим поник...
Хочу вернуться... Так хочу! Промерзший на
чужом ветру,
к камину, как больной к врачу, я кинусь,
кинусь — и замру,
И счастья непечатый край откроется передо
мною.
И можно все: и слушать лай соседской
старенькой цепной,
и по-мальчишески мечтать, и строить домик
воробью,
и у окошка наблюдать, как тают хлопья...
Но стою,
как все. Кругом война. Пурга. И обе
контра стороны должны.
Метет. Не кану ли в снега такой пурги,
такой войны?
И что-то, не к добру, болит сегодня сердце
у меня.
Так наша Джаврия скулит там, дома,
на закате дня...

30 декабря 1942 года он писал:

«...Осенью ушедшего года наши части начали отступление...»

И вот, проезжая Малоярославец, я увидел: сила взрыва бомбы забросила человека на телеграфные провода. Мертвец висел на проводах, и никому не приходило в голову снять его оттуда, положить на землю его истерзанное остывшее тело. Третьим выстрелом из пистолета я разорвал провод, и труп упал на землю...

Мы отступали к Москве. Шли, опустив головы, обозленные. В глазах каждого из нас жили гнев и чувство оскорбленной гордости. Мы шли, но это не было бегством сломленных, побежденных. Это было отступление тигра, который готовится к прыжку. И когда я смотрел на тысячу моих товарищей и соратников, когда я видел их глаза, в которых горело грозное пламя веры в великую победу, меня душило желание кричать во всеуслышание:
— Берегитесь, убийцы!..

..В один туманный, холодный день, когда первые снежные хлопья едва пробивались через тяжелейший воздух, я встретился с моим товарищем Павленко, капитаном из Харькова.

Он вылез из танка и, увидев меня, крикнул: — Ну, как живешь, Геловани?

— Так... Как все!..

Он улыбнулся... Меня удивила эта улыбка. Его широкие плечи пошевелились. Он хлопал меня по плечу и сказал почти шепотом:

— Ничего!.. Подожди немножко, увидишь!

Сквозь туманный день просеивается снег, и колонна Павленко скрывается за поворотом. Гремят, гудят стальные танки, и чем дальше, тем с большей уверенностью врывается в мое сердце этот стальной шум, как убеждающий голос, провозвестник победы.

Москва — сердце моей страны. В каждом переулке рыли мы окопы, строили блиндажи, минировали пустыри. Там и тут на крышах домов стояли замаскированные зенитные орудия. Стоял настороже огромный город. Готовился к обороне.

И мне выпала честь быть участником и бойцом защиты этого города. Мне выпала высокая честь бойца и советского гражданина. Враг находился очень близко. По Ленинградскому шоссе почти до Химок дошел он, и здесь, у врат Москвы, выросла наша самоотверженность, как великая стена непокорности. И вздрогнул враг, отступил на запад. В беспорядке бежал он, и мы гнали его, как раненого и бешеного зверя.

На широких дорогах Дмитрова, Волоколамска, Серпухова, Варшавы, Минска вновь сверкнули стальные подковы наших коней, вновь обрели мы наш атакующий голос, и до весны на всех дорогах валялись они, чужаки, пришедшие сюда, чтобы захватить землю нашей Родины. Валялись они, и на пустой, бессмысленный взгляд их глаз я отвечал:

— Всех до одного! Этого требует молчание наших разрушенных городов, тишина сожженных деревень!

— Капитан Павленко! Я увидел!.. Ты слышишь, я увидел!!!»

Уже капитан, Мирза Геловани писал мне весной 1943 года (письмо не датировано):

«Я сегодня вспомнил твою любимую абхазскую поговорку, что «Дружба, как кинжал, имеет два лезвия, и враг не сможет к ним подойти». Если бы ты знал, сколько у меня сейчас друзей: русских, украинцев, белорусов, армян, и наша дружба действительно как тот кинжал... Пусть попробует враг, пусть подойдет!..

У нас сегодня особый день, мой друг, — мы начали гнать врага с нашей земли. И тот, кто хоть раз представил себе суровое величие сванетских ледяных вершин, красоту зеленых гор моей Грузии, кто с детства восхищался рыцарским духом «Слова о полку



Игорева», кто проникся романтической грустью поэзии Лермонтова, кто хоть раз был пьян музыкой Чайковского, — пусть поднимет вместе с нами тост за наше победное шествие... Хотя, что греха таить, капельки спирта едва искрятся на дне наших котелков...

Но дело не в этом. Всех нас, этих ребят, сблизила война, а такая дружба всегда основана на крепком фундаменте, она не похожа на лестницу строителя Сольнеса... Кстати, я вспоминаю слова Ибсена: «Как ночь ни бывает черна, сменяется солнечным утром она». Так вот, черт побери, пришло оно, солнечное утро... Кажется, мы скоро встретимся, старина!..

Да, Коля, родной, напиши, где Костя, что с ним, получаешь ли ты от него письма?» Но Кости Раузе уже не было в живых, я не написал ему об этом...

«Брат мой Коля, — писал мне Мирза 13 февраля 1943 года, — давно нет писем от тебя, не знаю причину и волнуюсь.

Посылаю свои новые стихи из тетради «Военная лирика». Они писались на фронте, и, может быть, это послужит оправданием их некоторой технической недоделанности.

В эти стихи не вошли те несколько стихотворений, которые я послал поэту Ираклию Абашидзе. Да, меня интересует: напечатали или нет хоть одно из моих стихотворений?.. Но это между прочим... Прости мне некоторую тень моих стихов, ведь я человек прежде всего. Посылаю «сонет». Черт побери, думаю о будущем, о любви — ведь любовь осталась такой же, какой она была со времен Юлия Цезаря до наших дней...»

Вот еще письмо, от 18 июня 1943 года.

«Коля, ты помнишь, каким я был? Помнишь, мы ехали на твоём черном «газике» на вокзал. День был бледный, тихий, как заплаканные глаза ребенка. Направо — Черное море и небо, опускающееся в море. Высокие стебли кукурузы будто шептались в абхазских логах, и, не знаю почему, что-то мучило меня, грусть какая-то. Ты ласково обратился ко мне и спросил, почему я такой бледный.

Как хочу увидеть тебя, друг мой! Ты бы не узнал меня. Война излечила мои нервы, и сейчас я удивляюсь тому, каким я был вчера...

Мои стихи страдали излишней нежностью. Тихая улыбка была характерной для меня... Теперь я разучился улыбаться тихо, и только тогда, когда враг бежит под нашим огнем, когда стоны раненых или холодные взоры вражеских трупов встречают меня, идущего вперед, я знаю: на моих губах снова улыбка... улыбка человека, который неистовствует, жаждет мести.

Говорят: «брат!» Я не знаю, что такое «брат». Я не знаю, что такое «кровное родство». Брат — тот, кто лежит с тобой рядом в холодных блиндажах. Брат — тот, кто поддерживает тебя раненого, сделает перевязку и ради капель твоей крови будет лить вражескую кровь.

Тот только моя плоть и кровь, кто, лежа рядом со мной, усталым голосом расскажет о собственной мечте, кто, не разгибаясь, подает тебе патроны.

Теперь ночь. В землянке, при свете огарка, пишу тебе это письмо и хочу, чтобы мое слово услышали мои друзья! Хочу, чтобы все, в ком бьется сердце для жизни, заразились ненавистью к врагу, ненавистью, которой я горю.

Я нахожусь далеко от гор, но, если здесь, на снежных степях России, меня настигнет вражеская пуля, так пусть знают горы, что я защищал их покой.

Я защищаю свою Родину всю, от Черного моря, от берегов Каспия до Северного полюса; от Балтики, от Карпатских гор до Тихого океана: Родину широкую и необъятную, Родину молодую и красивую.

Вы слышите мой клич, друзья? Оружие, только оружие! Смерть врагу, пока он не убил нас. Смерть фашистам, которые пришли огнем и мечом разрушить все, что мы строили в течение четверти века!..

Вот такие думы беспокоят меня, мой друг, и я иду вперед, все вперед... Посылаю тебе два своих последних стихотворения. Твой друг Мирза».

Мы за телом мертвой ивы на снегу залегли, вонзив прицелы в бурелом.
И единственная мысль жила в мозгу:
о прошедшем, о минувшем, о былом.
День, который прошлым сделала война,
был любовью, жизнью, солнцем... Оттого
и у пуль, летящих в цели, цель одна —
возвращенье в настоящее его.

Таков был Мирза: стройный, простой паренек в черной сатиновой косоворотке; романтик с глубокими мыслями и характером ребенка. Ему было немного лет, этому юноше,



но он много читал и много знал. У его отца, народного учителя, была огромная прекрасная библиотека. Мирза с детства полюбил родную, русскую и иностранную классику, современную литературу. Он любил горы — его предки происходили из сказочной Сванетии. Любил он Важу Пшавелу и Льва Толстого, Шекспира, Пушкина и Николоза Бараташвили, Лермонтова, Галактиона Табидзе. Любил реки, цветы, виноградники, поля и леса...

«Ко мне дня три-четыре тому назад зашел юноша, прекрасный как лань, и оставил мне несколько своих стихотворений-шедевров», — рассказывал друзьям о Геловани известный грузинский поэт Раждем Гветадзе. Этот юноша с пытливым умом пришел в поэзию неожиданно, пришел с большим творческим даром. И все сразу заметили его необычайный талант, его мощный поэтический голос. Стихи «Ленин», «Баллада о строителе Вардзия», «Шавлего», «Аон» привлекли к себе всеобщее внимание. В трудные минуты раздумья он обращался к Ленину:

Когда внезапно чувствую усталость,
Когда решенья я не нахожу,
Чтоб на душе сомнений не осталось,
Я к твоему портрету подхожу.
Перед твоей великою судьбою,
Задумчивый и тихий, я стою,
В таком большом долгу перед тобою,
Что стыдно мне за молодость свою.

В 1939 году, уходя в армию, своему другу Вахтангу Бецукели Мирза сказал: «Хочу ис-

пытать жизнь солдата... и если, бог даст, вернусь живым, тогда мои стихи приобретут правдивость и мужество». С тех пор он защищал Родину, а в минуты передышки в блиндажах писал свои замечательные стихи. Поэт не дождался окончания войны — он погиб на полях Белоруссии в июле 1944 года. Ему тогда едва исполнилось двадцать семь лет.

Шли годы. Ни родные, ни друзья не знали, где могила поэта. Но вот в июне 1963 года белорусские пионеры — школьники средней школы Ржавки, носящей сейчас имя Мирзы Геловани, сообщили матери поэта, что ее сын похоронен в деревне Санки, в Витебской области. Белорусские партизаны похоронили его вместе с другими бойцами.

А через год на могиле героев в двадцатую годовщину гибели поэта собрались люди труда Беженковского района, пионеры, приехавшие из Грузии гости. На импровизированной трибуне выступали брат и сестра поэта Русудан и Теймураз Геловани, поэты и писатели, руководители Витебской области. Друзья поэта Андро Сисаури и Вахтанг Бецукели посыпали братскую могилу бойцов землей, привезенной из Грузии: с могил Важи Пшавелы, Н. Бараташвили и А. Грибоедова.

Но самым замечательным памятником бойцу остаются его стихи.



Ю. Тынянов

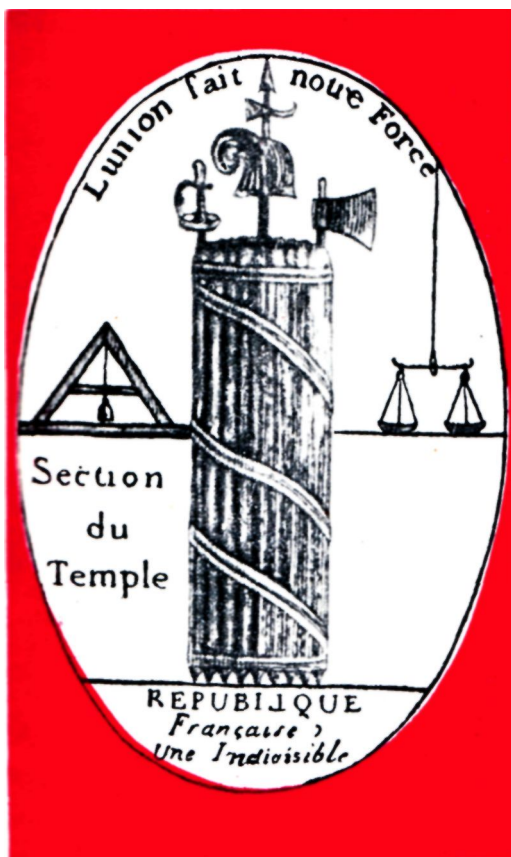
Гражданин Очер

1

Для того чтобы писать о Пушкине, я читал его жизнь по его стихам. Один черновой отрывок поразил меня:

О страх, о горькое мгновенье
О... когда твой сын
Упал сражен и ты один
Забыл и славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех достигнутый тобой.

и больше ничего.
Так печаталось во всех изданиях.
Кто это?



Отец и сын, вместе сражающиеся. И горькое мгновение, которое поразило поэта. О ком, о чем эти стихи? Быть может, это о древних героях, о богатырях? И чужая слава, другой богатырь враждебный? Нет, эти стихи были слишком живы, в них чувствовалась близость временная или пространственная к поэту. Отец и сын были где-то близко.

И, изучая богатырей других — богатырей двенадцатого года, я, наконец, с полной ясностью обнаружил имя, еще пропускавшееся во всех изданиях. Я писал тогда о лицейских годах

Пушкина. Имя, которое еще не было разгадано, — это было непрочтенное имя Строганова.

О страх, о горькое мгновение,
О Строганов, когда твой сын
Упал сражен, и ты один
Забыл и славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех достигнутый тобой.

Строганова хоронили с воинскими почестями во время окончания Пушкиным лица.

А чужая слава, к которой Пушкин относился недружелюбно, был нелюбимый Пушкиным Воронцов. Горькое мгновение — был трагический для Строганова конец сражения при далеком Краоне.

Помня стихи Пушкина, я посмотрел портрет Строганова. Он был удивительно красив, с тонким бледным лицом. Я стал читать о нем, «Дней Александровых прекрасное начало» — быть может, труднее всего для изучения. Век еще не нашел себя. Лицо Строганова было лицом этих дней. Это время нашло себя. Этот бледный человек еще умел ненавидеть.

Ненависть его к Наполеону сделала его военным.

2

Мы читаем биографии людей. Мы любим их читать. Существуют ненаписанные биографии мест. Места связаны с людьми. Это связь крепкая, нерушимая. Об этом лучше всех ученых написал Лермонтов. В «Дарах Терека» — открытие. Река, сорная, дикая, бурная, любит девушку. Лермонтов писал не о любви отвлеченной. Так, именно так любят родину — ее любят как живую. Недаром места и люди меняются именами. Одно место Урала стало именем

русского человека. Он сам назвал себя так в конце XVIII века. Он назвался так в Париже.

Французская революция слышала уральское имя, название. А потом — яростная борьба с Наполеоном, вторгшимся в русскую землю.

Быть может, одно из самых своеобразных русских мест — уральское место

Очер. Этим именем назвался этот человек. Это имя слышали французские якобинцы и русские генералы. Запомним это название, запомним имя:

Очер.

У старика Строганова был дурной характер.

Он взял себе дурную привычку громко ворчать на императрицу за картами. Однажды, когда он играл с ней в экартэ и императрица пошла не так, как нужно, у императрицы зазвонил колокольчик. Прибежали фрейлины, и заглянул Храповицкий, секретарь.

Императрица сказала им, указывая на Строганова:

— Он кричит на меня. Как бы ему не вздумалось драться.

Когда-то, при Алексее Михайловиче, Строгановы судились по особым законам, относящимся только до них.

Екатерина со своим женским чутьем с ним не ссорилась. Она звала его кумом.

— Я с кумом боюсь одна быть. Он горяч.

Он сильно тягался с богатым монастырем из-за Усолья и, когда часть соляных богатств у него все же оттягали, перестал почитать церковную власть и стал богохулом.

— Святые отцы, соленые уши, — говорил он.

Он там не бывал затем, что и здесь солоно. Вообще же он жил как хотел в своем дворце, который ему построил Варфоломей Растрелли и которым

он был доволен. Здесь он воспитывал сына и старался воспитать его так, чтоб никто не сказал, что он рос без матери. Поэтому он нанял к сыну воспитателем ученого француза Ромма. Он не хотел вмешиваться в воспитание, не считая это полезным, а также потому, что был занят другим. Как бы то ни было, сын Павел не был предоставлен самому себе. Ученый Ромм, большеголовый, малого роста, был действительно воспитатель суровый и крепкий. Побившись о заклад, что будет читать по-китайски через неделю, — выиграл. Воспитывался вместе с сыном еще один мальчик, Воронихин Андрей, мальчик строгий, молчаливый. Как он появился в этом доме, никому было не известно, а Ромм не спрашивал. Старик Строганов сказал Ромму, что он предназначил ему строить дома, потому что, кроме Растрелли, он в Петербурге по вкусу строителей домов не встречал. Выросши, он ему построит другой дом.

Однажды появилась в доме женщина в темном синем кафтане, неторопливая. Звали ее Акулиной. Она ни о чем ни с кем не говорила. Видно было, что раньше она здесь бывала или даже жила, потому что комнаты знала, а на антресоли к Павлу и Андрею всходила легко и никого не спрашивая. Провела она здесь целый день. А когда собралась уходить, долго смотрела на Андрея широко раскрытыми глазами, и глаза эти вдруг заплыли слезами. Крупные слезы падали, а лицо было неподвижно. Перед уходом вдруг решилась: обняла его. И видно было, что не упустила ни одного его движения, жеста, все унесла с собою. А уходя, вдруг сунула Андрею из руки в руку пряник. И улыбнулась. Видно, так она улыбалась давно. И, не обернувшись, ушла.

Старик Строганов, как всегда, ничего не говорил ни о матери Павла, ни о матери Андрея Воронихина.

— *Esclavage*, рабство, — спокойно сказал Ромм. Павел потупился. Ромм увидел, как он побледнел.

Кто была Акулина, Ромм не спрашивал. Кто был отец Андрея и почему он (сам) здесь, нечего было спрашивать. Старик Строганов готовил себе архитектора. Андрей Воронихин чертил планы, рисовал довольно верно комнаты, плафоны растреллиевского дома, а как-то набросал портрет Ромма, его лицо без улыбки, его длинную блузу, в которой он ходил по утрам и давал им объяснения по математике. Потом Андрей приказал развесить все картины, висевшие в комнате, и обозначил места. Старик не возражал, но и только.

Старик Строганов в эти дни был тревожен.

В Петербург внезапно приехал граф Калиостро. Старик, падкий на новости, слушал его предсказания и смотрел чудеса, им показываемые. Приехал Калиостро с очень красивой женой. Опыты его по превращению в золото всего, к чему он ни прикоснется, всех потрясали. Затем он объявил, что собирается строить, — ввиду того, что скоро последует конец света, — новый ковчег. Он собирался строить ковчег из пробкового дерева для спасения тех людей, которые этого захотят, а значит, и будут этого достойны. Ковчег из пробки, утверждал Калиостро, пристанет к месту где-то поблизости от Базеля. Строганов давал мудрецу на изыскания крупные деньги. Императрица Екатерина восстала и против ковчега и против опытов. Она осмеяла прибывшего в Санктпетербург спасителя в комедии, в которой вывела спасителя под именем Калифалжерстона,

объединив в этом имени имена всех знаменитых мошенников. Она выслала Калиостро. Старик Строганов был этим недоволен. Но тут неожиданно заговорил Ромм. Он оказался яростным приверженцем взглядов императрицы, ее мнения о Калиостро, и, во всяком случае, он вполне одобрял его высылку. Он был ярый враг Калиостро. Проект спасения в пробковом ковчеге расчитан на слабых. По мнению Ромма, из разновидностей врагов человечества всего опаснее слабые. Старик был поражен этим разговором. Впрочем, относительно золота, которое добывал Калиостро без всяких трудов из всех других металлов, например из меди, прикосновением рук превращая их в золото, Строганов тоже был невысокого мнения.

— Здесь чуда нет, — сказал он, — и у меня медь в золото превращается. — Он вспомнил о Кунгуре. Его медь быстро превращалась у него в золото и потом исчезала. Это круговращение ему надоело.

Сын Павел заботил его. Время теперь стало быстрее, недаром понадобился ковчег. Он попросил Ромма дать ему точное указание, что он намерен делать, как сына воспитывать и скоро ли думает он кончить это воспитание. Как бы время не перегнало.

И Ромм ответил:

— Время никого перегнать не может. Опередить может только раз.

Старику давно уже не нравилось это воспитание. Его споры с сыном все учащались. Они не то чтоб спорили, но почти не говорили друг с другом, тихо, ощерясь, выжидая. Бледное, тонкое лицо Павла было неподвижно. Старик начинал пугаться сына. Он его не понимал. Мальчик воспитывался без матери — ее дурное поведение, всем известное, вызвавшее толки, став-



шее известным императрице, было причиной этого. Он как чумы боялся разговора о чувствах. Поэтому он и нанял воспитателем Ромма. Ромм сказал ему, что чувство воспитывать не берется, да это вряд ли и возможно, а берется сопровождать Павла до тех пор, пока не воспитают в нем разума. Разум — закон — справедливость. Так называемые чувства могут воспитать маркизы, а он, Ромм, для этого прост. Он математик, и самое краткое расстояние между двумя точками есть линия прямая. После предварительного обучения надлежит путешествовать и осмотреть места, с которыми Павел будет связан, наконец, поехать за границу на четыре года.

Он был недоволен Павлом и сказал Ромму:

— Мальчик не имеет чувства меры. Как, впрочем, и другие.

Но Ромм, удивленный тем, как побледнел Павел, когда он сказал о рабстве при уходе Акулины, сказал Павлу: «Катон брал в воины только тех, кто от гнева краснеет. Он не принимал в военное звание тех, кто от гнева бледнеет. Вы сегодня побледнели. Итак, вы не бледнеете от гнева или не будете воевать. Катон это знал: он сам воевал».

3

Ямщик гнал. Они неслись по незнакомым местам. Павел сидел, подавшись вперед, неподвижно. Ямщичья гоньба была свирепая. Обвинские кони были горячи без удержу. Андрей Воронихин вдруг сказал ямщику:

— Загонишь.

Ямщик, не оборачиваясь, ответил:

— Не уймутся, толстоногие.

А на вопрос Павла объяснил: он их гонит, чтобы сами унялись, — иначе не уймутся.

Ромм равнодушно глядел по сторонам и спросил: почему все деревья отмечены здесь топором? И кучер объяснил неохотно, что это знаки, затесы, железные, что так метят здесь железо, руду: где копать.

— Железо железом метить. — И указал кнутом на одну: моя засека. В самом деле, невольная гоньба унялась. — Теперь смиренные, — сказал ямщик. — Здесь руду роют, железо делают.

Они ехали шагом, молча.

Вдруг ямщик запел.

Павел сидел как завороченный.

Так ямщики не пели раньше, до этих мест.

Ходит царь вокруг Нова-города



Это был ящик заводской, с очерских заводов.

Павел на каждом повороте делал движение. Он не мог усидеть, порывался прыгнуть. И спокойный, молчаливый сидел рядом Андрей Воронихин, родом из здешних мест.

Кони стали.

Очер.

С утра он ходил по Очеру.

Пылали кругом печи, большие и малые.

Он видел руду разных цветов — от бурого до розового, видел, как вмести земли появляется брус железа.

Раз на реке Очер видел он игралище. На телегах, под парусными пологами молчаливый бородач торговал пряниками. Скалистый берег с каменной подушкой был молчалив, как Андрей.

Ночью Андрей Воронихин бродил у реки.

Высокие выступы его привлекали. Земляные валы казались сделанными каким-то мастером. Может быть, это так и было в древности.

Мастеровой здесь занят был чугунным литьем. Он к утру кончал лепить из глины свое зверье: волка, куницу, горностая. Всмотриваясь острым и недоверчивым взглядом, он сказал Андрею: «Отойди. Ты мне застишь».

И Андрей отступил. Мастерового звали, как его, также Андреем. Он заливал чугуном до краев глиняные грубые фигурки, которые разлетались.

— Чугунное литье, — говорил он недоверчиво.

Уже были готовы волк, куница, горностаи. Других он не готовил.

Ромм внимательно посмотрел на волка, куницу, горностая.

— Кто это?

Вечером он сказал:

— Вскоре здесь появится разум.

Ночью Павел слушал уральского соловья. Потом он увидел рядом четырехугольную голову Ромма. Ромм тоже не спал, тоже слушал уральского соловья. Потом он сказал Павлу:

— Эти птицы безумны. Разум никогда их не коснется. Они потому и лишают нас сна.

Ромм писал вечером обо всем, что видел, что застал и что признавал необходимым изменить и для чего. Когда они уехали, он взял с собой объемистую тетрадь. В Петербурге он еще трудился над тетрадью и иногда обращался с вопросами к Воронихину и Павлу. Наконец он отдал старику Строганову большую рукопись, озаглавив ее «О том, что сделать надлежит и что надлежит утвердить и упразд-

нить». Упразднить, по его мнению, надлежало нравы заводской полиции, утвердить надлежало Андрея как главного испытателя руды, не настаивая на его занятиях гоньбой. И наконец, о препятствиях — отдел краткий, который кончался личным письмом старому Строганову. Старик отнесся к тетради внимательно, но сказал, что все сие сообщит заводской полиции для руководства. Перед тем как они поехали в Париж, у них была беседа, и после этого Ромм более ни о чем не говорил. Роммовское описание осталось лежать на столе.

Павел уезжал на четыре года.

Ромм был уверен, что этого времени достаточно для того, чтобы достичь разума.

Ромм писал вечером о всем, что видел. У него выросла большая тетрадь. Он написал обо всем, что думал и видел, с тем чтобы Павел ознакомился со своими землями. Да, Павел запомнит Очер. Он запомнит его навсегда.

4

Клуб «Друзей закона».

Павел Строганов каждый день к вечеру отправлялся в этот длинный приземистый дом, где собирались граждане. Сегодня собрание клуба «Друзей закона» шло особенно живо. Говорил широколобый адвокат из Араса. Оратор говорил речь о торжестве разума и о том, что бытие верховного существа охраняется друзьями закона. Павел записывал точно и дал оратору расписаться. Оратор расписался: Максимилиан Робеспьер. Павел скрепил подписью: Очером?

Отчего он назвал себя Очером?

Может быть, оттого, что внезапно вспомнил в этом длинном четырехугольном зале очерские здания, где делали железо? Или потому, что был

ранний час, как тот, когда они приехали в Очер? Или просто в такой час нужно быть с родным человеком? Воронихин невозмутимо рисовал для памяти здания, лица патриотов, дома не бывал. А он испытывал потребность быть не одному в этот час. И он взял для этого не имя человека, а имя места — имя близкое, надежное. В этом месте делали железо. И он стал гражданином Очером.

— Гражданин Очер! Вы еще любите запах мускуса?

— Я люблю его — это запах новобрачных.

— Гражданин Очер! Забудьте его! Это запах врагов.

Попрыскавшись мускусом, они бродят по Парижу и ждут часа. Патриоты прозвали их мускусными, мюскаденами.

— Гражданин Ромм, мускус более для меня не существует. Я презираю запах мускуса.

— Гражданин Очер, знаете ли вы, что новый календарь мною закончен. Вы помните, как в Очере вы сказали мне, что дышите впервые? Что вы ранее не понимали, что значит дыхание?

— Я помню это, гражданин Ромм.

— Таково первое наслаждение свободой и родиной, гражданин Очер. Новый календарь уже был тогда мною подготовлен в вашем доме наполовину. Какой у нас месяц?

— Гражданин Ромм, у нас месяц сентябрь.

— Я еще до конца декады предложу патриотам принять новый календарь. Сентябрь — октябрь — это виноградный месяц вандемер. Потом будет туманный месяц — брюмер, а следующий — месяц инея — фример, потом снежный месяц — нивоз, месяц ветра — вонтоз, дождя — плювиоз, месяц посева — жерминаль, луговой

месяц — прериаль, цветочный месяц — флореаль, месяц, дающий тепло, — термидор, дающий жатву — мессидор, дающий плоды — фрюктидор. Что называлось августом. Вы не расстаетесь, гражданин Очер, с месяцем двуликого Януса — январем. С месяцем Марса — мартом, месяцем Юлия Цезаря — июлем. Готовы ли вы проститься с двуликим Янусом?

— Я уже простился. Презираю двуликого Януса, гражданин Ромм.

5

Старик Строганов написал русскому послу о сыне. Пора было вернуть его. И в самом деле, было пора, можно было даже легко запоздать. Императрица по просьбе кума послала его быстрого сына в деревню. Лишенный возможности жить в столице, он там жил тихо в деревне и смиренно. Между тем шли большие годы.

Екатерина скончалась, император Павел мелькнул, чтобы наполнить мир рассказами. Настало царствование Александра I.

И в первое же время царствования он послал за Павлом Александровичем Строгановым. Гражданин Очер стал ближайшим сотрудником, советником Александра I в первые годы его царствования. Он был одним из ближайших к нему членов негласного комитета. И там однажды, в эти первые годы, когда все еще было молодо, незрело, а император еще и не думал о монахах, у которых стал искать совета и руководства только под конец, — и вот однажды Павел Строганов сказал в негласном комитете речь, которая многих поразила. Это была горячая речь. Строганов призывал не бояться, не беречься дворян. Он говорил о том, что дворяне не ре-

шатся на открытое выступление против императора, что они предпочтут желать зла в тишине. И Строганов умолял Александра Павловича пренебречь дворянами и опереться на крестьян, крестьян, которые удивят мир своими талантами, ибо, по мнению Павла Александровича Строганова, именно таланты крестьян, а не дворян находятся в основе будущей жизни. Следует немедленно дать крестьянам свободу. Надо дать почувствовать крестьянам, сказал Строганов, почувствовать наслаждение свободой и собственностью — и сделать это тотчас. К концу этого года вдруг заговорят о новых талантах. Нужно запретить распоряжаться крестьянами без земли. Они от земли неотторжимы.

В жизни Строганова — хотя крестьянской свободы, от которой он ждал чудесного роста народных дарований, он не дождался — случилась еще одна пора, когда он снова встал во весь рост, рост гражданина Очера.

И лучшие мысли своего века, и имя родины, и любовь к ней он пронес еще раз, на этот раз в войне, в той народной войне с захватчиком, которого он ненавидел. Ненавидел двойной ненавистью, кровавой: и за свое время и за свою родину.

Наполеон напал на русскую землю. Как человек своего времени, он поклялся уничтожить завоевателя, стереть след его. Как гражданин Очер, чтобы больше не тревожил слуха, не тревожил звук его имени. Потому что не мог человек, носивший благородное простое уральское, русское имя Очера, имя северное, горное, простить тому, забыть о том, кто презрел человечество в его благородных надеждах.

А как Строганов Павел Александрович, он стал генералом победной рус-

ской армии в 1813 году, продолжал вести войну с Наполеоном, добиваясь его уничтожения. Он был человек храбрости, ни перед чем не склоняющийся.

Он воевал с Наполеоном начиная с 1805 года и был на полях больших битв. У русского воспитанника Ромма — последнего монтаньяра — началась походная жизнь. У него была ясная цель. Он ненавидел Наполеона. Он странствовал по полям битв, добиваясь упорно одного. Волонтером пошел он в действующую армию. Отныне для него существовала только военная служба... Он был в Бородинском сражении, в Лейпцигской битве народов, был при покорении Парижа. Наконец, воевал вместе с сыном Александром. Молодой Александр напоминал ему его собственную молодость. Как военный и только военный — сражался рядом с ним его сын. Победоносный двенадцатый год прошел, миновал. Гражданин Очер продолжал войну.

При французском месте Краон шел жестокий бой. Пятнадцать тысяч русского войска под командой генерал-лейтенанта Павла Строганова сражались против пятидесяти тысяч неприятелей. Он не видел сына — сын был на левом фланге. Бой кончался. Пятидесятитысячная армия Наполеона дрогнула перед трижды меньшей русской. Еще мгновение — и победа Краона решила кампанию.

И он стал искать сына. Сыну исполнилось уже 19 лет. Он хотел сказать ему после боя, что теперь они всегда будут вместе — молодость прошла, а его начиналась.

Сегодня был бой, которого с Бородина не было в мире. И он искал сына, который должен был быть неподалеку, на самой опушке леса.

Но уж искали его.

Его проводили к месту, где был его сын. И после этого он передал команду сражения, которое кончилось громкой, блистательной победой. Сын его был убит. Нет, он был уничтожен. Шальная граната оторвала ему голову. Его борьба кончалась, но кончалась победой. Ненавидный Наполеон был сметен с лица земли. И так как война дала победу, он до конца остался военным.

Гражданин Очер знал все, что нужно. Он любил, как воевал, — до конца.

Последний рассказ Юрия Тынянова

«Гражданин Очер» — последний рассказ Юрия Тынянова. Он был написан им незадолго до смерти, в 1942 году, в Перми, где писатель находился в эвакуации. Но замысел рассказа возник на много лет раньше, еще в 1930 году. Первоначально Ю. Н. Тынянов собирался написать на эту тему пьесу: «Овернский мул, или Золотой напиток». Его привлекла необычная биография графа Павла Строганова. Сын русского вельможи, он был воспитанником философа-революционера Жильбера Ромма, вместе с которым принимал участие в событиях Великой французской революции. Затем он был одним из «молодых друзей» Александра I в период его либеральных увлечений, а в годы Отечественной войны с Наполеоном — одним из боевых и талантливых генералов русской армии, дошедшей до Парижа.

Участие Павла Строганова и Жильбера Ромма, знаменитого члена Конвента, якобинца, автора «революционного календаря», в событиях Великой французской революции должно было стать основой пьесы «Овернский мул, или Золотой напиток». Со свойственной ему тщательностью Ю. Н. Тынянов в течение

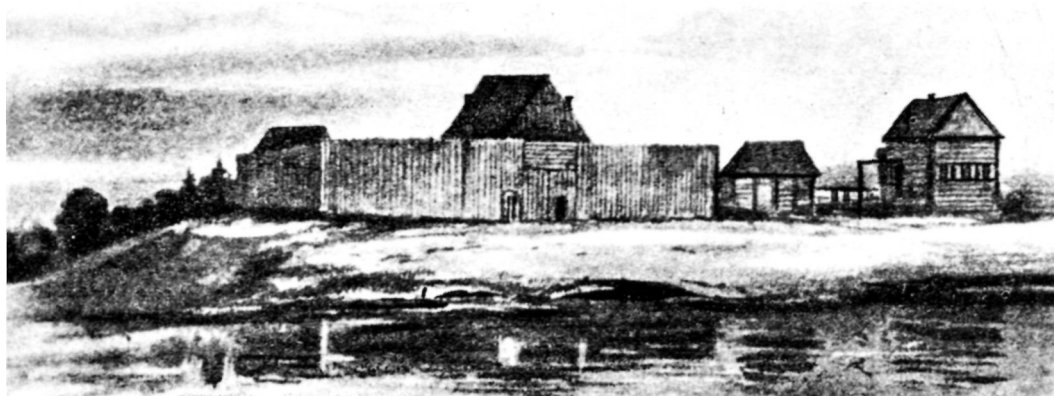
рада лет собирал материалы для пьесы, де-лая многочисленные выписки из первоисточников, прежде всего из работ и выступлений Ж. Ромма, разыскивал сведения о его пребывании в России у Строгановых.

Сохранилось либретто пьесы, в котором намечены ее основные мотивы и события. В этом либретто значительная часть действия повести происходит во Франции. После путешествия по заводам Строгановых для завершения воспитания Павла он вместе с Роммом и крепостным Строганова — Воронихиным отправляется во Францию, где сближается с Теруань де Мерикур. Под именем «гражданина Очера» (название уральского завода Строгановых) Павел Строганов делается секретарем клуба «Друзей закона», а затем вместе с Воронихиным вступает в международное объединение, возглавляемое Анахарсисом Клоотцем, — «Род человеческого». Вызванный по доносу русского посла в Петербург, Строганов принужден покинуть Францию. Ромм остается в одиночестве. За исключением некоторых побочных линий, этот же сюжет лег и в основу рассказа, писавшегося по памяти через много лет. В рассказ не вошла история уральского рабочего Егора Берлогина, ездившего со Строгановым во Францию и принятого там за Ромма, на которого он был похож. Не вошли события, связанные также с отношениями Строганова с Теруань де Мерикур, эпизод женитьбы Ромма на вдове солдата, павшего за родину, намечавшиеся как отдельные мотивы пьесы. Ю. Н. Тынянов писал рассказ в самые тяжелые месяцы войны, и фигура Павла Строганова привлекала его не только в качестве участника революции, но и как русского патриота, героя Отечественной войны.

«Гражданин Очер» написан тяжело больным, прикованным к постели писателем в условиях походной, гостиничной жизни. Собранные для этой темы обширные материалы, выпис-

ки, книги остались в Ленинграде. Это в известной мере отразилось на рассказе, черновик которого написан большими угловатыми буквами уже плохо слушавшейся рукой писателя. Один из вариантов рассказа был продиктован им жене, Е. А. Тыняновой. Эта рукопись сохранилась в бумагах Ю. Н. Тынянова, переданных лишь недавно в Центральный Литературный архив его дочерью. Однако и в этом рассказе мы найдем великолепные портреты — старика Строганова, Жильбера Ромма, написанные с присущими Ю. Н. Тынянову мастерством и уверенностью. Деспотический и своенравный старик Строганов, потомок купеческого рода, «освоившего» Сибирь и Урал, владевшего несметными богатствами и десятками тысяч крепостных душ, показан со всем блеском портретного мастерства писателя. Строганов может себе позволить даже ворчать на императрицу, находиться в легкой оппозиции к бюрократическому кругу. Интересен и Жильбер Ромм, суровый, аскетический республиканец, философ, материалист, ригористически честный и преданный до конца революционной идее. Ю. Н. Тынянов стремился передать в своем рассказе характеры и идеи, характеризующие эпоху. Он глубоко проникал в самый «дух» эпохи, передавал ее своеобразие и неповторимость, самый «шум времени». Поэтому его последний рассказ, публикуемый через два десятилетия, сохранил интерес для читателей. Можно лишь пожалеть, что обширный замысел произведения, посвященного Великой французской революции, во всем своем объеме так и остался неосуществленным. В основу текста положен автограф повести, сохранившийся в архиве писателя. Главки 1, 4 и 5 даны по записи, продиктованной Ю. Тыняновым и хранящейся в Центральном Государственном Литературном архиве.

Н. Л. СТЕПАНОВ



Н. Г. Чернышевский

в Виллюйске

Публикация Г. Е. ХАИТА

Многие, очень многие в России да и за ее пределами с нетерпением ждали лета 1871 года. Тогда кончался срок каторги Николая Гавриловича Чернышевского. Но «милостью» кабинета министров он был переведен из разряда ссыльнокаторжных в разряд ссыльнопоселенцев. Ему предстояло покинуть Александровский завод в Забайкалье и отправиться в Якутскую тундру, в богом и людьми забытый Виллюйск.

Но шла неделя за неделей, а приказ о переводе не выполнялся. Властям стало известно о том, что П. А. Ровинский и Г. А. Лопатин предпринимают попытки освободить Чернышевского.

Приезжавший с этнографической экспедицией в Забайкалье П. А. Ровинский не смог ничего предпринять. Оказалась неудачной и попытка Г. Лопатина. Его арестовали 1 февраля 1871 года, через месяц после приезда в Иркутск. 3 июня он пытался бежать, но был пойман. И только после суда над Германом Лопатиным Николая Гавриловича в декабре отправили в Виллюйск. Была разработана специальная, поистине инквизиторская «инструкция наблюдения за государственным преступником Чернышевским».

Виллюйск — деревушка, по тупоумию чиновничью названная городом. Здесь в адских условиях привелось жить Николаю Гавриловичу: окна забраны решетками — как в тюрьме. Двери на ночь запираются — как в тюрьме. Днем можно выйти на улицу, но за околицу — нет. И повсюду, за каждым шагом следит опьяненный своей властью садист — унтер-офицер Ижевский. Но сей страж закона получил достойный отпор от Н. Г. Чернышевского. «Я мягок, деликатен, уступчив, — писал о себе Николай Гаврилович, — но я помню каждого, кому вздумается помять ребра: я медведь...» (Н. Г. Чернышевский, Собр. соч., т. XV, стр. 790). Испытав на себе силу Николая Гавриловича, жандарм завопил об «умопомешательстве» Чернышевского и доложил по начальству, что его поднадзорного посещают посторонние лица — политические ссыльные Шаганов и Николаев.

Это был тот самый Ижевский, в дежурство которого бежал из камеры Иркутской жандармской команды Герман Лопатин. Этого унтера приставили не случайно именно к Чернышевскому. Власти считали, что Лопатин может предпринять еще одну попытку освободить виллюйского узника. Ижевский, знавший Германа Александровича в лицо, мог бы такую попытку предотвратить.

И Герман Лопатин летом 1872 года действительно бежал из Иркутска. «Мне казалась нестерпимой мысль, — писал он генерал-губернатору Восточной Сибири Синельнико-

ву, — что один из лучших граждан России, один из замечательнейших мыслителей своего времени, человек, по справедливости принадлежащий к Пантеону русской славы, влачит бесплодное, жалкое и мучительное существование, похороненный в какой-то сибирской тущобе...» Он не скрывал, что намеревался снова предпринять попытку освободить Чернышевского.

Герман Александрович проплыл по Ангаре и Енисею 2 тысячи километров на легкой, двухвесельной лодке, но был снова схвачен. Материалы о побегах Г. А. Лопатина и доносы о свиданиях Н. Г. Чернышевского с друзьями в Виллюйске и легли в основу специального дела: «О побеге из г. Иркутска находящегося под надзором полиции коллежского асессора Германа Александровича Лопатина». Это дело упоминалось в литературе с указанием, что хранится оно в Иркутском областном архиве. Но летом 1964 года оно было обнаружено в Иркутском областном краеведческом музее (ф. 9904, оп. 1, связка 1, ед. хр. 44). И вот оно перед нами. Побег Лопатина вызвал переполох среди властей предрержащих. Генерал-губернатору Восточной Сибири предписывали: «По случаю побега Лопатина командировать немедленно чиновника в Якутск и Виллюйск для проверки надзора за преступниками и телеграфируйте в Кяхту и по дороге. Если есть карточки, то пошлите». Побег побегом, но губернатора беспокоило и то, что, несмотря на запрет, Н. Г. Чернышевский в Виллюйске встречался с каракозовцами В. Н. Шагановым и П. Ф. Николаевым, с которыми он сдружился еще на Александровском заводе. Все это послужило основанием для отправки в Виллюйск специального эmissара — адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири штаб-ротмистра князя Голицына. В «акте дознания», составленном им, говорится, что приезд Николаева и Шаганова в Виллюйск скрывали от Чернышевского, но «...на пятые сутки, сей последний случайно встретил их на улице и пошел к ним. Чернышевский в последующие

дни пребывания Николаева и Шаганова в Виллюйске каждый день ходил к ним и просиживал часа по два, по три. Во время свиданий Чернышевского с Николаевым и Шагановым он, Ижевский, находился постоянно в соседней комнате, о чем они говорили, сказать не может, так как говорили не по-русски. Затем Николаев 2 и 3 сентября снова приехал в Виллюйск, и Чернышевский, узнав о приезде Николаева, несмотря на все увещевания, ходил к нему оба дня». П. Ф. Николаев позднее рассказывал, что при встрече «...не выразив ни одним словом жалобы на свою судьбу, этот благородный человек был страшно огорчен встречей и горько жаловался на нашу судьбу» (П. Ф. Николаев, Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского на каторге (в Александровском заводе) 1867—1872, М., 1906, стр. 51).

Ниже публикуется впервые (с незначительными сокращениями) рапорт князя Голицына генерал-губернатору Восточной Сибири (листы 33—36, указ. дела):

«...Я 25-го августа отправился в город Якутск и Виллюйск, и 5-го октября, прибыв в Виллюйск, я тотчас же приступил к производству дознания о свидании государственного преступника Чернышевского с таковыми же преступниками Николаевым и Шагановым при проезде последних через Виллюйск при следовании их к указанным местам жительства. По дознанию, которое в подробности при сем прилагаю (оно повторяет рапорт, и нами не публикуется. — **Г. Ж.**) оказалось, что: Преступники Николаев и Шаганов были поставлены в Виллюйске по распоряжению тамошнего исправника на 9 дней. Причина остановки их была полная распутица. Свидание их с Чернышевским хоть и не было разрешено, но также и не было запрещено ни исправником, ни жандармским унтер-офицером, находившимся при Чернышевском. Свидание не имело ничего преступного, тем

более что до отправления Чернышевского в Якутскую область из-за Байкала он жил в продолжение 4 месяцев, помещался в одной квартире с вышеупомянутыми Николаевым и Шагановым.

Меры, указанные в инструкции Вашего Высокопревосходительства, делают невозможным побег Чернышевского из мест его содержания. Люди, находящиеся при государственном преступнике Чернышевском, т. е. жандармский унтер-офицер и два казачьих урядника, совершенно надежны и старательно исполняют данные им предписания. Несмотря же на желание и старание жандармского унтер-офицера выполнить в точности 16-й пункт инструкции Вашего Высокопревосходительства: следить на прогулках и устроить свой надзор незаметно, чтобы не придавать Чернышевскому вида арестанта, унтер-офицер не достигает цели, так как, в-1-х, по разбросанности и пустынности города Виллюйска, собирая сведения на прогулках о Чернышевском, не может быть не замеченным, а во-2-х, самое здание, в котором помещается Чернышевский, в окнах которого решетки, имеет вид острога. Запирание здания на ночь на замок и, наконец, помещение в одном и том же коридоре с Чернышевским жандарма и двух урядников ставят его в положение арестанта. Все это, сколько я успел заметить, имеет большое влияние на резко раздражительный характер Чернышевского.

Так, 5 июля в 6 часов утра Чернышевский, желая выйти на улицу, был поражен, что дверь была заперта на замок, и, рассерженный этим, пытался сломать замок угольными щипцами. Затем обратился к жандармскому унтер-офицеру и потребовал одного показать ему инструкцию и предписание, на основании которых он распоряжается подобным образом.

Получив от него отказ выполнения своего требования, Чернышевский обратился к казакам со следующими словами:

«Если это распоряжение генерал-губернатора или кого-нибудь другого из высших властей,

то я повинуюсь, но если это распоряжение только Ижевского (так зовут жандармского унтер-офицера), то не намерен его слушать». Вообще, как видно, Чернышевский, не понимая хорошенько своего положения, приписывает все распоряжения жандармского унтер-офицера лично ему и почему-то недружелюбно относится к нему и, часто выходя из себя, говорит ему дерзости. Впрочем, все вышесказанное обнимает по времени — от начала мая и до конца июня, когда, по словам исправника, унтер-офицера и урядников, находящихся при Чернышевском, сей последний был совершенно не в нормальном состоянии и раздражался каждой безделицей. С тех пор Чернышевский успокоился и живет совершенно тихо и скромно.

Но с жандармским унтер-офицером он все-таки не говорит ни слова, с казаками же очень вежлив и ласков. Из окружающих Чернышевского лиц особенно ему симпатизирующих нет, так как он почти никого не видит. В своих прогулках он заходит иногда в лавки, дева-я пустячные покупки. Также бывает иногда у казака Якова Попова, доверенного Домбровского-Бабушкина, и у вдовы чиновника Карякина, от которой получает обед. Посещает он вышеупомянутых лиц крайне редко и всегда на очень короткое время. До мая, т. е. до свидания с Николаевым и Шагановым, эти лица были по несколько раз и у него, но также на весьма короткое

время и всегда в присутствии одного из казаков.

С тех пор он больше не принимает у себя никого.

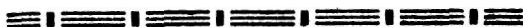
Чернышевский до настоящего времени ничего не писал. Даже по показанию жандарма и казаков, у него не было в квартире ни пера, ни чернил. Письма, отправленные им в установленном порядке, были писаны пером и чернилами, взятыми на то лишь время у одного из казаков.

За несколько дней только до моего приезда в Вилкойск Чернышевский обзавелся всем нужным для письма и объявил мне о своем намерении писать»¹.

Большую часть дня и до поздней ночи он проводит в чтении.

Из дома выходит только перед вечером и то ненадолго и всегда в сопровождении жандарма.

Место содержания Чернышевского соответствует вполне данному назначению».



¹ «Чернышевский, — писал В. Н. Шаганов в своих мемуарах, — после рассказывал, что просил Голицына сказать Синельникову (генерал-губернатору. — Г. Х.), не разрешат ли ему списаться с Петербургом, чтобы ему прислали книги для переводов, и эти переводы он мог отсылать в Петербург. Голицын категорически заявил, что это желание Чернышевского не будет удовлетворено» (Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке. Воспоминания В. Н. Шаганова. СПб, 1907, стр. 38).



Завещание писателя

(Письмо Н. Г. Гарина-Михайловского к сыну)

Публикация Г. М. МИРОНОВА

Война всегда оглушает своей страшной неожиданностью, даже если ее пророчат, ждут и к ней готовятся. 1904 год начался для России ошеломляющим известием с Дальнего Востока: «Около полуночи с 26 на 27 января японские миноноски произвели внезапную атаку на эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур». По улицам многих городов прошли подвыпившие манифестанты из рьяных «патриотов» с пением «Спаси, господи, люди твоя». На станциях под тоскливые трели гармошек и плач женщин грузились новобранцы. Участились столкновения рабочих с полицией и жандармерией; на заводских окраинах прокламации

звали выступать под лозунгом «Долой самодержавие и преступную войну!».

Мало еще кто предвидел, что новый, XX век ведет за собой грозных спутников империалистических войн — народные революции. Поздней осенью 1903 года, в самый канун русско-японской войны, известный писатель и инженер Николай Георгиевич Гарин-Михайловский закончил изыскания на трассе Южно-крымской электрической железной дороги, которую ему же и предстояло строить. «Он, — вспоминает А. И. Куприн, — нередко говорил своим знакомым, полушутя-полусерьезно, о том, что постройка этой дороги будет для него лучшим посмертным памятником и что два лишь дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченными: это — электрический путь по Крыму и повесть «Инженеры». Но — увы! — первое начинание было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе — смертью».

Нашлась для инженера Михайловского работа в далеких краях — ему было поручено составить проект и осуществить строительство воздушно-канатной дороги для русской армии, действующей в горных районах Северной Кореи. С билетом корреспондента московской газеты «Новости дня» он в конце апреля выехал на Дальний Восток. В своих очерках, составивших впоследствии книгу «Дневник во время войны», Гарин писал, что, «отправляясь в центр интереснейших событий нашей эпохи», берет на себя «большую ответственность перед читателем: быть правдивым». Обещание выполнил — его корреспонденции из Маньчжурии без прикрас рисовали кровавую драму бессмысленной войны; военная цензура редко пропускала очерки без купюр. Однако писатель, считавший, что победоносная для России кампания закончится уже к зиме, оказался далеко не провидцем — на Дальнем Востоке ему пришлось пробыть полтора года, стать свидетелем разгрома царской армии и участником вовсе уж неожиданных для него революционных событий 1905 года.

По признанию Гарина, он уезжал из Петербурга с «исцарапанной душой» — оставалась плохо обеспеченная большая семья, в которой только двое старших детей были совершеннолетними. Николай Георгиевич был в высшей степени чадолюбивым отцом, терпеливым и умным наставником; получив известие, что старший сын успешно сдал приемные экзамены в университет, отец откликнулся бодрым письмом: «Я прямо счастлив, что Сережа выдержал. Будем работать и смоем все невзгоды. Пусть какие угодно бури, но служба, перо в моих руках, и я много дам людям еще».

Дорогу строить не пришлось; прежде чем был подписан позорный мир с Японией, из России пришли вести о начавшейся революции. В конце весны 1905 года писатель получил возможность ненадолго приехать в Петербург. Он очень скоро (и правильно) разобрался в сложной обстановке борьбы политических партий. В значительной степени этому способствовало его еще более тесное сближение с Горьким. Тогда же Николай Георгиевич вручил ему для передачи большевику Л. Б. Красину крупную сумму денег (несколько десятков тысяч рублей) на нужды партии. В последние годы жизни Гарин сам нередко нуждался, умер, не оставив семье ни копейки, и похоронен был на деньги, собранные его бесчисленными друзьями по подписке, но на идейное дело писатель-демократ всегда был готов отдать последнее. Эту черту характера, как и многое другое, передал он своим детям.

В Маньчжурию Николай Георгиевич вернулся другим человеком — полным веры в скорое обновление страны, в победоносную демократическую революцию. Он с увлечением, самозабвенно работает над «Инженерами»: в заключительной повести тетралогии, по замыслу автора, должны найти отражение российские события последнего времени «с финалом всей этой эпопеи войны». Гарин способствует распространению в войсках большевистской литературы, выступает в защиту

бастующих рабочих, обращается в местной газете с воззванием ко всем русским людям, находящимся за пределами родины, призывая их «доказать свою любовь, свою преданность освободительному движению». 14 января 1906 года, когда реакция уже торжествовала победу, писатель выступил в харбинской газете «Новый край» с большой публицистической статьей «К современным событиям». С обычной своей смелостью, прямотой, решительностью Гарин заявил о своем символе веры: «Вся моя логика и все мои симпатии принадлежат социал-демократическому учению». Вся статья, по существу, мужественная и открытая пропаганда марксистского учения, социал-демократических идей, критика других партий, чуждых подлинной революционности. В гаринской страстной защите марксизма, социал-демократии не все стройно и последовательно, писатель заявляет себя сторонником эволюционного, «по возможности мирного, закономерного развития жизни», верит в «свободы», возведенные в царском манифесте 17 октября. Но при всем этом он оптимистически смотрит на будущее, верит, что грядущая победа достанется революционной социал-демократии.

В этой обстановке Николай Георгиевич пишет приводимое ниже письмо сыну Георгию — Гарю. В отличие от двадцатилетнего Сергея, студента, принявшего социал-демократическое учение (С.-Д.), 16-летний гимназист увлекся эсеровскими лозунгами (в письме — С.-Р.), а младший, Тема, в свои 13 лет объявил себя сторонником анархистов (А). В письме, посланном в обход военной цензуры, с близким знакомым, Гарин мог высказаться вполне откровенно о своих политических взглядах. Более того — он не считал возможным удерживать сыновей от участия в революционном деле. За месяц до того, как было отправлено письмо сыну, Николай Георгиевич писал жене: «Серезу и Гарю целую и благословляю на благородную работу, о которой, если живы останутся, все-

гда будет радостно вспомнить. И какие это чудные будут воспоминания на заре их юности: свежие, сильные, сочные». И тут же — указание для старшего сына, только для него — сторонника социал-демократии: «Пусть пойдет к Горькому от моего имени и спросит его, что ему делать в с.-д. партии». «За детей не бойся, — успокаивал и ободрял Гарин жену. — Мы живем в такое смутное время, и вопрос не в том, сколько прожить, а как прожить».

Письмо к сыну сильно пострадало от времени, две его части хранятся в разных архивах — в ИРЛИ в Ленинграде (фонд 69, № 4) и в ЦГАЛИ в Москве (ф. 1046, оп. 1, ед. хр. 8). В квадратные скобки заключены все недописанные или неразобранные слова, а также утраченные строки письма.

«20 января 1906 г., Джалантунь.

Милый мой, дорогой мой Гаря!

После почти трехнедельного перерыва я получил первый твое письмо. Поэтому тебе первому и отвечаю. Именно тебе отвечаю и потому, что ты затронул очень важные принципиальные вопросы жизни, которым я всю жизнь служил.

Начнем с того, что отцы не указ детям, иначе всегда тянулась бы все та же канитель в жизни от отцов к детям. И, конечно, не с целью навязывать тебе свои взгляды я пишу, а с целью дать тебе материал для переработки. Потому что решать все такие вопросы не так просто, как орех разгрызть: вся жизнь твоя впереди и вся она уйдет на это. И правильное решение будет исключительно и прямо пропорционально зависеть от твоей научной и практической подготовки.

В чем существенная разница между С.-Д. и С.-Р.?

С.-Д. на основании экономических учений приходят к строго научному выводу о неизбежности эволюции жизни и достижения конечной цели — торжества труда над капиталом.

Научность постановки вопроса и наметка

путей для достижения земного рая имеет громадное значение, и результаты налицо. А именно: это учение в период своего 40-летнего существования уже дало организованную армию в несколько десятков миллионов рабочих.

Сорганизованную, следовательно, самосознающую. Этого самосознания и связанной с ним организации до сего времени не было в мире. Но всегда были голодные и рабы. И хотя от поры до времени они потрясали мир своими громами (Пугачевы, Разины, крестьянские войны во Франции, Гракхи в Риме и сама Великая французская революция), но все это в конце концов сводилось только к вящему торжеству все того же господствующего имущественного класса.

И только с учением Маркса, с точным выводом законов жизни, явилась возможность не терять на ветер приобретенного, знать, чего хочешь, явилась копилка приобретаемых [знаний].

Факты налицо: 40 лет назад был в германском парламенте один Бебель, теперь же 80 депутатов уже из С.-Д. И они могут гордиться уже отвоеванными правами, и никто больше не сомневается, что этим путем мир уже принадлежит С.-Д.

Если мы обратимся к прошлому С.-Р., то получим другую картину. Прежде всего, во всем мире, кроме нас, их уже нет, и там они уже давно пережиток и забытый.

Но в свое время они были везде и энергично толкали буржуазную революцию вперед. Только буржуазную: даже в Парижской Коммуне 1871 года. Но без буржуазной не двигалась бы и социальная, и поэтому на известных ступенях развития общественного эта партия неизбежно необходима и роль ее более активна, чем всякой другой. И мы, плетясь в хвосте цивилизованных народов, должны более, правда, ускоренным темпом, но должны пережить то, что уже давно пережили на Западе. И в такие мгновения у С.-Р. более развязаны руки ломать барьеры, чем у С.-Д., огражденных рамками законов жизни.

Так, напр[имер]. Наш русский С.-Р., не смущаясь историей остального мира, говорит, что стоит пожелать, и рай земной наступит завтра же. Не смущается он ни законами экономической мировой необходимости, не смущается всеобщими неудачами этих попыток и говорит: «Наплевать на все, всех, все науки: у меня выйдет!»

Очень увлекательный лозунг, который легко может увлечь массы. И сами они неподготовленные, тем и легче их увлечь.

Вполне возможно торжество этой партии, как было и торжество французской революции.

Торжество это будет ужасно и террористично. Будет как метлой сметен правящий класс. Но... на другой же день после таких торжеств буржуазная жизнь войдет во все свои права, как доказал это опыт жизни, как доказывает это теория жизни — наука. И пока извилистая эволюция капитала не совершилась, до тех пор неизбежны и связанные с ним процессы.

И жизнь пойдет не так, как желают С.-Р.

И не они приведут мир к его земному раю, не они, а систематическая работа, организационная работа С.-Д. партии.

[...] Когда и мирный работник берется за оружие, то он не должен забывать, что его специальность не оружие, а наука. Иначе он уже не будет С.-Д., а будет С.-Р.

Ты совершенно прав, что в аграрном вопросе программа С.-Р., как ты говоришь, «шире» и, как я говорю, «яснее». Совершенно ясно: отобрать землю и передать ее или государству, или крестьянам.

Но здесь есть одно очень большое «но». Дело в том, что в капиталистической эволюции всего мира немислимо выделение одного кусочка земного шара и решение на этом кусочке иным способом вопросов. Или весь мир капиталистический, или весь мир социалистический. И будущий социаль[...]

[...] крупно земледельческий класс, но класс хотя бы и мелких владельцев они не уничтожат. Но, во всяком случае, их работа попутна С.-Д.

Прилагаю тебе статью, напечатанную мною в харбин[ской] газ[ете] «Новый край». Дело в том, что в глазах всех я считаюсь главарем движения. Это неправда. Известным влиянием я, правда, пользуюсь, своим богам молюсь открыто, но я не активный деятель.

Эта статья — тактическая, в ограждение здешней С.-Д. партии.

Я получил письмо от Л. М., где он описывает вас всех.

Сережа — С.-Д.

Гаря — С.-Р.

Тёма — А.

Ступеньки жизни.

Самый главный вопрос теперь — аграрный. И вместе с ним наше экономическое банкротство.

Гос[ударственная] дума могла бы эти оба вопроса решить. Земли каз[енные], кабинетские и уд[ельные], заменив две последних гос[ударственной] рентой, продать с торгов крестьянам по вольным ценам. Непременно продать, а не подарить, потому что иначе была бы несправедливость перед всеми бывшими и будущими поколениями. Никто никогда даром не получал и впредь не получит, потому что свободных земель не будет больше. Продать при помощи специальных банков с иностранными капиталами. Деньги под землю дадут за границей. Этих денег наберется несколько миллиардов, и их хватит рассчитаться как с долгами, так и для текущих нужд».

Этот поразительный человеческий документ стал своеобразным политическим завещанием Гарина — через 10 месяцев, 27 ноября, он скорострительно скончался от разрыва сердца на редакционном заседании большевистского журнала «Вестник жизни».

Незадолго до возвращения в Россию осенью 1906 года писатель просил жену вести дневник и заносить в него все о детях. «В этих маленьких блестящих каплях воды, — пишет он, — незаметно отразилась бы и сверкнула

и вся река современной русской жизни». Эту «реку русской жизни» Николай Георгиевич и сам попытался отразить по возвращении.

В неопубликованных воспоминаниях о Гарине его приемный сын Б. К. Терлецкий пишет: «...он, как сам признавался, не узнал нас, бывших теперь в возрасте 13—20 лет. Все мы, его сыновья, я и наши многочисленные товарищи, считали себя социалистами и, как вся Россия в то время, спорили по различным программным вопросам. Н[иколай] Г[еоргиевич] был поражен той искренностью, с какой молодежь относилась к вопросам революции. Он жадно присматривался к ней и сейчас же, уже за несколько дней до смерти, зафиксировал свои новые наблюдения в драматическом этюде «Подростки», списанном с действительности и явившемся первым его посмертным произведением... Н. Г. твердо верил в победу революции. С этой уверенностью он и умер».

Прошли годы, и настало время проверки жизнью, крепко ли усвоили сыновья писателя-демократа Гарина-Михайловского отцовский наказ. Ни один из них не оказался на другой стороне баррикад, разделивших революционную Россию в октябре 1917 года. До конца своих дней трудился на благо народа горный инженер Сергей Михайловский. Второй сын писателя, Георгий, незадолго до первой мировой войны поехал в Париж совершенствоваться по международному праву, оказался в вынужденной эмиграции и сумел вернуться на Родину лишь в 1946 году, где вскоре и умер. Младший сын Гарина, боевой офицер русской армии с 1916 года, отказался служить в белогвардейских войсках, ушел в Красную Армию. «Что я, с ума сошел — со своим народом, с русскими мужиками воевать?!» — отвечал Артемий Михайловский офицерам-однопольчанам, тащившим его под знамена врангелевского воинства.

Отцовская вера в народ, в революцию не угасла в сыновьях русского писателя-демократа Н. Г. Гарина-Михайловского.

Н. Ю. Барановская

**„И. А. Крылов
среди деятелей
искусства“**



В Государственном историческом музее (Москва) хранится альбом в красном сафьяне с золотым тиснением. Его страницы заполнены рисунками архитекторов Тома де Томана, Джакомо Кваренги, художников О. А. Кипренского, А. О. Орловского и других. В альбоме есть неизвестный до сих пор портрет Ивана Андреевича Крылова, одно из ранних изображений баснописца. На альбомном листе, впервые воспроизводимом здесь, И. А. Крылов изображен в окружении неизвестных лиц, которых нам удалось определить.

Слева — Петр Андреевич Кикин (1775—1834), участник Отечественной войны 1812 года, один из основателей Общества поощрения художников в Петербурге, друг многих деятелей искусства и литературы. В центре —

знаменитая трагическая актриса Екатерина Семеновна Семенова (1786—1849). Это о ней писал А. С. Пушкин в статье «Мои замечания об русском театре»: «Говоря об русской трагедии говоришь о Семеновой и, может быть, только об ней одной. Одаренная талантом, красотой, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника». Справа, в профиль — выдающийся трагический актер Алексей Степанович Яковлев (1773—1817), который, по словам Пушкина, «имел часто воспитительные порывы гения». Крайний справа — скульптор Степан Степанович Пименов (1784—1833).

По мнению искусствоведов, рисунок сделан О. А. Кипренским и относится к 1817—1820 годам.

Публикуемое ниже письмо В. В. Стасова от 14 июня рассказывает о его впечатлениях от пьесы на этой читке. Это то самое — «откровенное», слишком «откровенное» письмо», — которое упоминается в письме В. В. Стасова к брату от 18 июля 1905 г. (см.: В. В. Стасов, Письма к родным, т. III, ч. 2, с. 273—274). О знакомстве со Стасовым Горький рассказал в очерке «О Стасове» (см.: М. Горький, Литературные портреты. М., 1963). Известны отзывы В. В. Стасова о Горьком в письмах к родным, в статье «Неизлечимый» и др. Наиболее полно все отзывы Стасова о Горьком сгруппированы в статье Н. Желтовой «В. В. Стасов о Горьком» («Русская литература», 1965, № 3). Первое появляющееся в печати письмо В. В. Стасова интересно восторженным отношением к творчеству М. Горького в целом и тонкими критическими замечаниями о пьесе «Дети солнца» и рассказе «Букоем». Утверждение Стасова о том, что драматическая форма искусства не свойственна таланту Горького (высказанное им неоднократно, как это ясно из письма), принадлежит к числу поспешных и ошибочных суждений выдающегося критика. Упомянутый в тексте Батюшков — историк литературы и критик, редактор журнала «Мир божий» Федор Николаевич Батюшков (1857—1920).

Письмо К. С. Алексеева (Станиславского) от 20 июля, публикуемое далее, говорит о том большом интересе, который проявлял Московский Художественный театр к новой пьесе Горького. Общеизвестно, что уже в середине мая театр получил от писателя обещание дать МХТ новую пьесу, написанную в Петропавловской крепости. Вероятно, уже тогда Горький познакомил представителей театра с одним из вариантов еще не законченной пьесы. В конце мая Горький послал Станиславскому список действующих лиц и описание мест действия (см.: М. Рогачевский, Московский Художественный театр в эпоху первой русской революции. —

В кн.: «Первая русская революция и театр». М., 1956, с. 114—115).

В литературе упоминаются письма К. С. Станиславского к Горькому от июня и к М. Ф. Андреевой от 19 мая, посвященные «Детям солнца».

Известно письмо М. Горького к Станиславскому от 29 мая. Публикуемое письмо является продолжением этой переписки.

Почти точно в назначенный Станиславским срок — 8 августа — Горький читал пьесу артистам Художественного театра, через полтора месяца пьеса была готова, и 24 октября состоялась ее премьера. Одновременно пьесу готовил театр В. Ф. Комиссаржевской, премьера в котором состоялась ранее — 12 октября. Опасения Станиславского о сложности прохождения пьесы через цензуру оправдались. Царская цензура запретила пьесу, и только обстановка нарастающей революции вынудила Главное управление по делам печати отменить запрещение.

Подлинники писем хранятся в собрании биографа Горького Ильи Александровича Груздева, ныне покойного.

В. В. Стасов — М. Горькому

Старожиловка. Вторник 14 июня 1905

Алексей Максимович,

В прошлый четверг, шел я вечером от вас на машину, и куда что-то мямлил мне этот Батюшков (которого я просто не выношу, просто терпеть не могу за бездарность всей его натуры и за беспредельную вялость его мысли и речи), — я думал про себя: «Но что же думает сегодня про меня, да и про всех нас, вместе сложенных, Максим Горький? Наверное так: «А какой черт меня дернул всех вас созвать к себе и читать вам своих «Детей солнца»? Очень нужно было?! Тут думаешь, творишь, перегораешь как в огне, наполненный новой мыслью и чувством, думаешь — вот я всем вам приношу что-то свое, новое, нужное — се кровь моя, пейте от нее вси», а вот тут

что с ними выходит! Сидят и стоят как пни мертвые, уперлись и молчат. Вот все, чего от них добьешься! Стоило труда подавать себя, выкладывая всего себя как на блюдецке!»... Да, да, верно он так вот и думает, а это не совсем правда. Во-первых, не всегда глубокое, ненарушимое молчание — знак тупости и непонимания; тоже есть ведь и — неловкость, перед всеми выступить и публично энтузиастничать, или же, напротив, критиковать и возражать. А потом, куда же это годится, выступить вдруг каким-то обер-полицеймейстером, наблюдателем правды и порядков, настоящим «понимателем» и провозгласителем истин великих! Все это не идет, да еще на большом народе! Каждый сожмется тотчас же, каждый разом принимает решимость — промолчать, ни слова не сказать. — Так-то вот и я тогда, в четверг. Однако же, кроме нерешимости и какой-то стыдливости, есть тоже и другие мотивы в таких случаях, как в прошлый четверг. Что, как вдруг ты слышишь новинку, и на половину стоишь на стороне автора, а на другую половину — не за него!

Что тогда? Как тут объясниться, высказываться, как все тут выходит неловко и нескладно! Нет, лучше уже молчать. А то похоже становится, что ты сочувствуешь мало, а только замазываешь свое коренное недовольство и только штукатуришь свою настоящую мысль перед автором, словно милуя его. Нет, это не годится. Это недостойно ни его, ни тебя самого. Вот почему иной раз молчишь и не знаешь, что предпринять, за что взяться, с которого конца потянуть замок двери. Так-то было и со мной. Но я прочитал сейчас, в VI-м томике, Вашего Букоёмова, и все для меня тотчас же поправилось, все пришло и встало на свое настоящее место. И я вижу и чувствую ясно. Но что такое нового случилось? Чему я обрадовался? На какую такую новую дорогу я теперь вдруг въехал?

Вот на какую. Я увидел Максима Горького снова во всей его силе и мощи,

сидящего на настоящем его боевом коне, с великим и блещущим оружием в руках, разящим и низвергающим — одной рукою, строящим и водворяющим — другою. А какая картина и какое зрелище могут быть выше, как не то, где настоящий талант выступает и дает услышать свой настоящий великий голос. Эта новая Ваша вещь, Букоёмов, опять исходит из глубин настоящего таланта, настоящей правды, настоящего убеждения, как что-то невольное, неуправляемое, требующее непременно, неотложного, страстного выхода. И это должен, мне кажется, видеть и чувствовать всякий. Помните, в прошлом октябре, Вы были у нас в городе, раньше 9-го января, и крепости, и Риги, и Ялты. И я, со всегдашней своею дерзостью и непрошенностью, взял да и сказал Вам, что, по-моему, насколько велик и правдив, силен и неотразим, необходимо для всех нужен и драгоценен Ваш талант, когда Вы рассказчик и эпик жизни, настолько Вы теряете, когда вступаете на театр и становитесь драматиком. Помните? И что Вы тогда мне на это отвечали? Вы отвечали: «Ну хорошо. Может быть оно и так. Но я театр и драму люблю. Они мне нравятся. И я буду продолжать...» И, разумеется, Вы были правы, Вы были сто раз архиправы. Кому что нравится, кому что годится, то он должен делать, не обращая никакого внимания на то, что другие думают и говорят. Что, как он именно прав — то и есть, а все советчики и сообразители — врут и ошибаются! Но ведь и эти все, тоже имеют право голоса, имеют право думать и говорить. Таким правом я вот и пользуюсь и тороплюсь выражать Вам, что у меня в голове родится от Вас и от творимого Вами. Я думаю, что театр для Вас — дело не коренное, не настоящее, а надуманное, выбранное и тщательно приготовленное, и оттого в нем не может выразиться в настоящей силе и славе Ваше дарование. Ваша натура такая великая, высокая и глубокая, что все состоит, от макушки и до пяток, из правды, сущей правды и действительности, которую

вы способны выразить изумительною кистью и резцом. Значит, и в той форме искусства, которая (по моему убеждению) мало свойственна Вам, у Вас всегда будет много правды и истины. Это я и нахожу всегда у Вас и в «На дне», и в «Мещанах», и в «Дачниках», и в «Детях солнца». Сколько, сколько везде и там тоже чудесных вещей, верных снимков с жизни и живой реальности. Так как Ваша собственная, личная натура прекрасна, изящна и глубоко-правдива, то поэтому печатать всего этого крепкими и сильными чертами вырезается и на драматических ваших созданиях, — но только местами, отдельными страницами и строками. Ведь главный недостаток Вашего творчества какой? По моему понятию — недостаток архитектурного плана в творениях, недостаток внутреннего скелета, неспособность создать и сообразить фабулу. В этом, как мне кажется, Вы должны всегда биться и мучиться больше всего. А в драме — такой недостаток сущая беда, сущая погибель и крушение. Мне всегда кажется, что в Ваших драмах — все смерти, самоубийства, самоистребления, результат чисто этой Вашей малоспособности к «фабуле» и к «плану». Без такой катастрофы, непременно всегда и везде, Вы не знаете, куда деваться дальше, как разделаться с сюжетом. По Вашей коренной даровитости, у Вас и в драмах всегда есть немало истинно-верных характеров, типов, характеров, натур, обликов. Но это еще не выкупает недостатка и бедности фабулы. Так, наприм., в «Детях солнца» как верны и правдивы и Ваш ветеринар (не помню фамилии), и его сестра Мелания, и многие другие личности. Прекрасно — верно все, что говорит этот грубый, но умный и чувствующий малоросс, неповоротливый, тяжеловесный, но добродушный и острый по-малороссийски, его влюбчивая истерично сестра, Ваш Вагин — нечто в роде хорошего и милого геттингенца Ленского, но только не столько ничтожный и глупый: Ваш Вагин и в самом деле способен к юношеской прелестной поэзии, не то что

Ленский Пушкина, в которого мы должны верить в кредит: у Пушкина он ничем и ничем не доказал по части поэзии, и мы только должны на слово верить автору, что Ленский — поэт! Ваша Елена, ее муж Борис, его сестра Лиза — все типы, все типы, верные, правдивые. Но действия, действия — во всей драме — никакого. Как же быть без него? Какая же это тогда драма жизни? Настоящая жизненность проявляется лишь всего раз во всей пьесе: это сцена народного волнения, чудно и скульптурно созданная! Какой язык, разнообразный, меткий, правдивый! Это, я думаю, самое лучшее и самое важное место всей драмы. Зато, смерть малоросса, сумасшествие Лизы — как неправдоподобно, как насильственно придумано и притянуто!! От этого-то всего вместе я и был далеко не совсем доволен, от этого-то я и молчал и затруднялся начать говорить тогда. Но теперь, в настоящую минуту, я ничего не боюсь, не останавливаюсь ни перед какими протестами и нападками своими, потому что Ваш Букоемов опять переносит меня в Вашу великую мастерскую, среди групп, статуй, бюстов и барельефов, дышащих жизнью, правдою и верою в солнечное будущее человечества, невзирая на всю нынешнюю его грязь и слякоть, ужас и безобразии. Этот Букоемов — опять творение из сонма того, где то прелестными, то ужасными чертами красуются Коноваловы, Озорники, люди «Тюрьмы», «Девчонки-Дуняши» и вся Ваша великая галлерей измученных, испорченных, страдающих, но тянущихся к Солнцу людей. Новый раз говорю: Байрон и Виктор Гюго не умерли и не исчезли. И это — наше счастье. Ваш В. С.

К. С. Станиславский — М. Горькому

Эссенуки, 20 июля 1905

Глубокоуважаемый Алексей Максимович, мне пришлось телеграфировать Вам сегодня, т. к. у нас, на Кавказе, — забастовка и почта действует неправильно. Вероятно, это письмо

дойдет до Вас с большими задержками. Как дела с моими любимцами «Детями солнца»? Окончили ли Вы пьесу и когда порадуете нас ее присылкой? А может быть, — сами прочтете? Искренне веря в то, что интересы нашего театра не чужды Вам, — я беру на себя смелость познакомить Вас с нашими планами и надеждами. Мы мечтаем ознаменовать день открытия репетиционного сезона, 7 августа, — чтением Вашей чудной пьесы и немедленно приступить к ее постановке. Это сразу воодушевило бы артистов и зажгло бы их энергию. Вот было бы чудесно: приняться за Вашу пьесу с отдохнувшими силами и фантазией и работать над нею без обычной сезонной спешки!

Как убедить Вас в том, что эта работа принесет самые лучшие плоды!

Чтоб осуществить эту мечту, необходимо получить пьесу к 1 августа, т. к. до начала репетиций (7 августа) надо переписать 6 экземпляров пьесы и все роли. Эта работа берет много времени, особенно если принять во внимание то, что переписку Ваших пьес нельзя доверить простому писцу. Ее надо производить в театре, под чьим-нибудь наблюдением. Немало времени пройдет и с разрешением пьесы — в цензуре.

Случись замедление в присылке пьесы — придется совершенно изменить намеченный план работы и тратить свежие силы на менее интересную работу. Это было бы досадно и резко изменило бы к худшему физиономию репертуара и предстоящего сезона. Мало выбрать хорошие пьесы, надо уметь их вовремя показать, надо завоевать сезон, с самого начала, в противном случае, он окажется — мертвым. Вот был бы прекрасный репертуар для открытия и завоевания сезона — 1) Чайка (возобновление).

Первая пьеса редко имеет успех. Репутация же Чайки давно установлена. Публика ее ждет и просит, т. к. она снята с репертуара 4 года.

2) Драма жизни — Кнута Гамсуна.

Пьеса не будет иметь успеха, но разговоров,

К. С. А.

НАСТАВНИК ПРАВА
Д. ПАРКОВА

Генерал-майор
20 июля 1905

Много приятельств тебе отсюда
ваши Ваши сезоны, 7 к. 1 мес,
на Кавказе, забавлялись и много
уши ступили не привидеть
Видно что пьесы для детей до
Ваша с Гамсуном и задержками
Какая драма с маленькими мальчиками
Чемпион «Дети или солдаты?»
Окончили ли Вы пьесу и когда
порадуете нас ее присылкой?
Я много раз писал — сколько прочтете?
Искренне веря в то, что
интересы нашего театра
не чужды Вам, — я беру на
себя смелость познакомить
Вас с нашими планами и надеждами
и немедленно приступить к ее
постановке. Это сразу воодушевило бы
артистов и зажгло бы их энергию.
Вот было бы чудесно: приняться
за Вашу пьесу с отдохнувшими
силами и фантазией и работать
над нею без обычной сезонной
спешки!

Автограф первой страницы письма К. С. Станиславского.

споров о ней будет много. Это лучший способ, чтоб расшевелить публику.

3) Дети солнца.

Ваша пьеса попадает в самый лучший момент сезона для новых пьес, т. е. на конец октября и начало ноября. Чтобы не нарушать этого порядка — необходимо Др[аму] жизни и Вашу пьесу закончить до начала сезона.

Случись замедление, — картина изменится. Во-первых, придется репетировать Вашу пьесу во время сезона, когда вечерние спектакли утомляют и отвлекают артистов. Во-вторых, Ваша пьеса будет готова не раньше декабря. К этому времени впечатлительность публики

изнашивается и грубеет. Кроме того, пьеса не успеет пройти в сезоне желаемое количество раз.

С точки зрения интересов театра, — мы рассуждаем так: нам предстоит самый трудный и опасный сезон.

С одной стороны — публика отвлечена от театра политическими событиями. С другой стороны, — условия аренды театра и бюджет его выросли до такой крупной цифры, что приходится дрожать за будущность учреждения. Необходимо сразу завоевать сезон.

Наиболее сильная и интересная пьеса, конечно, — Дети солнца.

Вот, дорогой Алексей Максимович, наши планы и расчеты. Мне хотелось, чтобы Вы их знали и приняли во внимание.

Простите, если утомил Вас своим письмом. Ничего не знаем о Вашем здоровье и о здоровье Марии Федоровны. Надеемся на то, что Вы отдохнули за лето вместе с Марией Федоровной. Я провел лето плохо. Схватил лихорадку, которая истощила меня. Вот и сейчас чувствую недомогание. Боюсь, чтоб не вышло недоразумение с повестками. Будьте любезны — передать Марии Федоровне, что артисты собираются в Москву к 7 августа. К этому дню мы ждем ее возвращения в лоно своей семьи на вечные и вечные времена.

Жму крепко Вашу руку и целую ручки Марии Федоровне. Жена шлет поклоны.

Душевно преданный и уважающий Вас

К. Алексеев

Мой адрес: Кисловодск, гостин. «Россия» (с 25 июля — по 5 августа).

Если решите выслать пьесу, то направьте ее на имя Вл. Ив. Немиров. Данч. (он будет в Москве к 1 августа) или на имя Леонида Александровича фон Фессинга. Адрес: Камергерский пер., Художествен. театр.

Я буду в Москве 6 августа.

Будьте здоровы.

Ваш К. Алекс.

М. Ю. Барановская

Два неизвестных портрета Н. И. Новикова

В 1816 году архитектор Александр Лаврентьевич Витберг закончил первый вариант проекта храма — памятника в честь победы русского народа над Наполеоном, который намечалось соорудить на Воробьевых горах в Москве. Один из друзей зодчего, профессор медицины Московского университета Матвей Яковлевич Мудров, сообщил ему



о желании Николая Ивановича Новикова познакомиться с этим проектом¹.

Имя Новикова было известно всей образованной России. Крупнейший просветитель XVIII века, заключенный Екатериной II на 15 лет в Шлиссельбургский крепости, Новиков был освобожден через четыре года Павлом I. Нравственно разбитый и больной, жил в это время безвыездно, в большой нужде, вместе с другом — масоном С. И. Гамалея в своей подмосковной.

Здесь-то, в селе Авдотьино-Тихвинском (ныне оно Бронницкого района Московской области),

и посетил Новикова художник, «...старики, — вспоминал А. Л. Витберг, — казалось, полюбили меня... Впоследствии времени я раза два-три посещал их; в одно из посещений я просил их дозволить снять их портреты. Новиков позволил, но Гамалея я не мог уговорить»².

Карандашный портрет работы Витберга — последний дошедший до нас прижизненный портрет одного из благороднейших людей эпохи. Несомненно, он относится к 1816 году. Подлинник хранится в собраниях Государственного Русского музея (Ленинград). Среди рисунков Витберга — это единственный, считавшийся до сих пор портретом «Неизвестного».

Второй воспроизводимый здесь портрет — силуэт работы французского художника Жоржа Сидо, снятый им в Петербурге в 1770-х годах, в начале замечательной деятельности писателя-сатирика, журналиста и книгоиздателя. Уникальную фотографию с оригинала, местонахождение которого неизвестно, любезно предоставил в мое распоряжение Д. С. Айзенштадт, московский книголюб, ныне покойный.



¹ В. Л. Снегирев, Архитектор А. Л. Витберг. М.—Л., 1950, стр. 27.

² «По Бронницкой дороге верст на 50 от Москвы». Записки А. Л. Витберга. — «Русская старина», 1872, кн. IV, стр. 565. — Подчеркнуто Витбергом.



Et toi pour le moment encore en contact avec
un éditeur américain et nous attendons d'un jour
cel de New York l'après-midi, car nous voulons
traverser toute la Russie jusqu'à Toulon et au
trouée de la Côte. J'espère que notre plan réussira
et je m'en réjouis un effet moral.

Croyez, cher et grand Anatole Wassilievitch
à ma haute sympathie et reconnaissance. Votre
tout dévoué

Defan Breep

Три письма к Луначарскому

Публикация И. А. ЛУНАЧАРСКОЙ

на, инициатива провозглашен
и дружна. И Луначарский, не говоря о себе,
хорошо понимает, почему кардинал не
должен нашей интеллигенции и
на, инициатива провозглашен.

на, «Смех» одного белорусской ре
и, инициатива провозглашен. Простите,
Ваш.

Берите право и на нем не могу
верю. Выру с Луначарским и провозглашен
и невозможности.

ко право Ваш избрано белорусской.

А. Керенский

то больше сотрудничество...

И. Ленин, в том Владимир Васильевич
адвокатом и была первая публикация. По
Михайлов Французский революционер Маргарит
на Владимир на некоторое время пережил
и существовал в духе который не и са
на страна инициатива каковы админис
инициатива с целью, инициатива инициатива,
которого партии на земле французской не
оно бы существовал. Мы, инициатива, на
инициатива инициатива, инициатива на инициатива
Ваш осязая инициатива инициатива.

Инициатива инициатива? Не инициатива инициатива

А. Керенский?

Деятельность Анатолия Васильевича Луначарского была очень многогранна. Друг и соратник В. И. Ленина, член Коммунистической партии со дня ее основания, первый нарком просвещения Советского государства, он пользовался широкой известностью как философ и социолог, как историк литературы и литературный критик, как искусствовед и драматург. Он умел разговаривать с математиками на языке математиков, с геологами на языке геологов, и вызывал всеобщее удивление обилием и разнообразием специальных знаний. Его громадная эрудиция и необычайно широкий диапазон публицистической деятельно-

сти привлекали к нему прогрессивную интеллигенцию. Он поддерживал дружеские отношения и переписку со многими выдающимися деятелями русской и западноевропейской культуры.

Публикуемые письма Максима Горького, А. П. Карпинского и Стефана Цвейга — лишь незначительная часть сохранившейся корреспонденции А. В. Луначарского. Эти письма дают некоторое представление о разнообразии дружеских связей и взаимоотношений Анатолия Васильевича.

В настоящее время подлинники писем М. Горького и С. Цвейга хранятся в ЦГАЛИ, письмо А. П. Карпинского — в Московском отделении архива АН СССР. Письмо Стефана Цвейга перевел с французского И. А. Сац.

1

М. Горький — А. В. Луначарскому

Дорогой Анатолий Васильевич, а предложил Вам писать мемуары, разумеется, не потому что считаю Вас «конченным» — вопреки мнению берлинских врачей. Нет, я предлагаю это людям более молодым, чем Вы, более здоровым. Причина моей настойчивости очень ясна: история партии большевиков для нашей молодежи пища пресная, унылая и не содержит в себе главного — той «изюминки», коею был именно большевик, подпольщик, мастер революции. Мастера эти уходят один за другим. Я думаю, не нужно доказывать, как хорошо было бы, если б каждый из них оставлял для нашей молодежи автобиографию свою. Вы, конечно, написали бы блестяще.

Мне думается, что «Смех» едва ли помешает работе историко-мемуарного характера. Простите, что надоедаю Вам. Я схватил в Берлине грипп и никак не могу отвязаться от него. Сiju в Москве и раскисаю. Очень противно и возмущает. Крепко желаю Вам доброго здоровья. А. Пешков.

Наталье Александровне почтительно кланяюсь. А. П.

3.X.32.

Письмо Алексея Максимовича Горького — одного из наиболее близких Анатолию Васильевичу людей — является продолжением переписки. В первом письме на эту тему Горький просит Луначарского начать вести записи мемуарного характера. В ответном письме Анатолий Васильевич, который уже был тяжело болен и лечился в Германии, написал, что Горький, видимо, считает его человеком конченным, ибо писать мемуары пристало только людям, уже неспособным к активной деятельности. Он же надеется, что сможет еще поработать, и, в частности, собирает материалы для задуманной им книги «Смех как орудие социальной борьбы». Упомянутые письма Горького и Луначарского не опубликованы и хранятся в архиве Института мировой литературы имени Горького АН СССР.

2

А. П. Карпинский — А. В. Луначарскому

Ленинград, 10.X.1929 г.

Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич. Хотя и с большим опозданием, я чувствую большую потребность выразить Вам мою глубокую сердечную благодарность за Ваше приветливое письмо по поводу избрания Вас в почетные члены Пушкинского заповедника. Ваша литературная деятельность и Ваше литературное и в то же время собственное имя (Вы псевдонимами не пользовались) известно мне задолго до нашей революции. Я всегда считал Вас широко образованным человеком, что было отмечено и иностранными учеными, посетившими 200-летний юбилей Академии наук.

Вы являетесь единственным Народным Комиссаром, сохранившим министерский пост за все минувшие 12 лет. За время разрухи, неизбежно следующей за всякой революцией, Вы с самого начала Октябрьской революции приняли меры к сохранению ученых учреждений и прежде всего Академии наук, что вполне соответствовало и намерениям В. И. Ленина, в чем Академия впоследствии

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ЛЕНИНГРАД

. 10. - X - 1929 г.

Глубокоуважаемый
Анатолій Васильевич.

Ноты и с большим отзвучием, я чувствую большую потребность выразить Вам мою искреннюю сердечную благодарность за Ваше приветливое письмо по поводу обращения Вас в почетные члены Общества Пушкинского Зинковедника.

Ваша литературная деятельность и Ваше литературное и в широкой мере общественное имя (в псевдонимам не поддается) известно мне задолго до нашей Революции. Я всегда считал Вас широко образованным человеком; это было отменено и многогранным ученым, посетившим 200-летний юбилей Академии Наук.

Афанасий Цвейг (отвернул)

17. Juli 1921

Très cher e grand Anatol Lunatscharli, je vous remercie infiniment pour votre lettre et je vous promets de faire tout mon possible pour lancer le livre ma Nestis en Allemagne et d'écrire une préface. Et comme je vous remercie de vouloir être le promoteur de mon livre en Russie; j'en suis fier et heureux!

Je vous interviens peut-être que j'ai l'intention de venir en Russie pour deux mois ensemble avec mon ami le grand dessinateur Belge Frans Masereel; nous voulons faire ensemble un livre avec dessins qui paraîtra dans toutes les langues et sera — vous connaissez notre point de vue — bien différent de ce que les journalistes de bas ordre proposent en bande et mesange, un livre journalistique. Masereel est l'homme né pour faire les dessins et je parlerai aussi de faire nous deux

ко неблагодарны, чтобы не чувствовать к Вам особой признательности.

Глубоко уважающий Вас и искренно предан-

А. Карпинский.

Крупнейший русский геолог, ученый с мировым именем Александр Петрович Карпинский (1846—1936) был президентом Академии наук с 1916 по 1936 год. Его письмо — свидетельство признания заслуг Анатолия Васильевича как политического деятеля и ученого старой русской интеллигенцией. Через три с половиной месяца, 1 февраля 1930 года, Луначарский был избран действительным членом Академии наук по специальности история литературы. Он был первым ученым-большевиком, избранным в Академию наук.

На торжественном заседании, посвященном 200-летию Академии наук, в 1928 году А. В. Луначарский произнес речь о значении науки. Народный комиссар просвещения начал ее по-русски, продолжал на немецком, французском, английском, итальянском языках и закончил классической латынью.

Утверждая, что Луначарский не пользовался псевдонимами, А. П. Карпинский имеет в виду труды, посвященные художественной литературе. Многие политические статьи Луначарского подписаны псевдонимами.

В мае 1794 года был казнен великий французский химик Лавуазье.

3

Стефан Цвейг — А. В. Луначарскому

17 июля 1931. Зальцбург (Австрия)

Дорогой и уважаемый Анатолий Луначарский. Я бесконечно благодарен вам за письмо и

обещаю сделать все возможное для того, чтобы выпустить в Германии книгу о Бейлисе и написать к ней предисловие. А как я благодарен вам за желание помочь моей книге в России: я горд и счастлив! Вам, может быть, интересно будет знать, что я собираюсь приехать на два месяца в Россию вместе с моим другом, известным бельгийским художником Франсом Мазереелем; мы хотим сделать вместе книгу с рисунками, которая выйдет на всех языках и будет — вы знаете нашу точку зрения — резко отличаться от стряпни низкопробных журналистов, полной лжи и ненависти, — книгу документальную. Мазереель — человек, созданный для таких рисунков, я тоже постараюсь сделать все, что могу.

В настоящее время я еще веду переговоры со своим американским издателем, и мы ждем материальной поддержки от одного нью-йоркского журнала, так как хотим проехать через всю Россию до Туркестана и до китайской границы. Надеюсь, что план наш осуществится, и уверен в его моральном эффекте.

Верьте, дорогой и уважаемый Анатолий Васильевич, моей искренней симпатии и признательности. Преданный Вам

Стефан Цвейг

Имеется в виду исследование советского юриста А. С. Тагера о процессе Бейлиса. Опубликование этой книги в Германии Луначарский считал полезным для разоблачения фашистской антисемитской агитации.

Книга С. Цвейга «Борьба с безумием» (о Гёльдерлине, Клейсте и Ницше) выпущена в русском переводе издательством «Время» с предисловием Луначарского в 1932 году.



Варфоломей Зайцев... Мало кому знакомо это имя сегодня.

А между тем столетие назад, в шестидесятые годы прошлого века, он был наряду с Писаревым властителем дум молодежи. Его статьи расхватывались и читались, как некогда статьи Белинского. Вокруг его выступлений кипели споры.

«Русское слово» было также невозможно без Зайцева, как оно невозможно без Писарева». «Цвет, ширь, полет и яркость журналу давали Писарев и Зайцев, этот второй замечательный сотрудник «Русского слова». В этих словах Н. В. Шелгунова, современника и со-

Варфоломей Зайцев в „Общем деле“

Публикация Ф. КУЗНЕЦОВА

ратника Зайцева, достаточно ясно определены роль и значение этого нынче забытого критика и публициста в литературе шестидесятых годов.

Далеко не все в творчестве Варфоломея Зайцева выдержало испытание временем. Современному читателю покажется странным его антиэстетизм и упрощенность оценок многих писателей. Но Варфоломей Зайцев близок нам яркой революционностью своих гражданских убеждений, той последовательностью, с которой он вел борьбу за освобождение родины от гнета крепостничества и самодержавия.

Революционный пафос творчества Зайцева — это то, что было главным, определяющим в его деятельности как в шестидесятые, так и в семидесятые годы, и мимо чего прошли немногочисленные исследователи его творческого наследия в наше время.

Если работа Зайцева в журнале «Русское слово» хоть в какой-то степени исследована нашей наукой, то его деятельность в эмиграции, куда он уехал в 1869 году, вовсе осталась вне поля зрения исследователей. Между тем и в эмиграции Варфоломей Зайцев продолжал свою деятельность революционного публициста, защищая наследие шестидесятых годов. В его статьях этого времени, публиковавшихся в бесцензурном журнале «Общее дело» (Женева), полностью выявилось мирозерцание революционного демократа-шестидесятника. В Институте Маркса — Ленина хранится комплект «Общего дела», где рукой его редактора шестидесятника А. Христофорова помечены авторы большинства статей журнала. Это дает нам возможность установить более восьмидесяти работ, принадлежащих перу Варфоломея Зайцева. Статьи его в «Общем деле», написанные с блистательным талантом, свидетельствуют, что публицистический дар молодого журналиста не угас — напротив, только в бесцензурной печати революционный демократ Зайцев мог в полную меру быть самим собой. Они подтверждают справедливость слов

одного из современников Зайцева, знаменитого русского ученого И. И. Мечникова: «Грустная судьба наших писателей. Будь произведения Зайцева писаны по-французски, вся Европа, наверное, восхищалась бы ими. Ведь многие из вещей его, писанных в последнее время, будь они писаны во Франции, цитировались бы как образцовые памфлеты, вошли бы в хрестоматию; писанные по-русски, они прочтутся с наслаждением десятками, с равнодушием сотнями, со скрежетом зубным тысячами». Недаром Зайцева в семидесятые годы называли «русским Рошфором».

Мы предлагаем вниманию читателей три статьи Варфоломея Зайцева из «Общего дела»: «Наш и их патриотизм» (№ 9, 1877 г.), «Неистовый холуй, или Манифест лакеизма» (№ 4, 1877 г.) и «Русская революция» (№ 33—34, 1880 г.). Статья «Наш и их патриотизм», которую сам Варфоломей Зайцев считал одной из лучших и самых дорогих для него статей, посвящена русскому славянофильству и его реакционной роли в пору семидесятых годов. Эта статья сегодня может показаться спорной по той бескомпромиссности, с которой Зайцев перечеркивает русское славянофильство, — ведь на первых порах, в сороковые годы, оно, конечно же, не было равнозначно официально-реакционной идеологии Погодина и Шевырева. Но речь в статье идет о славянофильстве куда более позднем, о славянофильстве семидесятых годов, когда не сохранилось и намека на какую бы то ни было оппозиционность его самодержавию.

Памфлет «Неистовый холуй, или Манифест лакеизма» с характерным подзаголовком «Попурри из российских публицистов» продолжает традиции его сатирических обзоров «Перлы и алмазы русской журналистики», которые он вел в «Русском слове», и разоблачает холуйство охранительной прессы семидесятых годов. И наконец, «Русская революция» — статья, в которой шестидесятник Варфоломей Зайцев выражает свое от-

ношение к подвигу «Народной воли». Как показывает его переписка с Н. А. Морозовым, эту статью он писал для нелегального органа «Народная воля» и передал ее Морозову через С. Кравчинского. Но «Народная воля» в это время не выходила, и Н. А. Морозов передал статью в «Общее дело».

Наш и их патриотизм

Французская революция своим девизом «Свобода, Равенство, Братство» выразила противоположность открытой ею новой эры прежнему порядку Рабства, Каст и Человекоубийства. Что бы ни говорили пессимисты, она разрушила этот порядок, хотя и не осуществила своего идеала. Ее дух прошел по всей Европе и везде повалил старое варварство, гнет и насилие. Пройдя через Германию, он дошел и до России и воплотился в декабристах. Но отдаленное веяние его здесь было уже слишком слабо, чтобы поколебать тысячелетний византийско-монгольский строй. Дикий произвол, основанный на смешении идей византийских богословов с идеями придворных Чингис-хана, задушил в рудниках Сибири принцип новой цивилизации и устами торжествующего победителя Николая провозгласил свой девиз: «Самодержавие, Народность, Православие».

Эта формула варварства не замедлила осуществиться: самодержавие выразилось ссылками, поркой и подавлением всякой мысли; народность — китайской стеной, которую тиран обвел Россию против зловредных веяний европейской жизни; православие — гонением на раскольников и униатов.

В эти роковые времена, к вечному стыду нашего общества, в нем явились люди, не заклеянные официальным служением тирании, по положению независимые, не лишены ни способностей, ни образования, и добровольно поклонились палке, которая их была, признали богом Навуходоносора¹ и выступили на защиту его формулы: «Самодержавие, Народность, Православие».

Их прозвали славянофилами², и все, что было в России достойного имени человеческого, отвернулось от них с негодованием и презрением. Действительно, многим народам пришлось переживать времена тиранических реакций, когда все замолкало и замирало под безграничным гнетом. Но по крайней мере это было молчание полное и гробовое, само по себе служившее красноречивым протестом, интеллигентные представители общества не нарушали его славословием в честь своего позора. Каждый раз, как гнет немного ослабевал, русская мысль в своих лучших представителях протестовала против этого мракобесия. Так было в сороковых годах, в эпоху Белинского, и в шестидесятых, в эпоху Добролюбова. Красноречие и логика Белинского, убийственный сарказм Добролюбова, казалось, избавили навсегда русскую интеллигенцию от зловредного гриба славянофильства, выросшего на ней под влиянием миазмов рабства. Письмо Белинского к Гоголю по поводу Переписки с Друзьями и «Мертвое царство» Добролюбова должны были, казалось, загнать это порождение мрака с те подонки литературы, которые составляют область Погодиных³ и Аскоченских⁴.

Но со смерти Добролюбова над Россией прошли 16 лет самой безумной, самой свирепой,



¹ **Навуходоносор** — вавилонский царь, который изгнал из Палестины и Сирии египтян. Сирийские князьки пытались продолжать сопротивление Навуходоносору, но эти попытки закончились взятием Иерусалима и вавилонским пленом евреев. Имя его, как разрушителя Иерусалима, было предметом ужаса и отращения.

² **Славянофилы** — представители одного из направлений русской общественной мысли середины XIX века. Пафос их деятельности заключался в идею особого исторического пути России, принципиально отличного от пути развития европейской цивилизации и исключавшего возможность революционных переворотов в России.

³ **Погодин М. П. (1800—1875)** — писатель, публицист, историк. В 1841—1856 годах издавал журнал «Москвитинин», где развивал провозглашенную министром народного просвещения Уваровым формулу «Православие, самодержавие и народность».

⁴ **Аскоченский М. И. (1813—1879)** — реакционный публицист и писатель, издававший прославленную своим крайним обскурантизмом газету «Домашняя беседа».

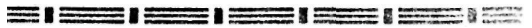
самой взбалмошной реакции — эпоха муравьевщины¹, треповщины², эпоха системы воспитания Толстого³, эпоха Александровских реформ. И после этих 16 лет, когда все живое убито, когда всем, кому есть что сказать обществу, надеты намордники, когда человеку мыслящему в России остались только два выхода, два пути — на восток, в Сибирь, и на запад, в эмиграцию, когда смолкли голоса правды, чести, разума, — что видим мы торжествующим, ликующим и тон задающим на нашей общественной сцене? Славянофильство!

Галилеянин в поддевке и мокроступах, человек Православия, Самодержавия и Народности, ты победил! Стало быть, ты был та шапка, которая по голове нашему Сеньке. Стало быть, минутное увлечение Сеньки Белинским и Добролюбовым, идеями чести и прогресса было бессознательной дурью, свойственной этому оглашенному!

Двадцать три года прошло со смерти Николая, но николаевщина царит теперь над нами больше и могущественнее, чем при жизни его. Тогда она владела нашими телами, теперь царствует над умами. Целая литература, целое умственное движение вопит нам благим матом с утра до ночи девиз Николая: «Самодержавие, Православие, Народность!» Она ликует и торжествует, чувствуя себя силой, она раздает патенты гражданственности и проклинает как народоотступника всякого, кто отвергает принципы кнута и держимордства.

Это ликующее гуннство так опоганило слова «народность» и «патриотизм», что самый искренний, самый узкий и односторонний человек пугается их и готов отречься от законнейших пристрастий и искреннейших симпатий человека. Множество людей, в душе самых горячих патриотов, готово лучше прослыть турко- и англофилами, чем заподозрить себя в солидарности с Сувориным⁴. Поэтому необходимо уяснить себе, что надо подразумевать под словами, безбожно оклеветанными, «народность и патриотизм».

Есть два манера любить свой народ и свое отечество. Первый манер любить его так, как каждый из нас любит хорошее жаркое. На этот манер первый патриот и народолюбец в мире есть, бесспорно, царь Александр Николаевич, потому что никому от этого жаркого не достается таких сочных филеев, как ему. Поэтому никто лучше его и не может ценить достоинств этого блюда. Для него Россия и русский народ представляется в виде фазана с трюфелями, который подается ему первому с правом выбирать лучшие куски. За ним в порядке патриотов следуют генерал-адъютанты, свиты его величества генералы и флигель-адъютанты, а затем вся мелкая тля вроде Суворина, обсасывающая обглоданные косточки и вылизывающая тарелки. Мы же, люди пиршеству непричастные и взвешивающие на него с омерзением, оказываемся ненавистниками этой деликатной дичи. Этот способ любви чрезвычайно психически прост и понятен всякому идиоту, почему идиотами и признается единственно нормальным. Надо сознаться, что в сравнении с этой простотой наше народолюбие и наш патриотизм представляется вещью до того сложной, что непонимание его идиотами сопровождается для них смягчающими обстоятельствами. В нашей «любви» действительно гораздо больше ненависти, чем любви. «Добрый рус-



¹ **Муравьев М. Н. (1796—1866)** — граф, который вошел в историю как «Муравьев-вешатель». Осуществлял подавление польского восстания 1863 года, а в апреле 1866 года был назначен председателем комиссии по делу Каракозова, стрелявшего в Александра II.

² **Трепов Ф. Ф. (1803—1889)** — варшавский генерал-полицейстер во время польского восстания 1863 года, столичный обер-полицейстер после выстрела Каракозова.

³ **Толстой Д. А. (1823—1889)** — известный государственный деятель эпохи Александра II и Александра III, обер-прокурор Синода, министр народного просвещения и внутренних дел. Насаждал так называемое «классическое» образование, целью которого было «воспитание юношества в духе истинной религии, уважения к правам собственности и соблюдения коренных начал общественного порядка».

⁴ **Суворин А. С. (1834—1912)** — реакционный журналист и издатель, редактор газеты «Новое время».

ский мужичок» наших мокроступов, восхваляемый ими, как вкусное кушание, не возбуждает в нас никакого аппетита и сопряженного с ним к нему сладострастия; мы его бесконечно жалеем, как объект вожделений мокроступов, и эта жалость возвышается до степени любви, но не мешает нам проклинать далеко не идеальный экземпляр человеческого рода. Берега Ледовитого моря, которыми так обильно снабжено наше отечество, возбуждают в мокроступах идеи «севрюжины», почему и воспеты ими в стихах; в нас же они возбуждают лишь грустные мысли о нашем географическом положении. Короче сказать, относясь беспристрастно к своей родине, мы видим в ней вместо сочного жаркого одну из самых обездоленных частей земного шара, населенную одним из самых забытых и отсталых человеческих племен.

И надо сказать правду: мы не имели бы никакого основания любить подобную «мерзость запустения», если бы сами телом и душой к ней не принадлежали. Но раз уж этот грустный факт существует, мы им самим вынуждены стремиться всеми помыслами и всем существом нашим к тому, что составляет насущные интересы мерзости запустения. Мерзость запустения есть лицо. Официальные патриоты заинтересованы в том, чтобы она такую и оставалась, так как и в этом виде она им представляет вкусное блюдо, снабжая в изобилии севрюжиной, морошкой и вологодскими рябчиками. Мы же заинтересованы в том, чтобы вывести родину из этого невзрачного положения. Беспристрастный человек может легко рассудить, чей патриотизм бескорыстнее и чьи стремления выгоднее для самой родины. Но для этого беспристрастному человеку надо быть умственнее выше среднего уровня читателей Суворина. Если он не выше его и вздумает судить, то что увидит он? Послушает он мокроступа; тот скажет ему, что он, горячо любя «Православие, Самодержавие и Народность», дено и ношно молится о «покорении всякого врага и супостата под ноzi царя», что испол-

нение желаний он видит в том, чтобы народ русский был освобожден от последней каровы для доставления царю возможности объединить под своей властью весь славянский мир и обратить в православие отщепенных чехов и поляков, дабы блюдо, от которого вкушает Самодержавие, не только удвоилось, но учетверилось. Желание весьма определенное и ясное.

Иное дело, если он прислушивается к голосу нашего лагеря. Пусть обратится он к тому, кого мы, люди шестидесятых годов, с гордостью называем нашим вождем, к Добролюбову. Умирая после 4 лет геркулесовой борьбы от чахотки, спасавшей его от каторги, на которую пошел друг и сподвижник его Чернышевский, он выливал всю свою душу в чудно простых стихах:

Милый друг, я умираю,
Оттого что жил я честен;
Но за то родному краю,
Верно, буду я известен!

Это ли не святая любовь? Молодая жизнь гибнет, но боец со смертной раной в груди, до последней минуты не отдающий меча, счастлив мыслью, что родина оценит его службу ей! И вдруг этот же человек пишет эти строфы, исполненные самой горькой, самой едкой насмешки:

О моя родина, грозно-державная,
Сердцу святая отчизна любимая,
Наше отечество, Русь православная,
Наша страна дорогая, родимая!

Как широко ты, родная, раскинулась,
Как хороша твоя даль непроглядная!
Грозно во все концы мира раздвинулась
Мощь твоя, русскому сердцу отрадная!

Нет во вселенной такого оратора,
Чтобы прославить твое протяжение!
С полюса тянешься ты до экватора,
Смертных умы приводя в изумление.

Ты занимаешь пространство безмерное,
Много обширнее древнего Рима ты.
Русской земли население верное
Чувствует всех поясов земных климаты.

Реки, озера твои многоводные
Льются, подобно морям, бесконечные,
Необозримы поля хлеборобные,
Неизъяснимы красы твои вечные!

Солнце в тебе круглый год не закатится,
Путник тебя не объедет и в три года,
Пусть ямщикам он на водку потратится,
Только лишь откупу будет тут выгода!

**Неистовый холуй,
или Манифест лакеизма
(Попурри из российских публицистов)**

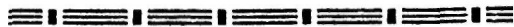
— Да, положи руку на сердце и взяв православного бога в свидетели, мы громко и торжественно объявляем: мы холуи и гордимся этим! Холуй — это тип православных и императорских добродетелей — смиренномудрия, терпения и любви. Эти три слова в нашем девизе заменяют свободу, равенство и братство.

Смиренномудрие! Мы ли не мудры! «Прикажи начальство, — говорил наш поэт Кукольник¹, — я завтра же сделаюсь акушером». «Прикажи начальство, — говорили в 1863 году либеральные офицеры в Польше, — мы завтра же сделаем не такое состояние». Начальство приказывает — мы душим венгров и поляков; начальство приказывает — мы освобождаем болгар и карапалахов².

Прикажут либеральничать — либеральничаем, прославляем английские порядки, осуждаем откуп и крепостное право тотчас после их отмены, сочувствуем Гарибальди³ и Гамбетте⁴, отделяем Мак-Магона⁵, громим папу, Австрию и Наполеона.

Но эта мудрость густо подернута смирением. Это смирение составляет как бы наш нравственный хвост, всегда готовый поджаться при первом признаке неугодности. От этого ино-

гда нас трудно бывает понять чужим. Начнет, например, наш публицист речь о том, что ввиду, дескать, общественных жертв на войну и появляющихся признаков необъяснимого исчезновения этих жертв следовало бы обществу присвоить контроль над правительственными лицами; в эту секунду хвост поджимается, и публицист неожиданно заключает объяснением, что контроль должен состоять в доброхотном писании доносов по начальству. И заметьте, что у нас это вовсе не сознательная палинодия⁶, а чисто рефлексивное, судорожное движение этого нравственного придатка, которого лишены умы простых смертных и которым мы поэтому справедливо гордимся. Мы беззаботно щелкаем орехи, хихикаем и играем в носки в наших передовых статьях и фельетонах. Вдруг идет барин. В одну секунду мы вскакиваем и принимаем серьезные физиономии, вовсе даже не потому, чтобы барин этого требовал, а по натуральному влечению нашей природы. Это качество отражается у нас во всем, даже в языке. Если бы случилась такая беда, что раса наша вымерла бы, она оставила бы после себя, как греки и римляне, бессмертный памятник в своем языке. Этот язык не имеет ничего общего с русским, кроме разве союзов и предлогов, и заслуживает специально изучения филологов. Какая тонкость! Мы, как известно, люди либеральные, читавшие



¹ Кукольник Н. В. (1809—1868) — русский писатель, автор реакционных, ходульно-патриотических произведений типа исторической драмы «Рука всевышнего отечество спасла».

² Речь идет о подавлении русским самодержавием национально-освободительных движений в Венгрии (1848 г.) и в Польше (1863 г.), а также о войне с Турцией в семидесятих годах, в результате которой Болгария получила независимость.

³ Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — знаменитый итальянский революционер.

⁴ Гамбетта Леон Мишель (1838—1882) — французский политический деятель.

⁵ Мак-Магон М. (1808—1893) — французский реакционный политический деятель, президент Франции в 1873—1879 годах.

⁶ Палинодия — род стихотворения в древности, в котором поэт отрекался от сказанного им в другом стихотворении.



ОБЩЕЕ ДѢЛО

Цена за номер без пересылки 1 франк.

Выходит раз въ мѣсяц въ Женѣ. Письма и корреспонденция въ редакцію принимаются. Rédaction du journal russe *La Cause Générale*, Case 470 Rue, Genève, Suisse.

Prix du numéro 1 franc.

Le dépôt légal du journal *La Cause Générale* est à Genève. Librairie GEORG, Coratelle, 10.

СОДЕРЖАНИЕ: 1) Ваше прошлое и настоящее. — 2) Свобода как двигатель общественного развития. — 3) Восточный вопрос. — 4) Русская Болгария. — 5) Размещение победоносца. — 6) Рим, провинциальный преступник. Смоленский губ. *Петров Александрович*, из суда, предъ особымъ присутствіемъ правительств. совета, 10 марта 1877 г. (Согласно вѣдомости о судахъ). — 7) Материалъ для истории и биографии при Александрѣ II. (Включеніе въ бумагахъ *Н. Д. Худякова*). — 8) Намъ сообщаютъ.

НАШЕ ПРОШЕДШЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ.

Еще въ 60-хъ годахъ, когда русское общество начало мало по малу приходить въ себя отъ восторговъ, возбужденныхъ въ немъ либеральными реформами правительства, оно поняло, что эти реформы не хотятъ принести ожидаемаго отъ нихъ плода, пока останется неограниченной верховная власть, отъ которой зависитъ ихъ существованіе. Это сознаніе послужило началомъ раздора между нѣмъ и правительствомъ, точкой раздѣла, отъ которой они направивъ къ противоположной сторонѣ, долго простирали въвысь. Правительство не хотѣло само себя ограничить; общество анало, что безъ этого ограниченія будутъ бесполезны всѣ его либеральные дары.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, и теперь мы можемъ видѣть, насколько были правы та или другая сторона. Пересчитаемъ же главные факты и посмотримъ на результаты:

Освобождены крестьяне... но крестьянскія хозяйства разстроены, а ихъ помещичьи надѣлы обременены платежами, часто преизмѣряющими ихъ доходы. При многоземельи Россія русское крестьянство жалуетса, что у него мало земли и вовсе нѣтъ луговъ и дѣса. Съ полемъ своимъ оно неживетъ одинъ источникъ и хронически страдаетъ бѣдностью, периодически голодаетъ. Войны крестьянскаго убожества и нищеты раздавались въ началѣ реформы; эти же самыя войны мы слышимъ и столько гдѣ спустя послѣ нихъ.

Устроено земство. Но земскія собранія пусты: административный произволъ парализуетъ ихъ дѣятельность, отнимаетъ у свободныхъ и честныхъ людей всякую омотъ заниматья земскими дѣлами. Здѣсь всѣ пути къ выходу изъ того, где загроможенъ, что отъсѣкаетъ всякую

онускаются у самыхъ энергичныхъ и вся ихъ работа начиваетъ или казаться толченіемъ воды.

Заведены суды присяжныхъ: задача суда обезпечить неприкосновенность личности и имущества отъ произвола, но, тамъ, гдѣ III отдѣленіе и министръ произвольно распоряжаются судьбою людей, ни личность, ни имущество не обезпечены ни чѣмъ. Для человѣка, повашагося въ лани III отдѣленія, судовъ не существуетъ; либо, оправданное судомъ, можетъ быть осуждено министерскимъ усмотрѣніемъ.

Полуотмѣнена цензура. Но легче ли живется отъ того нашей прессѣ? Комитеты по дѣламъ печати довели ее до того, что она порою выдыхаетъ даже объ этой цензурѣ по части милосердія въ послѣднее время въ комитетѣ появились такіе герои, которыми могла бы гордиться и сама цензура прошлаго царствованія. Человѣкъ, берущійся за перо, чтобы высказать какое нибудь разумное убѣжденіе, разомъ возстановляетъ противъ себя и шефа жандармовъ и комитеты и усмирительшаго министра. Въ провинціи можно писать только съ позволенія губернатора. А наши *финансы*, нужно ли говорить о нихъ теперь, когда о нихъ заговорилъ всѣ Европа? Незнакома съ ходомъ нашихъ внутреннихъ дѣлъ, она удивляется нашей бѣдностью, упадку нашего кредита, но для насъ русскихъ было бы удивительно, если бы въхъ этихъ печальныхъ дѣленій не было: тридцатилѣтняя реакція прошлаго царствованія разорила Россію, чего же намъ ожидать отъ теперешней, какъ не новаго разоренія?

Не будемъ входить въ дальнѣйшія подробности; и безъ нихъ ясно, что русскій человѣкъ по прежнему остался рабомъ верховной власти и ея слугъ. Черезъ невѣстрою ему подобаетъ нѣмоща крѣпостнаго челоѣка передъ своимъ востыникомъ, ему опасно стлкнваться и съ губернаторомъ, которому покровительствуетъ министръ, а следовательно и съ землемъ, того *губернатора* и *министръ* и съ *землемъ*

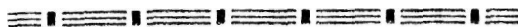


МЕСТО САТИРЫ

«Куда лезешь, воструха? Ты начальства не беспкой — осерчает. Вот твое место, в этой грязи ройся». (Карикатура Н. А. Степанова из сатирического журнала «Искра», 1865, № 36.)

Дарвина, потешающиеся над Лурдом¹ и Пио-Ноно, но когда нам приходится говорить, например, о своем умершем архиерее, который, как известно, состоит в генеральском чине, мы говорим, что он «представился» (подразумеваемая верно — высшему начальству, а впрочем, черт знает что мы подразумеваем), если же речь идет о ком-нибудь из господ, то он уже «почивал в бозе». Наши господа на нашем языке «соблаговоляют откушивать обеденного стола» и даже на смертном одре по отчету врачей «соизволяют иметь лихорадку». Одним словом, если бы собака писала о своем барине, то, конечно, писала бы не лапой, а хвостом, и слог этого хвоста чрезвычайно приближался бы к нашему. На счет терпения и говорить нечего. Это наша коренная добродетель, в которой мы за пояс заткнем всех ослов и дворяшек. Спать на ларе или на войлоке, питаться объедками, не снимать никогда сапогов, выдерживать 30-градусные морозы, стоя часы на запятках, получать затрецины, не пытаясь даже отодвинуть физиономию, — все это нам нипочем. Мы можем выдержать гораздо более трудные искусы, например, строчить ежедневно несколько газет под условием не касаться ни одного существенного интереса страны, прославлять и защищать с пеной у рта от воображаемых врагов все действия правительства, не получая за это не только субсидий, но даже простой рюмки водки, и еще подвергаясь беспрестанно нахлобучкам в виде запрещений продажи и приостановок. Нас приковали на цепь к тесной будке комитета по делам печати, кормят объедками иностранной прессы, присылая нам ее с черными заплатками на всех столбцах, и мы, бегая взад и вперед на этой цепи на пространстве пяти шагов, преисправно лаем, лаем целые дни на весь мир, справедливо почитая его целиком враждебным нашему хозяину, лаем на иностранные нации, на свою молодежь, на всякую прохожую и проезжую мысль, на которой нет клейма нашего барина. Мы никогда не задаем себе вопросов: зачем

мы лаем, что нам за расчет лезть из кожи, к чему защищаем мы этот острог, где сами первые сидим на цепи; мы вовсе не убежденные консерваторы и абсолютисты, какие водятся на Западе; у нас нет никакой теории, никакого предпочтения, никакого выбора. Мы тут лаем, потому что нас тут привязали, и в иных условиях мы ни себя, ни чего бы то ни было существующего вообразить не можем. Эта-то ограниченность воображения и составляет, надо полагать, основание нашего деревянного терпения. Известно, что мы пламенные патриоты. Никто больше нашего не любит Россию, потому что другие любят ее абстрактно, любят в ней народ, любят с оговорками, любят с исключениями, и многое в ней так же сильно ненавидят, как другое любят. Мы же любим в ней все, что там ни на есть, любим петербургский климат и царский произвол, архангельскую тундру и обращение униатов, сибирскую язву и сенатские приговоры над девочками, народный голод и административные ссылки, лесные пожары и III отделение. Не мудрствуя лукаво, мы все это объемлем своей любовью, как необходимые части одного милого целого. Святейший синод, например, дурак, а в целом тоже составляет картину, как живот у Чичикова. И притом как же не любить всего этого, когда в этом наша жизнь, а жизнь всякому любя. Приходится полюбить и девяти-месячную зиму, когда в ней живешь, точно так же приходится любить и царскую администрацию, которая составляет столь же непременный атрибут этой жизни, как и девяти-месячная зима. «Стерпится — слюбится», — говорит пословица, и точно, мы так стерпелись со всякими заушениями, что всей душой нашей полюбили их. Истинная мудрость состоит в приобретении мира и удовлетворения душевного, и мы достигли ее, потому что вполне довольны своею участью. Мы жи-



¹ Лурд — город во Франции, где согласно легенде явилась божья мать, место паломничества.

вем в твердом уповании, что в Петербурге растут лучшие апельсины, что наше самодержавие совершенно то же самое, что американская свобода, так что если написать «Россия», то выйдет Америка¹, что самое достойное человека положение есть положение лакея, притом служащего не за жалованье, а так сказать, лакея-добровольца. Если мы позволим себе иногда помечтать, то мечтаем «о покорении под ножи» нашему барину всех народов, обитающих на земном шаре, и о приведении их в православие логикой становых с обязательством обучения русскому языку, так чтобы даже в отдаленнейших углах мира двое, встречаясь, говорили друг другу: «Здравствуйте, батюшка, как ваше здоровье?» При этом для себя мы не предвидим никакой выгоды, напротив того, предвидится расширение мест отдаленных и не столь отдаленных, куда и мы можем лопасть, потому что все ходим под царем, а как-то еще бог даст; может быть, такого сахара, что всех грамотных велит выслать из столицы — ведь мы от такой фантазии не гарантированы. Но холуй все-таки обладает бессмертной душой, которая отличается от бездушного инстинкта собаки тем, что этой душе доступно чувство гордости не за себя, конечно, а за барина. Пес благоговеет перед хозяином одинаково, будет ли он царь ассирийский или слепой нищий, но холуй умеет гордиться величием своего барина.

Таковы наши принципы и качества русской прессы. Никто не станет спорить, что она представляет собою образец лакейской добродетели, и даже злейшие враги ее, конечно, не расстались бы с лакеем, одаренным такими качествами. Тем не менее нельзя отрицать, что многих избалованных умственной роскошью людей от нас тошнит. Мы не удивляемся этому, потому что знаем, что с лакейскими добродетелями в нас необходимо соединены и другие свойства этого класса. Нам присущи запахи сальных огарков, которыми мы смазываем свои головы, деревянного масла, пристающего к рукам, когда приходится

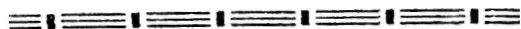
зажигать лампадку (без этого тоже нельзя, служба требует) и ножного пота вследствие сланья в сапогах. По этим запахам и различаются наши газеты. Суворина, например, подносящего «Новое время», читатель спешит отпустить, потому что уж очень от ног разит; Аксаков насквозь пропитался от Тютчевой деревянным маслом. В «Голосе» господствует сальный огарок, освещавший перед этим нероскошное помещение полицейского участка. Но мы существуем для носов обтерпевшихся, многократно подвергавшихся и отмораживанию и сокрушению и утративших чувствительность обоняния. Носам же, по которым еще не проехала наша действительность, мы скажем: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Кроме того, припомни, что спартанцы находили назидательным зрелище пьяного илота, неужели не назидательно зрелище неистовствующего холуя?

Русская революция

«Крамола! Крамольники и злоумышленники не дают показываться на улице; крамола пустила глубокие корни; надо истребить крамолу; вырвем с корнем крамолу! Дворянство, где ты? Откликнись! Гайда на крамолу!» Так вопиет уже третий год Помпа-Само-Дур² и за ним все, получившее привилегию на право говорить в глуповском царстве.

Если бы в окрестностях Помпа-Само-Дура нашелся живой человек, он заметил бы на эти возгласы: «Вашество, вы горько ошибаетесь; это не крамола, а революция».

При Людовике XVI во Франции еще хорошенько не знали, что такое революция, какая она бывает, как является, потому что опыта было накоплено еще слишком мало. Поэтому, когда в воскресенье 12 июля 1789 праздничная толпа, гулявшая в Тюильрийском саду, украсилась зелеными листья-



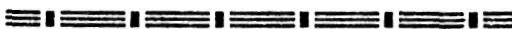
¹ Речь идет об Америке шестидесятих-семидесятих годов XIX века.

² Помпа-Само-Дур — ироническое обозначение русского самодержца.

ми по примеру Камилла Демулена¹, в этой невинной выходке только немногие могли узнать ЕЕ. *C'est donc une révolte* — стало быть, это крамола! — воскликнул тогдашний Дур. — Нет, вашество, это революция, — отвечал ему один капельмейстер, бывший знакомый Вольтера. Дур на то был Дур, чтобы пропустить это мимо ушей. Против одного голоса раздалась тысяча голосов, говоривших, что это просто крамола, затеянная нигилистом Камиллом Демуленом; что это горсть или кучка сорвиголов, не имеющих под собой почвы; что народные массы полны благоговения к Дуру и Дурству вообще, которое счастливит их уже тысячу лет и без которого они себя и помыслить не могут; притом нигде и никогда не видано, чтобы революция являлась в таком виде, на гулянии в праздничный день, по сигналу одного нигилиста. Успокоенный этими соображениями, Дур послал против крамолы немецкую кавалерию, но был разбит, взят и гильотинирован, причем мог вполне убедиться, что имел дело с революцией. Наш Дур твердит о крамоле и будет твердить вплоть до того дня, когда, наконец, окончательно полетит вверх тормашками. На то он и Дур, чтобы не понимать происходящего не только перед ним, но и с ним. Двадцать лет он вешает, ссылает, морит по тюрьмам, устраивает чудовищные процессы, обыскивает, провозглашает осадное и военное положение, назначает чрезвычайные комиссии, военные суды, временных губернаторов, ополчается урядниками, жандармами, сыщиками, все усиленно и усиленно, кресчендо и кресчендо, полнее и полнее предаваясь этой заботе, до полного и исключительного поглощения ею — и все-таки ничего не понимает, не видит и твердит о какой-то крамоле. При первом появлении ее он встретил ее каторгой, обысками и административными ссылками. Михайлов², Обручев³, первые свободно заговорившие в России, пошли в рудники, студенческий протест был встречен конно-жандармскими атаками, и десятки молодых людей заплатили десяти-

летиями ссылки за отказ от путятинских матрикул⁴. Чтобы лишить пробуждающуюся русскую интеллигенцию главного ее руководителя, лучший писатель того времени был по заведомо ложному обвинению заживо погребен навеки в Сибири⁵. Так энергичски встретил Дур первые признаки проявления человечности в народе, где ее не полагалось по существующей форме правления. В чем, в чем, а уж в слабости Дур себя упрекнуть не может.

И что же? Уже через пять лет этих энергических мер против него раздался выстрел⁶, и ему пришлось натравить на Россию того самого Муравьева, которым он травил вновь завоеванную Польшу. Там было открытое восстание, война, и назначение Муравьева показывало, что в России готовится столь же решительная борьба. С тех пор она ни на минуту не прекращалась, хотя еще несколько лет прошло прежде, чем она получила свой нынешний острый характер. Она еще оставляла Дуру некоторый досуг мошенничать своими реформами, дипломатничать и воевать, фигурировать в европейском свете в качестве заправского потентата. Но прошли и эти времена. Теперь настало время, когда единственною, исключительною деятельностью его, единственной задачей, единою целью жизни стала борьба за свое существование. Все другие заботы и дела отложены, во всей России только и делают,



¹ Демулен, Камилл (1760—1794) — талантливый журналист эпохи Великой французской революции.

² Михайлов М. И. (1829—1865) — поэт-революционер. За распространение прокламации «К молодому поколению» был арестован и приговорен к каторжным работам.

³ Обручев В. А. (1836—1912) — публицист, участник революционно-демократического движения шестидесятых годов. В 1861 году принял участие в распространении нелегальной прокламации «Великорусс», в связи с чем был арестован и приговорен к каторжным работам.

⁴ Путятин Е. В. (1803—1883) — министр народного просвещения в 1861 году, известный тем, что ввел в университетах обязательные матрикулы для студентов, вызвавшие протест.

⁵ Н. Г. Чернышевский.

⁶ Покушение Каракозова 4 апреля 1866 года.

что вешают, вешают слепо, не разбирая жертв, вешают гимназистов за две наклеенные прокламации, вешают людей, судом признанных подлежащими ссылке; вешают и обыскивают повально, домами, улицами, городами. В сношениях с иностранными правительствами наше, забыв все заливы и проливы, Индии и славян, полагает всю свою душу на вытребование Гартмана¹, жалуется, грозит, разрывает союзы — и остается с великим носом и позором, признанное целыми советами министров и юристов неспособным к правосудию и стоящим вне усилий цивилизованных народов.

Когда вся деятельность векового правительства целиком посвящена борьбе с внутренним врагом, то это ли еще не революция? Французы, опытные в этом деле, давно уже не сомневаются, и давно уже все не запродавшиеся Орлову² французские газеты открыли рубрику под заглавием «Русская Революция». Да, Русская Революция — факт совершившийся. Она продолжается уже третий год по меньшей мере. Правда, когда 20 лет тому назад мы мечтали о ней, мы не так представляли себе ее появление. В наших мечтах она являлась нам с классическими атрибутами исторических революций, наших или европейских: или в виде стихийной бури пугачевщины, Жакерии³, крестьянской войны, или с громом пушек и речей народных ораторов, как в 92-м. Но вот она пришла не как повторение и подражание, а новая и самобытная, совмещающая странные контрасты и являясь настоящей дочерью своего века, — таинственная в своих средствах и путях и открыто героическая в своих деятелях, мудрая, как змий, и чисто наивная, как голубица, с фанатизмом христианских мучеников в сердцах и со всеми средствами неучки в руках, грозная решимостью губить и непобедимая решимостью гибнуть. Она не порыв, не буря. Она сознательное, цивилизующее, разумное дело, дело медленное, малозаметное в данный момент, как прорытие Сен-Готарда⁴. Работа дня в ней едва

приметна; кто смотрит на нее, особенно вначале, недели и месяцы, тому она может казаться безнадежной; едва по вершку отделяется от гранитной скалы в несколько верст толщиной, и нужны годы постоянной работы, миллионы фунтов динамита, чтобы привести дело к концу.

И вот теперь, когда эта работа подвинулась уже настолько, что не признавать ее нет возможности, все видят, что срок существования дуризма есть лишь вопрос времени. Пройдет ли год, три или пять до той минуты, когда подведенные под него галереи сойдутся и работники подадут друг другу руки с возгласом: «Победа!» — это зависит от множества случайностей, но что эта минута скоро настанет, в этом не сомневается даже Лорис-Меликов⁵, всячески виляющий, чтобы счет на день расплаты вышел не слишком тяжел.

Один Дур хочет во что бы то ни стало обмануть себя насчет своего безнадежного положения. Такие бывают малодушные больные: сифилис прогрыз их насквозь; уже вместо голоса они издают только хриплое мычание; все кости покрыты наростами; нос грозит провалиться, как столовая Зимнего Дворца⁶, язвы покрывают все тело, — и тем не менее они стараются уверить себя, что вычитанное в газетной рекламе шарлатанское снадобье непременно должно воскресить их, и на вопрос о здоровье — мычат, что все хорошо, но вот только горло застудил. Таков и Дур со своей крамоллой.



¹ Гартман Л. Н. (1850—1913) — народоволец, принимавший участие в одном из покушений на Александра II и уехавший за границу. Царское правительство настоятельно требовало от правительств Франции и Англии выдачи Гартмана.

² Орлов Н. А. (1827—1885) — князь, в 1870—1882 годах — русский посол в Париже.

³ Жакерия — крестьянское восстание во Франции XIV века.

⁴ Сен-Готард — горный массив в Альпах в Швейцарии, сквозь который в 1872 году был прорыт пятнадцатикилометровый тоннель.

⁵ Лорис-Меликов М. Т. (1825—1888) — министр внутренних дел в конце царствования Александра II.

⁶ Речь идет о взрыве в Зимнем дворце, подготовленном Степаном Халтурным.

Р. Л. Стивенсон

Ночлег Франсуа Вийона



Это было в последних числах ноября 1456 года. В Париже с нескончаемым, неутомимым упорством шел снег. Временами на улицы налетал ветер и тут же вздымал снежный смерч; временами наступало затишье, и тогда из темноты ночного неба в безмолвном кружении валяли неисчислимые крупные хлопья. Бедному человеку, поглядевшему на все это из-под намокших бровей, оставалось только удивиться, откуда берется столько снега. Метр Франсуа Вийон, стоя днем у окна таверны, выдвинул такое предположение: то ли это языческий Юпитер щиплет гусей на Олимпе, то ли это линяют святые ангелы. Сам он всего лишь скромный магистр искусств и в вопросах, касающихся божественного, не смеет делать выводы. Дурашливый старый кюре из Монтаржи, затесавшийся в их компанию, тут же поставил юному мошеннику еще одну бутылку вина в честь как самой шутки, так и ужимок, с которыми она была преподнесена, и поклялся своей седой бородой, что и сам он в этом возрасте был таким же богохульным щенком, как Вийон.

Воздух резал легкие, хотя лишь слег-

ка подмораживало; хлопья были большие, влажные, липкие. Весь город словно укутали в простыню. Целая армия могла пройти из одного его конца в другой, и никто не услышал бы ни звука. Если пролетали в небе запоздалые птицы, то остров Ситэ виделся им как большая белая заплата, а мосты как тонкие белые швы на черном полотнище реки. Высоко над землей снег садился на рельефы башен Собора Парижской богородицы. Многие ниши были сплошь забиты им, многие статуи надели высокие снеговые колпаки на свои рогатые или коронованные головы. Химеры на водостоках превратились в длинные, свисавшие вниз носы. На резьбе карнизов выросли сбившиеся на сторону подушки. В перерывы, когда ветер стихал, был слышен гулкий звук капель по плитам паперти.

Кладбище Сен-Жан получило свою долю снега. Все могилы были благолепно укрыты; высокие белые крыши стояли вокруг в своем важном уборе; почтенные буржуа уже давно почивали в постелях, напялив на себя колпаки, не менее белоснежные, чем те, что были на их обиталищах; по всей

округе ни огонька, кроме слабого мигания фонаря, качавшегося на церковных хорах и отбрасывавшего при каждом размахе причудливые тени. Еще не пробило десяти, когда мимо кладбища Сен-Жан, похлопывая рукавицами, прошли патрульные с фонарями и алебардами — прошли и не обнаружили ничего подозрительного в этих местах.

Но там, притулившись к кладбищенской стене, стоял домишко, и в нем единственным не спали на всей похрапывающей во сне улице, и это было явно не к добру. Снаружи его почти ничто не выдавало: только струйка дыма из трубы, проталины там, где снег нагрелся на крыше, и несколько полужансенных следов на пороге. Поэт Франсуа Вийон и кое-кто из воровской шайки, с которой он водился, коротали здесь ночь за бутылкой вина.

Большая куча раскаленных углей в высоком сводчатом камине рдела и дышала палящим жаром. Перед огнем, высоко подоткнув рясу и грея у гостеприимного огня свои жирные голые ноги, сидел монах-пикардиец Домине Николас. Его могучая тень на-



двое рассекала комнату, свет из камня еле пробивался по обе стороны его тучного тела и маленькой лужицей лежал между широко расставленными ногами. Одутловатая физиономия этого запойного пьяницы была вся покрыта сеткой мелких жилок, обычно багровых, а теперь бледно-фиолетовых, потому что хоть он и грел спину, но холод кусал его спереди. Капюшон рясы был у него откинут и торпорчился двумя странными наростами по сторонам бычьей шеи. Так он восседал, ворча что-то себе под нос и рассекая комнату надвое своей мощной тенью.

По правую его руку Вийон и Ги Табари склонялись над куском пергамента: Вийон сочинял балладу, которую позднее назвал «Балладой о жареной рыбе», а Табари восторженно лопотал что-то у него за плечом. Поэт был весьма невзрачный человек — небольшого роста, с впалыми щеками и жидкими черными прядями волос. Его двадцать четыре года оказывались в нем лихорадочным оживлением. Жадность проложила морщины у него под глазами, недобрые улыбки — складочки вокруг рта. В этом лице

боролись волк со свиньей. Своим уродством, резкостью черт оно красноречиво говорило о всех земных страстях. Руки у поэта были маленькие, цепкие и узловатые, как веревки, пальцы все время мелькали перед его лицом со страстной выразительностью движений. Что касается Табари, то его приплюснутый нос и слюнявый рот так и говорили о разлитой, благодушной, восторженной глупости; он стал вором (так же как мог бы стать наитишайшим буржуа) силой всемогущего случая, который управляет судьбой гусей и ослов во образе человеческом.

По другую руку монаха играли в карты Монтиньи и Тевенен Пансет. В первом, как в павшем ангеле, еще сохранился какой-то след благородного происхождения и воспитания: что-то стройное, гибкое, изысканное в фигуре, что-то орлиное и мрачное в выражении лица. А бедняга Тевенен был сегодня в ударе: днем ему удалась одна мошенническая проделка в предместье Сен-Жак, а теперь он выигрывал у Монтиньи. Довольная улыбка расплылась на его лице, его розовая лысина сияла в венке рыжих куд-



рей, изрядное брюшко сотрясалось от подавляемого смеха каждый раз, как он загребал выигрыш.

— Ставишь, или кончать? — спросил Тевенен.

Монтины угрюмо кивнул.

— «Есть предпочтут иные люди, — писал Вийон, — на позолоченной посуде». Ну, помоги же мне, Гвидо! Табари хихикнул.

— «Или хотя б на серебре», — писал поэт.

Ветер снаружи усиливался, он гнал перед собой снег, и временами вой его переходил в торжествующий рев, а потом в замогильные стенания в трубе. Мороз к ночи крепчал. Вийон, выпятив губы, передразнивал голос ветра, издавая нечто среднее между свистом и стоном. Именно этот талант беспокойного поэта больше всего не нравился пикардийскому монаху.

— Неужели вы не слышите, как он завывает у виселицы? — оказал Вийон. — И все они там сейчас отплясывают дьявольскую жигу. Пляшите, пляшите, молодчики, все равно не согреетесь! Фу! Ну и вихрь! Наверняка кто-нибудь сорвался! Одним яблочком меньше на трехногой яблоне!

А небось и холодно же теперь, Домине, на дороге в Сен-Дени? — сказал он.

Домине Николас мигнул обоими глазами, и кадык у него передернуло, словно он поперхнулся. Монфокон, самая ужасная из виселиц Парижа, видна была как раз с дороги в Сен-Дени, и слова Вийона задели его за живое. А Табари, тот всласть посмеялся шутке насчет яблочек — никогда еще он не слышал ничего смешнее. Он держался за бока и всхлипывал от хохота. Вийон щелкнул собутельника по носу, отчего смех его перешел в приступ кашля.

— Будет ржать, — сказал Вийон, — придумай лучше рифму на «рыба».

— Ставишь, или кончать? — ворчливо спросил Монтины.

— Конечно, ставлю, — ответил Тевенен.

— Есть там что-нибудь в бутылке? — спросил монах.

— А ты откупори другую, — сказал Вийон. — Неужели ты все еще надеешься наполнить такую бочку, как твое брюхо, такой малостью, как бутылка? И как ты рассчитываешь вознестись на небо? Сколько потребуется ангелов, чтобы поднять одного мо-



наха из Пикардии? Или ты вообразил себя новым Илией и ждешь, что за тобой пришлют колесницу?

— *Hominibus impossibile*¹, — ответил монах, наполняя свой стакан.

Табари был вне себя от восторга.

Вийон еще раз щелкнул его по носу. — Смейся моим шуткам, — сказал он.

— Но ведь смешно, — возразил Табари.

Вийон соорил ему рожу.

— Придумывай рифму на «рыба», — сказал он. — Что ты смыслишь в латыни? Тебе же лучше будет, если ничего не поймешь на страшном суде, когда дьявол призовет к ответу Гвидо Табари, клирика, — сам дьявол с большим горбом и докрасна раскаленными когтями. А раз уж речь зашла о дьяволе, — добавил он шепотом, — то посмотри на Монтиньи.

Все трое украдкой взглянули в ту сторону. Монтиньи по-прежнему не везло. Рот у игрока скривился набок, одна ноздря закрылась, а другая была раздута. У него, как говорится, черный лес сидел на загривке, и он тяжело дышал под этим зловещим грузом.

— Так и кажется, что заколет он своего партнера, — тараща глаза, прошептал Табари.

Монах вздрогнул, повернулся лицом к огню и стал греть руки перед каминным жаром. Так на него подействовал холод, а вовсе не избыток чувствительности.

— Вернемся к балладе, — сказал Вийон. — Что же у нас получилось? — И, отбивая ритм рукой, он начал читать стихи вслух.

Но уже на четвертой строке игроки прервали его. Там что-то произошло в мгновение ока. Закончилась очередная партия, и Тевенен готовился объявить взятку, как вдруг Монтиньи стремительно, словно гадюка, бросился на него и ударил кинжалом прямо в сердце. Смерть наступила, прежде чем Тевенен успел вскрикнуть, прежде чем он успел отшатнуться. Судорога раз-другой пробежала по его телу, пальцы у него разжались и сжались снова, пятки дробно стукнули по полу, потом голова его отвалилась назад, к левому плечу, глаза широко



¹ Для человека сие невозможно (латин.).



раскрылись, и душа Тевенена Пансета вернулась к своему создателю. Все вскочили, но дело было сделано мгновенно. Четверо живых глядели друг на друга сами мертвецки бледные, а мертвый как бы с затаенной усмешкой разглядывал угол потолка.

— Боже милостивый! — сказал, наконец, Табари и стал читать латинскую молитву.

И вдруг Вийон разразился истерическим хохотом. Он шагнул вперед и отвесил Тевенену шутовской поклон, засмеявшись при этом еще громче. Потом тяжело опустился на табурет, не в силах удержаться от надрывного смеха, словно разрывавшего его на куски.

Первым пришел в себя Монтиньи.

— А ну-ка, посмотрим, что там у него имеется, — сказал он и, мигмом опытной рукой очистив карманы мертвеца, разложил деньги на столе четырьмя ровными стопками. — Это вам, — сказал он.

Монах принял свою долю с глубоким вздохом и только искоса взглянул на мертвого Тевенена, который начал оседать и валиться вбок со стула.

— Мы все в этом замешаны! — вскрикнул Вийон, подавляя свою радость. — Дело пахнет виселицей для каждого из присутствующих, не говоря об отсутствующих.

Он резко вздернул правую руку, высунул язык и наклонил голову набок, изображая повешенного. Потом ссыпал в кошелек свою часть добычи и зашаркал ногами по полу, как бы восстанавливая кровообращение.

Табари последний взял свою долю. Он ринулся за ней к столу, а потом забился с деньгами в дальний угол комнаты.

Монтиньи выпрямил на стуле тело Тевенена и вытащил кинжал у него из груди. Из раны хлынула кровь.

— Вам, друзья, лучше бы убраться отсюда, — оказал он, вытирая лезвие о камзол своей жертвы.

— Да, верно, — судорожно глотнув, проговорил Вийон. — Черт побери его башку! — вдруг взорвался он. — Она у меня как мокрота в горле. Какое человек имеет право быть рыжим и после смерти? — И он снова рухнул на табурет и закрыл лицо руками.

Монтиньи и Домине Николас громко



засмеялись, и даже Табари слабо подхихикнул им.

— Эх ты, плакса, — сказал монах.

— Я всегда говорил, что он баба, — с презрительной усмешкой сказал Монтиньи. — Да сиди ты! — крикнул он, встряхивая мертвеца. — Затопчи огонь, Ник!

Но Нику было не до этого, он преспокойно взял кошелек Вийона, который, весь дрожа, едва сидел на той самой табуретке, на которой три минуты назад сочинял балладу. Монтиньи и Табари знаками потребовали принять их в долю, что монах также молчательно пообещал им, пряча кошелек за пазуху своей рясы. Артистическая натура во многих отношениях бывает не приспособлена к практической жизни. Едва успел монах закончить свою операцию, как Вийон встряхнулся, вскочил на ноги и стал помогать ворошить и затапывать угли. Тем временем Монтиньи приоткрыл дверь и осторожно выглянул на улицу. Путь был свободен, поблизости ни следа назойливых патрулей. Но все же решено было уходить поодиночке, и так как сам Вийон спешил как можно скорей избавиться от соседства мертвого Тевенена, а ос-

тальные еще больше спешили избавиться от него самого, пока он не обнаружил покражи, ему было предоставлено первому выйти на улицу.

Ветер, наконец, осилил и прогнал с неба все тучи. Только тонкие волокнистые облачка быстро скользили по звездам. Было пронизывающе холодно, и, в силу известного оптического обмана, все очертания казались еще более четкими, чем при ярком солнце. Спящий город был совершенно безмолвен. Скопление белых колпаков, нагромождение маленьких Альп, озаренных мерцающими звездами. Вийон проклял свою незадачу. Снег больше не идет! Ведь теперь, куда он ни подастся, повсюду за ним будет неизгладимый след на сверкающей белизне улиц; куда он ни подастся, он всюду будет прикован к дому на кладбище Сен-Жан; куда он ни подастся, он сам протопчет себе дорогу от места преступления к виселице. Насмешливый взгляд мертвеца приобрел теперь для него новое значение. Он щелкнул пальцами, словно подбадривая самого себя, и, не выбирая дороги, наугад шагнул по снегу в один из переулков. Два видения преследовали его неот-



ступно: Монфоконская виселица, какой она представлялась ему в эту ясную ветреную ночь, и мертвец с лысиной в венке рыжих кудрей.

Оба видения сжимали ему сердце, и он все ускорял шаг, как будто от назойливых мыслей можно было убежать. По временам он тревожно и быстро озирался через плечо, но на всех этих заснеженных улицах, кроме него, не было ни души, и только ветер, вырываясь из-за углов, то и дело взметал струйками поблескивающей снежной пыли прихваченный морозом снег.

Вдруг он увидел вдали черное пятно и огоньки фонарей. Пятно двигалось, и фонари покачивались из стороны в сторону. Это был патруль. И хотя он лишь пересекал улицу, Вийон счел за благо поскорее скрыться у него из глаз. Ему совсем не хотелось услышать оклик патрульных, но он отлично понимал, как выделяется на снегу его одинокая фигура. По левую руку от него возвышался пышный когда-то особняк с башенками и портиком парадных дверей. Вийон помнил, что здание заброшено и давно пустует. Он в три шага достиг его и укрылся за

выступом портика. Там было совсем темно после блеска заснеженных улиц, и, вытянув вперед руки, он нащупывал дорогу, как вдруг наткнулся на что-то странное на ощупь, одновременно и жесткое и мягкое, плотное и податливое. Сердце у него сжалось, он отпрянул назад и стал испуганно вглядываться в это препятствие. Потом с чувством облегчения засмеялся. Всего-навсего женщина, и к тому же мертвая. Он стал возле нее на колени, чтобы удостовериться в этом. Она уже одеревенела и заоченела как ледышка. Рваная косынка трепалась на ветру, едва держась на ее волосах, а щеки были совсем недавно густо нарумянены. В карманах ни гроша, но в чулке, ниже подвязки, Вийон нашел две маленькие монетки, те, что зовут в народе «беляшками». Не жирно, но хоть что-нибудь, и поэта взволновала мысль, что женщина умерла, так и не успев потратить их. Странная и жалостливая история. Он перевел взгляд с монеток на мертвую и обратно и покачал головой, размышляя о загадках человеческой жизни. Генрих Пятый английский умер в Венсенне сразу после того, как завоевал Францию, а



эта бедняжка замерзла на пороге дома какого-то вельможи, так и не истратив двух беляшек... Да, жестоко управляет миром судьба. Долго ли истратить эти две монетки, а все-таки рту был бы еще один вкусный кусок, и губы лишний раз со вкусом причмокнули бы перед тем, как дьявол заберет душу, а тело пожрут вороны или крысы. Нет, что касается его, то пусть уж свечка догорит до конца, прежде чем ее задуют, а фонарь разобьют.

Пока эти мысли проносились у него в мозгу, он почти машинально стал нащупывать кошелек в кармане. И вдруг сердце у него остановилось. Холодные мурашки побежали по икрам, и на голову словно обрушился удар. С минуту он стоял, как бы оцепенев, потом судорожным движением снова сунул руку в карман и, наконец, осознал свою потерю, и тогда его сразу бросило в пот. Для гуляки деньги — это нечто живое и действенное, самая тонкая завеса между ним и наслаждением. Предел всему кладет только время. С несколькими луидорами в кармане гуляка чувствует себя римским императором, пока не истратит

их до последнего гроша. Такому потерять деньги — значит испытать величайшее несчастье, мгновенно перенестись из рая в ад, после всемогущества впасть в полное ничтожество. И особенно если ради этого съешь голову в петлю, если завтра тебя ждет виселица в расплату за тот же кошелек, с таким трудом добытый и так глупо утерянный!

Вийон стоял, сыпля проклятиями, и вдруг швырнул обе беляшки на улицу, погрозил кулаком небесам и затопал ногами, не очень смутившись тем, что они попирают труп несчастной женщины. Потом он быстро зашагал обратно к дому близ кладбища. Он совсем позабыл всякий страх, позабыл про патруль, который, правда, был теперь уже далеко, забыл про все, кроме утерянного кошелька. Напрасно оглядывал он сугробы по обе стороны дороги — нигде ничего не было. Нет, он обронил его не на улице. Может быть, еще в доме? Ему так хотелось пойти туда и поискать, но мысль о страшном бездыханном обитателе этого дома пугала его. И кроме того, подойдя поближе, он увидел, что их усилия загасить огонь ока-



зались безуспешными, более того, пламя там разгоралось, и пляшущие отсветы его в окнах и щелястой двери подстегнули в поэте страх перед властями и парижской виселицей.

Он вернулся под арку особняка и стал шарить в снегу в поисках монеток, выброшенных в порыве ребячливой досады. Но найти ему удалось только одну беляшку, другая, должно быть, упала ребром и глубоко зарылась в снег. Такая мелочь в кармане сразу развеяла все его надежды на буйную ночь в каком-нибудь притоне. И не только мечта об удовольствии, смеясь, ускользнула из его пальцев, ему стало не на шутку плохо, все тело заломило от нешуточной боли, когда он остановился перед аркой этого дома. Пролетевшее платье высохло на нем; и хотя ветер стих, крепчавший с каждым часом мороз пробирал его до мозга костей. Что ему делать?

Время, правда, позднее, рассчитывать на успех не приходится, но он все же попытает счастья у своего приемного отца — капеллана церкви Святого Бенуа.

Всю дорогу туда он бежал бегом и, добравшись, робко постучал в дверь.

Ответа не было. Он стучал снова и снова, смелея с каждым ударом. Наконец внутри послышались шаги. Зарешеченный глазок обитой железом двери приоткрылся, и через него глянул луч желтоватого света.

— Станьте поближе к окошечку, — сказал изнутри голос капеллана.

— Это я, — жалобно пробормотал Вийон.

— Ах, это ты, вот как! — сказал капеллан и разразился вовсе не подобающей священническому сану бранью за то, что его потревожили в такой поздний час, а под конец послал своего приемного сына обратно в ад, откуда он, должно быть, и пожаловал.

— Руки у меня посинели, — молил Вийон. — Ноги замерзли и уже почти не чувствуют боли, нос распух от холода, мороз у меня и на сердце. Я не доживу до утра. Только на этот раз, отец мой, и, как перед богом, больше я не попрошусь к вам.

— Пришел бы пораньше, — холодно возразил капеллан. — Молодых людей надо кое-когда учить уму-разуму. — Он захлопнул глазок и не спеша удалился.



Вийон был вне себя, он колотил в дверь руками и ногами и бранился вслед капеллану.

— Вонючий старый лис! — кричал он. — Попадись ты мне только, я тебя спихну в тартарары!

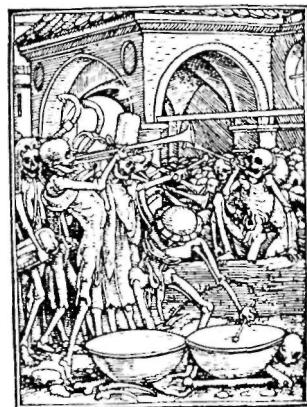
Где-то далеко в глубине переходов хлопнула дверь, и звук этот еле донесся до уха поэта. Он с проклятием утер рот рукою. Потом, поняв всю комичность своего положения, рассмеялся и с легким сердцем поглядел на небо, туда, где звезды подмигивали, потешаясь над его неудачей.

Что ему делать? Похоже, придется провести эту ночь на морозе. Ему вспомнилась замерзшая женщина, и мысль о ней оледенила его сердце страхом. То, что случилось с ней поздним вечером, может случиться с ним под утро. А он так молод! И столько еще перед ним всяких буйств и развлечений! Глядя на себя как бы со стороны, он совсем растрогался при мысли о такой судьбе, и воображение тут же нарисовало ему картину, как утром найдут его окоченевшее тело.

Вертя в пальцах беляшку, он мысленно перебрал все шансы. К несчастью, он перессорился со своими старыми

друзьями, которые когда-то выручали его в подобных случаях. Он издевался над ними в своих стихах, дрался с ними, обманывал их. И все же теперь, в час последней крайности, хотя бы один человек, пожалуй, смягчится. Вот он, единственный шанс. Во всяком случае, попытаться стоило, и он непременно это сделает.

В пути два ничтожных обстоятельства, сами по себе не столь уж значительные, настроили его мысли совсем на другой лад. Сначала он напал на след патруля и шел по нему несколько сот шагов. Это уводило его в сторону от цели, зато он приободрился: хоть свои следы запутаешь. Ему не давал покоя страх, что его выслеживают по всему занесенному снегом Парижу и схватят сонным еще до рассвета. Второе обстоятельство было совсем иного рода. Он прошел мимо перекрестка, где несколько лет назад волки сожрали женщину с ребенком. Погода была сейчас самая для этого подходящая, и волкам опять могло прийти в голову прогуляться по Парижу. А тогда одинокий прохожий на этих пустынных улицах едва ли отделается одним испугом. Он остановился и на-



перекор самому себе стал озираться — в этом месте сходились несколько улиц. Он вглядывался в каждую из них, не покажутся ли на снегу черные тени, и затаив дыхание вслушивался, не раздастся ли вой со стороны реки. Ему вспомнилось, как в детстве мать рассказывала про это и водила сюда показывать место. Его мать! Знать бы, где она теперь, — тогда убежище было бы ему обеспечено. Он решил, что утром же справится о ней и непременно сходит навестить ее, бедную старушку! С такими мыслями он пошел к знакомому дому — здесь была его последняя надежда на ночлег.

В окнах было темно, как и по всей улице, но, постучав несколько раз, он услышал, что внутри задвигались, отперли где-то дверь, а потом чей-то голос осторожно спросил, кто там. Поэт назвал себя громким шепотом и не без страха стал ждать, что же будет дальше. Ждать пришлось недолго. Вверху распахнулось окно, и на ступени выплеснули ведро помоев. Это не застало Вийона врасплох, он стоял, прижавшись, насколько было возможно, к стене за выступом входной две-

ри, и все же мигом промок от пояса до самых пяток. Штаны на нем сейчас же обледенели. Смерть от холода и простуды глянула ему прямо в лицо. Он вспомнил, что с самого рождения склонен к чихотке, и прочистил горло, пробуя, нет ли кашля. Но опасность заставила его взять себя в руки. Пройдя несколько сот шагов от той двери, где ему оказали такой грубый прием, он приложил палец к носу и стал размышлять. Единственный способ обеспечить себе ночлег — это самому найти его. Поблизости стоял дом, в который как будто не трудно будет проникнуть. И он сейчас же направил к нему свои стопы, теша себя по пути мыслями о столовой с еще не остывшим камином, с остатками ужина на столе. Так он проведет ночь, а поутру уйдет оттуда, прихватив посуду поценней. Он даже прикидывал, какие яства и какие вина было бы предпочтительнее найти на столе, и, перебирая в уме все свои самые любимые блюда, вдруг вспомнил про жареную рыбу. Вспомнил — и усмехнулся и в то же время почувствовал ужас.

«Никогда мне не закончить эту балладу», — подумал он, и его всего



передернуло при новом воспоминании.

— Черт бы побрал эту башку! — громко проговорил он и плюнул на снег.

В намеченном им доме на первый взгляд было темно, но, когда Вийон стал приглядывать уязвимое для атаки место, за плотно занавешенным окном мелькнул слабый луч света.

«Ах ты, черт! — мысленно ругнулся он. — Не спят! Какой-нибудь школяр или святоша, будь они неладны! Нет чтобы напиться как следует и храпеть взапуски с добрыми соседями! А на кой тогда бес вечерний колокол и бедняги звонари, что надрываются на колокольнях, повиснув на веревках? И к чему тогда день, если сидеть до петухов? Да чтоб им лопнуть, обжорам! — Он ухмыльнулся, видя, куда завели его такие рассуждения. — Ну, каждому свое, — добавил он, — и коль они не спят, то, клянусь богом, тем более оснований честно напроситься на ужин и оставить дьявола с носом».

Вийон смело подошел к двери и постучал твердой рукой. В предыдущие разы он стучал робко, боясь привлечь

к себе внимание. Но теперь, когда он раздумал проникать в дом по-воровски, стук в дверь казался ему самым простым и невинным делом. Звуки его ударов, таинственно дребезжа, раздавались по всему дому, словно там было совсем пусто. Но лишь только они замерли вдали, как послышался твердый, размеренный шаг, потом стук отодвигаемых засовов, и одна створка двери широко распахнулась, точно тут не знали коварства и не боялись его. Перед Вийоном стоял высокий, сухощавый, мускулистый мужчина, правда слегка согбенный годами. Голова у него была большая, но хорошей лепки; кончик носа тупой, но переносица тонкая, переходящая в чистую, сильную линию бровей. Рот и глаза окружала легкая сетка морщинок, и все лицо было обрамлено густой седой бородой, подстриженной ровным квадратом.

При свете мигающей в его руках лампы лицо этого человека казалось, может быть, благородней, чем на самом деле; но все же это было прекрасное лицо, скорее почтенное, чем умное, и сильное, простое, открытое. — Поздно вы стучите, мессир, — уч-



тиво сказал старик низким, звучным голосом.

Весь сжавшись, Вийон рассыпался в раболепных извинениях: в таких случаях, когда дело доходило до крайности, нищий брал в нем верх, а гениальность отступала назад в смятении.

— Вы озябли, — продолжал старик, — и голодны. Что ж, входите. — И он пригласил его войти жестом, не лишенным благородства.

«Знатная шишка», — подумал Вийон. А хозяин тем временем поставил лампу на каменный пол прихожей и задвинул все засовы.

— Вы меня простите, но я пойду впереди, — оказал он, заперев дверь, и провел поэта наверх в большую комнату, где пылко рдела жаровня и ярко светила подвешенная к потолку лампа. Вещей там было немного: только буфет, уставленный золоченой посудой, несколько фолиантов на столике и рыцарские доспехи в простенке между окнами. Стены были затянуты превосходными гобеленами, на одном из них — распятие, а на другом пасторальная сцена с пастухами и пастушками. Над камином висел щит с гербом.

— Садитесь, — сказал старик, — и простите, что я вас оставлю одного. Сегодня, кроме меня, в доме никого нет, и мне самому придется поискать для вас что-нибудь из еды.

Едва только хозяин вышел, как Вийон вскочил с кресла, на которое только что присел, и с кошачьим рвением, по-кошачьи пронырливо стал обследовать комнату. Он взвесил на руке золотые кубки, заглянул во все фолианты, разглядел герб на щите и пощупал штоф, которым были обиты кресла. Он раздвинул занавеси на окнах и увидел, что цветные витражи в них, насколько удавалось разглядеть, изображают какие-то воинские подвиги. Потом, остановившись посреди комнаты, он глубоко вздохнул, раздвув щеки, задерживая выдох, и, повернувшись на каблуках, снова огляделся по сторонам, чтобы запечатлеть в памяти каждую мелочь здесь.

— Сервиз из семи предметов, — сказал он. — Будь их десять, я, пожалуй, рискнул бы. Чудесный дом и чудесный старикан, так что да помогут мне все святые!

Но, услышав в коридоре приближающиеся шаги, он шмыгнул на место и



со скромным видом стал греть мокрые ноги у раскаленной жаровни.

Хозяин вошел, держа в одной руке блюдо говядины, а в другой кувшин вина. Он поставил это на стол, жестом пригласил Вийона пододвинуть кресло, а сам достал из буфета два кубка и тут же наполнил их.

— Пью за то, чтобы вам улыбнулась Судьба, — сказал он, торжественно чокнувшись с Вийоном.

— И за то, чтобы мы лучше узнали друг друга, — осмелев, сказал поэт.

Любезность старого вельможи повергла бы в трепет обычного простолюдина, но Вийон повидал всякие виды. Не раз ему случалось развлекать сильных мира сего и убеждаться, что они такие же негодяи, как и он сам. И поэтому он с жадностью принялся уписывать жаркое, а старик, откинувшись в кресле, пристально и с любопытством наблюдал за ним.

— А у вас кровь на плече, милейший, — сказал он.

Это, должно быть, Монтины приложился своей мокрой лапой, когда они покидали дом. Мысленно он послал ему проклятие.

— Я не виноват, — пробормотал он.

— Я так и думал, — спокойно проговорил хозяин. — Подрались?

— Да, вроде того, — вздрогнув, ответил Вийон.

— И кого-нибудь зарезали?

— Нет, его не зарезали, — путался поэт все больше и больше. — Дело было по-честному — просто несчастный случай. И я к этому не причастен, разрази меня бог! — добавил он с горячностью.

— Одним разбойником меньше, — спокойно заметил хозяин.

— Вы совершенно правы, — с несказанным облегчением согласился Вийон. — Такого разбойника свет не видывал. И он сковырнулся вверх копытами. Но глядеть на это было не сладко. А вы, должно быть, нагляделись мертвецов на своем веку, мессир? — добавил он, посмотрев на доспехи.

— Вволю, — сказал старик. — Я воевал, сами понимаете.

Вийон отложил нож и вилку, за которые только было взялся.

— А были среди них лысые? — спросил он.

— Были, бывали и седые, вроде меня.

— Ну, седые, это еще не так страшно, — сказал Вийон. — Тот был ры-



жий. — И его снова затрясло, и он постарался скрыть судорожный смех большим глотком вина. — Мне не по себе, когда я об этом вспоминаю, — продолжал он. — Ведь я его знал, будь он неладен! А потом в мороз лезет в голову всякая чушь, или от этой чуши мороз пробирает по коже — уж не знаю, что от чего.

— Есть у вас деньги? — спросил старик.

— Одна беляшка, — со смехом ответил поэт. — Я вытащил ее из чулка замерзшей девки тут в одном подъезде. Она была мертвее мертвого и холодна как лед, а в волосах у нее были обрывки ленты. Зима — плохое время для девок, и волков, и бродяг вроде меня.

— Я Энгерран де ла Фейе, сеньор де Бризету, байи из Пататрака, — сказал старик. — А вы кто?

Вийон встал и отвесил подобающий случаю поклон.

— Меня зовут Франсуа Вийон, — сказал он. — Я нищий магистр искусств здешнего университета. Немного обучен латыни, а пороки превзошел всякие. Могу сочинять песни, баллады, лэ, вирелэ и рондели и большой охот-

ник до вина. Родился я на чердаке, умру, возможно, на виселице. К этому прибавлю, что с этой ночи я ваш покорнейший слуга, мессир.

— Вы не слуга мой, а гость на эту ночь, и не более, — сказал вельможа. — Гость, преисполненный благодарности, — вежливо сказал Вийон, молча поднял кубок в честь своего хозяина и осушил его.

— Вы хитры, — сказал старик, постукивая себя по лбу, — очень хитры, и образованны, и все же решаетесь вытащить мелкую монету из чулка замерзшей на улице женщины. Вам не кажется, что это похоже на воровство? — Такое воровство не хуже военной добычи, мессир.

— Война — это поле чести, — горделиво возразил старик. — Там ставкою жизнь человека. Он сражается во имя своего сюзерена-короля, своего властелина господ бога и всего сонма святых и ангелов.

— А если, — сказал Вийон, — если я действительно вор, то разве я не ставлю на карту свою жизнь, да еще при более тяжких обстоятельствах?

— Ради наживы, не ради чести.

— Ради наживы? — пожимая плечами,



повторил Вийон. — Нажива! Бедняге надо поужинать, и он промышляет себе ужин. Как солдат в походе. А что такое эти реквизиции, о которых мы так много слышим? Если даже те, кто их налагает, не поживятся ими, то для тех, на кого они заложены, они все равно потеря. Солдаты бражничают у бивачных костров, а горожанин отдает последнее, чтобы оплатить и вино и дрова. А сколько я перевидал селян, повешенных вдоль дорог; помню, на одном вязе висело сразу тридцать человек, и, право же, зрелище это было не из приятных. А когда я спросил кого-то, почему их повесили, мне ответили, что они не могли наскрести достаточно монет, чтобы убогатить солдат.

— Это горькая необходимость войны, которую низкие родом должны переносить с покорностью. Правда, случается, что некоторые военачальники перегибают палку. В каждом ранге могут быть люди, не знающие жалости, а кроме того, многие из наемников самые настоящие бандиты.

— Ну вот видите, — сказал поэт, — даже вы не можете отличить воина от бандита, а что такое вор, как не бан-

дит-одиночка, да к тому же более осмотрительный? Я украду две бараньи котлеты, да так, что никто и не проснется. Фермер поворчит малость и преспокойно поужинает тем, что у него осталось. А вы нагрнете с победными фанфарами, заберете всю овцу целиком да еще прибьете в придачу. У меня фанфар нет; я такой-сякой, я бродяга, прохвост, и вздернуть-то меня мало. Что ж, согласен. Но спросите фермера, кого из нас он предпочтет, кого из нас он с проклятием вспоминает в бессонные зимние ночи? — Поглядите на нас с вами, — оказал сеньор. — Я стар, но крепок и всеми почитаем. Если бы меня завтра выгнали из моего дома, сотни людей рады были бы приютить меня. Добрые простолюдины готовы были бы провести с детьми ночь на улице, если бы я только намекнул, что хочу остаться один. А вы скитаетесь без приюта и рады обернуть умершую женщину, не гнушаясь и мелочью. Я никого и ничего не боюсь, а вы, я сам видел, от одного слова дрожите и бледнеете. Я спокойно жду в своем доме часа, когда меня призовет к себе господь или король — на поле битвы. А вы



ждете виселицы, насильственной мгновенной смерти, лишенной и чести и надежды. Разве нет между нами разницы?

— Мы небо и земля, — согласился Вийон. — Но если бы я родился владетелем Бризету, а вы — бедным Франсуа, разве разница была бы меньше? Разве не я грел бы колени у этой жаровни, не вы елозили бы по снегу, ища монету? Разве тогда я не был бы солдатом, а вы вором?

— Вором! — воскликнул старик. — Я — вор! Если бы вы понимали, что говорите, вы пожалели бы о своих словах!

Вийон дерзко, с неподражаемой выразительностью развел руками.

— Если бы ваша милость сделали мне честь следовать за моими рассуждениями... — сказал он.

— Я оказываю вам слишком много чести, терпя самое ваше присутствие здесь, — сказал вельможа. — Научитесь обуздывать язык, когда говорите со старыми и почтенными людьми, а то кто-нибудь менее терпеливый расправится с вами по круче. — Он встал и прошелся по комнате, стараясь подавить гнев и чувство отвра-

щения. Вийон воспользовался этим, чтобы снова наполнить кубок, и уселся поудобнее: закинув ногу на ногу, подпер голову левой рукой, а локоть правой положил на спинку кресла. Он насытился и согрелся и, поняв характер хозяина, насколько это было возможно при такой разнице натур, теперь ни капельки не боялся старика. Ночь миновала, и в конце концов все обошлось как нельзя лучше, и он был вполне уверен, что под утро благополучно покинет этот дом.

— Ответьте мне на один вопрос, — приостанавливаясь, сказал старик. — Вы действительно вор?

— Я всецело полагаюсь на законы гостеприимства, — ответил поэт. — Да, мессир, я вор.

— А вы еще так молоды, — продолжал старик.

— Я не дожил бы и до этих лет, — ответил Вийон, растопырив пальцы, — если бы мне не помогли эти десять слуг. Они меня вспоили, как мать, вскормили вместо отца.

— У вас еще есть время раскаяться и в корне изменить свою жизнь.

— Я каждый день каюсь, — сказал поэт. — Мало кто так склонен к по-



каянню, как бедный Франсуа. А на счет того, чтобы изменить свою жизнь, пусть сначала кто-нибудь изменит теперешние обстоятельства моей жизни. Человеку надо есть хотя бы для того, чтобы у него было время для раскаяния.

— Путь к переменам должен начаться в сердце, — торжественно произнес старик.

— Дорогой сеньор, — ответил Вийон, — неужели вы полагаете, что я краду ради удовольствия? Я ненавижу воровство, как и всякую прочую работу, а эта к тому же сопряжена с опасностью. При виде виселицы у меня зуб на зуб не попадает. Но мне надо есть, надо пить, надо общаться с людьми. Кой черт! Человек не отшельник — *Cui Deus foeminam tradit*¹. Сделайте меня королевским кравчим, сделайте аббатом Сен-Дени или байи в вашем Пататраке, вот тогда жизнь моя изменится. Но пока Франсуа Вийон остается с вашего соизволения бедным клерком, у которого ни гроша в кошельке, никаких перемен в его жизни не ждите.

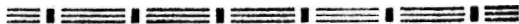
— Милость господня всемогуща!

— Надо быть еретиком, чтобы оспа-

ривать это, — сказал Франсуа. — Милостью господней вы стали владельцем Бризету и байи в Пататраке. А мне господь не уделил ничего, кроме смекалки и вот этих десяти пальцев. Можно еще вина? Почтительнейше благодарю. Милостью господней у вас превосходное винцо.

Владелец Бризету расхаживал по комнате, заложив руки за спину. Может быть, он еще не успел освоить сравнение солдат с ворами; может быть, Вийон интересовал его по какой-то неисповедимой симпатии; может быть, мысли его смешались просто от непривычки к таким рассуждениям, — как бы то ни было, ему почему-то хотелось направить этого молодого человека на путь истинный, и он не мог решиться выгнать его на улицу.

— Чего-то я все-таки не могу тут понять, — наконец сказал он. — Язык у вас хорошо подвешен, и дьявол далеко завел вас по своему пути, но дьявол слаб перед господом, и все его хитрости рассеиваются от одного



¹ Ему бог подарил женщину (латин.).



слова истины и чести, как ночная темнота на рассвете. Выслушайте же меня. Давным-давно я постиг, что дворянин должен быть исполнен рыцарского благородства, должен любить бога, короля и даму своего сердца, и, хотя много несправедного пришлось мне повидать на своем веку, я все же стремился жить согласно этим правилам. Они записаны не только в мудрых книгах, но и в сердце каждого человека, лишь бы он только удосужился прочесть их. Вы говорите о пище и вине, я знаю, что голод — тяжкое испытание, которое трудно переносить, но как же не сказать о других нуждах, о чести, о вере в бога и в ближнего, о благородстве, о запятнанной любви? Может быть, мне и не хватает мудрости — впрочем, так ли это? — но, на мой взгляд, вы человек, сбившийся с пути и впавший в величайшее заблуждение. Вы забываетесь о мелких нуждах и полностью забываете о нуждах великих, истинных. Вы уподобляетесь человеку, который будет лечить зубную боль в день страшного суда. А ведь честь, любовь и вера не только выше пищи и питья, но, как мне кажется, их-то мы алчем

сильнее и острее мучимся, если лишены их. Я обращаюсь к вам потому, что, кажется мне, вы меня легко можете понять. Стремясь набить брюхо, не заглушаете ли вы в сердце своем много голода? И не это ли причина того, что вместо радости жизни вы испытываете лишь чувство горечи? Вийон был явно уязвлен этими наставлениями.

— Так, по-вашему, я лишен чувства чести? — воскликнул он. — Да, бог тому свидетель, я нищий! И мне тяжело видеть, что богачи ходят в теплых перчатках, а я дую в кулак. С пустым брюхом жить нелегко, хотя вы говорите об этом с таким пренебрежением. Потерпи вы с мое, вы бы, может, запели иначе. Да, я вор — ополчайтесь на меня за это! Но, клянусь господом богом, я вовсе не исчадь ада. Знайте же, что есть у меня своя честь, не хуже вашей, хоть я и не хвастаю ею с утра до вечера, словно чудом господним. Нет в этом ничего примечательного, и я держу свою честь в суме, пока она мне не понадобится. Смотрите, вот вам пример: сколько времени я провел здесь с вами, в вашей комнате? Разве вы не ска-



зали мне, что одни в доме? А эта золотая утварь! Вы сильны духом — допускаю, но вы старик, безоружный старик, а у меня с собой нож. Что стоит мне разогнуть руку в локте и всадить вам клинок в кишки, а там ищи меня по всем улицам с вашими кубками за пазухой! Думаете, не хватило у меня на это смекалки? Хватило! А все-таки я от этого отказался. Вот они, ваши проклятые кубки, целехоньки, как в ризнице. И у вас сердце отстукивает ровно, как часы. А я сейчас уйду отсюда таким же бедняком, каким и вошел, с единственной беляшкой, которой вы меня попрекаете. И вы еще говорите, что чувство чести мне неведомо — да разразит меня бог!

Старик поднял правую руку.
— Знаете, кто вы такой? — оказал он. — Вы разбойник, милейший, бесстыдный и бессердечный разбойник и бродяга. Я провел с вами только час. И поверьте мне, я чувствую себя опозоренным! Вы ели и пили за моим столом, но теперь мне тошно видеть вас. Уже рассвело, и ночной птице по-

ра в дупло. Пойдете вперед или за мной?

— Это как вам угодно, — сказал поэт, вставая со стула. — В вашей порядочности я не сомневаюсь. — Он задумчиво осушил свой кубок. — Хотел бы я уверовать в ваш ум, — продолжал он, постучав себя пальцем по лбу, — но годы, годы! Мозги плохо работают, размягчаются.

Из чувства самоуважения старик пошел вперед; Вийон последовал за ним, посвистывая и заткнув большие пальцы за кушак.

— Да смилуется над вами господь, — сказал на пороге владетель Бризету.

— До свиданья, папаша, — ответил ему Вийон, зевая. — Премного благодарен за холодную баранину.

Дверь за ним захлопнулась. Над белыми крышами занимался рассвет. Студеное, хмурое утро привело за собой пасмурный день. Вийон стал посреди улицы и потянулся всем телом.

«Нудный старичок, — подумал он. — А любопытно, сколько могут стоять его кубки?»

Перевод с английского Ив. КАШКИНА

го родственника. Де Ре, хотя и старался показать себя набожным католиком, беззастенчиво грабил окрестные церкви. Герцог Бретанский не желал содействовать независимости и чрезмерному усилению представителя дома Лавалей. Король стремился навести порядок в королевстве и подчинить своей юрисдикции тех, кто ставил себя выше закона.

Епископ, герцог и король объединились. И тогда-то слухам и жалобам, до которых раньше никому не было ни малейшего дела, дали законный ход. Используя поддержку герцога Бретанского, в 1440 году приехавшего в Нант, епископ, бывший его двоюродным братом и канцлером, возбудил против маршала Жилья де Ре судебное преследование.

Обвинение было темным и необычным. Городская стража задержала старуху, по имени Мефре, оказавшуюся доверенным лицом маршала. Мефре много лет бродила по окрестным деревням и селам, отыскивая детей. Она подбирала мальчишек, просивших милостыню, сманивала маленьких пастушков и уводила всех в замок сеньора де Ре. Оттуда никто из детей никогда не возвращался. Но так как они принадлежали бедным родителям, а то и вовсе были сиротами, их исчезновение не возбуждало шума, тем более что крепостные мужики как огня боялись своего внешне обходительного господина. Но затем стали пропадать и городские дети, причем даже дети из почтенных зажиточных семейств. Тогда-то по многочисленным доносам и взяли старую Мефре.

По просьбе епископа герцог Бретанский выступил как возбудитель дела. Трибунал был составлен из епископа, доверенного лица герцога, викария инквизиции и королевского судьи. Уверенный в своей победе, сеньор де Ре без сопротивления отдался в руки судебных властей.

Начало процесса казалось весьма благоприятным для маршала. Он держался спокойно,

даже насмешливо, а речь его была вполне логична. Дети? Да, всем известно, что благочестивый сеньор де Ре любил церковную музыку и содержал большую капеллу мальчиков. Все помнили, что, даже отправляясь в походы, он возил за собою орган и детский хор. Куда они девались потом? Этого он не знает и не может знать. Мальчики вырастали и уходили, на их место нанимали новых.

Сеньор де Ре ехидно улыбался.

А потом он вынужден отвести состав суда. Судьи — его личные враги. Они не могут быть беспристрастными...

Все это выглядело довольно убедительным. Тогда были выпущены на арену главные силы. И тут нервы обвиняемого не выдержали... Жиль де Ре мог отвести состав суда. Но он не мог отвести толпу свидетелей: замковых слуг, знатных и незнатных горожан, бедных крестьян — всех, кто вынужден был молчать более десяти лет подряд, а теперь получил вдруг слово... Страшным, неповторимо страшным было это слово. Жуткие, отвратительные подробности развернулись перед судьями и зрителями. Рывдания потрясли зал суда. И тогда вдруг слезы показались на лице подсудимого. Это красивое холодное лицо исказила гримаса боли. Жиль де Ре плакал...

...Он признался во всем. Он говорил, говорил без конца, захлебываясь и как бы опасаясь, что ему не дадут высказаться. Он уточнял показания свидетелей, дополнял потрясающие картины новыми и новыми штрихами...

Это началось четырнадцать лет назад. Четырнадцать лет прошло с тех пор, как де Ре впервые увлекся черной магией. Он имел много, но желал еще большего. Он хотел иметь знания, деньги, могущество — могущество без предела. Бог не был способен дать все это. Надо было обращаться к дьяволу. И сеньор де Ре стал страстно взывать к Вельзевулу. Он нашел помощников. Из Италии к нему приехал молодой

священник, уверявший, что может вызывать темные силы. Другой маг прибыл из Англии. Трудно иметь дело с дьяволом. Попробуй отыщи к нему подход! Разными путями пытались расположить к себе нечистого новые компаньоны. Читали даже в честь его христианскую литургию. Не помогло. Тогда решили, что надо принести жертву...

В один прекрасный день торжествующий маршал доставил своим помощникам отрубленную руку, сердце, глаза и свежую кровь ребенка...

Вначале, рассказывал Жиль де Ре, убивать было трудно. Но потом пошло по-иному. Потом он стал находить в этом все большее развлечение. Он резал детей собственноручно. Он сделал из убийства театральное зрелище. Растягивал удовольствие и внимательно следил за агонией жертвы. Подобно вампиру, припадал к ней, чтобы лучше ощущать предсмертную дрожь. Стоны умирающего ласкали злодею слух, конвульсии веселили сердце...

...Специальная комиссия ездил по указанным адресам. Во дворе замка Шантосе обнаружили большую бочку, доверху наполненную обгоревшими детскими костями. Кости разложили и подсчитали: здесь было зарезано около сорока детей. Эти страшные реликвии отыскивали и в отхожих местах замка Сузы, в Тифаге и Машекуле, повсюду, где странствовал кровавый сеньор. Хирурги сбивались со счета. Сколько всего было жертв? Сто пятьдесят? Двести? А может быть, и больше. Сам де Ре уже точно не помнил. Он не вел списка убитых...

Служа дьяволу, Жиль де Ре не отвернулся и от бога. Он свято верил в него — организовывал многочисленные службы и процессии. На суде он уверял всех и каждого, что не опасается за свою душу: она-де прямоком попадет в рай, обитель вечного блаженства...

...Трибунал единогласно приговорил изверга

к сожжению на костре. Но Жиль де Ре избежал пламени. Он был слишком знатен, чтобы умереть таким образом. На костер можно было отправить бедную крестьянку Жанну д'Арк, но не могущественного маршала Франции.

20 октября 1440 года Жиль де Ре возвели на эшафот близ Нантского моста. Эшафот был обложен дровами. Но их так и не зажгли. Маршала удушили веревкой, а тело его, омытое благочестивыми монахинями, достойно похоронили в кармелитской церкви, быть может, той самой, которую некогда покойный разорил и ограбил...

Милосердие святой церкви в отношении к сильным мира сего поистине беспредельно.

Так закончил свои страшные дни знаменитый «вампир из Машекуля».

«Но при чем же здесь «Синяя борода»?» — спросит читатель. Этого прозвища мы не находим ни в протоколах суда, ни в других современных источниках. Так окрестила Жиль де Ре историческая традиция. Почему? Это объясняют по-разному. Бернард Шоу, например, высказывает мнение, что сеньор де Ре отпускал бородку, которую подкрашивал синей краской. С этим вряд ли можно согласиться хотя бы потому, что во времена Карла VII все без исключения благородные сеньоры начисто выбривали щеки и подбородки. А потом, почему синяя краска? Более правдоподобно объяснение Анатоля Франса, повторенное Лионом Фейхтвангером. Согласно их мнению, волосы маршала де Ре были иссиня-черными и такими густыми, что вопреки всем стараниям его брадобрее синева постоянно проступала...

Как бы то ни было, именно этот признак сеньора де Ре показался потомству особенно жутким. Им и наделила сказка прославленного убийцу.



Георгий Гулиа

**Заветное слово Рамессу
Великого**

Его высочество принц Мернепта подошел к тяжелым резным дверям и остановился, словно не решаясь переступить порога. Два рослых нубийских стража почтительно расступились перед ним.

— Джау, — сказал принц жрецу Амона, другу детства, — подожди меня. Вот здесь.

Принц указал на низенькую скамью из эбенового дерева. Жрец кивнул. Это был знак согласия. В то же самое время это было благословение. Это был кивок друга. Это было безмолвное «иди!» духовного пастыря. Уже

стареего жреца. Стареегому шестидесятипятнадцатилетнему принцу.

И когда он открыл тяжелые двери и когда он вошел в просторный зал — благой бог, его величество Рамессу Второй Усермаат-ра-Сотепен-ра восседал на троне прямой, как в молодости, и, казалось, неукротимый, как во все годы шестидесятисемилетнего царствования.

В зале не было никого, кроме принца и фараона. В зале не было даже лучей солнца, которое еще не успело взойти. Ибо прежде него всегда бывал на ногах благой бог, его величество Рамессу Второй Усермаат-ра-Сотепен-ра. Так было заведено от начала этого великого и беспримерного царствования бога-героя, сокрушителя азиатов, ливийцев и многочисленных морских разбойников — шерденов, грозы Нубии и Эфиопии, чей взор достиг пределов Офира и Пунта.

Фараон держал в руках знаки своей безграничной власти. Его дыхание слышали в Дельте, за порогами Хапи, далеко в Нижнем Ретену и пустыне Запада. Царь хеттов внимал его слову. Львы дрожали в песках при одном его появлении. Пыль курилась дымком на вершине пирамиды Хуфу, когда благой бог изволил говорить в полный голос.

Крючкообразный посох фараона светился множеством разноцветных финикийских камней. Многохвостая плеть в руке его была точно радуга на небе.

Принц почтительно подошел к отцу. Поцеловал его левое плечо. И стал слева. Фараон улыбнулся одними губами, посмотрел на принца одними глазами, не поворачивая головы.

И увидел принц, что в глазах его величества — здоровье, на щеках его — сила и на губах его — любовь к сы-

ну. На сухих губах, которым уже девяносто лет, три месяца и двадцать один день.

Шестидесять пять лет глядит на эти губы, на этот подбородок принц Мернепта. Двенадцать старших братьев его, двенадцать принцев так и не дождались престола. Они умирали один за другим. Во цвете лет. Полные сил. От болезни или вражеских мечей. А бескрайний Египет пребывал во власти старого фараона — жизнь, здоровье, сила! — старого, очень старого бога. Вот состарился и тринадцатый сын, а его величество все на престоле.



И враги этой земли потирают от удовольствия руки, ибо владыка — тень того молодого Рамессу Второго, героя битвы при Кодшу, попиравшего стопую своей страны и народы...

Не предложил на этот раз фараон своему сыну ни скамьи, ни циновки у своих ног. И принц продолжал стоять на ногах, чтобы выслушать снова благого бога.

А когда его величество открыл уста, когда он вдохнул побольше воздуха в грудь, чтобы легче было говорить, Мернепта вдруг увидел перед собой старого, очень старого человека, ко-



тому легче было сидеть вот так, ровно, с посохом и плетью, нежели произнести несколько слов.

Принц был любящим и почтительным сыном. Он хорошо знал, чья кровь течет в его жилах, знал, что вся великая страна внимает каждому слову своего фараона и слово фараона есть камень с нубийских гор. И тот, кто сидел сейчас там, за дверью — верный Д ж а у, — тоже знал, сколь крепка десница фараонова и сколь твердо его слово, летящее, как птица, во все концы египетской земли...

Фараон начал медленно, внятно. Правда, негромко, но так, словно вокруг

находились военачальники, готовые к штурму вражеской крепости. И речь его была ясна, как небосклон в это раннее утро, когда солнце только-только начинает свой путь в сторону Западной пустыни.

— Сын мой, — сказал его величество, — есть вещи, которые доподлинно должны быть известны владыке этой земли, если он действительно хочет быть владыкой, а не щепой на высокой воде Хапи. У настоящего владыки глаза должны быть открыты. — Это так, — подтвердил принц.

— Я желаю, сын мой, чтобы ты всегда стоял на верном пути, а наша страна благоденствовала вечно. Если я не скажу тебе правды, — беда нам, беда Египту. Простолюдин скажет неправду семеру, семер скажет неправду тебе, а ты мне скажешь неправду — что же тогда будет? Столько неправды даже великая пирамида не выдержит. — Это верно...

— Я предпочитаю иметь против себя десять тысяч шасу с обнаженными мечами, нежели одну неправду, которую сообщит мне джати из любви ко мне.

— Это верно...

— Поэтому я желаю посвятить тебя в тайну, которая стала тайной благодаря моему величию и низости моих писцов. — Фараон вздохнул. — Что ты знаешь, сын мой, о битве при Кодшу?

Принц удивился. Что он знает о битве при Кодшу? О той самой, которая прославила Рамессу Второго? Что он знает о битве?.. Принц был озадачен...

— В этой битве, — сказал он, — благой бог, его величество Рамессу Второй Усермаат-ра-Сотепен-ра — жизнь, здоровье, сила! — разбил царя хеттов Метеллу, один выстоял против азиатов, один повергнул во прах

своих врагов и ступил на землю Египетскую, как властитель вселенной.

Это был официальный ответ. Такова была формула, которая точно и сжато выражала официальную версию битвы при Кодшу — величайшей, которую когда-либо вел Рамессу Второй.

Фараон усмехнулся. Уголками губ. Едва заметно. Не глядя на сына. И покачал головой, как бы выражая сомнение в том, о чем говорил принц, как бы желая опровергнуть все слова принца. Фараон сказал:

— Нет.

Хотя это «нет» и было произнесено спокойно, негромко, принцу показалось, что обвалился потолок. «Что слышат мои уши?» — подумал Мернепта.

— Я скажу тебе нечто, — бесстрастно продолжал фараон, — нечто такое, что сослужит тебе хорошую службу на троне. Я скажу тебе нечто, что сделает тебя воистину великим. Выше меня. Чтобы великим ты был сам по себе, а не двойник твой, созданный моими слугами для сказок и песен.

Мернепта казался смущенным. Неужели фараон решил покрыть позором свое имя, отрицая величайший из своих подвигов?..

— Я скажу тебе о битве, сын мой, скажу о битве, сделавшей меня солнцеподобным в глазах смертных. Но я расскажу тебе правду о битве при Кодшу. И эта правда сделает тебя достославным из всех фараонов, сидевших на троне Верхнего и Нижнего Египта... Да, я осадил этот город, который на дороге в Нижний Ретену. Я осадил его. Я подошел к стенам Кодшу, пройдя через пустыню с моими отрядами, дыша песком и размалывая песок на зубах. И в глазах моих был песок, и я смотрел через камни, кото-



рые были в моих глазах. И веки мои покраснели и чуть не кровоточили. Но я шел вперед во главе отряда Амона, а за спиной у меня были отряды Ра, Пта и Сутех. Я несся, как птица Нехебт, потому что был молод и не знал усталости, и не было золота на коже моей и в крови моей, как сейчас.

Фараон говорил медленно, словно беря свои силы, что было не удивительно в его девяносто лет. На лице его было золото, и в крови его было золото. А в глазах горел огонь: это жар сердца изливался через них.

— А когда я подошел к стенам Код-

шу, я не увидел Метеллу-азиата. Войско его скрылось, точно мышь при виде тигра. И я приказал разбить лагерь и расставить вокруг боевые колесницы. Но вот откуда ни возьмись кинулись на нас азиаты и смяли они мой лагерь. И я оказался один против врага... Это правда.

— Знаю, — сказал Мернепта.

— Ты ничего не знаешь, — проговорил фараон, по-прежнему глядя прямо перед собою и словно в воздухе читая тайные письмена. — Ты не знаешь всего, но тебе даны уши, чтобы ты услышал то, что услышишь... Да



будет тебе известно, что в тот день я бился как лев. И одним глазом смотрел на Юг. Я смотрел на Юг, и не видел пыли, и не видел войска моего. А вокруг были враги. Напротив, на том берегу Оронте, стоял сам Метелла и с ним войско — восемь тысяч пращников, тяжело вооруженных, и лучников тоже. Метелла стоял на том берегу и ждал моей смерти.

Принц поднял руку, желая показать, что крайне неприятно слышать о смерти истинного льва, если даже речь идет о прошлом.

— Ты слушай, слушай, — строго ска-

зал фараон. — Ты узнаешь истинную правду о битве, которая удивила мир, живущий под солнцем. И нет человека в мире, который не знал бы о той победе, и не было победы без меня.

Принц наклонился и поцеловал руку фараона, сухую, как пальмовая кора. — Но, сын мой, если бы кто-нибудь из моих военачальников одержал именно такую победу, какую одержал я, приказал бы казнить без промедления. Слышишь?

— Слышу, — ответил принц.

— Понимаешь меня?

— Нет, — сказал принц.

Фараон почему-то глотнул воздуха. Как рыба на песчаном берегу. Он сказал:

— Дело в том — и ты запомни это, — что я проиграл битву при Кодшу. Я едва унес ноги. И слезы бессилия стояли у меня в горле. И сухие были глаза. Я до сих пор не уразумею: почему Метелла не убил меня? Почему не преследовал и не связал меня, как пленника? Я не был в Кодшу. Не взял его. Потому что не смог. Видел его только вблизи, как вижу тебя. Когда я унес ноги с поля боя, когда увидел над собою штандарты отряда Ра и Метелла предложил мир, я сказал себе: это Амон-Ра дарует мне жизнь и отвращает от меня позор!

Мернепта стоял, скрестив руки, и глядел себе на кончики сандалий. Его смущала эта откровенность отца, и он не знал, как ему поступить.

— А когда я вернулся к нашей благодетельнице Хапи, — продолжал фараон, — и умыл лицо ее божественной водой, трубы играли победу, а писцы и ваятели уже прославляли меня на все лады. И семеры лизали мне руки, как псы. Битва при Кодшу была возведена всему миру, и я был воз-

несен выше небес. И я стоял рядом с солнцем, которое на небе, и братом моим был Амон-Ра. Жрецы не жалели в храмах благовоний, которые из Пунта и Офира. На храмах высекались победные надписи — от пола до потолка. А те, кто знал правду, были сосланы на рудники в Нубию, и они подохли, как голодные шакалы. И живописцы. И писцы... Вот как все было...

Фараон передохнул. Он посмотрел в решетчатое окно и заторопился:

— Зачем я все это говорю тебе, принц Мернепта?

Тон был особенно сухой. Официальный.

— Не знаю, — глухо сказал сын.

— Чтобы остерегался лгунов и вертящих хвостами добрых собак, — сказал фараон. — Они могут погубить наш великий дом и запросто отдадут страну врагам нашим. Ты слышишь меня?

— Да, — ответил принц.

Фараон прикрыл глаза и тихо сказал: — Иди.

И указал плетью на дверь.

Мернепта вышел из зала, и нубийцы прикрыли за ним двери, тяжелые, точно каменные плиты.

Джау нетерпеливо бросился к нему.

— Что случилось? — спросил он. — И отчего ты так задумчив?

Принц отвел его в сторону, к большому окну, из которого был виден весь двор и Дельта была как на ладони. Солнце вставало за просторами азиатскими, и поднимался пар над рекой.

— Джау, — сказал принц, — он был слишком откровенным.

— Так.

— Он оказал, что битву при Кодшу проиграл...

— Так.

— ...а не выиграл.

— Скорей! — крикнул Джау и побежал в зал, увлекая за собой принца.

А когда они добежали... Когда они приблизились к трону, благой бог лежал, запрокинув голову и опустив руки, из которых выпали знаки царственной власти. Золото, золото покрывало лицо фараона, и он уже был подобен мумиям, которые в пирамидах.

— Вознеслась душа, — проговорил жрец.

Принц стоял в полной растерянности.



И он услышал, как сквозь стену, слова Джау, обращенные к новому фараону:

— Твое величество, свершилось предначертанное. И это должно было быть именно так, ибо откровенность его была чрезвычайной. Так может говорить благой бог только перед смертью. И он хотел помочь тебе, потому что был великим воином!

— Ты так думаешь? — спросил Мернепта.

Жрец промолчал.



Ирвинг Стоун
Биографическая повесть

Лекция, прочитанная в Оксфордском университете.

Печатается с сокращениями.

Биографическая повесть — это правдивая и подтвержденная документами история одной человеческой жизни, в которой поставляемое жизнью сырье преобразовано автором в подлинно художественное произведение.

В основе этого жанра лежит убеждение, что самый лучший поставщик сюжетов — человек, а жизнь человека в этом смысле — неисчерпаемый источник. Прежде всего следует исходить из предположения, что подлинные истории могут быть по меньшей мере столь же правдоподобны и интересны, как и вымышленные. Александр Поп сказал, что человек — лучший объект для изучения истории человечества. Биографическая повесть подтверждает правильность этого положения, так как сюжетная линия ее определяется выбором героя, жизнь героя — это и есть развитие действия произведения, а выполнение героем своей миссии является разрешением проблем в целом.

Биографическая повесть — детище не только своих родителей биографии и повести, но и в не меньшей мере своей бабки — истории.

У автора подобных произведений большая, чем у просто биографа, свобода интерпретации, почему и у читателей их — шире возможность получить более субъективное представление о человеческих побуждениях. Если же при этом наблюдается кажущаяся тенденция к упрощенчеству, то это процесс примерно того же порядка, что и процесс, происходящий в нашей памяти: когда мы мысленно охватываем свое прошлое, то девять десятых происшедшего выпадает из нашей памяти, а помним мы только «выжимки», в которых-то и заложен подлинный смысл. Ибо биографическая повесть построена не только на фактах, но и на чувствах — на вполне законных эмоциях, возникающих в ходе драматического повествования, факты могут быть утрачены с почти невероятной легкостью, но однажды пережитое душевное волнение не забывается никогда. Его невозможно искус-

венно восстановить для того, чтобы подогреть интерес читателя.

В то время как, работая над собственной биографией, автор ее исходит исключительно из ценности данного индивидуума, сопровождая свой рассказ деталями, необходимыми по ходу действия, именами, датами, описанием места действия, биографическая повесть естественно и органически возникает из конфликтов между человеком и самим собой, человеком и человеком и человеком и судьбой. Поскольку однажды приобретенный эмоциональный опыт остается навсегда, цель таких произведений — введение читателя в самую гущу эмоциональных переживаний, поданное таким образом, что читатель воспринимает их как свои собственные. Ибо чувства обладают и памятью и мудростью, которых зачастую не хватает холодному разуму. Собственно биография и собственно история как бы оставляют читателя в стороне: происходящее на их страницах случилось давно и — с другими людьми. Читатель же биографической повести из стороннего наблюдателя превращается в участника происходящего. Он начинает заново переживать историю, точно первый ее инцидент начался именно с того момента, когда читатель раскрыл книгу.

Популярность этого жанра объясняется, по видимому, тем, что читателю их разрешается самым непосредственным образом участвовать в истории, перевоплощаться в одного из ее ведущих героев, становиться ее движущей силой. Именно таким образом история для него обращается в современность, как это и должно происходить на самом деле.

Поэтому процесс чтения этих книг и процесс развертывания в них действия становятся почти синонимами, читатель за сравнительно короткий срок может прожить тысячу жизней. В этом и заключено основное достоинство этого жанра. В этом его обаяние и надежда на то, что жанр этот сохранит за собой место на литературном Олимпе.

Первое правило, предъявляемое автору био-

графической повести, состоит в том, что историю он не должен рассматривать как свою служанку, она, по сути, является его хозяйкой. Ценность книги здесь находится в прямой зависимости от ценности ведущегося в ней исследования. Если исследовательская работа проведена глубоко и честно, то и книга будет глубокой и честной, если же исследование поверхностно, мелко, уклончиво, обнаруживает тенденцию к сенсации, то и книга получится поверхностная, мелкая, уклончивая, сенсационная.

Не каждая жизнь приемлема для этого жанра. Мы знаем много жизней — значительных и важных по своим результатам, — которые в то же время расплывлены настолько, что их нельзя уложить в рамки биографической повести. И наряду с этим есть и такие жизни, чьи герои как будто постоянно думали о том, что они участвуют в построении драматического произведения.

Хотя автор биографической повести имеет вполне законное право отыскивать и выбирать по своему усмотрению биографии, которые могут послужить материалом для хорошей книги, он не вправе опускать очевидные факты такой биографии в угоду задуманной им сюжетной линии. Писатель, который вынужден коверкать или перекраивать историческую правду для того, чтобы получить то, что он считает приемлемым или пользующимся спросом, совершает трагическую ошибку, посвятив себя этому жанру.

С другой стороны, автор биографических повестей, становящийся на позиции моралиста или политика, превращается в публициста. Мы уже наблюдали печальный опыт американских авторов биографических повестей, которые по-своему перекраивали историю, с тем чтобы заставить ее служить своим выкладкам. То, что получалось в результате такой переделки, не стало ни биографией, ни повестью, а просто пропагандой.

Биографии обычно бывают богаты материалами, которые могут служить различным целям, и биографическая повесть, как ни молод

еще этот жанр, не защищена от авторов, которые могут использовать эту форму не надлежащим образом.

Впрочем, такая же опасность грозит любому роду искусства.

Не многие могут писать одинаково хорошо и глубоко о различных предметах. Мудрость автора проявится в поисках истории такой жизни, которая тронет его и которую он, по его мнению, в силах ярко воплотить. Если же автор недостаточно ознакомился с материалом до того, как он приступил к работе, или же если он вообще в нем не разобрался, то результат возможен один: произведение получится фальшивое, клочковатое, или — в лучшем случае — это будет унылая жвачка. Как же читателю, не знакомому с данной областью, отличить честную повесть от бесчестной, полновесную — от содержащей набор отрывочных сведений? Как ответить на вопрос: многое ли из этого правда?

Только убедившись, что биографическая повесть подтверждена, как и большинство исторических трудов, документами и документы эти столь же добросовестно интерпретированы.

Автор биографической повести должен быть и биографом, работающим над собиранием материалов о человеке или о группе лиц, преодолевать сложную технику систематизации этих материалов, научиться улавливать и плести нить этой фабулы, разрабатывая в каждом отдельном случае особый стиль и особую манеру, чтобы выделить именно эту одну данную историю из всех сотен миллионов прожитых житейских историй.

Автор биографической повести должен превратиться в научного исследователя в не меньшей мере, чем врач в своей медицинской лаборатории.

Хотя исследование столь же увлекательное занятие, как решение кроссвордов или разгадывание криминальных загадок, это, кроме того, еще и тяжелый труд, достаточно изматывающий и очень ответственный. Исследователь иногда терется в лесу фактов. Приме-

няя метафору, можно сказать, что произведения этого жанра должны строиться наподобие айсберга — одна девятая часть ее должна быть над поверхностью литературной ватерлинии, а восемь девяток — под нею. Если автор на знает в девять раз больше того, что он пишет, напечатанное будет выглядеть крайне жидким: ибо те восемь девяток, которые он не открывает, именно и дают возможность создать целое, насыщают страницы необходимым ароматом, именно тем неуловимым ароматом, который заставляет читателя чувствовать себя свободно и легко.

Каждая вышедшая в печать страница должна не только обладать ароматом цветка, но еще и быть осязаемой, как плод. Именно исследовательская часть работы и придает страницам биографической повести полновесность, а та, в свою очередь, позволяет читателю почувствовать, что именно этот литературный плод имеет здоровое ядро и, оставленный на литературном прилавке, надолго сохранит свою свежесть.

Автор биографических повестей должен быть непоколебимо убежден в том, что правда рано или поздно — но обнаружится, и поэтому, когда он найдет три различные версии одного и того же события, да еще сопровождаемые тремя различными подборками дат и обстоятельств, он, не опуская рук, должен верить, что, продолжая поиски, он найдет и четвертую — подлинную версию, подкрепленную подлинными документами.

Один из самых блестящих исторических исследователей Америки, Чарльз А. Берд, помогая мне в разрешении одной запутанной проблемы, сказал: «Каждый день я нахожу в новых источниках материалы, которые опровергают что-либо из того, во что я верил тридцать лет».

Для автора биографической повести история не гора, а река. Даже тогда, когда уже нет возможности отыскать новые факты, существует новое, свежее восприятие, более современная интерпретация, которая озаряет старую историю новым светом и придает ей

новый смысл. Поэтому-то и следует помнить, что автор биографической повести, так же как и археолог, не просто человек, вооруженный киркой или лопатой. Пот, выступающий у него на лбу, и волдыри на ладонях — это только самые примитивные приготовления к настоящей работе, к которой он только-только приступает, ему предстоит еще и интерпретация этих вновь открытых материалов.

Меня постоянно поражает то обилие лжи и полуправды, которое с завидным спокойствием расположилось на страницах исторических произведений. Меня также поражает тот факт, что целые исторические периоды, даже периоды истории Америки, относящиеся ко времени Гражданской войны и к началу двадцатого столетия, представляют иной раз частично, а то и целиком неисследованные области. Вот именно здесь и заложены неиссякаемые возможности для писателя, посвятившего себя жанру биографической повести: именно здесь он с его страстью и энтузиазмом, с его свежей точкой зрения сможет заменить сакраментальное «Это ложь!» утверждением «Это правда!». И одновременно с этим осветить те участки истории, которые преданы забвению либо из-за простой небрежности, либо за отсутствием смельчака, который взялся бы за это дело.

Из числа моих работ я могу в качестве примера привести истории Юджина А. Дебса, Речел Джексона и Мэри Тодд Линкольн. Все мои попытки пробиться сквозь джунгли предвзятых мнений и прийти к благожелательному, но, с другой стороны, здравому выводу наталкивались не только на оппозицию, но и на насмешки. Люди так же неохотно расстаются со своими предрассудками, как и с любимым своим достоянием.

И наконец, автор должен глубоко уверовать в то, что «в начале была Книга», он должен любить книгу с неослабевающим жаром, потому что ему предстоит большую часть своей жизни проводить, уткнувшись носом в ту или иную книгу. Некоторые из них по-

требуют с его стороны пристального внимания. Ему придется изо всех сил напрягать зрение, разбирая мелкую печать, преодолевать головную боль, вызванную мельканием пожелтевших страниц, разбирая дневники, потому что чернила, которыми они были написаны, уже выцвели от времени. Более того — он должен не пугаться бездонных глубин Мертвого моря писанины, которая свернет челюсти любому, кто неосторожно возьмет ее прочесть все это вслух.

Мне хотелось бы перечислить несколько лекарств от всех этих бед.

Автор, решивший, что он собирается писать биографическую повесть о жизни Леонардо да Винчи или об Александре Гамилтоне, должен месяцев на шесть, а то и на год выбросить из головы мысли о том, что он писатель, и превратиться в книжного червя. Он должен перечитать все книги и статьи о своем герое, изучить его труды по искусству или машиностроению, разыскать любое печатное упоминание об этом человеке или о его работе. Он должен перечесть все письма, которыми герой его обменивался со своими современниками, все его личные записи, дневники, мемуары; если же это героиня — автор должен ознакомиться с удивительными признаниями, которые обычно содержатся в дневниках, запертых в средних ящиках письменного стола. Если же герой жил в более позднее время, автору придется проинтервьюировать каждого участника драмы (независимо от того, сколь важную роль он играл) или вступить с ним в переписку. Наметив более или менее подробную схему жизни героя, автор должен отправиться в путь, чтобы собственными глазами увидеть места, где жил и действовал его герой, увидеть светившее ему солнце, землю, по которой ступала его нога, узнать, каков облик города или сельской местности, где жил герой. Это будет первая, так сказать, любовая атака.

Автору предстоит ознакомиться с социальной, психологической, духовной, эстетической,

научной и международной атмосферой, в которой его герой жил и под влиянием которой выработывалась линия его поведения. Чтобы создать верный фон своего произведения, ему придется перечитать все печатные источники того времени, то есть изучить множество деталей, которые всегда должны быть у него под рукой, чтобы полнее восстановить картину прошлого: как тогда одевались, какова была архитектура зданий и стиль мебели, как тогда обогревали дома, что покупали в лавках и т. д.

Когда автор проникнется духом эпохи, которую собирается отразить, он вскоре обнаружит, что из всего этого огромного и хаотического материала выкристаллизовывается определенная система, какие-то черты характера и действия, которые и создадут преобладающий тон и ритм истории, которую он намерен рассказать. Почти все биографии имеют собственную хитро запутанную сюжетную нить, вот автору и придется разобраться во всех этих хитросплетениях. Любая акция, возникшая не самостоятельно, а навязанная действующим лицам автором, всегда будет идти вразрез, мешать стройному построению повести.

И все же автор должен оставаться хозяином своего материала. Потому что после окончания исследовательской части работы автор должен посвятить столько же времени и энергии, сколько затрачивает обычный писатель, чтобы создать структуру, которая наилучшим образом подходит именно для той истории, которую он собирается поведать.

При этом все полученные новые сведения не должны становиться преградой между читателем и повествованием. Тут главной трудностью для автора будет то, что он должен инсценировать свою историю таким образом, как будто она происходит тут же — на глазах читателя; автор ни в коем случае не имеет права появляться в перерывах, чтобы сообщать читателю о том, что произойдет через два, двадцать или двести лет. Читателю не следует сообщать сведений, которыми не

располагают люди, разыгрывающие акты этой драмы. Исторические события должны разворачиваться перед читателем в том порядке, в каком они проходили перед героями книги. Все, что читатель может предугадать, должно быть результатом его собственных размышлений, а отнюдь не вмешательства автора, который путает и смешивает время действия. Если автор обладает долей мудрости (а по милости божьей и такие вещи случаются!), это проявится в самой природе его произведения, в отборе материала и расстановке его в повествовании, в понимании мотивов поступков его героев, а также в том искусстве, с которым он формует сырой, поставляемый ему человеческой жизнью материал.

Возможно, что беглое ознакомление с моими приемами и методом работы — начиная с «Жажды жизни» и вплоть до «Бессмертной жены» — поможет до некоторой степени осветить работу над этим все-таки еще только зарождающимся жанром литературы. С картинами Винченцо Ван-Гога я столкнулся впервые, когда один из моих настоячивых парижских друзей затащил меня на выставку. Увидев стены зала, завешенные сверкающими арлезианскими полотнами Ван-Гога, я испытал столь глубокое душевное волнение, которое можно сравнить только с ощущением, охватившим меня после прочтения «Братьев Карамазовых». Я покинул выставку с твердым намерением узнать, что же это за человек, которому удалось столь глубоко потрясти меня. Я прочитал всю имевшуюся о нем литературу на английском, французском и немецком языках. Возвратившись в Нью-Йорк, я проводил все вечера в публичных библиотеках на Сорок второй улице и на Пятой авеню за чтением трехтомника писем Винченцо к его брату Лео. Тогда я вовсе еще не собирался писать о Винченцо — я просто пытался его понять. Но проходил месяц за месяцем, и история Ван-Гога завладевала мною. В три часа утра я ловил себя на том, что, вместо того чтобы спать, я произношу диалоги между Винченцом и Лео или описываю смерть Вин-

ченцо в Овере на Уазе. Его испытания превратились для меня в одну из самых значительных в мире трагедий. К концу года, когда я обнаружил, что не в состоянии думать ни о чем другом, я решил, наконец, что напишу историю Ван-Гога хотя бы только для того, чтобы освободиться от нее.

Я родился в Сан-Франциско, где портрет двух убитых и повешенных за задние лапки кроликов считался произведением искусства, и моего багажа знаний было явно недостаточно для работы над книгой о художнике. Поэтому моей первоочередной задачей было прочесть все книги по искусству вообще и по современной живописи, какие только я смогу достать. А затем отправиться на поиски полотен, которые мне посчастливится повидать.

Я возвратился в Европу с рюкзаком за плечами и повторил путь Винченцо, спускаясь в шахты Боринажа, куда спускался и он, снимая его комнатку при булочной мадам Дениз, делая заметки о доме приходского священника, где Ван-Гог жил в Голландии. Я прошел пешком по югу Франции и работал в Желтом доме, жил в психиатрической больнице, куда поместили Ван-Гога, и, наконец, — спал в той же самой комнате и на той же постели в маленькой гостинице в Овере в четвертую годовщину его смерти.

Поскольку я и сам не имел представления, как следует писать биографические повести, то в первое же свое рабочее утро я сел за работу, положив перед собой на стол маленькую карточку, на которой я изложил четыре заповеди:

1. Драматизируй.
2. Масса диалогов.
3. Оживи всех действующих лиц.
4. Используй анекдоты и юмор.

Очевидно, было что-то дисциплинирующее в этом, потому что и сейчас — много лет спустя, когда я собственноручно исписываю по пятьдесят страниц планами, как должна быть написана моя новая книга и как она не должна быть написана, — обнаруживаю, что полученный мною конечный результат многие

считают отнюдь не лучше «Жажды жизни». Иногда мне приходит на ум: а не израсходовал ли я последние двадцать пять лет на формулировку требований, которые подсознательно понимал с самого начала?

Удивительным мне кажется и то, что я написал еще три собственно биографии и что только нелепый случай заставил меня вернуться к жанру биографической повести, в котором я добился такого удачного результата. В главе о Джоне К. Фремонте из моей книги «Они тоже баллотировались» (история людей, которые были забаллотированы на президентских выборах) я вновь встретился с именем женщины, в которую был влюблен еще в колледже и на чьем подобию я женился, — с именем Джесси Бентон Фремонт. И история Джесси завладела мною с такою же силой, как некогда история Винченца.

Весной 1943 года я составил для себя список из шестидесяти двух рецептов для «Бессмертной жены». Разрешу себе привести некоторые из них в качестве примера того, как один из авторов биографической повести понимает границы и объем своего задания.

Цитирую прямо по записям:

«Повествование должно развиваться быстро, гладко, лирично. Это история людей, а не просто история. На первом месте — люди, затем следует история. Это должен быть по меньшей мере наполовину диалог. Внутренние монологи Джесси и ее мысли подаются спокойно, приглушенно. Все должно смотреться ее глазами. Все герои должны жить остро и полноценно. Каждая сцена, каждое слово должно соответствовать тому времени. Каждый читатель должен чувствовать себя на месте Джесси. Панорама мира с 1840-го по 1900 год, меняющаяся на глазах Джесси. Ничто не описывается ради описания, только то, что видит Джесси, и то, что важно для ее жизни. Никаких перечислений фактов, все человечно. Материал новый, свежий, вместе с тем органически вплетающийся в ее жизнь. Юмор — в качестве постоянной закваски. Терпение при развитии и раскрытии основных

тем. Прежде всего — это любовная история. Постоянно меняющийся характер их любви, а в основном — неизменная любовь. Всегда третье измерение неудач, ошибок, человеческих бед. Четвертое измерение — мистическое: вера героев друг в друга и в мир, неумирающая надежда как источник человеческой жизни. Тщательная и пронизательная работа над осмыслением любви и брака. Придерживаться языка эпохи. Никогда не излагать историю целиком, всегда — эссе. Никогда не урезать материал. Яркие детали времени, богатые контрасты в перемене декораций: Вашингтон, Сен-Луи, Марипоза. Использовать интересную механику в подаче истории, а не просто вываливать факты. Должно охватить всю жизнь, одну — но как символ всего».

Долгие годы меня интересовал Линкольн, я изучил много материалов той эпохи и все же не мог составить себе о нем цельное представление, потому что всегда говорил себе: «Бедный Абрахэм Линкольн — он женился на Мэри Тодд».

После примерно десятилетнего инкубационного периода (большинство биографических повестей получаются приличными, если они проходят по меньшей мере пятилетний инкубационный период), когда я писал журнальную статью о женитьбе Линкольна, я вдруг набрел на странный источник, который в новом свете представил мне и женитьбу и роль мистера Линкольна в качестве супруга. И вдруг неожиданно для себя я воскликнул: «Бедная Мэри Тодд — она вышла замуж за Абрахэма Линкольна!»

И вот, начиная с этого момента, я смог вникнуть в смысл надписи, которую Абрахэм Линкольн выгравировал на внутренней стороне обручального кольца, купленного на площади в воскресное утро своего венчания: «Любовь вечна».

Кое-какие подробности о том, к чему я стремился прежде, чем начал IV главу, следующую за главой о женитьбе Линкольна, могут дать некоторое представление о тех десяти тысячах вопросов, которые вынужден задавать

себе автор биографической повести, ибо любопытство его должно быть ненасытно:

«Какие перемены произошли в Мэри, в Абрахэме Линкольне? Сколько времени провел Абрахэм с нею? Где в отеле была расположена комната Мэри? Окнами на двор или на улицу, боковая она или угловая? Бывало ли в ней солнце? Тепло ли было в ней или холодно? Переставляла ли Мэри обстановку по своему? Или оставила так, как было? Каких размеров была комната? Была ли она побелена или оклеена обоями? Сколько времени Мэри проводила в комнате? Потребовала ли она лично для себя что-либо из мебели, например столик для чтения? Прикупила ли она что-нибудь из мелочей, например лампу? Как проводила она время по утрам? Читала? Шила? Писала письма? Какое было обслуживание в гостинице? Как устраивала Мэри свои денежные дела? Давал ли А. ей деньги для определенной цели: на лекарства, покупку материи для платья и т. д.? Были у Мэри какие-нибудь карманные деньги? Приходилось ли ей расплачиваться в лавках наличными или им был открыт кредит? Если Абрахэм проявлял стремление к экономии, продолжала ли она тратить деньги или следовала его советам? Бывали ли у Мэри в отеле посетители? Позднее ее обвиняли в скарденности, но если это так, то не научилась ли она экономии от А.? Где находилась в «Глобусе» столовая? Велика ли она была и как была обставлена? Предлагал ли Линкольн обедать за общим столом или у них был маленький отдельный столик на две персоны? Кто сидел по соседству или против Линкольнов? Нам известна чета Бледстоу — на каком пианино и что за произведения играла миссис Бледстоу? Случалось ли ей приглашать сыграть и Мэри?»

Готовясь к двум последним главам, я составил для себя длинное наставление. Вот наиболее типичные строки из него:

«Добиваться простоты и сохранить простоту. Описывать только симптоматические сцены, убыстряя шаг и темп: отдаленные сцены — в перспективе всегда видятся укороченными.

Не излагать истории Гражданской войны целиком, а вводить только те ее элементы, которые отразились на жизни Белого дома. Избегать называть лишние имена, избегать принимать чью-либо сторону, избегать предубеждения и жестокости. Пробуждать не ненависть, а сочувствие и понимание. Не перебарщивать, описывая печаль, не переигрывать в эмоциях. Не передергивать карт ни за, ни против Мэри. Оставить автора в стороне, пускай рассказ течет сам собой».

Но кроме требований, применимых в отдельных случаях, я отобрал такие, которые могут пригодиться для всех биографических повестей:

«Не пользоваться опрометчиво именами, которые могут пригодиться в другом месте. Не выносить из прочитанного ранее никаких канонов или предвзятых мнений. Никаких затасканных или разработанных заранее «теорий, под которые должны подпадать все исторические события». Никакой подтасовки имен, автор не должен выражать ни своих симпатий, ни своих антипатий, они только сбивают с толку читателя. Никаких скидок на вкусы, мнение, образование читателя. Не писать для какого-то одного класса, возраста или географической группы. Никакого осуждения людей или событий. Расставь их соответствующим образом в повести — и бог им судья. Не выискивать сенсаций ради сенсаций и никакого философствования. Никакого утаивания важных показаний, никакой лжи, никакого надувательства читателей. Никакой скуки. Никакого стремления к дешевым эффектам, не проявлять злости или ненависти. Никакого запугивания. Следить за пропорциональным распределением материала и уравнивать его. Никакой диспропорции в привлечении материала, который мне случилось знать лучше. Не обременять себя наследием чужой ненависти, предвзятости, ослепления. Никакого бравирования деталями. Никакой позы, никакого стремления показать: «Глядите, что я знаю!» Никакого стремления к новизне ради новизны. Никакого доктринерства. Не втискивать ма-

териал в рамки одной какой-либо школы или доктрины. Никаких спорных или неясных мест. Никакой летаргии. Никаких ласковых фраз: место необходимо для строгих линий. Никакого хождения по избитым тропам. Не нужно пользоваться материалом, который не умещается в плоти книги».

Вследствие очень юного возраста биографической повести пока велось еще мало дискуссий относительно ее отличительных черт, ее силы, а также ее ограниченности. Является ли она историей, биографией или повестью? Или она не подходит ни под одну из этих трех рубрик? Или подходит под любую из них? В настоящей статье я хочу положить начало критике, основным суждениям, на которых можно строить оценку биографической повести. Все это делается в надежде на то, что высказываемые здесь положения претерпят ряд изменений, будут расширены, исправлены дальнейшими работами в этой области.

Профессор Карл Бодэ из Мэрилендского университета в первой серьезной печатной работе, посвященной биографической повести, говорит: «За последние десять лет несколько одаренных людей прилагают максимум усилий для того, чтобы сделать из биографической повести порядочную женщину. В этом направлении достигнуты значительные, но все еще недостаточные успехи. Биографическая повесть до сих пор ходит по своим, ей одной известным тропам, в ветхих лохмотьях, которые рвутся в самых неподобающих местах. Иногда сильная, а чаще — образная, она заслуживает намного более пристального внимания, чем то, каким до сих пор дарили ее критики».

Когда профессор Бодэ говорит о биографической повести, бредущей своими путями в ветхих лохмотьях, рвущихся на самых неподобающих местах, боюсь, что он имеет в виду книги, авторы коих взяли подряд на подставку сенсационного материала из сотен самых различных источников, дополняя их своими домыслами, — привилегия, на которую не имеет права автор биографической пове-

сти, так же как не имеет права выходить за рамки подлинных событий описываемой им жизни.

Если биографическая повесть и страдает от чего-либо, то скорее — от избытка хорошего вкуса и стремления к респектабельности ее авторов. Причина лежит, по-видимому, в том, что они испытывают благоговейный ужас перед тем, что герои их жили на самом деле, а отсюда вытекают естественные права этих героев — если не на утаивание кое-каких подробностей их жизни, то по крайней мере на соблюдение определенного декорума.

Беру на себя смелость процитировать данный профессором Бодэ анализ моей работы, поскольку я полагаю, что он создал для меня, да и для многих других, схему, которой полезно будет следовать в будущем. Говоря о пяти моих работах, вышедших в свет после истории Винченца Ван-Гога, он пишет:

«Каждая из книг — шаг вперед в технике писателя. Эрудиция автора также становится более глубокой, хотя не столь же равномерной. Вершиной современной биографической повести следует считать опубликованную Стоуном повесть о Мэри Тодд Линкольн и об ее замужестве. Согласно отзывам ведущих специалистов по Линкольну эрудиция автора столь богата, что ни одному историку не удалось бы написать более подробной биографии г-жи Линкольн. Она даже заслуживает названия «дотошной». Здесь можно отыскать множество примеров глубокого научного подхода Стоуна к описываемой им жизни. Он кропотливо набрасывает план Белого дома времен Линкольна — реконструкция, которой до него никто не занимался. Это его самостоятельное исследование, и он строит многие из своих диалогов, перефразируя точные тексты материалов источников. Миссис Линкольн давала повод для самых противоречивых мнений, и было бы простительно, если бы Стоун истолковал имеющиеся в его распоряжении сведения в ту или иную удобную ему сторону. Однако он этого не сделал. Поднявшись выше объявленного им намерения реабили-

ровать г-жу Линкольн, он с поражающей искренностью рисует ее трудный для окружающих невротический характер. Она и Эйби вырастают на страницах книги как запоминающиеся человеческие образы, один из них велик, другой нет, но оба они живые люди. Второстепенные персонажи очень осторожно расставлены по местам, в очень редких случаях это только носители исторических имен. Сцены построены мастерски, они получают свое развитие и кульминационную точку независимо от того, что историкам уже известно, чем это кончится...

Цель лучших произведений этого жанра всегда благородна. Она заключается в умении за сухим нагромождением фактов разглядеть реальность и раскрыть для всех подлинное значение их. Это означает более смелое и более пронизательное использование исторических данных по сравнению с допускаемыми историками пределами.

Сэмюэль И. Мориссон — профессор истории Гарвардского университета в своем эссе, озаглавленном «История как литературное искусство», пишет, что историк может многому научиться у писателя. Американские историки забыли, что писание истории тоже искусство. От этого размежевания истории и литературы проигрывает публика.

Биографическая повесть призвана исправить такое ненормальное положение вещей.

Важно также определить границы этого жанра. Несколько лет назад, когда я вместе с Эрнестом Хемингуэем был в Ки-Уэсте, мы обсуждали с ним наши еще не написанные повести. Хемингуэй сказал: «Вымысла не существует. Все, что мы пишем, почерпнуто из пережитого нами, или же мы наблюдали, как это переживали другие».

И все же обычный писатель может перегруппировать, расслоить имеющийся у него материал, скомбинировать отдельные события из десятков жизней, придумать лучший мир или, если ему это больше по вкусу, мир худший и применять различные решения придуманных им человеческих отношений.

Автор биографической повести — раб фактографического материала. И все же он добьется немногого, если будет только хроникером. Однажды Р. Грейвс сказал мне: «Автор биографической повести, не наделенный интуицией при разрешении связанных с его героем проблем и затем вдруг обнаруживающий, что его предположения верны, немногого добьется в понимании своего героя».

В пределах намеченных контуров повествования автор биографической повести волен взбираться на любые высоты, если это подскажут ему его внутреннее поэтическое чутье и мироощущение. Различие, если только оно вообще существует между двумя видами повести, невелико. Прочитав биографическую повесть, читатель спрашивает: «Было ли это?», а прочитав обычную: «Могло ли это быть?» Случайный читатель, не знакомый с материалами, обстановкой и героем обоих жанров, не должен воспринимать их по-разному. Он может думать, что описанное в придуманной повести где-то происходило на самом деле или что биографическая повесть была выдумана автором. С большим удовлетворением я вспоминаю тот день в сентябре 1934 года, когда миссис Стоун спросила телефонистку в своем учреждении, понравилась ли ей «Жажда жизни», на что девушка ответила: «Очень здорово, только зачем Ирвингу понадобилось убивать беднягу?»

По природе своей, по охвату материалов ближе всего к биографической повести стоит повесть историческая. И опять-таки — разница здесь не в форме, а в подходе.

Герои биографической повести все жили на самом деле; в лучших же исторических романах, таких, например, как «Война и мир», реально происходившее — это история, а герои в то же время вымышлены или синтезированы и только затем пересажены в аутентичные сплетения событий того времени, о котором идет речь. Основные герои исторического повествования становятся как бы апофеозом своего времени; они правдоподобны, поскольку такие герои действительно жили

в тот исторический период, и эти драматические события действительно имели место, однако происходило это с другими людьми, возможно, даже с сотнями различных людей, но при несколько видоизмененных обстоятельствах, в другой последовательности.

Здесь мне хотелось бы полутно задать вопрос, который вызывает у меня не столько огорчение, сколько изумление: почему историческая повесть, в которой подлинны обстановка, фон, но герои вымышлены, признается учеными более приемлемой, чем биографическая повесть, в которой не только подлинный исторический фон, но и все герои — исторические лица? Для меня это навсегда останется загадкой.

Различие между собственно биографией и биографической повестью довольно велико, не по материалам, поскольку и та и другая питаются теми же историческими источниками, но по построению, по манере изложения. Традиционная биография строится в виде лекции, читаемой посторонним наблюдателем — автором — третьему лицу — читателю. Биограф, например, пересказывает, о чем говорили его герои, автор же биографической повести дает читателю возможность самому услышать разговор так, как на деле развивалась беседа. Для того чтобы воссоздать образ героя, он должен не только понимать все его побуждения, но и писать о них обязан с позиции своего героя, глядя на все его глазами. Только при соблюдении всех этих условий читатель прочувствует все, что переживал герой, будет знать все, что тот знает, мучиться из-за его неудач и радоваться его победам.

Считается, что традиционная биография должна быть объективной, но слишком часто она пишется просто холодно. Хладнокровно же писать биографическую повесть нельзя.

Сейчас наблюдаются кое-какие изменения и в традиционной биографии. Возможно, что признание публикой биографической повести в какой-то мере повлияло на эти изменения. Биографии, которые я читал в школе, сопро-

вождались столькими же строчками примечаний, сколько строк было в тексте.

Вплоть до настоящего времени в биографиях не решаются вводить диалог, даже в тех случаях, когда он подтверждается документально. Это диктуется, по-видимому, опасением, что восстановленный диалог может показаться неточным и что читатель, придя к заключению, что вместо биографии ему предложена повесть, не поверит в то, что прочитанное им происходило на самом деле.

Я никогда не соглашался с такой точкой зрения, и в 1940 году, когда писал свою «Защиту Кларенса Дарроу», все разговоры, которые казались мне интересными и важными, включил в текст так, как будто все описываемые события разворачивались на просцениуме, а в конце книги я приложил документацию на каждое произнесенное моими героями слово. Я убежден, что благодаря этому вещь приобрела большую эмоциональную насыщенность, чем если бы я из вторых рук передавал содержание каждого разговора.

В пору моего детства биографий не читал никто, за исключением ученых. Полагаю, что биографическая повесть возникла и стала популярной именно из-за невозможности для биографии спуститься к читательской массе, в которой всегда живет интерес к подлинным человеческим историям. Полагаю также, что авторы биографий будут продолжать учиться у авторов биографических повестей и заимствовать их методику и приемы. Книга пишется для широкого обращения. Автору всегда неприятно, если книга его неудобочитаема и по этой причине не пользуется спросом. Считаю долгом, однако, заметить, что и биографическая повесть в неоплатном долгу перед собственно биографией, потому что у нее она научилась исследованию и подборке материалов.

Как все живое, биографическая повесть рождается в муках. Ее называют незаконнорожденной, детищем незаконной связи ее во всех отношениях уважаемых родителей — биографии и повести.

Какие же упреки высказывались и высказываются до сих пор по адресу биографической повести? Говорят, что она принижает достоинство и биографии и повести, дискредитирует их, ничего не давая взамен. Она якобы излагает биографию, не считаясь с истиной, историю перекраивает по прихоти автора, перестраивает ее, не дает читателю отделить факты от вымысла, выбирает лишь такие объекты, которые хороши для сбыта, затрагивает честь давно умерших людей и приносит своего героя в жертву сюжетной линии.

Все эти упреки иногда бывают справедливы, как и многие другие, до которых критики, к счастью, еще не додумались. Однако решать, что какой-нибудь род искусства несостоятелен, судя по наиболее слабым его образцам или по тому, что в нем возможны ошибки, было бы так же неверно, как заявлять, что род человеческий должен быть уничтожен из-за недостатков, присущих его небольшой части.

За двадцать три года работы в этой области я обнаружил, что прежние, наиболее яростные критики примирились с существованием такого литературного жанра, как биографическая

повесть. Наиболее смелые и терпимые из них даже приветствуют ее появление на книжных полках. По моим наблюдениям, они только от каждой книги требуют литературного и исторического совершенства. Вместо того чтобы, не утруждая себя чтением книги, предавать анафеме этот литературный жанр, они обсуждают биографическую повесть со стороны языка, исследовательской работы, манеры изложения и воздействия на читателя.

Одним из достоинств человечества является его способность учиться на опыте прошлого. История и биография представляют в этом отношении великолепный источник, и заветной мечтой автора биографических повестей должно быть перенесение этого опыта и накопленной с его помощью мудрости в разрешение проблем и устранение трудностей современного мира.

Мои собственные книги этого жанра были написаны по двум мотивам: я стремился глубоко прочувствовать простые вещи и хотел рассказать людям историю человека, борющегося с препятствиями.

Перевод с английского М. БРУХНОВА

Герой

Выбирая героя для биографической книги, автор прежде всего думает о подлинной, а не номенклатурной роли, которую тот сыграл в судьбе своего народа и человечества. В этом видится мне принципиальное отличие советского биографического жанра. Однако это отнюдь не означает, что любая изданная у нас научно-художественная биография или биографический роман отвечают такому требованию. Подумаем и о том, что какой бы вклад ни внес замечательный человек в литературу, искусство, науку, технику — пусть даже он служит фокусом, в котором сосредоточены главные противоречия того времени, магнитной стрелкой, указывающей, куда движется история, — сама его жизнь может быть внешне интересной и неинтересной. Так, например, Гончаров — превосходный писатель, но много ли материала дают биографу восемьдесят шесть лет его однообразной, размеренной жизни? Герман Лопатин не написал ничего, равного «Обломову» или «Обрыву», но его биография, будь она написана и издана, позволила бы читателю приобщиться к связям русских революционеров с Марксом, наглядно представить себе место русского революционного движения в международном. Уже одно письмо Лопатина генерал-губернатору Синельникову, где говорится о том, как ценит Чернышевского «некий» немецкий экономист Карл Маркс, определило бы ее значительность, став ключевым местом книги. Письмо это отразило бы и драматическую ситуацию: оно отправлено из тюрьмы — Лопатин был арестован за попытку освободить Чернышевского.

В статье Ирвинга Стоуна, публикуемой в этом же альманахе, я нашла подтверждение своей мысли. Стоун пишет: «Не каждая жизнь приемлема для этого жанра. Мы знаем много жизней — значительных и важных по своим результатам, — которые в то же время расплывлены настолько, что их нельзя подвести под рубрику биографической повести. И наряду

Алиса Акимова

История и биография

с этим есть и такие жизни, чьи герои как будто постоянно думали о том, что они участвуют в построении драматического произведения». Это и есть то, добавлю я от себя, что в просторечии называется «жизнь как роман». Но при всем том бывает и так, что искусство автора раскрывает скрытый драматизм, словно бы незаметной, неброской жизни. Бесспорный пример — «Мелье» Б. Поршнева. Во всяком случае, несомненно, что нет прямого соответствия между материалом и произведением. Всего нагляднее это обнаруживается при сравнении двух или более книг об одном и том же замечательном человеке. К примеру, вышедший в серии «ЖЗЛ» «Мольер» С. Мокульского обширнее по материалу, объективнее, чем вышедшая там же «Жизнь господина Мольера» М. Булгакова. Но и в драматизме, и в атмосфере эпохи, и в образах заглавного героя и его окружения первая книга намного уступает второй.

Автор

Отсюда следует простой вывод: не менее, чем герой, удачу книги определяет ее автор. Автор должен найти своего героя. Случается, что одному и тому же автору одна биографическая книга удастся, а другая — нет. «Никто не в силах описать факты, не выразив своего отношения к ним», — справедливо замечает Леопольд Инфельд в послесловии к «Эваристу Галуа». «Субъективная личная позиция должна выступать тем более отчетливо, когда источников мало, как в данном случае», — говорит он дальше, обосновывая и то, что в книге о человеке, умершем в полной безвестности, в возрасте, когда обычно биография только начинается, он должен был прибегнуть к домыслу. Встретившись с противоречивыми толкованиями своих предшественников — биографов Галуа и столь же различными суждениями его современников, Инфельд прежде всего должен был сделать выбор между двумя крайними точками зрения: счесть ли «революционный дух»

своего героя «прискорбным заблуждением» или «прийти от него в восторг».

Он выбрал вторую точку зрения. Он сделал своим героем человека, совместившего в себе революционера и ученого. Ему, соавтору Эйнштейна, понятны не только открытия Галуа, но сама природа научного поиска, мучений и радостей, испытываемых ученым. Однако, чтобы написать эту книгу, нужно было быть не только ученым, но и писателем. Естественное доверие вызывают биографические книги, за которыми стоят десятилетия изысканий, как, например, «Достоевский» Леонида Гроссмана.

Верить и таким книгам, автор которых был участником тех же событий, что и герой. Например, Мишель Мижо, боевой соратник Сент-Экзюпери.

Недавно скончавшийся Олег Писаржевский, справедливо названный «правофланговым научно-художественного жанра», написал книгу о Прянишникове, я уверена, не потому, что получил этот заказ в момент «реабилитации» ученого, но потому, что это было естественным продолжением главного дела жизни Писаржевского — его борьбы за подлинную биологическую науку.

Михаил Булгаков не был ни современником Мольера, ни историком французского театра, но он был драматургом и искал в жизни избранного им героя соответствий собственным исканиям.

Андре Моруа одну из прочитанных в Кембридже лекций о биографическом жанре озаглавил: «Биография как средство выражения». Вероятно, точнее было бы — «самовыражения». Мысль, что художник в своих произведениях, выражая те накопленные им чувства, которые он не смог выразить в действиях, таким образом как бы освобождается от этих чувств — мы бы добавили: и желает приобрести к ним читателя, — Моруа распространяет и на биографии.

Читаем: «...романист идет окольным путем через персонажи, очень отдаленные от него событиями, приходит к высказыванию о са-

мом себе. Почему же биограф не может воспользоваться той же возможностью через людей, действительно существовавших?»

Это справедливо, но до определенных пределов. Авторская окраска биографии очень важна, но она ни в коем случае не должна затемнять ее объективного содержания.

Биограф не вправе пренебрегать историей. Герой биографии, которую он пишет, не может служить только носителем тех или иных собственных его желаний и страстей. Пересечение истории и современности, подлинной жизни героя и духовной жизни автора ни в коем случае не может подменяться самовыражением как единственной целью.

Андрею Туркову оказалась близка биография духа Салтыкова-Щедрина — именно так, с акцентом не на внешние, а на «внутренние» события жизни писателя вылилась эта книга. Но автор нигде не подменяет собой героя, субъективно авторское не вытесняет объективного исторического содержания биографии.

Человек и история

«Человек — лучший объект для изучения истории человечества», — некогда сказал Александр Поп. Мы прочли это справедливое изречение у Ирвинга Стоуна. Но мы не можем согласиться с тем, что он рассматривает историю лишь как фон, на котором развивается биография. Этого недостаточно. История, которую сам Стоун в другом месте называет не служанкой, но хозяйкой биографии, должна раскрываться через жизнь замечательного человека, а не только являться фоном для нее. С другой стороны, историей должны объясняться его жизнь, дела, образ. Приближая историю, очеловечивая ее, биография замечательного человека учит читателя исторически мыслить, воспитывая в нем ответственность за судьбу человечества, особенно если это биография революционера или политического деятеля. Биография ученого приближает читателя к науке, расширяя его познания и делая его участником научных спо-

ров. Биография писателя позволяет читателю как бы опуститься в рудник жизни, из которого черпал герой книги, и понять, как добытая им «руда» превращалась в «драгоценный металл», проникнув и в общие тайны литературы. Биография композитора открывает волшебство музыки, художника — чудо сочетания красок, помогает по-новому увидеть мир. Жизнеописание путешественника побудит попутиться в странствия, действительные или вымышленные, и т. д. и т. п.

С другой стороны, то, что замечательный человек влюблялся, как влюбляемся все мы, совершал ошибки, от которых не застрахован никто, со страстью обставлял квартиры, как Бальзак и Диккенс, не отличаясь в этом от многих из нас, или, наоборот, не придавал окружающей обстановке никакого значения, был хорошим отцом или, напротив, проявлял полное равнодушие к своим детям, что опять-таки бывает и с самыми обыкновенными людьми, — приближает к нам героя биографической книги, не разрушая в то же время пьедестал, на который возвели героя его деяния.

Ученый и художник

И естественно, все это может быть передано ими в том случае, если автор не только стал современником героя, но и как бы прожил его жизнь, вместе с тем посмотрев в его время из нашего.

Для этого автор должен быть и ученым и художником. Он тем более должен быть тем и другим, чем отдаленнее эпоха, в которую жил герой, чем меньше источников о его жизни дошло до наших дней и чем гуще сеть неверных толкований, измышлений и прямой клеветы, окутывающая героя.

В чем работа ученого — понятно. Он изучает архивные источники, все, что было кем-либо написано о герое, не говоря уже о его собственных трудах, и все, что характеризует время, в которое тот жил. Но и этим не обойтись: нужны еще и научные догадки, доказа-

тельства, гипотезы и, разумеется, верное толкование фактов.

А как вживается в материал художник? Стоун предлагает авторам биографических книг, чтобы прожить жизнь своего героя, объездить все места, где тот побывал. Сам Стоун даже две недели провел в той палате сумасшедшего дома, куда был заключен Ван-Гог, продал свой дом в Калифорнии и переехал с семьей в Италию, чтобы поселиться там, где жил его другой герой — Микеланджело. Но обязательно ли это? Алексей Толстой пришел к проникновению в эпоху Петра от курных изб деревни собственного детства. Другие исторические и биографические авторы чувствуют себя в отдаленной эпохе, как в собственной комнате, потому что они вчитались в исторические хроники, из книг, словно бы не имеющих прямого отношения к жизни их героя, узнали, как одевались люди в его время, чем они отапливали свои дома, что ели, чем лечились и тем более — о чем думали и спорили. Для справедливости следует заметить, что все это изучить советует и Стоун.

Отсюда следует, что не так просто разграничить в биографическом авторе ученого и художника. Недаром, как правило, оба совмещаются в одном и том же лице, хотя изредка встречается и соавторство ученого и писателя.

Методы проникновения в образ и жизнь героя у разных авторов разные, как различны и приемы, которыми они доносят до читателя эту жизнь и этот образ.

Биография через историю

Мой, ныне покойный, профессор Георгий Ефимович Горбачев рассказывал: когда его оставили при университете, академик Перец спросил, на чем он собирается специализироваться.

— На русской литературе девятнадцатого века, — ответил Горбачев.

— Это же не наука! — скептически заметил

академик. — Кто написал — известно, что написал — известно, и даже текст есть. То ли дело у нас в древнерусской литературе: кто написал — неизвестно, что написал — неизвестно, и текста нет...

Я вспомнила эту шутку, читая книгу Б. Поршнева «Мелье». Конечно, текст знаменитого «Завещания» сохранился. Он трижды издавался у нас и только один раз на своей родине. И тем не менее Мелье надо было открыть, ибо, как говорит Поршнева, Франция, которая «всегда любила своих Гаргантюа, своих сказочных великанов... до сих пор не признала своего несказочного великана Мелье». Недостаточно знает о Мелье и наш широкий читатель. А открыть его было очень важно, ибо «если Мелье был тем, чем он был, история Просвещения писалась прежде неверно. Советская наука шаг за шагом пишет Просвещение заново, как она во многом переписала и Великую революцию 1789 года».

Но эта книга ученого-историка Поршнева не исследование, а рассчитанная на широкого читателя научно-художественная биография великого человека, умершего в 1729 году и «закрытого» на его родине уже в XVIII веке. Как она сделана? Как, заполняя белые пятна на карте жизни Мелье, Поршнева сумел воссоздать его образ и его судьбу?

Прежде всего на помощь биографу пришел историк. В первой главе автор разрушает легенду, гласившую, что в восемнадцатом столетии Мелье был неизвестен. Б. Ф. Поршнева возвращает автору «Завещания» его подлинное историческое место «отца французского Просвещения», одного из учителей Великой революции.

История пришла на помощь биографии и в последующих главах. У Поршнева, кроме «Завещания», не было документальных сведений об отношении его героя к сельским и городским восстаниям того времени. Перечисляя эти восстания, автор может только предположить: «Кто знает, не был ли он свидетелем таких же событий?» Но совершенно правильно он замечает: «Дело не в том, знал

ли он о всех известных историку народных восстаниях, взорвавшихся в годы его жизни. Важно, что к нему можно приложить те же слова, которые Ленин сказал о Л. Н. Толстом, что в своем учении он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, отразил «великое народное море, взволнованное до самых глубин».

Еще более значительна догадка Поршнева: Мелье избрал формулу завещания, чтобы «обобщить свою трагедию» — необходимость молчать об опасной правде и говорить выгодную ложь — до трагедии всех умных и образованных французов и сказал, наконец, эту правду. Он изложил свои наблюдения над положением крестьян и шире — всего народа, свои мысли, свое разоблачение религии, свой призыв к революции — первый во Франции — в форме завещания, которое должно было быть обнародовано после его смерти, не чтобы обезопасить себя от преследований — на смертном одре его и так не успели бы покарать, но чтобы сделать высказанное им непреложной истиной.

В старину последняя воля человека имела большую силу. Завещание! Тем более если оформить его по всем нотариальным правилам, в судебной регистратуре бальяжа, оно не может остаться невыполненным... С другой стороны, «завещание священника вдвойне священо», — воссоздает автор ход мыслей героя. И догадка Поршнева переходит в доказательство.

Блистательно доказывает он и то, что Мелье окончил жизнь самоубийством, совершив этот подвиг, чтобы уберечь законченное им главное дело своей жизни от случайностей и ускорить его воздействие. Не полагаясь на предположение, что этот старик кюре, почти слепой, ускорил свою смерть, отказавшись от пищи и питья, Поршнева с документами в руках это предположение обосновывает.

Сопоставив документы, Поршнева делает первый вывод: Мелье скончался не раньше 28 июня и не позже 6 июля, и второй, еще более важный: «Само молчание церковной

книги кричит». В ней нет записи о смерти и похоронах кюре Мелье, а это могло произойти лишь в том случае, если он покончил жизнь самоубийством. Иначе нельзя объяснить, почему со священником поступили хуже, чем с последним бедняком прихожанином, похороны которого всегда записывались.

Эти примеры кажутся мне образцом творчества биографа, опирающегося не только на методологию и методику ученого-историка, но и на искусство художественного домысла.

Леопольд Инфельд тоже дополнял биографию историей. Он указал в послесловии к своей книге, какими пользовался источниками и что в его повествовании вымысел. Читая данные им точные справки по главам, видишь: самый вымысел или, скорее, домysel Инфельда связан с заполнением историей белых пятен биографии героя. Инфельду было известно, например, что Галуа учился в коллеже Луи ле Гран и что потом он стал революционером.

Чтобы во второй главе показать бунт коллежа и участие в нем Галуа, о чем нет сведений, Инфельд взял подробное описание бунта из фундаментальной истории «Луи ле Гран» профессора Дюпон-Ферье. Драматизовав картину бунта, автор домysлил к ней только участие в этом событии своего героя и придуманного им доносчика, отца одного из учеников. В этом домysле нет ничего недопустимого, ибо будущий революционер, учась в это время в коллеже, мог участвовать в бунте, и без доносчика вряд ли обошлось.

Я знаю иной пример использования этого же труда Дюпон-Ферье для биографии другого замечательного человека. Андре Бии в его первой книге о Дидро, опираясь на весьма сомнительные источники, «определил» своего героя в тот же знаменитый иезуитский коллеж, хотя на самом деле он учился в янсенистском коллеже Дарпур, позаимствовал у Дюпон-Ферье распорядок дня в Луи ле Гран и подмонтировал к нему подлинные факты, относящиеся к школьным годам Дидро. Позже сам Бии отказался от этого вымысла,

продиктованного желанием превратить Дидро в ученика иезуитов, хотя и не окончательно. Когда в распоряжении Инфельда были прямые источники, автор косвенными источниками не пользовался и к домыслу не прибегал. Но и там, где Инфельд историей и домыслом заполнял белые пятна биографии, это получилось убедительно, ибо опиралось на вероятность.

Читатель может заметить — это в тех случаях, когда о герое мало известно. А какова роль истории в биографии, если жизнь героя достаточно изучена или ее нетрудно воссоздать по прямым источникам?

Передо мной книга серии «ЖЗЛ» — «Иван Федоров» В. Прибыткова. Жизнь первопечатника изучена и известна, правда, не вся, а только с переезда его в Москву. Но Прибытков раскрывает не столько внешнюю, сколько духовную биографию своего героя через историю и не только там, где есть прямые источники.

История в этой книге не просто фон. Судьба книгопечатания в России и самого первопечатника тесно переплетена с историческими событиями.

Пропуская историю через биографию, Прибытков приближает к нам эпоху, вызывая в читателе боль за судьбу не одного книгопечатания, но и просвещения России, за ход исторического развития ее, который мог бы быть и иным. К сожалению, в книге допущены исторические неточности, на которые указал журнал «Звезда».

История через биографию

Жизнь Дантона — заглавного героя книги А. Левандовского — не была незаметной, как жизнь Мелье, но изобилвала перипетиями личной судьбы и тесно переплеталась с огромными историческими событиями. В отличие от биографий Мелье и Галуа, изобилующих белыми пятнами, биография Дантона была до мельчайших подробностей изучена по первоисточникам и освещена в трудах французских

историков, а историческое место Дантона определено Марксом и Лениным.

Все это и облегчило и затруднило задачу автора «Дантона» — по целине идти бывает иногда и легче, чем по вспаханному и перепаханному полю. Решительно выступая против «дереволюционирования» своего героя и «робеспьеристами» и «дантонистами», очернения его одними, приукрашивания другими, А. П. Левандовский словно бы ничего не открывает. Он кладет в основу своей концепции двойственность Дантона — революционера и соглашателя. Он опирается на известные слова Маркса: «несмотря на то, что он (Дантон. — А. А.) находился на вершине Горы... до известной степени был вождем Болота...» Но я говорю «словно бы» потому, что, во-первых, такой биографии Дантона до Левандовского не было. Одно дело — общая концепция, иное — живая и полная картина противоречивого поведения героя, психологический анализ его побуждений, только в конечном счете возведенных к противоречиям самой революции, объясненным классово и исторически. И во-вторых, А. Левандовский в этой книге — новатор по основному принципу, на котором она построена. Если Б. Поршневу выводит биографию своего героя из истории и восстановить жизнь Мелье и посмертное бытие его «Завещания» ему нужно прежде всего для того, чтобы заново написать французское Просвещение, то для А. Левандовского главное — сам Дантон, и события революции существуют в его книге постольку, поскольку Дантон к ним причастен. Разумеется, я заостряю: и Поршневу своим методом создал образ Мелье и драматический сюжет его жизни, и Левандовский помнил об истории. Секрет, мне кажется, в том, что сама история Великой французской революции представлялась ему неполной и неточной без полной и точной биографии Дантона. Дантон далеко не всегда был центральной фигурой или даже рядовым участником всех исторических событий, но в книге все они пропущены через него. Дантон, например, не

штурмовал Бастилии. Но 4 июля он окончательно определил свои позиции и, став капитаном Национальной гвардии, зарекомендовал себя врагом власти, распоряжавшейся в парижской ратуше.

Зато день заседания Ассамблеи 2 сентября 1792 года, когда по столице прокатилась весть о падении Вердена, А. Левандовский называет «часом Дантона». Прекрасная, мужественная речь Дантона воодушевила всех, кто ее слушал, на борьбу.

И, показав этот решающий момент революции как решающий момент жизни своего героя, Левандовский прав, утверждая: «Более 170 лет прошло с тех пор. Давно погребены историей мелкие делишки Жоржа Дантона, его житейские интересы, его неровное, противоречивое поведение в политике. Но слова, сказанные оратором-демократом в день 2 сентября 1792 года, живут и поныне и всегда будут живы. И недаром вождь мирового пролетариата В. И. Ленин повторил эти слова в канун Великой Октябрьской революции».

К сожалению, гораздо больше сильных, наполненных подлинным драматизмом и живыми подробностями сцен книги выпало на долю Дантона — соглашателя и стяжателя, любителя наслаждений, чем на долю Дантона — трибуна и революционера. Выручают, правда, подлинные речи Дантона, впечатляющие сами по себе.

Но это уже частное замечание. Что же касается авторского метода, я убеждена, что он так же верен, как метод Б. Поршнева. И там и здесь прямая связь биографии и истории так же сильна, как и обратная.

Документация и беллетризация

Ирвинг Стоун гарантией достоверности биографической книги считает только ее документальность. На вопрос читателя «Многое ли из этого верно?», полагает он, можно ответить лишь заверением, что биографический роман подтверждается документами, добросовестно интерпретированными. Очевидно, это

тем более относится и к научно-художественной биографии.

Казалось бы, это бесспорно. Прочтя письмо Робеспьера к Дантону с выражением сочувствия по поводу смерти его жены в книге Левандовского и обнаружив это же письмо в переписке Робеспьера, мы видим — автор не солгал. Узнав из предисловия Р. Райт-Ковалевой к «Роберту Бернсу», что она проверяла все отраженные в стихах поэта факты его биографии документами и свидетельствами современников, и из каверинского послесловия к «Диккенсу» Х. Пирсона, что автор изучил все имеющиеся источники, мы проникаемся доверием к правдивости этих книг.

И напротив, если биографическое произведение не только не подтверждается документами и другими источниками, но противоречит им, мы возмущаемся недостоверностью этого произведения.

Но в биографических жанрах, как и во всех остальных, одной фактической достоверности внешних событий и поступков героев недостаточно. Нужна еще и правда мыслей и чувств, и в биографических произведениях она в главном совпадает и с правдой исторической.

Однако, кроме случаев бесспорно недопустимого авторского вымысла, бывают еще и случаи спорные, точнее — есть два вида авторского домысла и даже вымысла, не противоречащие правде, потому что если так и не было, мы не знаем, как было, и так могло быть.

Скажем, о таком-то периоде жизни замечательного человека ничего не известно. Автор может домыслить или, проще сказать, придумать, его детство, юность или старость, не оговаривая, что это придумано. Это один вид домысла или вымысла. Так поступил В. Прибытков, когда придумал отрезок жизни Ивана Федорова, предшествовавший его переезду в Москву, знакомство его с Макарием, придумал тактично и талантливо, не отступая от вероятности, соблюдая колорит эпохи.

Есть и иной метод. Если о том или ином периоде жизни героя ничего не известно или существуют разные версии, то автор может прямо признаться: «не знаю», и нечего об этом говорить. Но он может прибегнуть и к гипотезам.

И тут два пути. Писатель либо совсем опускает то, что ему неизвестно, либо пускается в откровенные предположения, посвящая читателя в свой научный и художественный поиск. Таким приемом пользуется М. Булгаков в «Жизни господина Мольера».

«Ходил слухок, что Жан Батист-отец, помимо торговли креслами и обоями, занимался и отдачей денег взаймы под проценты. Не вижу в этом ничего предосудительного для коммерческого человека. Но злые языки утверждают, что Поклен-отец несколько пересаливал в смысле процентов и что будто бы драматург Мольер, когда описывал противного скрягу Гарпагона, вывел в нем собственного отца. Не хочу я верить этой пустой сплетне. Мольер не порочил памяти своего отца...» Ирония здесь, как мне представляется, маскировка авторского предположения. Но так или иначе, читатель не обязан ничего принимать на веру, ему предоставляется возможность самому решить, так ли это было или иначе. Таких нерешенных вопросов у Булгакова много, и читатель, думаю, благодарен ему за доверие.

Читатель вправе сделать выбор между методом Прибыткова и методом Булгакова. Близкие к булгаковским приемы встречаются и в цвейговском «Бальзаке».

И это, собственно, будет выбор между двумя жанрами — биографического романа и научно-художественной биографии, разное отношение к беллетризации или, точнее, к мере ее, ибо беллетризация, и превосходная, есть и у Булгакова и у Цвейга. И надо сказать,

в последние годы читатель явно предпочитает научно-художественную биографию биографическому роману. Он хочет полной правды о замечательном человеке и благодарен автору за то, что тот посвящает его в свой поиск, откровенно признается, что известно точно, а что — только гипотеза.

Однако вовсе обойтись без домысла ни один автор не может. Не только в биографическом романе, но и в научно-художественной биографии все документами подтвердить нельзя. Документы — это только каркас книги, а не сама еще книга. Пробелы между документами автор заполняет догадками ученого, находками художника. Мы уже в этом могли убедиться.

Но и то, что строго подкреплено источниками, в настоящих научно-художественных биографиях, а не только биографических романах, в значительной части драматизировано, в другой — беллетризировано, а значит, содержит и долю домысла.

Мы твердо знаем, как плохо, если герой биографического произведения совершает поступки, которых он не только не совершал, но и не мог совершить, был там, где не только не был, но и не мог быть...

Но чрезмерная документация тоже способна разрушить, а не утвердить достоверность. Когда герой в частном разговоре изъясняется цитатами из собственных статей или публичных выступлений, как постоянно «поступают» Маркс и Энгельс в книгах Галины Серебряковой, читатель не верит в правду того, что они говорят. Гораздо лучше цитаты откровенные, чем подобным образом раскавыченные. Это такое же отступление от правды, как фактическая ошибка. А правда, только правда и вся правда, правда биографии и правда истории — неперемное условие жизнеописания замечательного человека.



А. Э. Штекли

Secundum se

5 марта 1616 года католическая церковь обнародовала декрет, имевший для науки губительные последствия. В связи с широким распространением «ложного и целиком противного священному писанию пифагорейского учения о движении Земли и неподвижности Солнца» книга Николая Коперника была запрещена «впредь до исправления». Более двух веков гелиоцентрическая система мира считалась в католических странах ересью. Но почему книгу Коперника запретили

именно в 1616 году? Может быть, изданная в Германии работа не была своевременно замечена римскими инквизиторами? Ничего подобного. Сочинение Коперника «О вращении небесных сфер» было напечатано в 1543 году с посвящением папе Павлу III. Свыше семидесяти лет эту книгу свободно читали как миряне, так и клирики. Более того, вводя в 1582 году новый, грегорианский календарь, столпы католической церкви вовсе не смущались, что при подготовке календарной реформы учитывалась и работа великого польского астронома.

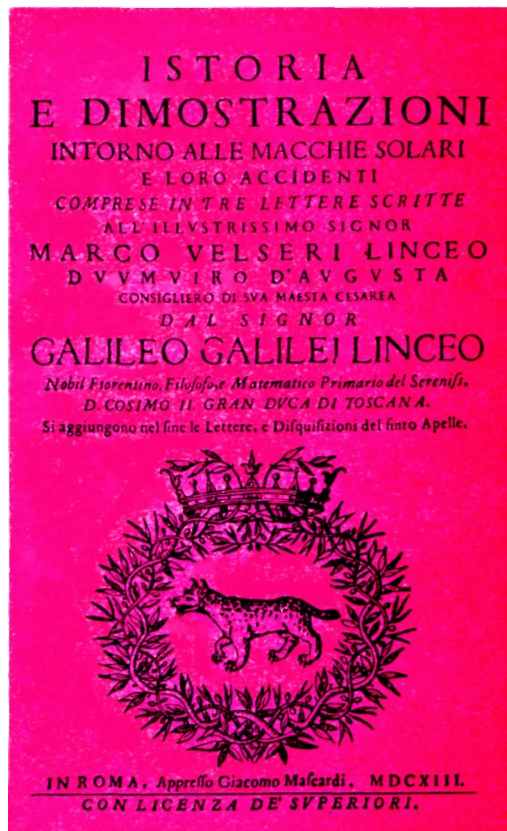
Джордано Бруно всю жизнь пропагандировал Коперниково учение. Мысль о движении Земли вокруг Солнца была одним из краеугольных камней его философии. Он предпочел погибнуть на костре, чем признать ересь истины, в которых был непоколебимо убежден. Даже после казни Джордано Бруно теория Коперника не была объявлена еретичной. Прошло еще целых шестнадцать лет, прежде чем сочинение Коперника попало в индекс запрещенных книг. Чем объяснить эту непонятную медлительность? Простой оплошностью? Невежеством инквизиторов, которым потребовалось очень много времени, чтобы уразуметь, какую угрозу для всего мировоззрения, питавшегося библейскими текстами, таила в себе Коперникова теория? Важное обстоятельство обращает на себя внимание: кардинал Роберто Беллармино, один из прославленнейших богословов того времени, потратил немало тщетных усилий, чтобы заставить Бруно признать свои взгляды, в том числе и мысль о движении Земли, ересью. Он же, Беллармино, выступил инициатором — через шестнадцать лет! — осуждения учения, о движении Земли и неподвижности Солнца.

Опубликованию декрета от 5 марта 1616 года предшествовало заседание конгрегации Святой службы, состоявшееся 25 февраля. Выслушав доклад о сделанном накануне богословами-квалификаторами заключении относительно двух «положений математика Га-

лилея», касающихся неподвижности Солнца и движения Земли, папа Павел V повелел кардиналу Беллармино вызвать к себе Галилея и увещевать отказаться от этого мнения. Если же тот не пожелает подчиниться, то при свидетелях предписать ему никогда впредь мнения этого не защищать и не проповедовать. А если он будет продолжать упорствовать, то посадить его в темницу.

Значит, декрет от 5 марта 1616 года был принят после заключения экспертов-богословов относительно «положений математика Галилея» и соответствующего решения кардиналов-инквизиторов. Действительно, 24 февраля одиннадцать видных богословов-квалификаторов, собравшись в помещении Святой службы, признали мысль о неподвижности Солнца «глупой и абсурдной в философском и еретичной в формальном отношении», а мысль о движении Земли — абсурдной в философском отношении и являющейся с богословской точки зрения по меньшей мере заблуждением в вопросах веры.

Подлинный документ этого решения с подписями квалификаторов дошел до наших дней и вызвал у историков немало недоуменных вопросов. Почти сто лет ученые разных стран ломают голову над этим документом. Особенно странной кажется формулировка второго положения: «*Terra non est centrum mundi nec immobilis, sed secundum se totam movetur, etiam motu diurno*»¹. Попробуем перевести: «Земля не является центром мира и не неподвижна, но...» — здесь начинаются затруднения — *secundum se totam movetur, etiam motu diurno*. Что означает здесь это «*secundum se*»? Эмиль Вольвиль, посвятивший более сорока лет изучению Галилея, считал это место очень неясным и предлагал переводить: «Земля движется по отношению к себе самой целиком также суточным движением»². Вольвиль отмечал, что попытки привести толкование этой фразы хоть в какое-то соответствие с Коперниковой теорией вынуждали понимать это «*secundum se*» в смысле «вокруг



себя самой», но это допущение не выдерживает лингвистической критики. Вместе с тем Вольвиль признавал, что и предложенный им вариант перевода может быть принят лишь условно: фраза «Земля движется по отношению к себе самой целиком» не передает ничего, кроме бессмысленности оригинала³. Вольвиль утверждал, что богословы-квалификаторы осудили тезис о движении Земли,

¹ Le opere di Galileo Galilei. „Edizione Nazionale“, XIX, p. 321. Далее цит. как Ed. Naz.

² E. Wohlwill, Galilei und sein Kampf für die Copernikanische Lehre B. I. Hamburg und Leipzig, 1909, p. 615.

³ Там же, стр. 531.

взяв его в той же самой безграмотной формулировке, в которой он был представлен для цензуры. Церковь, таким образом, осудила гелиоцентрическую систему, не понимая ее и не разбирая по существу. Эта точка зрения Э. Вольвиля получила широкое распространение. Ее разделяет и М. Я. Выгодский, специально занимавшийся историей запрещенной Коперниковой теории¹. В новейшей работе Б. Г. Кузнецов тоже пишет, что «богословы-цензоры решительно осудили идею Коперника, довольно невнятно изложенную в присланной им подлежащей цензуре формуле»².

Но откуда появилась эта формула?

Известно, что осужденные 24 февраля положения были разосланы богословам 19 февраля, а этому предшествовала беседа Павла V с кардиналом Беллармино, во время которой дело было фактически решено³. Богословам-квалификаторам оставалось только оформить принятое решение. Похоже, что эта загадочная фраза, которую М. Я. Выгодский предлагает переводить: «Земля движется целиком в себе самой»⁴, фигурировала и в беседе кардинала Беллармино с папой.

Нередко запрет Коперникова учения объясняют только вопиющим невежеством церковников. Действительно, мысль о движении Земли была осуждена в такой формулировке, которой нет у Коперника. Можно по-разному толковать ее смысл, но одно несомненно: она не принадлежит Копернику.

В акте от 25 февраля бросается в глаза любопытная подробность: рассмотренные накануне положения называются «положениями математика Галилея». Значит, их надо искать у Галилея, а не у Коперника?

Все попытки найти эту загадочную формулировку в письмах или сочинениях Галилея оказались напрасными. Может быть, в беседах развивал он подобную мысль и об этом стало известно инквизиции? Галилей уверял, что никогда в разговорах не высказывал суждений о строении вселенной, которых не осмеливался бы защищать в печатных сочи-

нениях⁵. Тем не менее формулировку, озадачившую историков и не найденную в книгах Галилея, все же удалось разыскать. Ее обнаружили в протоколах показаний одного из людей, допрошенных по делу Галилея.

Создание телескопа и великие астрономические открытия Галилея потрясли его современников. Вселенная, оказывается, устроена совсем не так, как следовало из текстов Аристотеля, Птолемея и Библии! Вековым представлениям о мире был нанесен сокрушительный удар. Упрямые головы даже отказывались посмотреть на небо в телескоп. Если эта дьявольская труба показывает вещи, которые противоречат букве священного писания, то это значит, что она просто порождает обман зрения и создает в мозгу наблюдателя фантастические картины! Но ученые разных стран подтверждали правоту Галилея. С каждым днем все большее число сторонников Птолемеевой системы убеждались в ее шаткости. Идеи Коперника, подкрепленные открытиями Галилея, все сильнее овладевали умами. Люди, охваченные жадью познания, все чаще с нечестивым любопытством вглядывались в небо. Церковь стала испытывать тревогу: какие еще неприятности принесут ей открытия астрономов? Возмущенные голоса ревнителей веры раздавались все громче.

В декабре 1614 года доминиканец Томмазо Каччини, выступая с проповедью в одной из церквей Флоренции, обрушился на богопротивные измышления математиков. Он утверждал, что теория Коперника, получившая благодаря Галилею столь широкое распространение, противоречит Библии. Выступление это не осталось без ответа. Галилей и его сторонники принялись с еще большим пылом устно и письменно доказывать, что из-

1 М. Я. Выгодский, Галилей и инквизиция. Часть первая. Запрет пифагорейского учения. М.—Л., 1934.

2 Б. Г. Кузнецов, Галилео Галилей. М., 1964.

³ Ed. Naz., XII, p. 242.

⁴ Цит. соч., стр. 166.

⁵ Ed. Naz., XII, p. 238.

вестные слова священного писания, касающиеся движения Солнца, могут быть с успехом истолкованы в пользу Коперниковой теории. Учение о неподвижности Солнца и движении Земли — истина, а это значит, что Библия не может ей противоречить. Следовательно, в библейских словах есть смысл, скрытый от непосвященных, и их нельзя понимать буквально.

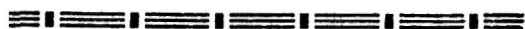
Инквизиция, разумеется, не осталась в стороне. Донос, поданный на Галилея, был внимательно изучен. Во многих городах начался тайный и тщательный розыск материалов, могущих служить обвинением. Галилея не считали злонамеренным врагом церкви, но ему ставили в вину, что он защищает истинность Коперниковой теории и не признает ее противоречия с Библией.

20 марта 1615 года во дворце Святой службы в Риме состоялся допрос Томмазо Каччини. Протокол этого допроса сохранился. Каччини среди прочего показал: «Общая молва говорит, что вышеназванный Галилей высказывает следующие два положения: Земля в себе самой целиком движется, также точным движением; Солнце неподвижно...» «Земля в себе самой целиком движется!» Вот, оказывается, откуда взята эта загадочная формулировка — из показаний Каччини¹. Хотя тот и говорил по-итальянски: «*La terra secondo se tutta si muove, etiam di moto diurno*», но в его словах без труда узнается латинская фраза из заключения богословов-квалификаторов: «*Terra... secundum se totam movetur, etiam motu diurno*»². М. Я. Выгодский, давая свой перевод, как и Вольвиль, делает замечание: «Эта фраза в русском переводе оставлена нами столь же бессмысленной, как она звучит по-итальянски»³. Итак, широко распространенное убеждение, что церковь осудила Коперникову теорию, не понимая существа дела, осудила ее, облачив в безграмотную, лишённую смысла формулировку, находит в документах самое красноречивое подтверждение. Фраза, сказанная невежественным монахом, была невежествен-

ными инквизиторами представлена невежественным квалификаторам и осуждена как противная Библии. Ларчик, выходит, просто открывался!

Но открылся ли он? Согласившись с изложенным выше, казалось бы, весьма убедительным мнением, мы не поймем ни той сложной обстановки, в которой рождалось новое мировоззрение, ни подлинной остроты конфликта, возникшего между церковью и наукой, ни всего величия подвига Галилея. Многие вопросы, связанные с судьбой коперниканства, не найдут своего ответа.

Учение Коперника осуждено в безграмотной формулировке Каччини? Бесспорно, итальянская фраза из протокола его допроса близка тезису, предложенному квалификаторам. Однако известно, что в инквизиции, как правило, цензуре подвергались только те положения, принадлежность которых обвиняемому считалась доказанной. Иными словами, они должны были быть извлечены из писаний обвиняемого, из протоколов его допросов или из показаний нескольких свидетелей. В акте от 25 февраля 1616 года речь шла о «положениях математика Галилея». Но во время первого процесса Галилея не допрашивали, в письмах его и книгах выражения «*Terra... secundum se totam movetur*» нет, нет этой пресловутой фразы и в показаниях других свидетелей, нет ни у кого, кроме Каччини. Почему же тогда шла речь о «положениях математика Галилея»? Неужели для этого было достаточно только слов Каччини? Да ведь и он, говоря об этих положениях, сослался не на самого Галилея, а на «общую молву». Подобная ссылка не могла удовлетворить инквизицию. Каччини сразу же задали вопрос, от кого именно он узнал, что Галилей держится таких взглядов. Тот повторил, что слухи об этом ходят повсюду, и назвал среди лиц, с которыми беседовал на



¹ E. Wohlwill, *op cit.*, p. 531.

² Ed. Naz., XIX, p. 308.

³ Цит. соч., стр. 146.

эту тему, одного из сторонников Галилея, флорентийца Аттаванти. Далее Каччини показал: «Я также прочел это учение в одной напечатанной в Риме книге, которая трактует о солнечных пятнах и которая выпущена упомянутым Галилеем»¹.

14 ноября 1615 года инквизитор Флоренции допросил Аттаванти. Тот не отрицал своего знакомства с Галилеем. Да, он слышал от него мнение, что Земля движется «как вокруг своего центра, так и всем своим шаром». Аттаванти тоже сказал, что это учение Галилея изложено в книге «О солнечных пятнах»².

25 ноября конгрегация Святой службы постановила просмотреть сочинение Галилея «О солнечных пятнах».

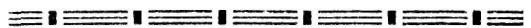
В деле Галилея сразу за этим постановлением (лист 375) находится документ (лист 376), где сформулированы два положения, подлежащие цензуре квалифицированных³. И — примечательный факт! — именно здесь встречается впервые итальянский вариант той самой формулировки, в которой была осуждена Коперникова теория. Эта формулировка, более подробная, чем соответствующая фраза Каччини, содержит, однако, те же слова: «terra... si move secondo se tutta». Каччини, излагая своими словами суть учения Галилея, сослался на его книгу «О солнечных пятнах». То же самое сделал и Аттаванти. Инквизиция повелела просмотреть эту книгу и следующий документ в деле, документ, предшествующий сообщению от 19 февраля 1616 года о рассылке копий подлежащих цензуре тезисов отцам-квалифицированным, — итальянский вариант «положений Галилея». Трудно избавиться от впечатления, что этот документ и есть результат просмотра цензорами книги Галилея о солнечных пятнах. Доменико Берти, видный итальянский историк, так и считал⁴. Но что же тогда получается? «Бессмысленная» фраза Каччини имеет своим источником книгу Галилея? А положения, «не имеющие ничего общего с положениями Коперника и Галилея»⁵, на самом деле

оказываются «положениями математика Галилея»?

Неужели нельзя выбраться из этого заколдованного круга противоречивых суждений? Можно. Надо только проделать работу, которую триста пятьдесят лет назад проделали цензоры, и проверить, правда ли, что в книге «О солнечных пятнах» Галилей отстаивал мысль, будто Земля «si move secondo se tutta». Но тщетны все усилия. Этой странной формулировки в сочинении Галилея нет⁶.

Итак, Каччини, не разбираясь в существе дела, высказал бессмысленную фразу и приписал ее Галилею, чиновники инквизиции, не мудрствуя лукаво, повторили ее в документах, богословы-квалифицированные, не удосужившись понять ее смысла, все же признали ее ложной и вредной. Выходит, и кардинал Беллармино при всем своем интересе к Коперниковой теории довольствовался тем, что ее изложили совершенно невнятно. Продолжая развивать эту мысль, придется допустить, что и сам Галилей, поставленный в известность о решении Святой службы, покорно согласился признать за свое приписываемое ему положение, несмотря на полную его бессмысленность, и обещал его больше никогда не проповедовать.

Однако подобное освещение событий, связанных с осуждением и запретом гелиоцентрической системы, имеет весьма существенный изъян. Легко допустить, что Каччини, не блиставший ученостью, высказал фразу, которой не понимал. Можно допустить, что какой-то чиновник римской инквизиции механически переписал эту фразу из протокола как одно из положений, предлагаемых квалифицированным для обсуждения. Но трудно допус-



¹ Ed. Naz., XIX, p. 309.

² Ed. Naz., XIX, p. 318.

³ Ed. Naz., XIX, p. 320.

⁴ D. Berti, Il processo originale di G. Galilei. Roma, 1876.

⁵ P. 39.

⁶ М. Я. Выгодский, цит. соч., стр. 167.

⁶ Ed. Naz., V, pp. 71—249.

тить, чтобы все одиннадцать ученых мужей обсуждали и высказывали свое мнение о тезисе, смысл которого был им совершенно неясен. Следует подчеркнуть, что дело шло не о каких-то тонкостях астрономических исчислений Коперника или Галилея, а о терминологии, принятой в философской и богословской литературе того времени. Отказывать в знании подобной терминологии ученым-богословам, искусственным в схоластических спорах, нет оснований. Эта «странная» фраза была, вероятно, понятна теологам, которые признали заключенную в ней мысль абсурдной в философском отношении и объявили ее с богословской точки зрения по меньшей мере заблуждением в вопросах веры. Что же в действительности означает эта фраза, утратившая в интерпретации историков всякий смысл: «Земля в себе самой (*secundum se*) целиком движется также с точным движением»? Что означает это загадочное «*secundum se*»? Путь, ведущий к решению этой загадки, может быть только один. Надо попытаться в каком-нибудь философском или богословском трактате того времени найти это выражение, чтобы из контекста понять смысл, который в него тогда вкладывали.

Поиски не остаются бесплодными. И что особенно важно, ключ к пониманию загадочной фразы удастся найти в книге, чья судьба самым тесным образом связана с борьбой, развернувшейся вокруг открытий Галилея и трактовки учения Коперника.

В феврале 1615 года в Неаполе было напечатано небольшое сочинение «Письмо кармелита отца Паоло Антонио Фоскарини по поводу мнения пифагорейцев и Коперника о движении Земли и неподвижности Солнца». Фоскарини доказывал, что Библия не будет противоречить мнению Коперника, если правильно истолковать ее тексты. В Библии, например, сказано, что мудрый человек постоянен, как Солнце, а глупец меняется, как Луна. Следует ли это понимать буквально:

Луна, мол, временами — шар, а временами — серп? Луна, утверждает Фоскарини, по природе своей, «как это доказали астрономы», всегда одна и та же. На самом деле же не Луна меняется — она только кажется нам меняющейся. Библия, чтобы быть понятной простому народу, говорит не о том, каковы те или иные явления на самом деле, а о том, как они представляются людям.

Фоскарини ссылается на первую книгу «Физики» Аристотеля и цитирует его в латинском переводе: «*alia sunt notiora nobis, alia notiora natura, vel secundum se*»¹. Это место Аристотеля в переводе с греческого звучит так: «...не одно и то же то, что известно для нас и прямо, само по себе»². Нельзя забывать, настойчиво повторяет Фоскарини, что существует различие между вещью «*secundum se*» («вещью самой по себе», или, как сказали бы позже, «вещью в себе») и вещью «*secundum nos*» («вещью для нас»). Значит, вещи или явления «*secundum se*» — это вещи, существующие «сами по себе», объективно, независимо от наших представлений о них. Здесь ключ к пониманию фразы, породившей множество недоумений. «Бесмысленная» формулировка имеет, оказывается, глубокий смысл. Сказать о Земле, что она движется «*secundum se*», — это значит подчеркнуть, что она движется на самом деле. Движение Земли не гипотеза, а реальность. Поэтому теория Коперника не произвольное допущение, позволяющее с большей стройностью и простотой объяснять движения небесных тел, а отражение объективной истины.

Многие историки давно уже высказали убеждение, что мартовский декрет 1616 года — результат обострившегося до крайности спора о том, как трактовать Коперникову теорию. Книга Коперника вышла в свет с анонимным предисловием, где утверждалось, что изложенное в ней учение только отвле-

¹ Le opere di Galileo Galilei. Tomo V. Firenze, 1845, p. 468.

² Аристотель. Физика. М., 1936, стр. 5.

ченная гипотеза, облегчающая астрономические расчеты. В такой трактовке церковь не видела ничего опасного. Джордано Бруно с жаром нападал на автора этого анонимного предисловия: оно ведь противоречит духу всей книги — Коперник не только был убежден в том, что Земля на самом деле движется, но и доказывал это всеми силами! Бруно отказывался среди прочего признать ересь и мысль о движении Земли. Его отравили на костер. Но книга Коперника не была запрещена. Роберто Беллармино, как и другие видные деятели католической церкви, всегда считал, что и сам Коперник видел в своей теории только остроумную гипотезу, а не картину действительного строения вселенной¹.

Галилей не соглашался с таким толкованием Коперниковой теории. Все с большей страстностью проповедовал он это учение и искал новые, физические доказательства его правоты. Он не шел на компромисс: созданное Коперником учение надо или целиком осудить, или принять, как оно есть!²

Под влиянием сенсационных открытий Галилея убежденность в истинности Коперниковой теории распространялась все шире. Громкая слава флорентийского ученого заставляла церковь с особенным вниманием относиться к его выступлениям. Он продолжал защищать мысль о том, что движение Земли — объективная истина. Из книги «О солнечных пятнах» и Каччини и цензоры могли действительно вычитать, что Земля движется «*secundum se*».

Как же так? Ведь мы тщетно искали эти слова в книге «О солнечных пятнах» и не нашли. Здесь нет противоречия. Теперь, зная значение «*secundum se*», мы понимаем, что, хотя в книге это выражение и отсутствует, позиция Галилея не вызывала у читателей сомнения: автор трактата «О солнечных пятнах» был убежден в объективном характере учения Коперника.

В словах «*secundum se*» отразилась вся суть борьбы, развернувшейся вокруг вопроса

о том, как трактовать Коперника. Спустя шестнадцать лет после казни Джордано Бруно спор этот приобрел особенно важное значение. Галилей с помощью своего телескопа сокрушил Птолемею систему, пробудил широкий интерес к проблеме мироздания и, что всего хуже, невольно нанес ущерб авторитету библии! Церковь терпела Коперниково учение как отвлеченную математическую гипотезу, но не могла согласиться, чтобы движение Земли провозглашали объективной истиной. Пусть бы еще Галилей держался втихомолку своего убеждения, а то ведь он рассуждает об этом во всеуслышание и открывает небо взорам простого народа!

Ю. Коротков

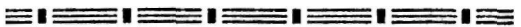
Поэт Михайлов, художник Якоби и другие

1

В начале 1862 года в Петербурге появились портреты Михайлова, «государственного преступника, сосланного в каторжные работы». Они продавались в книжных лавках, у книгонош, разносчиков и особенно у людей, чуждых всякой коммерции. Торговля, разумеется, велась тайно, но каждый желающий в конце концов обретал заветный портрет. III отделение собственной его императорского величества канцелярии разыскивало виновников. Агенты, явные и тайные, трудились круглосуточно, не покладая рук. Донесения поступали к начальству ежедневно³.

11 марта

«Сегодня ночью сделаны обыски у Василия Курочкина, у литографа Маркова и у резчика Куренкова, но при обыске ничего не найдено.



¹ Ed. Naz., XII, p. 171.

² Ed. Naz., V, p. 299.

³ Донесения агентов III отделения цитируются по журналу «Красный архив», т. XIV, 1926, стр. 112—116.



Оригинал портрета Михайлова прислан сюда из Омска подполковнику Шелгунову, который и заказал Маркову отпечатать 4 <тысячи> экземпляров с принесенной им уже готовой доски, сказав, что когда они будут напечатаны, то их следует отнести Курочкину. Портрет рисован Микешиним на доске, а вырезан Куренковым. У Микешина обыска не делали, потому что он живет во дворце. Предположение, что портрет Михайлова прислан Шелгунову, основано на том, что приходивший к Маркову заказать литографию был лесничий подполковник.

О появлении в С.-Петербурге портрета Михайлова было донесено уже с месяц тому назад».

12 марта

«Печатанье портрета положительно производилось у литографа Маркова в Большой Мещанской, дом Берка, но камень у него не найден. Но он в этом признался одному лицу.

Что Курочкин имел эти портреты, несомненно, и женщина, живущая у него или с ним, говорила, что «разве запрещено иметь портрет Михайлова? — всякий должен радоваться иметь его у себя». По всему надо полагать, что портрет этот был принесен Маркову для литографирования полковником Шелгуновым, который жил вместе с Михайловым <...>».

23 марта

«Микешин, действительно, рисовал портрет Михайлова, а Курочкин продавал в Шах-клубе, но это пока еще трудно доказать; впрочем, портрет работы Микешина не тот, который был представлен: на нем изображен Михайлов, только что обритый, фельдшер, делавший эту операцию, и плац-майор здешней крепости, и все портреты удивительно сходства. Портреты эти, как уверяют, и по сие время продает книгопродавец Вольф, но очень секретно.

4 апреля

«В городе продается самым секретным образом за 100 р. с <еребром> коллекция фо-

тографических портретов, состоящая из 49 штук, всех замечательных революционеров, как-то: всех декабристов, Пугачева, Герцена, Огарева, Бакунина, Петра Долгорукова, Михайлова (в крепости, когда ему стригут волосы; тут же цирюльник и плац-майор), Орсини, Мадзини, Кошута и т. д., в том числе и Чернышевского <...>».

2

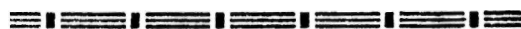
Агенты III отделения в то время были людьми мелкими, малоопытными. Публика их откровенно презирала и в массе своей сочувствовала «государственному преступнику». Из донесений видно, что агенты питались главным образом слухами. Оправдывая свое жалованье, они, безусловно, в угоду начальству плели немало вздору и оговаривали невиновных людей.

В известной логике, однако, отказать тайной агентуре нельзя. Подозрения падают на Н. В. Шелгунова, лесничего, подполковника, революционного публициста и ближайшего друга Михайлова; на поэта-демократа, редактора органа революционной сатиры «Искры» Василия Курочкина; на гравера Куренкова, сотрудника «Искры»...

Может показаться случайной лишь фамилия М. О. Микешина, известного скульптора и иллюстратора. Но это только на первый взгляд. Микешин был другом Т. Г. Шевченко и близким знакомым М. И. Михайлова¹. Известны те мужество и настойчивость, которые проявил скульптор, добываясь помещения барельефа Шевченко на памятнике «Тысячелетия России». Пожалуй, тайная полиция имела основание подозревать и Микешина.

Догадки и предположения агентов не подкреплялись доказательствами. Привлечь же к суду по одному подозрению было невозможно. Дело оставили без последствий.

А между тем портреты продолжали раску-



¹ См.: «Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников». Сост. и комм. Н. Ф. Бельчикова и Л. Ф. Хинкулова. М., 1962.

паться на расхват. Известно, например, что 300 экземпляров «мало похожего и дурно отлитографированного портрета» были разобраны в течение двух дней¹. Кстати сказать, это тот самый поясной портрет, который ныне прилагается ко всем изданиям сочинений М. И. Михайлова.

3

Михаил Илларионович Михайлов — талантливый поэт и популярный публицист — стал первой жертвой политической реакции шестидесятых годов. Выданный предателем, он был судим за сочинение и распространение одной из первых политических прокламаций «К молодому поколению». Михайлов не выдал подлинного автора прокламации — Н. В. Шелгунова. И не только это скрыл Михайлов от царского суда. Советские историки считают Михайлова одной из центральных фигур революционного движения 1861 года. Он был связан с кружками студентов и военных, был другом Добролюбова и доверенным лицом Чернышевского. Михайлов ушел на каторгу, но ни один человек не пострадал по его вине.

До нашего времени дошли три портрета Михайлова, распространявшиеся нелегально: общеизвестный поясной портрет; рисунок, изображающий поэта в сибирской тюрьме; литография, запечатлевшая поэта-революционера перед отправлением на каторгу.

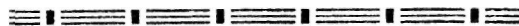
В 5 часов утра 14 декабря 1861 года, через три месяца после ареста, в камеру Михайлова вошли фельдшер с ножницами и бритвой, кузнец с кандалами и два офицера. Осужденного обрили по-арестантски и заковали. На позорной колеснице под охраной трех казачьих взводов его затемно доставили на Сытнинскую площадь, где палач переломил над его головой шпагу. В тот же день Михайлов был отправлен в Сибирь.

Публикуя в 1906 году в «Былом» литографию, известный историк революционного движения М. К. Лемке отмечал: «Момент заковки и стрижки изображен художником, имени

которого мы, к сожалению, не знаем, очень верно: Михайлов поразительно похож»². Воспроизводя в 1955 году иллюстрацию с фотографии, редакция «Литературного наследства» пометила: «Картина неизвестного художника, 1861 г. Местонахождение оригинала неизвестно»³.

Однако еще В. В. Стасов в статье «Двадцать пять лет русского искусства» (1882) упоминал о рисунке художника Валерия Якоби «Острижение каторжного в тюрьме»⁴. Отталкиваясь от этого указания, искусствовед Д. Сарабьянов высказал предположение, что литография «Михайлов перед отправкой на каторгу» восходит к рисунку, упоминаемому Стасовым, и, следовательно, принадлежит Валерию Якоби⁵.

«Авторство Якоби, — пишет Д. Сарабьянов, — станет для нас бесспорным, когда мы сравним трактовку образов, детали, особенно композицию и, наконец, тему литографии и картину Якоби «Умеренные и террористы» (1864, ГТГ), изображающую смерть Робеспьера. Группа «умеренных», собравшихся над телом Робеспьера, очень близка по композиции сцене заковки. Фигура офицера, сидящего рядом с Михайловым на стуле, целиком повторена в исторической картине Якоби (самый крайний слева из «умеренных»). Легко проследить, как в «Привале арестантов», литографии и исторической картине Якоби развивается одна тема — тема гибели революционера, насилия над ним; как эта тема в двух последних произведениях оказывается в центре внимания художника, хотя в картине «Умеренные и террористы» и решается уже на историческом мате-



¹ «Литературное наследство», т. 61. М., 1953, стр. 423.

² «Былое», 1906, № 1, стр. 132.

³ «Литературное наследство», т. 62. М., 1955, стр. 427.

⁴ В. В. Стасов, Избр. соч. в двух томах, т. 2, 1937, стр. 120.

⁵ Д. Сарабьянов, Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века. М., 1955, стр. 79, 87.

риале, являющемся как бы исторической аналогией современности».

Следует отдать должное наблюдательности Д. Сарабьянова и тонкости его искусствоведческого анализа. Но установление авторстве анонимного произведения — дело очень ответственное, и всегда возникает желание проверить результаты анализа.

4

О жизни Валерия Ивановича Якоби (1834—1902) известно очень мало. Из словарей, энциклопедий и книг по истории живописи можно узнать, что он окончил Академию художеств в Петербурге в 1861 году, затем шесть лет был за границей, вернувшись, стал академиком живописи и профессором Академии художеств. В молодости был приверженцем «правдивого демократического искусства», а впоследствии «писал главным образом поверхностно-развлекательные исторические картины». Далее перечисляются картины¹.

Валерий Якоби не был крупным художником. Его раннее творчество интересно только своим демократическим содержанием. С того момента, когда он отошел от демократического лагеря, живопись его потеряла всякое значение. Александр Бенуа отрицательно характеризует все творчество Якоби. В оценке поздних произведений художника с ним вполне солидарен и В. В. Стасов.

Но несколько биографических фактов, рассматриваемых в литературе и относящихся к молодым годам художника, делают его личность интересной для историка.

Николай Соковнин², например, рассказывает, что после исключения из Казанского университета он нашел приют в Петербурге у бывшего казанского студента Валерия Якоби, который собирал вокруг себя земляков. Роль казанских студентов как авангарда студенческого движения в годы первой революционной ситуации историкам известна. В этой связи факт главенствования Валерия Якоби в ка-

занском землячестве Петербурга заслуживает внимания.

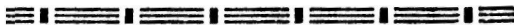
Л. Ф. Пантелеев³ рассказывает, что Якоби через Чернышевского обращался к студентам с просьбой позировать ему для картины «Смерть Робеспьера». Здесь важна информация о знакомстве Якоби с Чернышевским.

Семья художника была настроена оппозиционно. Его матери принадлежит смелая сатира на дворянство, распространявшаяся в рукописи⁴. Младший брат Павел Иванович был членом «Земли и воли» и командовал артиллерией в отряде польских повстанцев⁵.

5

В последних числах апреля 1862 года на пограничной станции Вержболово стража задержала молодую чету с просроченными паспортами. Телеграфный запрос в Казань удостоверил личности задержанных, и 1 мая художник Валерий Якоби и его гражданская жена Александра Николаевна Сусоколова пересекли российскую границу⁶.

С этого момента Александра Николаевна начала вести дневник, который регулярно пополняла новыми записями все шесть лет пребывания за границей. Дневник сохранился до наших дней. Открывается он стихами Михайлова, в которых поэт обращается к студентам, заключенным одновременно с ним в Петропавловской крепости:



¹ См., например: БСЭ, 2-е изд., т. 49, стр. 523; МСЭ, 3-е изд., т. 10, стр. 1161; С. Н. Кондаков, Имп. СПб. Академия художеств. П., 1914, стр. 234—235; А. Н. Бенуа, История живописи; В. Съедин, Валерий Иванович Якоби. М.—Л., 1949, и др.

² Н. М. Соковнин, Воспоминания старого казанского студента. 1856—1858 гг. «Русская старина», 1892, № 5, стр. 271—291.

³ Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания. М., 1958, стр. 338—339.

⁴ Д. А. Клеменц, Из прошлого. Л., 1925, стр. 74.

⁵ См. Б. П. Козьмин, Из истории революционной мысли в России. М., 1961; В. А. Дьяков, И. С. Миллер, Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964.

⁶ Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства (ЦГАЛИ), ф. 1674, оп. 1, ед. хр. 1, зап. книжка № 1.

«Крепко, дружно вас бы, братья,
Я в объятья заключил
И желанья и проклятья
С вами, братья, разделил.

Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и холод рудника.

Но и там, назло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенья
Свято в сердце сохраняю.

В безотрадной мгле изгнанья
Твердо буду света ждать
И душой одно желанье,
Как молитву, повторять:

Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас.

Может быть, мне и не суждено воротиться.
Спасибо вам за те слезы, которые вызвал
у меня ваш братский привет. С кровью мне
приходится отрывать от сердца все, что доро-
го, чем светла жизнь! Дай бог лучшего вре-
мени хоть вам»¹.

Не удивительно, что в альбоме молодой жен-
щины оказались стихи. Агент III отделения
доносил: «Портрет Михайлова <...> есть у мно-
гих, а его послание с жадностью переписано
почти всеми». Но список этот отличается от
всех известных доселе. Четвертое четверости-
шие совпадает только с автографом из архи-
ва Я. П. Полонского, но зато первое четверо-
стишие не совпадает ни с одним из двух
предполагаемых автографов, ни со списками
Бартенева и Шляпкина, ни с публикацией «Ко-
локола»². Текст прозаической приписки также
имеет другую редакцию.

6

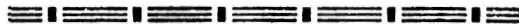
Утром 15 июня 1862 года в меблированных
комнатах кухмистерши Мазановой на Василь-

евском острове полиция арестовала студента
Петербургского университета Петра Давидо-
вича Баллода — владельца «карманной типо-
графии», печатавшего и распространявшего
революционные прокламации. Слуга при меб-
лированных комнатах назвал множество лиц,
посещавших Баллода. Среди них фигурировал
художник Валерий Иванович Якоби³.

На вопросы следственной комиссии Баллод
отвечал, что с художником Валерием Якоби
знаком очень мало и сношений с ним ни-
каких не имел, а познакомился в марте или
апреле у студента Данилова⁴.

Допросить Валерия Якоби комиссия не имела
возможности.

Петр Давыдович на допросе покривил душой.
С Валерием Якоби он был знаком гораздо
короче. Уже отмечалась роль Якоби в ка-
занском землячестве, а Баллода в меб-
лированных комнатах окружали студенты-ка-
занцы: три брата Жуковских (Николай, Вла-
димир и Василий), три брата Даниловых
(Виктор, Осип и Философ) и Дмитрий Сур-
ков. Двое из них бывшие студенты Казан-
ского университета, остальные окончили гим-
назии, входившие в Казанский учебный округ,
и по этой причине были равноправными чле-
нами казанского землячества. Здесь же жи-
ли москвич Александр Федотов (участник
московских студенческих кружков, впослед-
ствии драматург и режиссер) и начинающий
критик Д. И. Писарев. Вся эта компания сни-
мала меблированные комнаты в складчину
и жила студенческой коммуной⁵. Чтобы по-



¹ ЦГАЛИ, ф. 1674, оп. 1, ед. хр. 1.

² Анализ списков стихотворения см. в приме-
чаниях Г. Ф. Коган к I тому сочинений Ми-
хайлова в трех томах. М., 1958, стр. 547—548.
³ П. И. Валескалн, Революц. демократ
П. Д. Баллод, Рига, 1957, стр. 64.

⁴ Там же, стр. 68.

⁵ М. К. Лемке. Политические процессы
в России 1860-х гг. М.—П., 1923, стр. 560;
П. И. Валескалн, указ. соч., стр. 64, 67—
68; Государственный Исторический архив Ле-
нинградской области (ГИАЛО), ф. 14, оп. 5,
ед. хр. 475, 470, 826, 1321. Личные дела сту-
дентов Вл. Жуковского, В. и О. Даниловых,
Д. Суркова.



знакомиться с Якоби у Данилова, Баллоду не нужно было ходить далеко.

Через сорок с лишним лет Баллод проявил большую осведомленность в этом вопросе. Сохранилось его неопубликованное письмо к Л. Ф. Пантелееву от 20 апреля 1906 года, в котором есть следующие строчки: «В «Былое» я прочитал в статье о М. И. Михайлове, что автор картины заковывания в кандалы неизвестен. Эту картину писал Якоби»¹. Утверждая принадлежность картины Валерию Якоби, Баллод тем самым косвенно подтверждает и свое короткое знакомство с художником. Отрывочные факты, приведенные выше,

говорят о близости Валерия Якоби к революционно-демократическому движению 1860-х годов. Этому не противоречит и характер его творчества в эти годы.

7

Публикуя литографию, М. К. Лемке назвал имена офицеров, изображенных вместе с Михайловым: «Офицер, сидящий слева, — плац-адъютант, штабс-капитан И. Ф. Пинкорнелли, немало способствовавший переписке заключенных между собою и с «волей» и называемый Михайловым «добрым и милым», а стоящий — подпоручик Ф. Ф. Руссов»². Можно ли доверять разъяснениям М. К. Лемке? Откуда у него эти сведения? Скорее всего Лемке получил их от известного библиографа П. А. Ефремова³, который предоставил ему иллюстрацию. В таком случае сведения верны, ибо П. А. Ефремов был человеком осведомленным и точным. В шестидесятые годы он активно участвовал в журналистике, был знаком со многими литераторами, в том числе и с М. И. Михайловым⁴.

Иван Федорович Пинкорнелли часто упоминается в литературе как гуманнейший человек, в меру своих сил и возможностей облегчавший заключенным пребывание в крепости. Один документ, опубликованный еще в 1920 году и до сих пор не обративший на себя внимания историков, представляет Пинкорнелли в неожиданном свете. Сенатор Жданов, расследовавший «казанский заговор», писал начальнику III отделения 16 июля 1863 года: «Есть письмо <...> Пинкорнелли, плац-адъютанта Петропавловской крепости: извещение, кто куда из пропагандистов разосланы. Я постараюсь обставить его справками и буду иметь честь подробно доложить, до того времени не трогайте его, а следить

¹ ЦГАЛИ, ф. 1691, оп. 1, ед. хр. 68, л. 26 об.

² М. Лемке, указ. соч., стр. 133.

³ «Былое», 1906, № 1, стр. 133.

⁴ О П. А. Ефремово см. Краткая литературная энциклопедия, т. 2, М., 1964, с. 903.

надобно. Наши предчувствия на его счет, Бог приведет, оправдаются фактами»¹. Речь идет здесь не о гуманности тюремщика. Если письмо Пинкорнелли не фантазия Жданова, то можно думать о причастности Пинкорнелли к революционной организации. Почему бы и нет, ведь отыскались известия о принадлежности второго плац-адъютанта Ф. Ф. Руссова к революционному кружку. П. Д. Баллод в письме к Пантелееву 15 ноября 1903 года вспоминал: «Когда меня арестовали и ночью в Петропавловской крепости повели в комиссию под конвоем из восьми человек, то плац-адъютант, шедший со мною рядом, впереди, спросил меня: «Что делать кружку инженеров?» — «Пусть молчат», — сказал я. Кружок этот был организован давно»². А 12 июня 1906 года в письме к тому же Пантелееву Баллод внес уточнения: «Я не назвал имени плац-адъютанта, который провозжал меня ночью в комиссию. Это Руссов. Быть может, он еще жив и состоит на службе, то лучше фамилию его не называть, разве если он позволит»³.

Имя Ф. Ф. Руссова в литературе больше нигде не упоминается, но свидетельство Баллода дает исследователю новую ниточку к революционным организациям шестидесятников, проникшим даже в цитадель царизма — Петропавловскую крепость.

8

Анализ искусствоведа и свидетельство осведомленного современника подкрепляют друг друга. Авторство Валерия Якоби можно считать бесспорным.

Пантелеев сообщил, что свою картину «Смерть Робеспьера» художник задумал уже в конце 1861 года. Д. Сарабьянов установил композиционную связь между картинами художника «Михайлов перед отправкой на каторгу» и «Умеренные и террористы». Теперь совершенно очевидно, что первая картина послужила эскизом для второй.

Но откуда в картине Якоби такое портретное сходство всех изображенных лиц?



(Вспомним, что не только Лемке со слов Ефремова, но и агенты полиции утверждают это.) Возможно только одно предположение: Якоби писал с натуры! Он посещал Михайлова в крепости, писал его, фельдшера, кузнеца, офицеров. Именно в крепости художник мог получить текст стихотворения, записанный в дневнике его жены. То небольшое, что удалось выяснить о крепостных плац-адъютантах Пинкорнелли и Руссове, допускает их

¹ А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XV, стр. 342—343.

² «Революционное движение 1860-х годов». Сборник, М., 1932, стр. 134.

³ ЦГАЛИ, ф. 1691, оп. 1, ед. хр. 68, л. 30.

содействие художнику в создании картины, сыгравшей свою роль в революционной пропаганде.

Остается только надеяться, что со временем отыщется и оригинал картины Якоби и выяснятся подробности ее создания.

Что касается двух других портретов Михайлова, то авторы их пока неизвестны. Д. Сарабьянов предполагает, что рисунок, изображающий поэта в сибирской тюрьме, принадлежит художнику-исковцу Иевлеву. Можно также допустить, что автором поясного портрета Михайлова был Микешин. Но эти предположения требуют дополнительной проверки.

А. П. Левандовский

Тайна Железной маски

В последнее время во Франции вновь ожил интерес к старой повести о Железной маске. От развлекательного фильма с Жаном Маре в главной роли к серьезному исследованию М. Паньоля потянулась забытая литературная фабула, идущая от Вольтера и Дюма. Книга Паньоля, в которой даны новые материалы и остроумные сопоставления, вызвала много шума. Об этом рассказывает Л. Володин в «Неделе» 2 октября 1965 г. Но доказал ли французский академик свою версию? Обратимся к фактам, засвидетельствованным историей.

В серый, пасмурный день 19 сентября 1698 года перед подъемным мостом Бастилии остановился конный отряд. Капитан Сен-Мар вызвал стражу, предъявил ордер, и два десятка мушкетеров, окружавших портшез с траурными занавесками, проникли во внутренний двор тюрьмы.

Узник, доставленный в темном портшезе, был необычным. Он казался немым. Его лицо плотно закрывала маска, выкованная из железа и отделанная черным бархатом. Согласно предписанию его заключили в один из самых глухих казематов Бастилии.

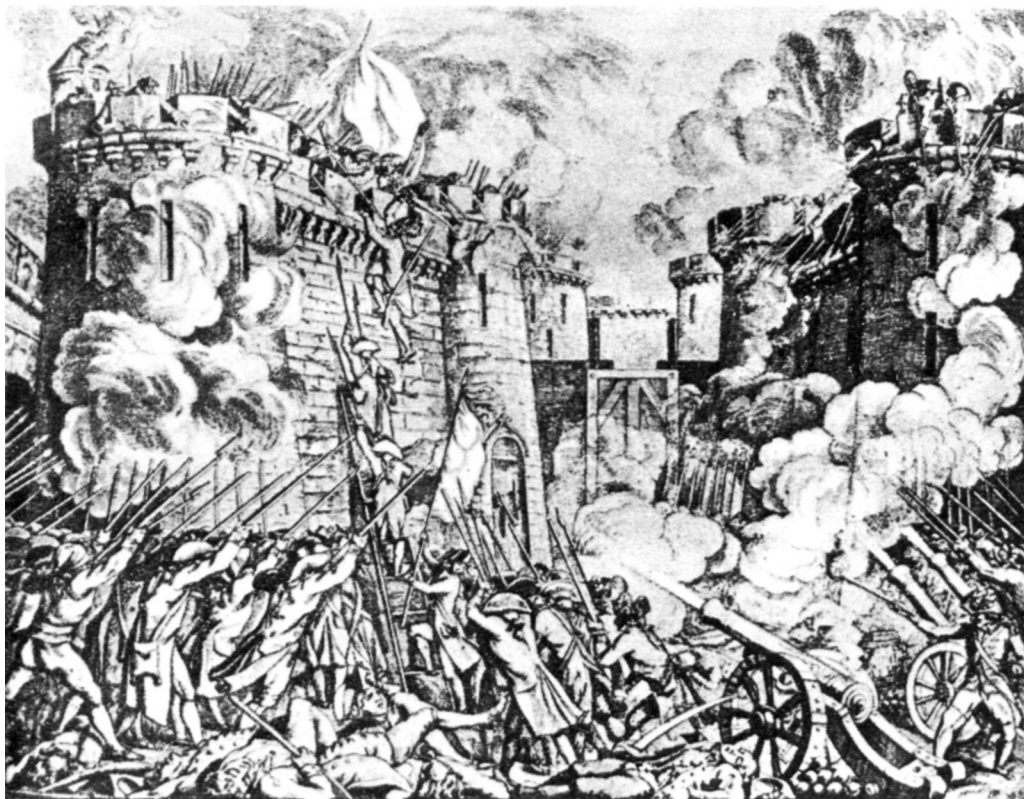
О человеке в железной маске тюремное

начальство знало только, что прибыл он с острова Сен-Маргерит, а до этого содержался в крепости Пиньероль, на юго-восточной границе Франции. С ним было запрещено разговаривать. В безмолвии прожил он долгих пять лет в своей одиночной камере и умер 19 ноября 1703 года. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли.

Восемьдесят шесть лет спустя парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнаружение архивов страшной крепости-тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка Железной маски оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, оказались заблаговременно вырванными и уничтоженными.

Историки и писатели строили разнообразные гипотезы о личности таинственного молчальника. Одни видели в нем графа Вермандуа, сына Людовика XIV от Лавальер, упрятого в тюрьму за пощечину, данную им дофину; другие полагали, что это был сюринтендант Фуке, осужденный на вечное заключение за казнокрадство. Называли и других лиц: герцога Бофора, вождя Фронды, исчезнувшего в 1669 году; герцога Монмута, племянника Якова II, спасенного заточением от казни; дворянина Армуаза, возглавившего заговор против Людовика XIV.

Особенно устойчивыми были версии, считавшие Железную маску сводным братом «короля-солнца». По одной из них, неизвестный был сыном Анны Австрийской от ее камердинера, по другой — от герцога Бекингема, по третьей — от кардинала Мазарини. Предполагали также, что узник Бастилии мог быть родным братом Людовика XIV, его близнецом, которого изолировали, опасаясь



междоусобий в стране. Этот вариант, казавшийся особенно романтическим, широко вошел в художественную литературу; именно его ныне и предлагает своим читателям М. Паньоль.

В период империи была пущена в ход новая версия, поддержанная придворными историографами Наполеона I. Согласно ей Людовик XIV был внебрачным ребенком, но его отец, Людовик XIII, именно ему предназначил королевскую корону, устранив от права наследования своего законного сына. Этот последний, подлинный дофин, воспитывался вдали от двора, а когда вырос и стало заметно его сходство с будущим королем, оказался обреченным на заточение. Сначала его отправили на остров Сен-Мартен.

Взятие Бастилии восставшим народом. 1789.

Там он вступил в тайную связь с дочерью тюремщика, от которой имел сына. Тогда-то несчастного отца, закованного в железную маску, и перевели в Бастилию, а малолетнего сына отправили на остров Корсику, дав ему при этом фамилию Буонапарте, то есть «с хорошей стороны», «от хороших родителей». И вот этот мальчик стал будто бы предком Наполеона, обеспечив ему вполне «легитимное» происхождение.

Нет нужды перечислять другие гипотезы, возникшие в разное время в связи с различными обстоятельствами. Все они, как и только что приведенные, страдают одним общим

недостатком: они не подкреплены фактами, а зачастую и прямо противоречат фактам. И лишь одна версия, предложенная впервые в 1795 году, а затем нашедшая ряд подтверждений, может вопреки мнению Паньоля претендовать на известную долю вероятия.

Эта версия очень далека от приведенных выше романтических измышлений. Ее автор исходил из двух непреложных истин: названия крепости, в которой сначала был заключен неизвестный, и имени, под которым он был похоронен.

Мы помним это имя: Марчиали. Конечно, имя вымышленное. Однако оно очень напоминает другое имя, принадлежавшее реальному историческому деятелю: Маттиоли. Маттиоли был хорошо известен современникам. Не менее известным стало его загадочное исчезновение.

Граф Жироламо Маттиоли родился в Болонье в 1640 году. Свою дипломатическую карьеру он сделал при дворе герцога Мантуанского. Быстро поднимаясь по ступенькам служебной лестницы и выдвинувшись в премьер-министры, граф Маттиоли попал в гущу крупной политической игры, которую великие державы проводили на почве богатой, но раздробленной Италии. При его содействии был заключен тайный договор между Мантуей и Францией. Договор был весьма выгоден французскому королю, который в случае его реализации получал важные территориальные присоединения. За эту сделку Людовик XIV уплатил Маттиоли крупный куш — 100 тысяч скуди. Но Мантуанский дипломат захотел получить еще больше. Он продал тайну заинтересованным правительствам Савойи, Испании и Австрии. Афера французского правительства провалилась. Разгневанный Людовик XIV решил наказать продажного политика. Его заманили в пограничный район и бросили в крепость Пиньероль. После этого он исчез навсегда.

Французский король отказался от своего участия в этом деле. На все запросы министерство иностранных дел отвечало, что ни-

чего не знает о Маттиоли. Решили, что он был убит. Между тем Людовик XIV избрал для незадачливого дипломата такую месть, которая казалась ему более страшной, нежели смертная казнь. Граф Жироламо был обречен на смерть при жизни: он должен был лишиться имени, потерять лицо и в мраке вечного заточения днем и ночью думать об ужасных последствиях своего предательства. Его перевели на остров Сен-Маргерит, а затем в Бастилию. Черты его лица навеки скрыла железная маска...

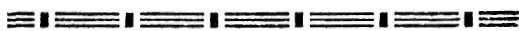
Версия о Маттиоли подтверждается хронологическими данными: его исчезновение совпадает по времени с появлением неизвестного в крепости Пиньероль. И все же это только гипотеза, хотя и наиболее вероятная по сравнению с другими. Твердых доказательств нет и, по-видимому, никогда уже больше не будет. Человек в железной маске унес свою тайну в могилу.

М. Ю. Барановская

Книга Ф. Энгельса в библиотеке Т. Н. Грановского

Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855) — профессор всеобщей истории Московского университета, основатель русской медиевистики — был, по словам Н. Г. Чернышевского, «одним из Первых историков нашего века», «один из замечательнейших между современными европейскими учеными по обширности и современности знания, по широте и верности взгляда и по самобытности воззрения»¹.

Друг А. И. Герцена и Н. П. Огарева, В. Г. Белинского и М. А. Бакунина, горячо любивший их и любимый ими, Грановский не смог подняться до их революционного демокра-



¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., Т. III. М., 1947, стр. 350, 363.



тизма. Но имя его неотделимо от их имен. Они творили общее дело. Вся научная и общественная деятельность Грановского протекала в обстановке, когда «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом»¹. Ученый-демократ отдал всю свою сознательную жизнь борьбе с крепостничеством, после поражения революции 1848 года во Франции он был на стороне побежденных².

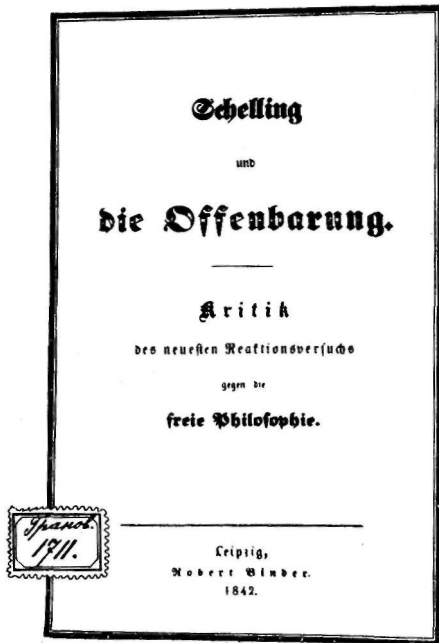
Благородное влияние Грановского на передовую русскую молодежь высоко оценил Некрасов: «Готовил Родине ты честных сыновей, провидя луч зари за непроглядной далью. Как ты любил ее! Как ты скорбел о ней! Как рано умер ты, терзаемый печалью»³.

До нашего времени полностью сохранилась библиотека Т. Н. Грановского, включающая в себя около 5000 томов⁴. Она лучше всяких документальных данных определяет объем и разносторонность интересов передового профессора. Здесь старинные русские и редчайшие зарубежные издания, книги о Петре I и мемуары деятелей французской революции 1789 года, философские трактаты и стихи поэтов пушкинской поры, первое много-томное издание А. С. Пушкина и исторические сочинения по античности и средневековью, журналы, энциклопедии и справочники. Обращает внимание брошюра Фридриха Энгельса «Шеллинг и откровение» (1842) на немецком языке. В этом раннем произведении один из будущих основоположников научного коммунизма публично заявил о своих атеистических воззрениях и подверг критике не только реакционные идеи Шеллинга, но и консервативно-политические взгляды другого выдающегося немецкого философа-идеалиста — Гегеля.

Передовой литературно-философский кружок Н. В. Станкевича, в котором участвовал Грановский вместе с Белинским, Бакуниным, В. И. Красовым, К. С. Аксаковым, В. П. Боткиным и другими, изучал сочинения немецких философов-идеалистов — Гегеля, Шеллинга, Фихте. Поворот Шеллинга к реакционным идеям вызвал разочарование русских шеллингянцев. Один из членов кружка, В. П. Боткин, в январском номере «Отечественных записок» за 1843 год напечатал статью «Германская литература», в которой излагал Энгельсову критику Шеллинга. Известно, что Белинскому понравилась эта критика. В. П. Боткин переводил также ран-

1 В. И. Ленин, Соч., 4-е изд., т. 2, стр. 473.
 2 См. мою публикацию «Письмо Т. Н. Грановского к Е. Б. Чичериной», «Литературное наследство», т. 7—8, М., 1933, стр. 53; также: Т. Н. Грановский, Переписка, стр. 348.
 3 Н. А. Некрасов, Соч., т. 3, М., 1950, стр. 333.

4 В 1913 году передана семейством Станкевичей в Московский университет и ныне хранится в научной библиотеке имени М. Горького.



ние труды К. Маркса и Ф. Энгельса — «Святое семейство» и «Немецкая идеология». Близость Грановского к в. Г. Белинскому и В. П. Боткину позволяет предполагать знакомство его с ранними произведениями Маркса и Энгельса.

Обнаружение в библиотеке Т. Н. Грановского сочинения Ф. Энгельса «Шеллинг и откровение» создает уверенность в том, что Грановский был знаком с этим сочинением в оригинале.

Г. Голубев

Раскрытая гробница

Сказал поэт:

«Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь Письмена...»

Но как быть, когда «письмена» оказываются столь противоречивы?

«Ненавидаху князя Андрея...»

«Умен был князь Андрей во всех делах...»

«Андрей исполнился высокоумия...»

«...Любил начинать битву впереди полков...»

«...Погубил смысл свой невоздержанием».

«Вельми бо бе князь силен...»

«Распалившись гневом, говорил дерзкие слова...»

Это все сказано об одном человеке — о князе Андрее Боголюбском. Сын основателя Москвы Юрия Долгорукого и пленной половчанки, он стал выдающимся государственным деятелем и прожил бурную жизнь. Даже по скудным записям в древних летописях видно, какой у князя Андрея был своенравный характер.

В 1154 году Юрий Долгорукий после долгой борьбы с другими князьями занимает завтный великокняжеский престол в Киеве. Андрей вопреки воле отца уходит на север, в глухие леса за Окой, выбирает себе захудалое Ростово-Суздальское княжество.

Но и здесь он все перекраивает по-своему. Не хочет жить ни в Ростове, ни в Суздале, а делает столицей княжества Владимир, за несколько лет превратив в богатый город маленькую деревянную крепость с земляным валом на высоком берегу Клязьмы. По его воле в городе закладываются замечательные соборы, и поныне поражающие своей красотой. Встают вокруг города неприступные крепостные стены с Золотыми, Серебряными, Медными воротами.

И опять князь Андрей бросает все и уходит на новое место. В десяти верстах от Владимира, среди глухого леса, он закладывает «себе город камен, именем Боголюбый».

Так же неровен, своенравен и неожидан поступками Андрей Боголюбский и в своей политической деятельности. Враждует со многими князьями и затевает хитрые интриги, то выдвигая своих ставленников, то сам же ловко сбрасывая их. «Выгна Андрей епископа Леона ис Суздаля и братью свою погна

Мстислава и Василька и два Ростиславича сыновцы своя, мужи отца своего переднии, — меланхолически отмечает летописец и тут же дает пронизательный ответ, зачем все это делается: — Се же створи хотя самовластець быти всей Суждальской земли».

Да, князь Андрей пытается стать «самовластцем», из разрозненных и враждующих между собой мелких княжеских и боярских вотчин сколотить единое государство. Ему мало уже единовластия в Суздале. Он идет войной на приволжских болгар, «заносясь на ретивом коне в середину вражеского войска и пренебрегая опасностями».

А в 1169 году Андрей Боголюбский ведет свои дружины на Киев, грабит его и сжигает дотла. «...И бысть в Киеве на всех человецах стенание и туга, и скорбь неутешимая и слеза непрестанная».

После этого отзывы современников о князе Андрее становятся особенно противоречивы. Летописцы северных городов прославляют его, южнорусских — неистово проклинают. Так же темен и во многом загадочен трагический конец этой бурной жизни. Кажется, Андрей Боголюбский добился своего: Киев сожжен, центром русской земли стало его возлюбленное Ростово-Суздальское княжество. Но государство, которое он с таким трудом сколачивал всю жизнь, трещит и разваливается на глазах.

Нет князю Андрею покоя ни во Владимире, ни в Суздале, ни в Ростове. «Ненавидяху князя Андрея своего суще домашнии, и льстиво и лукавив глаголеху к нему, — записывает летописец. — И бысть брань люта в Ростовской и Суздальской земле...»

Зреет заговор, во главе которого становятся «домашнии» — родственники жены князя, братья Кучковичи. Андрей узнает об этом и приказывает казнить одного из братьев. Но это лишь ускоряет события. «Нынче казнил он Кучковича, завтра казнит и нас, так промыслим об этом князе!» — решают заговорщики.

Глухой ночью 29 июня 1174 года они крадут-

ся по узким коридорчикам и скрипучим лестницам княжеского дворца в Боголюбове. Страх перед князем так силен, что с полдороги заговорщики возвращаются и спешат в погреб, чтобы выпить вина для храбрости. Подойдя к дверям княжеской спальни, один из них негромко окликает, чтобы проверить, здесь ли Андрей:

— Господин! Господин!

— Кто там? — откликается Боголюбский.

— Прокопий, — называют обманно заговорщики имя верного княжеского слуги.

Слышно, как за дверью князь будит всегда ночевавшего с ним отрока-прислужника:

— Мальчик, послушай, ведь это не Прокопий?

Заговорщики кидаются ломать дубовую дверь. Князь Андрей мечется по спальне в поисках своего боевого меча, с которым никогда не расставался. Но меча нет. Предатель-ключник предусмотрительно выкрал его еще вечером.

Ворвавшиеся убийцы бросаются на безоружного князя. Но он так еще силен в свои шестьдесят три года, что разбрасывает их в стороны. Его колют копьями, рубят саблями и мечами. Падает и гаснет светильник, схватка продолжается в полной тьме. Заговорщики так увлеклись, что ранят друг друга.

— Нечестивцы! — кричит Андрей. — Бог отомстит вам за мой хлеб...

Голос его обрывается клокочущим хрипом.

— Готов...

Убийцы, тесня один другого в дверях, спешат покинуть спальню. Они собираются в одной из комнат, чтобы осмотреть собственные раны и решить, что делать дальше.

— Тише, — вдруг останавливает товарищей Яким Кучкович. — Я слышал стон.

— Приблизнилось.

— Слышал: стонал кто-то.

Схватив лампу, они бросаются обратно в спальню. Она вся залита кровью, но — пуста. Тела убитого нигде нет.

— Погибли мы теперь!

— Станем искать поскорее.

Они находят Андрея Боголюбского по кровавому следу, тянущемуся из спальни в коридор, оттуда на лестницу... Андрей пытается спрятаться за лестничным резным столбом. Они набрасываются и добивают князя. Петр Кучкович отрубает у мертвого правую руку, чтобы окончательно увенчать победу...

Так свидетельствует летопись. Но правда ли это? Есть даже рисунок: заговорщики колют и рубят князя Андрея со всех сторон, а он лежит на кровати в какой-то странной невозмутимой, позе, лениво подперев голову рукой.

По словам летописца, после убийства князя в городе начались грабежи и всяческие бес-

Со всеми предосторожностями скелет доставлен в Ленинград, в рентгенологический институт. Над ним склоняется профессор Дмитрий Герасимович Рохлин. А череп, вынутый из гробницы, отправлен в лабораторию профессора Михаила Михайловича Герасимова.

Когда в ноябре 1895 года великий физик Конрад фон Рентген случайно обнаружил, что катодная трубка, накануне купленная им в магазине, испускает какие-то совершенно загадочные и непонятные лучи, он был озадачен и, по совести говоря, не представлял даже, какую пользу можно извлечь из этого открытия. Его недоумение сказалось



чинства. Тело Андрея Боголюбского несколько дней валялось в огороде, потом его подобрали и погребли в Богородичной церкви града Владимира.

Опять-таки все темно и загадочно... Может быть, вовсе не прах Боголюбского покоится в этой каменной гробнице? В горячке смуты могли подобрать и похоронить первое попавшееся тело. Как установить истину через восемь столетий?

И вот поднимается тяжелая каменная крышка. Осторожно, чтобы не сдвинуть ни одной кости, из гробницы извлекают скелет и череп с пустыми глазницами. Зачем? Ведь «молчат гробницы, мумии и кости...».

и на выборе названия для странных лучей. Рентген назвал их «х-лучами», «X-лучи» очень быстро стали весьма модными. Фокусники в маленьких городах с таинственным видом демонстрировали, как они непостижимым образом дают на фотографических пластинках, надежно запряженных в черную бумагу, отчетливые изображения всех косточек руки. Клоуны в мюзик-холлах наперебой острили, как ловко удастся с помощью этих удивительных лучей подсчитывать монеты в чужих кошельках, становившихся вдруг каким-то чудесным образом словно прозрачными...

Далеко не сразу стало ясно, что Рентген по-

дарил своим открытием человечеству совершенно новое, необычное «зрение», каким природа не сумела наделить ни одно из живых существ. Теперь рентгеновы лучи применяются повсюду: и в медицине и в технике. Они пробудили к жизни несколько новых отраслей науки: рентгенографию, рентгеноспектроскопию, рентгенотерапию. Они дали новые интереснейшие методы научного исследования историкам и археологам.

Изучив тысячи рентгеновских снимков, советский ученый М. М. Герасимов открыл закономерности, позволяющие по костям черепа восстанавливать облик давно умерших людей. Благодаря этому мы получили возможность собственными глазами увидеть, как выглядели царь скифов Скилур, Тимур, Ярослав Мудрый, Андрей Боголюбский, Улугбек, Шиллер, замечательный флотоводец адмирал Ушаков. Сейчас Герасимов занят грандиозной работой по созданию «портретной галереи человечества» — от первобытных охотников-кроманьонцев до наших современников.

Работы Михаила Михайловича Герасимова, отмеченные Государственной премией, достаточно широко известны, и мы не будем на них останавливаться подробно. Гораздо меньше знают об исследованиях профессора-рентгенолога Д. Г. Рохлина. А они не менее интересны и ценны.

Рентгеновы лучи тоже помогли Дмитрию Герасимовичу Рохлину прояснить немало загадок истории, но он шел своим, оригинальным путем. В течение многих лет внимательно изучая тысячи рентгеновских снимков, профессор Рохлин старался установить, как отражаются на костях различные изменения в организме человека.

И постепенно выяснились любопытнейшие вещи. Оказывается, кости «живут», развиваются и меняются в нашем теле. Постепенно раскрывались перед исследователем определенные строгие закономерности между развитием костей и, скажем, мышц и даже желез внутренней секреции, которые

медики называют «дирижером» всех жизненных процессов в нашем организме.

Характерные наросты на костях — остеофиты — свидетельствуют, что покойный страдал склерозом. Изменение сосцевидного отростка височной кости — верный признак заболеваний уха. Сильное окостенение в тех местах, где прикрепляются сухожилия, говорит о незаурядной силе.

Таких «улик» накапливалось все больше и больше. Оказалось, даже о характере и темпераменте давно умершего человека можно с уверенностью судить по его костям. Особенности строения черепа, лобных пазух, некоторых трубчатых костей и «турецкого



седла», прикрывающего гипофиз мозга, — все это рассказывает опытному глазу исследователя о деятельности желез внутренней секреции. А если у кого-нибудь выделения щитовидной железы в организме повышены, а секреция гипофиза, наоборот, угнетена, то это сказывается и на характере. Такой человек обычно бывает вспыльчивым, раздражительным.

...И вот профессор Рохлин склоняется над скелетом, извлеченным из гробницы Богородичной церкви града Владимира.

Да, это, несомненно, останки князя Андрея Боголюбского. Он был «вельми силен», как и утверждали летописцы. Он выглядел мо-

ложе своих лет, об этом свидетельствуют кости. Он был вспыльчив и горяч: многие кости сохранили структуру, свойственную юношескому возрасту. А это значит, что железы внутренней секреции делали характер князя Андрея весьма возбудимым. «Умен был князь Андрей, но погубил смысл свой невоздержанием...»

Кости правого предплечья и кистей рук сохранили следы старых, заживших рубцов — во многих битвах был ранен этот человек. И опять вспоминается летопись: «...Любил начинать битву впереди полков, заноситься на ретивом коне в середину вражеского войска и пренебрегать опасностями...»

М. М. Герасимов создал по черепу скульптурный портрет Андрея Боголюбского: энергичное, волевое лицо явно монгольского типа, длинные свисающие усы, остренькая бородка... Голова гордо закинута.

Эта гордая посадка головы не дает покоя критикам.

— Позвольте, — говорят они. — Придав именно такую позу своему Андрею Боголюбскому, вы выдали себя, Михаил Михайлович. Признайтесь, что вы тут просто слепо следовали летописям. «Андрей исполнился высокоумия» — вот вы и подчеркнули это в портрете. А может быть, на самом деле Боголюбский был вовсе не такой. Можно ли в таком случае доверять вашим реконструкциям?

— Можно! — поддерживает Герасимова Рохлин. — У Андрея Боголюбского еще в молодости срослись и окостенели несколько шейных позвонков. При таком заболевании он не мог сгибать шею. И конечно, такая поза должна была казаться современникам, ничего не знавшим о его болезни, заносчивой и спесивой, что и нашло свое отражение в летописях.

Но кое в чем новейшие исследования и опровергают летописи. В своем заключении профессор Рохлин и помогавшая ему В. С. Майкова-Строганова записали:

«Картина убийства, описанная летописцами,

в значительной мере совпадает с реконструкцией, сделанной нами на основании рентгенологического исследования скелета. В частности, на основании характера ранений было правильно распознано оружие нападавших: «и секоша и меци и саблями и копейные язвы даша ему» (летопись по Ипатьевскому списку). Довольно правильно был восстановлен порядок нанесения ударов. Мы не имели, однако, опорных пунктов, позволяющих считать, что заговорщики сначала лишь тяжело ранили Боголюбского, а добились его через некоторое время, когда он, очнувшись, нашел достаточно сил, чтобы доползти до сеней, оставляя за собой кровавый след и привлекая к себе стоном и криком.

Мы не обнаружили повреждений в области ребер, о чем упоминается в одном из списков. Возможно, что копьем был действительно нанесен удар в грудную клетку, однако без повреждения костной части ребер. Число ран, нанесенных Боголюбскому, несомненно, было больше, чем об этом можно судить лишь на основании скелета, ибо не каждый удар был связан с повреждением костей.

...Все летописцы отмечают, что Петр Кучкович отсек Боголюбскому правую руку. Однако на правой конечности нами не обнаружено «свежих» ранений, тогда как левая верхняя конечность была рассечена во многих местах: и в области плечевого сустава, и в среднем отделе плечевой кости, и в среднем и нижнем отделе предплечья, и в области пястных костей.

Нужно считать, что летописцы — или по ошибке, или же желая сгустить краски и усилить эффект — отмечают, что Петр Кучкович, главарь заговорщиков, отсек Андрею Боголюбскому правую, а не левую руку».

Нет, они вовсе не молчат — «гробницы, мумии и кости». Современная наука заставила их говорить. И князь Андрей Боголюбский смотрит на нас сквозь даль веков как живой, заносчиво подняв свою буйную, непокорную голову.

Г. Голубев

„Кто вы, мистер Публий?“

Эта загадка волновала американских историков почти два столетия.

Последняя четверть XVIII века, пожалуй, самый героический и славный период истории Соединенных Штатов.

Декабрь 1773 года. Темной, безлунной ночью небольшая группа отважных смельчаков, переодевшихся индейцами, подплывает к английским кораблям, стоящим на якорях в гавани Бостона, берет их на abordаж и сбрасывает в море весь привезенный ими груз чая. Это первое выступление за независимость от Англии ее колоний на американской земле вошло в историю под названием «Бостонского чаепития».

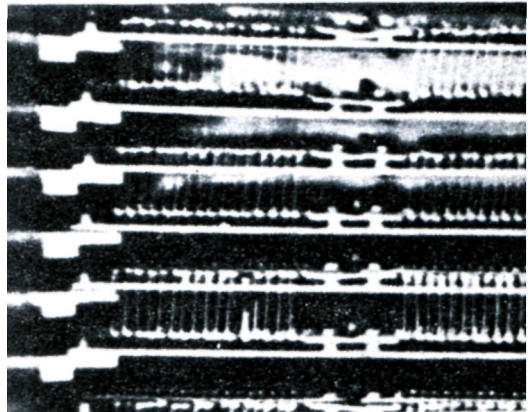
В сентябре 1774 года тайно собирается Первый Континентальный конгресс, но еще не решается открыто порвать с Англией.

В марте 1775 года пламенный оратор Патрик Генри страстно призывает законодательное собрание Виргинии:

— Война фактически уже началась. Ближайший вихрь, летящий с севера, может быть, донесет до вашего слуха ляг скрещенного бьющегося оружия. Наши братья уже выступили в поход. Зачем же мы здесь стоим празднать?.. Неужели жизнь так дорога и мир так сладок, что их следует покупать даже ценой кандалов и рабства?

Через месяц уже начинаются открытые военные действия против англичан, и генерал Джордж Вашингтон становится первым главнокомандующим освободительной армии.

Идут кровавые бои. Кипят страсти. Замечательные люди стоят у колыбели рождающейся в муках республики. Великий ученый и талантливый дипломат Бенджамен Франклин. Томас Пейн, первым призванный в своем знаменитом памфлете «Здравый смысл» разбить ненавистную корону и «куски ее рассеять в народе, которому она принадлежит по праву». Томас Джефферсон, созда-



тель великой Декларации независимости, которая начинается такими гордыми словами:

«Все люди сотворены равными, все они наделены создателем некоторыми неотъемлемыми правами, к числу которых относятся право на жизнь, свободу и стремление к счастью... Всякий раз, когда форма правления начинает противоречить этим целям, право народа — изменить ее либо вовсе уничтожить и учредить новое правительство...»

Позднее Карл Маркс назовет этот замечательный документ «первой декларацией прав человека».

Каким будет новое государство, первое свободное и независимое государство на Американском материке? Об этом спорят до хрипоты в газетах, на конгрессах, в клубах, на заброшенных фермах, у походных боевых костров.

Повсюду обсуждается проект первой американской конституции. И пожелтевшие, ломкие страницы старых газет и журналов, бережно хранящиеся теперь в стальных сейфах архивов, донесли до наших дней жар той давней политической борьбы.

Особенно интересны статьи, которые публиковались с октября 1787-го по август 1788 года в «Независимой газете». Потом эти восемьдесят пять статей были собраны вместе и вылучены отдельным изданием под названием «Федералист».

Статьи анонимные, все они подписаны одним и тем же древнеримским именем «Публий», но известно, что авторы их — три человека: Медисон, Гамильтон и Джей.

Американские историки так высоко оценивают эти статьи, что один из них даже поставил «Федералиста» выше всех политических творений Аристотеля, Цицерона, Макиавелли, Монтескье и Локка. Тем интереснее выяснить, кто же именно из трех авторов какую из статей написал.

Этим давно занимаются исследователи, но задача оказалась нелегкой. Проще всего обстояло дело с Джейем. Удалось быстро установить, что ему принадлежат всего пять статей.

А остальные восемьдесят? Может быть, большую часть их написал Джеймс Медисон, сыгравший большую роль в принятии конституции и впоследствии ставший в 1809 году президентом Соединенных Штатов?

Или главную роль в «Федералисте» играл Александр Гамильтон, тоже выдающийся, замечательный деятель, человек интереснейшей судьбы? Девятнадцати лет он был уже адъютантом генерала Вашингтона. Потом стал министром финансов молодой республики, был даже некоторое время главнокомандую-

щим американской армии — и закончил свою жизнь на дуэли с каким-то случайным, вздорным противником...

Установить авторство было нелегко, потому что политические взгляды Медисона и Гамильтона в те времена весьма близко совпадали, по стилю же статьи также почти совершенно не отличались. Как отметил один из исследователей, «статьи «Федералиста» отличаются ясным, простым изложением, но читатель, прочтя несколько номеров, начинает чувствовать некоторое утомление. Это утомление вызывается довольно однообразной манерой изложения».

К тому же сами авторы «Федералиста» сделали все, что было в их силах, чтобы запутать историков. При жизни каждый из них просто-напросто приписывал себе все статьи, которые считались наиболее удачными. Когда умер Гамильтон, Джеймс Медисон четыре раза по просьбе издателя делал «разметку» статей — и каждый раз по-новому.

В 1864 году сын Александра Гамильтона, Джон, выпустил новое издание «Федералиста», в котором, наоборот, почти все статьи приписал своему отцу.

С немалым трудом историкам удалось все-таки разобраться в запутанном споре об авторстве. К середине нашего века было достаточно убедительно доказано, кем из претендентов написана каждая из шестидесяти восьми спорных статей. Но двенадцать все еще оставались загадочными.

Решила эту задачу, над которой десятилетиями билось несколько поколений американских историков, электронно-вычислительная машина в Гарвардском университете. Ей понадобилось для этого всего шесть часов, причем чуть не половина времени ушла на чисто техническую наладку машины.

Математика уже не впервые приходит на помощь историкам и лингвистам. Еще в тридцатых годах подобную работу проделал известный английский математик Э. Юл над весьма популярным в средние века религи-

озным сочинением «Подражание Христу». Автором его считался монах-августинец Фома Кемпийский, но выдвигались и другие претенденты. Юл точными математическими подсчетами доказал, что написал это произведение все-таки, видимо, достопочтенный Фома.

«Ключом» для своих расчетов Юл избрал сравнение средней длины предложений в «Подражании Христу» с различными произведениями, которые заведомо бесспорно принадлежали как Фоме Кемпийскому, так и основным претендентам на авторство. Признак этот достаточно показателен. Например, в английском языке у авторов XVIII века средняя длина предложений составляет двадцать два слова, а скажем, в современных комиксах — всего восемь слов.

Еще точнее, но, конечно, требует гораздо больше времени и труда статистический анализ частоты повторяемости отдельных слов, «излюбленных» определенным автором. Почти тридцать лет ушло на составление такого «частотного словаря» Пушкина. Но зато теперь исследователи получили богатейший материал для углубленного изучения творчества величайшего русского поэта.

Любопытнейшие вещи можно узнать даже при самом поверхностном и беглом просмотре этого словаря. Точно подсчитано, что во всех своих произведениях Пушкин использовал около 21 тысячи различных слов, а всего его рукою написано 544 777 слов. Чаще всего встречается союз «и» — 21 026 раз. Всего по одному разу употребил великий поэт во всех своих творениях слова: благоуханный, безграничный, бравый, беспокойно, бедно, беспощадно, заманчиво, горделиво. А у некоторых современных поэтов и прозаиков именно эти слова так и пестрят!

«Частотный словарь» раскрывает даже какие-то черты характера Пушкина. Разве не примечательно, что слово «радость» с различными

производными от него встречается 601 раз, а «печаль» — всего 392 раза?..

Из этих примеров видно, какие возможности открывают перед историками литературы новейшие математические методы исследования. А применение электронно-вычислительных машин позволило механизировать кропотливую и весьма трудоемкую работу по сравнительному анализу. Нервы у машины ведь железные, как и логика. И терпения ей не занимать.

Всем известно, каким блистательным успехом завершилась работа по расшифровке советскими учеными рукописей майя в Новосибирском вычислительном центре.

С помощью электронно-вычислительной машины английский филолог Д. Макдоунг несколько лет назад окончательно разрешил давний спор о том, написана «Илиада» одним Гомером или является плодом коллективного творчества нескольких безыменных поэтов древности. Каждая из 15 693 строк гениальной поэмы была закодирована и записана на перфорированные карточки. Машина «сравнивала» метрику каждого стиха, среднюю длину предложений, частоту повторяемости «ключевых» слов в каждой песне «Илиады» и пришла к выводу, что поэма, несомненно, отличается единством стиля. Она написана одним человеком.

Примерно такой же метод был применен и для разгадки запутанной проблемы авторства последних двенадцати статей «Федералиста», оставшихся нерасшифрованными. Электронной машине предложили сравнить каждую из них с произведениями, которые, бесспорно принадлежали Александру Гамильтону и Джеймсу Медисону.

Когда-то Юлу, трудившемуся «вручную», для подобной работы потребовались годы, а машине — считанные часы. Экспертиза ее была окончательной и безапелляционной: одиннадцать статей, несомненно, написаны Гамильтоном и лишь одна — рукой Медисона.

Итак, загадка, волновавшая многих исследователей, наконец-то разгадана. Но запутан-

ная история на этом не кончается. Совсем недавно по иронии судьбы она получила совершенно неожиданное продолжение.

Когда было окончательно доказано, что именно Александр Гамильтон является автором большинства статей «Федералиста», историки, естественно, еще больше заинтересовались личностью этого выдающегося деятеля американской революции. Начались усиленные поиски каких-нибудь новых, еще неизвестных материалов о нем во всех архивах.

Пожалуй, сам Гамильтон был бы весьма не рад такой слишком громкой славе. Ведь он-то прекрасно знал, чем могут закончиться поиски. Услуга, которую ему оказали своими научными разысканиями дотошные исследователи, оказалась поистине «медвежьей».

В 1964 году, к всеобщему изумлению, в одном из архивов были найдены секретные документы, покоившиеся там в полном забвении полтора века. Они неопровержимо доказывали, что прославленный национальный герой, министр и главнокомандующий первого американского правительства был... платным агентом англичан! Сохранились его расписки в получении крупных сумм за секретные «услуги», и, чтобы подтвердить их подлинность, уже вовсе не нужна помощь электронной машины...

Конфуз сенсационный. Теперь историкам становятся понятны и многие другие «темные места» в биографии Александра Гамильтона. Почему, например, провалилась первая денежная реформа, которую он проводил, вступив на пост министра финансов, — из-за того, что кто-то вовремя предупредил о ней спекулянтов... Почему Гамильтон при обсуждении проекта первой американской конституции произносил довольно странные речи: «Я хорошо сознаю, что было бы бессмысленно предлагать теперь другую форму правления, кроме республики. Но, поддерживаемый мнением стольких умных и добродетельных людей, я не колеблюсь заявить, что

английское правительство есть лучшее из всех...»

Он не оставлял коварных замыслов и много позже, когда советовал в одном из писем президенту Джефферсону: «Вероятно, придется вернуться к английской форме правления...»

Теперь стало ясно, мнение каких именно «умных и добродетельных людей» выражал «агент № 7» Гамильтон и за какую плату.

Как ни печально это открытие для многих американцев, разочаровавшихся в своем «национальном герое», оно сделано. И опомнившимся от первого потрясения историкам не остается ничего другого, как продолжать поиски в архивах. Кто знает, к каким еще неожиданностям они приведут. Ведь муза истории Клио обожает сюрпризы.

Г. Кессельбреннер

Сын двух народов

«Пусть бедного яванца подгоняют два надсмотрщика, пусть его отрывают от его рисовых полей, обрекают на голод, зато в Батавии, Самаранге, Сурабае, Безуке, Проболинго, Пачитане, Чилачапе весело трепещут флаги на кораблях, нагруженных сырьем, от которого богатеют Нидерланды.

Голод? На богатой плодородной земле Явы — голод? Да, читатель, несколько лет тому назад целые округа вымерли от голода, матери продавали детей на съедение...»

Эти гневные слова, принадлежащие известному голландскому писателю Эдуарду Дауэсу Деккеру, мир впервые услышал сто с лишним лет тому назад.

Тяжелые испытания уготовила жизнь и самому Деккеру, выступившему на литературном поприще под псевдонимом «Мультипули», что в переводе с латинского означает «многострадальный».

Много лет прослужил будущий писатель в Нидерландской Индии в качестве голландского колониального чиновника и был свиде-

телем нечеловеческих страданий индонезийцев. Каждая строчка его знаменитого романа-памфлета «Макс Хавелаар, или кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» пропитана гневным протестом против угнетения и произвола голландских колонизаторов, сочувствием к колониальным народам. Создав свою правдивую и честную книгу, Мультатули совершил настоящий подвиг: писатель-гуманист навечно пригвоздил к позорному столбу колониалистов, разбойничавших на индонезийской земле.

Роман этот, вышедший в свет в 1860 году, подобно грому поразил буржуазную Голландию. О том огромном резонансе, который



вызвала книга, свидетельствует, в частности, и весьма любопытный отклик русского консула в Нидерландской Индии М. М. Бакунина, обнаруженный автором этой заметки в Архиве внешней политики России.

16 августа 1894 года М. М. Бакунин в специальном приложении к консульскому донесению в министерство иностранных дел России писал:

«Книга Декера в свое время своею резкою критикою и своими обвинениями против злоупотреблений и жестокости колониального управления вызвала огромную сенсацию и небывалый скандал.

По поводу его разоблачений были даже интерpellации в голландском парламенте в 1863 году. Автор смело требовал официальных опровержений, но утверждал в то же время, что таковых не воспоследует, так как все, что им изображено и написано, чистая истина, основанная на фактах, собранных им в течение его 17-летней службы.

Деккер не ошибся: не нашлось в Голландии ни одного человека, который выступил бы в защиту колониального управления...»

Но зато в Голландии нашлись продажные писаки, которые всячески поносили и травлили Мультатули за то, что он осмелился в полных жгучей правды картинах обличить



чудовищные преступления угнетателей-колонизаторов, их лицемерие и ханжество. Реакционеры намеревались заточить писателя-гуманиста в тюрьму, поэтому Мультатули пришлось эмигрировать и надолго покинуть свою родину.

Поистине удивительна судьба Мультатули: два народа — голландский и индонезийский — считают его своим сыном. В свободной Индонезии великий голландский писатель обрел свою вторую родину. Здесь его любовно называют послом индонезийского народа. Творчество Мультатули оказало большое влияние на развитие национально-освободи-

тельного движения в Индонезии, на становление национальной литературы.

Благодаря усилиям индонезийских исследователей стал известен еще один примечательный факт из творческой биографии писателя. Оказывается, одну из глав романа-памфлета

Мультагули написал на индонезийском языке.

Гневные произведения великого писателя-гуманиста сегодня так же злободневны, как и столетие тому назад. Мультагули продолжает борьбу против колониализма.



„Я тут же расскажу маме!“

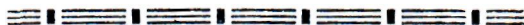
Исторические анекдоты



Римскому цезарю Клавдию Тиберию однажды посоветовали сместить его разложившихся коррупцией чиновников и поставить на их места новых. Тиберий в ответ на это рассказал следующую историю:

— Однажды я увидел на рынке нищего. Тело его было покрыто язвами, на которых сидело множество мух. Я подошел к несчастному и отогнал мух. Нищий же этот сказал мне следующее: «Что пользы в твоём поступке, о господин? Мухи, которых

ты прогнал, были уже сыты и не слишком донимали меня. А теперь на их место прилетят новые голодные мухи и примутся беречь мои раны...»



К Катону Старшему обратился один из его горячих сторонников и сказал:

— Это возмутительно, что до сих пор в Риме тебе не поставлен памятник! Этим следует заняться.

— Оставь, — ответил ему Катон. — Я предпочитаю, чтобы люди говорили: «Почему у Катона нет памятника?», чем они будут задаваться вопросом: «Почему это Катону поставили памятник?»





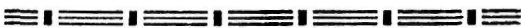
Депутация одной из римских провинций прибыла к цезарю Веспасиану с сообщением, что граждане этой провинции решили собрать миллион сестерций на установление ему колоссальной статуи. Скуповатый Веспасиан протянул к ним свою ладонь и сказал:
— Установите эту статую здесь и не тратьте попусту время!

Король Англии Генрих VII в довольно преклонном возрасте решил вступить в брак с юной королевой Неаполя. Не вполне доверяя

слухам о красоте и уме королевы, Генрих VII велел своим послам составить для него отчет о достоинствах предполагаемой невесты. Послы недурно справились с возложенной на них миссией.

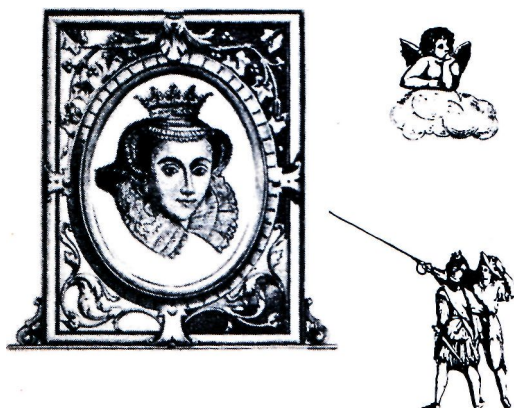
Вот содержание их доклада:

«Ваше величество! Королева красива и не подкрашена. Глаза у нее карие, кожа свежая, нос правильный. Вокруг рта нет ни единого волоска. Руки у нее красивые, пальцы длинные, дыхание свежее. Фигура у нее хорошая, шея длинная, бюст в самый раз, а рост довольно высокий. Вино она потребляет умеренно и не объедается на пиршествах. Характера хорошего — она весела, любезна и при этом рассудительна. Но людей без изъяна не бывает, поэтому и у королевы есть мелкие недостатки, как, например, упрямство. Эта упрямица вбила себе в голову, что не выйдет замуж за ваше величество. Но если бы не это — она идеальная кандидатка в супруги...»



Во время обеда при дворе Людовика XIV придворный поэт Буало сказал по какому-то поводу, что все люди рано или поздно умрут. Однако, встретив грозный взгляд короля, он тут же поправился:

— Я хотел сказать: почти все...





«Король-солнце» однажды сказал в кругу придворных:

— Короли правят милостью божьей. И если повелю любому из вас броситься в воду, он обязан будет тут же выполнить мое повеление.

Один из дворян быстро направился к выходу.

— Куда это вы? — спросил король.

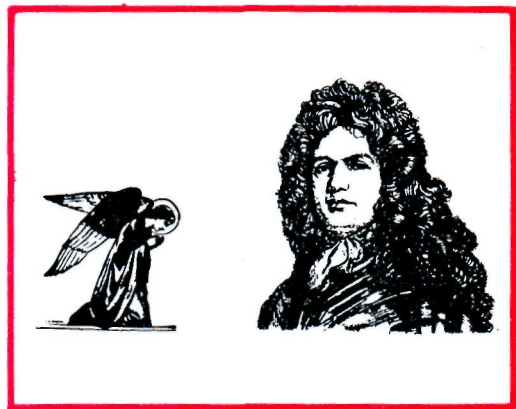
— Учиться плавать, — ответил дворянин.

По потреблению кофе на душу населения Швеция занимает одно из первых мест в мире. Немалую роль в этом национальном пристрастии сыграл еще в XVIII веке швед-

ский король Густав III. Двух осужденных на смерть братьев-близнецов король помиловал под условием, что с той поры один из них будет в больших количествах пить чай, а второй — кофе. Это, по мнению короля, позволит определить, какой из напитков губительнее сказывается на здоровье.

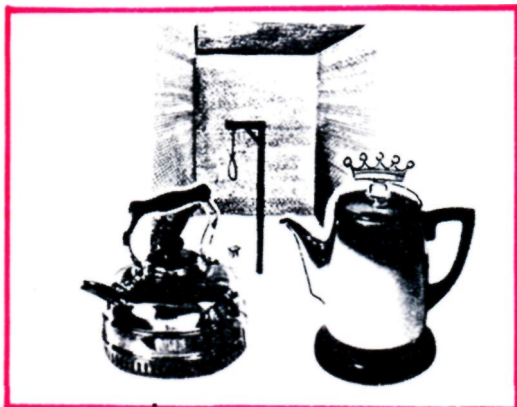
Шли годы, сидя в тюрьме, братья добросовестно пили во все возрастающих дозах чай и кофе. Ежегодно консилиум королевских медиков обследовал их здоровье и не обнаруживал сколько-нибудь заметных ухудшений. Наконец «поклонник чая» скончался в возрасте 83 лет.

Эксперимент этот и сыграл большую роль в распространении кофе по всей Скандинавии.



Парижский архиепископ хотел во что бы то ни стало исповедовать Людовика XV во время его, как оказалось, последней болезни. Известный своими веселыми похождениями маршал Ришелье, желая утешить слугу божьего, предложил ему:

— Если вашему преосвященству так уж хочется услышать исповедь, то давайте отойдем в какое-нибудь укромное местечко. Я покаюсь вам в моих прегрешениях и ручаюсь, что моя исповедь будет намного пикантнее!



После поражения в России Наполеон в простых санях мчался на запад. Вместе со свитой он остановился у Немана. Местный крестьянин переправил генералитет на противоположный берег. Наполеон, всегда стремившийся получать сведения из первых рук, спросил у лодочника:

— Много ли дезертиров переправилось через реку?

— Нет, вы первый, — последовал простодушный ответ.



Однажды лорд Даббертон во время загородной прогулки был атакован пасшимся на лугу быком. Пэру Англии удалось спастись от разъяренного животного, только перепрыгнув через окружающий луг забор. Здесь он столкнулся с хозяином быка и набросился на него с упреками.

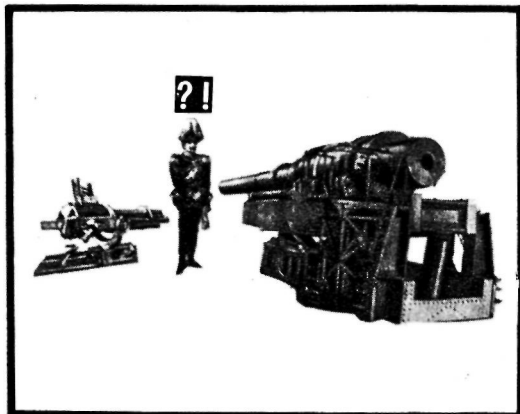
— Луг этот, сэр, — отозвался владелец быка, — моя собственность, и я полагаю, что мой бык имеет не меньшее право разгуливать по нему, чем вы.

— Да знаете ли вы, кто я? — возразил лорд. — Я лорд Даббертон, член палаты лордов!

— Вот вы бы и сказали это быку, милорд.

В первых числах сентября 1914 года комендант гарнизона в одной из британских колоний в Африке получил от генерального штаба следующую зашифрованную телеграмму: «Война объявлена. Точка. Немедленно интернировать всех граждан неприятельских государств, пребывающих в вашем округе». Пару дней спустя в генеральный штаб поступила от этого коменданта телеграмма:

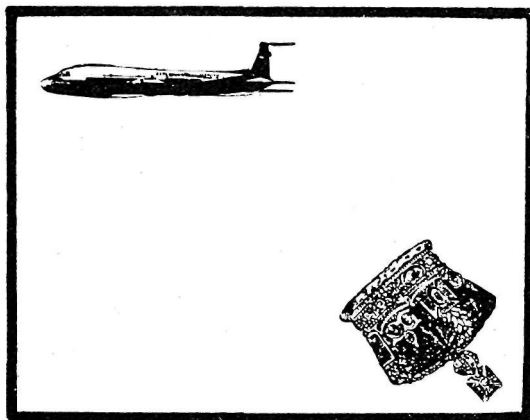
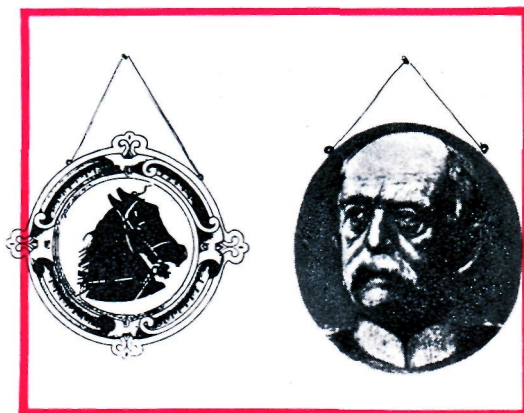
«Интернировано семь немцев, три бельгийца, четыре испанца, пять французов, шведская супружеская пара, один аргентинец и один американец. Точка. Прошу известить, с кем воюем».



Однажды, будучи на курорте в Мариенбаде, Бисмарк решил воспользоваться услугами местного врача. Лекарь принялся самым подробнейшим образом расспрашивать его о симптомах предполагаемой болезни.

Потеряв терпение, «железный канцлер» потребовал:

— Вместо всех этих расспросов вы лучше предпишите мне какой-нибудь курс лечения. В ответ на это лекарь посоветовал Бисмарку: — Тогда я рекомендовал бы вашему сиятельству обращаться к ветеринару, ибо это единственный врач, не задающий вопросов своим пациентам.



Кандидатам в пилоты австралийской авиации экзаменаторы предлагали разрешить следующую нелегкую проблему.

— Предположим, — говорил экзаменатор, — что вы летите небольшим двухместным самолетом. И вот с заднего сиденья выпала английская королева. Что вам следует предпринять?

— Прыгнуть вдогонку и поймать ее в воздухе!

— Покончить с собой!

— Побыстрее смыться!

— Переменить фамилию! — падают ответы. Правильным же считался ответ:

— Вывернуть положение самолета после утери части груза!

Ноябрь 1918 года. Редакция венской газеты «Нойе Фрайе Прессе». Редактор преграждает путь командиру отряда Красной гвардии. Это необычная встреча. Оба молодых человека носят фамилию Киш, они — братья. Старший протестует против вторжения, а Эгон — требует ключи от здания.

— Не дам!

— Товарищи, возьмите под стражу этого гражданина.

Видя, что здесь уже не до шуток, редактор, побледнев, бросает связку ключей к ногам брата:

— Хорошо, бери ключи. Но учти, что обо всем этом я тут же расскажу маме!



Александр Родченко родился в 1891 году в Петербурге за кулисами маленького клубного театрала на Невском проспекте. Отец его был бутафор, мать — прачка.

Родченко говорил, что первые пейзажи, которые он увидал, были декорации, и первые цветы — бутафорские цветы.

Старинный ремесленный театр с талантливыми людьми и с большими традициями был родиной Родченко, но он от этих нарисованных цветов и условной жизни сознательно уходил далеко.

Учился Родченко в Казани, в Казанской художественной школе; с 1913 года начал выставляться как живописец.

В 1916 году в первый раз выступил в Москве на выставке «Магазин».

В 1920 году Родченко сблизился с приехавшим в Москву Владимиром Маяковским.

Владимир Владимирович тогда призывал всех увидеть красоту, окружающую человека сейчас, красоту, которая не досталась по наследству, а создается человеком. Это высказывалось Владимиром Владимировичем и людьми, которые его окружали — среди этих людей был и я, — в форме очень общей, часто задорной, но это глубокая мысль. Гегель говорил, что человек узнает мир, «посредством изменения внешних предметов» его превращая, накладывая на него «печать своей внутренней жизни». Это и есть причина моды, в том числе и первых мод — татуировок. Отрок, придя к реке, старается узнать реку, не только смотря на нее, но бросая в нее камни; от камня идут круги, и круги эти — результат поступка человека; он, следя за ними, по-новому понимает воду. Красота зверя для первобытного человека — это красота охоты.

Красота мира для человека — часто красота возделанной природы.

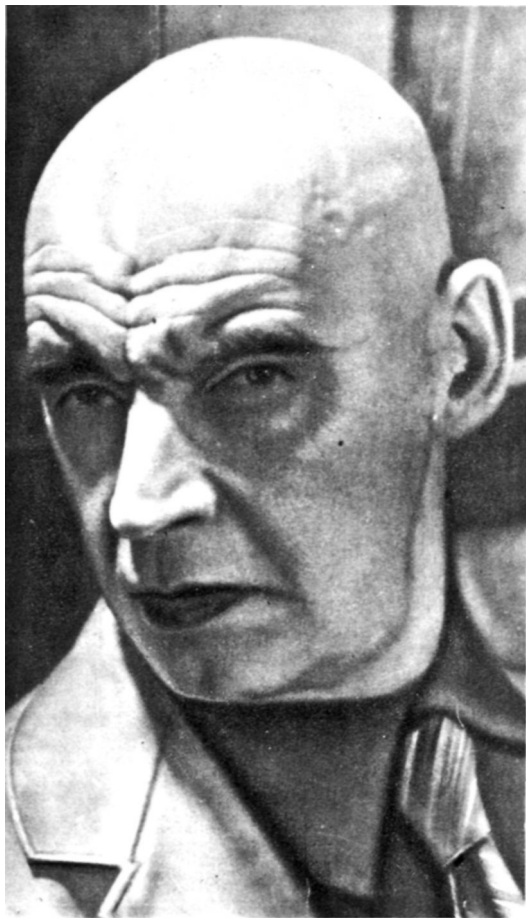
Античность и раннее средневековье описывают природу как сад; в фольклоре описываются пашня и работа пахаря.

Виктор Шкловский

Александр Родченко —

художник-фотограф

Публикация фотографий В. А. Родченко



Портрет А. М. Родченко — фото В. В. Ковригина (1948).

Посмотрите на портрет Александра Родченко — он снят ясно, отчетливо, как бы документально. Появились новые художественные возможности.

Сказка много лет рассказывала о художнике, который замораживал отражение в ведре с водой.

Чудо было осуществлено человеческим трудом: фотографическая пленка заморозила отражение. Но теперь надо было выбирать

отражение, найти его так, чтобы оно передало не случайный миг кажимости, а сущность предмета.

Шла революция. Она все строила. Уже начали возникать еще не моря, но водоемы, созданные человеком; водопады у электростанций начали свой блистательный разговор.

Родченко начал работать с В. В. Маяковским, поэт уважал художника. Когда Вячеслав Полонский, споря с «Лефом» — так назывался журнал писателей и художников, — сказал, что он не знает, кто такой Родченко, то Маяковский обиделся за друга и повторил Полонскому мои слова:

«Если Вячеслав Полонский не знает Александра Родченко, то это факт биографии Полонского, а не биографии Родченко».

Как относился к работе Родченко Маяковский, видно по тому, что, когда они вместе работали в театре Мейерхольда над оформлением постановки пьесы «Клоп», Владимир Владимирович на титульном листе издания пьесы написал: «Дорогому Родченко — соавтор Влад.»

О чем идет речь?

Когда-то Белинский говорил, что гвоздь, выкованный руками кузнеца, выше цветка, «потому что он создание сознательного духа». Поэтому самым красивым городом мира Белинский считал Петербург, нынешний Ленинград. Петербург создан по плану, создан на выбранном месте. Он — город созданной действительности, такой действительности, которая отвечает человеческой потребности; город человеческой воли, преодолевающей случайность.

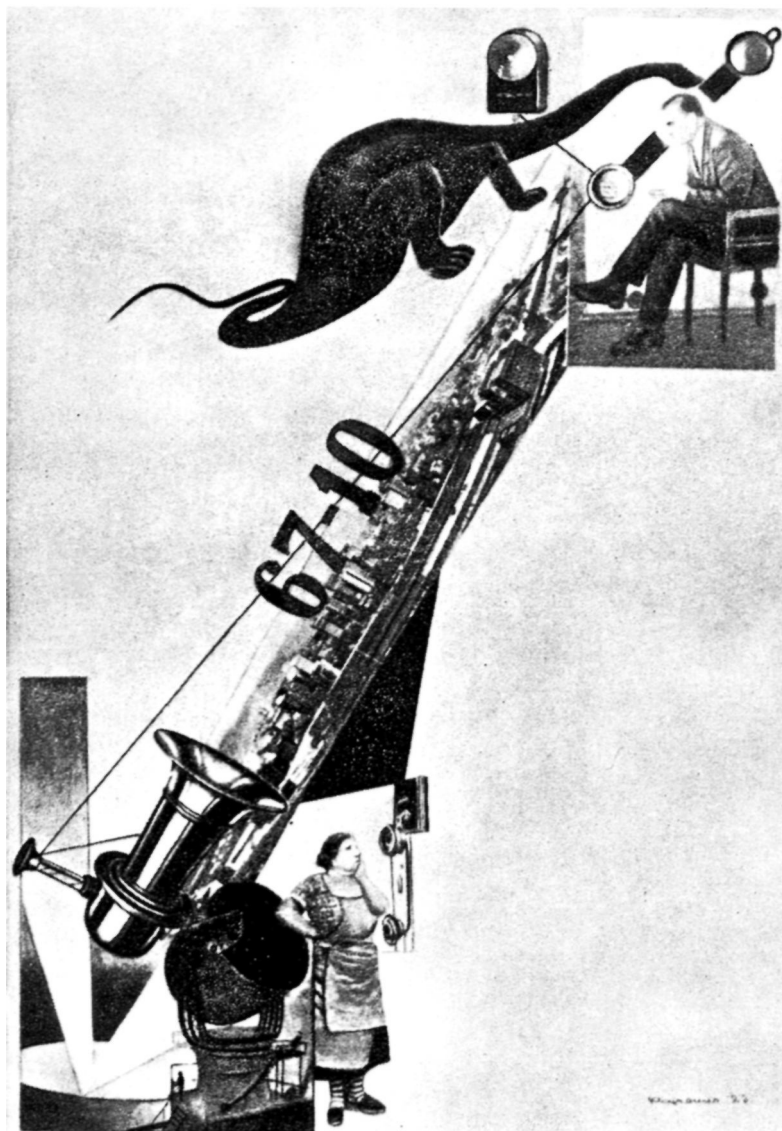
Сам Родченко начал не с фотографии, а с фотомонтажей.

Владимир Маяковский написал поэму «Про это» — это поэма о любви тех дней, о любви высокой, неменяющейся. Дело происходило в годы революции, в Москве. Улицы, места, где ходит человек, люди, которые окружают женщину, реальны, но все они изменены поэтической волей поэта — человека будущего.





Книгу иллюстрировал Родченко фотомонтажами: он дал портреты и пытался перевести на фотомонтажах поэтический образ. Тот выбор черт действительности, который дает поэт под влиянием своей эмоции.



Поэт в старом видит новое, такое новое, которое является совершенной истиной.

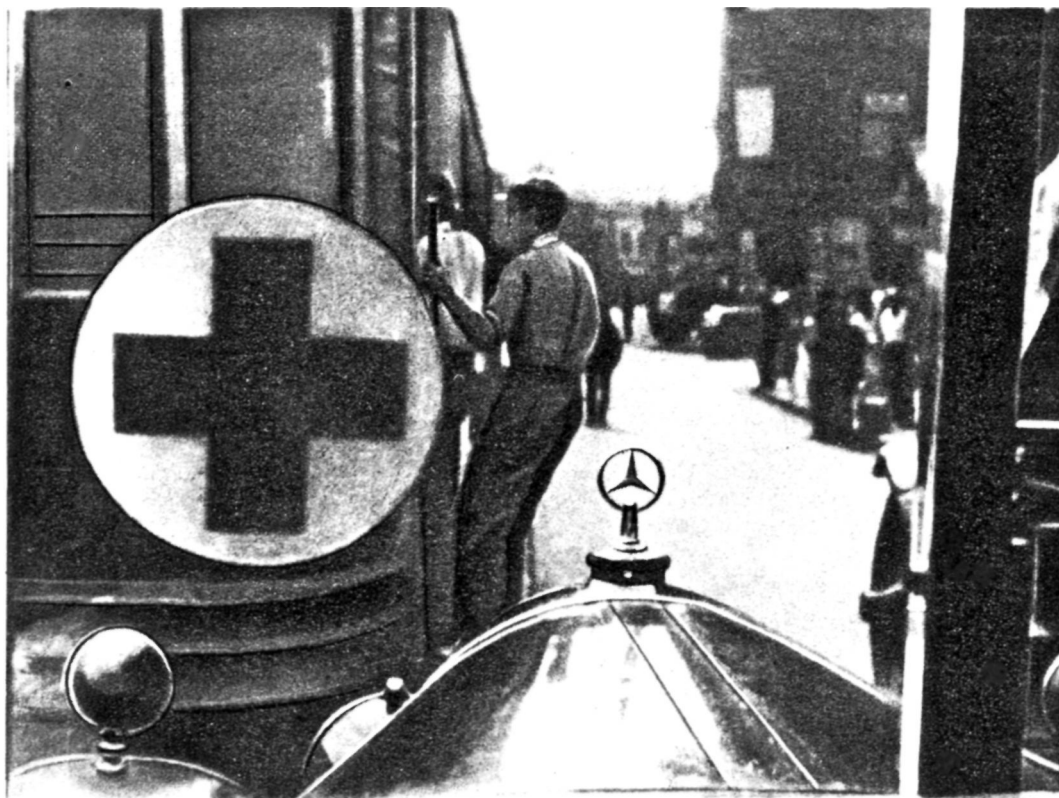
«Про это» большая книга. Несмотря на спорность фотомонтажей, эта книга — слияние двух волей, художника и иллюстратора.





Первая как бы программная фотография Родченко — портрет матери. Это портрет старой женщины, портрет много работавшей женщины, портрет сделан сыном, который любит и уважает мать.

С 1924 года Родченко сознательно перешел на фотографии.



Он снимал обыкновенно новых людей и обыкновенные вещи века социализма. Коринфяне украшали капители своих колонн, взяв в основу орнамента траву, которая росла у их порогов. Старый русский орнамент передавал зверя и траву; он тоже был обобщенной реальностью.

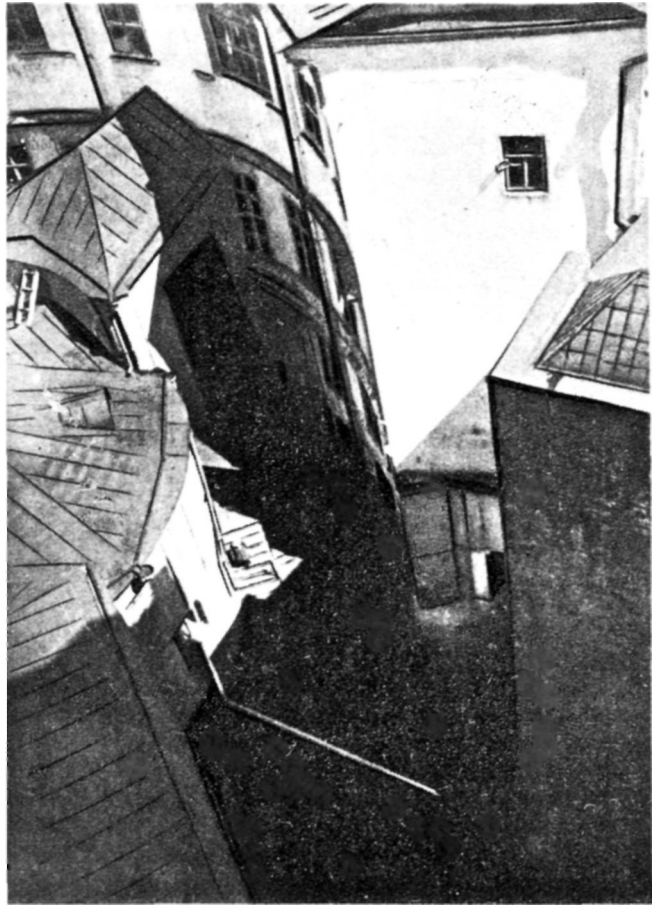
Родченко осознал красоту зубчатых колес, красоту города, набережных, машин, дворов не потому, что он был городопоклонником, а потому, что он был поклонником пересоз-



дающегося города — Москвы, столицы социализма.

Родченко жил во Вхутемасе, против старого почтамта, на улице, которая тогда называлась Мясницкой, жил рядом с Водопьяным переулком, описанным Маяковским в поэме «Про это».

Данте в первой части «Божественной комедии» описал в «Аду» людей Флоренции. Поэт ведет с мертвым спор о сегодняшнем дне и о будущем.

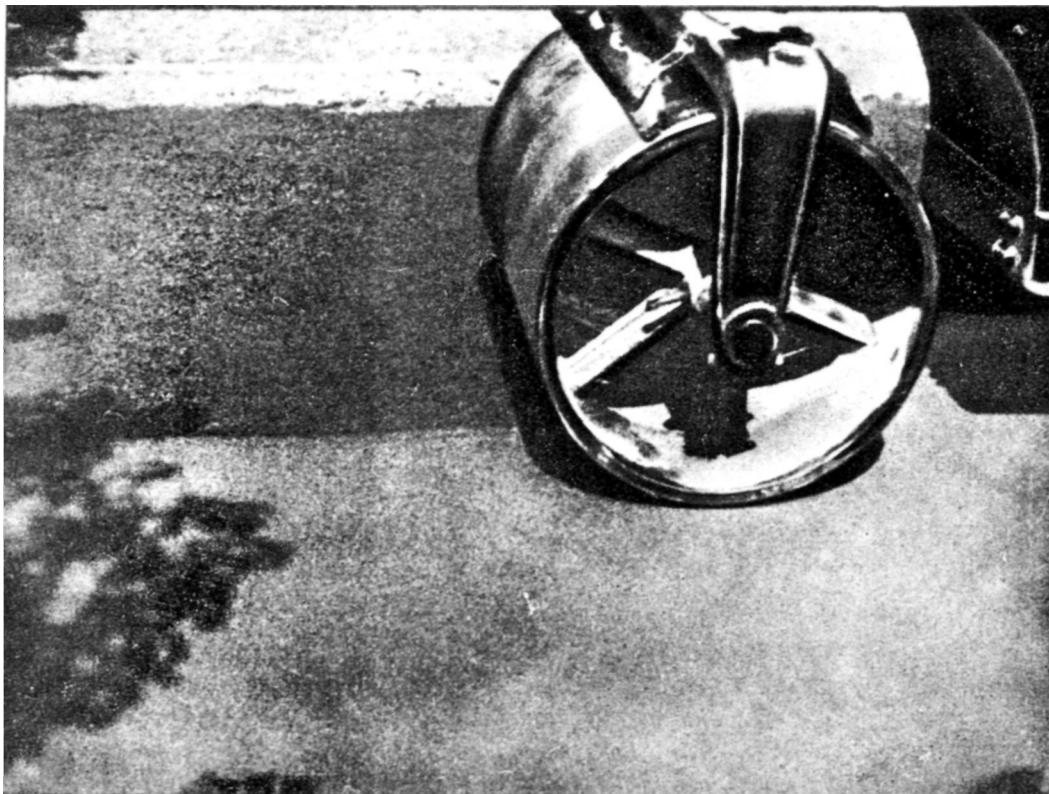


Истинный художник всегда человек своего дня. Вы видите на фотографии двор Вхутемаса. Дом высокий, дворик узкий, круты внутри лестницы, лестницы нашей тогдашней судьбы, преодолевающей прошлое.

По этим лестницам подымались Маяковский, Асеев.

Двери, выходящие на лестницы, были исписаны стихами, репликами и заметками людей, которые пришли, поднялись на восьмой этаж и не застали хозяина.

По таким дворам ходили мы. Такие лестницы описывали. Но основное уже изменялось.



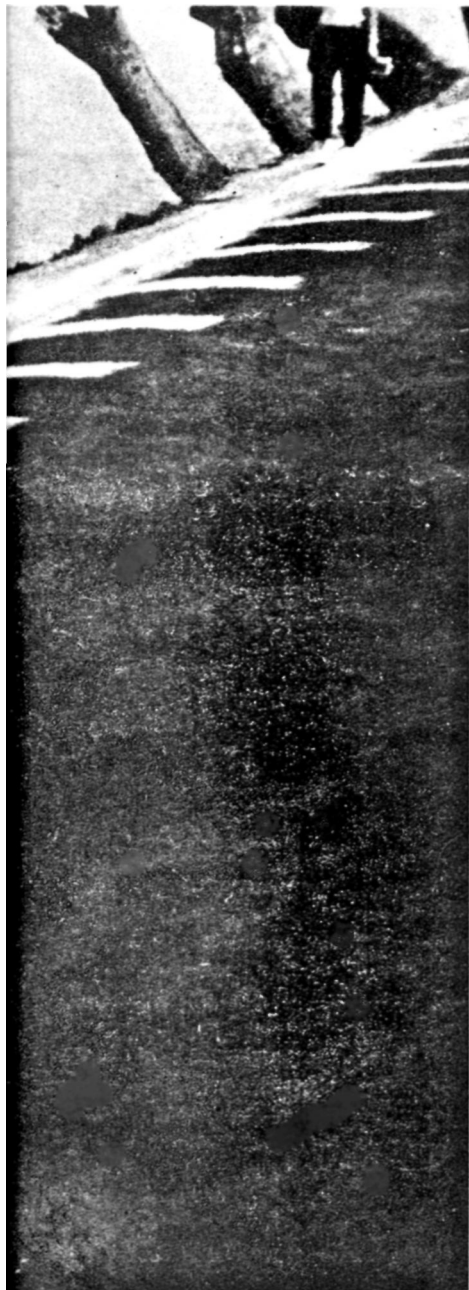
Многое, что вы сейчас видите на фотографиях Родченко, покажется вам обыкновенным. Но этим фотографиям сорок лет. Они обыкновенны потому, что путь создан для всех и был принят всеми.





Родченко учил людей видеть прекрасное вокруг себя. В обыкновенном строю спортсменов. В обыкновенной набережной Москвы-реки, тогда еще не каменной, он умел,

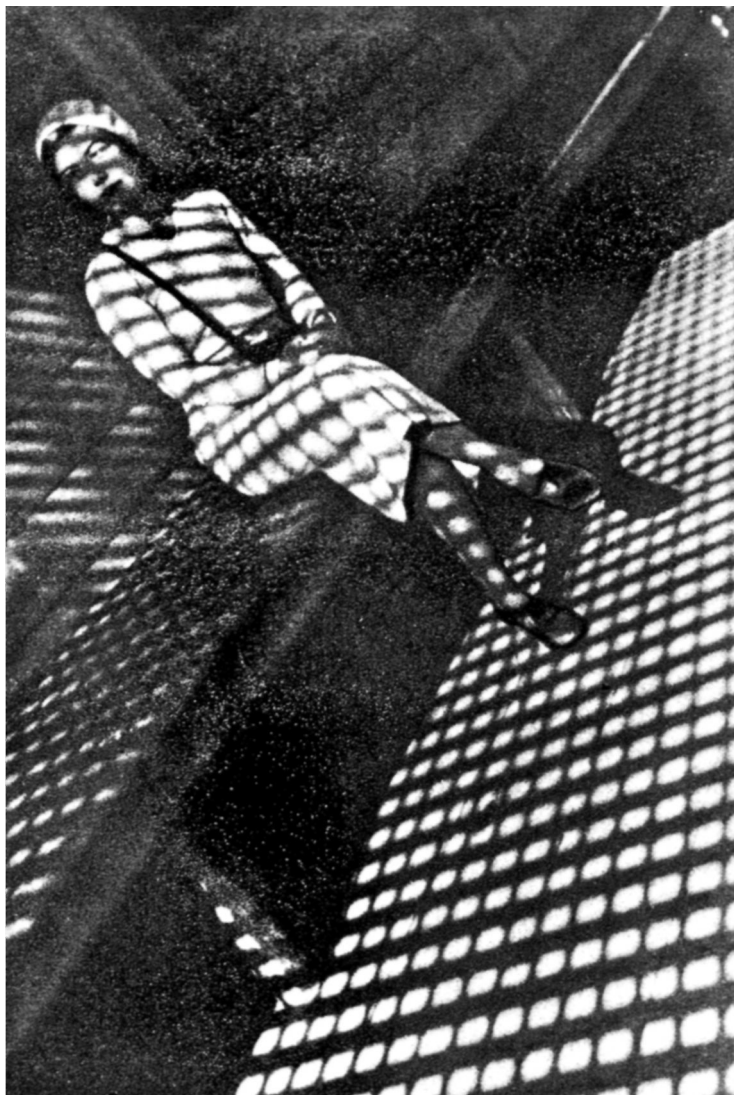




повышая емкость, смысловую значительность кадра, показать людей нового времени. Видна река, видны деревья, которые наклонились к реке, уходя от тени крепостной стены. Деревья вобрали в себя движение города. Стена существует на фотографии, как тень.



Движение людей связано и с рекой, и со стеной, и с характером роста деревьев. Городские тени, тени ступеней, тени лестниц, тени решеток были осознаны Родченко заново. Он подсказал дорогу революционной советской кинематографии — Дзиге Вертову, Льву Кулешову, Сергею Эйзенштейну.



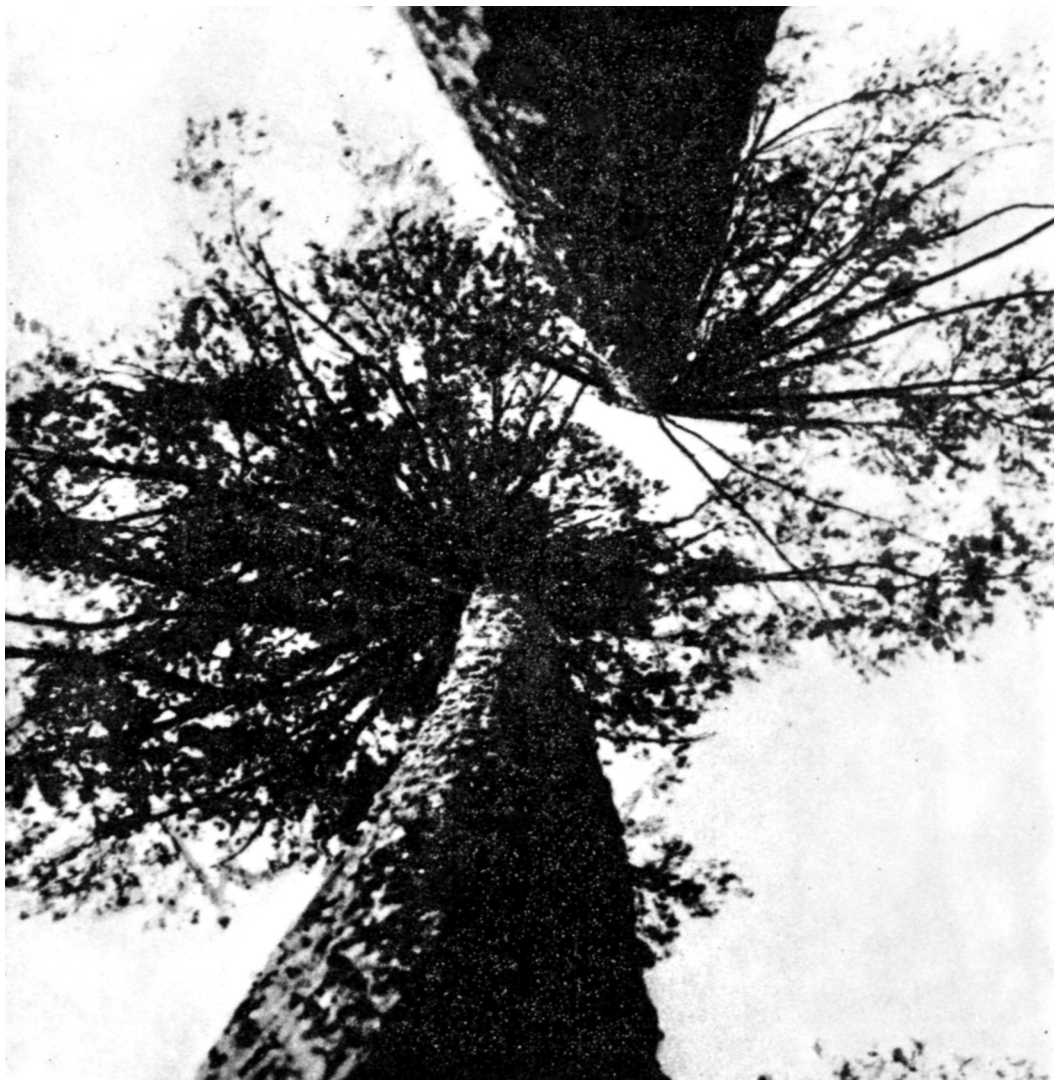




Темы Родченко были новые. Он создавал циклы фотографий о химизации леса.

Не просто о лесе и не о лесе, срубленном человеком, а о лесе, освоенном человеком. Он видел красоту не только в разнообразии посуды, стоящей на столе, но и в отражении шофера в зеркальце, в корешках старых папок с делами, в витках пружин.

Могут спросить: почему Александр Родченко снимал, как говорилось тогда, не с пупа, а с ракурса?



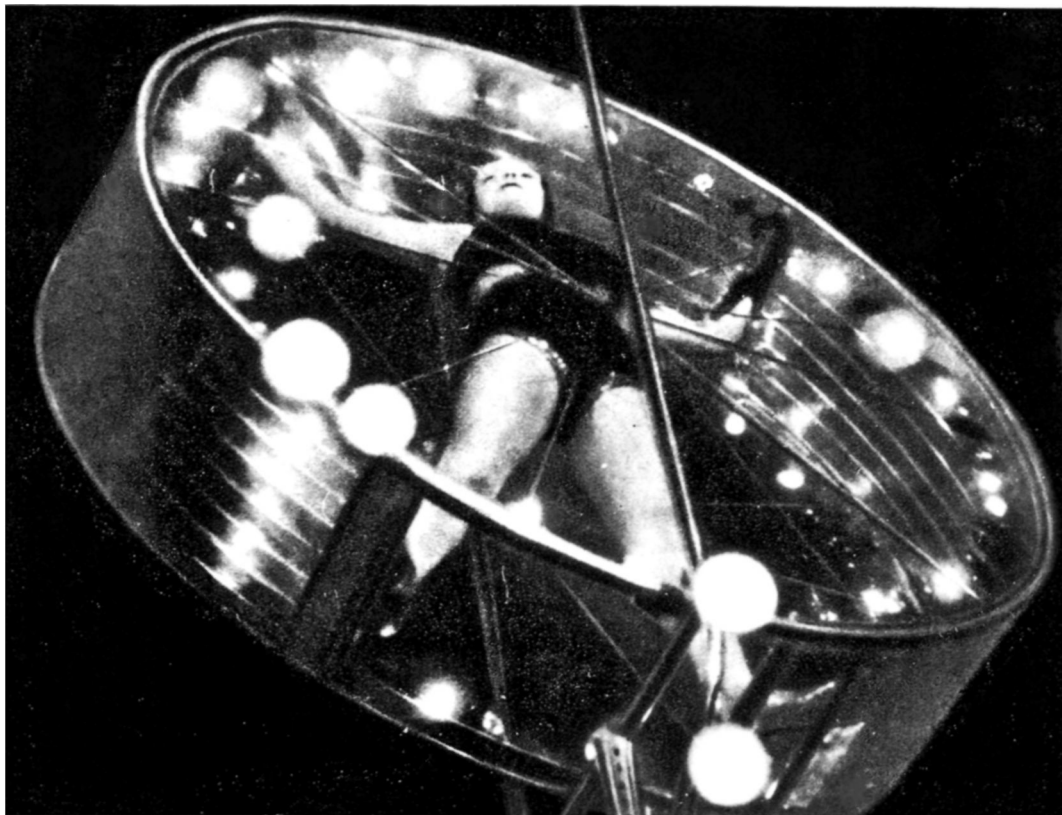
Почему деревья на его фотографии сняты на фоне неба? Почему стволы так стремительно сокращаются кверху?

Небо и звезды редко просматриваются человеком. Умение поворачивать голову — довольно сложное искусство.



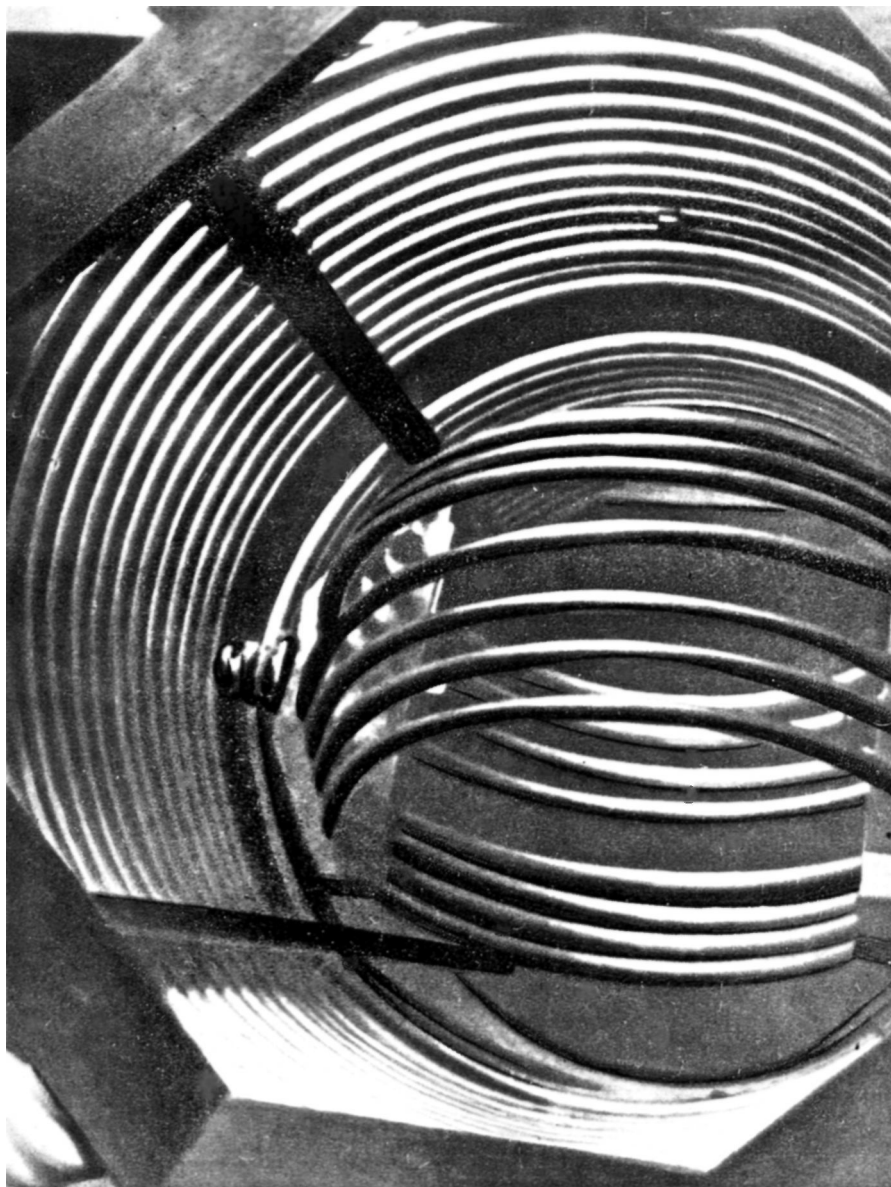
Искусство видеть создается в результате человеческого труда. Перспектива реальна, но она реальна потому, что она отражает движение глаз.

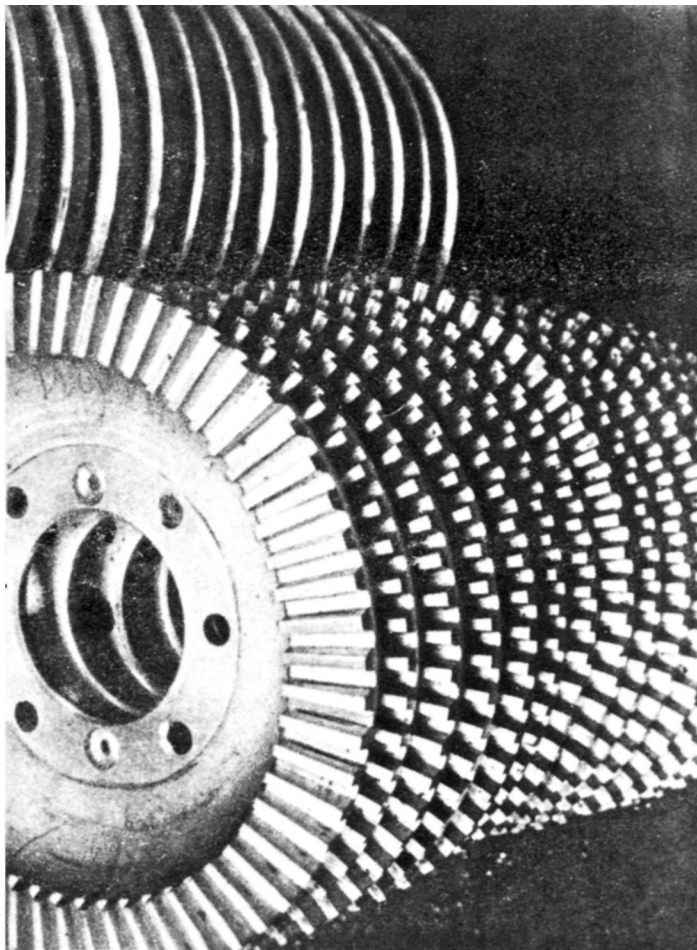
Видение — это и есть рассматривание. Если мы остановим движение глазного яблока, то предмет исчезает. Глубина, которую мы видим, расположение предметов друг за другом — результат нашего рассматривания, работы глаза. Глаз как бы обтекает контуры предмета, глаз исследует предмет. Смотреть — это не значит глазеть. Смотреть — это значит рассматривать мир для познания и освоения.



Родченко — один из тех художников, которые учили людей смотреть с новых горизонтов. Его ракурсы потому и приняты в кинематографии, что они были необходимы. Они созданы новой человеческой культурой, новыми человеческими возможностями и их предчувствиями.

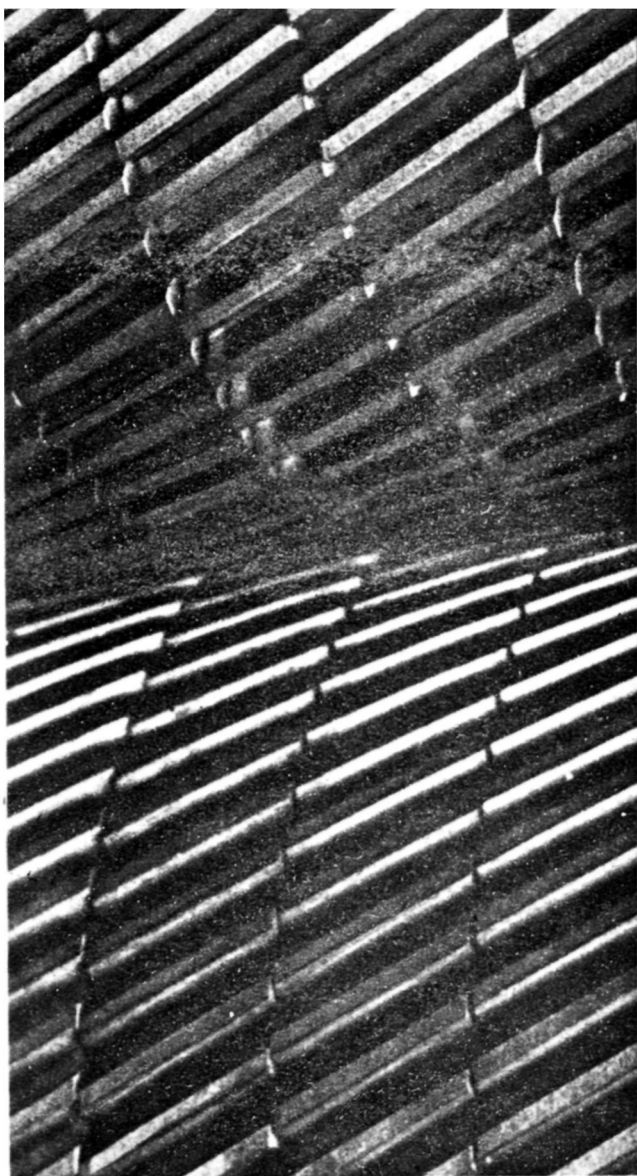
Красоту человеческого тела, красоту цветов Родченко видел лучше других, это вы можете проверить по снимкам. Одновременно он явился одним из создателей новой графики, нового способа украсить и осмыслить книгу. Работа фотографа во многом определяет эпоху. Зритель учится у кинооператора искусству видеть мир, искусству сопоставлять. Кинооператоры — учителя пейзажа. Родченко был учителем кинооператоров.

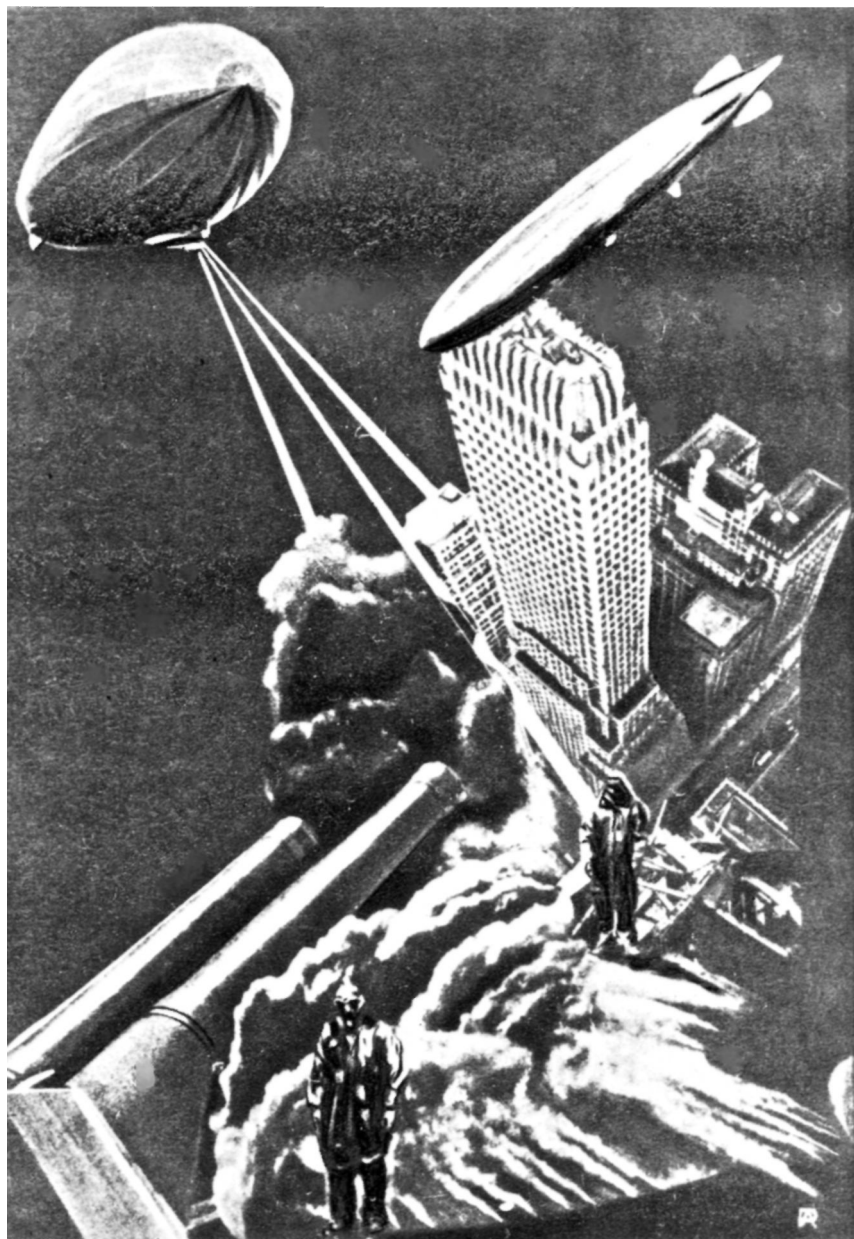




Родченко мечтал о том, чтобы художник вместе с инженером оформлял машины. Машина не должна утомлять рабочего, машина должна быть внятной для работающего на ней человека. Машина должна быть выразительной. Художник может иногда подсказать конструктору, потому что красивые вещи очень часто оказываются технически целесообразными. Сейчас эстетика промышленности — предмет всем понятный. В свое время Родченко был главным художником в Доме

техники, кроме того, он был пророком в своем отечестве, а это очень трудное занятие. Как художник-портретист Родченко оставил нам основные портреты Маяковского, нарушив для показа друга обычные каноны фотографии. Снимая человека и на фотографию и в кино, обыкновенно говорят: «Не смотрите в аппарат». Родченко снял Маяковского так: поэт сидит в позе спокойной задумчивости и смотрит прямо на нас, нас о чем-то спрашивая и с нами вместе что-то решая.







В начале 1930-х годов Александр Родченко выступил против фашизма и войны. Целую серию его фотомонтажей напечатал журнал «За рубежом». Родченко разоблачал буржуазных демагогов, оправдывавших гонку вооружений криками о спасении культуры от большевиков. Выразительный плакат на обложке журнала сопровождался текстом: «СМОТРИТЕ! Во славу своей диктатуры Дертдинг и Рокфеллер «СПАСАЮТ КУЛЬТУРУ!» Родченко клеймил буржуазных политиков, прикрывающих приход фашистов к власти («Политический футбол»). Пред лицом военной опасности Родченко призывал молодежь учиться военному делу, укреплять оборону Советской страны.

Это были первые советские антивоенные фотомонтажи.

Про Александра Родченко помнят художники. Написано о нем мало. Есть небольшая книга, написанная Любомиром Линхардтом, она издана Государственным издательством художественной литературы и искусства в Праге в 1961 году.

Много сделал Александр Родченко в искусстве экспонирования, в искусстве смыслового показа на выставках предметов нашей культуры. Несмотря на враждебность, и тогда очень острую, к советской культуре, организация экспонатов, созданная Родченко, получила на Западе много премий (Париж, 1925). В фотоработе Родченко был разнообразен, и разнообразие это было ясным. Он очень любил спорт и разрешал спортивные темы путем показа одного человека в движении — тут давался пафос обдуманного, ясного физкультурного напряжения, как бы разума человеческого движения в целесообразном напряжении. Фотографии спортивных состязаний, снятых целиком, строились на простой, четкой ритмичности, на различимости кадров. Александр Родченко — очень ясно и просто думающий художник, но он думающий художник, учащий думать. Люди, которым приходится учиться, прежде на него удивлялись.







Я кончаю, потому что о Родченко надо написать длинно. Я вот уже сделал ошибку хотя бы тем, что не рассказал о том, что Александр Родченко почти всегда работал с художником Варварой Степановой и они вместе были авторами графических работ, создателями эстетики советской книги.

Последняя выставка, в которой принимал участие Родченко, состоялась в 1955 году в Доме журналиста. Выставил он два портрета Маяковского. Всего участвовал Родченко в 52 художественных выставках в Советском Союзе и за рубежом.

Умер он 3 декабря 1956 года.





- | | | | |
|---|----|--|-----|
| 1. В. И. Ленин на параде всеобща 25 мая 1919 г. на Красной площади в Москве. Фото НМЛ | 4 | ский Дом. Ленинград. Тетрадь № 2382 (841), л. 188 об. Печатается впервые | 61 |
| 2. В. И. Ленин и А. В. Луначарский на закладке памятника «Освобожденному ТРУДУ» 1 мая 1920 г. Фрагмент фотографии. ИМЛ | 8 | 19. М. Н. Волконская. Рисунок Пушкина. 1833 г. Там же. Листок № 2375, л. 32 об. (№ 955) | 63 |
| 3. В. И. Ленин произносит речь на Красной площади 7 ноября 1918 г. Фото ИМЛ | 10 | 20. Черновой автограф стихотворения Пушкина «На холмах Грузии...». Там же. Тетрадь № 2382 (841), л. 101. Фрагмент | 69 |
| 4. Фрагмент гравюры А. И. Кравченко. 1927 г. | 11 | 21. Хемингуэй. Фото | 72 |
| 5. Броневик. Гравюра Н. Купреянова | 16 | 22. Семейный дом Хемингуэя в Ок-парке. Фото | 76 |
| 6. В. И. Ленин. Январь 1918 г. Фото ИМЛ | 20 | 23. Эрнест в возрасте одного года и Марселина двух с половиной лет с родителями. Фото. 1900 г. | 78 |
| 7. «Аврора». Гравюра А. И. Кравченко | 21 | 24. Эрнест с рюкзаком и удочкой. Фото | 80 |
| 8. В. И. Ленин произносит речь с Лобного места на Красной площади при открытии временного памятника Степану Разину 1 мая 1919 г. Фото ИМЛ | 27 | 25. Хемингуэй — издатель. Объявление из газеты | 83 |
| 9. Гравюра на дереве В. Д. Фалилеева | 35 | 26. Хемингуэй до отъезда в Канзас-сити и первой профессиональной работы | 84 |
| 10. М. Н. Волконская (Раевская). Акварель неизвестного художника. Гос. музей Пушкина. Москва | 54 | 27. Хемингуэй — доброволец в Италии (1918 г.) | 86 |
| 11. Саркофаг сына М. Н. Волконской с эпитафией Пушкина | 55 | 28. Хемингуэй после ранения, в стационарном госпитале в Милане, июль 1918 г. | 88 |
| 12. М. Н. Раевская. Рисунок Пушкина. 1821—1822 гг. Пушкинский дом. Ленинград. Рукопись № 46, л. 15 | 56 | 29. Хемингуэй и Агнесса фон Куровский перед итальянским госпиталем, 1918 г. Фрагмент фотографии | 89 |
| 13. М. Н. Раевская. Рисунок Пушкина. 1823 г. Пушкинский дом. Тетрадь № 2369 (834), л. 26 об. | 56 | 30. Снова в Ок-парке, февраль 1919 г. | 92 |
| 14. Автопортрет и М. Н. Раевская. Рисунки Пушкина. 1823 г. Там же, л. 27 об. | 57 | 31. Хемингуэй в Париже, 1924 г. | 113 |
| 15. М. Н. Раевская. Рисунок Пушкина. 1823 г. Там же, л. 28 | 58 | 32. Сильвия Бич — владелица книжной лавки «Шекспир и К» в Париже | 125 |
| 16. М. Н. Раевская и неизвестные. Рисунки Пушкина. 1823 г. Там же, л. 30 об. | 58 | 33. Скотт Фицджеральд | 127 |
| 17. Автограф М. Н. Волконской. Второе письмо к В. Ф. Вяземской, л. 1. ЦГАЛИ, Москва. Печатается впервые | 60 | 34. Обложка второй книги Хемингуэя. Париж, 1924 | 128 |
| 18. М. И. Волконская и Е. К. Воронцова. Рисунки Пушкина. 1829 г. Пушкин- | | 35. Гертруда Стайн | 130 |
| | | 36. Литературные «салонь» в Париже 20-х годов: студия Эзры Паунда. Слева направо: Паунд, Джон Куин, Форд Медокс Форд, Джеймс Джойс | 131 |
| | | 37. Первая страница газеты «Торонто Стар Уикли» от 20 октября 1923 г. | |

- с репортажем Хемингуэя о бое быков в Испании 139
38. Хемингуэй держит на руках своего первого сына Джона Хэдди Никанора Хемингуэя, Париж, 1924 г. 141
39. Хемингуэй с Полиной Пфайфер 143
40. Носильщик ружей показывает Хемингуэю восьмифутовую змею. Танганьика, 1934 г. 156
41. Хемингуэй в Испании во время гражданской войны, 1937 г. 164
42. Хемингуэй с девятилетним сыном Грегори на охоте в Айдахо, 1940 г. 165
43. Хемингуэй с английским пилотом, отправляющимся в боевой полет над Францией, 1944 г. 166
44. Хемингуэй наблюдает бой быков в Мадриде, 1954 г. 167
- 45—46. Последние фотографии Хемингуэя 1960—1961 гг. 168—169
47. И. А. Кашкин. Фото 170
48. М. К. Рейхель. Фото 174
49. С. А. Лавочкин. Фото 204
50. А. В. Луначарский за шахматами. Фото. 1928 г. 216
51. А. В. Луначарский с женой в Венеции. Фото 220
- 52—53. А. В. Луначарский в последние годы жизни 222, 225
- 54—55. А. В. Луначарский с женой в Венеции 226, 231
56. Обложка «Чукоккаль». Фрагмент. Рисунок А. Арнштама 234
57. Автограф А. И. Куприна из «Чукоккаль» 235
58. Автограф Е. И. Шварца из «Чукоккаль» 235
59. Две фотографии В. И. Качалова из «Чукоккаль» 236
60. Автограф Аветика Исаакяна из «Чукоккаль» 237
61. «Окно сатиры Чуक्रоста». Рисунок и автограф В. Маяковского 238
62. Автограф Б. Л. Пастернака из «Чукоккаль» 239
- 63—66. Автографы С. Я. Маршака из «Чукоккаль» 241—244
67. Банкет в издательстве «Шиповник» в честь постановки пьесы Л. Андреева «Жизнь человека». Карикатура художника Петра Троянского (1907). «Чукоккаль» 247
68. Корней Чуковский и М. В. Добужинский. Рис. Н. Э. Радлова. «Чукоккаль» 248
69. Бармалей. Рис. М. В. Добужинского. «Чукоккаль» 249
70. Мирза Геловани. Фото 252
71. Автограф Мирзы Геловани 252
- 72—74. Гравюры на дереве С. Юдовина, 1942 г. 254, 255, 257
75. Герб Строгановых 258
76. Эмблема времен французской революции. Членский билет секции Тампля. 1793 г. 259
- 77—78. Заставки к книге «1812 год в баснях И. А. Крылова». Художник Г. И. Нарбут 262—263
79. Виллойский острог 268
80. Н. Г. Гарин-Михайловский. Фото 272
81. И. А. Крылов среди деятелей искусств. Рис. О. А. Кипренского (7). Публикуется впервые 277
82. Максим Горький и В. В. Стасов. Фрагмент фотографии 278
83. К. С. Станиславский. Фрагмент фотографии. 1900 г. 278
- 84—85. Фрагменты автографов В. В. Стасова и К. С. Станиславского 278
86. Автограф первой страницы письма В. В. Стасова к Горькому 280
87. Автограф первой страницы письма К. С. Станиславского к Горькому 283
88. Портрет Н. И. Новикова работы А. Л. Витберга. Публикуется впервые 285
89. Силуэт Н. И. Новикова работы Жоржа Сидо. Публикуется впервые 285
90. А. В. Луначарский. Рисунок Ю. П. Анненкова 286
- 91—93. Фрагменты автографов Максима Горького, А. П. Карпинского и Стефана Цвейга 286
94. Автограф первой страницы письма А. П. Карпинского к А. В. Луначарскому 288

95. Автограф первой страницы письма Стефана Цвейга к А. В. Луначарскому 289
96. Автограф письма Максима Горького к А. В. Луначарскому 290
97. Варфоломей Зайцев. Фото 292
98. Первая страница журнала «Общее дело» 298
99. Место сатиры. Карикатура Н. А. Степанова. Журнал «Искра», 1863 г., № 36 299
- 100—119. Серия гравюр М. Гольбейна-старшего «Пляски смерти» 304—324
120. Астрологические знаки. Гравюра художника XVI века, известного под именем «мастера Петрарки» 325
121. Золотой трон Тутанхамона 328
122. Сенусерт и бог Пта. Рельеф на печатке фараона Сенусерта. Фрагмент. 329
123. Эхнатон. Статуя из Карнака 330
124. Золотая маска саркофага фараона Хнумхотепа 331
125. Голова статуи, найденная в Саккаре. Гранит 332
126. Голова статуи фараона Сенусерта III. Красный кварц 333
127. Ирвинг Стоун. Фото 334
128. Ван-Гог. Фрагмент автопортрета 334
129. Микеланджело. Фрагмент фрески Д. Вазари 334
130. Джек Лондон. Рисунок Б. Маркевича 334
131. Галилей. Гравюра Ф. Вилламены. 1613 г. 354
132. Титульный лист книги Галилея «О солнечных пятнах», 1613 г. 355
133. М. И. Михайлов в Петропавловской крепости перед отправкой на каторгу. Картина художника В. И. Якоби. 1861 г. 361
134. М. И. Михайлов в сибирской тюрьме. Нелегальная литография. 1862 г. 366
135. М. И. Михайлов. Нелегальная литография. 1862 г. 367
136. Взятие Бастилии 14 июля 1789 г. Старинная гравюра 369
137. Т. Н. Грановский. Дагерротип Даунтондэя. 1848 г. Гос. историч. музей. Москва 371
138. Обложка книги Ф. Энгельса «Шеллинг и откровение» из библиотеки Т. Н. Грановского 372
139. Убийство владимирского великого князя Андрея Боголюбского. Древнерусская миниатюра 374
140. Скульптурный портрет Андрея Боголюбского. Реконструкция М. М. Герасимова 375
141. Эпизод войны за независимость в Северной Америке. Старинная гравюра 377
142. Фрагмент счетно-вычислительной машины 377
143. Мультипули (Эдвард Деккер). Фото 381
144. Индонезийская народная скульптура. Остров Борнео 381
- 145—158. Коллажи Б. Жutowского и Ю. Соболева 382—386
159. Портрет А. Н. Родченко. Фото В. В. Ковригина. 1948 г. 388
- 160—189. Фотографии А. Н. Родченко 389—418
- На обложке — фрагменты иллюстраций, использованных в тексте.

От редакции 3

ОЧЕРКИ. СТАТЬИ. ПОРТРЕТЫ

А. В. Луначарский. **Ленин и молодежь** 4
 В. Сафонов. **Звонок в дверь** 36
 Т. Г. Цявловская. **Мария Волконская и Пушкин** (новые материалы) 54
 И. А. Кашкин. **Хемингуэй** 72
 М. Лорие. **Об И. А. Кашкине** 170
 Н. Я. Эйдельман. **Век нынешний и век минувший** 174

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. Галлай. **Главный конструктор приехал на аэродром...** 204
 Н. А. Луначарская-Розенель. **Последний год** 216
 Корней Чуковский. **Что вспомнилось** 234
 Н. М. Микава. **«Вы слышите мой клич, друзья!..»** 252

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Ю. Н. Тынянов. **Гражданин Очер** 258
 Н. Л. Степанов. **Последний рассказ Юрия Тынянова** 266

ПИСЬМА. ДОКУМЕНТЫ

Н. Г. Чернышевский в Виллойске. Публикация Г. Е. Хаита 268
Завещание писателя (письмо Н. Г. Гарина-Михайловского к сыну). Публикация Г. М. Миронова 272
«Дети солнца» в письмах В. В. Стасова и К. С. Станиславского к Горькому. Публикация Т. К. Груздевой 278
Три письма к Луначарскому (Горького, Карпинского и Ст. Цвейга). Публикация И. А. Луначарской 286

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ

Варфоломей Зайцев в «Общем деле». Публикация Ф. Кузнецова 292
Александр Родченко — художник-фотограф. Публикация фотографий В. А. Родченко. Текст — В. Б. Шкловского 387

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Р. Л. Стивенсон. **Ночлег Франсуа Вийона.** Перевод с английского Ив. Кашкина 304
 Георгий Гулиа. **Заветное слово Рамессу Великого** 328

КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ

Ирвинг Стоун. **Биографическая повесть.** Перевод с английского М. Брухнова 334
 Алиса Акимова. **История и биография** 346

СМЕСЬ

М. Ю. Барановская. **«И. А. Крылов среди деятелей искусства»** 277
 М. Ю. Барановская. **Два неизвестных портрета Н. И. Новикова** 284
 А. П. Левандовский. **Жиль де Ре — «Синяя борода»** 325
 А. Э. Штекли. *Secundum se* 354
 Ю. Коротков. **Поэт Михайлов, художник Якоби и другие** 360
 А. П. Левандовский. **Тайна Железной маски** 368
 М. Ю. Барановская. **Книга Ф. Энгельса в библиотеке Т. Н. Грановского** 372
 Г. Голубев. **Раскрытая гробница** 377
 Г. Голубев. **«Кто вы, мистер Публий!»** 380
 Г. Кессельбрэннер. **Сын двух народов «Я тут же рассяжу маме!» Исторические анекдоты** 382
 Список иллюстраций 419

ПРОМЕТЕЙ

Историко-биографический альманах
серии «Жизнь замечательных людей».
Том первый. М., «Молодая гвардия»,
1966 г., 424 с. с илл.

9.

Редактор **Ю. Корпков**

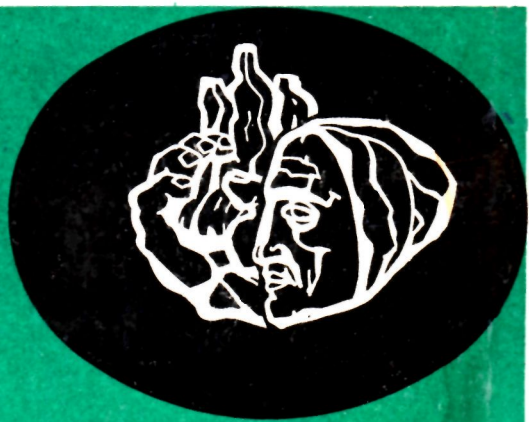
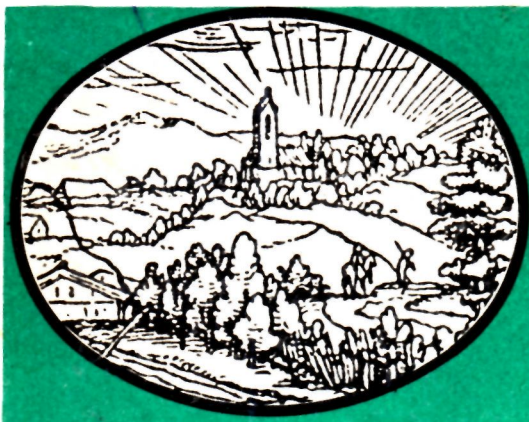
Художники

Б. Жуковский, Ю. Соболев, Э. Неизвестный

Художественный редактор **А. Степанова**

Технический редактор **И. Егорова**

A12175. Подписано к печати 14/III 1966 г.
Бум. 70X90¹/₁₆. Печ. л. 26,5 (31). Уч.-изд.
л. 33. Заказ 1324. Тираж 100 000 экз. Це-
на 1 р. 17 к. СПХЛ 1965 г., № 990.
Типография «Красное знамя» изд-ва
«Молодая гвардия». Москва, А-30, Суще-
ская, 21.



«Город» и
вспомогательная организация
поселения, которая уже сейчас в
этом городе, и в настоящее время
будет развиваться и развиваться, и
этот человек является:

